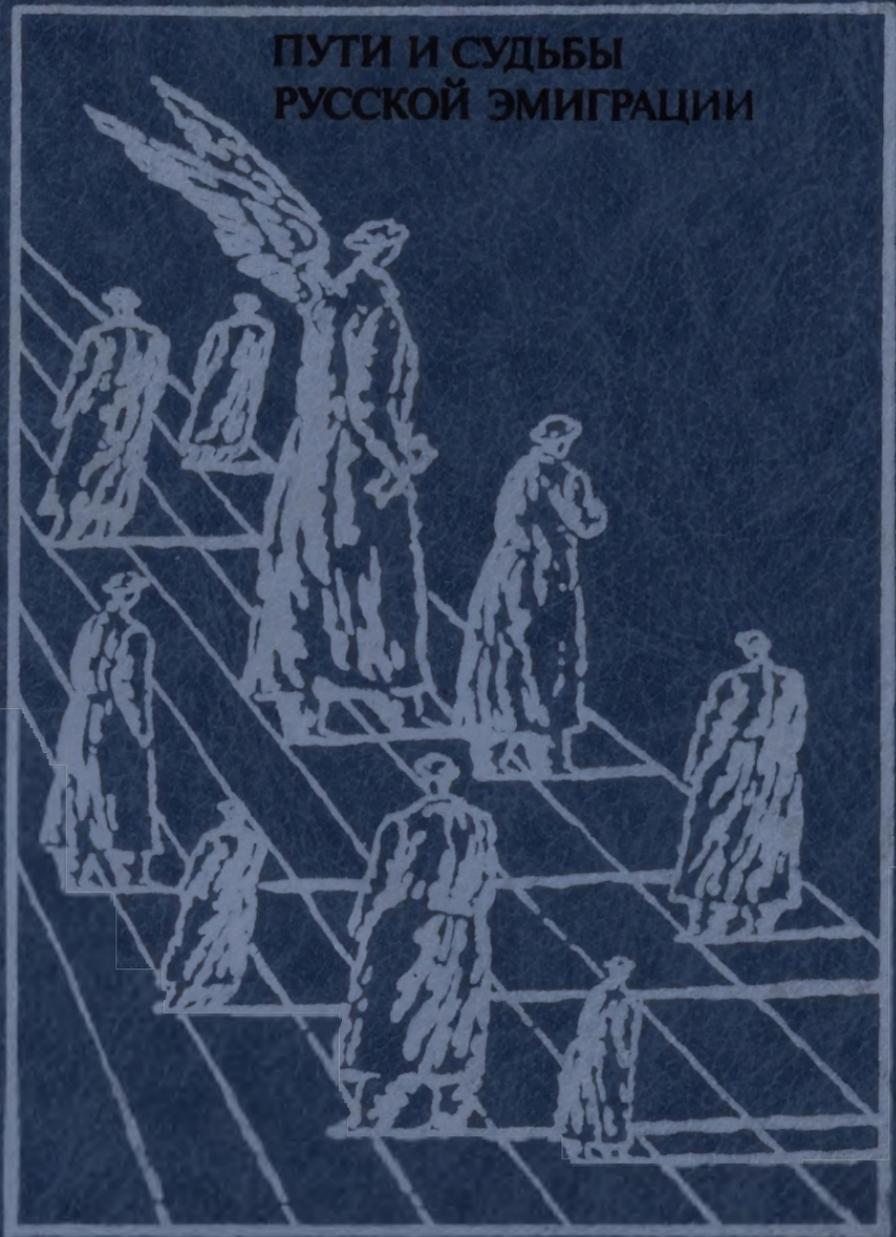


63-3(2)

Вячеслав
Костиков

НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ...

ПУТИ И СУДЬБЫ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ







Вячеслав
Костиков

НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ...

ПУТИ И СУДЬБЫ
РУССКОЙ
ЭМИГРАЦИИ

МОСКВА
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ»
1990

ББК 63.3(2)
К72

у 26

Костиков В. В.

К72 Не будем проклинать изгнание... (Пути и судьбы русской эмиграции). — М.: Междунар. отношения, 1990. — 464 с.

ISBN 5-7133-0207-5

Книга В. Костикова «Не будем проклинать изгнание...» является, можно сказать, первой попыткой непредвзятого рассказа о русской эмиграции. Написана она в форме свободного эссе. Это живой и эмоциональный рассказ о путях и судьбах русской эмиграции «первой волны». Уделяя особое внимание культурной и нравственной жизни русского зарубежья, автор не оставляет без внимания и судьбу «маленького человека» эмиграции. Читатель найдет в книге много бытовых подробностей из жизни эмиграции, познакомится с судьбами детей эмигрантских, этого «незамеченного поколения». В книге ясно ощутимо стремление осмыслить место эмиграции в общем потоке русской культуры, ее вклад в культурное наследие человечества.

Для широкого круга читателей.

К 0503020000—040
003(01)—90 50—90

ББК 63.3(2)

Художественная публицистика

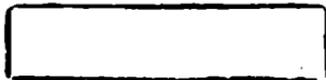
Вячеслав Васильевич Костиков

НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНИЕ...
(Пути и судьбы русской эмиграции)

Редактор *Е. В. Архипова*
Оформление художника *А. Г. Антонова*
Художественный редактор *С. С. Водичиц*
Технический редактор *Т. С. Орешкова*
Корректор *А. В. Федина*

ИБ № 1666

Сдано в набор 15.02.90. Подписано в печать 04.05.90. А-01290. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тш. № 1. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 24,36+0,84 вкл. на офсетной бумаге. Усл. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 29,32. Тираж 100 000 экз. Заказ № 853. Цена 4 р. 30 к. Изд. № 16-Ю/89. Издательство «Международные отношения», 107078, Москва, Садовая-Спасская, 20. Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.



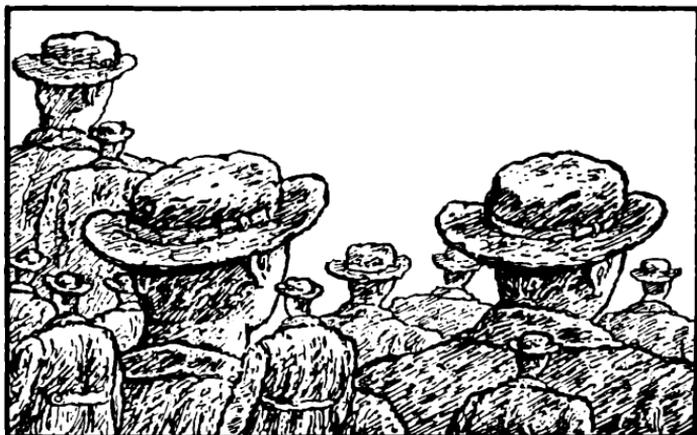
ISBN 5-7133-0207-5

© В. В. Костиков, 1990

1-200017

ЧАСТЬ I





Глава I

ОЖИВШАЯ ПАМЯТЬ

Одним из слов, непрестанно звучащих в среде русской эмиграции — звучащих, как заклинание, молитва, призыв, — было, несомненно, слово «память». Наравне с другим молитвенным словом — «родина» — призыв к памяти звучал едва ли не с каждой страницы обильной русской зарубежной публицистики и художественной литературы. Эта память была обращена прежде всего к прошлому России. Эмиграция унесла на чужие берега вывороченные революцией корни родового русского дворянства, и память прежних владельцев «дворянских гнезд» стучалась в многочисленные русские журналы и газеты, словно желая оставить на недолговечных страницах эмигрантских изданий след навсегда ушедшего времени.

Тихая, дышащая ароматами забытых усадеб и «темных аллей» память представляет собой едва ли не самую очаровательную страницу эмигрантской мемуаристики, но далеко не самую интересную. Все это было лишь слабым, хотя и не лишенным пикантной прелести переложением знакомых мотивов русской классической литературы, приправленным местным колоритом в зависимости от того, где находились прежние имения: в Тамбовской, Курской, Нижегородской или Орловской губерниях. Одни описывают реку или луг, на которые глядели окна барской усадьбы, другие — жар оренбургской степи, третьи — горя-

чий запах малороссийской нивы. Эти многочисленные «памяти», рассеянные по страницам второстепенных газет и журналов (солидные эмигрантские издания, как чумы, сторонились этих дворянских записок из прошлого), при всем их внешнем разнообразии имеют одну бросающуюся в глаза общую черту: они на редкость кротки и незлобивы. Там было бы напрасно искать отзвуки «классовых битв». В них даже есть что-то извиняющееся — точно дворянские мемуаристы уже давно были готовы к тому, что произойдет, а если и удивляются, то не случившемуся, а тому, что «все это» произошло так быстро, так неожиданно. Причина, вероятно, во внутреннем, может быть, даже неосознанном понимании того, что и помещичий уклад, и аристократические «утонченности» обеих столиц уже давно существовали как некий атавизм и что сама русская жизнь терпела их лишь в силу своей огромной инертности: то была в некотором роде историческая милость, которая рано или поздно должна была исчерпаться.

Русская аристократия, «степные помещики», владельцы петербургских дворцов, московских особняков, подмосковных усадеб, дач в Крыму, несмотря на то что в революцию они потеряли все и в эмиграции жили, за редким исключением, в весьма стесненных материальных условиях, в своих мемуарных упражнениях оказались наиболее нейтральными. Да и оставили они, в сущности, очень мало — ничтожно мало по сравнению с обильной мемуаристикой литературно-художественной интеллигенции. В их гордом и скорбном молчании есть некое скромное благородство; своей мемуарной сдержанностью они как бы говорят себе и другим: наше время закончилось, оставим же историческую ниву тем, в ком есть еще силы для нынешней и будущей жизни.

Но по большей части память эмиграции хотела быть и была активной. При всей жесткости оценок того, что происходило в России, при всем неприятии новой истории в этой памяти об «окаянных днях» (если воспользоваться выражением И. Бунина) всегда или почти всегда присутствовали тот выстраданный опыт, те крупницы истины, которые эмиграция хотела положить к порогу отечества. Эта активная память, будучи часто недоброй, яростной, неприемлющей, в итоге оказалась много плодотворнее и нужнее аморфной «усадебной мемуариады». Отрекаясь от новой истории, она ощущала себя ее живой участницей. Исписывая страницу за страницей, эмигрантские летописцы постоянно оглядывались в сторону новой России,

все примеривали к ней, все выводили из нее. Активная память эмиграции как бы понимала, что исполнится срок, развеется дурман взаимного зла, станут достоянием истории мифы и легенды гражданской войны, латы рыцарей революции и контрреволюции займут место в одних и тех же залах исторических музеев и на стройке свободного отечества пригодится весь опыт истории. В том числе и опыт, унесенный в эмиграцию или родившийся в ней. «У каждого поколения могут быть свои идеалы, у моего свои, у вашего другие, и жалко то поколение, у которого нет никаких»¹, — писал В. Ключевский.

При всей мозаичности эмиграции, унесшей в зарубежье в миниатюре «всю Россию», при всем разнообразии путей и способов «спасения России» у русской эмиграции такой идеал имелся — великая, свободная и демократическая Россия. В отношении ушедших в эмиграцию и оставшихся в пределах отечества можно, воспользовавшись словами западника Герцена о славянофилах, сказать: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинаковая... И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны в то время, как сердце билось одно»².

У эмиграции было много пороков. Наверное, нет тех смертных грехов, через которые не прошли эти лишившиеся земного притяжения люди. Грехи эмиграции длительное время рассматривались через самое увеличительное стекло, смаковались и выволакивались для всеобщей хулы. В худшие годы нашей истории действительные или мнимые грехи эмиграции широко использовались для борьбы с честной и свободной мыслью в советской России, прежде всего для шельмования интеллигенции. Всем нам памятно совсем еще недавние времена, когда, пороча честных советских писателей, фельдфебели от культуры именовали их «литературными врангелевцами», намекая на то, что они предали интересы народа.

Изучая наследие и уроки эмиграции, нельзя не признать, что, погрязая в грехах, свойственных жизни в отрыве от собственного народа, — в грехе словоблудия, обывательщины, самомнения или, напротив, самоуничтожения (что было чаще), эмиграция уберегла себя от главного, «печеринского» греха. И только какой-нибудь безумец в пьяном безысходном отчаянии мог бы повторить печально известное:

Как сладостно отчизну ненавидеть
И жадно ждать ее уничтоженья,

В. С. Печерин, по рассуждению Н. А. Бердяева, был одним из первых русских эмигрантов, уехавших на Запад от гнета николаевской эпохи.

Когда над отечеством нависла реальная угроза такого уничтожения, подавляющая часть русской эмиграции, оставив споры об обидах и утратах, одни — в мыслях и молитвах, другие — с оружием в руках (об этом будет сказано ниже), пошла в Соппротивление. В 1941 году, когда Соппротивление только зарождалось, в рядах войск «Свободной Франции» уже сражались и умирали русские люди. Среди первых десяти добровольцев, откликнувшихся на призыв генерала де Голля к соппротивлению, был русский, Николай Вырубов, прошедший весь боевой путь войск «Свободной Франции»: Абиссинию, Сирию, Египет, Ливию, Тунис, Италию, Францию. Он был удостоен высших военных наград Франции — Креста освобождения и Военного креста. Русские патриоты, пришедшие в Соппротивление из эмиграции, тоже оставили свою память — щедрую память пролитой крови и скупую память воспоминаний.

* * *

В жизни эмиграции при всей ее многоплановости, разобщенности, противоречиях есть определенная логика. И логика эта определялась не столько внутренней жизнью русского зарубежья, сколько постоянным, временами навязчивым соотношением себя с оставленным отечеством. Были всплески эмигрантской гордыни, эмигрантского высокомерия, выливавшиеся в долгие и, в сущности, беспочвенные споры: кто же является хранителем «русской идеи», русского духа, традиций, культуры — русская интеллектуальная элита, вытесненная из пределов России разлившимся морем народной стихии, или эта народная стихия, разбуженная революцией и вышедшая из берегов? Временами и в самом деле могло показаться, что «русский» Берлин, а потом «русский» блистательный Париж по интенсивности духовной и культурной жизни затмевают Россию. Некоторые, как, например, Роман Гуль, известный в эмиграции писатель, утверждали, что «унесли с собой Россию», а там, за польской границей, осталась лишь обширная лесостепная зона, некогда носившая гордое имя Российской империи. Но это была только запальчивость,

чрезмерность полемики, больше свойственная не серьезной «русской беседе», а душераздирающему эмигрантскому надрыву. В сущности же, все понимали, что Россию невозможно было унести ни в ранце, ни на подошвах сапог. Какая-то ее часть болезненной памятью шевелилась в сердце. Но истинная Россия осталась там, где ей определено было стоять историей, временем, судьбой. Чаще всего спор велся о мере, а не о сути. Кто мы? кто я? зачем я здесь? — эти вопросы так или иначе задавал себе каждый русский. Одни именовали себя отрезанными ломтями, другие в горестном самоуничижении — крохам и оскобками российского каравая, третьи — пылью. Но все вместе и каждый в отдельности осознавали, что, как бы ни были ярки отдельные звезды на эмигрантском небосклоне, само небо, на котором вспыхивали и угасали эти звезды, было искусственным — «искусственным небом эмигрантщины», по очень точному и, я бы сказал, безжалостному определению Марка Слонима, одного из видных деятелей эмиграции.

И эта жизнь под искусственным небом создавала у эмиграции ощущение неполноценности, ущербности бытия, его ограниченности в пространстве и во времени. Все споры и обиды несли на себе досадный и почти оскорбительный отпечаток камерности, словно бы эмигрантская жизнь протекала на сцене некоего театра, в который уже давно не приходят зрители. Для русских, выросших и сформировавшихся в наэлектризованной атмосфере предчувствия революции, прошедших через февральские и октябрьские грозы и привыкших к огромным движениям масс, к неистовству толпы, к гулкому колоколу русской культуры, эмигрантские собрания, притягивавшие в лучшие годы до тысячи и более человек, а потом выродившиеся в узкие кружки и посиделки, казались чем-то вроде «чаепития в Мытищах», хотя на них приглашались и выступали те, чьи имена когда-то гремели на всю Россию. Но здесь, под искусственным небом эмиграции, их пыльные речи могли вызвать в лучшем случае легкое дуновение ветерка. Былые российские знаменитости, оказавшись в эмиграции, с удивлением, с растерянностью обнаружили, что их нимб удивительно быстро померк, что вне России они не пророки, а странники.

Игорь Северянин, одно появление которого на улицах Петербурга вызывало ликование толпы, оказавшись за границей, потускнел, съежился, не находил себе места. Когда в Москве в 1915 году Северянин давал концерт,

просторный зал Политехнического музея не смог вместить всех желающих. Публика стояла в проходах, в вестибюле, толпилась на улице возле подъездов. Каждое новое стихотворение встречалось неистовыми аплодисментами, из зала летели розы, левкои. Однажды в Петербурге, когда толпа на Невском узнала едущего в коляске Северянина, восторженные почитатели распрягли лошадей и с упоением покатали любимого поэта. В эмиграции, чтобы прокормиться, поэту приходилось идти на унижения. От былой славы остались лишь бледные тени. Испытывая материальные трудности, душевную неприкаянность, Северянин в январе 1920 года пишет из Эстонии в Берлин издателю библиографического журнала «Русская книга» Александру Семеновичу Яценко:

«Светлый Собрат!

С удовольствием исполняю Вашу просьбу — посылаю Библиографию. Надеюсь, буду получать журнал. Если я до сих пор жив, то только благодаря чуткой Эстии: эстонский издатель выпустил 3 книги моих стихов*, эстонская интеллигенция ходит на мои вечера (1—2 раза в год), крестьяне-эстонцы дают в кредит дрова, продукты. Русские, за редким исключением, в стороне. А русские издатели (заграничные, т. к. в Эстии их вовсе нет) совсем забыли о моем существовании, напоминать же им о себе я не считаю удобным.

Если бы Вы в случайном разговоре с Заксом**, Ладыжниковым или кем-либо из других дали им понять, что я еще жив, Вы оказали [бы] мне этим громадную пользу, тем более что «дорожиться» бы я не стал, находясь в таком тяжелом положении...

Я пишу Вам это потому, что интуитивно чувствую в Вас Человека. Других лиц, к котор[ым] я мог бы обратиться в Берлине, у меня нет.

С искрен[ним] уважен[ием]

*Игорь Северянин*⁴.

Читая это грустное письмо, легко догадаться, какие трудности испытывали в эмиграции те, у кого не было ни славы, ни громкого имени.

Когда в 1922 году Северянин приехал в Берлин, чтобы участвовать в «поэзоконцерте», это был постаревший,

* Книги вышли в тартуском издательстве «Odamees».

** Летом 1921 года в издательстве А. Закса «Москва» вышел 12-й том поэзии Северянина «Менестрель», а в 1922 году там же — книга «Миррэлия».

плохо одетый человек с вытянутым бледным лицом. Знавшие его в этот период вспоминают, как, прогуливаясь по улицам Берлина, он постоянно боялся, как бы кто-нибудь из встречаемых не узнал его и не припомнил его стихи 1914 года:

В тот страшный день, в тот день убийственный,
Когда падет последний исполин,
Тогда ваш нежный, ваш единственный,
Я поведу вас на Берлин!

Северянин опасался, что кто-нибудь из бывших белых офицеров, которых он «привел в Берлин», попросту поколотит его.

В том же, 1922 году в Берлин приезжал Маяковский и выступал в организованном здесь на прежний петербургский лад Доме искусств с чтением стихов. Читал из старого: вероятно, не желая «травмировать» эмиграцию новой советской тематикой. Успех был полный. «Чтение Маяковского было какое-то оркестровое, — вспоминает живший тогда в Берлине Роман Гуль. — Будто читает не один человек, а стихотворение ведет какая-то оркестровая музыка. Это было по-настоящему хорошо. И запомнилось»⁵.

Успех приезжавших в те годы в Берлин советских поэтов и писателей — Маяковского, Есенина, Пильняка, Эренбурга, Федина, Пастернака (в тот период в отношениях между советской Россией и эмиграцией еще не было той отчужденности, того взаимного отталкивания, которые начали вкрадываться с конца 20-х — начала 30-х годов) — был обусловлен не только качеством рождавшейся в то время в стране прозы и поэзии, но и самим фактом того, что приехавшие были из России. Эта стоявшая за спиной приезжавших поэтов и прозаиков Россия вселяла в души эмигрантов и страх, и восхищение, и недоумение, и восторг. Все понимали, что главная, настоящая жизнь — там, а не здесь, в «русском» Берлине. И хотелось оправдаться, почему Россия там, а «мы» здесь.

Тема вины пронизывает всю эмигрантскую жизнь. Когда Георгий Адамович в ответ на призыв Василия Вырубова подумать об издании книги-памятника русской эмиграции излагает ему в письме примерный план предполагаемого издания, он уточняет: «Книга, о которой идет речь, должна быть не только нашим ответом, но и нашим оправданием».

«Не знаю, упрекнули бы нас в непростительной беспеч-

ности наши потомки, если бы мы долга этого не выполнили, — пишет Г. Адамович в письме к В. В. Вырубову, — но уверен, что за успешное его выполнение они будут нам благодарны, — хотя бы потому, что узнают многое оставшееся им неизвестным. Рано или поздно новые русские поколения спросят себя: что они там делали, на чужой земле, эти люди, покинувшие после революции родину и отказавшиеся вернуться домой, — неужели только «жили-поживали», тосковали, вспоминали, ждали лучших дней, заботились о хлебе насущном?»⁶.

Неоднократно возвращаясь к идее «золотой книги» русской эмиграции, Георгий Адамович смотрел на это как на долг и перед эмиграцией, и перед отечеством.

Георгий Викторович Адамович, поэт-акмеист, известнейший в эмиграции литературный критик, чье мнение было равносильно окончательному приговору, умер сравнительно недавно — в 1972 году, оставив после себя серьезное литературно-критическое наследие. Разговор об издании книги-памятника русской эмиграции относится к 1961 году. Тогда же в Париже вышла брошюра Г. Адамовича «Вклад русской эмиграции в мировую культуру», где он высказал свои мысли о возможном содержании книги.

Однако идея такой книги носилась в воздухе давно, еще до начала второй мировой войны. Она активно обсуждалась в русской периодической печати тех лет, вызывая массу споров. Большинство принимало замысел книги с восторгом. Говорили о «заказе», который эмиграции дает сама история. Но многим книга казалась преждевременной.

Действительно, в довоенные годы подводить итоги было еще рано. С момента исхода прошло не так уж много лет. Эмиграция еще чувствовала себя живой силой, бурлящим котлом. Еще были живы и принимали активное участие в общественной и культурной жизни виднейшие представители эмиграции. В оценках собственного места и роли было еще много неустоявшегося, полемичного. Написанная в те годы книга неизбежно оказалась бы временной, требующей постоянных поправок и дополнений. Идея «золотой книги», пролетев метеором в умах эмигрантов, вскоре потускнела, но некоторые из высказанных в тогдашней полемике мыслей представляют немалый интерес для понимания того, как сама эмиграция смотрела на себя. Взгляд этот был достаточно трезв и самокритичен. Надо бы только воздержаться от самовосхваления, от самодовольства в перечислении успехов, говорили одни. Нужно, чтобы книга оставалась

беспристрастной, ведь она обращена по преимуществу к будущему, добавляли другие.

И вновь в проектах «золотой книги» встает эта роковая идея будущего. Эмиграция в лице своих лучших, непредвзятых представителей верила в будущее России и хотела в меру своих сил работать на то время, «когда беспристрастие в России вновь восторжествует и будет считаться свойством, для всякого историка и исследователя обязательным»⁷.

Уже в возрасте 67 лет, понимая, что силы уходят, а «золотая книга» так и не написана, Георгий Адамович вновь пытается расшевелить одряхлевшую русскую общину.

«Сорок лет — срок для всякой эмиграции огромный. Первое и даже второе поколение русского зарубежья, что же закрывать на это глаза, доживает свой век, а «смены» нет, и если бы даже она появилась, то многого уже не знала бы, да и, пожалуй, не поняла бы. Не сегодня-завтра может наступить момент, когда не найдется уже людей, которые в состоянии были бы книгу об эмиграции составить с безупречной осведомленностью и достаточно широким кругозором, не найдется и средств, необходимых для издания. Надо торопиться!»⁸.

При жизни Адамовича книга так и не появилась, не появилась она и после его смерти. И теперь, сколько ни ищи в русских зарубежных изданиях упоминаний о казавшейся столь заманчивой и необходимой идее, ничего не сыщешь. Но потребность в такой книге есть. И уже не столько за рубежом, сколько у нас, в советской России.

В том, что в советской России пробудился и растет интерес к истории русской эмиграции, проглядывает та же логика, которой подчинялась и жизнь русской эмиграции, — логика служения отечеству, понимание вечного единства и неделимости русской культуры. Этой же логикой движим созданный недавно Советский фонд культуры; эту логику слышат и воспринимают «последние могики» русской эмиграции, передающие в дар отечеству те крупницы памяти, которые им удалось сохранить в тревожном плаваньи по волнам зарубежья.

Недавно произошло символическое событие, оставшееся малозамеченным лишь в силу того, что его «виновник» — Николай Павлович Остелецкий просил проявить скромность и сдержанность и «не выпячивать ни его имени, ни его поступка». Н. П. Остелецкий — один из старожителей русской эмиграции, ему уже за восемьдесят. Он — потомок знаменитого в России флотского семейства, а сейчас вот уже многие

годы — председатель Русского офицерского морского собрания в Париже*. По-своему откликаясь на происходящие в нашей стране перемены, он переправил с автором этих страниц для передачи в Севастополь, где он начинал свой путь русского морского офицера, ценнейшие реликвии боевой российской славы: шелковый Андреевский флаг с «Императрицы Марии» и Георгиевский крест, принадлежавший адмиралу Нахимову, ряд ценных картин, книг. Все это было вывезено за рубеж в роковой период разлома русской истории, а теперь, когда настало время «собрать камни», вернулось назад.

Возвращается ушедшая и долгое время отвергавшаяся память. И теперь, когда мы готовы наконец к давно ожидаемому путешествию по страницам этой памяти, будем к ней чутки, снисходительны и благодарны. Ведь она, эта память, сохранила для нас многое из того, что мы в расточительности и поспешности строительства «новой жизни» утратили или забыли прихватить с собой, ошибочно решив, что история кончается там, где ей приказано остановиться. Историю делят на этапы и периоды политики и ученые для удобства изучения или удобства политики, но сама история неделима. Она, как река, перетекает из одной области в другую, вбирая в себя притоки и ручьи. В истории русской культуры и общественной мысли эмиграция была, разумеется, не самым сильным притоком, но и она имела свои духовные и культурные ключи. Так зачем же нам отказываться от этого притока, если он питает главную реку жизни — историю нашей страны?

* * *

В августе 1922 года из России без суда и следствия, административным решением ОГПУ, ставшего несколько месяцев назад наследником ЧК, была выслана большая группа ученых, писателей и деятелей культуры. В истории после революционной России это был первый случай, когда людей «выдворяли» из собственного отечества, не спросив у них согласия.

Высылка 1922 года была последним крупным разрывом плоти русской культуры. Вслед за теми, кто покинул страну в отблесках пламени гражданской войны, высылались те, кто остался и не желал уезжать. Их изгнали потому, что, возвращенные на гордых принципах русской культуры,

* Пока писалась эта книга, Н. П. Остелецкий скончался (8 октября 1988 г.). Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

они не хотели менять убеждения, не желали смириться с изъятием права думать так, как им велела совесть. Речь об этой уникальной в истории взаимоотношений власти и интеллигенции высылке у нас пойдет позднее, и если мы вспомнили о ней с некоторой, может быть, поспешностью сейчас, то для того лишь, чтобы лучше понять и разобраться в том, что же собой представлял русский эмигрант. Один из высланных Федор Августович Степун, известный в дореволюционной России публицист, не очень удачливый романист в эмиграции, но оставивший два томика любопытных воспоминаний, много размышлял над сущностью эмигрантской жизни и психологии. Он поделился этими своими размышлениями в журнале «Современные записки» в 1923 году.

Высылались они ненадолго. Как было объявлено на Лубянке, на три года. Ехали в Европу с некоторым даже облегчением: казалось, что трех лет достанет, чтобы в России все улеглось, чтобы вышедшая из берегов река вернулась в свое русло, чтобы снова торжествовал закон, а не декрет. Но все же в душу закрадывалось сомнение: а что если не на три года? что если навсегда?

«Нет сомнения, если нашей невольной эмиграции суждено будет затянуться, она окажется совсем не тем, чем она многим в России казалась, — пребыванием в Европе, а гораздо более горшей участью, пребыванием в торричеллиевой пустоте»⁹, — писал Ф. А. Степун. И хотя Германия, согласившаяся по просьбе советского правительства принять изгнанников, встретила их весьма радушно, ощущение того, что их, невольных путешественников, изъяли пусть из неустроенной, полной опасностей, но все-таки реальной жизни и погрузили в пустоту, не исчезало. И это ощущение отрыва от нормальной жизни и перехода в существование в разреженном воздухе чужбины испытал каждый эмигрант. Сколько раз повторяли русские люди в сердцах — и в Праге, и в Берлине, и в Париже, и потом в Нью-Йорке — это короткое и такое страшное: «Все здесь чужое!»

«...И вот мы у подъезда одной из эмигрантских штаб-квартир. Входим в нарядный вестибюль. Наши спутники с невероятной тщательностью вытирают ноги: точно мужики, пришедшие в барский дом с иконами. Еще не успел показаться портю, как я уже слышу взволнованный шепот: «Пожалуйста, поздоровайся с ним». Я любезно здороваюсь и уже чувствую в себе некоторый заискивающий страх перед грозой дома. Чинная прислуга, чинная мебель, чисто, немножко голо, очень чужественно. Все свое, собствен-

ное, купленное — а связи с купившими нет: точно живут люди не в своей квартире, а в реквизированной»¹⁰.

Ощущение реквизированной квартиры, а в сущности, реквизированной жизни сквозит во многих эмигрантских воспоминаниях. Это ощущение вечной неустроенности, временности, зависимости — характерная черта эмигрантского быта. В первые годы, когда еще не испарились надежды на возвращение, эта неустроенность имела некое оправдание, казалась случайностью. Но и потом, когда прошло десять и двадцать лет и когда возвращение в Россию могло лишь присниться в болезненно-сладостном сне, эту печать реквизированности, изъятия из жизни носили на себе все, кто не утратил способности мыслить и чувствовать. Этот изъян потом несло в себе и молодое поколение эмиграции, «эмигрантские сыновья», названные Владимиром Варшавским «незамеченным поколением».

Ощущение неполноценности существования сказывалось в особой ревливой чуткости эмигрантского уха ко всему, что происходило в России. Любопытство это имело свои нюансы, определяемые эволюцией политических настроений русского зарубежья. В реакции первых лет было много от обиды, я бы даже сказал — от детской обиды, когда поставленный в угол ребенок хочет сделать своему обидчику больнее. В этом отношении любопытно свидетельство Федора Степуна, оказавшегося в эмиграции, как мы уже упоминали, не с первых ее месяцев, а с 1922 года. Русские эмигранты, встречавшие его на вокзале «Шарлоттенбург», в какой-то степени уже чувствовали себя старожилыми зарубежья. Каково же было их отношение к вновь прибывшим? Отношение это определялось не столько личностью приехавшего, сколько его оценкой событий на родине.

«Достаточно было, рассказывая о том, как жилось и что творилось кругом, отметить, — пишет Ф. Степун, — то или иное положительное явление новой жизни, все равно, совсем ли конкретное — что в такой-то деревне не осталось больше мещан, что все мещане обзавелись скотом, или более общее — что подрастающее поколение хотя и не учится, но зато развивается быстрее и глубже, чем раньше, — как мои слушатели сразу же подозрительно настораживались и даже странным образом... разочаровывались. Получалась совершенно непонятная картина: любовь, очевидная, патриотическая любовь моих собеседников к России явно требовала от меня совершенно недвусмысленной ненависти к ней. Всякая же вера в то, что Россия жива, что она защищается, что в ней многое становится на ноги, принималась как

цинизм и кощунство, как желание выбрить и нарумянить покойника и посадить его вместе с живыми за стол»¹¹.

Сходное ощущение от первой встречи с эмиграцией осталось и у такого вдумчивого наблюдателя, как Николай Александрович Бердяев. Впечатление, по его словам, было тяжелым. «Эмиграция встретила группу высланных подозрительно и недоброжелательно. Были даже такие, которые позволяли себе говорить, что это не высланные, а подосланные для разложения эмиграции».

«На меня мучительно действовала злобность настроений эмиграции, — вспоминает Н. Бердяев. — Было что-то маниакальное в этой неспособности типичного эмигранта говорить о чем-либо, кроме большевизма»¹².

Причину такого состояния эмигрантских умов и сердец не следует упрощать, как это нередко делалось в прошлом, когда все объяснения сводились к «физиологической ненависти» эмиграции к революции и большевизму. Ненависть, разумеется, была. Еще слишком жива была память о гражданской войне, поражавшей участников и наблюдателей взаимными жестокостями, нетерпимостью; еще не зажили раны вчерашних солдат и офицеров, еще слишком памятливы были стыд бегства из Крыма и унижения первых перевалочных лагерей в Галлиполи или на острове Лемнос. Да и само европейское гостеприимство, хлеб чужеземья оказался намного суше и горше, чем он казался во времена, когда русские смотрели на Европу из «Петрова окна». Еще не были осмыслены причины поражения белого движения. Непонятным казалось и то, каким образом большевики, которым в России не придавали серьезного значения как реальной политической силе, в столь короткий период сумели овладеть умами широких слоев населения, а затем и властью. Бердяевская мысль о том, что «революция в России могла быть только социалистической» и что «коммунизм есть русская судьба, момент внутренней судьбы русского народа»¹³, казалась эмиграции, по крайней мере в первые годы изгнания, ересью, вызовом, нонсенсом. Потребовались многие годы, нужно было пережить вместе с Россией вторую мировую войну, чтобы понять, что революция не была случайностью, вывихом истории. Но в первые годы эмиграции сердца беженцев вмещали и экзальтированную любовь к России, и фанатичную ненависть к ее новым правителям.

...Вспоминаю в этой связи одну из многочисленных встреч на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Однажды осенью, бродя меж знакомых уже могил (обыкновенно я

начинал свое традиционное осеннее паломничество с могилы Ивана Бунина, а кончал поклоном у черного мраморного креста Александра Галича), я увидел среди деревянных крестов старика с лейкой. Я был не один, привез побродить по русскому пантеону кого-то из московских гостей, и мы переходили, переговариваясь, от могилы к могиле. Старик услышал нашу речь, остановился. Но заговорить ему было неловко. Мы сами подошли к нему. Спросили, чтобы как-то завязать разговор, на чью могилу он ходит, сколько ему лет. Оказалось, что лет ему за восемьдесят, ухаживает он за могилой умершего несколько лет назад сына.

— А вы, стало быть, из Москвы? — спросил он. И голос его дрогнул. Старику было трудно говорить от волнения, его маленькие глазки покраснели, он с трудом сдерживался, чтобы не заплакать. Я заметил, как рука его дрогнула и потянулась ко мне. Он осторожно, точно при последнем прощании, гладил мне рукав и приговаривал тихо, едва слышно: «Деточка, деточка...» В этот миг, едва не прослезившись, я и в самом деле ощутил себя ребенком, сыном того же отечества, к которому принадлежал этот, уже близкий к порогу смерти старик.

— Вот, полегли здесь все, и правые, и виноватые, — сказал он, глядя на могильные плиты. — А что было делить? Делить-то было нечего...

И он зашагал прочь.

Мы окликнули его: хотелось узнать, кто он, как попал в эмиграцию.

— Как попал? — переспросил он. — Ну кому же это теперь интересно. Попал, как все. А кто я есть?..

Старик вдруг приосанился, поднял голову. Старческая его фигура неожиданно обрела стать.

— Полковник лейб-гвардии казачьего полка!

В эту минуту я подумал о том, что было время, когда в руке полковника не вздрагивала шашка, а ум не знал сомнений. Теперь это был одинокий старик, переживший и время, и ненависть и приезжающий на русское кладбище, чтобы послушать русскую речь...

Он был одним из множества русских эмигрантов, которые оказались на чужбине по разным причинам и разными путями, но объединяло всех их одно — общий, почти не знающий вариантов эпилог: смерть на чужбине, смерть в забвении, в одиночестве, в горькой тоске.

В первые годы эмиграция представляла собой сложнейшее сплетение личностей, судеб, характеров, целей. И бы-

ло бы упрощением приводить всю эмиграцию к какому-то одному негодующему знаменателю. Бытовавшие в нашей лексике десятилетиями словесные наборы типа «контрреволюционное отребье», «белоземлянтское охвостье», «лакеи империализма» и т. п. хотя и отражают определенный этап нашего отношения к эмиграции, но, разумеется, не могут исчерпать столь сложное и многоплановое явление.

В подобных оценках много от некогда популярного лозунга «кто не с нами, тот против нас». Да, эмиграция была не с нами, но далеко не всегда против нас и уж, во всяком случае, не против России.

Для лучшего понимания эмиграции не лишне взглянуть на то, как сама эмиграция оценивала себя, какими ей виделась достоинства и недостатки русского зарубежного общества. И здесь нужно сказать, что в этом самоанализе было много горьких, справедливых и точных прозрений. Разумеется, были и кичливость, и самовосхваление, было желание причислить себя к «соли земли». Но в подобных суждениях проглядывает скорее распространенный среди эмигрантов комплекс неполноценности, нежели реализм. На самом же деле эмиграция весьма скромно оценивала свою роль и место. В оценках преобладают скептические, а зачастую и иронические ноты. Да и самооценок, в сущности, не так уж и много.

Вот как пишет об этом Федор Степун:

«Художники, мыслители, писатели, политики, вчерашние вожди и властители, духовные центры и практические организаторы внутренней жизни России, вдруг выбитые из своих центральных позиций, дезорганизованные и растерявшиеся, потерявшие веру в свой собственный голос, но не потерявшие жажду быть набатом и благовестом, — вот те совершенно особые по своему душевному звуку, ожесточенные, слепые, впустую воюющие, глубоко несчастные люди, которые одни только и заслуживают карающего названия эмигрантов... Эмигранты — души, еще вчера пролежавшие по духовным далям России привольными столбовыми дорогами, ныне же печальными верстовыми столбами торчащие над собственным своим прошлым, отмечая своею неподвижностью быстроту несущейся мимо них жизни»¹⁴.

В оценках Ф. Степуна большой интерес представляет разделение русского зарубежья на две весьма похожие в бытовом отношении и очень различные в духовном положении: на эмиграцию и «эмигрантщину».

К «эмигрантщине» Ф. Степун относит тех из беженцев, кто, «схватив насморк на космическом сквозняке революции, теперь отрицает Божий космос во имя своего насморка»¹⁵.

Погрязший в «эмигрантщине» — это человек, в котором ощущение причиненного ему революцией непоправимого зла и страдания является самодовлеющим; это человек, в котором обида заслоняет и видение бытия, и восприятие истории. Принадлежавшие к «эмигрантщине» люди окружавший их мир воспринимали исключительно как катастрофический, населенный духами зла, наиболее полное воплощение которых они видели в большевизме. Для них жизнь — это беспрестанный распад, разложение. Свидетельства приезжавших из России в начале 20-х годов людей о том, что в стране намечались перемены к лучшему, что экономическая и духовная жизнь возрождается, — эти свидетельства вызывали у них невыносимую, почти физическую боль. Именно эти доводящие неприятие новой России до экзальтации, а ненависть — до фанатизма люди питали хронику эмигрантских газет самоубийствами, скандальными драками и террористическими выходками. Двое из таких фанатиков в феврале 1922 года пытались убить П. Н. Милюкова, приехавшего из Парижа в Берлин с лекцией по случаю пятой годовщины Февральской революции.

Выступления Милюкова, издававшего в Париже серьезную эмигрантскую газету «Последние новости», всегда привлекали большое внимание. И на этот раз в Берлине был снят один из лучших столичных залов в Филармонии. Бывшего министра иностранных дел во Временном правительстве Милюкова в эмиграции многие считали «левым», и устроители вечера, опасаясь неприятностей со стороны монархистов, приняли меры предосторожности: была предупреждена полиция, в первом ряду сидело несколько детективов в штатском. В Милюкова стреляли уже после доклада, когда он начал отвечать на вопросы. С криком «Мсть за царицу Александру Федоровну!» к трибуне подскочил какой-то человек и начал беспорядочно стрелять из револьвера. В поднявшейся суматохе убит был не П. Н. Милюков, а В. Д. Набоков, отец писателя Владимира Набокова (Сирина). В. Д. Набоков издавал в Берлине вместе с И. В. Гессеном и А. И. Каминкой газету «Руль». Судя по всему, это был очень мужественный человек. Услышав выстрелы, он кинулся на сцену и вступил в рукопашную с одним из убийц. В это время другой налетчик, стоявший в проходе зала, выстрелил ему в спину, смертельно ранив.

Убийцы были арестованы. Ими оказались бывшие офицеры, работавшие в Берлине шоферами. На процессе Р. Шабельский-Борк и С. Таборицкий держали себя нагло, вызывая и были приговорены к 20 годам каторги. Однако уже через несколько лет они были помилованы президентом Гинденбургом, а при Гитлере даже пытались играть роль вождей эмиграции. Небезынтересная деталь: на следующий день после покушения на «красного» Милюкова камера Шабельского и Таборицкого была завалена цветами от монархически настроенных русских¹⁶.

Эти ничему не научившиеся ни в революции, ни в эмиграции остатки монархической «гвардии» и являлись, в сущности, той частью русского зарубежья, которую Ф. Степун именовал «эмигрантщиной». Она была отрицанием будущего во имя прошлого. Однако душ, пораженных микробами «эмигрантщины», было немного. И не они определяли духовную и культурную жизнь зарубежной России. Но это была весьма активная и, как всякое зло, агрессивная часть эмиграции. В этом — одно из объяснений того, почему в нашем восприятии богатая и в духовном, и в культурном отношении жизнь русского зарубежья так часто ассоциировалась именно с понятием «эмигрантщины», то есть с самой узкой, самой недемократичной и самой малокультурной частью эмиграции, со своего рода черносотенством.

Большая часть русской эмиграции, прежде всего интеллигенция, являла собой сообщество, исполненное высокой ответственности за настоящее и будущее России. В эволюции советской власти она чутко и жадно ловила те черты и признаки, которые помогли бы ей встать на путь возвращения и примирения. Горестно, а не злорадно переживала она неудачи и трагедии советской России. Духовное состояние этой лучшей части эмиграции определялось не столько внутренней жизнью зарубежья, сколько отзвуками событий в покинутом отечестве. Вести эти, поступавшие из России и с течением лет становившиеся все тревожнее и темнее, вызывали в эмиграции бурные и горестные споры. Перед эмигрантской интеллигенцией стояла сложная задача: как сохранить противоречивое равновесие между неприятием происходившего в России и пониманием того факта, что все это является неотъемлемой частью настоящей страны, а следовательно, и их настоящего.

«Русская эмиграция в лице наиболее чутких и творчески-ответственных, можно бы даже сказать — совестливых, своих представителей, — писал Георгий Адамович, — оказалась одушевлена двойственным стремлением, вносяв-

шим разлад в ее духовное состояние: с одной стороны — смотреть в будущее, каково бы оно ни было, быть обращенным к будущему, чтобы по мере сил принять в его устройении участие, с другой стороны — помнить о прошлом, не возвеличивая его без разбора, но и не клеветая на него, твердо хранить из его достояния то, что сохранения достойно. Кроме того: с одной стороны — оставаться подлинно русскими, быть подлинно верными России, нас создавшей и воспитавшей, с другой стороны — отбрасывать доводы и соображения сусально-патриотические, не изменять самим себе на том основании, что этого будто бы ждет и даже требует от нас наша обновленная родина»¹⁷.

По своему профессиональному, сословному и материальному положению, по своим идеалам и политическим приверженностям эмиграция была крайне разнородным явлением. Достаточно сказать, что русские, оказавшись в эмиграции, воссоздали, хотя и не всегда в четко оформленном виде, почти точную копию политической карты дореволюционной России: здесь были свои социал-демократы, либералы, свои кадеты, эсеры, свои черносотенцы и «октябристы», свои монархисты и анархисты. На эту дробность неоднократно сетовали политические деятели русского зарубежья, которые желали бы видеть эмиграцию более монолитной, а следовательно, и более пригодной для решения политических задач. Однако большинство эмигрантов не желали быть пленниками политических доктрин, тем более доктрин эмигрантских.

«Слава Богу, — радовался Г. Адамович, — что сотни и тысячи русских людей в эти трагические для России годы использовали свои силы, дарования и ставшую их уделом свободу для творчества, которое бесследно развеяться в воздухе не могло и которое войдет когда-нибудь в «золотой фонд» русской культуры! Слава Богу, что эти люди не впали в уныние, не соблазнились донкихотством, благородным, но в конце концов бесплодным, и продолжали работать в той области, где им удалось и проявить себя, и послужить развитию русского, а значит, и общечеловеческого духа!

Конечно, можно понять горечь, досаду, нетерпение иного неукротимого борца за «поруганные идеалы», негодующего, что эмигранты вместо того, чтобы рваться на воображаемые баррикады, пишут стихи, сочиняют симфонии или расшифровывают полуистлевшие древние записи, можно временами, под непосредственным впечатлением каких-нибудь газетных известий оттуда, из-за «железного занаве-

са», даже разделять эти чувства, но когда вспоминаешь все, что русской эмиграцией было создано — и порой в каких условиях создано! — испытываешь удовлетворение»¹⁸.

У русской эмиграции было немало заблуждений и ложных надежд. Она заплатила дань и политическим иллюзиям. Но эмиграция отнюдь не была слепцом, безропотно следующим на поводу у ненависти. Осуждая, и справедливо осуждая, в советской России антидемократические и антиправовые тенденции, эмиграция отдавала себе отчет и в том, что будущее русской культуры выплывает в новой России. Со спорами, но и с горячим интересом эмиграция воспринимала любое мало-мальски заметное явление в русской культуре, восторгалась этими явлениями, завидовала им. Поступавшие из России литературные журналы зачитывались до дыр, передавались из рук в руки. Приезжавшие из Москвы на гастроли театральные труппы собирали толпы восторженных эмигрантских поклонников. Русский послереволюционный авангард в живописи, в поэзии, в музыке был и гордостью, и завистью художников, оказавшихся в эмиграции. Но по мере усиления тоталитарных, догматических тенденций в литературе и искусстве, сужения сферы свободного творчества у эмигрантских деятелей культуры крепло сознание того, что именно они являются наследниками великой и свободной русской культуры. Эмиграция понимала, что главные культурные и творческие силы остались в России и продолжают, несмотря на все утеснения, хранить священный пламя русской культуры. Но понимала она и то, что в условиях свертывания демократии советские художники вынуждены платить тяжелый оброк насилию, конформизму, приспособленчеству. Эмиграция с болью следила за тем, как под ударами разраставшегося аппарата духовного насилия интеллигенция сдает одну позицию за другой.

Трагедия советской интеллигенции повышала ответственность зарубежных деятелей культуры за судьбы отечества. Оставшись без корней, без почвы, вглядываясь в «искусственное небо эмиграции», эти деятели культуры, в отличие от своих собратьев на родине, продолжали пользоваться такими важнейшими правами художника, как право на выбор, сомнение, поиск, отрицание, право на несогласие и самостоятельность мысли. И эти права свободного творчества позволили эмиграции создать и в живописи, и в литературе, и в музыке, и в философии такие творения, без которых картина русской художественной и культурной жизни XX века имела бы крупные изъяны.

Глава 2

ПУТЬ В ЭМИГРАЦИЮ

Лето и осень 1920 года стояли сухие, воздух был напоен запахом пыли и сухой полыни. Солдатам и офицерам постоянно хотелось пить, но воды не хватало, и это усиливало ощущение неизбежности надвигавшейся катастрофы. Ночи же были темные и безветренные, и это казавшееся таким спокойным и безучастным к страдальцам войны небо было одним из самых сильных и неотвязных воспоминаний людей, стоявших на пороге отчизны.

В мемуарах, которые военные, участники последних сражений в Крыму, напишут в изгнании, не раз будет повторяться как некое оправдание военного разгрома воспоминание именно о сухости последнего боевого лета. Указывалось на то, что белое командование не предполагало, что в результате засухи вода уйдет далеко к юго-востоку и северо-западная часть Сиваша окажется высохшей. В этом виделось роковое невезение. Вместе с тем в мемуарах и, в частности, в очень обстоятельной и документированной истории Корниловского ударного полка отмечается, что сведения о состоянии моря и, следовательно, о возможности передвижения по Сивашу (Гнилому морю) стали поступать в штабы красных только после 29 октября*. К этому времени судьба битвы за Крым фактически была предreshена. В этих же мемуарах отмечается, что уже 21 октября генералитет знал о неизбежности эвакуации. «Оборона была теперь необходима только для нормальной посадки на суда»¹.

28 октября, когда распространившиеся среди обороняющихся слухи об эвакуации стали отрицательно сказываться на боевом духе армии, генерал Врангель собрал представителей русской и иностранной печати и со свойственной ему прямоотой проинформировал их о создавшемся положении: «Армия, сражавшаяся не только за честь и свободу России, но и за общее дело мировой культуры и цивилизации, армия, только что остановившая занесенную над Европой кровавую руку московских палачей, оставленная всем миром, истекла кровью. Горсть раздетых, голодных, выбившихся из сил героев продолжает отстаивать последнюю пядь родной земли. Их силы приходят к концу, и не сегод-

* В этой главе даты, касающиеся эвакуации из Крыма, приводятся по старому стилю.

ня, так завтра они могут быть сброшены в море. Они будут держаться до конца, спасая тех, кто искал защиты за их штъками. Мною приняты все меры для того, чтобы на случай несчастья вывести всех, кому грозит кровавая расправа. Я вправе надеяться, что те государства, за общее дело которых сражалась моя Армия, окажут гостеприимство несчастным изгнанникам»².

Шли последние дни, когда грудь еще дышала воздухом отечества, а ноги стояли на пропитанной кровью, но родной земле. Однако дни, отделявшие от чужбины, были уже сочтены.

Армией, штурмовавшей перекопско-юшуньские позиции белых*, командовал Август Корк. Эстонец по происхождению, он окончил в 1908 году Чугуевское военное училище, а в 1914-м — Академию Генерального штаба. В царской армии имел чин полковника. 26 октября после трехчасовой артподготовки войска 51-й стрелковой дивизии под командованием Блюхера начали штурм. В девятом часу туман стал медленно рассеиваться. Главные перекопские укрепления состояли из громадного старого Турецкого вала и глубокого рва перед ним. Обычно этот ров был заполнен водой из залива. Теперь же он был сух. В начале десятого перед проволочными заграждениями Турецкого вала появились цепи красной пехоты.

В оценках численности потерь этого последнего крупного сражения за Крым, в деталях того, как проходил и окончился бой, имеются, в зависимости от стороны, определенные расхождения. По сведениям командующего армией красных Корка, потери наступавших составили 45 человек командного состава и 605 красноармейцев. Военные историки белой армии полагают, что эти потери занижены примерно в десять раз. Но даже и эти военные историки белого движения признают, что в целом потери красных были невелики. Сравнительно немногочисленны были и потери войск Врангеля. И это вполне вытекало из задачи главнокомандующего: осознав невозможность удержать Крым и неизбежность эвакуации, он стремился по мере сил сохранить численный состав армии, понимая, что в будущих политических торгах с союзниками именно численность и боеспособность армии будут его главным козырем. Военные историки русской эмиграции считают, что наступавшая армия Корка и Блюхера, одержав крупную

* Юшуньские укрепления являлись частью позиций белых на Перекопе и были эшелонированы на значительную глубину. Штурм этих укреплений красными завершил разгром белых у входа в Крым.

военную победу, овладев перекопскими укреплениями и, следовательно, открыв ворота в Крым, не сумела достичь одной из важных целей этой операции — полного уничтожения армии Врангеля. После эвакуации из Крыма эта армия продолжала еще в течение нескольких лет оставаться значительной силой. В общей сложности из Крыма эвакуировалось морем примерно 140 тыс. человек, половину которых составляли военнослужащие, а вторую половину — гражданские беженцы.

29 октября правитель Юга России, главнокомандующий русской армией генерал Врангель издает в Севастополе свой знаменитый приказ-обращение, фактически толкнувший маятник нового, эмигрантского безвременья.

«Русские люди!

Оставшаяся одна в борьбе с насильниками, Русская Армия ведет неравный бой, защищая последний клочок Русской земли, где существует право и правда.

В сознании лежащей на мне ответственности я обязан заблаговременно предвидеть все случайности.

По моему приказанию уже приступлено к эвакуации и посадке на суда в портах Крыма всех, кто разделил с Армией ее крестный путь, семей военнослужащих, которым могла бы грозить опасность в случае прихода врага. Армия прикроет посадку, памятуя, что необходимые для ее эвакуации суда стоят в полной готовности в портах согласно установленному расписанию. Для выполнения долга перед Армией и населением сделано все, что в пределах сил человеческих. Дальнейшие наши пути полны неизвестности. Другой земли, кроме Крыма, у нас нет. Нет и государственной казны. Откровенно, как всегда, предупреждаю всех о том, что их ожидает.

Да ниспошлет Господь всем сил и разума одолеть и пережить русское лихолетье»³.

В начале ноября 1920 года морская армада в составе 126 судов с грузом и со 135 693 пассажирами*, небольшим запасом провианта и обмундирования вышла в Черное море. Море было тихим, почти зеркально-гладким.

Вот как описывает последние дни белой армии в Крыму военный историк Корниловского ударного полка полковник М. Н. Левитов:

* Эти цифры приводятся в книге «Материалы для истории Корниловского ударного полка». По другим данным, содержащимся в книге К. А. Кривошеина «А. В. Кривошеин. Его значение в истории России начала XX века» (Париж, 1973), из Крыма ушли 145 693 человека, не считая судовых команд.

«Корниловская ударная дивизия под командой командира артиллерийской бригады генерала Ерогина 2 (15) ноября прибыла в Севастополь и приступила к погрузке на транспорт «Саратов».

В этот же день к генералу Врангелю в гостиницу Киста явились представители от полков 1-го армейского корпуса во главе с генералом Манштейном для принятия Знамен этих полков, стоявших в помещении Главнокомандующего. Генерал Врангель вышел к ним бледный, в черной черкеске и сказал собравшимся: «...Сейчас я убедился в том, что Европа и Америка нас предали. Результаты налицо: в моем распоряжении кораблей настолько мало, что я не могу на них посадить даже все остатки славной Армии, которая, истекая кровью, подходит к Севастополю. Куда мы идем, я не знаю, так как на мои вопросы, которые я рассылал в течение двух дней со дня юшуньской катастрофы, ответов нет. Я продолжаю по радио вести переговоры и думаю, что они увенчаются успехом. Где мы пристанем, я не знаю, но где бы это ни было, я прошу передать эту просьбу частям, сохранять безусловный порядок, дисциплину и, самое главное, уважение друг к другу. Потому что я в состоянии говорить за вас только тогда, когда буду уверен, что мы и там останемся такими же, как и здесь, твердо веря в нашу идею и в то, что вина в нашей катастрофе не в нас самих»⁴.

К утру 13 ноября к городу стали подходить части 1-й армии генерала Кутепова, и погрузка началась. Утром 14 ноября в Севастополе было совершенно спокойно, по городу ходили патрули юнкеров. На рейде стоял крейсер «Генерал Корнилов». Днем караулы и заставы стали стягиваться к Графской пристани. Около двух часов дня подошел генерал Врангель и поблагодарил юнкеров за службу. Затем он снял корниловскую фуражку, перекрестился, низко поклонился родной земле и на катере отбыл на крейсер «Генерал Корнилов».

За ним на «Херсон» погрузились юнкера. Последним оставил берег начальник обороны Севастопольского района генерал Стогов. Он остановился, перекрестился и заплакал. На берегу была масса народу.

Это было около 3 часов дня. А в 4 часа 45 минут большевики вошли в город.

Интересные наблюдения, касающиеся обстановки в городе и настроения уходящих из Крыма частей белой армии генерала Врангеля, имеются в воспоминаниях войскового старшины Атаманского военного училища в Новочер-

каске С. Рытченкова, написанных им в Болгарии в 1922 году и опубликованных лишь десятью годами позже в Париже⁵. Оценки автора, несмотря на их «казацкий подход», тоже несут на себе печать момента и, следовательно, представляют исторический интерес.

«...Лихорадочно жил эти последние дни Севастополь. 29 октября (по старому стилю) выяснилось, что часть училища, находившаяся в казармах Брестского пехотного полка и состоявшая из больных, слабосильных юнкеров, хозяйственной части, канцелярии, преподавателей и некоторых офицеров (основная часть училища была на фронте, занимая позиции по Сивашу), общим числом около 80 человек будет погружена завтра на один из пароходов. Было названо много судов, как-то: «Инкерман», «Александр Михайлович», броненосец «Георгий Победоносец», «Лазарев», дредноут «Генерал Алексеев» и другие.

30 октября было отдано приказание приготовить к погрузке, назначенной на 4 часа дня. Часов около 11 появилось уведомление, что оставшаяся группа училища будет погружена сегодня на дредноут «Генерал Алексеев». Быстро выносились вещи юнкеров и офицеров и грузились на подводы. Десятки гольтыбы окраин Севастополя, радостных и ожидающих приближения «своих», пользовались начавшейся эвакуацией: на глазах грабили бросаемое имущество в казармах и офицерских квартирах и тянули, зачастую с дракой, столы, стулья, кровати, дрова... Это была тяжелая картина начинавшегося развала и дикости пробуждавшихся низменных инстинктов. В четыре часа дня группа училища уже была на наплавном мосту Южной бухты, и катер начал перевозить ее на дредноут «Генерал Алексеев». В городе было тихо и спокойно. Казалось, ничто не предвещало оставления города красным. Бесконечные вереницы людей, нагруженных ящиками с английскими консервами, раздаваемыми в складе Американского Красного Креста, шли по наплавному мосту Южной бухты. Часов в семь вечера этот склад загорелся. Бушевавшее пламя быстро пожирало оставшиеся огромные запасы, и колоссальное зарево освещало почти весь Севастополь. Наконец юнкера были перевезены катером на молчаливо стоящий «Генерал Алексеев». Каждого входящего по освещенному трапу на палубу дредноута опрашивал вахтенный офицер и только после тщательной проверки и свидетельства других лиц пропускал на корабль... На следующий день прибывший с берега офицер сообщил, что строевая часть училища в полном составе прибыла с фронта и будет пог-

ружена на пароход «Лазарев». «Генерал Алексеев» заканчивал погрузку угля. Палуба этого красавца представляла что-то невозможное. Стояли коровы, бродили свиньи, в огромных клетках кричали гуси, куры, утки... Масса домашнего скарба, женщины, дети... Сваленный прямо на палубе уголь, еще не ссыпанный в угольные ямы, разносился ногами, и грязь и беспорядок были повсюду. Кроме училища на корабль были погружены кадеты Московского кадетского корпуса, Днепровская флотилия и много офицеров с семьями. Наконец подошли два буксира и, взяв на буксир «Генерала Алексеева», пыхтя и выпуская массу дыма из труб, с огромным трудом потянули корабль в открытое море, где он и бросил якорь в 12 верстах от города.

Перед выходом дредноута сошло на берег свыше 150 кочегаров, согласно приказу генерала Врангеля о том, что не желающие эвакуироваться могут оставаться в Крыму.

Ночью 1 ноября, часов в 12, мы узнали, что кочегаров не хватает и пары в котлах начинают катастрофически падать. В кочегары пошли все без исключения: генералы, штаб- и обер-офицеры, юнкера, казаки. Исключение было сделано Морскому корпусу, несшему караулы, и духовенству. Не могущие нести вахты в кочегарках за болезнью и слабостью были наряжены на дневальство к вещам. Открывалась стальная дверь, около которой стоял часовой кадет, и очередная вахта по железным трапам спускалась вниз. На глубине более 4 саженей ниже уровня моря виднелись фигурки людей, возившихся возле котлов и печей под наблюдением и руководством кочегаров. Работа была новая, неизвестная, тяжелая и ответственная. Через час работы было трудно узнать, кто стоит перед тобой. И только офицерские и юнкерские фуражки приблизительно определяли категорию лиц. Раздавались в минуты отдыха лихие и заунывные донские песни, и как-то странно было видеть атаманцев-юнкеров здесь, в кочегарках огромного дредноута «Генерал Алексеев». Невольно пришлось здесь, в кочегарках, сравнить теперешнюю Россию и дредноут «Генерал Алексеев»: сильно вооруженный, он был теперь самый слабый из всех в мире военных судов. У него были испорчены электрические провода, которыми управлялись 30 орудий. Не было снарядов, не было артиллеристов. Колоссальной мощности машины — но «Генерал Алексеев» был слаб, как и Россия. Мало было угля. Топилось всего десять котлов из двадцати. Была сильная армия — экипаж, доходивший раньше до 1300 че-

ловек, сейчас — сборная команда, распущенная, недисциплинированная, ничего не знающая. Число ее едва достигало 200 человек. Бывшую красоту России, ее честь, чистоту, никем не запятнанную, теперь заменяли грязь, пакость, помет, помой...»⁶.

Пароходы с беженцами и остатками белой армии вышли в море, переполненные до последней возможности. Люди теснились повсюду, где было хоть какое-то место, — на палубах, мостиках, переходах, в трюмах, на решетках у труб. Море было совершенно спокойным, и это избавило уходящих на чужбину от катастрофы в открытых водах. Все, кто был на палубе, не отрывая глаз, смотрели на медленно удаляющиеся берега. Начало смеркаться, на берегу кое-где засветились огоньки, но и они скоро растаяли в тумане. Погас последний огонек. И, наверное, каждый из уходящих в это плавание в никуда шептал про себя: «Прощай, Россия!»

Лишь немногие в этот миг отдавали себе отчет в том, что трагедия гражданской войны еще не окончена, что самая главная, растянувшаяся на несколько десятков лет трагедия русской эмиграции только начинается.



Много сложнее и трагичнее проходила эвакуация из Крыма гражданских лиц. Если солдаты и офицеры врангелевской армии уходили в приказном порядке и без особых хлопот, то гражданским беженцам приходилось домогаться пропусков и разрешений. Ситуация усугублялась тем, что на большинство беженцев эвакуация свалилась как снег на голову, и будущие эмигранты оказались совершенно не подготовленными к отъезду. Вопрос об эвакуации — а для многих, в сущности, вопрос жизни и смерти — решался в последние дни, иногда в последние часы и минуты.

Многие из гражданских до последнего момента колебались: ехать или не ехать. Да и, в самом деле, легко ли было менять отечество на чужбину, привычный образ жизни на неизвестность. Кроме того, значительная часть гражданских беженцев с севера и из центра России оказалась в Крыму не из политических соображений, а спасаясь от гражданской войны, разрухи, голода. Они рассчитывали, что с окончанием войны худая ли, но установится мирная жизнь и можно будет вернуться к нормальному труду. Мало кто представлял, какими будут

этот труд и эта жизнь. Но даже убежденные противники большевиков в этот период считали для себя возможным остаться в России. К тому же для многих русских, воспитанных в высших понятиях чести и достоинства, представлялась унижительной сама идея бегства с собственной родины. Это настроение было настолько распространенным среди дворянской и служилой интеллигенции, что высланный из советской России А. В. Пешехонов в изданной за границей брошюре «Почему я не эмигрировал» ставил эмигрантам в вину то, что многие из них уехали добровольно.

В эмиграции эта брошюра наделала много шума «своей бестактностью». Действительно, для большинства беженцев, военных и гражданских, связавших свою судьбу с белым движением, выбора не было. Или это был выбор между жизнью и смертью. В своих мемуарах князь В. А. Оболенский, бывший с 1918 года в Крыму председателем губернской земской управы, вспоминает о судьбе министра финансов крымского правительства А. П. Барта, который отказался уехать. Аргументация А. П. Барта представляется интересной для понимания многих человеческих трагедий, которые произошли в Крыму с теми, кто, подобно ему, не послушался голоса страха. Голосу страха не вняли многие. По некоторым данным, в Крыму после эвакуации армии Врангеля осталось 60 тыс. безоружных солдат и офицеров⁷, сдавшихся «на милость» красным. Среди оставшихся в Крыму был, в частности, сын известного русского писателя Ивана Шмелева Сергей Шмелев. Он был схвачен в госпитале и расстрелян без суда.

«„Я решил остаться, — объяснял А. П. Барт, — так как ехать некуда. Нужно смотреть прямо в глаза действительности: борьба кончилась, и большевистская власть укрепилась надолго. Это тяжело, но что же делать, нужно как-то приспособливаться. К тому же я почти уверен, что мне лично никакой опасности не угрожает. Ведь уже в прошлый раз большевики в Крыму* никого почти не казнили, а теперь, окончательно победив своих противников, они захотят показать себя милостивыми. Все это я обсудил и бесповоротно решил остаться в Симферополе“.

Через месяц этот рассудительный и патриотически настроенный человек был расстрелян во дворе симферопольской тюрьмы.

* Имеется в виду кратковременное занятие Крыма красными в 1919 году.

Вероятно, так же, как А. П. Барт, рассуждали многие из сорока тысяч человек, расстрелянных в Крыму вскоре после нашей эвакуации, ибо бескровный большевистский режим весны 1919 года многих ввел в заблуждение⁸, — пишет в своих воспоминаниях В. А. Оболенский.

Колебания многих людей, оказавшихся в Крыму перед выбором, отчасти связаны и с тем, что многие из оставшихся в Крыму гражданских были весьма далеки от политики, не сочувствовали ни белому, ни красному знамени. В Крым их привели превратности судьбы, иногда — самые неожиданные, порой — комические, как, например, обстоятельства, заведшие в эмиграцию одного из петроградских инженеров, о судьбе которого рассказывает В. А. Оболенский.

Их было двое, молодых русских инженеров, недавних студентов. Они жили в Петрограде в одной комнате в голодном 1918 году и не помышляли об эмиграции. Оба уже работали по специальности при новой власти. Разница между ними состояла в том, что один был здоров, а другой страдал расстройством пищеварения и не переносил постного масла. Эта маленькая деталь и привела одного из них в Париж, другой же остался в Петрограде. Тот, который был болен, вынужден был перебраться в Крым, где в то время продовольствия было вволю. В Крыму, служа инженером у разных южных правителей, он и попал в поток эмигрантов, хотя ничем не запятнал себя перед большевиками.

Много лет спустя оба инженера встретились в Париже. Один из них был давним эмигрантом, другой — «совслужащим», приехавшим в командировку. Вопрос об эмиграции в этом конкретном случае был обусловлен нехваткой коровьего масла. Разумеется, рассказанная В. А. Оболенским история — лишь иронически окрашенный эпизод из жизни эмиграции. Но за ним стоит многое. При беседах со старыми эмигрантами слово «случайность» всплывает не так уж редко, когда речь заходит о причинах эмиграции.

Сам В. А. Оболенский обязан своим отъездом «в последнюю минуту» тоже маленькой случайности. Транспорт «Рион», на который у него имелся подписанный генералом Врангелем пропуск, ушел раньше времени. Часть пассажиров осталась в катастрофическом положении. Уехать В. А. Оболенскому помог «французский офицер», случайно встреченный в порту. Им оказался капитан Пешков — брат Якова Свердлова и приемный сын М. Горького.

В это время он уже был на французской службе и впоследствии дослужился до чина генерала. Он и устроил семью В. А. Оболенского на французский броненосец «Вальдек Руссо», стоявший на севастопольском рейде.

В. А. Оболенский был в числе тех русских людей, которые до самого последнего момента не помышляли об эмиграции. Решение об отъезде было принято буквально в последние дни под напором обстоятельств: оба сына Оболенского, которых он считал погибшими, за несколько дней до падения Крыма, бежав из плена у красных, пробрались в Севастополь. Это и предредило отъезд, ибо оставаться в Крыму для них было равносильно самоубийству.

«Те несколько минут, в течение которых я решил покинуть Россию, — пишет В. А. Оболенский, — вспоминаются мне, как самый трагический момент моей жизни. Я не принадлежу к числу людей, у которых «глаза на мокром месте», но тут я не выдержал и разрыдался»⁹.

В. А. Оболенский, подобно многим русским беженцам, уже предчувствовал, что в эту минуту кончается настоящая, полная жизнь и начинается совсем другая. В 1937 году, в возрасте 68 лет*, он так подвел итог своей эмигрантской жизни: «Эти годы я не могу назвать жизнью. Двадцать лет, проведенных мною в эмиграции, я ощущаю не как жизнь, а как доживание»¹⁰.

* * *

Эвакуация остатков белой армии из Крыма в сопровождении большого числа гражданских беженцев была, безусловно, кульминационным моментом эмиграции. Крымская эпопея и последовавший за ней исход получили отражение в русской литературе, публицистике, кинематографе. Столкновение белых и красных в Крыму в течение долгого времени питало и советскую, и эмигрантскую поэзию и даже фольклор. Вероятно, поэтому в массовом сознании русский эмигрант — это прежде всего человек, прошедший через Крым и проделавший вслед за этим «типичный» маршрут беженца: военные лагеря в Галлиполи (Турция), Константинополь, остров Лемнос (Греция) для казачьей части эмиграции, затем «европейское шатание» по странам славянской или тяготеющей к славянской цивилизации — Болгарии, Югославии, Польше,

* Владимир Андреевич Оболенский скончался во французском городке Бюсси-ан-От в 1950 году на 81-м году жизни.

Румынии, Чехословакии, затем берлинское «сидение» и, наконец, парижский «финал» с «эпилогом» в Нью-Йорке.

Однако исход из Крыма был далеко не единственным. Тропы беженцев проходили и через афганскую, и китайскую границы (в Шанхае со временем образовалась весьма внушительная колония русских), и через Польшу, и Финляндию, и через прибалтийские буржуазные республики. Исход был весьма растянутым и во времени. В первые годы после революции, когда еще сохранялись многие демократические свободы и, несмотря на дипломатическую блокаду, значительные экономические, торговые и культурные связи со странами Западной Европы и Америки, сам выезд за границу в глазах советских властей не представлял еще никакого криминала. Многие руководители советского государства до революции подолгу жили в эмиграции, часто ездили в Европу по партийным делам, для поддержания связей с западной социал-демократией, и сам факт поездки за границу воспринимался спокойно: это была часть давней традиции русской интеллигенции, чуть ли не ритуал российской культурной жизни. Западная Европа еще не ассоциировалась с образом врага. Собираясь весной 1922 года на Генуэзскую конференцию, советская дипломатия намеревалась не отталкивать от себя буржуазную Европу, а «наводить мосты» экономического и политического сотрудничества, разрушенные в ходе мировой и гражданской войн. При жизни В. И. Ленина и в первые годы после его смерти продолжалась так называемая легальная эмиграция, то есть с разрешения властей. Для этого, как правило, было достаточно ходатайства кого-либо из членов правительства или известных большевиков.

В этот период с разрешения Ленина, Луначарского, Дзержинского, Бухарина, Зиновьева, Каменева за границу выезжали многие представители русской научной и творческой интеллигенции. Многим разрешалось выезжать для лечения. Отчасти, вероятно, сказывалось то, что русский рубль в этот период был конвертируемой валютой. Следует отдавать себе отчет и в том, что, несмотря на происшедшее размежевание, в русском обществе еще сильны были традиции идейной терпимости, диалога, еще не был наложен запрет на критику и полемику, как это произошло в 30-е годы. Многие из тех, кто оказался идейным или нравственным противником советской власти, сохранили в правительственных кругах крепкие дружеские связи, не-

редко основанные на совместной борьбе с царизмом. Еще не утвердилось воззрение, что врага нужно непременно уничтожать. Еще Максим Горький не произнес своей злополучной фразы «кто не с нами, тот против нас». При всей непримиримости Ф. Э. Дзержинского к врагам советской власти он умел уважать человека, понимал роль и место интеллигенции в русском обществе. Когда в 1922 году в Москве повторно арестовали Н. А. Бердяева, Дзержинский лично вызвал его на допрос, имел с опальным философом долгую беседу и не только освободил его из-под стражи, но и, учитывая небезопасность передвижения по ночной Москве, отправил его домой на служебном мотоцикле¹¹.

Но интеллигенция не могла принять те идейные и нравственные ограничения, которые накладывали на нее условия нового времени. Эта интеллигенция заявляла свой протест, вела идейную борьбу против начавшего набирать силу государственного бюрократического аппарата и поэтому становилась все более неудобной. Угодничать же она не могла и не хотела. Приходилось уезжать...

Однако и за границей многие эмигранты долгое время жили, считая себя советскими подданными и надеясь вернуться на родину. Но постепенно, по мере «усыхания» демократии в советской России, формирования психологии «поиска врага», отношения с эмиграцией и правила выезда за границу все более ужесточались. Изъявивший желание поехать по какому бы то ни было поводу на Запад автоматически попадал в разряд подозрительных. Имеются свидетельства близко знавших Сталина, в частности бывшего его секретаря Бориса Бажанова, о том, что генсек не любил поездок за границу даже ближайших своих сподвижников. Весной 1926 года Бажанов намерился поехать на несколько дней в Германию в командировку от Наркомфина (он в это время писал работу об основах теории конъюнктуры и нуждался в материалах). У него было две возможности получить разрешение: провести поездку через постановление Оргбюро ЦК или получить личное разрешение Сталина. Бажанов, учитывая свою близость к генсеку, решает испросить согласие у него. Ответ Сталина весьма типичен: «Что это вы, товарищ Бажанов, все за границу да за границу. Посидите немного дома»¹². Не дает результата и попытка Бажанова заручиться согласием Молотова. Ответ, по сути дела, тот же: «Пусть посидит дома».

«Теперь возможности нормальной поездки за границу

для меня совершенно отпадают», — констатирует Бажанов.

Нетрудно понять, что для рядового человека выезд за границу с середины 20-х годов был практически исключен. Эмиграция к этому периоду становится капельной. Фактически каждый выезд санкционируется самим Сталиным. Так, в 1931 году, после ходатайства Горького, он милостиво разрешает выехать за границу Е. Замятину, для которого после публикации на Западе романа «Мы» литературная жизнь в СССР уже была невозможна, его не печатают, начинается травля в газетах. Но его выезд — уже исключение. Сталин упорно отвергает неоднократные просьбы М. Булгакова о выезде за границу. Вернувшийся в 1932 году после долгого периода жизни в эмиграции Сергей Прокофьев до самой смерти в 1953 году (композитор умер в один день со Сталиным) так больше и не смог выехать за границу, где у него было множество поклонников. Культурные и гуманитарные связи советской России с внешним миром все более и более слабеют и, наконец, почти совсем прекращаются.

«Приток эмигрантов еще продолжался вплоть до 28-го, 29-го годов, — пишет в своих воспоминаниях Н. А. Кривошеина (урожденная Мещерская). — Потом если кому-нибудь и удавалось уехать из СССР, то чрезвычайно редко и трудно: понемногу выросла стена из чертополоха, невидимая, но и непроницаемая, и какое бы то ни было общение с Россией на долгие годы совсем прекратилось. Вот эта полная оторванность от родной страны, от того, что там делается, стала с годами одной из основных черт жизни и психологии первой волны людей, вынужденных стать эмигрантами»¹³.

Оценки масштабов послереволюционной эмиграции весьма противоречивы. Точную цифру, вероятно, назвать трудно, ибо сразу по окончании гражданской войны весьма сложно было определить, кто погиб в белой армии, кто ушел в эмиграцию, кто остался в России, переименовав имя и фамилию, что в то время было сделать несложно. Никаких серьезных подсчетов советские органы не делали, и все советские данные носят весьма общий характер. Разброс велик. Так, В. И. Ленин полагал, что число русских эмигрантов, которые рассеялись по всей загранице, составляет полтора или два миллиона. Источники, которыми пользовался В. И. Ленин, неизвестны. Кроме того, эти цифры относятся к периоду, когда отток эмигрантов еще не завершился. Наиболее вероятными пред-

ставляются данные Лиги наций. По подсчетам этой международной организации — предшественницы ООН, к 1926 году из России выехали 1160 тыс. человек. В письме В. И. Ленину по поводу лечения своего мужа А. И. Рыкова за границей Н. С. Рыкова называет цифру 2 млн. «...Мой муж страшно противится поездке за границу. Кроме давнишней неприязни к загранице ему неприятно встретиться с кем-либо из двух миллионов убежавших русских, неприятно жить в стране, языка которой он не знает, неприятно быть оторванным от России...»¹⁴.

Письмо датировано 1 июня 1921 г.

Однако русская послереволюционная эмиграция — лишь часть русского зарубежного рассеяния. Общее число наших соотечественников, проживавших за границей, было значительно большим. Эмигранты, покинувшие пределы России после революции, встретили в зарубежье большие колонии русских, оказавшихся по разным причинам вне пределов страны. Это и русские меньшинства, проживавшие до революции в Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше, и осевшие в Западной Европе русские военнопленные первой мировой войны, и военнослужащие русского экспедиционного корпуса, посланного на помощь союзникам. Переписи, проводимые за рубежом под эгидой Лиги наций, позволяют оценить общую численность русской диаспоры в 10 млн. человек¹⁵.

Сильнейшим насосом, втягивающим в себя потоки эмигрантов со всего мира, был Новый Свет — Америка, Канада, нуждавшиеся для своих быстро развивавшихся промышленности и сельского хозяйства в рабочих руках. Из России выезжали преимущественно беднейшие слои безземельного крестьянства, основывавшие в Америке, Канаде, Аргентине целые общины. Другой крупной группой эмигрантов были гонимые Русской православной церковью представители религиозных сект, в основном принадлежавшие также к крестьянству. С 1828 по 1915 год из России по этой линии выехало более 4,5 млн. Новая русская эмиграция отчасти тоже прошла через свое «открытие Америки». Когда в 1921 году большой группе русских донских казаков, и в частности курсантам Атаманского казачьего училища, пришлось из-за «происков французских властей», как считала эмиграция, эвакуироваться с греческого острова Лемнос, куда казаки попали после бегства из Крыма и жили на содержании французского правительства, у них было два пути: либо вернуться в Россию, либо выехать в Аргентину, где им

предлагались свободные земли. Дореволюционные эмигранты были преимущественно крестьянского происхождения. Это был экономический отток. Именно среди этой трудовой эмиграции после революции возникло сильное движение за возвращение на родину, что привело к определенному столкновению двух противоположных потоков. В то время как в 20-е годы из России продолжалась эмиграция научно-технической и творческой интеллигенции, навстречу шел мощный поток реэмигрантов. Наряду с тем, что в центрах Европы — Берлине, Праге, Софии, Белграде, Париже — зарождались первые белоэмигрантские союзы и объединения, направленные своим идеологическим острием прежде всего против новой власти в России, в это же время в массовом порядке — правда, не столько в Европе, сколько в Америке, Канаде и Аргентине — создавались инициативные группы по возвращению на родину.

Сохранились сведения, что, например, только за последние месяцы 1920 года и первые месяцы 1921 года через Либаву (ныне Лиепая) прошло свыше 16 тыс. реэмигрантов. Декретом Совнаркома от 22 августа 1921 г. был определен порядок получения этой категорией лиц советского гражданства.

Многие группы эмигрантов из России обращались к советскому правительству с просьбами разрешить им вернуться на родину. «Трудовые и беднейшие элементы колонии, — говорилось, например, в письме российских эмигрантов, проживавших в Лос-Анджелесе (США), — повсеместно являются самыми искренними друзьями Советской России, бедствие которой в настоящее время заставило нас сплотиться для помощи голодающим. Мы верим и ждем, что Советское правительство поможет нам осуществить нашу мечту о возврате на родную землю для коммунистического строительства»¹⁶.

С октября 1922 года по август 1925 года специальная комиссия Совета Труда и Оборона дала разрешение на въезд в СССР 21 группе крестьян (2689 человек) для работы в сельском хозяйстве и 11 группам рабочих (3249 человек) для работы в промышленности. Кроме того, в персональном порядке за этот период комиссия выдала разрешение на въезд 1773 реэмигрантам. Все эти данные относятся к возвращению на родину дореволюционных эмигрантов из Америки. Но одновременно с ними возвращались и те, кто еще вчера с оружием в руках сражался против советской власти.

3 ноября 1921 г. был принят декрет ВЦИК об амни-

стии рядовых участников белогвардейских военных организаций. «Советская власть не может равнодушно относиться к судьбе этих рабочих и крестьян, которые, поняв свои заблуждения, стремятся вернуться на родину, чтобы своим трудом искупить свои ошибки и помочь восстановлению народного хозяйства», — говорилось в декрете.

В течение одного лишь 1921 года в советскую Россию вернулось более 120 тыс. бывших белогвардейцев. К сожалению, вскоре после смерти Ленина, по мере того как в стране насаждалась психология классовой ненависти и «поиска врага», процесс возвращения эмигрантов постепенно затухал. Случаи возвращения становятся редкими. И надо было ждать двадцать лет, чтобы этот иссохший поток снова ожил — на этот раз как результат победы советского народа в Великой Отечественной войне и последовавшего за ней всплеска патриотических настроений в среде русской эмиграции.

* * *

В первые годы после окончания гражданской войны и исхода из России не принявших революцию в Европе сложилось несколько крупных эмигрантских центров. В 1920—1924 годах «столицей» русского зарубежья, во всяком случае, интеллектуальным его центром считался Берлин, хотя все крупные политические силы эмиграции с самого начала осели в Париже. Интенсивной была эмигрантская жизнь в Белграде, Софии. В Праге тогдашнее чехословацкое правительство широко открыло двери своих учебных заведений для русского студенчества и профессуры.

Несмотря на то что деятельность промонархических групп русских эмигрантов в Болгарии и Югославии вызывала справедливые протесты местной левой общественности (газеты тех лет сообщают о многочисленных случаях бесчинств и дебошей деморализованных и опустившихся врангелевских солдат и офицеров), в целом проход русской эмиграции через эти страны оставил хорошую и долгую память. Русские архитекторы-эмигранты приняли самое активное участие в восстановлении сильно разрушенного во время войны 1914—1918 годов Белграда. Известный русский архитектор Лукомский построил новый дворец в Топчидере, гвардейские казармы, Дом памяти царя Николая II. Под руководством профессора Станиславского был создан великолепный Краеведческий музей.

Русские специалисты составили геологическую карту Македонии, открыли в местечке Панчев под Белградом большой хирургический госпиталь¹⁷. Большой приток высококвалифицированной русской профессуры позволил поднять уровень высшего образования в стране.

Русские врачи, оказавшиеся в эмиграции, внесли заметный вклад в создание современной системы медицинского обслуживания, и в частности хирургической службы, в Болгарии. Они пользовались у болгарского населения огромной любовью и уважением. Однако для русских, привыкших к бурной интеллектуальной и культурной жизни Москвы и Петербурга до начала первой мировой войны, весьма скромная культурная жизнь той поры в Софии и Белграде казалась скучной и однообразной. Русских тянуло в крупные европейские центры — Берлин, Париж. Они предпочитали чаще всего скромную, иногда весьма бедную жизнь в этих столицах сравнительно обеспеченному существованию в славянских странах.

Формированию крупной русской колонии в Берлине способствовал ряд объективных обстоятельств. В условиях послевоенной инфляции в Германии русский конвертируемый рубль периода нэпа имел превосходный обменный курс. Германия была одной из самых «дешевых» стран Западной Европы. Все это способствовало предпринимательской деятельности русских, в частности издательской. Имелись и благоприятные политические условия. В этот период Франция и другие европейские страны еще не признали советское правительство. В посольстве на улице Гренель в Париже (сейчас там находится личная резиденция советского посла) в то время размещались эмигрантские учреждения. С Веймарской же республикой после окончания гражданской войны установились вполне нормальные отношения. В разгар нэпа в Берлин зачастили представители советского делового и коммерческого мира. Возник целый ряд фирм, предприятий, издательств, которые обслуживали и советский, и эмигрантский рынок. При известной свободе и не изжитых еще традициях культурных связей в берлинских издательствах широко публиковались не только эмигрантские, но и советские авторы. Число русских издательств в Берлине в начале 20-х годов было очень велико.

По свидетельству одного из знатоков русской эмиграции Глеба Струве, автора насыщенной фактами книги «Русская литература в изгнании», выпущенной в 1956 году,

помимо крупнейшего русского издательства Гржебина, который в конце 1920 года перенес свою деятельность из Петрограда в Стокгольм, а затем в Берлин, в столице Германии работали издательства: «Слово», Ладыжникова, «Эпоха», «Геликон», «Грани», Дьяковой, «Русское творчество», «Универсальное издательство», «Мысль».

В Берлине выходило в эти годы несколько русских газет и журналов, причем наряду с эмигрантскими (ежедневные «Руль», «Голос России», «Дни», еженедельная «Время», монархический журнал «Грядущая Россия») выходил и откровенно просоветский журнал «Новый мир», а позднее — «сменовеховская» газета «Накануне» (о «сменовеховстве» речь будет ниже). Русское население Берлина было в эти годы велико. Русские рестораны, русские книжные магазины, явное преобладание русских и русской речи в длинных очередях перед меняльными конторами, где чуть ли не каждый час менялся курс катастрофически падавшей марки и счет шел на миллионы. На жизни русской колонии отражалась общая нездоровая, лихорадочная атмосфера неустойчивости и спекуляции.

Особенностью жизни русского литературного Берлина в этот период было свободное общение между писателями эмигрантскими и советскими. Еще не было того отталкивания, той непримиримости, которые стали культивироваться сверху в период сталинизма. И те и другие еще осознавали себя частью единой русской культуры.

В Берлине был создан, по образцу петроградского, свой Дом искусств, собрания которого происходили в одном из больших берлинских кафе. Здесь свободно встречались эмигрантские и советские писатели. Читали свои произведения Ремизов, Ходасевич, Виктор Шкловский, Маяковский. Берлинский Дом искусств находился в сношениях с петроградским Домом литераторов.

С 1923 года в Берлине существовал Клуб писателей, где тоже встречались писатели разного толка. Так, 28 марта 1922 г. в прениях по докладу Н. А. Бердяева «Проблема любви у Достоевского» приняли участие с самого начала занявший резко антисоветскую позицию М. А. Алданов, недавно высланный из России Ф. А. Степун и советский писатель Виктор Шкловский. В течение следующих двух месяцев читали свои произведения или доклады В. Ф. Ходасевич, П. П. Муратов, А. М. Ремизов, советский режиссер Александр Таиров, высланный из России философ Б. П. Вышеславцев и Илья Эренбург. В прениях принимали участие Андрей Белый, Виктор Шкловский, Ю. И. Ай-

хенвальд, Ф. А. Степун, Н. А. Бердяев и др. Эта кажущаяся сейчас немислимой обстановка советско-эмигрантского «сожительства» и общения отчасти объяснялась тем, что в советской России до судебных процессов 30-х годов еще существовала относительная свобода мысли и печати.



Мало-помалу эмигрантская жизнь перемещалась в Париж. Этому способствовал ряд факторов. Фактор языковой, ибо французский язык был более распространен в среде русской интеллигенции, чем немецкий; фактор политический, ибо политический центр русской эмиграции находился в Париже; и, наконец, фактор материальный, ибо в Париже оказалось большое число всякого рода фондов, объединений, обществ взаимопомощи, русских банковских счетов, которые на первых порах, пока не наступило оскудение, могли поддерживать материально ту часть русской интеллигенции, которая не имела никакой профессии, дававшей бы пропитание на чужбине.

Жизнь русской эмиграции, во всяком случае во Франции, в этот период стала напоминать жизнь сжавшейся до крошечных размеров России. Это была как бы уменьшенная копия бывшей Российской империи со всеми своими противоречиями, болезнями, со своим величием и со своей нищетой. В Париже можно было жить, учиться, любить, ссориться, мириться, драться, крестить детей, работать или быть безработным, болеть и, наконец, ссориться перед смертью — и все это не выходя из русского круга общения.

В Париже были свои повара, портные, повивальные бабки, сводни, банкиры, проститутки, гадалки, шоферы, маляры, священники, учителя, врачи, были свои газеты, журналы, издательства, клубы, парикмахерские, рестораны. Я помню: когда в 1972 году впервые приехал в Париж, то на улице Муффтар, где некогда жилал Хемингуэй, еще работал русский ресторанчик «Зеленая лошадь», там можно было выпить стопку водки и поесть русских щей или гречневой каши. Сейчас на его месте, увы, уже не русское заведение, а китайский ресторанчик.

История эмиграции зарегистрировала многочисленные случаи, когда русские эмигранты, прожив во Франции, в Париже, десятки лет, так и не обзавелись французскими знакомыми, не научились говорить по-французски, а крутились в этом знакомом, родном, болезненном, сладком

и горьком кругу русских отношений. И до сих пор, приезжая на русское кладбище под Парижем в местечке Сент-Женевьев-де-Буа и бродя среди могил с известнейшими русскими именами (настоящий пантеон русской культуры), можно встретить 80-летних старичков и старушек, которые могут едва-едва связать несколько фраз по-французски, но зато говорят с великолепным петербургским или московским произношением, который нам и не снился.

В сущности, в эмиграции были представлены практически все классы и сословия распавшейся Российской империи: буржуазия, купечество, крестьяне (оказавшиеся в армии по мобилизации 1914 г.), казаки, офицерство, академическая интеллигенция, люди свободных профессий, врачи, бывшие помещики, чиновничество, студенты, оказавшиеся в армии, ремесленники, художники, писатели, артисты, общественные деятели, для которых в новой политической системе не нашлось места. Одно из интереснейших наблюдений над составом эмиграции: за рубежом оказалось крайне мало священников — выехало 10 процентов епископата и всего 0,5 процента священников. Духовных пастырей не хватало. По свидетельству митрополита Евлогия, возглавившего русскую церковь в эмиграции, к работе священниками пришлось приобщать людей других профессий, склонных и способных к духовной деятельности. Интересно, что в «батюшки» перекалвалифицировались многие бывшие офицеры.

При разговоре о русской эмиграции непременно встает вопрос и о том, как ее приняли за границей, и в первую очередь во Франции, куда со временем, к середине 20-х годов, перебралась основная часть эмигрантов. И здесь нужно упомянуть о тех в целом благоприятных факторах, которые способствовали тому, что русская эмиграция была принята во Франции и нашла с ходом лет свое достойное, более того — заметное место во французской жизни. Если даже теперь присмотреться ко многим явлениям французской культурной и интеллектуальной действительности, то непредубежденный взгляд различит в ней сильное и глубокое влияние той могучей культуры, которую принесла с собой русская пореволюционная эмиграция.

Представим себе на мгновение Францию начала 20-х годов, Францию, только что вышедшую из первой мировой войны. В стране безработица, хозяйство и финансы разрушены. И вот в страну вливается поток русских эмигрантов, оставшихся, как правило, без средств к существова-

нию. С большой прослойкой военного контингента, не имеющего ни профессии, ни устойчивых навыков труда. И вместе с тем это в основе своей высококультурные люди, выходцы из дворянства, общий образовательный ценз которых намного превышал средний французский уровень. Для правильной оценки положения эмиграции во Франции нужно принять в расчет и демографический фактор. В отличие от второй мировой войны, в которой потери Франции были сравнительно невелики, первая мировая война довела нацию до выморочного состояния. Из всех участников первой мировой войны Франция оказалась наиболее задетой с точки зрения демографии. Если сравнить Францию и Россию, то во Франции на каждые 100 военнослужащих было 10,5 убитых, тогда как в России — 5, в Германии — около 10. В целом в войне погибли 1,3 млн. французов — цвет нации, молодежь, те, кого принято называть людьми продуктивного возраста. К этому следует прибавить более 1 млн. инвалидов. Это по французским оценкам, которые считаются рядом исследователей заниженными. По американским данным, Франция потеряла в войне только убитыми 2,5 млн. человек. В стране обнаружился резкий, как сказали бы сейчас, дефицит женихов и мужей. И вот в этих условиях в стране появляется большое число молодых, образованных, культурных, хорошо воспитанных и сравнительно молодых людей. А если учесть, что большинство эмигрантов свободно или достаточно хорошо говорили по-французски и между ними и французским населением не существовало языкового барьера, то можно сказать, что русские были приняты в прямом смысле с распростертыми объятиями. Но... тут начинаются многочисленные «но».

В стране существовала безработица, и естественно, что правительство приняло меры для того, чтобы защитить интересы собственного населения. Кроме того, во Франции достаточно развита профессиональная корпоративность, и даже для француза стать членом престижной профессиональной группы очень трудно. Для русских это было практически невозможно, и многие из них оказались без работы. Врачам, адвокатам была запрещена частная практика: они могли работать лишь среди русского населения, да и то полуофициально.

Проще всего оказалось устроиться донским казакам и немногочисленным выходцам из крестьян. В то время во Франции еще имелись значительные площади необработанных земель. Цены на землю были невелики, и

многие русские при сравнительно малых средствах смогли купить клочки земли в провинции и довольно успешно вести сельское хозяйство. В округе Парижа были русские сады, огороды, снабжавшие зеленью и фруктами русские рестораны. Эмигранты устраивались работать в шахты, на заводы «Рено», «Ситроен», в горячие и вредные цехи крупных заводов. Здесь особых ограничений не было. Ну и, конечно, — это уже стало притчей во языцех — на улицах Парижа появилась масса русских такси, за рулем которых сидели, как правило, бывшие офицеры, чаще всего почему-то полковники.

...В глубине кладбища Сент-Женевьев-де-Буа есть несколько рядов могил, оформленных, в отличие от большинства других захоронений, с унылым однообразием. Скучная череда невысоких бетонных надгробий, сооруженных по единому образцу, как если бы и в потустороннем мире усопшие подчинены единой дисциплине. В центре этого участка высится невзрачный памятник, чем-то похожий на Вавилонскую башню в миниатюре. Из рассказа одного эмигранта я узнал, что невзрачный этот монумент сооружен по подобию первого памятника солдатам и офицерам, умершим в изгнании. Стоит тот в Галлиполи на кладбище 1-го армейского корпуса. Позднее, собирая материал для этой книги, я обнаружил некоторые подробности о печальном этом надгробии. Понял, что обликом своим оно напоминает унылые безлесые холмы Галлиполийского полуострова, которые окружали палаточный городок русских войск. Сооружен памятник из камней, разбросанных в изобилии по каменистой округе: их сносили на руках солдаты и офицеры Галлиполийского лагеря. По случаю строительства первого эмигрантского памятника был, как водится, отслужен молебен и издан приказ № 234 по армейскому корпусу:

«Русские воины, офицеры и солдаты! Скоро исполнится полгода нашего пребывания в Галлиполи. За это время многие наши братья, не выдержав тяжелых условий эвакуации и жизни на чужбине, нашли здесь безвременную кончину. Для достойного увековечения их памяти воздвигнем памятник на нашем кладбище... Воскресим обычай седой старины, когда каждый из оставшихся в живых воинов приносил в своем шлеме земли на братскую могилу, где вырастал величественный курган. Пусть каждый из нас внесет свой посильный труд в это дорогое нам

и святое дело и принесет к месту постройки хоть один камень. И пусть курган, созданный нами у берегов Дарданелл, на долгие годы сохраняет перед лицом всего мира память о русских героях...»¹⁸.

Открытие этого первого в истории русской эмиграции памятника состоялось 16 июля 1921 г. На памятнике надпись: «Упокой, Господи, души усопших! 1-й корпус Русской армии своим братьям-воинам, за честь Родины нашедшим вечный покой на чужбине в 1920 и 1921 и в 1854—1855 годах, и памяти своих предков-запорожцев, умерших в турецком плену».

Эта надпись интересна, в частности, тем, что в сознании солдат и офицеров «галлиполийское сидение» ассоциировалось с пленом. Ассоциация эта не случайна. Врангель, стремясь сохранить дисциплину и боеспособность бежавших из Крыма частей, поддерживал порядок и подчинение железными мерами. Газета «Последние новости», издаваемая в Париже П. Милюковым, писала, что в Галлиполи «солдат превращают в каких-то маньяков»¹⁹.

Грустные свидетельства об условиях пребывания в лагере оставил Б. Александровский в своих мемуарах, изданных в Москве в 1969 году: «Пустынный и безотрадный Галлиполи, «голое поле», как его называли обитатели лагеря, брезентовые палатки, одеяла и чашки американского Красного Креста, гнилые консервы, кутеповская игра в солдатiki, маршировка, гауптвахта за неотданное воинское приветствие или нечеткий ответ начальству, а для поднятия «духа» развлечения: футбол, самодеятельный под открытым небом театр без декораций и костюмов, лагерная газетка «паршивка», объединения офицеров за чашкой разведенного спирта, юнкерские песни канувших в вечность времен...»²⁰.

Много было жалоб на отвратительное, скудное питание, и вследствие этого — масса заболеваний. Полковник М. Н. Левитов вспоминает: «В Константинополе оно (положение. — В. К.) было отчаянным. Все вывезенные нами запасы из Крыма были отобраны «союзными комиссиями». Если и оказывалась помощь, то только из источников благотворительных. Так, например, один килового хлеб выдавался на 16 человек или две галеты на два дня. В Галлиполи все питание французы взяли в свои руки. В залог за это были взяты все вышеуказанные наши запасы продовольствия и наши корабли, среди которых была и плавучая ремонтная база нашего Черноморского флота большой ценности. Общая стоимость питания 1-го

армейского корпуса за десять месяцев обошла французов в семнадцать миллионов франков, что за вычетом отобранного у нас является полностью оплаченной нами... Для улучшения питания с нашей стороны были приняты меры. Так, Корниловский ударный полк арендовал клочок земли, и ему удалось собрать с него какой-то урожай. В Дарданелльском проливе была организована рыбная ловля»²¹.

Галлиполийский этап эмиграции растянулся на год. Для сохранения армии в боеспособном состоянии не хватало средств. Денег, вырученных от продажи реквизированного по пути следования белой армии церковного имущества, хватило ненадолго, союзники, не питая серьезных иллюзий относительно возможностей «белого реванша», скупились. По сведениям, поступавшим из советской России, большевики укрепляли власть, армию. Бывшие царские офицеры в массовом порядке шли под знамена красных. По некоторым подсчетам, почти половина офицерского состава царской армии перешла на службу Советам²². Даже если эти данные и завышены, на что указывает ряд исследователей, процент участия кадровых военных в молодой Красной Армии был достаточно высок, чтобы обеспечить ее профессионализм. Естественно, союзники отдавали себе в этом отчет и понимали, что долги Врангелю едва ли удастся вернуть.

К концу 1921 года бывшая армия Врангеля, ушедшая из Крыма, распалась. Войска переправлялись на Балканы. Кавалерийские части ушли в Югославию, армейский корпус Кутепова перебрався в Болгарию. Дисциплина перестала существовать. Бывшие добровольцы белой армии — одни с радостью от ощущения свободы, другие с тревогой по поводу непредсказуемости «беспогонного» существования — переходили на «гражданское самообеспечение».

Значительная часть офицеров, ушедших из Крыма, в конце концов после скитаний по Болгарии, Югославии, Румынии перебравлась в Париж. Там они и закончили свои дни. Скучное захоронение на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа — их последнее пристанище. Когда приходилось бывать на этом кладбище — а бывать там приходилось часто, ибо оно вызывает у русских приезжих большой интерес, — я всякий раз удивлялся тому, что на могилах дроздовцев, корниловцев, алексеевцев, в отличие от могил гражданских, почти не бывает цветов. Никто не мог объяснить мне причины этого странного

явления. Не могу я его понять и до сих пор. Есть только догадки. Одна из них связана с тем, что судьба офицеров-эмигрантов сложилась более неудачно, чем других беженцев. В отличие от гражданских, они попали за границу без семьи и без специальности. Большинство офицеров умели хорошо воевать, но были плохо приспособлены к гражданской жизни. Многим, вероятно, вредила офицерская амбиция, мешавшая найти пусть скромное, но все же приносящее некоторый доход дело. Сыграла роль, как мне думается, и нервная изношенность. Ведь эти люди прошли весь ужас и жестокость гражданской войны, бегства, безотрадность «галлиполийского сидения», мыканья по дорогам Европы. Борис Александровский, работавший в Галлиполийском лагере младшим ординатором лазарета, указывает на значительное число самоубийств среди солдат и офицеров, что достаточно свидетельствует о состоянии нервов белой гвардии. Сыграли свою роковую роль и водка, и кокаин, и бытовая неустроенность. Все эти обстоятельства, сложенные вместе, никак не способствовали созданию на чужбине крепких семей. Многие бывшие офицеры так и прожили холостяками и умирали без родных и близких. Вероятно, потому и нет на их могилах ни свежих, ни увядших цветов.

О судьбе эмигрантского офицерства, вовлеченного военной и политической верхушкой эмиграции в активную антисоветскую деятельность, у нас написано немало. Авторы романов, повестей, фильмов, в которых действуют эмигрантские боевики и лазутчики, в большинстве случаев основывались на документальных данных. Действительно, все это было — диверсионные группы, мечты о белом реванше, о возвращении на белом коне в «поруганную Россию», были воинственные призывы и реальные акты терроризма. Но степень вовлеченности русского офицерства, махровость его монархизма, думается, все же преувеличены. Это своего рода дань не только памяти гражданской войны, но и тому времени, когда в каждом эмигранте склонны были видеть врага. Активное участие в антисоветской деятельности за рубежом было свойственно прежде всего верхушке офицерства, близкой к монархическим кругам. Один из таких «непримиримых» офицеров Дроздовской дивизии М. Конради убил в лозаннском отеле «Сессиль» советского дипломата В. Воровского. Монархистски настроенные офицеры Р. Шабельский-Борк и С. Таборицкий

пытались убить в Берлине «красного» П. Милюкова. Именно выходец из монархических кругов Борис Каверда убил в 1927 году советского посла в Польше П. Войкова. В мае 1932 года бывший белогвардеец, активист подпольных монархических организаций убил в Париже выстрелом из пистолета французского президента П. Думера. Эти и им подобные акты осуждались эмигрантской общественностью (за исключением, разумеется, крайне правых), ибо ничего, кроме вреда, эмиграции они не приносили и только осложняли и без того непростые отношения русской общины с местными властями.

Большинству русских эмигрантов, особенно молодежи, претили воинствующие призывы вожаков «Русского общевойскового союза» (РОВС), который после смерти Врангеля в 1928 году возглавил бывший руководитель врангелевской контрразведки генерал Кутепов. Подавляющая масса эмигрантов, вволю хлебнувшая горя и мытарств на пути в Берлин и Париж, хотела самого элементарного — работы, учебы, семьи. Интересы большинства эмигрантов сосредоточивались не на политике, а в сфере культуры. Именно здесь русская эмиграция и внесла свой главный и достойный уважения вклад.

Не следует упускать из виду и еще одно обстоятельство эмигрантской жизни: приливы антисоветизма в эмигрантской среде не были чем-то абстрактным, раз и навсегда ей присущим. Как правило, они были реакцией на события в советской России. Эмиграция не могла не давать и, естественно, давала оценку всему, что происходило на родине. И нетрудно представить себе, какие эмоции вызывали в эмигрантской среде сведения о голоде и «кронштадтском мятеже» 1921 года, крестьянских восстаниях, забастовках, «церковных» процессах 1922 года, масштабах раскулачивания и ссылках крестьян на Соловки и в Сибирь, ликвидации кооперативного движения, методах коллективизации, притеснениях интеллигенции, о начале сталинского террора. В отличие от общественного мнения в советской России, которое все больше лишалось голоса, а потом и вовсе перестало существовать, эмиграция имела свое, чаще всего не совпадающее с советскими оценками мнение и, естественно, достаточно громко высказывала его. В течение многих десятилетий мнение эмиграции о событиях в СССР сплеча объявлялось антисоветчиной, предательством интересов родины. Но сейчас, когда мы сами

подвергаем честному анализу и горькой переоценке многое в недавней нашей истории, настало время посмотреть новыми, открытыми глазами на тот анализ и на те оценки, которые давала эмиграция «деяниям» сталинского периода. И вполне возможно, что многое в поведении и в резкостях эмигрантского голоса нам услышится в иной тональности. По-иному видятся и судьбы русского офицерства за границей, когда помотришь на них не глазами газетного публициста жестоких 30-х годов или автора политических детективов с привкусом «эмигранщины», а глазами тех честных русских офицеров, которые, пройдя ужасы двух войн подряд — мировой и гражданской, оказались не в эмигрантском раю, который сумела себе устроить лишь малая горстка бежавшей буржуазии и аристократии, а перед горькой чашей скудного эмигрантского бытия.

Интересные мысли, позволяющие лучше понять психологию и настроения рядового офицерства в эмиграции, содержатся в статьях Ф. Степуна, опубликованных в Париже в «Современных записках» в 1923 году. Не со всеми соображениями известного эмигрантского публициста можно согласиться, ибо и ему — при всей критичности ума и публицистической честности — свойственна, может быть, невольная «апологетика» эмиграции. Но его точка зрения дает возможность составить некоторое представление о том, как эмигрантское офицерство смотрело само на себя.

«Я никогда не был сторонником белого движения; как его идеология, так и многие из его вдохновителей и вождей всегда вызывали во мне если и не прямую антипатию, то все же величайшие сомнения и настороженную подозрительность. Такая невозможность внутренне сочувствовать белому движению была для меня в известной степени всегда тяжела...»

И далее Ф. Степун поясняет, почему:

«...Рядовое наше офицерство, каким я его застал на фронтах в обер-офицерских чинах, было совсем не тем, за что его всегда почитала радикальная интеллигенция. Как офицерство монархической России, оно, конечно, и не могло быть, и не было ни революционно, ни социалистично, но, как всякий обездоленный класс, оно было в конце концов как в бытовом, так и в психологическом смысле глубоко народолюбиво»²³.

Причисление офицерства к «обездоленному классу» требует, вероятно, пояснения, особенно с учетом того,

что в массовом сознании русское дореволюционное офицерство у нас всегда ассоциировалось и ассоциируется до сих пор с элитарностью, принадлежностью к «белой кости», к эксплуататорскому классу. Широкое участие офицерства в белом движении и последующая пропагандистская интерпретация этого факта в советской научной и публицистической литературе закрепили это представление. Между тем оценка поведения русского офицерства в революции, гражданской войне и в эмиграции требует нюансированного подхода. Нужно прежде всего отдавать себе отчет в том, что русское офицерство, вышедшее из мировой войны 1914 года, было уже далеко не таким, каким оно входило в ХХ век.

Тем не менее эта глубокая эволюция офицерского корпуса долгое время находилась вне поля зрения наших исследователей. В первые пореволюционные годы было, что называется, не до того, а затем в исторической науке взяли верх воззрения, которые уже не давали возможности объективно оценить место и политическую эволюцию армейского офицерства в бурный период нашей истории. Сейчас историческая правда начинает восстанавливаться, степень консервативности и контрреволюционности офицерства оценивается в трудах исследователей более объективно, с необходимой дифференциацией. Однако эти оценки и коррективы содержатся, как правило, в специальных трудах и статьях. Рядовой же читатель воспринимает человека в погонах, прошедшего гражданскую войну, все еще в тональности эмигрантского «фольклора» со всеми неизбежными и привычными атрибутами «белого офицера» — шампанским, девочками, фатализмом, кокаиновой экзальтацией.

Истинное лицо русского офицера в подавляющем большинстве было совсем иным. Вероятно, полезно напомнить, что дореволюционное офицерство относилось к интеллигенции и представляло более 10 процентов ее состава. Русская демократическая беллетристика, в частности посвященные армии рассказы и повести А. И. Куприна, грешила некоторой тенденциозностью и, совершенно верно показав отрицательные стороны армейского быта и армейской психологии, не всегда отмечала другие, которые и позволяли относить кадровых офицеров русской армии к военной интеллигенции. Профессорско-преподавательский состав дореволюционных академий Генерального штаба, Артиллерийской, Инженерной, Военно-юридической и Интендантс-

кой, а также офицерских школ, в том числе электротехнической, железнодорожной, авиационной, артиллерийской и пр., давал помимо военной такую научную и техническую подготовку, которая позволяла отнести значительную часть военных специалистов к научно-технической интеллигенции. Далеко не случайно из среды русского офицерства вышли многие известные советские ученые-академики П. Капица, Б. Пиотровский, А. Ферсман, О. Вялов, такие крупные ученые, как М. Муратов, Д. Ольдерогге, В. Пугачев, С. Толстов, известные советские историки К. Базилевич, П. Зайончковский, А. Зимин. Из офицерской среды вышел один из основателей Московского Художественного театра В. Немирович-Данченко.

Офицерскими детьми были и многие крупные советские партийные и государственные деятели: В. Антонов-Овсеенко, В. Куйбышев, В. Вотинцев, А. Коллонтай. Военная интеллигенция была достойной частью российской интеллигенции.

Что касается реакционности русской армии, то в ходе мировой войны политические симпатии офицерства претерпели весьма серьезные изменения. Потери ее составили более 60 тыс. офицеров. Чтобы пополнить командный состав, в армию в массовом порядке призывались студенты старших курсов, которым после ускоренного обучения присваивался чин прапорщика. Только в период с июля по декабрь 1914 года в офицеры с чином «подпоручик» было произведено более 6 тыс. человек. За годы войны из солдат в прапорщики (первый офицерский чин) было произведено примерно 22 тыс. человек, в том числе 11,5 тыс. — за боевые отличия на фронте²⁴.

Докладывая царю об итогах смотра войск Московского военного округа в декабре 1916 года, генерал Адлерберг обращал внимание Николая II на то, что «большинство прапорщиков состоит из крайне нежелательных для офицерской среды элементов». Среди офицеров было много выходцев не только из разночинной среды, но и из рабочих, мещан. Офицерские погоны получило немало чернорабочих, слесарей, каменщиков, полотеров, буфетчиков. Прочитав доклад, царь заметил: «На это надо обратить серьезное внимание». Однако история помимо воли императора и высшего генералитета уже сама формировала русский офицерский корпус.

Отнюдь не случайно, что после победы Октябрьской революции, далеко не всегда разделяя взгляды большевиков на предназначение России, оставаясь на позициях поли-

тического нейтралитета, огромные массы русского офицерства были готовы разделить с отечеством его новую судьбу. Здесь нет никакого парадокса или абстрактного народолюбия: за исключением кастовой, аристократической, близкой к высшим монархическим кругам и, в сущности, достаточно узкой прослойки привилегированного офицерства, основные массы служилых офицеров были достаточно близки к народу. Вот как пишет об этом Ф. Степун: «Выняченный денщиком, воспитанный в кадетском корпусе задаром или на медные деньги, с ранних лет впитавший в себя впечатление вечной нужды многоголовой штабс-капитанской семьи, кадровый офицер, несмотря на свое, часто стилистическое пристрастие к рукоприкладству и крепкому поминанию, зачастую много легче, проще и ближе подходил к солдату, к народу, чем многие радикальные интеллигенты»²⁵.

Воевали все, за очень немногими исключениями, честно и храбро, многие доблестно, разделяя с солдатами все тяготы войны. Санитарные двуколки без рессор, товарные вагоны, превращенные при помощи кисти маляра в санитарные, эвакуационные пункты, похожие на застенки, и в то же время бестактная роскошь великокняжеских или иных именных лазаретов, частая задержка нищенского жалованья, грязь и вши на этапах — все это рядовое офицерство готово было терпеть ради победы или во имя справедливого мира.

Призывы Временного правительства к войне «до победного конца» русское офицерство в целом воспринимало без всякого энтузиазма, весьма критически и повиновалось приказам в силу военной дисциплины. Вместе с солдатами и не меньше их оно ждало и жаждало мира. Но мира хотелось благодного, «святого», воздающего воину должное, мира, который был бы своего рода памятником погибшим и выжившим. У этого ожидания мира как некоего воздаяния были свои психологические причины. Ведь, в отличие от крестьян, которые, завоевав в солдатских шинелях мир, спешили вернуться к земле, от мобилизованных рабочих, которых ждали станки, от студентов, ставших прапорщиками и мечтавших вернуться в университетские аудитории, кадровому офицеру ждать было нечего, кроме морального воздаяния за победу, обретенную пролитой кровью. И казалось, что победа была уже не за горами и час возвращения близок. «И вот этот час был у него украден большевиками», — пишет Ф. Степун.

Федор Степун не был ни историком, ни политиком.

Он был одним из заметнейших в эмиграции публицистов, выразителем мнений эмигрантской среды. В его взглядах, выводах и оценках часто преобладает не факт и не научный анализ, а эмоции. Общее нередко заслоняется частным, если это частное психологически импонирует автору. Степун старается быть объективным, но эта объективность — с полем зрения, ограниченным эмигрантским частоколом. Но мнения и Ф. Степуна, и многих других литераторов эмиграции интересны именно психологичностью наблюдений, анализом эмоций, которые весьма часто предопределяли настроения и поступки эмиграции. И в этом ограниченном смысле мотивировки Ф. Степуна относительно участия русского офицерства в белом движении представляют несомненный интерес. Они позволяют многое понять в поведении русского офицерства на исходе в эмиграцию и в самой эмиграции.

«Долгожданный мир, — пишет Ф. Степун, — восходил над Россией не святым, а кошунственным, не в благообразии, а в безобразии, ведя за своей позорной колесницей со связанными за спиной руками, оплеванными и избитыми, тех самых принявших революцию офицеров, которые, многократно раненные, возвращались на фронт, чтобы защищать Россию и честь своего мира. Все это делает вполне понятным, почему честное и уважающее себя офицерство психологически должно было с головой уйти в белое движение. Но это делает понятным и то, почему уход офицеров в белое движение вполне мог не быть и чаще всего не был уходом в движение контрреволюционное»²⁶.

Но независимо от того, были ли офицеры политически нейтральны или контрреволюционны, судьба большинства из них и в революции, и в гражданской войне, и в эмиграции складывалась трудно, нередко трагически.

К началу революции в дивизионе, где служил Ф. Степун, было пятнадцать офицеров. В 1923 году ему удалось собрать сведения о двенадцати из них. Вот их судьбы: двое умерли от тифа, один расстрелян большевиками в Сибири, один зарулен красной конницей во время боя на батарее, один убит в армянской армии, один пропал в польской, один лишил себя жизни, один работает шофером на грузовике, двое бьют щебень на болгарских дорогах, и только двое служат в сербской армии.

Приведем несколько выдержек из писем бывших офицеров, ушедших с армией Врангеля в эмиграцию. В них прежде всего поражают глубокая эмоциональность, понимание трагичности собственной судьбы, так тесно переплетенной

с судьбой отечества. В этих отрывках есть и верные мысли, и раздумья, и заблуждения, но, слитые вместе, они дают возможность лучше понять психологию русского офицера, вовлеченного в водоворот революции, и в какой-то степени позволяют избавиться от упрощенного взгляда на попавшего в эмиграцию «поручика».

«Могу сказать только одно, и знаю, ты мневеришь: мы с братом служили возрождению России, как мы его понимали, не щадя ни сил своих, ни своего живота, в буквальном смысле слова. И мы готовы и дальше так же служить. От всякой же политики и общественной работы мы, разочарованные в ней и в своем к ней призвании, окончательно ушли»²⁷.

«Около семи лет борьбы, увлечений и разочарований... Нет, никакие политические эксперименты не дадут здорового разрешения хаотического узла России».

«А как грызутся, как спорят политические лагеря, какую бумажную усобицу ведут наши эмигранты, и, что странным кажется, ни один из лагерей не имеет ни своего вечевоего колокола, ни своего удела, а говорят «быть по сему» и баста».

«Как раз сейчас, когда я пишу, происходит собрание протеста (одного из бесчисленных по поводу процесса Тихона*). Меня туда не тянет. Не вижу ни смысла, ни значения этих протестов. Когда из нашей камеры уводили невинных, действительно невинных людей на расстрел, смешными и ненужными казались мне эти, себя обеляющие протесты...»

«Когда приезжал из отпуска на фронт, всегда чувствовал, что из суеты и суеты бурливых разговоров попадал в сферу только нужного, только важного и потому ясного... На фронте у меня на душе всегда было спокойно... В главном не было сомненья, в главном всегда ощущал: «так надо, так надо... иначе нельзя»; и было все просто, все ясно, как в Пифагоровой теореме. Но не дай Бог усомниться, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая».

В этих словах — многое для понимания психологии офицерства. В мировой войне оно участвовало, ясно видя, где правда, где ложь, где противник, а где свой. Защищали

* Речь идет о суде над патриархом Тихоном в Москве в 1922 году по делу о сопротивлении изъятию церковной собственности. В эмиграции этот суд наряду с серией других процессов над духовенством вызвал бурные протесты.

отечество. В этом было призвание, долг, к этому звали совесть, русская история, воинская честь.

Гражданская война спутала и разрушила эту веками воспитываемую ясность офицерского мировоззрения. Революция требовала, чтобы каждый сам за себя делал часто невыносимый выбор в условиях, когда были размыты понятия добра и зла, истины и заблуждения. Этот выбор многим оказался не под силу.

«И все же, несмотря на страшный тупик, в который очевидно попали лучшие участники Добровольческой армии, несмотря на полную утрату ими всех незабываемых основ жизни, на вполне откristаллизовавшееся в них отрицание всякого смысла замотавшейся в себе самой политической борьбы, — во всех полученных мною письмах, во всех разговорах с офицерами-добровольцами, — пишет Ф. Степун, — никогда даже и не мерещился мне тот мертвый звук эмигрантщины, который так часто, так явно слышится в злобном мудрствовании политических вождей и идеологов воинствующего добровольчества»²⁸.

* * *

Мечтания и политические амбиции вождей белого движения и реальные настроения, жизненные потребности подавляющего большинства эмигрантов, штатских и бывших военных, далеко не идентичны. Часто они были прямо противоположны. Сам факт быстрого развала монархической контрреволюции за рубежом и неспособность воинствующей верхушки правого крыла эмиграции организовать сколько-нибудь существенные антисоветские акции политического или военного характера свидетельствуют о том, что подавляющее большинство русских беженцев не желало участвовать статистами в действиях Врангеля, Кутепова или Миллера, возглавлявших «Русский общевоинский союз». Разумеется, в деклассированной, взвинченной и в какой-то степени «сюрреалистической» толпе эмигрантов, лишенных жизненной опоры, всегда находились истерические и фанатические личности. Что касается большинства эмигрантов, то для них реальнее были не раздававшиеся время от времени в Галлиполийском собрании* или в русской церкви на улице Дарю в Париже патетические призывы к «весеннему походу» против большевиков, дата которого неизменно отодвига-

* Объединение эмигрантов, главным образом бывших офицеров, прошедших через военный лагерь в Галлиполи.

лась, а трудовой день на рудниках Лотарингии, на поточной линии заводов «Пежо» или «Ситроен» или в лучшем случае за баранкой такси.

Сразу же после перехода бывшей врангелевской армии на «самообеспечение» в странах Юго-Восточной и Западной Европы перед бывшими военными и ушедшими вместе с армией гражданскими беженцами встали вопросы, как, где жить, как добыть средства на угол и пропитание в чужой стране. Но вслед за этим возникли и другие вопросы: зачем мы здесь, как преодолеть в себе «эмигрантщину», как найти путь к достойному и по возможности небесполезному существованию, как соблюсти «духовную гигиену» и не впасть в известные грехи «эмигрантщины» — брюзжание, обывательщину, склоки, пустые пересуды или бессильную злобу против виновников изгнания. Призыв к отказу от психологии ненависти звучит в статьях многих дальновидных деятелей русской эмиграции. «Люди думают, что они живут любовью к России, а на деле оказывается — ненавистью к большевикам. Но ненависть к злу, даже самая оправданная, не рождает добра. Чаще всего из отрицания зла рождается новое зло»²⁹, — писал историк и богослов, один из активных участников духовной жизни эмиграции Георгий Федотов (1886—1951), призывая русскую интеллигенцию зарубежья к культурной работе. Констатируя крах политического и военного «фронтов эмиграции», деятельность которых привела лишь к отчуждению от России, Г. Федотов зовет к той единственно реальной в условиях эмиграции позитивной работе, которая может служить объединению, — к работе в сфере культуры.

«Настоящий итог политической активности не велик, — пишет он. — Нет, не здесь заслуга эмиграции. Историк революционной России может пройти мимо этой политической страницы. Во всяком случае, до сих пор она не вплела лавров ни в чей венок. Остается третья* сфера эмигрантской деятельности — та, которая может похвалиться подлинными достижениями и которая несет в себе достаточное внутреннее оправдание. Это сфера культуры. Быть может, никогда ни одна эмиграция не получила от нации столь повелительного наказа — нести наследие культуры. Он (этот наказ) дается фактом исхода, вольного или невольного, из России значительной части ее активной интеллигенции. Он диктуется и самой природой

* Среди других сфер жизни эмиграции Г. Федотов выделяет политическую и военную.

большевистского насилия над Россией. С самого начала большевизм поставил своей целью перековать народное сознание, создать в новой России на основе марксизма совершенно новую, «пролетарскую» культуру. В неслыханных размерах был предпринят опыт государственного воспитания нового человека, лишённого религии, личной морали и национального сознания, — опыт, который дал известные результаты. Обездушение и обезличение новой России — факт несомненный. Творимая в ней в масштабах грандиозных техническая, научная и даже художественная культура как будто окончательно оторвалась от великого наследия России... Естественное творчество национальной культуры перехвачено, подверглось глубокой хирургической ампутации и организовано в самых жестоких формах государственного принуждения».

«Не отрицаем того, — продолжает Г. Федотов, — что многое, очень многое из культурных проявлений в России удовлетворяет потребностям нового советского человека. Но сколько его потребностей не могут быть удовлетворены! Сколько течений мысли, сколько мук совести, сколько скорбных размышлений безмолвно замирают в шуме коллективного строительства!

И вот мы здесь, за рубежом, для того чтобы стать голосом всех молчащих ТАМ, чтобы восстановить полифоническую целостность русского духа. Не притязая на то, чтобы заглушить своими голосами гул революционной ломки и стройки, мы можем сохранить самое глубокое и сокровенное в опыте революционного поколения, чтобы завещать этот опыт будущему, чтобы стать живой связью между вчерашним и завтрашним днем России».

Достаточно пролистать русские газеты, выходявшие за рубежом в течение нескольких десятилетий после начала эмиграции, чтобы убедиться в том, что русская интеллигенция (и тут ей не нужны были ни советы, ни поукания) интуитивно вняла этому нравственному призыву. Культурная жизнь русского зарубежья стала крупным явлением не только русской, но и мировой культуры XX века.

Культура русской эмиграции оказала существенное влияние на западноевропейские, прежде всего французские и немецкие, литературу, философию, живопись, театр, балет, декоративное искусство, оперу, музыку, исполнительское искусство. Это влияние продолжает сказываться и по сей день.

Часто действуя интуитивно, повинуюсь голосу сердца и

совести, русская интеллигенция, оказавшаяся в эмиграции, продолжала ту работу, которая была начата европейской интеллигенцией на стыке XIX и XX веков, была прервана первой мировой войной, революцией, отброшена назад засильем антиинтеллектуальных сил в период сталинского деспотизма, но которая в той или иной форме продолжала идти, — работу по созданию единого европейского фонда культуры — необходимейшего условия для развития связей между народами во имя сохранения общей земной цивилизации.

Сейчас, когда роль культуры в миротворческих усилиях людей становится все более значительной, настало время поднять из глубин памяти и те имена, события и явления, которыми была богата культура русской эмиграции, выполнить нравственный долг перед людьми, которые, оказавшись на чужбине, думали и творили во имя России.

Глава 3

В ЦЕНТРЕ ЕВРОПЫ

Сложности с устройством жизни в эмиграции возникли сразу же после эвакуации войск Врангеля и гражданских беженцев из Крыма. Большинство русских оказались в бедственном положении. Бриллианты, зашитые в подкладке пальто, были чаще всего лишь «эмигрантским фольклором», успешно перебравшимся впоследствии на страницы советской «разоблачительной» беллетристики. Разумеется, были и бриллианты, и тетушкины колье, и подвески, но не они определяли общий тонус житейских будней эмиграции. Самыми верными словами для характеристики первых лет жизни в эмиграции будут, пожалуй, нищета, убожество, бесправие.

Нужно помнить, что большинство уехавших из Крыма не были жителями юга России. Они докатились до Севастополя и Новороссийска, пройдя дорогами либо гражданской войны, либо беженства почти всю Россию с севера на юг. В эмигрантской толпе было больше всего петербуржцев, москвичей, жителей крупных промышленных и культурных центров России и Украины. Даже если что и было прихвачено в путь, все в дороге исхарчилось, растерялось или было попросту реквизировано. Да и что можно взять с

собой? Барские или профессорские квартиры, мебель, картины? Такого рода имущество в дорогу не возьмешь. Многие были прожито в холодные и голодные 1919 и 1920 годы, когда интеллигенция, оказавшаяся в самом бедственном материальном положении, вынуждена была продавать имущество за буханку хлеба, за дрова.

Сама революция грянула столь неожиданно и свершилась столь скоротечно, что даже те, у кого имелись накопления, не успели и ахнуть, как капиталы оказались реквизированными. Лишь единицы сумели перевести состояние за границу. К тому же революция была воспринята подавляющим большинством как насильственный захват власти, переворот. В сущности, мало кто верил, что большевикам удастся долго продержаться. Если сами большевики понимали, что удержать власть много труднее, чем захватить, то что же говорить о непосвященных. Кроме того, на первых порах казалось, что все не так страшно, пока не стала все туже и туже натягиваться тетива гражданской войны. Имущественные отношения новой власти и населения еще не были определены. Национализация банков, при которой капиталы потеряла лишь крупная буржуазия, не затрагивала интересов огромного слоя средних и мелких собственников и интеллигенции. Масштабы предстоящих экспроприаций и реквизиций, выселений из квартир или подселений, «уплотнений», разделения населения на тех, кто имеет право на паяк, и тех, кто такого права не имеет, еще никто не мог и представить. «Несвоевременные мысли» о возможном роковом разрыве между социалистическими, гуманными идеалами революции и ее реальными последствиями еще только начинают тревожить Максима Горького, а вслед за ним и все более широкие круги русской демократической интеллигенции. Эти мысли вскоре были пресечены: 16 июля 1918 г. газета «Новая жизнь», бывшая голосом русской интеллигенции в революции, была закрыта.

Революция, рождавшаяся из хаоса и развала мировой бойни, вызывала много вопросов и недоумений: почему арестован и оказался ненужным И. Д. Сытин, известнейший русский книгоиздатель, один сделавший для народного образования, по словам М. Горького, больше, чем все министерство просвещения; почему петроградских художников, никогда не державших в руках оружия, насильно посылают на фронт, а следовательно, на верную гибель; почему известного философа Н. А. Бердяева посылают чистить снег; почему большевики, так много говорившие до революции о свободе и демократии, закрывают несогласные с их

мнением газеты*»; почему социальная справедливость, к которой призывали поколения русских демократов, осуществляется под кощунственным лозунгом «грабь награбленное»; почему в обществе, объявившем своим идеалом равенство и братство, стали делить людей на полезных и бесполезных...

«Наша революция дала простор всем дурным и зверским инстинктам, накопившимся под свинцовой крышей монархии, и в то же время она отбросила в сторону от себя все интеллектуальные силы демократии, всю моральную энергию страны. Мы видим, что среди служителей советской власти то и дело ловят взяточников, спекулянтов, жуликов, а честные, умеющие работать люди, чтобы не умереть с голода, торгуют на улицах газетами, занимаются физическим трудом, увеличивая массы безработных»¹, — писал в марте 1918 года Максим Горький.

И все же в восприятии русской интеллигенцией революции было много романтического. Тяготы быта, чрезмерности беззакония полагали временными, готовы были списать их на «случайности», неумелость новой власти, на последствия войны. Революция воспринималась как великий миг истории. О завтрашнем дне мало кто думал. Жили, как об этом явственно свидетельствуют, в частности, и бунинские дневники, оформленные им в эмиграции в книгу «Окаянные дни», заглядывая вперед на один день, максимум на неделю.

Сколько мне ни приходилось расспрашивать старых эмигрантов о том, как они попали за границу, как очутились в изгнании, чаще всего в ответе фигурировало слово «случайность». Да, беженцы не были готовы к своей судьбе ни морально, ни материально. Тем тягостнее складывалась их жизнь вне России.

Несмотря на то что у «вольных» беженцев, в отличие от солдат и офицеров врангелевской армии, были такие преимущества, как свобода, право выбора, возможность ехать туда, куда заблагорассудится, гражданские, особенно в первый год эмиграции, оказались в какой-то степени даже в более трудном и неустроенном положении, чем солдаты и офицеры. У военных было хотя бы скудное жилье в палаточном городке в Галлиполи, хотя бы скудное армейское питание, был некий гарантированный минимум дневного содержания. У многих гражданских беженцев не было и этого. Цены на гостиницы и частные

* В 1918 году были закрыты кадетские газеты «Наш век» и «Современное слово», меньшевистская «Новый луч», в Петрограде были закрыты все вечерние газеты, за исключением большевистских.

квартиры в Константинополе, где собралось множество русских, мгновенно подскочили. Местные барышники скупали привезенные русскими семейные реликвии за басночеленков. Жили в условиях страшной скученности и антисанитарии, начались болезни, распространилась проституция.

Тяготы материального положения усугублялись правовой незащищенностью, неясностью юридического статуса беженцев. Проистекало это отчасти из-за непроясненности отношения бывших союзников по Антанте к белому движению. Англия и Франция, только что вышедшие из разорительной мировой войны, из-за собственных экономических трудностей отнюдь не были склонны взваливать на плечи своих налогоплательщиков бремя расходов по содержанию белой армии, а затем эмиграции. Интересные документальные свидетельства на этот счет содержатся в книге «А. В. Кривошеин. Его значение в истории России начала XX века», выпущенной в Париже в 1973 году.

Назначенный в 1920 году главой правительства Юга России А. В. Кривошеин по поручению генерала Врангеля вел переговоры с Францией относительно судьбы эмиграции и белой армии. Глава французского правительства А. Мильеран был настроен достаточно антисоветски, чтобы сочувственно встретить посланника Врангеля. Переговорам благоприятствовал и ряд частных обстоятельств, прежде всего личные связи А. В. Кривошеина, служившего в России до революции управляющим Дворянским и Крестьянским банками. Генеральным секретарем французского министерства иностранных дел в это время был Морис Палеолог, бывший посол Франции в Петербурге, старый друг Кривошеина. Просьба Кривошеина о политической и материальной поддержке белой армии встретила, таким образом, достаточно благоприятный отклик в высших сферах Парижа. Однако когда дело дошло до реальной помощи снаряжением и была затронута святая святых буржуазной машины власти — бюджет, то выполнение обещаний натолкнулось на непреодолимые трудности в парламенте.

В письме французского министерства иностранных дел Кривошеину за подписью Палеолога в самых осторожных выражениях говорилось о том, что Франция приложит старания, чтобы не допустить полного разгрома и уничтожения армии Врангеля. Что же касается дальнейшей судьбы белых, то французское правительство не

пожелало взять на себя каких-нибудь конкретных финансовых и политических обязательств. Было получено лишь заверение во французском участии, «в пределах максимальных возможностей, в эвакуации полуострова»*².

Но если благодаря личным связям Кривошеину в Париже удалось добиться признания де-факто правительства, сформированного Врангелем, со стороны Франции, то Великобритания проявила к «русскому вопросу» более осторожный подход. Это, в сущности, и явилось причиной того, что Врангель перед самой эвакуацией своих частей из Крыма объявил о предательстве бывших союзников.

Все это не могло не сказаться на судьбе русских беженцев. Если Франция пусть и без энтузиазма, но все же объявила о своем покровительстве эмигрантам и приняла в конце концов основную массу беженцев, то Англия с самого начала относилась к эмигрантам крайне подозрительно и даже настаивала на их репатриации в РСФСР. Такое отношение к беженцам из союзнической державы привело к тому, что число эмигрантов в Англии было крайне незначительным. В Англии и ее колониях в 1930 году проживало всего около 4 тыс. русских.

Русские гражданские беженцы в Турции, таким образом, были брошены на произвол судьбы и могли рассчитывать главным образом на взаимопомощь, а также на милосердие благотворительных организаций. Однако в Турции благотворительность не была в большом почете. Что касается международных организаций, они в то время не имели ни такого веса, ни таких финансовых возможностей, как теперь. Система международных межправительственных организаций только зарождалась.

Полезным для выживания эмиграции оказался опыт, накопленный русской интеллигенцией в организации благотворительной деятельности. За рубежом оказались многие общественные деятели, принимавшие активное участие в помощи населению во время голода 1891 года. Общественная активность русской эмиграции вообще была с самого начала очень высокой, и тут, вероятно, сказывался импульс, приданный общественному сознанию революцией.

Через полтора года после эвакуации из Крыма эмиграция уже имела 80 культурных, просветительских и профессиональных организаций, которые 24 апреля 1922 г.

* Имеется в виду Галлиполийский полуостров в европейской части Турции, где после эвакуации из Крыма армии Врангеля находился временный военный лагерь.

создали собственный координационный центр — «Русский комитет в Турции». Председателем этой своеобразной «эмигрантской думы» был избран архиепископ Анастасий, что как бы подчеркивало основное направление в предстоящей работе комитета — спасение русских душ и оказание благотворительной помощи. О благотворительной направленности комитета свидетельствует и его устав, где подчеркивалось, что «в Русском комитете не могут принимать участие как организации, преследующие непосредственно политические цели, так и учреждения для извлечения коммерческой выгоды»³.

Разумеется, эмиграция не могла жить и не жила вне политики. Да это было бы и невозможно, учитывая «перенасыщенность» эмигрантской среды общественными деятелями бывшей Российской империи. Но «Русский комитет» был, по сути дела, единственной организацией, куда мог прийти и получить минимальную помощь или консультацию русский беженец. При помощи комитета в Константинополе были созданы первые русские школы и приюты для детей. У нас много сказано и написано о беспризорничестве в России (в начале 20-х годов число беспризорных достигало 7 млн.), но не менее трагична страница русской истории — беспризорничество русских детей, оказавшихся за границей и потерявших по тем или иным причинам родителей. Хотя, понятно, масштабы беспризорничества несопоставимы. И здесь нельзя не вспомнить добрым словом милосердную помощь Софьи Владимировны Денисовой, которая в 1921 году вывезла из Константинополя 52 ребенка и устроила для них пансионат под Парижем — своего рода ремесленное училище.

Положение в Константинополе было сложным не только потому, что русские в подавляющем большинстве не знали турецкого языка и были для турок «погаными» с точки зрения веры, но и из-за настороженного отношения турецкого правительства и населения к эмигрантам. Надо иметь в виду, что в Турции в это время была в разгаре национально-освободительная революция во главе с Ататюрком, который весьма сочувствовал идеям русской революции. В глазах турецкой демократической общности беглецы из революционной России были прежде всего контрреволюционерами. Присутствие в стране большого контингента хорошо обученных белых солдат и офицеров, сохранявших дисциплину и черты регулярной армии, внушало опасения. И турецкое правительство всеми силами добивалось скорейшего ухода из страны русских

беженцев. Посредничество между русскими эмигрантами и турецкими властями осуществлял Верховный комиссар Лиги наций по делам военнопленных, известный исследователь Арктики Фритюф Нансен. На бурно проходившем в русском посольстве в Константинополе собрании представителей русских организаций под председательством бывшего русского посла в Турции А. Нератова Ф. Нансен от имени турецкого правительства объявил о неизбежности отъезда из Турции. Ф. Нансен, со своей стороны, настоятельно советовал беженцам вернуться на родину. Однако его совет не был услышан. Положение русских в Константинополе весьма осложнилось.

В 1921 году происходит массовое переселение русских беженцев в Европу, приведшее в конце концов большинство из них в Париж, где находился политический центр эмиграции и куда в силу этого переместились все основные благотворительные организации русского зарубежья.

Важнейшим этапом на пути скитальчества стал Берлин. Годами наибольшего скопления русских в Берлине были 1921—1923. Эти годы весьма интересны и с точки зрения отношений эмиграции с «российским материком». То было время активного диалога между двумя, пусть и не равными, частями русской культуры, поиска путей взаимодействия, сотрудничества, а в случае успеха — и примирения. В те годы все еще казалось возможным. Собственно, в этом диалоге культур и состоит особенность берлинского периода русской эмиграции, главное отличие «русского» Берлина от «русского блистательного Парижа». Берлинский период являлся важным рубиконом в жизни и творчестве нескольких крупнейших русских писателей. Именно в Берлине у Алексея Толстого произошла переоценка его отношения к советской власти, приведшая его на родину в 1923 году. Изучение русского литературного Берлина дает возможность убедиться, насколько тесно в то время переплетались культурные интересы эмиграции и литературной метрополии, насколько был полезен обмен культурными идеями. Берлинский период эмиграции и взаимоотношения его главных действующих лиц с социалистической Россией являются интересным и полезным свидетельством того, насколько реальным, необходимым и взаимообогащающим может быть сотрудничество в области культуры, несмотря на различие взглядов в сфере политики и идеологии.

Большая часть материалов, относящихся к берлинскому этапу русской эмиграции, находится в Гуверовском

институте в Стэнфорде (Калифорния, США). Их сохранением мы обязаны прежде всего известному историку эмиграции, писателю и публицисту Борису Ивановичу Николаевскому*. Им сохранены и архивы известного берлинского журнала «Новая русская книга», издателем которого был Александр Семенович Яценко.

В 1921—1923 годах А. С. Яценко являлся одним из активнейших деятелей «русского» Берлина. Издававшийся им журнал до сих пор остается одним из самых авторитетных и полных источников информации о русской и советской литературной и культурной жизни. Яценко умело поддерживал связь и с зарубежным рассеянием, и с советскими деятелями культуры, проявляя столь необходимые при этом такт и терпимость. В течение нескольких лет А. С. Яценко не оставлял надежд вернуться в советскую Россию. Его сомнения по этому поводу являются весьма характерными для душевного состояния многих русских деятелей культуры, выехавших в эмиграцию. В отличие от Алексея Толстого, он так и не смог преодолеть опасений и остался за рубежом. Можно ли осуждать Яценко за эту «слабость»?!

Трудно сказать, как сложилась бы судьба Алексея Толстого, если бы не его громадный литературный талант, которым умело пользовался Сталин, и теперь общепризнанный «дар» приспособленчества к обстоятельствам советской жизни. Но даже несмотря на этот «дар», А. Н. Толстой в течение девяти лет находился «на карантине», не имея возможности ездить за границу, где у него оставались масса друзей и знакомых, литературные интересы. Известного писателя выпустили за границу лишь в 1932 году. Но это был в какой-то степени уже другой Толстой, не тот, каким его знали в Париже и Берлине. Ему уже было трудно понять некоторых из своих прежних друзей по эмиграции. Заметки писателя по поводу встречи с А. С. Яценко в Берлине в 1932 году полны сарказма. «Яценко проворонил Россию, — записал Толстой в своем дневнике. — Потому и обиделся, что почувствовал вдруг, что — ноль, личная смерть, а Россия обошлась без него»⁴.

Немало полезных сведений и оценок берлинского пери-

* Николаевский Б. И. (1887—1966) — известный деятель социал-демократического движения в России, меньшевик, член ЦК, провел почти год в заключении. После длительной голодовки в Бутырской тюрьме освобожден и в январе 1922 года вместе с другими видными деятелями меньшевистской партии выехал из советской России. Был знаком и состоял в переписке с М. Горьким. Брат Б. И. Николаевского был женат на сестре А. И. Рыкова. Умер в Калифорнии.

ода эмиграции содержится в книгах Г. П. Струве «Русская литература в изгнании» и Р. Гуля «Я унес Россию».

Берлинский этап на пути русской эмиграции был неслучаен. Рапальский договор был первым шагом к возобновлению культурных связей с Западной Европой, прерванных войной 1914 года и революцией в России. В декабре 1922 года в берлинской галерее Ван Дьемен открылась грандиозная выставка русских авангардистов, произведшая настоящий фурор среди европейских художников и оказавшая огромное влияние на европейский авангард. Среди участников выставки были Александр Родченко, Владимир Татлин со своей знаменитой конструкцией в честь III Интернационала, Юрий Анненков, Александр Древин, Любовь Попова...

Важную роль в «берлинской остановке» сыграло не только восстановление нормальных отношений с Германией, но и ее относительная географическая близость к советской России, с которой поддерживалась еще очень тесная связь (письма, журналы, книги, посылки в то время шли, в сущности, беспрепятственно). Видимо, имела значение для эмиграции и непритязательность жизни в Германии той поры. «В 1920 году вся Германия была нищая, аккуратно-обтрепанная, полуголодная»⁵, — вспоминает Роман Гуль, приехавший в Берлин в 1920 году.

После установления дипломатических отношений между РСФСР и Германией значительно возросла торговля. Новые русские эмигранты, приезжавшие из России после денежной реформы, устраивались вполне прилично, ибо русский рубль, подкрепленный золотом, очень высоко котировался в германских банках. Все это создавало благоприятные условия и для культурных связей. В Берлине обосновался целый ряд издательств, которые имели возможность сбывать свою печатную продукцию и в России, и в Западной Европе. Культурная жизнь Москвы и Петрограда вызывала в Европе огромный интерес, и эмигрантские издательства охотно печатали советских авторов. В свою очередь, в Москве и Петрограде еще в течение нескольких лет издавали писателей, живших в эмиграции. В общей сложности в Берлине работало около десятка только крупных издательств, ориентированных на русскоязычную аудиторию. Была и масса мелких издательств, которые исчезали так же быстро, как и возникали. Выходило несколько ежедневных и еженедельных русских газет: «Руть», «Голос России», «Дни».

«Русское население Берлина, особенно в его западных кварталах, было в эти годы так велико, — вспоминает Г. Струве, — что, согласно одному популярному в то время анекдоту, какой-то бедный немец повесился с тоски по родине, слыша вокруг себя на Курфюрстендамме только русскую речь»⁶.

С началом нэпа русское население Берлина начало расти и в связи с тем, что новая политика, поставившая во главу угла экономический реализм, повлекла за собой и целую серию гуманитарных мер, в частности ослабление ограничений на выезд за границу. Именно в этот период из России уехал Владислав Ходасевич, ставший одной из ярких фигур вначале берлинской, а затем парижской эмиграции.

Вот как описывает обстоятельства отъезда выехавшая вместе с ним автор интересных автобиографических книг и романов Н. Берберова:

«Ходасевич принял решение выехать из России, но, конечно, не предвидел тогда, что уезжает навсегда. Он сделал свой выбор, но только через несколько лет сделал второй: не возвращаться. Я следовала за ним. Если бы мы не встретились и не решили тогда «быть вместе» и «уцелеть», он, несомненно, остался бы в России — нет никакой, даже самой малой вероятности, чтобы он легально выехал за границу один. Он, вероятно, был бы выслан в конце лета 1922 года в Берлин вместе с группой Бердяева, Кусковой, Евреинова, профессоров: его имя, как мы узнали позже, было в списке высылаемых. Я, само собой разумеется, осталась бы в Петербурге. Сделав свой выбор за себя и за меня, он сделал так, что мы оказались вместе и уцелели, то есть уцелели от террора тридцатых годов, в котором почти наверное погибли бы оба. Мой выбор был он, и мое решение было идти за ним. Можно сказать теперь, что мы спасли друг друга»⁷.

Я уже упоминал о том, что в те времена на отъезжающих вовсе не смотрели как на врагов. В отношении запросивших выездные документы не чувствовалось никакого остракизма. Это находит свое подтверждение и в обстоятельствах отъезда В. Ходасевича, о которых вспоминает Н. Берберова. Она, в частности, рассказывает о том, что, приехав в Москву для получения паспорта и виз, Ходасевич принял участие в литературном вечере в Союзе писателей на Тверском бульваре, где читал свои новые стихи («Не верю в красоту земную», «Покрова Майи потаенной», «Улика», «Странник пришел»). На этом

же вечере выступал и писатель Борис Зайцев, тоже подавший просьбу на выезд за границу «по состоянию здоровья». Какой разительный контраст с унижительной процедурой отъездов-изгнаний представителей советской культуры в конце 60-х и в 70-х годах!

Интересная подробность: незадолго перед отъездом В. Ходасевич купил на Сенном рынке галоши, продав для этого только что полученные в виде пайка в Доме ученых селетки. Но оказалось, что галоши на размер больше нужного. Чтобы галоши не соскакивали с ботинок, поэт насовал в них бумагу. И только в Берлине обнаружилось, что это были черновики написанного незадолго перед отъездом стихотворения «Не матерью, но тульской крестьянкой»⁸. То было последнее стихотворение Ходасевича, написанное в России.

К этому времени, кстати, относятся и первые сомнения оставшихся в России после революции деятелей культуры и писателей в возможности сотрудничать с советской властью на достойных условиях — без подчинения, без заискивания и холуйства, первые опасения по поводу своей судьбы. Конечно, в то время никто еще не мог предвидеть весь трагизм положения старой и новой интеллигенции. Никто не мог предсказать гибель Мандельштама, смерть Клюева, самоубийства Есенина и Маяковского, травлю Замятина и Пильняка, трагедию Горького, долгое молчание Анны Ахматовой. На небосклоне русской жизни еще оставались многочисленные «прогалины» свободы. Работа Анатолия Васильевича Луначарского на посту наркома просвещения еще казалась достаточной гарантией прав научной и творческой интеллигенции. Но Москва уже полнилась тревожными слухами: в домах интеллигенции с беспокойством говорили о том, что скоро наступит конец многочисленным частным издательствам, что будет усилена цензура, что в высших сферах начинают все больше интересоваться вопросами литературы и искусства и что скоро будет принят соответствующий декрет, который Маяковский тотчас же переложит на стихи. Это были слухи, но и действительность не заставила себя долго ждать. Пока же в Петрограде, в Москве, в Киеве продолжали свободно действовать разного рода кружки, далеко не всегда благосклонные к советской власти, выпускались журналы, сборники, прямо выступавшие против идеологии коммунизма. В 1922 году некоторые из тех, кто скоро окажется за границей, участвуют в «Шиповнике» — сборнике литературы и искусства, ряд материалов кото-

рого можно расценить как своего рода «моральную оппозицию» существующему режиму. В сборнике приняли участие В. Ходасевич, Ф. Сологуб, А. Ахматова, М. Кузмин, Б. Зайцев, Л. Леонов, Б. Пастернак. Не приемлющая революцию философия была представлена Н. Бердяевым, публицистика — Ф. Степуном.

«Развитие русской революции, — пишет Ф. Степун в статье «Трагедия и современность», — сплошное предательство породившей ее идеи... Печальная смена этих подмен может в настоящее время считаться почти что законченной. Полумифический автор революции, народ русский, уже давно отшатнулся от своего трагического творения».

Но «первое предупреждение» против инакомыслия уже грядет. В июне 1922 года «Правда» публикует статью «Диктатура, где твой хлыст?», которая своей стилистикой и непререкаемостью ярлыков уже предвосхищает худшие образцы хулительной публицистики 30-х годов. Поводом для гнева газеты послужила брошюра Юрия Айхенвальда «Поэты и поэтессы», касавшаяся истории русской поэзии. В литературном анализе содержался благоприятный отзыв о недавно расстрелянном Гумилеве, а также «контрреволюционное» мнение о том, что в поэтическом отношении Фет и Тютчев выше Некрасова.

«Правда» резким виражом переводит полемику из литературной сферы в политическую: «Мы здесь не литературную критику или антикритику собираемся писать, — объявляет автор статьи, скрывшийся под псевдонимом О. — Мы ставим чисто политический вопрос. Или вернее — мы зовем к политическому ответу... Книжка г. Айхенвальда насквозь пропитана трусливо-пресмыкающейся, гнилой, гневной ненавистью к Октябрю... Это философское, эстетическое, литературное, религиозное лизоблюдство, т. е. мразь и дрянь...»¹⁰. Нетрудно догадаться, что вскоре Ю. Айхенвальд оказался в эмиграции.

Наступает новый этап в формировании русского зарубежья: вслед за ушедшими из Крыма остатками врангелевской армии и гражданскими беженцами, отъезжавшими добровольно, из пределов советской России начинают вытеснять «неперспективных» — в смысле безропотного соглашательства с новой властью — представителей интеллигенции. В ряде случаев прибегают и к принудительной высылке.

В этом же, 1922 году были, в частности, арестованы, а затем высланы некоторые члены Всероссийского компи-

тета помощи голодающим — Е. Кускова, С. Прокопович, М. Осоргин и др. Членом Всероспомгола был и Максим Горький, однако в связи с ухудшением здоровья он выехал за границу ранее — когда шесть других сотрудников комитета сидели в Лубянской тюрьме. Высылаемые обвинялись в стремлении делать политику под прикрытием помощи жертвам голода.

При всем разнообразии конкретных причин и поводов для высылки представителей общественности и интеллигенции за границу в этом изгнании была определенная логика — высылались те, кто не желал отказаться от права на собственное мнение, на инакомыслие. В 1922 году за границу, прежде всего в Берлин, высылаются около 200 представителей интеллигенции. Изгнание сопровождалось интенсивной разъяснительной кампанией. «Правда» писала: «Определенные слои буржуазной интеллигенции не примирились с Советской властью... Важнейшей их цитаделью была высшая школа... Политиканствующие ученые-профессора на каждом шагу оказывали упорное сопротивление Советской власти... Художественная литература, издаваемая в этих кругах, была также антисоветская. В области философии они проповедовали мистицизм и поповщину... Группа антисоветски настроенных врачей усердно фабриковала антисоветское мнение в своей среде... Контроль-революционные элементы из агрономов вели ту же работу в своей области... В кооперации ту же работу вели меньшевики и эсерствующие элементы...»¹¹. Нетрудно заметить, что в коротеньком абзаце «Правда» ставит к позорному столбу фактически всю интеллигенцию: здесь и врачи, и агрономы, и философы, и учителя, и писатели...

В этом перечне «грехов» обращает на себя внимание, в частности, и то, что удар наносился по представителям общественности, которые работали в сфере кооперации. Это была как бы идеологическая артподготовка для последовавшего в конце 20-х годов полного разгрома кооперативного движения — одной из сфер экономики, где еще сохранялись элементы демократии и естественного, не декретного коллективизма.

В этот же период начали отрабатываться столь широко использовавшиеся в последующие годы демагогические приемы — ссылки на «одобрение трудящихся», на «народ требует», «народ просит». «Принятые Советской властью меры предосторожности будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены со стороны русских рабочих и крестьян, которые с нетерпением ждут, когда наконец эти

идеологические врангелевцы и колчаковцы будут выброшены с территории РСФСР»¹², — писали газеты.

В разъяснительную кампанию включился Л. Троцкий. В интервью корреспонденту американского агентства Интернэшнл ньюс сервис Луизе Брайант* Троцкий уточняет: «Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны...»¹³.

Кто же был инициатором и организатором высылки? Свидетельства эмигрантов на этот счет противоречивы. Сами изгнанники были уверены в том, что прямым виновником их несчастья был Л. Троцкий. Именно ему приписывали они авторство статьи «Диктатура, где твой хлыст?». Часть высланных полагала, что за всем этим делом стоит Лубянка, сконцентрировавшая за годы репрессий и террора огромную власть и все чаще влиявшая на принятие политических решений. Ставшие в последнее время достоянием гласности свидетельства показывают, например, какую незавидную роль сыграло это учреждение в разгоне Всероссийского комитета помощи голодающим годом ранее, в 1921 году. Но независимо от того, кто был прямым инициатором высылки, в более широком, политическом контексте тех лет она, конечно же, не была случайностью, а явилась следствием очень сложной идейной борьбы вокруг нэпа, результатом непонимания того, что экономическое возрождение страны нельзя провести без политических реформ, без демократизации духовной жизни. В конечном счете восторжествовало противоположное мнение: либерализация в сфере экономики, возрождение рынка должны сопровождаться более жестким идеологическим контролем. Результаты этой концепции хорошо известны: через несколько лет нэп был разгромлен.

Идея высылки зрела подспудно, постепенно выкристаллизовываясь из сложной ткани идейной борьбы 1922 года. Подготовка к ней совпадает по времени с первыми попытками строительства правового государства. Именно в этот период ликвидируется ЧК и создается ГПУ — новое учреждение с более ограниченной компетенцией. Делается попытка поставить ГПУ под контроль партии. Закладываются основы правового государства.

Год 1922-й поставил чрезвычайно интересный, имеющий и сейчас принципиальное значение вопрос о взаимодействии экономики и демократии, свободы рынка и сво-

* Американская журналистка, жена Дж. Рида.

боды духа, политики и морали. В этом отношении большой интерес представляют размышления известного русского философа Г. П. Федотова, тоже оказавшегося в изгнании. В юности он, как и многие русские философы, увлекался марксизмом. Одно время примыкал к большевикам. Октябрьский переворот заставил его резко осудить большевизм. В первые годы революции он пытается лояльно сотрудничать с новой властью и в 1920—1922 годах читает в Саратовском университете лекции по истории средних веков. В 1925 году уезжает из советской России. Г. П. Федотов — один из немногих русских историков и философов, которые исследовали взаимосвязь хозяйственной и духовной свободы. Одна из центральных идей его книги «Христианин и революция», вышедшей уже в эмиграции, состоит в том, что свободное предпринимательство в экономике немыслимо без духовной свободы.

В 1922 году большевики не уловили этой взаимосвязи. Свобода, гласность, плюрализм представлялись им абстракциями, мешавшими укреплению их власти.

Всплеск духовной свободы, взлет творчества, которые дал нэп, начинают пугать большевистских лидеров. Уже через год лозунг о том, что нэп — это «всерьез и надолго», подвергается ревизии в угоду идеологическому пуританизму. Открывая 27 марта 1922 г. XI съезд РКП(б), Ленин говорил в Политическом докладе: «Мы год отступали. Мы должны теперь сказать от имени партии: достаточно! Та цель, которая отступлением преследовалась, достигнута. Этот период кончается или кончился. Теперь цель выдвигается другая — перегруппировка сил»¹⁴.

Под «перегруппировкой сил», разъясняет «Биография В. И. Ленина», выпущенная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, понималась «подготовка наступления на частнохозяйственный капитал»¹⁵.

Фактически это было отступлением от первоначально задуманного плана, уступкой леворадикальному крылу партии. И далеко не случайным является то, что на следующий день после закрытия съезда, сказавшего нэпу «достаточно!», на Пленуме ЦК РКП(б) Генеральным секретарем партии был избран Иосиф Сталин.

В марте этого же года В. И. Ленин пишет статью «О воинствующем материализме», в которой призывает вести систематическую наступательную борьбу с буржуазной идеологией, с философской реакцией, со всеми видами идеализма и мистики. Делегаты собравшейся несколькими месяцами позже XII партконференции переводят язык

теории в более жесткие, угрожающие формулы. В резолюции конференции ленинская идея «воинствующего материализма» уже звучит как призыв к новому витку гражданской войны: «Репрессии... диктуются революционной целесообразностью, когда дело идет о подавлении тех отживающих групп, которые пытаются захватить старые, отвоеванные у них пролетариатом позиции»¹⁶.

В сущности, судьба «буржуазной интеллигенции», к которой причисляются все несогласные на единомыслие, была предрешена. Оставался открытым вопрос о «мере пресечения».

С оглядкой на Западную Европу, еще травмированную судом над эсерами (лето 1922 г.), в отношении интеллигенции решили избрать «гуманную меру» — высылку. 19 мая 1922 г. В. И. Ленин пишет Ф. Дзержинскому секретное письмо:

«т. Дзержинский! К вопросу о высылке за границу писателей и профессоров, помогающих контрреволюции.

Надо это подготовить тщательнее. Без подготовки мы наглупим. Прошу обсудить такие меры подготовки.

Собрать совещание Мессинга, Манцева и еще кое-кого в Москве.

Обязать членов Политбюро уделять 2—3 часа в неделю на просмотр ряда изданий и книг, проверяя исполнение, требуя письменных отзывов и добиваясь присылки в Москву без проволочки всех некоммунистических изданий. Добавить отзывы ряда литераторов-коммунистов (Стеклова, Ольминского, Скворцова, Бухарина и т. д.).

Собрать систематические сведения о политическом стаже и литературной деятельности профессоров и писателей. Поручить все это толковому, образованному и аккуратному человеку в ГПУ»¹⁷.

Ленин сам просматривает ряд «подозрительных» с точки зрения идеологии книг и журналов. Ересь обнаруживается в сборнике «Освальд Шпенглер и закат Европы», и 5 мая Ленин помещает в «Правде» свой отзыв, объявляя сборник «литературным прикрытием белогвардейской организации».

Не менее опасным представляется В. И. Ленину и пиетерский журнал «Экономист», издававшийся Русским техническим обществом. Прочитав в № 3 список сотрудников журнала, Ленин сообщает Дзержинскому: «Это, я думаю, почти все — законнейшие кандидаты на высылку за границу. Все это явные контрреволюционеры, пособники Антанты, организация ее слуг и шпионов и растлителей

учащейся молодежи. Надо поставить дело так, чтобы этих «военных шпионов» изловить и излавливать постоянно и систематически высылать за границу. Прошу показать это секретно, не размножая, членам Политбюро, с возвратом Вам и мне, и сообщить мне их отзывы и Ваше заключение»¹⁸.

У нас нет сведений о том, кто вставил в список на высылку Николая Александровича Бердяева: кто-нибудь из членов Политбюро или «аккуратный человек в ГПУ». Теперь, почти 70 лет спустя, это едва ли имеет значение. Значение имеет другое — нравственная позиция гонимых и гонителей. Ведь совсем недавно и те и другие находились в том обширном лагере борцов с российским самодержавием, который было принято называть «русскими демократами». Что же размежевало их, что сделало одних подсудимыми, а других судьями? Тогда, в 1922 году, окончательного ответа на этот вопрос еще не существовало. Спор еще продолжался.

Лето 1922 года Н. А. Бердяев проводил в Звенигородском уезде, в Барвихе, в одном из красивейших мест ближнего Подмосковья. Лето было грибным, щедрым. Все располагало к спокойному отдыху. Позади были кошмар голодного 1921 года, насильственные мобилизации московской профессуры на заготовку дров, очистку улиц от снега, на раскопку железнодорожных путей от заносов. У Бердяева не было особых оснований обижаться на материальные условия. В числе немногих известнейших до революции людей он имел право на академический паек. Согласись он хранить молчание, его едва ли тронули бы до начала сталинских репрессий. Его еще охраняли бывшая близость с товарищем молодости Луначарским, близкое знакомство с Каменевым, марксистское прошлое, заслуги в борьбе с царизмом.

Н. А. Бердяев не призывал к борьбе с большевизмом, он не входил ни в какую белогвардейскую организацию, не был связан с Антантой. Но, ощущая себя вольным русским философом, он не мог не говорить правду, не мог лгать. Неприятие двоемыслия — главная причина его изгнания.

В философской автобиографии «Самопознание» Н. А. Бердяев подробно пишет о своих разногласиях с большевизмом. Этот духовный спор стал одной из центральных тем его творчества.

«Что я противопоставляю коммунизму?.. Я противопоставлял прежде всего принцип духовной свободы, для

меня изначальный, абсолютный, который нельзя уступить ни за какие блага мира. Я противопоставлял также принцип личности как высшей ценности, ее независимость от общества и государства, от внешней среды... Это совсем не значит, что я антисоциалист. Я сторонник социализма, но мой социализм персоналистический, не авторитарный...»¹⁹.

В том далеком 1922 году такая трактовка социализма (очень близкая к концепции социализма времен перестройки) была совершенно неприемлема. Это воспринималось как бунт. А бунтовщиков...

В приговоре, принятом без судебного разбирательства, говорилось: «По постановлению Государственного Политического Управления наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов высланы в северные губернии, часть за границу... Высылка активных контрреволюционных элементов из буржуазной интеллигенции является первым предостережением Советской власти к этим слоям...»²⁰.

Информация о высылке, опубликованная в «Правде» 31 августа 1922 г., так и называлась — «Первое предупреждение».

Все высылаемые принуждены были подписать документ, согласно которому они подлежали расстрелу в случае возвращения в РСФСР. Были оговорены и материальные условия высылки, достаточно строгие и в известном смысле унижительные. Высылаемым разрешалось взять с собой одно зимнее и одно летнее пальто, один костюм и по две штуки всякого белья, две денные рубашки, две ночные, две пары кальсон, две пары чулок.

Негативные последствия изгнания начали сказываться на нравственной атмосфере общества практически немедленно: цель «первого предупреждения» — запугать интеллигенцию — была достигнута. Один из высланных Михаил Осоргин вспоминает, как за несколько дней до отъезда он пришел на заседание Всероссийского союза писателей, одним из основателей которого являлся. Пришел, чтобы попрощаться с товарищами по перу. С большинством собравшихся его связывали долгие дружеские отношения. Он сказал небольшую прощальную речь. Но ответного слова не услышал. Все подавленно молчали. И только на улице к нему стали по одному подходить знакомые и говорить слова прощания. «И внезапно я догадываюсь, — пишет М. Осоргин, — ...что Союз уже достаточно напуган, что он уже не тот и будущее его предрешено»²¹.

Увы, Михаил Осоргин не ошибся в своих грустных предчувствиях: Союз писателей вскоре превратился в «министерство социалистического реализма», в один из приводных ремней власти. Неоднократно являл он миру свое новое лицо: и когда участвовал в травле Е. Замятина, и когда обрекал на безгласие М. Булгакова, и позднее, когда по указке Андрея Жданова самозабвенно участвовал в хуле А. Ахматовой, М. Зощенко, Б. Пастернака. И была бесконечная и стыдная череда этих «потом»...

* * *

В Берлине, находившемся в двух сутках железнодорожного пути от России, многих нюансов идеологической политики, формировавшейся в Москве, еще не чувствовали, не понимали. Берлин начала 20-х годов еще жил надеждами на примирение, искал пути «смены вех». Многие в берлинской жизни тех лет еще только утрясались, прояснялось, размежевывалось. Здесь продолжали свободно встречаться и спорить советские и эмигрантские писатели. В этот период порой было трудно понять, кто из прибывающих в Берлин писателей и художников еще советский, а кто уже нет. В таком промежуточном состоянии находились А. Белый, Б. Шкловский, В. Ходасевич, И. Эренбург, А. Толстой и даже Максим Горький. Романа Гуля в тот период многие считали советским писателем. Одним из «перевалов», где встречались и сталкивались в поиске истины разные люди, мысли, тенденции, был основанный В. Б. Станкевичем журнал «Жизнь».

* * *

«Жизнь», один из самых ранних журналов русской эмиграции, возник, когда в России еще пылал пожар гражданской войны. По сути дела, он и был по своей нравственной концепции реакцией интеллигенции, оказавшейся за рубежом, на эту войну. Журнал возник как малозаметный печатный орган небольшого кружка единомышленников «Мир и труд» еще до начала массовой эмиграции. Вокруг него объединилась группа военной интеллигенции, оказавшейся интернированной в Германии и не принимавшей участия в братоубийственной войне. Возглавил группу Владимир Бенедиктович Станкевич*, почти забытый рус-

* В. Б. Станкевич до революции принадлежал к числу активных сотрудников журнала «Современник».

ской эмиграцией, но оставивший след в ее истории именно тем, что являлся как бы предтечей идеи примирения, нашедшей позднее более развитое воплощение в движении «смены вех».

В отличие от «сменовеховства» — течения русской эмиграции с ясно выраженным политическим уклоном, группа «Мир и труд», оформившаяся организационно в 1919 году, выступала за «культурное примиренчество». Культурная тональность группы и начавшего выходить с апреля 1920 года журнальчика «Жизнь» определялась и самим характером эмигрантской общины Берлина, которая в тот период была заметна скорее культурной, нежели политической жизнью. Политическим центром эмиграции с самого начала стал Париж. Там выходили крупнейшие газеты эмиграции, туда приехали самые видные политические деятели. Политическая периферийность Берлина в немалой степени предопределялась и статусом Германии, потерпевшей в первой мировой войне поражение и, следовательно, не имевшей ни политических, ни материальных возможностей существенно влиять на судьбы эмиграции. Напомним, что политические эмиссары Врангеля — Петр Струве и Александр Кривошеин — ездили вести переговоры об устройстве эмиграции именно в Париж.

Собственно, и в художественном отношении журнал «Жизнь» большой ценности не представлял. В нем не участвовали сколько-нибудь известные русские литераторы. Он интересен как один из этапов идейных и нравственных поисков русской эмиграции.

Когда ж противники увидят
С двух берегов одной реки,
Что так друг друга ненавидят,
Как ненавидят двойники, —

так в те годы писал о взаимной ненависти белых и красных Вячеслав Иванов. Группа «Мир и труд» как раз и пыталась преодолеть эту ненависть, найти подходы к ее преодолению. В. Станкевич одним из первых в русской эмиграции понял трагичность и губительность разрыва духовной ткани русского общества в результате революции и гражданской войны.

Программа группы «Мир и труд», опубликованная в «Жизни», выдвигала лозунг прекращения гражданской войны и восстановления мира в России. Указывая на отсутствие каких бы то ни было правовых основ советской власти, на ее недемократичность, приверженцы В. Станке-

вича тем не менее считали, что вопрос будущего российской демократии не может решаться при помощи штыковых интервентов. Верил Станкевич и в возможность быстрого подъема России из пепелища гражданской войны. «Период опустошения и разрушения близок к концу, — писал он в первом номере «Жизни». — С каждым днем ярче предчувствуем мы приближение творческого периода русской революции, который несомненно наступит, какой бы вывеской ни прикрывалась власть»²².

В какой-то мере в воззрениях участников группы «Мир и труд» нашло отражение бердяевское понимание эволютивности политического и нравственного процесса в России, упование на «внутреннее преодоление большевизма». Полагая, что свертывание гражданских прав в России и террор (слухи о масштабах «красного террора» в Крыму уже начали достигать Берлина) дискредитируют великие лозунги революции, В. Станкевич пытался внушить через свой журнал мысль о том, что прекращение террора и обеспечение гражданских свобод только укрепили бы новую власть. «Революция так истосковалась по мирной работе, что примет любой политический строй, который обеспечит возможность производительного труда»²³, — писал В. Станкевич позднее в своих воспоминаниях.

Надо сказать, что в воззрениях группы В. Станкевича было много наивного и иллюзорного. Сама идея примирить Ленина и Врангеля вызвала иронические насмешки в среде берлинской эмиграции.

В 1920 году, когда еще продолжалась гражданская война, В. Станкевич печатал в своем журнале статьи, которые сейчас кажутся «гимназическими» по уровню политического мышления. Тем не менее они отражали часть реальных воззрений тогдашней эмиграции. «Ни к красным, ни к белым! Ни с Лениным, ни с Врангелем! — так звучит ныне лозунг русской левой демократии, — писал Станкевич. — Но если можно отрицать всю Россию, то почему же нельзя ее всю принять и признать? Что если рискнуть и вместо «ни к красным, ни к белым!» поставить смелое, гордое и доверчивое: «и к красным, и к белым!» — и принять сразу и Врангеля, и Брусилова, и Кривошеина, и Ленина»²⁴.

Уже одно перечисление этих имен говорит о том, сколь наивная сумятица роилась в головах Станкевича и его приверженцев.

Литературные материалы журнала «Жизнь» малоизвестны и русским, и зарубежным исследователям. О них

нет упоминания даже в солидной двухтомной «Библиографии русской зарубежной литературы. 1918—1968», вышедшей в Бостоне (США) в 1970 году (составитель Л. А. Фостер). Однако, несмотря на отсутствие крупных авторов, литературные и публицистические страницы журнала интересны тем, что в них можно увидеть в зародыше многие из идей, ставших впоследствии важными этапами в осмыслении эмиграцией своего положения и своих культурных идей. Несмотря на явную смятенность умов и растерянность русской эмиграции, в первые годы изгнания «наивный» журнальчик «Жизнь» интуитивно нащупал главную идею, вокруг которой можно было бы объединить духовно здоровые и политически здравомыслящие силы эмиграции, — собирательство разметанной революционным смерчем великой русской культуры. Журнал взывает прежде всего к оказавшимся за рубежом писателям: «Дореволюционные партии, в большинстве нежизнеспособные, так как дышали затхлым воздухом подполий, зовут по-прежнему к своим дорогам, в большинстве не торным, потому что по ним ни разу еще не гремела государственная телега. Политические группы, либо меня окраску, либо гримируясь старыми карандашами, будят среди эмигрантов полуразбитые силы и апеллируют к скептическому мнению Европы... Нужно вызвать к жизни литературный комитет в одном из центров Европы, наладить выпуск периодических литературных изданий, открыть кооперативное издательство, кассу взаимопомощи. Нельзя верить, чтобы в годы безустанных национальных испытаний могла молчать русская литература, всегда шедшая впереди нации и неугасимым фонарем освещавшая ей дорогу»²⁵.

От рецептов спасения России, предлагаемых журналом «Жизнь», веяло прекраснодушием чеховских интеллигентов, в них слышались отголоски некогда модной теории «малых дел»: аптечки, библиотечки, кассы взаимопомощи... На фоне потрясших мир грозных событий русской революции проповеди группы «Мир и труд» звучали как пастушеская пастораль среди меди военных оркестров. Серьезные эмигрантские политики смотрели на деятельность группы «Мир и труд» как на своего рода курьез, как на игрушку в руках молодых, пылающих жаждой служения отечеству литераторов. Вероятно, поэтому журналу В. Станкевича не мешали, но и помощи не оказывали. «Жизнь», вызывавшая своей проповедью единения «красного» и «белого» ядовитые насмешки как слева, так и справа, несла убытки, и издатель журнала Г. А. Гольдберг

вскоре прекратил кредит. В общей сложности журнал существовал около года. Литературные страницы «Жизни» оставили нам в наследие весьма скромные плоды. Наиболее значительной публикацией были главы из книги Романа Гуля «Ледяной поход», получившей широкую известность в русском зарубежье. Интерес представляют и помещавшиеся в журнале обзоры советской поэзии — одна из первых попыток нащупать пульс молодой советской культуры.

Группа «Мир и труд», сформировавшаяся вокруг В. Станкевича, человека безусловно искреннего, увлекающегося, честного, была одним из тех огоньков «русского» Берлина, на которые сходились обогреться недавно прибывшие в веймарскую столицу русские беженцы. Специфика группы состояла в том, что, в отличие от солидных эмигрантских «салонов», формировавшихся вокруг известных в дореволюционной России политических деятелей (как, например, кружок И. В. Гессена — видного кадета, члена Государственной думы, редактора эмигрантской газеты «Руть» и журнала «Архив русской революции»), к Станкевичу тянулась неприкаянная эмигрантская молодежь.

Из крупных фигур к Станкевичу заглядывал, пожалуй, только Виктор Михайлович Чернов — лидер партии эсеров, председатель Учредительного собрания. Оказавшись в эмиграции в 1920 году, он собирает и публикует большое количество материалов и свидетельств из истории русской революции и большевизма, пишет воспоминания. Большой интерес для понимания первых лет советской власти представляет выпущенный под его редакцией и с его вступительной статьей сборник «Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий», где содержится много фактов и размышлений о причинах и следствиях террора.

Виктор Чернов, за которым чекисты охотились по всей России, выехал в эмиграцию через Эстонию и с эстонским паспортом. Несмотря на то что после разгона в январе 1918 года Учредительного собрания он попадает в разряд ярых врагов советской власти и вынужден жить в подполье, общественность России продолжала считать его одним из зодчих русской революции. Воспоминания В. Чернова числились в планах журнала «Летопись революции», основанного М. Горьким и издаваемого З. Гржебиным. В первом выпуске «Летописи» вышли и мемуары А. В. Луначарского «Великий переворот» об Октябрьском вооруженном восстании. Эта публикация, кстати, вызвала резкую критику со стороны газеты «Правда». Вскоре изда-

тельство З. Гржебина вынуждено было перенести свою деятельность в Берлин. М. Горький хлопочет о том, чтобы переслать туда объявленные еретическими рукописи, в том числе рукопись В. Чернова.

26 июля 1920 г. М. Горький пишет В. И. Ленину:

«Дорогой Владимир Ильич!

Среди рукописей, которые я отправляю за границу, имеются автобиографии Чернова и Мартова. Все рукописи и книги будут просматриваться Комиссариатом иностранных дел, который, просмотрев их, отправит с курьером в Эстонию Гуковскому*. Возможно, что рукописи Мартова и Чернова будут задержаны. Сообщаю Вам — на этот случай — мои рецензии на Чернова — Мартова и прошу сообщить Карахану ** Ваше мнение по этому поводу.

Книга Мартова — определенно хороша, а произведение Чернова хотя и рисует его отчаянным болтуном и хвастуном, но изобилует очень ценными фактами и дает достаточно ясное представление о жизни эпохи.

Всего лучшего!

А. Пешков»²⁶.

Несмотря на беспокойство М. Горького, рукописи были «выпущены» из России и вышли в Берлине в 1922 году в издательстве Гржебина.

В. М. Чернов умер в Нью-Йорке 15 апреля 1952 г. Он был родом из крестьян самарского Заволжья. Большое влияние на взгляды В. Чернова оказал известный народник Н. К. Михайловский. С первого съезда партии социалистов-революционеров В. Чернов входит в число ее лидеров, принимает активное участие в разработке программы. Социализм Чернова отражал прежде всего взгляды крестьянства. Одной из его центральных идей был «конструктивный социализм», иными словами, «эволюционный социализм», предполагающий возможность построения социалистического общества исключительно демократическими методами. «Конструктивный социализм» Чернов противопоставляет «деструктивному социализму» первого периода диктатуры пролетариата. Свой большой труд, первый том которого появился уже в эмиграции, Чернов так и озаглавил — «Конструктивный социализм». Он имел намерение опубликовать и второй том, посвященный аграрным проблемам. Но рукопись (так считает знаток эмигрантских архивов

* Гуковский И. Э. — полномочный представитель РСФСР в Эстонии.

** Карахан Л. М. — заместитель наркома иностранных дел.

Б. Николаевский) погибла вместе с большинством бумаг В. Чернова во время второй мировой войны.

Большой интерес для истории русской социалистической революции представляют «Записки социалиста-революционера», написанные В. Черновым в Москве, где он жил на нелегальном положении в 1919—1920 годах. Но с точки зрения художественной, деталей быта, аромата эпохи самым ценным наследием В. Чернова являются его мемуары «Перед бурей», охватывающие большой период ферментации русской революции. По сути дела, это художественная автобиография В. Чернова на фоне сложной общественно-политической жизни России. Написанные прекрасным русским языком, эти воспоминания являются одним из самых ярких свидетельств о революционном движении в России. Заканчиваются воспоминания 1920 годом, когда Виктор Чернов вынужден был расстаться с любимой им Россией.

Из литераторов, получивших известность еще в дореволюционное время, у Станкевича бывал Саша Черный, приехавший в Берлин в 1921 году. Его судьба типична для целого ряда русских писателей и поэтов «средней руки», широко популярных в России, но в эмиграции быстро увядших, не нашедших себе места. Остроумными, разящими сатирами Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга) зачитывалась демократическая молодежь России. А вот в эмиграции он быстро сник; судьба гнала его из одного города в другой, и нигде он не находил пристанища, поэта угнетала творческая опустошенность. Неоднократно он делал попытки наладить литературное сотрудничество с эмигрантскими газетами и журналами, но все, что писал теперь, было много ниже уровня той сатирической поэзии, которой славился на родине. «Я думаю, что А. М. Гликберга надо отнести к людям, совершенно раздавленным революцией, — пишет о нем в своих воспоминаниях Роман Гуль. —Видно, сатирическому таланту Саши Черного уже не на что было опереться.

Ради заработка он пробовал писать детские стихи:

Я — индейский петух!
Ф-фух!
Самый важный,
Нос трехэтажный,
Под носом сережки
И сизые брошки.
Грудь кораблем,

Хвост решетом,
Персидские ноги —
Прочь с дороги!..»²⁷.

Но для творческого темперамента Саша Черного этого амплуа было недостаточно. Он метался в поисках места в зарубежной культуре. Жил в Италии, пробовал обосноваться в Париже, где перед войной собралась сильная группа русской поэтической молодежи. Но среди них Саша Черный чувствовал себя чужим. Он жил прошлым; монпарнасская же русская молодежь, повзрослевшая в эмиграции, хотела жить настоящим и будущим. Она не понимала его «огненной ненависти к большевизму», превосходившей даже самые ядовитые оценки И. Бунина. К своему поэтическому прошлому С. Черный относился скептически и не любил, когда вспоминали о его былой российской славе: «Все это ушло, и ни к чему эти стихи были...»

В конце концов он поселился с женой Марией Ивановной Васильевой в крохотном французском городке Борм, где и умер 5 августа 1932 г. Кончина его фактически осталась не замеченной русской эмиграцией.

Но в Берлине оказались не только знаменитые писатели, уехавшие из России. Изредка, но случалось, что здесь рождались новые имена. Таким новым именем, ставшим известным всей русской эмиграции, был Роман Гуль, начинающий писатель. В то время ему было 25 лет. Его книга «Ледяной поход», изданная в Берлине, скоро сделалась бестселлером на русском книжном рынке. Успех был обусловлен помимо достаточно высоких художественных достоинств и тем, что это был, в сущности, первый роман о гражданской войне, увиденной глазами эмигранта. Книгу читал М. Горький и отозвался о ней с благосклонностью. Дошла она и до Москвы. Есть свидетельства, что роман просматривал В. И. Ленин²⁸. В советской столице книгу приняли с интересом. Какое-то время в Москве считали книгу Р. Гуля политически полезной, ибо в ней достаточно откровенно говорилось о белом терроре, что было на руку большевистской пропаганде. В сущности же это был роман о гражданской войне, где на первом плане не героика, а трагедия.

В этом отношении «Ледяной поход» Романа Гуля являлся как бы художественной иллюстрацией берлинских размышлений Виктора Чернова о трагических последст-

виях рождения русской революции из боины мировой войны. «Роковым несчастьем в русской революции было то, что она не только родилась из войны, — писал Виктор Чернов в статье «Кровавые психозы», — но, более того, явилась ее непосредственным продолжением, ее перенесением... с внешних границ страны внутрь ее. Законное детище войны, большевистская революция естественно унаследовала от нее ее морально-психологический облик... Она (война. — В. К.) приучила, жутко приучила к терпкому, сладковатому, дурманному запаху крови. Она сразу снизила ценность человеческой жизни — своей и чужой. Она притупила нервы и разучила ужасаться количеству жертв. Право лить кровь и отнимать жизнь перестало быть трагической проблемой. Развивались все виды военного психоза. В том числе размножался тип садистов власти. Но длительная практика гражданской войны действует на человеческую психику еще разрушительней войны внешней. Хотя бы уже по одному тому, что здесь сплошь и рядом сын должен поднимать руку на отца и брат на брата. Внешняя война локализована. Гражданская война способна избородить фронтами во всех направлениях всю страну. Во внешней войне есть какое-то отличие фронта, с его беспощадными законами войны, от тыла, который еще хранит какие-то остатки норм мирного времени. В гражданской войне фронт и тыл спутываются, и запахом крови пропитывается вся атмосфера»²⁹.

Сходным пониманием, но с некоторым смещением в героико и романтику гражданской войны пронизан роман советского писателя, участника гражданской войны Артема Веселого «Россия, кровью умытая»³⁰. После большого успеха у советского читателя книга вскоре была изъята и несколько десятилетий находилась в закрытых фондах. Такая же участь в советской России постигла книгу Романа Гуля «Ледяной поход»: она была изъята из библиотек и попала в закрытые фонды. В советской России на многие десятилетия устанавливался романтизированный взгляд на историю гражданской войны, в которой крепнущая цензура стремилась «отредактировать» наиболее трагические страницы.

Тем не менее Р. Гулю какое-то время удается сохранять сотрудничество с советскими изданиями. В течение нескольких лет имя Романа Гуля довольно часто мелькает в советской периодике. До 1927 года он числился корреспондентом ряда ленинградских газет в Берлине и являлся одним из связующих звеньев между русской «материко-

вой» и эмигрантской культурой. В 1927 году в Москве в Государственном издательстве (ГИЗ) вышел еще один роман Р. Гуля — «Жизнь на фукса» из эмигрантского быта.

Однако в России наступают новые времена. Идет демонтаж ленинской экономической политики; крестьяне насильственно загоняются в колхозы; завершается разгром кооперативного движения; распускаются последние из «толстовских коммун», а многие из их участников ссылаются в Сибирь, на Алтай. Жестокость в экономической политике сказывается и на культурных связях с эмиграцией: между двумя частями русской культуры воздвигается почти непреодолимый барьер.

Глава 4

МОСТЫ В РОССИЮ

Эмигрантский мирок Берлина был достаточно тесен, и все сколько-нибудь заметные эмигранты ходили по одним и тем же тропам. Литераторы, заглядывавшие на чаепития к В. Станкевичу и пописывавшие в журнальчике «Жизнь», сразу же после его закрытия и отхода Станкевича от политической деятельности перебрались под крыло другого издателя — Александра Семеновича Ященко, человека большой практической сметки, «крепкого эмигрантского жильца», по выражению Р. Гуля.

В 1921 году А. С. Ященко начинает издавать в Берлине библиографический журнал «Русская книга», позднее, в 1922 году, преобразованный в «Новую русскую книгу». Новое издание было идейным преемником увядшей «Жизни» Станкевича, но, в отличие от первого, едва сводившего концы с концами, стояло на крепкой финансовой почве прежде всего благодаря предприимчивости Ященко.

В январе 1922 года Ященко сформулировал цель издания: «Мы поставили своей задачей собрать и объединить сведения о русской и заграничной издательской и литературной деятельности. По мере сил мы стремимся создать из «Новой русской книги» мост, соединяющий зарубежную и русскую печать...»¹.

Издание поначалу было задумано как чисто библиографическое, своего рода «справочное бюро» русских литераторов, разметанных революцией по всем странам Европы. Центральное место в журнале занимал справочный

отдел. Однако новое детище Яценко вскоре начало вырастать из скроенных зачинателями одежд. Справочный отдел стал как бы центром, своего рода «мемориалом», занимающимся поиском и объединением рассеянных по всему свету деятелей русской культуры.

Необыкновенная популярность журнала «Новая русская книга» в зарубежье объясняется и тем, что он был как бы доказательством непрерывности отечественной культуры, ее существования в труднейших исторических условиях.

То, что не удалось Станкевичу в политике, удалось Яценко в области культуры, и прежде всего книжного дела. Но главные идеи Яценко все-таки взял на вооружение из «Жизни».

«Всякому, кто беспристрастно размышляет о наших русских делах, к какому бы политическому направлению он ни принадлежал, — пишет он в четвертом номере «Русской книги», — ясно одно, и здесь нет двух разных мнений, это, кажется, единственное, в чем согласны все: какая бы власть ни утвердилась в России, останется ли нынешняя власть, видоизменится ли, эволюционирует ли она, придет ли другая на смену ей из недр революции, будет ли она опрокинута каким-нибудь оппозиционным движением (социалистическим, крестьянским, демократическим, монархическим или еще каким), независимо от характера этой власти, ей придется работать над воссозданием и возрождением России...

Обедневши и обнищавши материально, русский народ — горьким опытом, тяжким путем исторического испытания — обогател духовно... Новая Россия, какова бы она ни была, будет более просвещенной. И решающее значение в этом просвещении будет принадлежать, конечно, книге»².

В статье А. С. Яценко «Книга и возрождение в России» помимо идеи общей работы над воссозданием России сквозит и еще одна, имевшая весьма широкое хождение в эмиграции мысль об обогащающем влиянии русской революции, о ее духовном ореоле.

Даже у И. А. Бунина, не разделявшего такого рода представлений, мы находим иронические отголоски этой идеи. После встречи с известным русским философом Львом Шестовым, еще до революции обосновавшимся за границей, И. А. Бунин записал: «Он говорит, что Белый ненавидит большевиков, только боится, как и Ремизов, стать эмигрантом, отрезать себе путь назад в Россию.

«Жизнь в России, — говорит Белый, — дикий кошмар. Если собралось 5—6 человек родных, близких, страшно все осторожны, — всегда может оказаться предателем кто-нибудь». А на лекциях этот мерзавец говорит, что „все-таки (несмотря на разрушение материальной культуры) из России воссияет на весь мир несказанный свет”³.

В отличие от скептически настроенного И. А. Бунина, А. С. Яценко на страницах своего журнала с энтузиазмом взялся за проповедь идеи единства культурных задач советской и эмигрантской России во имя будущего возрождения.

Журнал придерживался внепартийного курса не только из принципиальных, но и из практических соображений: А. С. Яценко, поддерживавший активные связи с петроградскими и московскими литературными кругами, вовсе не хотел портить политикой отношения с советскими властями. Теплилась у него и сокровенная мысль получить право на распространение своего издания в советской России.

«Для нас нет в области книги разделения на советскую Россию и на эмиграцию. Русская книга, русская литература едины на обоих берегах. И мы будем стремиться к тому, чтобы наш журнал получил доступ и в Россию. Для того, чтобы наилучшим образом достигнуть этой цели, мы будем оставаться вне всякой политической борьбы и вне каких бы то ни было политических партий»⁴, — писал он в редакционной статье первого номера «Русской книги».

До сих пор нельзя без душевного волнения читать номера «Русской книги» и «Новой русской книги». За краткими сообщениями о русских писателях и поэтах, за политической отстраненностью скупых строк о судьбе книг встает во всем масштабе культурная жизнь России. Каждый новый номер журнала А. С. Яценко ожидался с нетерпением. Его читали на вечеринках, в эмигрантских кафе, в русских клубах Берлина, за вечерними чаепитиями в кругу друзей, пытаясь расшифровать за строчками биографических справок участь товарищей по перу. Арестован или выпущен на свободу? Расстрелян в Крыму или перебивается в Константинополе? Печатается или вынужден замолчать на долгие годы?

Сообщение о том, что Максимилиан Волошин живет под Феодосией, появившееся в «Новой русской книге», было не просто вестью о добром здравии поэта, но и свидетельством его решимости не уезжать при эвакуации из Крыма врангелевских войск. Специфика этого «разорван-

ного времени» состояла в том, что многие вести с юга России быстрее достигали Берлина или Праги, чем Москвы и Петрограда. Именно поэтому журнал Яценко служил важным источником информации не только для эмигрантов, но и для писателей, оставшихся в России. Короткие заметки из «Русской книги» постоянно перепечатывались в изданиях московских и петроградских литераторов. Так, например, в декабрьском номере «Летописи Дома литераторов» 1921 года со ссылкой на «Русскую книгу» помещаются сведения о Бурлюке, Волошине, Аничкове, Елпатьевском, Потемкине...

Сообщения о писателях, художниках, поэтах, артистах, публиковавшиеся в журналах «Русская книга» и «Новая русская книга», не только являются интересным источником сведений о жизни и работе многих малоизвестных современному читателю деятелей русской культуры, но и насыщены штрихами эпохи, позволяющими по деталям воссоздать художественную жизнь Москвы и Петрограда той поры, понять характер отношений художников и власти. В архиве Б. Николаевского сохранился автограф одной из таких справок, помещенной в первом номере «Новой русской книги» за 1922 год.

«Александр Мартынович Арнштам, художник, до 1919 года работал в Петербурге. В 1917 году заведовал художественным отделом Издательства Скобелевского просветительного комитета, редактировал художественную часть «Свободного журнала». В 1918—1919 годах был членом отдела Комиссариата народного просвещения, редактировал произведения Пушкина... В декабре 1919 года художник Арнштам был впутан Петроградской ЧК в большое дело и, несмотря на хлопоты М. Горького, А. Луначарского и других видных деятелей, которым ЧК на запросы отвечала, что у Арнштама нет личного дела, он нужен в качестве свидетеля и «на днях будет освобожден», — тем не менее продержали его до конца дела, т. е. до августа 1920 года. За девять месяцев он написал дневник, рисующий жизнь ЧК и Бутырской тюрьмы. В 1920 году Арнштам переехал в Москву. Был приглашен консультантом художественного отдела Государственного издательства. Им сделан целый ряд книжных украшений, между прочим, обложки для: «Дневник Пушкина», изд. Румянцевского музея, В. Брюсова «В такие дни», А. Луначарского «Фауст», «Город» и др.

В настоящее время Арнштам находится с семьей в Риге (Hôtel Commerce) и намеревается ехать в Париж...»⁵.

В дальнейшем следы художника теряются, и, сколько я ни искал упоминаний о нем в парижских журналах, в воспоминаниях эмигрантов, никаких сведений обнаружить не удалось. Типичная судьба русского эмигранта: был известен в России, сочувствовал революции, участвовал в интереснейших изданиях, встречался со знаменитостями, потом разделил судьбу оставшейся в стране интеллигенции, прошел через ЧК... В эмиграции канул в безвестность.

В журнале Яценко публиковались и сведения об оставшихся в России литераторах, привезенные «живыми свидетелями». Многие из «справок» принадлежат перу Ильи Эренбурга, бывавшего в командировках и в Берлине, и в Париже. В пятом номере «Русской книги» помещены представленные И. Эренбургом сведения о Н. Бердяеве, А. Белом, В. Вересаеве, М. Волошине, А. Блоке, В. Гиляровском, Ю. Балтрушайтисе, С. Городецком, С. Есенине, П. Когане, М. Кузmine, Е. Кусковой, О. Мандельштаме и многих других. Приезд Эренбурга в Берлин оказал заметное влияние на характер издаваемого Яценко журнала. Короткие справки теснятся, уступая место обзорам художественной жизни советской России. В этих статьях Эренбург выступает активным сторонником русского художественного авангарда, рожденного революцией. Статьи И. Эренбурга имели большое значение для понимания берлинским гнездом эмиграции особенностей культурной жизни страны, развеивали культивируемое некоторыми эмигрантскими кругами представление о том, что с оттоком интеллигенции из России художественная и творческая жизнь Москвы и Петрограда совершенно деградировала.

Об авторитете издаваемого Яценко журнала свидетельствует то, что, в отличие от «Жизни» Станкевича, в нем принимали участие виднейшие представители русской художественной интеллигенции: А. Белый, Д. Бурлюк, Б. Зайцев, В. Немирович-Данченко, М. Осоргин, Н. Оцуп, А. Ремизов, И. Соколов-Микитов, А. Толстой, В. Ходасевич.

Ссылки на отдельные материалы «Русской книги», а затем «Новой русской книги», довольно часто появлявшиеся в начале 20-х годов в московских и петроградских газетах, говорят о том, что журналы Яценко достигали России, хотя официально в РСФСР не распространялись. Эти ссылки свидетельствуют о достаточно терпимом отношении тогдашних властей к зарубежным эмигрантским изданиям. А ведь даже наиболее аполитичные из них помещали статьи с резкой критикой советской власти.

«Как знать, может быть, и в России какой-нибудь новый Гегель записал среди безумств гражданской войны мысли, которые когда-нибудь поразят мир своим величием и дадут новое направление истории человеческого мышления, — писал А. Яценко в одной из редакционных статей своего журнала. — Все может быть в нашей несчастной родине неограниченных возможностей! Но мы говорим о настоящем. А оно безотраднo. Книги почти перестали печататься. Появляется почти исключительно официальный материал, по достоинствам своим, конечно, несколько не выше всякого казенного творчества, в особенности если при этом преследуются тенденциозные цели пропаганды»⁶. Неоднократно выступал журнал и против набирающей силу цензуры в советской России.

Но критика «Советов» все же была всякий раз «с оглядкой». Эмиграция еще не устоялась, еще не ушла в себя, еще не отрезала себя от России. Многие оказавшиеся в эмиграции писатели считали себя как бы в длительной командировке. Роман Гуль в своих мемуарах вспоминает о том, как В. Ходасевич, приехавший в Берлин и ставший одним из завсегдатаев «Новой русской книги», просил А. Яценко избегать неприятных резкостей в отношении России в рецензиях на его книги. «Я же ведь хочу возвращаться»⁷, — объяснял он редактору. Колебания В. Ходасевича продолжались несколько лет, до 1925 года, когда он, переехав в Париж, окончательно обосновался в эмиграции.

Да и сама Россия 20-х годов еще не изжила терпимости; она еще жила традициями русской интеллигенции и интеллигентности. Тревожные симптомы еще не отличались в жесткие, холодно-бюрократические формы 30-х годов. В правительстве, в верхнем эшелоне власти, вместе с большевиками из ленинской гвардии еще работало много интеллигентов, которые, будучи несогласны с идеологией большевизма, видели и огромный подъем народного энтузиазма, хотели работать для России.

Интересные данные в этой связи можно найти в исследовании, проведенном Орграспредом ЦК РКП(б) в 1924 году. Оно показывает, что ведущее место среди ответственных работников занимает интеллигенция. Среди сотрудников Наркомпроса, например, интеллигенты составляли 93,3 процента, во ВЦИК и Совнаркомe — 76,6, в Наркомфине — 69,7 процента⁸.

Среди политических ссыльных в Сибири «прослойка» интеллигентов составляла 40 процентов. Парадокс после-

революционной истории состоит в том, что многие из тех, кто прошел через царские ссылки и каторгу, потом размежевались с большевиками, оказались в другой ссылке — в эмиграции. Интеллигенты, оставшиеся работать в советской России, продолжали поддерживать контакты с оказавшимися в эмиграции друзьями и знакомыми, переписывались, заходили в гости, если по делам службы оказывались в зарубежной командировке. В отличие от 30-х годов, «контакт» с эмигрантами еще не расценивался как нечто опасное, тем более криминальное. Хотя в эпистолярном наследии этого периода уже можно обнаружить опасливые нотки — первые сигналы того, что административно-бюрократическая система начинает испытывать нужду в новых формах социального контроля — в насаждении страха.

Отголосок этих новых нюансов слышится в хранящихся в архиве Б. Николаевского письмах А. В. Чайнова редактору «Новой русской книги» А. С. Яценко.

Александр Васильевич Чайнов, выдающийся русский ученый-аграрник, входивший после Февральской революции во Временное правительство (он занимал пост товарища министра земледелия), был одним из тех русских интеллигентов, которые, расходясь с большевиками в нравственных оценках, тем не менее готовы были сотрудничать с новым правительством во имя интересов России. Тем более что в этот период программа большевиков в отношении крестьянства принципиально не расходилась с программой социалистов-революционеров — земля была отдана крестьянам. Что касается коллективного землепользования, то в начале 20-х годов ни о какой принудительной коллективизации не было и речи. Весьма благосклонно правительство относилось и к независимым крестьянским коммуна́м толстовского толка, и к кооперативам, сторонником которых был Чайнов.

После Октябрьской революции А. В. Чайнов входил в коллегию Наркомзема, участвовал в организации советской сельскохозяйственной науки. Во время голода 1921 года он от правительства входит в состав Всероссийского комитета помощи голодающим.

Социальные и политические взгляды А. В. Чайнова нашли отражение в его книге «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», вышедшей в Москве в 1920 году под псевдонимом Ив. Кремнев.

В редакцию журнала «Новая русская книга» Чайнов заходил в 1922 году, когда ездил по поручению правитель-

ства в командировку по ряду стран Западной Европы (Англии, Германии). В «Новой русской книге» Чайнов опубликовал статью «Из области новых течений русской экономической мысли», а также предоставил редакции ряд справок о русских экономистах.

Внимание Чайнова к журналу «Новая русская книга» не случайно. Оно объясняется тем, что помимо научных у ученого-агронома имелись вполне профессиональные литературные интересы. К этому времени А. В. Чайнов уже заявил о себе как автор нескольких беллетристических книг, оказавших, как свидетельствуют литературоведы, значительное влияние на стилистику Михаила Булгакова. Помимо «Путешествия моего брата Алексея...» Чайнов опубликовал «Историю парикмахерской куклы» (1918 г.), «Обманщики» (1921 г.), «Венедиктова» (1922 г.). Все эти книги вышли в советской России, но впоследствии были запрещены и забыты. Кроме того, в архиве Б. Николаевского имеется машинописная рукопись Чайнова «Необычайные, но истинные приключения графа Федора Михайловича Бутурлина».

Большинство произведений Чайнова подписано псевдонимом Ботаник Х. В журнале «Новая русская книга» эти книги рецензировались в ряде номеров за 1922 год. Так что внимание Чайнова к журналу Яценко вполне понятно. Кроме того, ученого и члена коллегии Наркомзема интересует поддержание связей между русскими и зарубежными учеными-аграрниками, и он просит Яценко посодействовать в рецензировании вышедших в России трудов по сельскому хозяйству.

Помещаемые ниже три письма А. В. Чайнова⁹ хранятся в архивной коллекции Б. Николаевского и опубликованы в серии «Литературные архивы русской эмиграции» в 1983 году в Париже.

«20. VII. 1922

Дорогой Александр Семенович!

Вчера направил к Вам целый ворох сельскохозяйственной литературы из своих чемоданов, приехавших наконец в Лондон.

Очень прошу обратить сугубое внимание на все периодические издания, причем отдайте приказ Вашим рецензентам читать их сзади наперед. Так будет поучительней и интересней. Из книг снисходительно прошу о рецензии книги Никитина «О сельскохозяйственных районах Московской губернии».

После всяких мытарств мы только что обосновались в Англии, и думаю, что вскоре исполню и другие мною Вам данные обещания...

Привет!

А. Чайнов.

Р. С. Дядя! за Вами рецензии на «Ботаника X»!

Если Вам по истечении сроков «Сельскохозяйственная жизнь» и пр. перестанет нравиться, то, пожалуйста, на подтопку не употребляйте и Николаевскому резать не давайте, а перешлите их в распоряжение С. Н. Прокоповича*».

«13. VIII. 1922

Александр Семенович! друг сердечный!

Большое Вам спасибо за № 6 «Новой русской книги» и письмо, а к Вам большая просьба: если будете печатать рецензию о Кремневской утопии, очень прошу псевдонима не раскрывать и насчет «исторической части» и всяких прогнозов исторического порядка не распространяйтесь, а то раскрытие псевдонима в № 5 мне уже обошлось весьма дорого, не хочу подливать масла в огонь**.

Привет!

А. Чайнов».

«18. I. 1923

Дорогой Александр Семенович!

Макаров*** привел меня в ужас сообщением о том, какую рецензию на Кремневскую утопию он дал.

Так как я вовсе не желаю попадать в Лубянку по возвращении в Москву, то вновь и вновь (я писал Вам об этом еще из Англии) прошу Вас выслать эту рецензию на мою цензуру. Макаров не возражает. Если № уже сверстан — выньте из верстки и замените другим, у Вас портфель всегда достаточный. В крайности сами выбросьте «колонный зал» и всякие публицистиче-

* Прокопович С. Н. (1871—1955) — известный русский экономист, профессор, деятель «Союза освобождения», министр продовольствия во Временном правительстве. Один из руководителей Всероссийского комитета помощи голодающим (1921 г.). После разгона комитета выехал за границу. Издавал в Берлине «Экономический вестник».

** В 1930 году А. В. Чайнов был обвинен в организации в 1926—1929 годах подпольной «Трудовой крестьянской партии», арестован, сослан. Расстрелян 20 марта 1939 г. в Алма-Ате. Книга «Путешествие моего брата Алексея...» использовалась в качестве «антисоветской улики» по делу «Трудовой крестьянской партии».

*** Макаров Н. П. — воронежский экономист, в 1918 году — преподаватель Московского кооперативного института, единомышленник А. В. Чайнова. В 1930 году арестован по делу «Трудовой крестьянской партии».

ско-политические бравады. Вообще я бы предпочел, чтобы Москве об этой моей работе не напоминали, но поскольку рецензия написана, придется печатать, и, ради Бога, пришлите корректуру.

А. Чаянов».

* * *

Русские эмигранты, начиная с Герцена и кончая изгнанниками и беженцами XX века, неоднократно задавались вопросом: в чем особенность именно русского эмигранта, чем он отличается, скажем, от многочисленных французских эмигрантов, оказавшихся в России после падения французской монархии?

Исследователи русской эмиграции неоднократно подмечали особенно тягостную, непреодолимую тоску русских за границей, их неумение, а часто и нежелание адаптироваться к местным условиям, как это делают многие другие эмигранты. Это нежелание перестать быть русским, стремление сохранить свою культуру, свой нравственный идеал с первых же лет жизни в изгнании проявились в огромной активности и поистине подвижнических усилиях эмиграции по созданию за рубежом русских школ, русских культурных центров, русских церквей, в которых продолжали бы гореть светильники русской культуры и духовности. Культурно-просветительская работа русского зарубежья настолько широка и многообразна, что одна она могла бы быть предметом научного исследования.

Серьезную попытку такого исследования предпринял П. Е. Ковалевский, опубликовавший в Париже в 1971 году большой труд, носящий справочный характер, — «Зарубежная Россия: история и культурно-просветительская работа русского зарубежья за полвека (1920—1970)». Им собран огромный фактический материал, который дается в книге практически в чистом виде — без комментариев и политических оценок. По сути дела, это краткая энциклопедия русской эмиграции.

«Борьба за просвещение и воспитание молодого поколения, покинувшего родину, началась с первых же дней русского рассеяния, — пишет П. Е. Ковалевский. — Уже в Константинополе как русским педагогам, так и общественным деятелям пришлось столкнуться с трагической проблемой тысяч детей, частью сирот или оказавшихся без родителей и без призора, а частью тех, которые хотя и имели родителей, но не имели воз-

можностей ни продолжать свое образование, ни даже получить начатки знаний»¹⁰.

К началу учебного 1924 года, то есть меньше чем за три года эмиграции, русские создали для своих детей 24 средние школы и многочисленные начальные. В условиях крайней скудости средств, общественной и бытовой неустроенности для налаживания школьного дела требовалась вся самоотверженность русской интеллигенции, чтобы решить эту почти непосильную задачу. Историк русской зарубежной школы В. В. Руднев* в своей книге «Зарубежная русская школа» писал в 1925 году о труде русского учителя в эмиграции, что называется, по горячим следам:

«Учитель получает нищенское содержание, составляющее лишь часть самого низкого беженского прожиточного минимума. Он вынужден зачастую пополнять свой бюджет тяжелым физическим трудом. В классе он вынужден обходиться без самых необходимых учебных пособий и готовить их самому во внеурочное время. Тем не менее и в этих условиях русский учитель не оставляет своего дела, не бросает его даже тогда, когда ему предоставляется возможность переменить свое занятие на более выгодную в материальном отношении профессию»¹¹.

Организацией русского школьного дела за рубежом занимались Русский Красный Крест и Земско-городской комитет (Земгор). В Германии в период наибольшего притока эмигрантов имелись детский сад, начальная школа, две средние школы, несколько интернатов и училищ. С самыми большими сложностями эмиграция столкнулась при организации школ в славянских странах Восточной Европы, поскольку на путях исхода беженцев скопилось огромное число детей. Пожалуй, наиболее тяжелым оказалось положение русских школ в отколовшейся от бывшей Российской империи Польше. По официальной статистике, на территории Польши и в отошедших к ней русских областях проживало на начало 20-х годов более 5 млн. русских.

Власти буржуазной Польши чинили всяческие препятствия для работы русских школ и преподавания русского языка. Фактически велась политика свертывания сложившейся системы русских школ. Им было

* Руднев В. В. (1879—1940) — член партии социалистов-революционеров, в 1917 году — городской голова Москвы. В эмиграции — член редколлегии парижского журнала «Современные записки». Умер в городе По вскоре после бегства из оккупированного немцами Парижа.

предложено перейти на польский язык, те же школы, которые отказались от преподавания на польском, были закрыты. Большинство школьных зданий у русской общины было отобрано. Многие школы были лишены права выдавать аттестаты зрелости. От учеников требовали обязательного посещения богослужений в католических костелах. Большинство русских школ официально числилось как «частная русская школа в ликвидации». Политика гонений русского языка и русской школы привела к тому, что учиться мог лишь 1 процент русского населения. В 1922 году количество беженцев из России достигло в Польше нескольких сот тысяч. На всю эту массу людей приходилось всего 15 средних и 6 начальных школ. Трудности с организацией школьного дела были одной из важных причин быстрого оттока русских эмигрантов из Польши далее на Запад.

Однако чем сложнее становилось положение русских школ, тем сплоченнее и самоотверженнее действовала русская зарубежная интеллигенция для защиты настоящего и будущего своего языка и своей культуры.

Борьба за русскую школу — лишь один из многочисленных примеров самоотверженности русских за рубежом. И именно в этом была характерная черта русской эмигрантской интеллигенции — ее озабоченность общественными делами, ее готовность к служению общему благу.

Индивидуализм как характерная черта интеллигента в значительно меньшей степени присущ представителям русской культуры. Англичанин, француз, немец, еврей, итальянец, оказавшись за рубежом в добровольном или насильственном изгнании, стремится прежде всего утвердить себя как личность, устроить свою собственную жизнь, по возможности скорее изучить иностранный язык, получить местный паспорт. В этом одна из причин довольно быстрой ассимиляции этих народов. Я имел возможность много наблюдать, как быстро встают на ноги за границей, в частности во Франции, алжирцы, марокканцы, вьетнамцы, китайцы. И это при полном различии цивилизаций. Русские же, несмотря на общность европейской цивилизации, приживались за границей туго, медленно входили в жизнь, десятилетиями не могли материально встать на ноги.

Особенно это касалось интеллигенции. Ей не хватало особого «воздуха» русской общественной жизни, который, собственно, и сформировал русского интеллигента. Не

хватало прежде всего привычной возможности работать для народа. Отсюда и в эмиграции тяга к созданию всякого рода комитетов помощи, общественных столовых, школ, детских лагерей, курсов, сиротских домов, пансионатов для престарелых — словом, тех учреждений, где можно было бы приложить врачующую руку к чужой беде. Несмотря на все распри, споры, политические разногласия и взаимные обвинения в предательстве, «воздух» русской эмиграции был пропитан идеями милосердия и общественной работы.

Но в эмиграции возможности для проявления общественного темперамента были весьма ограничены. Общественной активности интеллигенции не хватало простора, глубины, к которым она привыкла в России. И даже сами потрясения русской жизни, которые эмигранты могли теперь наблюдать только издали, казались им исполненными огромной притягательной энергии. Письма эмигрантов этих лет друг к другу, своим друзьям, оставшимся в России, полны сетований на «обывательское болото эмигрантщины». Мало кто жаловался на трудности быта, на безденежье, на жизнь из милости. Жаловались на отсутствие смысла жизни, большого дела.

Большинство уехавших мучительно тоскуют по оставленному в России делу, ищут себе хоть какого-то общественного поприща, многие исподволь прощупывают возможности для возвращения. В этом отношении весьма характерным является письмо к А. С. Яценко от Георгия Владимировича Вернадского, сына академика В. И. Вернадского. Письмо относится к начальному периоду его эмиграции. Для исследователя русской эмиграции автор письма интересен еще и тем, что одним из первых начал заниматься разработкой «евразийства» — философско-нравственного учения, объединявшего группу ученых и писателей и стремившегося идеологически обосновать наведение «мостов примирения» с большевиками. К «евразийцам» относились такие известные в эмиграции люди, как богослов и историк Г. Ф. Флоровский, блестящий филолог князь Н. С. Трубецкой, крупный русский философ Л. П. Карсавин*.

* Карсавин Л. П. (1882—1952) — религиозный философ. В 1922 году арестован ГПУ и выслан с большой группой русских философов, историков и общественных деятелей за границу. Работал в Ковно, Вильно, Париже, Берлине. В 1928 году получил кафедру в Литовском университете в Ковно (Каунас), где преподавал до 1946 года. В 1949 году арестован. Умер в 1952 году в лагерной больнице. Брат известной русской балерины Т. П. Карсавиной.

Письмо Г. В. Вернадского к А. С. Яценко характерно еще и тем, что в нем поднимается вопрос о книгах на русском языке — одна из постоянных забот русских за границей.

«Афины, 23 октября (5 ноября) 1921 г.

Многоуважаемый Александр Семенович (простите великодушно, если перепутал Ваше отчество). Давно я собирался Вам написать, узнать, не слышали ли Вы чего-нибудь о Перми, Пермском университете и профессорах*. Я уехал из Перми осенью 1918 года (был последнее время профессором Таврического университета в Симферополе) и ничего с тех пор о Перми не слышал, а очень бы хотелось знать.

Сейчас помимо этой просьбы у меня к Вам еще другая: отнестись доверчиво и дружелюбно к Афинскому русскому студенческому союзу, помочь этому союзу в его сношениях с берлинским отделением ИМКА**, где Вы, кажется, заведуете курсами.

Афинский русский студенческий союз находится в особо трудных условиях по сравнению с другими русскими студенческими организациями (число членов союза сравнительно невелико, так как вообще русских здесь немного), помощи извне союз ниоткуда не получает. Союз налаживает здесь в скромных размерах книжную торговлю (для обслуживания своих членов и русской колонии вообще) и рассчитывает на содействие ИМКА. Пересылка денег из Греции сейчас очень затруднена, для посылки через банк маленькой даже суммы нужно особое разрешение, два дня толкаться в банке и пр. Между тем все члены союза днем где-нибудь работают и заняты. Может быть, берлинское отделение ИМКА может высылать книги для Русского студенческого союза в здешнее отделение ИМКА и Рус. студ. союз будет уплачивать стоимость. Или Берлинское отделение будет посылать русским студентам книги в кредит, а раз в 2 или 3 меся-

* После защиты магистерской диссертации в октябре 1917 года в Петрограде Г. В. Вернадский в 1917—1918 годах преподавал в Пермском университете. Осенью 1918 года переехал в Крым. В 1920 году — начальник Главного управления по делам печати в правительстве, созданном Врангелем. Эмигрировал через Константинополь. В 1921—1922 годах работал библиотекарем в Афинах.

** ИМКА (YMCA) — Христианский союз молодых людей (Young Men Christian Association) — одна из благотворительных организаций, принявших активное участие в помощи русской эмиграции. Существует (с 1921 г.) одноименное издательство.

ца русские студенты будут высылать деньги. При этом книготорговцы, конечно, должны делать скидку.

Затем, не может ли ИМКА прислать для библиотеки (налаживающейся очень туго) Рус. студ. союза немного книг бесплатно.

Простите, что затрудняю Вас этими просьбами, но хочется помочь хорошему начинанию.

А про Пермь, если что слышали, напишите мне непременно.

Всего лучшего, искренне уважающий Вас

*Г. Вернадский*¹².

Георгий Владимирович Вернадский умер вдали от родины. О трагической судьбе своего отца он мог знать по крохам той информации, которая поступала на Запад по почти уже заросшим и разрушенным каналам связи между учеными. Можно только догадываться, какими наивными на фоне опустившейся над Россией долгой ночи казались ему некогда проповедовавшиеся им идеи «евразийства». Ведь большинство теоретиков «евразийства», уверовавших в реальность своих иллюзий и попытавшихся на собственном опыте проверить теории примирения с большевизмом, ждало горькое и чаще всего трагическое разочарование. На том конце «мостов примирения» их ждали аресты, ссылки, тюрьмы. Горькую чашу испил и главный теоретик «евразийства» профессор Петр Николаевич Савицкий. Какой страшный парадокс истории: Савицкий был арестован в Праге, освобожденной советскими войсками, и этапирован в мордовские лагеря. Нужно было быть человеком огромной духовной силы, чтобы не утратить веру в жизнь, в конечный ее смысл. Из ссылки до Запада дошло несколько стихотворений, написанных Савицким. Вот одно из них, относящееся к 1947 году.

Свет пятьдесят четвертой параллели!
Как ценишь этот краткий зимний свет,
Когда в глухие долгие недели
Ни электричества, ни керосина нет.
Как радуешься первому мерцанию
Едва занявшейся за тучами зари,
С каким невыразимым ожиданием
Глядишь на темный лес и очерк роц вдали.
Светлеет лес, и на душе светлеет.
Вот начинаешь буквы различать.
И душу пленную среди зимней стужи греет
Возможность вновь работать и читать¹³.

Вместе с тем идеи возвращенчества в первые годы эмиграции, когда в России еще не раскачался страшный маятник репрессий, имели весьма широкое хождение. К ним прислушивались и в России, еще не отторгнувшей от себя ушедших в эмиграцию. Одна из разновидностей возвращенчества — «сменовеховство» — вызывала интерес и у Ленина. Советское правительство при Ленине неоднократно делало жесты доброй воли, стремясь к установлению доверия между левой эмиграцией и советской властью. В этом отношении интересна возвращенческая одиссея Юрия Вениаминовича Ключникова, весьма характерная для судеб эмигрантов, поверивших в ленинский идеал социалистической России и прошедших трудный путь от активного неприятия советской власти к сотрудничеству с ней в тот период, когда ее история еще не была омрачена сталинским террором.

Ю. В. Ключников (1886—1938) был крупным специалистом по международному праву. До революции он служил приват-доцентом Московского университета. Сотрудничал в газете «Русское слово». Революцию не принял, и, в отличие от большинства интеллигенции, не принял активно. В годы революции и гражданской войны он — видный участник контрреволюции, один из вдохновителей Ярославского восстания. В созданном Колчаком правительстве занимал пост министра иностранных дел. Но в эмиграции Ключников оказался среди тех, к кому довольно быстро пришло отрезвление от угара ненависти, вынесенной из гражданской войны. Уже в 1921 году в Париже, а потом в Берлине появляются его статьи, свидетельствующие о переломе в его политическом сознании. Глубокое воздействие на эволюцию Ключникова (как, впрочем, и на многих других) оказала начавшаяся в советской России новая экономическая политика, повлекшая за собой быстрое экономическое возрождение страны. Его внимание как специалиста по международному праву не могли не привлечь и меры, принимаемые возглавляемым Лениным правительством, по возвращению страны на рельсы правового государства: был принят Уголовный кодекс РСФСР, ограничена компетенция ЧК, все шире привлекались к сотрудничеству старая интеллигенция, «спецы», иностранные фирмы. Не прошли незамеченными русской эмиграцией и обращенные к недавним молодым участникам гражданской войны слова Ленина о необходимости учиться и овладевать всем наследием мировой культуры. Надежды внушает и замена

продразверстки продналогом, в которой угадывалось стремление советской власти наладить нормальные экономические отношения с деревней, с крестьянством, положить конец «военному коммунизму».

«Вот уже год, как я отстаиваю мысль о прекращении вооруженной борьбы с большевистским правительством, а теперь (тоже уже довольно давно) я полагаю, что всякие вообще «срывы» советской России были бы лишь во вред России, — писал в апреле 1921 года Ю. В. Ключников из Парижа в Берлин в редакцию журнала «Русская книга». — Нет такой силы, которая могла бы прийти на смену теперешнему режиму, разломав все сделанное им, и которая вместе с тем могла бы сама что-то осуществить и что-то хорошее сделать. Спасение России и остальных народов — в естественной эволюции к новым формам социальной жизни, требуемой и сознанием приобретающей небывалую политическую силу трудящихся масс, и событиями последних лет... Если эта эволюция не сумеет осуществиться, то взамен нее придет мировая революция. *Tertium non datur**. Бороться с этими эволюциями или революцией по рецептам Керенского, или Милюкова, или Струве — значит в лучшем случае играть невольно им же на руку (но какой ценой!), а в худшем — играть на руку самой дьявольской анархии. Таково основное в моем политическом настроении, которое долго вынашивалось и, надеюсь, способно выдержать всякие испытания...»¹⁴.

В этом письме — вся суть идеи примирения и возвращения, вся идеология «сменовеховства», названная так по имени сборника статей «Смена вех»**.

Советская Россия внимательно прислушивалась и приглядывалась к политической эволюции эмиграции, особенно ее левого крыла. Мысли «сменовеховцев» анализирует Ленин. По его мнению, «сменовеховцы» выражают настроения тысяч и десятков тысяч всяких буржуев или советских служащих, участников новой экономической политики. Об этом Ленин говорил в октябре 1921 года на II Всероссийском съезде политпросветов. Троцкий считал, что нужно, чтобы в каждой губернии был хотя бы один экземпляр книжки «Смены вех». «Сменовехов-

* Третьего не дано (лат.).

** Сборник «Смена вех» вышел в Праге в 1921 году. В нем были помещены статьи шести эмигрантских публицистов: Ю. Ключникова, Н. Устрялова, С. Лукьянова, А. Бобрищева-Пушкина, С. Чахотина и Ю. Потехина.

цы пришли к советской власти через ворота патриотизма», — отмечал он. По-своему отозвался на идеологию «сменовеховства» Сталин, сказав на XII съезде ВКП(б), что «сменовеховцы» хвалят большевиков за восстановление единой и неделимой России.

Разумеется, отношение эмигрантских сторонников примирения с большевизмом нужно рассматривать с учетом специфики периода нэпа. Приветствуя Россию нэповскую, они приветствовали в ней прежде всего ту Россию, которую им хотелось видеть. В книге «Под знаменем революции» профессор Н. В. Устрялов писал, что революция подошла к стадии, когда обнаруживается ее объективный конечный смысл: под покровом коммунистической идеологии слагается новая буржуазная демократическая Россия с «крепким мужиком» как центральной фигурой. «Мы, сменовеховцы, хотим, чтобы русский мужичок получил все, что ему полагается от наличной власти». Ради такой эволюции большевизма Н. Устрялов был готов примириться и с красным флагом над Зимним дворцом. Он писал: «Над Зимним дворцом, вновь обретшим гордый облик подлинно великодержавного величия, дерзко развевается красное знамя, а над Спасскими воротами, по-прежнему являющими собой глубочайшую историческую национальную святость, древние куранты играют «Интернационал». Пусть это странно и больно для глаз, для уха, пусть это коробит, но в конце концов в глубине души невольно рождается вопрос: красное ли знамя безобразит собой Зимний дворец или, напротив, Зимний дворец красит собой красное знамя... Наши внуки на вопрос, чем велика Россия? — с гордостью скажут: Пушкиным и Толстым, Достоевским и Гоголем, русской музыкой, русской религиозной мыслью, Петром Великим и великой русской революцией»¹⁵.

Однако в Париже — политическом центре эмиграции, где еще слишком велики были авторитеты недавних вождей белого движения, — идеи «смены вех» были встречены с подозрением. Призыв «сменовеховцев» и «евразийцев» к возвращению и примирению напугал политических лидеров эмиграции как правого, так и левого толка. В случае успеха «сменовеховской» пропаганды эмиграции грозил серьезный отток. Идейные распри эмиграции осложняли отношения и с теми кругами французской буржуазии и правительства, которые готовы были по-прежнему поддерживать притязания идеологов эмиграции на право быть выразителями воли русского

народа. И лидеры русского либерализма П. Н. Милюков и В. А. Маклаков, и меньшевик Ф. И. Дан, и социалисты-революционеры восприняли проповедь о «смене вех» в штыки. На нэповские веяния в советской России Милюков смотрел скептически, расценивал нэп как тактический прием. Он требовал от эмиграции «сохранения пафоса неприятия советской власти», отрицая и отвергая всякое примиренчество.

В конце 1921 года Ю. Ключников перебирается в Берлин, где вместе с Ю. Потехиным основывает газету «Накануне», ставшую одним из важных каналов связи и культурного сотрудничества между советской Россией и эмиграцией. Для популяризации своих воззрений Ключников пишет пьесу «Единый куст», которая вышла отдельным изданием в Берлине несколько позднее. Пожалуй, это был самый плодотворный и обнадеживающий период в обоюдном стремлении к «наведению мостов». Для личной судьбы Ключникова кульминационным моментом было приглашение его в качестве эксперта по международному праву принять участие в Генуэзской конференции в составе советской делегации. Идею эту подал Ленин. Вскоре после окончания конференции Ключников вместе с Потехиным приезжают в Россию, совершают поездку по стране. Темпы экономического восстановления, быстрое оживление культурной жизни, облик русских городов, воспрянувших с началом новой экономической политики от дистрофии голода 1921 года, — все это убеждало Ключникова в обоснованности его представлений. Он принимает решение вернуться окончательно. Недавнему противнику предлагают кафедру международного публичного права в Московском университете.

Окончательно в Россию Ю. В. Ключников возвращается в августе 1923 года. Об отношении большевиков ленинской гвардии, которые в то время составляли большинство в советском правительстве, к возвращающимся из эмиграции интеллигентам достаточно красноречиво свидетельствует тот факт, что вскоре после возвращения Ю. В. Ключников становится заведующим кабинетом международной политики Коммунистической академии, где готовились кадры будущих руководителей страны.

К сожалению, после смерти Ленина старая партийная интеллигенция, которая прекрасно помнила, что многие из оказавшихся в эмиграции были активными участниками революции, борцами против самодержавия и за интересы народа, стала довольно быстро «вымываться»

из высших эшелонов власти. С началом массовых призывов в партию уровень интеллигентности руководства страной постепенно снижается. Уже в 1925 году в партии насчитывалось около 30 тыс. полностью неграмотных, таких, которые не умели ни читать, ни писать. Среди делегатов XVI съезда партии в 1930 году 74,7 процента имели только начальное или неполное среднее образование. Это была уже та пластилиновая, вязкая масса, из которой при малейшем подогреве можно было лепить любые фигуры. Иммунитет партии к невежеству резко снижается. По сути дела, Сталин в интересах укрепления своей власти вел целенаправленную политику вытеснения интеллигенции из партии и из руководства экономикой страны. С первых же шагов своего пребывания у власти Сталин извратил привычные представления об интеллигенции в русском обществе. Объявляя себя учеником Ленина, его наследником, Сталин в отношении интеллигенции стал, по сути дела, последователем Махайского*, считавшего интеллигенцию враждебным пролетариату классом.

Этот реверс по отношению к интеллигенции не мог, разумеется, не сказаться на взглядах на интеллигенцию, находившуюся в эмиграции. После смерти Ленина постепенно меняются оценки и таких нравственно-патриотических течений эмиграции, как «евразийство», «сменовеховство», «возвращенчество». Отношение к ним становится все более подозрительным, а впоследствии и враждебным. Враждебность, по сути дела, начинает преодолевать только сейчас. Нетерпимые, однозначные оценки «сменовеховства» в течение десятилетий кочевали из одной книги в другую. Упор делался на заблуждения, ошибки, и, напротив, замалчивалось все то искреннее и честное, что было в стремлении этих людей найти пути к возвращению на родину.

Процесс отторжения эмиграции, подталкивания ее в стан политических противников шел параллельно с шельмованием интеллигенции внутри страны. Официальная история потратила немало сил, чтобы заглушать массовую вовлеченность русской интеллигенции в подготовку и проведение революции. Делалось это отчасти и потому, что не так-то просто было объяснить, почему большие массы революционной интеллигенции оказались за грани-

* Махайский В. К. — лидер одного из течений в российском революционном движении, получившего название «махасвщина». Считал, что базой революции являются деклассированные элементы общества.

цей. В оценках стали преобладать упрощение, а впоследствии и откровенная фальшь. Образ интеллигента настойчиво и целенаправленно накладывался на образ меньшевика и эсера, к которым все крепче пришивался ярлык «врага народа». В стране начинал падать престиж интеллигенции, а в научную литературу все шире внедрялся фальшивый тезис о врожденной контрреволюционности интеллигенции. Практически все процессы 30-х годов, независимо от того, против кого они фабриковались — троцкистов, левых и правых «уклонистов», «Промпартии», «Трудовой крестьянской партии», — «Шахтинское дело» и т. д. были, в сущности, процессами против интеллигенции. Необходимость труда интеллигентов сквозь зубы еще признается: надо же было кому-то изобретать машины, строить самолеты, развивать науку. Но интеллигенции уже постепенно дают понять, что она не своя, чужая, ненадежная. Рождаются унижительные и опасные термины, обращенные прежде всего к интеллигенции: вначале «попутчик», а позднее, когда времена еще более ужесточились и «попутчики» тоже стали не нужны, нужны были лишь «запевалы», родился один из самых отвратительных терминов сталинской эпохи — «внутренний эмигрант».

Нетрудно догадаться, как сложно складывалась судьба тех эмигрантов, которые, послушавшись голоса сердца, вернулись на родину. Советский читатель более или менее осведомлен о жребии тех вернувшихся на родину эмигрантов, которых обошла ядовитая чаша сталинских репрессий: Алексея Толстого, Сергея Прокофьева, Александра Куприна, Сергея Конёнкова, Степана Эрьзи, Александра Вертинского... Но под тяжелыми глыбами молчания и забвения долгие годы скрывалась судьба тех, которые, вернувшись и вдохнув воздуха отечества, были захвачены безжалостным смерчем репрессий. Ведь если под широкий каток ежовских и бериевских «органов» попадали миллионы совершенно невинных людей, то нетрудно догадаться, какой легкой и «желанной» жертвой становились те, кто побывал в эмиграции и в глазах ненавистников интеллигенции нес на себе смертельную печать «реэмигранта». А людей с такими «печатами» было много, ибо велико и непреодолимо было желание вернуться на родину. И человека, «заболевшего» этой страстью, уже невозможно было ни заманить западной свободой, ни напугать происходящим в России. Из эмиграции в Москву шел огромный поток писем с прось-

бами разрешить вернуться. В 1921 году после принятия ВЦИК декрета об амнистии рядовых участников белого движения домой вернулось более 120 тыс. Какова их судьба? Об этом нам мало что известно. Хотелось бы надеяться, что, по мере того как будет расширяться деятельность добровольной общественной организации «Мемориал» по увековечению памяти жертв сталинского террора, дойдет очередь и до судеб тех, кто, вернувшись на Родину из эмиграции, разделил трагедию других жертв сталинской контрреволюции.

Трагически окончилась и жизнь Юрия Вениаминовича Ключникова, человека, которого Ленин пригласил на Генуэзскую конференцию и который был редактором «Накануне» — единственной эмигрантской газеты, официально распространяемой в советской России в короткий период до смерти Ленина. Объектом травли Ю. В. Ключников становится с начала 30-х годов. В журнале «Красная новь» (№ 1 за 1931 г.) появляется статья «Предшественники вредительства», где он и его сподвижники подвергаются язвительной критике. Репрессирован и погиб Ю. В. Ключников в период «ежовщины».

Одно из немногих счастливых исключений — судьба русского писателя Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, вернувшегося в Россию в 1922 году. На родине он прожил долгую жизнь и умер в 1975 году, пережив все волны довоенного и послевоенного террора. В 1933 году он даже был участником арктической экспедиции ледохода «Малыгин» и был принят Сталиным.

Но своим спасением он едва ли обязан этому виражу судьбы. Встречи со Сталиным далеко не всегда служили гарантией безопасности. Часто наоборот. Соколова-Микитова спасла приверженность к деревенской, глубинной жизни России. Больших городов он не любил, столичной суеты не терпел, в дружбу к властям не навязывался и держался подальше от трибун как литературной, так и политической жизни. «Живу постоянно в деревне, потому что это приближает меня к моему детству и моей семье, дает возможность охотиться и видеть ближе людей, а главное — не служить»¹⁶, — писал он в 1928 году в автобиографическом очерке.

Это коротенькое слово «не служить» многое объясняет в позиции вернувшегося из эмиграции писателя и своими глазами увидевшего, как губительна атмосфера насаждаемого сталинского культа на культурную, и в частности литературную, жизнь.

Весть о возвращении И. Соколова-Микитова в Россию эмиграцией была встречена с немалой долей удивления. Прослышав об отъезде писателя, Зинаида Гиппиус писала своей знакомой С. П. Ремизовой-Довгелло: «Меня берлинские дела очень интересуют: падают люди в небытие, словно карточные. И вот Соколов-Микитов: я его помню, ведь такой твердокаменный, казалось. И пыль одна!»¹⁷.

Метаморфоза писателя многим представлялась непонятной, неожиданной. Ведь совсем недавно, за год до отъезда, он помещал в издаваемой в Берлине И. В. Гессеном газете «Русь» статьи, свидетельствующие о крайней степени неприятия того, что происходит в дорогой его сердцу крестьянской России.

В сущности, И. С. Соколов-Микитов говорил многое из того, что ранее уже осознали и сами большевики. На IX съезде партии в 1920 году Троцкий, подводя предварительные итоги гражданской войны, вынужден был признать: «Мы разорили страну, чтобы разбить белых». Однако большевики-интеллигенты умели признавать ошибки и извлекать уроки из тяжкого опыта. Нэп был признанием ошибок в отношении крестьянства. Продразверстка отвернула деревню от города и снова поставила страну на грань гражданской войны. По России прокатилась волна крестьянских восстаний, упорно называемых в литературе последующих лет «мятежами».

В Москве, впрочем, вполне отдавали себе отчет в том, что речь, в сущности, идет о крестьянской войне. В специальной инструкции командования Тамбовской губернии от 12 мая 1921 г. говорилось, что «на задачу искоренения бандитизма следует смотреть не как на какую-нибудь более или менее длительную операцию, а как на более серьезную военную задачу — кампанию или даже войну»¹⁸. В распоряжение Тухачевского, посланного в Тамбовскую губернию, где размах крестьянских волнений был особенно угрожающим, было предоставлено 35 тыс. штыков, около 10 тыс. сабель, несколько сот пулеметов и свыше 60 орудий.

По сути дела, регулярные военные операции велись против восставших зимой и весной 1921 года сибирских крестьян. «По просьбе Сибревкома, — пишет советский историк И. Я. Трифонов, — Советское правительство послало на подавление мятежа Казанский и Симбирский стрелковые полки, Вятские пехотные курсы, 121-й и 122-й кавалерийские полки, Отдельную кубанскую кавалерий-

скую бригаду, 21-ю стрелковую дивизию, 4 бронепоезда, восстановительные поезда и телеграфно-строительные роты»¹⁹.

Однако, в отличие от последующих десятилетий, когда политика Сталина и его окружения все более застывала в узких догмах вновь взятого на вооружение «военного коммунизма», для политики начала 20-х годов были характерны высокая степень гибкости, умение извлекать уроки из неверных ходов. Откликаясь на крестьянские восстания и «кронштадтский мятеж», Ленин говорил на X съезде РКП(б) в марте 1921 года: «...Мы не должны стараться прятать что-либо, а должны говорить прямоком, что крестьянство формой отношений, которая у нас с ним установилась, недовольно, что оно этой формы отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Это бесспорно. Эта воля его выразилась определенно»²⁰.

Известия о крестьянских восстаниях, «кронштадтском мятеже» и последовавшая вслед за ними переоценка экономической политики в отношении крестьянства, торговли, концессий вызвали в эмиграции бурные споры, очередную лихорадку взаимных обвинений и размежеваний. Одни увидели в ленинском нэпе слабость большевизма, вторые — хитрый тактический ход, третьи — способность большевиков к трезвой и реалистической политике.

Так или иначе, но совпадение по времени нэпа в России и «сменовеховства» в эмиграции отнюдь не случайно. Эмиграция продолжала чувствовать себя частью России, а свою судьбу — частью судьбы отечества. Нэп вселил в эмиграцию огромные надежды на «наведение мостов», а слова Ленина о новой экономической политике — «это всерьез и надолго» — стали предметом самых оживленных дискуссий в эмигрантской среде. В том факте, что 1 июня 1921 г. в Москве открылось отделение редакции эмигрантской газеты «Накануне», видели политическое и культурное продолжение нэпа.

С надеждами на возрождение исконной, крестьянской России, предпосылкой которого стала новая экономическая политика, и возвращался на родину И. С. Соколов-Микитов. После мелких раздоров эмигрантской групповщины, после «беззвездного неба эмигрантщины» его с особой силой тянуло на просторы отечества, приходившего в себя после кровавых снов гражданской войны.

Весьма характерна эволюция взглядов писателя. В ию-

ле 1921 года, когда эмиграция еще не осознала новизну экономической политики, Соколов-Микитов публикует в берлинской эмигрантской газете «Руль» свой знаменитый памфлет «Крик. — Вы повинны», обвиняя большевиков в беспрецедентной по масштабам национальной катастрофе:

«...Вы повинны в том, что довели народ до последней степени истощения и упадка духа.

Вы повинны в том, что истребили в народе чувство единения и общности, отравили людей ненавистью и нетерпимостью к ближнему. И от кого ожидаете помощи, если вы же научили людей смотреть друг на друга, как на врага, и радоваться чужому страданию»²¹.

В эмигрантской среде И. С. Соколов-Микитов числился в стане непримиримых, и его неожиданный отъезд в «совдепию» в августе 1922 года поразил многих. А между тем в возвращении известного писателя была своя логика — логика национального единения, которая составляла политическую основу нэпа.

В письмах Соколова-Микитова сквозит надежда на то, что возвращающаяся к мирному быту Россия, несмотря на разорение и только что пережитый страшный голод, обретет единство и покой. Писателю казалось, что могилы по полям отечества, кровь и красных, и белых, polegших на полях гражданской войны, вызывают к примирению, к единой молитве и общему труду на благо России. «Давно прошло время самохвата и озорства, нет ни «помещиков», ни «бедноты», ни «пролетариев», ни «буржуев». Несчастье многому научило людей и оброднило», — писал И. С. Соколов-Микитов из России в Берлин Алексею Толстому.

Первые впечатления вернувшегося писателя благоприятны. Его поражают богатство и разнообразие литературной жизни, кипение молодых страстей набирающей силу новой, вместе с революцией выросшей интеллигенции. «Всем нутром чувствую: правильно сделал. Врут сменовеховцы, но есть для чего в России нужно быть», — пишет он через неделю после приезда.

Удивляет обилие новых литературных талантов, имен. Россия жива, не оскудела! Он довольно быстро сближается с писателями, входящими в группу «Серрапионовы братья», особенно с Константином Фединым, с которым сохранил дружбу на всю жизнь. Письма Соколова-Микитова в Берлин полны маленьких портретных зарисовок советских писателей. Эти письма служили в «Новой

русской книге» большим подспорьем при подготовке обзоров послереволюционной прозы.

«Константин Федин, напечатавший пока ряд небольших рассказов «Сад» и др., писатель тонкий, явно в будущем с уклоном к академизму...»

«Сад» был удостоен первой премии на конкурсе Дома литераторов в Петрограде и принес К. Федину известность в эмиграции. Рассказ был перепечатан в литературном приложении к газете «Накануне». О нем А. М. Ремизов писал в коротенькой рецензии в «Новой русской книге»: «„Сад“ Фебина — рассказ подгородный: нежности посолонной, а тема нынешняя». Собственно, с этого времени у К. Фебина устанавливаются долгие дружеские отношения с литературными кругами русской эмиграции, вначале берлинской, затем парижской.

Городской жизни И. С. Соколов-Микитов не любил. На его вкус, в городах, особенно в столице, слишком много шумели о политике. И вообще со своими представлениями о вольности, братстве ему было трудно вписаться в новую систему отношений, в которой все явственнее слышатся бюрократические мотивы. Довольно скоро писатель понимает, что в столицах ему не ужиться, ему мнится (и не без оснований), что в России даже и дышится теперь не так, как хочется. И уже терзают душу страшные сомнения: та ли это Россия, к которой он рвался, или уже другая?

«...Пробыть два дня в Москве было мученье, — пишет он А. С. Яценко в Берлин. — И только в деревне, кажется мне, умели пронести Страстные свечи и нетронутую вербу. Отказаться от России невозможно. И, Бог знает, кто прав и кто ближе к России — Бунин из Парижа или Пильняк из Коломны? В Москве о России знают меньше, чем мы знали в Берлине. Здесь так же много слепых, как и там. И самое, может быть, подлое подхалимство — описывать нынешний быт и Россию так, чтобы «начальство» не придралось. Ты заметил, что почти все теперь сбиваются на «лакейский» стиль. Попадают книги рассказов, написанные смердяковским слогом. Писали их не смердяковы. Но это впадение в смердяковский тон — неспроста и кое-что значит...»

Когда в 1922 году И. С. Соколов-Микитов писал это письмо, до начала «сплошной коллективизации» было еще долгих семь лет. Еще были надежды на то, что Россия сможет пойти другим, не насильем проложенным путем. Но тонкое чутье писателя, впитавшего в себя дух россий-

ской вольницы, уже уловило в воздухе тех лет признаки другой, может быть, еще более пагубной коллективизации — коллективизации интеллекта. Бродяжнический дух писателя не приемлет новой «советской демократии», в которой ему все слышнее угадываются мотивы «смердяковщины». И он бежит туда, где еще не тронутыми пластами лежала русская, изначальная жизнь: «...Уеду на дальний север, на Ледовитый океан или пойду с ружьем и сумкой по мертвым и живым душам...»

На волне нэпа вслед за И. С. Соколовым-Микитовым возвращается в Россию и один из виднейших писателей, оказавшихся в эмиграции, — Алексей Толстой, активно сотрудничавший с 1921 года в «сменовеховской» газете «Накануне».

В своем ответе Николаю Васильевичу Чайковскому, требовавшему от имени Комитета помощи писателям-эмигрантам объяснить причины его сотрудничества с «Накануне» (в эмиграции ходили слухи, что газета финансируется большевиками), Алексей Толстой изложил мотивы не только своего сотрудничества со «сменовеховской» газетой, но и, по сути дела, причины своего возвращения в Россию. Интересно, что в этом ответе явственно звучат ноты, навеянные новым политическим курсом Москвы, обоснованным Лениным на X съезде РКП(б).

Письмо было опубликовано в газете «Накануне» 14 апреля 1922 г., а через одиннадцать дней перепечатано «Известиями» с комментарием П. С. Когана «Раскол эмиграции».

Говорить о расколе было, вероятно, преувеличением, поскольку эмиграция никогда и не была единым организмом. Это было живое существо с тысячами трагических лиц и масок.

Острота и болезненная реакция Берлина, Парижа, Праги — крупнейших центров средоточия русских беженцев — на возвращение ряда известных писателей в Россию объяснялась во многом тем, что в ту пору эмиграция еще в значительной степени жила под влиянием тех политических импульсов, которые исходили из советской России. Спор эмиграции в связи с отъездом А. Толстого на родину был прежде всего спором о России. Говоря словами Г. П. Федорова, это была «тяжба о России» внутри эмиграции. Письмо и отъезд А. Толстого в Москву были не результатом «раскола эмиграции», а следствием психологической победы, которую одержал нэп как в советской, так и в эмигрантской России.

Приведу ту часть письма А. Толстого²², где писатель мотивирует свое возвращение на родину.

«...Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных я был на стороне белых.

Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти годы погибли два моих брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядей, восемь человек моих родных умерли от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.

Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы определяли новый срок, когда большевики должны пасть, — были несомненные признаки их конца. Парижская жизнь начала походить на бред. Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах. Французы нас боялись, как сумасшедших. Строчка телеграммы, по большей части сочиняемой на месте, в редакции, приводила нас в исступление, мы покупали чемодан, чтобы ехать в вот-вот готовую пасть Москву. Мы были призраками, бродящими по великому городу. От этого постоянного столкновения воспаленной фантазии с реальностью, от этих постоянных сотрясений многие не выдерживали. Мы были просто несчастными существами, оторванными от родины, птицами, спугнутыми с родных гнезд. Быть может, когда мы вернемся в Россию, оставшиеся там начнут считаться с нами в страданиях. наших было не меньше: мы ели горький хлеб на чужбине.

Затем наступили два события, которые одним прибавили жару в их надеждах на падение большевизма, на других повлияли совсем по-иному. Это были война с Польшей и голод в России.

Я в числе многих, многих других не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72-го года или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет назад, в точно такой же обстановке, защищал воевода Шеин от польских войск, явившихся также по русскому зову под стены города. Всей своей кровью я желал победы красным войскам. Какое противоречие... Я все еще был наполовину в призрачном состоянии, в бреду. Приспело новое испытание:

апокалипсические времена русского голода. Россия вымирала. Кто был виноват? Не все ли равно — кто виноват, когда детские трупки сваливаются, как штабели дров у железнодорожных станций, когда едят человеческое мясо. Все, все мы, скопом, соборно, извечно виноваты. Но, разумеется, нашлись непримиримые; они сказали, — голод ужасен, но — с разбойниками, захватившими в России власть, мы не примиримся, — ни вагона хлеба в Россию, где этот вагон лишний день продлит власть большевиков! К счастью, таких было немного...

Наконец, третьим, чрезвычайным событием была перемена внутреннего, затем и внешнего курса русского, большевистского правительства, каковой курс утверждает-ся бытом и законом. Каждому русскому, приезжающему с запада на восток, — в Берлин, — становится ясно еще и ниже следующее:

Представление о России, как о какой-то опустевшей, покрытой могилами, вымершей равнине, где сидят гнездами разбойники-большевики, фантастическое это представление сменяется понемногу более близким к действительности. Россия не вся вымерла и не пропала, 150 миллионов живет на ее равнинах, живет, конечно, плохо, голодно, вшиво, но, несмотря на тяжкую жизнь и голод, — не желает все же ни нашествия иностранцев, ни отдачи Смоленска, ни собственной смерти и гибели. Население России совершенно не желает считаться с тем, угодна или не угодна его линия поведения у себя в России тем или иным политическим группам, живущим вне России.

Теперь представьте, Николай Васильевич, как должен сегодня рассуждать со своей совестью русский эмигрант, например — я. Ведь рассуждать о судьбах родины и приходить к выводам совести и разума — не преступление. Так вот, мне представилось только три пути к одной цели — сохранению и утверждению русской государственности...

Первый путь: собрать армию из иностранцев, придать к ним остатки разбитых белых армий, вторгнуться через польскую и румынскую границы в пределы России и начать воевать с красными. Пойти на такое дело можно, только сказав себе: кровь убитых и замученных русских людей я беру на свою совесть. В моей совести нет достаточной емкости, чтобы вмещать в себя чужую кровь.

Второй путь: брать большевиков измором, прикармливая, однако, особенно голодающих. Путь этот так же

чреват: 1) увеличением смертности в России, 2) уменьшением сопротивляемости России, как государства. Но твердой уверенности именно в том, что большевистское поавительство... будет взято измором раньше, чем выморится население в России, — этой уверенности у меня нет.

Третий путь: признать реальность существования в России правительства, называемого большевистским, признать, что никакого другого правительства ни в России, ни вне России — нет. (Признать это так же, как признать, что за окном свирепая буря, хотя и хочется, стоя у окна, думать, что — майский день.) Признав, делать все, чтобы помочь последнему фазису русской революции пойти в сторону обогащения русской жизни, в сторону извлечения из революции всего доброго и справедливого и утверждения этого добра, в сторону уничтожения всего злого и несправедливого, принесенного той же революцией, и, наконец, в сторону укрепления нашей великодержавности. Я выбираю этот третий путь...

Что касается желаемой политической жизни в России, то в этом я ровно ничего не понимаю: что лучше для моей родины — учредительное собрание, или король, или что-нибудь иное? Я уверен только в одном, что форма государственной власти в России должна теперь, после четырех лет революции, вырасти из земли, из самого корня, создаться путем эмпирическим, опытным — и в этом, в опытном выборе и должны сказаться и народная мудрость, и чаяния народа. Но снова начать с прикладывания к русским зияющим ранам абстрактной, выношенной в кабинете идеи, — невозможно. Слишком много было крови, и опыта, и вивисекции».

Увы, уверенность Алексея Толстого была преждевременной: начиная с 1927 года, со времен коллективизации, перечеркнувшей собою нэп, Сталин и его подручные снова принялись выправлять Россию наждачным кругом насилия.

Ревизия политического наследия Ленина, демонтаж нэпа, с которым демократические силы и в России, и в эмиграции связывали столько надежд, постепенное вытеснение интеллигенции из общественной жизни сделали строительство мостов доверия между эмигрантской и советской Россией невозможным. Каждый шаг, каждое доброе слово в адрес эмиграции, а соответственно и доброе слово эмиграции в адрес России уже расценивается как предательство.

ТРЕВОГИ И ИСПЫТАНИЯ

С начала лета 1921 года до эмиграции из России стали доходить слухи о тревожных видах на урожай. Точных прогнозов никто еще дать не мог, говорили, что засуха может усугубить и без того скудное снабжение городов продовольствием. Судили о возможных политических последствиях недорода. Участники Февральской революции, во множестве оказавшиеся среди эмигрантов, вспоминали, что именно перебой со снабжением хлебом и продовольствием спустили курок Февральской революции. Люди посвященные уточняли: хлеб и продовольствие в 1917 году, накануне революции, имелись, и даже имелись в изобилии, в провинции, а трудности со снабжением Питера и Москвы были связаны с расстройством транспорта во время войны. Теперь же речь шла именно о нехватке хлеба. Год 1920-й был засушливым. Засушливым пришел и год 1921-й.

Масштабы надвигающегося на Россию нового несчастья стали очевидны к середине лета. В июле 1921 года Президиум ВЦИК обращается ко всем гражданам России с тревожной вестью: «В обширных районах засуха этого года свела на нет урожай и травы...»¹. Речь, таким образом, шла не только о хлебном недороде, но и об угрожающем положении с фуражом. Грядущая зима грозила бескормницей и людям, и скоту.

По мере того как в депешах, поступающих из Москвы, уточнялись географические границы засухи, эмиграция, среди которой было немало бывших земских деятелей, вспоминала недороды прежних лет. В Берлине в это время находился большой знаток крестьянского быта и сельскохозяйственного положения России, бывший министр земледелия во Временном правительстве В. М. Чернов. Еще будучи молодым человеком, он имел возможность наблюдать страшные картины голода в 1891 году. В своих воспоминаниях «Перед бурей», опубликованных в эмиграции, он описывает страшные холерные бунты и эпидемии, возникшие на почве голода. Тогда Чернов только что окончил гимназию в Дерпте и ехал домой на Волгу, вооруженный аттестатом зрелости. «А рядом с ним у меня была в кармане другая бумажка: свежотпечатанная прокламация под заглавием «Письмо к голодающим крестьянам». Прокламация была изготовле-

на в типографии „Группа народовольцев”. В том году будущий народоволец, а позднее один из лидеров партии социалистов-революционеров имел возможность увидеть опасность идеализации народа, с одной стороны, и легкость, с которой он поддается манипулированию вожаков «с преобладанием мускульных и стихийно-волевых ресурсов над интеллектуальными», — с другой. Отчаяние населения и недовольство действиями властей во время холерных беспорядков нередко оборачивались против интеллигенции — фельдшеров и врачей, которых темные личности обвиняли в том, что их-де «подкупили баре, чтобы травить народ».

«Самоотверженная и наивная молодежь, — писал В. Чернов о народовольческой молодой интеллигенции, обожествлявшей и героизировавшей народ, — получила от жизни предметный и весьма жестокий урок — не смешивать «народ», к которому они рвались, с распяленной беспорядочной толпой, в которой на первое место выдвигались подонки и отребье городского населения»².

В эмигрантских спорах о судьбе отечества, разгоравшихся в связи с надвигающимся голодом, постоянно возникали страшные призраки 1891 года*. Соотнесение это стало вполне реальным, когда советские газеты обозначили географические границы неурожая³. В значительном более поздней работе (1975 г.) советский исследователь Ю. Поляков⁴ уточнил масштабы территории, пораженной голодом. Она простиралась от северного побережья Каспия, охватывая все Поволжье, бассейн реки Урал до Казани и Чебоксар, а также часть среднего течения Дона, бассейн Камы, районы Башкирии, часть Казахстана и Западной Сибири, многие районы Южной Украины.

Но тогда, в 1921 году, реальные масштабы засухи и голода эмиграцией еще не были осознаны. Возможно, что московское правительство и само еще тогда не до конца оценило масштабы надвигающейся катастрофы** и считало, что можно будет справиться своими силами, без помощи буржуазной заграницы.

В попытках занизить масштабы голода проявились, вероятно, и психологические факторы. До революции большевики постоянно утверждали, что голод — результат самодержавия, что единственный виновник голода и все-

* От голода 1891 года пострадало около 1 млн. человек.

** «Большая советская энциклопедия» и 1950, и 1970 годов уменьшает масштабы катастрофы, упоминая лишь о голоде в Поволжье.

российского разорения — царское правительство. Теперь не было ни самодержавия, ни царского правительства. Более того, уже не было и войны, на которую можно было бы списать все народные беды. За несколько трудных лет, прошедших после революции, при отсутствии свободной прессы население уже в значительной мере приучили верить тому, что все несчастья проистекают от происков Антанты, международной буржуазии, Деникина, Колчака, Врангеля, меньшевиков и эсеров. Но теперь меньшевики и эсеры были уничтожены политически, а их лидеры частично сосланы, частично сидели в Бутырках; белые генералы были разбиты, мировая буржуазия тоже не могла нести ответственность за резкое снижение запашки, за нежелание крестьян отдавать хлеб даром — разве что теоретически. Признавать же собственные просчеты и ошибки было трудно, много труднее, чем клеймить классового врага.

Пришедшие к власти практически сразу из подполья большевики не обладали той политической гибкостью, которая подсказывает, что признание ошибки — это первый шаг к ее преодолению. Газеты информируют население о плохих видах на урожай, но в их тоне проглядывает явное стремление приуменьшить опасность. Сообщение «Виды на урожай хлеба и трав» газета «Правда» от 2 июля 1921 г. помещает на последней странице, как бы относя его к разряду второстепенных. В информации признается, что «в нынешнем году урожай хлебов будет ниже среднего за десятилетие (1905—1914)», однако сообщение выдержано в спокойном, констатирующем тоне. В другой статье, на этот раз передовой, от 22 июля уже появляется слово «голод», но и в ней слышится желание занизить масштабы бедствия и отыскать привычного «врага». В статье «Поволжье, голод и наши враги» «Правда» пишет: «Напрасно думают они, что у нас всеобщая катастрофа. Нулевой урожай в Поволжье компенсирует прекрасный урожай на Украине»⁵.

Москва пытается ввести в заблуждение и за границу, в том числе и эмиграцию. 23 июля заместитель наркома земледелия В. В. Осинский дает интервью берлинской эмигрантской газете «Новый мир»: «В общем и целом надо считать, — успокаивает он, — что урожай будет средним, даже, пожалуй, чуть-чуть выше среднего».

«Правда» пытается объяснить собственному и мировому пролетариату, что постигшее страну и народ несчастье «является результатом не только засухи этого года, оно

подготовлено и обусловлено прошлой историей, отсталостью нашего сельского хозяйства, неорганизованностью, низким уровнем сельскохозяйственных знаний, низкой техникой, отсталыми формами севооборота; оно усилено результатами войны и блокады, непрекращающейся борьбой против нас помещиков, капиталистов и их слуг; оно усугубляется и сейчас действиями бандитских шайк, являющихся исполнителями воли организаций, враждебных Советской России и всему трудящемуся населению».

Эти объяснения, предназначенные для «сознательных рабочих» внутри страны (ибо крестьяне в подавляющей массе не читали «Правду»), не вполне удовлетворяли критически настроенную к советской власти эмиграцию. В Берлине, Париже, Праге было достаточно русских профессоров и экономистов, в том числе и ученых-аграрников, которых классово заостренная аргументация «Правды» не могла ввести в заблуждение.

Многие из бывших революционеров, вынужденных еще при царском правительстве скрываться за границей, хорошо помнили, как из «отсталой» России на процветающий Запад им приходили прекрасные продуктовые посылки. Рядовые, не отягощенные экономическими знаниями изгнанники из России, поглядывая на свой тощий эмигрантский стол, не без грусти вспоминали богатство провинциальных рынков — будь то в Тамбове, Курске, Орле, Ростове или в городах Сибири, где «неорганизованность» и «забитость» крестьян не мешали им не только кормить себя, но и отправлять товарное зерно в центральные районы России. Экономисты — те не преминули вспомнить, что, несмотря на все перечисленные исторические изъяны русского крестьянства и низкую технику, до первой мировой войны Россия была не только среди крупнейших в мире экспортеров зерна, но и полностью обеспечивала свои города мясом и молоком. Что касается гастрономических магазинов, ресторанов и трактиров в русских городах, то эмигранты имели полную возможность убедиться за границей, что гастрономия России, уступая, вероятно, западной в нюансах и разнообразии, по изобилию превосходила и немецкую, и французскую, и английскую. Описания быта и материального уровня населения казачьих станиц в романе М. Шолохова «Тихий Дон» или крестьянского и купеческого быта в заволжских городах и селах в романах А. Мельникова-Печерского свидетельствуют о том, что для русского

крестьянства жизнь не была столь безрадостной, как ее пытались оправдывать тотальную коллективизацию, представить более поздние исследователи и бытописатели. «Антон Горемыка» был далеко не главной фигурой в русском селе.

Разумеется, часть аргументов советского правительства у эмиграции не вызывала сомнений: войны — вначале мировая, потом гражданская, — растянувшиеся на семь лет, разорили многие крестьянские хозяйства, оставили их без мужчин, без тягловой силы, без скота. Были нарушены традиционные рынки, связи, в том числе с заграницей, много добра, в том числе сельскохозяйственных орудий, в условиях анархии под лозунгом «грабь награбленное» было растащено и выведено из строя.

Подтверждение этим своим оценкам эмиграция услышала из России, из уст такого авторитетнейшего и честнейшего человека, кровно связанного с историей русского демократического движения, каким был писатель В. Г. Короленко. Несколько списков его писем к А. В. Луначарскому, ходивших по рукам в России, достигло заграницы и позднее, в 1922 году, было опубликовано в Париже⁶. Есть свидетельства, что письма Владимира Галактионовича читал Ленин. Однако в то время опубликовать их не сочли возможным⁷. Короленко писал о страшной разрухе, нарушении всего экономического уклада в стране и как о результате — об ужасающем голоде.

«...Вы победили капитал, — писал В. Г. Короленко наркому просвещения, — и он лежит теперь у ваших ног, изувеченный и разбитый. Вы не заметили только, что он соединен еще с производством такими живыми нитями, что, убив его, вы убили также производство. Радуюсь своим победам над деникинцами, над Колчаком, над Юденичем и поляками, вы не заметили, что потерпели полное поражение на гораздо более обширном и важном фронте. Это тот фронт, на протяжении которого на человека со всех сторон наступают враждебные силы природы. Увлеченные односторонним разрушением капиталистического строя, не обращая внимания ни на что другое в преследовании этой своей схемы, вы довели страну до ужасного положения. Когда-то в своей книге «В голодный год» я попытался нарисовать то мрачное состояние, к которому вело самодержавие: огромные области хлебной России голодали, и голодовки усиливались. Теперь гораздо хуже, голодом поражена вся Россия, начиная со столиц, где были случаи голодной

смерти на улицах. Теперь, говорят, вы успели наладить питание в Москве и Петербурге (надолго ли и какой ценой?). Но зато голод охватывает пространства гораздо бóльшие, чем в 1891—1892 годах в провинции. И главное — вы разрушили то, что было органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена. Вам приходится заменять ее искусственными мерами, «принудительным отчуждением», реквизициями при помощи карательных отрядов...»

Публикация писем В. Короленко произвела гнетущее, душераздирающее впечатление на эмиграцию.

В России шепотом, с оглядкой на ухо Чрезвычайной комиссии, а в эмиграции громко, подчеркнуто громко, говорилось и о других причинах голода. Не ставя под сомнение главную причину — двухлетнюю засуху, указывали и на политические факторы, и прежде всего на ненормальные отношения с крестьянством. Мимо внимания эмигрантских публицистов не прошел тот факт, что в отношении села все чаще используется военная терминология — ведется «борьба за хлеб», на добычу продовольствия в деревню посылаются «продотряды». Хлеб не покупается, как прежде, а изымается. Крестьянин в силу введения хлебной монополии лишается привычной возможности везти плоды своего труда на рынок и продавать по рыночной цене. В телеграммах, идущих из Москвы в адрес продовольственных комиссаров, звучат жесткие императивы классового подхода: брать заложников из богатей, не останавливаться перед применением силы, беспощадно подавить... Вспоминая в 1926 году о встречах с крестьянами, которые приходили к нему с жалобами на новые порядки, вводимые комиссарами в деревне, Михаил Иванович Калинин писал о методах изъятия хлеба: «...В деревне много недовольства вызвала продразверстка, которая нередко действительно проводилась слишком жестко и необдуманно»⁸.

Спротивление крестьян мерам насильственного изъятия хлеба носило двойственный характер. С одной стороны — восстания, с другой — в значительной мере в духе широко распространенного в крестьянской России толстовского «непротivления злу насилieм» — экономическое сопротивление: сокращение запашки, укосов, а следовательно, и количества скота. По свидетельству Л. Каменева, посевные площади за один только 1920 год сократились на четверть.

На максимализм мер советских властей по отноше-

нию к крестьянству эмиграция отвечала максимализмом оценок, объясняя голод прежде всего национализацией хлебной торговли, продразверсткой, то есть политикой большевистской партии по отношению к крестьянству.

Однако за острой словесной полемикой, развернувшейся в эмиграции по поводу того, кто виноват, сквозило глубокое сочувствие народу, оказавшемуся после стольких лет испытаний войной в тисках страшного голода. По мере того как из России поступали все новые и новые сведения, становилось яснее, что голод 1921 года по своим масштабам существенно превосходит голодный мор 1891 года. Советские исследователи называют число голодавших в 1891 году близким к 1 млн. Голод 1921 года охватил неизмеримо большее число людей. 11 ноября 1921 г. парижская газета «Последние новости» напечатала сообщение из Берлина, в котором приводилось страшное пророчество Максима Горького, приехавшего в Германию: «Я полагаю, что из 35 миллионов голодных большинство умрет». Новость поразила эмиграцию. До этого сообщения никто и не подозревал о том, что счет возможных жертв может идти не только на миллионы, но на десятки миллионов. Беспокойство эмиграции вполне объяснимо: ведь у большинства в советской России оставались близкие и дальние родственники, друзья.

К счастью, этот прогноз М. Горького не сбывся. Меры правительства, помощь из-за границы помогли ограничить размеры демографической катастрофы. В книге С. Н. Прокоповича «Народное хозяйство в СССР», в первом томе, со ссылкой на данные Центрального статистического управления потери от голода 1921—1922 годов оцениваются в 5053 тыс. человек. Цифра, безусловно, устрашающая. Но и она в тот год была неизвестной. А эмиграцию облетела именно та, другая, апокалипсическая цифра — 30 с лишним миллионов.

Нетрудно понять, что катастрофа такого масштаба имела не только нравственные последствия. Она не могла не повлечь последствий политических. Нынешние историки с полным основанием считают, что именно голод 1921 года дал стимул серьезным сдвигам во внутренней политике советской власти, что последствиями голода стали нэп, либерализация торговли, оживление экономических связей с заграницей и, в контексте всех этих политических перемен, новый климат духовной и культурной жизни со значительно бóльшим допуском мнений и дискуссий, чем

прежде. Но в начале лета 1921 года, когда голод только распознался по России, ни Москва, ни тем более эмиграция еще не могли представить весь масштаб его политических последствий. Эмиграция понимала, что большевики оказались перед лицом самого серьезного кризиса со времени захвата власти и что привычными военными или полувоенными мерами этот кризис не разрешить. Изымать попросту было уже нечего, так как у крестьян сплошь и рядом отобрали даже семенные запасы.

Эмигрантские газеты 1921 года полны вопросов. Как поступят большевики? К кому обратятся за помощью? Муссировался любой слух, любая вероятность, особенно с момента, когда в печать просочились сведения о том, что советское правительство начало зондировать возможность получения помощи при посредничестве международных организаций. Но кто мог дать хлеб? Западная Европа сама еще не оправилась от разорительной войны. Чаще всего взоры обращались в сторону США. Но и здесь возникло немало вопросов. Захочет ли буржуазия помогать стране, которая открыто призывает к мировой революции, к свержению капиталистов и обращается поверх голов правительств и парламентов к рабочим с призывами идти на штурм «отжившего» строя? Ведь всего два года назад, в марте 1919-го, в Москве было объявлено о создании III Интернационала. В первом номере журнала «Коммунистический Интернационал» Г. Зиновьев писал под многозначительным заголовком «Перспективы пролетарской революции»: «Гражданская война зажглась во всей Европе; победа коммунизма в Германии абсолютна неизбежна; через год в Европе забудут о борьбе за коммунизм, ибо вся Европа будет коммунистической; потом начнется борьба за коммунизм в Америке, возможно, в Азии и на других континентах».

У эмиграции были сомнения и беспокойства иного, не политического, а гуманитарного характера. Вопросали приезжих из Москвы, советских дипломатов, начавших после установления дипломатических отношений с Веймарской республикой прибывать в Берлин: будет ли в случае получения помощи из-за границы применяться классовый подход при распределении продуктов питания? Опасались, что продовольствие будет раздаваться выборочно. По письмам из советской России здесь было хорошо известно, что большевики ввели классовый паек и учредили категории питания в зависимости от характера труда. Имелось четыре категории: рабочие тяжелого физического

труда, другие рабочие и служащие, лица свободных профессий, нетрудовые элементы. К нетрудовым элементам были, в частности, отнесены кулаки, то есть самая производительная сила деревни, и интеллигенция. Еще в 1918 году «Правда» писала: «Народный комиссариат социального обеспечения подтверждает тем самым необходимость лишения пайков всех кулацких и буржуазных элементов города и деревни; полученные таким образом излишки пойдут на увеличение пайка городской и деревенской бедноты»⁹.

С нетерпением ждали вестей из Москвы, явных или скрытых признаков неизбежных, с точки зрения эмиграции, политических сдвигов.

И такие вести пришли.

2 августа 1921 г. парижские газеты выходят с броскими заголовками: «Ленин обращается с просьбой о внешней помощи России, ставшей жертвой голода!»

«Владимир Ильич Ленин обратился к трудящимся развитых стран с настоятельным призывом прийти на помощь советской России, над которой нависла угроза голода вследствие катастрофически низкого урожая. Полагают, что около 21 миллиона человек вынуждены бежать из районов Волги и юга России, где не осталось достаточного количества семян даже для того, чтобы обеспечить посевы следующего года. Беженцы хлынули в Москву. Европейская печать считает, что причиной несчастья является негодная политика Советов. Американский государственный секретарь Г. Гувер предложил помощь для одного миллиона детей и инвалидов, при условии освобождения американских граждан, находящихся в заключении в России. Норвежский дипломат Нансен прибыл в Москву для организации комитета международной помощи. Кроме того, поступили сообщения о создании в Берлине комитета международной помощи трудящимся. Среди основателей этого комитета ряд всемирно известных деятелей науки и литературы, такие как Альберт Эйнштейн, Бернард Шоу, Анатоль Франс и Кати Кольвигт»¹⁰.

Заметка сопровождалась фотографией двух босоногих, в изодранных рубищах русских детишек с вздутыми от голода животами.

Публикация произвела большое впечатление на русскую эмиграцию по целому ряду причин. Во-первых, впервые из солидных источников стали более или менее известными масштабы миграции населения, гонимого голодом. Во-вторых, личное обращение главы советского

правительства к мировой общественности свидетельствовало о крайнем положении страны и о намерении принять помощь. В-третьих, удивило то, с какой готовностью отозвалось американское правительство на несчастье страны, проповедовавшей классовую войну во всемирном масштабе.

Не успели успокоиться толки в связи с этим сообщением, как из Москвы стали поступать новые, еще более поразительные новости — о том, что перед лицом всеобщего несчастья большевики разжали кулак диктатуры и позволили непартийной, некоммунистической интеллигенции — в определенных, разумеется, границах — общественную деятельность для организации помощи голодающим. Слухи были небезосновательными.

Идея совместных, с участием партийцев и беспартийных, действий для спасения голодающих родилась на проходившем в июне 1921 года в Москве седьмом Всероссийском съезде по сельскохозяйственному опытному делу. Понятно, что съехавшиеся в Москву со всей страны агрономы, сельские кооператоры, ученые-селекционеры не могли не говорить о засухе и голоде. Многие из них прибыли из районов, пораженных засухой, и были свидетелями страданий народа. О необходимости совместной государственной и общественной помощи говорил, в частности, известный кооператор М. И. Куховаренко, приехавший из Саратова. Настоящей сенсацией стало выступление на съезде министра продовольствия во Временном правительстве, известного экономиста профессора Сергея Николаевича Прокоповича*, который и предложил обратиться к советской власти с инициативой создания общественного комитета по борьбе с голодом**.

При посредничестве М. Горького, с которым жена С. Н. Прокоповича Е. Д. Кускова*** была знакома еще по Нижнему Новгороду, удалось снестись с председателем Московского Совета Львом Каменевым. Депутацию не-

* Прокопович С. Н. с 1906 года — член ЦК партии кадетов, министр Временного правительства. После Октябрьской революции преподавал в МГУ. В 1922 году выслан за границу.

** История Всероссийского комитета помощи голодающим в контексте данной книги интересна тем, что многие его деятели впоследствии были высланы из РСФСР и оказались в эмиграции.

*** Кускова Е. Д. (1873—1958) — известный общественный деятель России. Примыкала к партии кадетов, затем, с 1917 года, — к меньшевикам. Принимала участие в кооперативном движении. Активный деятель эмиграции. Умерла в Женеве.

партийных общественных деятелей пригласили в Кремль. Речь шла о возможности получения помощи из-за границы и о справедливом ее распределении среди голодающих.

«Верите ли Вы, Лев Борисович, что разразившейся катастрофе можно помочь внутрирусскими средствами?» — спросила Е. Д. Кускова у Каменева. — «Нет, не верю», — серьезно отвечал тот»¹¹.

Есть свидетельства, что мнения в правительстве относительно целесообразности создания общественного комитета разделились. С одной стороны, было очевидным искреннее стремление непартийной общественности, далеко не однозначно относящейся к советской власти, встать выше идейных споров и сведения счетов во имя помощи попавшему в беду народу; с другой — у большевиков имелись опасения, что создается опасный прецедент пусть и ограниченного, но все же носящего политический характер сотрудничества с укрощенной, но не уничтоженной оппозицией. Ленин колеблется, проявляет озабоченность тем, чтобы поставить деятельность комитета под контроль «ячейки коммунистов», которых предполагалось ввести в комитет. Особое подозрение у главы правительства вызывает Е. Д. Кускова, родственно связанная с министром Временного правительства.

Сложный спор велся о гарантиях. Представители общественного комитета, опасаясь подвохов со стороны правительства, настаивали на официальном утверждении положения о комитете, где подробно перечислялись бы его полномочия. Наконец переговоры завершились, и 21 июля декретом ВЦИК был утвержден статус общественного Всероссийского комитета помощи голодающим (Всероспомгола)¹². Председателем комитета был назначен председатель Московского Совета Л. Каменев, его заместителем — А. Рыков. О надеждах, которые правительство возлагало на получение помощи через Всероспомгол, свидетельствует то, что в состав комитета было включено и несколько других видных большевиков: М. Литвинов, Л. Красин, Н. Семашко, А. Луначарский, А. Шляпников.

Однако «ячейка коммунистов», на создании которой настаивал В. И. Ленин, оказалась тем не менее в явном меньшинстве. Большинство составляли представители беспартийной общественности. Во Всероспомголе работали виднейшие представители русской интеллигенции — А. М. Горький, К. С. Станиславский, А. И. Сумбатов-Южин, Б. К. Зайцев, А. Л. Толстая, известные врачи — П. И. Би-

рюков, В. Ф. Булгаков. Широко были представлены научные круги России. Помимо президента Академии наук А. П. Карпинского и вице-президента В. А. Стеклова в комитет вошли академики П. П. Лазарев, В. Н. Ипатьев, А. В. Ферсман, Н. И. Курнаков, Н. Я. Марр, С. Ф. Ольденбург. Много сил работе в комитете отдавали А. В. Чаянов и председатель правления сельских кооперативов П. А. Садырин, крупный русский экономист Н. Д. Кондратьев*.

Комитет был наделен широкими полномочиями по сбору и распределению средств, организации своих отделений на местах, устройству работ; ему разрешалось иметь свой транспорт, столовые, медицинские пункты, было разрешено издавать бюллетень, и действительно успело выйти несколько номеров. Комитет имел право принимать участие в обсуждении местными и центральными органами всех вопросов, касающихся помощи голодающим и борьбе с неурожаем. Разрешались и сношения с заграницей для сбора средств и создания там комитетов помощи. На комитет не распространялась власть Рабоче-Крестьянской инспекции.

В сущности, это был беспрецедентный в истории СССР случай предоставления такой широкой автономии общественной организации, в состав которой входили представители бывших оппозиционных большевикам партий. Можно предположить, что именно эти полномочия, на которые правительство вынуждено было согласиться под давлением чрезвычайных обстоятельств, и явились главной причиной скорого роспуска, а точнее сказать, разгона Всероспомгола.

Упомянувшийся выше видный эмигрантский публицист Михаил Осоргин, бывший одним из членов Всероспомгола и оставивший интересные свидетельства о его создании и ликвидации, вспоминает слова сотрудника ВЧК, к которому он ходил хлопотать за арестованных членов комитета: «Вы говорите, что комитет не сделал ни одного нелояльного шага. Это верно. Но он являлся центром притяжения для так называемого русского общества... Этого мы не можем допустить. Знаете, когда нераспустившуюся вербу опустят в стакан с водой, она начинает быстро распускаться. Так же быстро начал

* Профессор Н. Д. Кондратьев с 1920 по 1928 год был руководителем Конъюнктурного института. В 1929 году вместе с А. В. Чаяновым проходил в качестве обвиняемого по сфальсифицированному процессу «Трудовой крестьянской партии».

обратять старой общественностью и комитет... Вербу надо выбросить из воды...»¹³.

Теперь, спустя много десятилетий, весьма не просто восстановить реальную картину происходившего в пораженной голодом России. Так же не просто понять и истинные причины поспешного разгона Всероссийского комитета. Созданный решением ВЦИК, получивший широкие полномочия, разрекламированный, он просуществовал менее шести недель. 8 сентября 1921 г. «Правда» уже опубликовала сообщение об арестах ряда членов Всероссийского комитета. Их обвиняли в связях с «антоновщиной», в антиправительственной агитации и, нетрудно догадаться, в преступных сношениях с границей. Вероятно, одной из причин, побудивших правительство к срочным мерам по ликвидации комитета, было обращение Всероссийского комитета за помощью к патриарху Тихону. После Всецарского собора русских архиереев-эмигрантов в Сербии, в Карловцах Сремских (Карловацкий раскол), провозгласившего большинством в 86 голосов против одного основной задачей Русской православной церкви восстановление в России монархии¹⁴, отношения молодого советского государства с церковью резко ухудшились. Ведь Собор открылся с благословения Святейшего патриарха. Обращение комитета к Тихону могло быть расценено правительством как вызов.

Однако, думается, реальной причиной разгона общественного комитета было, в сущности, то же, что тремя годами ранее привело к разгону Учредительного собрания, — опасение, что обузданная, лишенная политического влияния, пресса, организационных структур, но не умершая оппозиция получит в лице комитета помощи голодающим организационную форму, с которой при полной дискредитации «военного коммунизма» невозможно будет не считаться. Имелся и еще один аспект: за годы «военного коммунизма» успели в значительной мере сложиться и определенный стиль руководства, который ныне мы называем «командным», и административная система, ставшая проводником командных импульсов. В эту систему уже входил и весьма разросшийся аппарат «чрезвычайных» учреждений. В той поддержке, которую Всероссийский комитет получил от не ликвидированных еще форм общественно-экономической деятельности, в частности от кооперативов, административная система безошибочно усмотрела вызов своему существованию. Михаил Осоргин писал во «Временах»: «Несколько дней оказалось доста-

точно, чтобы в голодные губернии отправились поезда картофеля, тонны ржи, возы овощей — из центра и Сибири, как в кассу общественного комитета потекли отовсюду деньги, которых не хотели дать комитету официально*. Огромная работа была произведена разбитыми, но еще не вполне уничтоженными кооперативами, и общественный комитет, никакой властью не облеченный, опиравшийся лишь на нравственный авторитет образовавших его лиц**, посылал всюду распоряжения, которые исполнялись с готовностью и радостно всеми силами страны...»¹⁵.

В какой-то мере именно успех общественного комитета предопределил его конец. Обреченность комитета понимали и некоторые «вхожие в Кремль» его члены, например М. Горький. В опубликованных в 1954 году в Нью-Йорке воспоминаниях о Максиме Горьком Е. Д. Кускова пишет:

«...Уже на третий день после «торжественного» открытия комитета позвонил мне Горький.

— Мне нужно вас видеть...

Приехав к нам, он все время озирался: нет ли кого в комнате? Он был вообще неузнаваем: потухший, серый, без своей обычной приветливой улыбки.

— Вы больны? — спросила я его прежде всего.

— Я здоров. Но — душа заболела. Она очень больна, Екатерина Дмитриевна...

— Представляю себе...

Он вдруг вспылил:

— Почему представляете? Думаете, Горький поставил карту не на ту лошадь?

— Что за язык, Алексей Максимович... Лично я, как вы знаете, не люблю в общественности выбирать лошадь, т. е. путь, как на скачках. Действую, как велит совесть и разум...

— Совесть... совесть... Извините, пожалуйста. События пожрали эту совесть у всех... Осталась лишь драка... Да, драка, драка...

Он повторял, закрыв глаза, это слово. А потом:

— Видите ли... Случайно мне удалось узнать из са-

* Помимо общественного Всероссийского комитета помощи голодающим существовала еще и правительственная Комиссия помощи голодающим при ВЦИК под председательством М. И. Калинина. Комиссия координировала деятельность советских и общественных организаций. Существовала с июля 1921 года по сентябрь 1922 года.

** Почетным председателем Всероспомгола был избран В. Г. Короленко, принимавший активное участие в организации помощи во время голода 1891 года.

мого достоверного источника, что комитету грозит величайшая опасность...

— Но комитету всего несколько дней жизни! Разве он уже в чем-либо проявил себя преступно?

— Дело совсем не в преступлении...

— Так в чем же?

— Дело в декрете*. Этот декрет противоречит всему советскому строю...

— Зачем же на него согласились?

— Его дал Кремль... Но кроме Кремля есть еще и Лубянка. Лубянка заявляет прямо и определенно: мы не позволим этому учреждению жить...»¹⁶.

Предрешенность судьбы Всероссийского комитета помощи голодающим и его непартийных членов подтверждается и письмом Максима Горького Е. Д. Кусковой, которое она получила уже в эмиграции, в Берлине. Горький в это время тоже был за границей.

«Дорогая Екатерина Дмитриевна!

Приездом вашим не удивлен, ибо еще в апреле знал, что всех членов комитета решено «выселить» из России...»¹⁷.

Материалы, содержащиеся в сборнике «В. И. Ленин и ВЧК», свидетельствуют о том, что ВЧК вела активное наблюдение за членами Всероссийского комитета с целью выявления связи комитета с кадетами и эсерами.

В сентябре 1921 года заместитель председателя ВЧК И. С. Уншлихт в препроводительной записке В. И. Ленину относительно арестов членов комитета помощи голодающим писал:

«Вместе с тем с первых же дней возникновения комитета в ВЧК стали поступать сведения, указывающие на то, что группа членов комитета, не отказавшаяся на деле от своих активных политических задач, подошла к народному бедствию Поволжья как средству политической борьбы и заговора против Советской России, возложив все надежды на новую интервенцию заграничных капиталистов в новой форме. Эта группа устраивала ряд тайных собраний, заводила, пользуясь легальностью ВКПГ**, связи и т. п. Все эти данные заставили ВЧК произвести 27 августа сего года среди членов комитета и в его окружении ряд обысков и арестов, которые дали богатый материал,

* Речь идет о подписанном М. Калининым декрете о создании Всероссийского комитета помощи голодающим.

** Всероссийский комитет помощи голодающим.

подтверждающий правильность предварительных данных»¹⁸.

В этом же сборнике приводится текст проекта постановления Политбюро ЦК РКП(б), санкционирующего аресты членов ВКПГ: «Предписать Уншлихту сегодня же с максимальной быстротой арестовать Прокоповича и всех без изъятия членов (не коммунистов) Комитета помощи, — особенно не допускать собрания их в 4 часа».

Обращает на себя внимание, что и постановление ЦК РКП(б), и аресты приходится на один и тот же день. Совершенно очевидно, что арест значительного числа людей, проведение обыска, изучение изъятых при обыске документов и принятие решения при нормальном юридическом процессе требовали более длительного времени. Создается впечатление, что решение ЦК об аресте членов комитета было принято до того, как были проведены обыски и аресты, «которые дали богатый материал, подтверждающий правильность предварительных данных».

Решение, таким образом, было политическим. На ВЧК же была возложена задача «дать богатый материал».

Дополнительный свет на реальные причины быстрого разгона Всероссийского комитета помощи голодающим¹⁹ проливает доклад ВЧК об использовании помощи голодающим русскими эмигрантскими кругами. Отдельные элементы этого доклада приводятся в сборнике «В. И. Ленин и ВЧК».

В докладе, по сути дела, признается, что «левые кадеты и эсеры, и меньшевики отвергают «спекуляцию на голоде». Они полагают, что нужно добросовестно стремиться исключительно к помощи голодающим, хотя вместе с тем считают, что эта помощь сама по себе благоприятно отразится на политическом положении России». В докладе отмечалось, что желание эмиграции внести вклад в помощь голодающим мотивируется тем, что сотрудничество советской власти с бывшей буржуазной общественностью позволит в какой-то степени смягчить левый экстремизм, проявившийся в политике «военного коммунизма».

Было бы, разумеется, наивным полагать, что бывшие общественные деятели России, принявшие активное участие в борьбе с голодом, отвергая, как отмечает доклад ВЧК, спекуляцию на голоде, не имели хотя бы скромных политических целей в этой связи. Ректор Московского зоотехнического института профессор М. М. Щепкин, арестованный ВЧК в числе других членов комитета помо-

щи голодающим по обвинению в контрреволюционной деятельности, на следствии признал, что «отдельные члены комитета в неофициальной обстановке высказывались о возможности падения советской власти из-за голода и разрухи»²⁰. Другой вопрос, можно ли было такие неофициальные разговоры квалифицировать как контрреволюционную деятельность. Нетрудно догадаться, что такого рода разговоры велись тогда по всей голодной России, а не только в Москве. В. И. Ленин, взывая к международной помощи голодающим, тоже исходил из опасности голода для советской власти. Осознанием этой опасности был, в сущности, продиктован и нэп. Вероятно, понимая «натяжку» в обвинении, В. И. Ленин проявляет озабоченность в связи с арестами и обысками у ряда московских профессоров, сотрудничавших с ВКПГ. 10 сентября он просит И. С. Уншлихта рассмотреть возможность освобождения профессора Щепкина.

«Политические помыслы» у деятелей Всероспомгола имелись. В докладе ВЧК о возможных «политических результатах», на которые могли надеяться эмиграция и члены общественного комитета, содержится несколько предположений на этот счет.

Участвуя в борьбе с голодом, «антибольшевистские элементы» рассчитывали получить некоторый доступ к власти. Борьба с голодом открывала легальные возможности для организации общественных сил, находившихся вне притяжения большевистской идеологии. «Когда зреет переворот, — подчеркивается в докладе ВЧК, — окажутся, таким образом, налицо руководители и руководящие центры»²¹.

При аресте небольшевистских членов Всероссийского комитета помощи голодающим исключение было сделано для Максима Горького и Веры Фигнер, известной революционерки, участницы подготовки покушения на Александра II, проведшей 20 лет в Шлиссельбургской крепости. В опубликованном в газетах сообщении ВЧК арест объяснялся раскрытием связи между руководителями «антоновского мятежа» и кадетами, входящими в комитет помощи голодающим, в частности с Н. М. Кишкиным. Из объяснительной записки Уншлихта Ленину по поводу арестов членов ВКПГ, хранящейся в партийном архиве, вместе с тем явствует, что связь Н. М. Кишкина с «антоновщиной» не доказана, так как представители Антонова «вследствие ареста не успели лично с ним связаться».

На следующий день, 28 августа 1921 г., в «Известиях»

было опубликовано постановление ВЦИК о ликвидации Всероссийского комитета помощи голодающим. Арестованные члены ВКПГ в это время уже находились во внутренней тюрьме ВЧК на Лубянке. Там, в тюрьме, по свидетельству Е. Д. Кусковой, произошла случайная встреча С. Прокоповича с лидером партии эсеров А. Гоцем. Между ними состоялся разговор, свидетельствующий о том, что и тот и другой понимали всю шаткость положения комитета.

«Как только мы прочли декрет и положение о комитете, — рассказал Гоц* Прокоповичу, — я сказал товарищам: „Товарищи! Надо готовить камеры для инициаторов этого дела“»²².

Гоц не ошибся: камеры были приготовлены. После нескольких месяцев заключения наиболее активные члены комитета были высланы из столицы. Михаил Осоргин вспоминает: «Ночью вывезли нас из тюрьмы Особого отдела, втокнули в вагон с разбитыми окнами и трое суток везли по морозу до первого этапа (моим была Казань)».

Имеются свидетельства, что от худшего — смертной казни — активистов комитета спасло вмешательство Фриьфа Нансена**.

В конце лета 1922 года вместе с большой группой профессоров и деятелей культуры активисты Всероссийского комитета помощи голодающим были высланы за границу. Ряды эмигрантов пополнились еще одной группой интеллигенции.

Ликвидация Всероссийского комитета помощи голодающим, разумеется, не способствовала спасению оказавшегося в тяжком положении населения пораженных засухой районов. Продовольственные ресурсы, начавшие вскоре поступать от Американской администрации помощи (АРА)***, не могли заменить усилий изгнанной из политики, но еще существовавшей «русской общественности».

* Гоц А. Р. (1882—1940) 10 лет провел на царской каторге и в ссылке. В 1917 году на I съезде Советов избран председателем ВЦИК.

** Нансен Ф. (1861—1930) — известный норвежский исследователь Арктики. В 1921 году — один из организаторов международной помощи голодающим Поволжья. О заступничестве Нансена за членов ВКПГ пишет в своих воспоминаниях Е. Д. Кускова.

*** Соглашение о помощи было подписано в Риге 21 августа 1921 г. с американской стороны Гербертом Гувером, с советской — Максимом Литвиновым. АРА представляла собой объединение нескольких благотворительных и религиозных организаций, оказывающих помощь нуждающимся.

Арест членов комитета и их высылка вначале во «внутренние губернии», а потом за границу отрицательно сказались и на работе русских кооператоров, которые, несмотря на начавшиеся притеснения, еще сохраняли экономические связи по всей России.

Но политические аргументы в пользу разгона перевесили экономический и гуманитарный расчеты.

Голод продолжал свирепствовать. Не прекратился он и в следующем, 1922 году, о чем, в частности, свидетельствует письмо Максима Горького американке Джейн Адамс. Малоизвестное письмо это²³ представляет большой интерес еще и потому, что в нем особенно ярко выявляется роковая роль голода для судеб русской интеллигенции. Важно это письмо и для правильной оценки гуманитарной помощи Америки голодающей России, долгое время замалчиваемой.

«М. Горький

Berlin, Kurfürstendamm, 203*

10.VI.1922

Сударыня!

Мне сообщили, что в Америке существует мнение, будто голод в России уже утратил свой грозный характер и что работа организации мистера Гувера (имеется в виду деятельность АРА. — В. К.) вполне достаточна для спасения миллионов русских крестьян, осужденных голодом на смерть.

Разрешите мне сказать несколько слов по этому поводу.

Я думаю, что работа организации Гувера по широте ее — явление небывалое в истории. Никогда еще ни одна страна в мире не приходила на помощь другой стране так великодушно, с таким обилием сил и средств. Люди Гувера — действительно мужественные люди; я не преувеличу, назвав их героями. Америка вправе гордиться детьми своими, которые так прекрасно и бесстрашно работают на огромном поле смерти, в атмосфере эпидемии, одичания и людоедства.

Эта работа кроме своей прямой задачи — спасения миллионов людей от голодной смерти — имеет еще и другое, на мой взгляд, более важное значение: она возрождает в русском народе убитое войной чувство человечности, воскрешает уничтоженную мечту о возможности братства народов, реализует идею совместного, дружеского труда наций.

* К этому времени М. Горький выехал для лечения в Западную Европу, где прожил до 1928 года.

Европейская война — а за нею интервенция и война гражданская с ее ужасами — ожесточила сердце русского народа. Особенно глубоко вредное влияние имела интервенция: несмотря на свою умственную темноту, мужик понял, что иностранцы не хотят видеть его свободным, желают восстановить в России старый режим. Мужика убеждали в этом и факты, и речи, и озера крови, и разрушение его жилищ. Вполне понятно, что у него явилось отрицательное отношение к иностранцу — кто бы он ни был, он хочет сделать русский народ рабочим скотом помещиков, чиновников, купцов.

И вот в страшные дни гибели и голода, в дни полной беспомощности эти враги-иностранцы являются спасителями жизни миллионов детей, бескорыстно и бесстрашно работают и работою своей разрушают в русском народе накопившее чувство вражды и ненависти.

Вы, конечно, понимаете, как это важно, какие прекрасные результаты может дать работа организации Гувера. Со временем мы все-таки будем жить и работать все как друзья и братья, — слава тем, кто приближает этот необходимый для нашего счастья момент!

Возвращаюсь к основной теме моего письма.

Голод — не уменьшается. Организация Гувера, самоотверженно работая на Волге, не может, конечно, обнять размеры несчастья в других областях огромной России. На берегах Черного моря — в Одессе, в Крыму — беспомощно погибают тоже миллионы людей. Вымирают немцы — колонисты юга, люди культурные, прекрасные работники. Вымирают евреи — дрожжи, необходимые для тяжелой России. Погибают трудолюбивые, честные татары и, разумеется, больше всего русские — особенно дети.

Голод значительно и грознее всего, что говорят и пишут о нем. Сотни тысяч десятин посева уничтожаются саранчой. Саранчу едят и болеют от этого. Едят корни, траву, листья, это возбуждает эпидемические заболевания, грозит холерой. Я не могу дать цифр смертности, потому что сомневаюсь в точности подсчета умерших. Письма, которые я получаю отовсюду, рисуют положение ужасным. Везде истощенные зимним голодом люди с жадностью набросились на растительность весны и — Вам ясно, что следует за этим.

Позвольте также обратить Ваше внимание и в сторону русской интеллигенции, главным образом — русских ученых. Все это — люди зрелого возраста или старцы, истощенные годами недоедания, героической работою своей

в условиях холода и голода. Это — лучший мозг страны, творцы русской науки и культуры, люди, необходимые России более, чем всякой другой стране. Без них нельзя жить, как нельзя жить без души. Эти люди — мировая, общечеловеческая ценность.

Их во всей России только 9000 — ничтожная цифра для такой огромной страны и для культурной работы, необходимой русским. Эти 9000 ценнейших людей постепенно вымирают, не успевая создать заместителей себе.

Думаю, сказанного достаточно для того, чтобы возбудить энергию друзей русского народа, людей, желающих помочь России прожить проклятый год.

Свидетельствую Вам мое уважение

М. Горький».

Письмо М. Горького в Америку не случайно. Приехав в Берлин, писатель быстро убедился, в каком плачевном материальном положении находилась эмиграция. Средств едва хватало на то, чтобы организовать собственную взаимопомощь русских, оказавшихся в изгнании. Интересные воспоминания об убогости жизни в эмиграции в разоренной войной Германии оставил митрополит Евлогий, бывший архиепископ Вольнский и Житомирский, назначенный патриархом Тихоном в 1921 году управляющим русскими православными церквями в Западной Европе. Бедными были прихожане, бедной была церковь. Получив назначение и собираясь ехать из Белой Церкви в Сербии в Берлин, Евлогий не имел даже достойного облачения. Кроме митры и старенькой епитрахили, у митрополита ничего не было. Да и митру ему соорудил выехавший вместе с ним дьякон из куска бального платья генеральши Поливановой.

Перед этим митрополит проехал почти все славянские страны, легшие на пути эмиграции. Везде положение эмигрантской массы было тяжелым. Но бедственность эмигрантского Берлина его просто поразила. Многие русские, не имея средств на жилье и пропитание, обитали в лагерях в окрестностях Берлина. Большинство в них составляли бывшие солдаты и офицеры из расформированных частей армии генерала Бермонт-Авалова, отступившей из Прибалтики. Но было немало и гражданских лиц, сестер милосердия, ушедших вместе с разбитыми частями. Жили в убогих бараках, спали на соломенных тюфяках. Работы не было. Германия разорена. Не хватало теплой одежды,

беля, и многие болели. Здоровые ездили днем в Берлин в надежде подработать, отыскать знакомых, найти хоть какую-то помощь. Но и в Берлине, за исключением немногих обеспеченных русских семейств, на счету был каждый ломтик хлеба, каждый кусочек сахара. Когда до Берлина стали доходить сведения о голоде в России, большинству эмигрантов не нужно было объяснять, что это такое: на-терпелись и в Константинополе, и на пути в Берлин. Да и в самом Берлине жили впроголодь. Когда был объявлен сбор средств в пользу голодающих, несли в Красный Крест жалкие крохи, но несли. А когда в Берлине появилось отделение гуверновской АРА, от предложений помощи не было отбоя: готовы были работать бесплатно — ведь речь шла о помощи России.

«В те дни в Берлине наибольшую общественную активность, — вспоминает митрополит Евлогий, — проявляли эмигранты-монархисты, и мне поневоле пришлось жить в монархической орбите. В этой среде шла энергичная подготовка к монархическому съезду в Рейхенгале. На одном из собраний, на котором был поднят вопрос о положении церкви в восстановленной России, я побывал, но сразу увидел, что ничего нового, творческого в постановке вопроса нет. Собрание сбивалось на старый лад, доходило до крайних утверждений, — например, высказывалось суждение, что постановления Всероссийского Церковного Собора не имеют силы, потому что не подтверждены императором...»²⁴.

Ожидать помощи от ждущих реванша монархистов, естественно, не приходилось. Но помощь шла от рядовых эмигрантов, от частных лиц, которые понимали, что страдание к страждущей родине выше обид и несогласий. В русских церквах возносились молитвы о спасении голодающих соотечественников, стояли кружки для сбора подаваний. Весной 1921 года, то есть в самый разгар голода, когда уже имелись многочисленные случаи людоедства, на собранные средства митрополит Евлогий купил вагон пшеницы и с помощью немецкого Красного Креста отправил его в Москву в адрес патриарха Тихона для передачи голодающим. Сам патриарх не смог известить управляющего русскими церквами в Западной Европе о получении пшеницы. К этому времени отношения Русской православной церкви с государством резко обострились и сношения церковного управления с заграницей были затруднены. Вскоре и сам патриарх оказался под домашним арестом в небольшой квартирке в Донском монастыре, где ожидал

начала суда. О том, что посланный эмигрантами хлеб дошел до крестьян Саратовской губернии, митрополит Евлогий узнал много позднее.

Глава 6

«ВСЕМИ ГОРБАМИ С РОССИЕЙ»

Было время, когда нам казалось, что об авторе «Песни о Буревестнике» мы знаем все. В течение многих десятилетий фигура Максима Горького занимала всю авансцену советской культуры. О Горьком написаны десятки томов исследований и воспоминаний. Представлялось, что каждый шаг, каждое слово, каждая мысль провозвестника русской революции нашли свое место в нашей истории. Новые документы, а главное, возможность говорить о том, о чем еще вчера мы вынуждены были молчать, показали, насколько мы заблуждались. За отлитым в бронзу, хрестоматийным Горьким наших школьных и вузовских лет в свете новых материалов, вовлекаемых в общественный оборот, встает другой, настоящий Горький, человек, который воплотил в себе не только надежды, но и сомнения, и разочарования нашего века.

Малознакомой стороной оборачивается к нам Горький периода 1922—1928 годов, когда великий писатель, выехав за границу для лечения, многие годы фактически жил на положении эмигранта, вначале в веймарской Германии, затем в Италии. Если Горький периода острой полемики с большевиками в 1917—1918 годах воспринимается теперь как Горький «несвоевременных мыслей», то Горький периода эмиграции — это человек великих сомнений, трагического выбора между продолжением добровольного изгнания и возвращением в любимую им Россию, уже отравленную медленно действующим ядом сталинизма.

Один из самых интересных моментов жизни русской послереволюционной эмиграции в Берлине связан с пребыванием там Максима Горького в 1922 году. Международный престиж Горького был огромен, его слава в России — безгранична. Эмоции эмиграции по поводу приезда Горького были связаны не только с сознанием того, что рядом живет и работает великий писатель, защитник русской интеллигенции от «хлыста диктатуры» (в Берлине осели

многие из тех, кого Горький спас от ЧК), но объяснялись и тем обстоятельством, что в эмиграции склонны были считать приезд Горького в Берлин как в некотором роде изгнание, как начало эмиграции. И хотя сам Горький решительно отвергал такие домыслы и пересуды (в беседе с корреспондентом газеты «Последние новости» писатель, только что приехавший в Берлин, заявляет: «В принципе я совершенно разделяю теорию Ленина и твердо верю в международную социалистическую революцию»), разговоры об «особом случае», о скрытой эмиграции продолжались. Одно дело — быть согласным с теорией, к тому же только «в принципе», как подчеркнул сам Горький, а другое — отведать из общего котла революции. Эмиграция достаточно хорошо помнила о «несвоевременных мыслях» Горького, опубликованных им в газете «Новая жизнь» в 1917—1918 годах, где писатель выступил как защитник интеллигенции и нравственных начал жизни от «революционеров на время», поднятых с обывательского дна водворотом революции. Острая полемика «Новой жизни» с «Правдой» того времени, завершившаяся вначале временным, а затем и окончательным запрещением горьковской газеты, расценивалась эмиграцией как попытка писателя предостеречь большевиков от опасностей разлива насилия и разжигания в обществе классовой ненависти.

В портрете «революционера на время», революционного временщика, остро очерченном Горьким в статье, помещенной в «Новой жизни», звучали многие из тех оценок революционера максималистского типа, которые давала и эмиграция. Существовало мнение, что конец «Новой жизни» был ускорен появлением именно этой статьи, в которой многие из деятелей революции увидели свой обобщенный портрет. В сущности, это портрет обывателя, Смердякова, примкнувшего к революции и пытавшегося овладеть ею. Вот как Горький описывал его:

«Революционер на время, для сего дня, — человек, с болезненной остротой чувствующий социальные обиды и оскорбления — страдания, наносимые людьми. Принимая в разум внушаемые временем революционные идеи, он, по всему строю чувствований своих, остается консерватором, являя собой печальное, часто трагикомическое зрелище существа, пришедшего в люди, как бы нарочно для того, чтобы исказить, опорочить, низвести до смешного, пошлого и нелепого культурное, гуманитарное, общечеловеческое содержание революционных идей. Он прежде всего обижен за себя, за то, что не талантлив, не силен,

за то, что его оскорбляли, даже за то, что некогда он сидел в тюрьме, был в ссылке, влачил тягостное существование эмигранта. Он весь насыщен, как губка, чувством мести и хочет заплатить сторицей обидевшим его. Идеи, принятые им только в разум, но не вросшие в душу ему, находятся в прямом и непримиримом противоречии с его деяниями, его приемы борьбы с врагом те же самые, что применялись врагами к нему, иных приемов он не вмещает в себя. Взбунтовавшийся на время раб карающего, мстительного бога, он не чувствует красоты бога милосердия, всепрощения и радости. Не ощущая своей органической связи с прошлым миром, он считает себя совершенно освобожденным, но внутренне скован тяжелым консерватизмом зоологических инстинктов, опутан густой сетью мелких, обидных впечатлений, подняться над которыми у него нет сил. Навыки его мысли понуждают его искать в жизни и в человеке прежде всего явления и черты отрицательные; в глубине души он исполнен презрения к человеку...

Люди для него — материал, тем более удобный, чем менее он одухотворен. Если же степень личного и социального самопознания человека возвышается до протеста против чисто внешней, формальной революционности, революционер сего дня, не стесняясь, угрожает протестантам карами, как это делали и делают многие представители очерченного типа¹.

Горький объясняет, что приехал в Западную Европу лечиться, что у него кровохарканье. Но эмиграция склонна трактовать приезд писателя по-своему: не ужился с большевиками. Распространяются слухи, что Горький с отъездом не торопился, что его подтолкнули, ибо стал неудобен. Действительно, комедия Горького «Работяга Словотеков» была запрещена в Петрограде после двух представлений, поскольку в главном герое пьесы Зиновьев якобы узнал себя.

Некоторые находили другое объяснение — будто Горький обиделся на то, что ему, столько сделавшему для подготовки революции в России, теперь не разрешают издавать газету.

В момент приезда Максима Горького в Берлин никто, разумеется, не знал, как долго писатель пробудет за границей. Можно предположить, что, если бы в тот момент эмиграция знала, что окончательно в советскую Россию он вернется только в 1928 году, Горький был бы, без всяких сомнений, причислен к эмиграции. Считается же, что

Алексей Толстой, проживший за границей много меньше, был эмигрантом.

Действительно, положение Горького в этот период было двойственным, на что указывали многие знавшие его люди: В. Ходасевич в статье «Горький», помещенной в «Отечественных записках» (№ 70, 1940 г.), Н. Берберова в книгах воспоминаний «Курсив мой» и «Три года из жизни Горького (1922—1925)». «Нюансы» есть и в книге И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь», где отразилось восприятие М. Горького тех лет как «полуэмигранта».

Но были и другие мнения.

«До чего мало похож, например, на белого эмигранта Максим Горький! — писал в 1925 году "сменовеховец" И. М. Василевский. — Если сущность эмиграции в ее чуждости, коренной враждебности к революции, то Максим Горький весь с ног до головы, от своего рождения и происхождения, от детских впечатлений своих и "Песни о Буревестнике", — весь с революцией — живой символ революции российской. И все же: стоило Максиму Горькому пожить рядом с эмигрантами, и какими характерно эмигрантскими чертами оказалась отмечена новая, изданная в Берлине, книга Максима Горького "О русском крестьянстве"!»².

Все, конечно, не так просто. И о книге этой чуть позже. Но явно проблема в отношениях между Горьким, Россией и эмиграцией есть. О серьезном разладе Горького с большевиками в берлинский период его жизни писал и Евгений Замятин в книге «Лица»: «По моим впечатлениям, тогдашняя политика террора была одной из главных причин временной размолвки Горького с большевиками и его отъезда за границу»³. Замятин в это время смотрит на события с другой, нежели эмигранты, стороны, он в это время еще в России.

Если эмиграция праздновала приезд Горького в Берлин, полагая укрепить его авторитетом свои силы, то для интеллигенции в России отъезд писателя был большой потерей: в сущности, в этот период крайней взаимной озлобленности внутри страны, когда судебные процессы следовали один за другим — против меньшевиков, против эсеров, против духовенства, против представителей буржуазной интеллигенции, — Горький был одним из немногих, чье заступничество могло остановить казнь, ссылку в Сибирь, спасти от голодной смерти, содействовать отправке за границу на лечение.

«Всем было хорошо известно, что Горький — в близкой

дружбе с Лениным, что он хорошо знаком с другими главарями революции. И когда революция перешла к террору, последней апелляционной инстанцией, последней надеждой был Горький, жены и матери арестованных шли к нему. Он писал письма, ругался по телефону, в наиболее серьезных случаях сам ездил в Москву, к Ленину. Не раз случалось, что его заступничество кончалось неудачей. Как-то мне пришлось, — пишет Е. Замятин, — просить Горького за одного моего знакомого, попавшего в ЧК. По возвращении из Москвы, сердито пыхтя папиросой, Горький рассказывал, что за свое вмешательство получил от Ленина реприманд: "Пора бы, говорит, вам знать, что политика вообще дело грязное, и лучше вам в эти истории не путаться"⁴. Но Горький продолжал «путаться».

И вот теперь этот заступник русской интеллигенции уехал из России. Отъезд Горького был похож на разведение последнего моста между властью и той частью русской интеллигенции, которая хотела, оставаясь в России, сохранить свою независимость от власти.

Но были и такие, из «революционеров на время», которые обрадовались тому, что одной крупной помехой для их несгибаемой воли к переделыванию России и человека стало меньше. Они, эти люди, тут же принялись ханжески обвинять Горького в предательстве, в бегстве и, обвиняя, хулить. Евгений Замятин вспоминает, что некоторое время спустя после отъезда Горького ему попался номер провинциальной коммунистической газеты с жирным заголовком: «Горький умер». К счастью, оказалось, что это был всего лишь «ход» местного журналиста, пытавшегося таким экстравагантным способом привлечь внимание читателей к своей статье, где говорилось о «политической смерти» Горького после его отъезда за границу. «Революционеры на время» спешили списать великого писателя.

Горький приехал в Берлин в тот период, когда основная часть эмиграции еще не успела перелиться в Париж и столица Веймарской республики, не будучи политическим центром изгнания, кишела эмигрантами. В это время в Германии скопилось до 600 тыс. русских. Имя Горького было у всех на устах. С чем он приехал? Что скажет? Но Горький вел себя сдержанно: от эмиграции не отталкивался, но и не заигрывал с ней. Он знал и ее слабости, предрасположенность к политическим страстям, и неумение значительной части эмигрантов отстраниться от личных обид, вынесенных из революции. Но он видел и сильные стороны эмиграции: традиции, высокую гражданскую

активность, унесенные с собой из России, высокую культуру мысли, умение уважать политического соперника и искать с ним компромисса. Эта способность к компромиссам не только сквозила в движении «сменовеховства», но проглядывала и в позиции видных фигур эмиграции, например П. П. Рябушинского, одного из крупнейших русских промышленников и банкиров, владельца — на паях с братьями — Московского банка Рябушинских. Принадлежа по своим политическим убеждениям к умеренному крылу русской буржуазии и не скрывая антипатий к большевикам, он тем не менее — как только из России повеяли ветры нэпа — стал проявлять интерес к установлению контактов с экономическим миром России, рожденным новой политикой. Другая эмигрантская знаменитость — крупнейший русский капиталист, директор Русско-китайского, а затем Русско-азиатского банков Александр Путилов в трагический для России год великого голода, размышляя о путях спасения голодающих, вынашивал идею кредитной помощи стране. При этом он считал, что предложение кредитов следует делать «в приемлемой для большевиков форме».

В Берлине Горький мгновенно оказался в центре внимания. В его квартире вечно толпился народ — бывшие царские и приезжавшие в Берлин советские министры (наркомы), знаменитые писатели и совсем молодые, надеявшиеся получить благословение мэтра актеры, художники, общественные деятели новой и старой России. Горький вызывал жгучее любопытство. Все знали, что еще задолго до Октябрьского переворота он материально поддерживал большевиков, что его близость к Ленину была крайне выгодна для престижа большевистской революции. Эмиграция знала, и в каком активном несогласии находился Горький с большевиками в 1917—1918 годах, в период «несвоевременных мыслей». Так кто же он, Горький?

Пожалуй, лучше всего, искреннее всего ответил на этот вопрос Юрий Анненков в книге «Дневники моих встреч (цикл трагедий)», написанной в эмиграции. «Был ли Горький членом коммунистической партии? Если и был, то лишь в самые последние годы своей жизни. Впрочем, и в этом я не уверен.

— Я околопартийный, — любил говорить Горький.

И это было правдой. Он блуждал вокруг партии, то справа, то слева, то отставая, то заходя вперед. В политике, как и в личной жизни, он оставался артистом. Объ-

зательная, дисциплинарная зависимость от какой-либо доктрины, догмы была для него неприемлема. Идейную подчиненность он считал оскорблением для человека. Прямую линию он заставлял все время вибрировать, как струну. Своими постоянными отклонениями и амплитудой своих колебаний он стремился сделать прямую линию более человечной»⁵.

И вот теперь, зная мягкость и уступчивость Горького, способность его души страдать при виде чужого горя, эмиграция старалась, указывая писателю на дурные и трагические стороны революции, вывести его на критическую стезю. Многие не понимали, почему Горький, так хорошо чувствующавший драматизм положения русской интеллигенции и неоднократно говоривший об этом, будучи в России, теперь, оказавшись за границей и с «развязанными руками», молчал. Он воздерживался от полемики в газетах, вообще избегал журналистов.

Но совсем отстраниться, уйти «в эмиграцию от эмиграции» он все же не мог: слишком живы были связи, слишком много было вокруг друзей, бывших товарищей по борьбе с царизмом, чей вклад в революцию, несмотря на их политическое размежевание с большевиками, он глубоко ценил. В эмиграции — и Горький это знал, может быть, как никто другой — было много людей нравственно чистых, идеалистов. Многие оттого и оказались в изгнании, что не могли совместить в себе светлые мечты о революции и народном счастье и те реальные образы и одежды, в которых революция вышла из гражданской войны, — с пятнами крови, с искаженным страданием и ненавистью лицом.

Один из эпизодов берлинской биографии Горького, когда он не мог остаться в стороне от событий, взволновавших как Россию, так и эмиграцию, связан с начавшимся летом 1922 года в Москве процессом над партией социалистов-революционеров.

Слухи о готовящемся процессе стали расходиться в эмиграции еще зимой. Первые сведения привезли освобожденные после длительной голодовки в Бутырской тюрьме лидеры меньшевиков Ф. И. Дан, Б. И. Николаевский, Л. О. Дан и Е. И. Грюнвальд. Голодовка бывших товарищей по борьбе с царизмом, прошедших через царские тюрьмы и каторгу, сидевших вместе с большевиками, произвела тягостное впечатление и на большевистские круги. Была создана партийная комиссия. Чтобы не накалять атмосферу, было принято решение выпустить

лидеров меньшевиков за границу⁶. Приехав 11 февраля 1922 г., они, естественно, не держали рты запечатанными и, оказавшись на свободе, начали широкую кампанию в защиту эсеров.

В орбиту борьбы была вовлечена и социал-демократическая печать Западной Европы, эмигрантская пресса. Взволновать западноевропейскую общественность было несложно: ведь речь шла о деятелях социалистического крыла демократии. Европейским социалистам многое казалось неясным: каким образом получилось так, что товарищи по революционной борьбе и подполью, сидевшие в одних камерах и шедшие вместе по этапам ссылки, оказались теперь одни в роли судей, другие — подсудимых. Тем более что еще в 1921 году большинство меньшевиков и эсеров находилось в России на легальном положении, у них были свои центры, газеты.

В прессе звучали самые резкие вопросы, обращенные к Москве: не являются ли преследование меньшевиков (весной 1922 г. были произведены их массовые аресты), их высылка, а теперь еще готовящийся процесс над эсерами свидетельством отхода большевиков от социалистической идеи и началом разгрома социалистического движения в России? Большевиков обвиняли в том, что они испугались открытой дискуссии, разгромили социал-демократическую печать, а теперь задумали прямое уничтожение социалистов-революционеров.

Как прямая провокация была воспринята изданная в Берлине в 1922 году на средства автора брошюра некоего Г. Семенова (Васильева) «Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917—1918 гг.». Книжица была одновременно напечатана и в Москве. Что это? Попытка оправдать суд напоминанием о террористических актах эсеров или прямой донос? С возмущением писал о поступке Г. Семенова Виктор Шкловский в вышедшей в 1923 году в московско-берлинском издательстве «Геликон» книге воспоминаний: «Если бы Семенов не был полуинтеллигентом, если бы он имел свое мастерство, он не пошел бы доносить. А у него в душе торричеллиева пустота и незанятые руки, делать ничего не умеет, ему жалко не рассказать, что и он крутил политику»⁷.

Надо признать, что суд над эсерами и преследование в России меньшевиков были крайне болезненно восприняты в Западной Европе не только социалистами. Этот период стал началом долгого и болезненного для обеих

сторон процесса постепенного отхода левой западноевропейской интеллигенции, с таким восторгом принявшей русскую революцию, от советской России. Отнюдь не является совпадением, что именно весной 1922 года, когда в Москве ГПУ устраивало облавы на меньшевиков, Ромен Роллан меняет свое отношение к коммунистической партии, заявив, что марксизм отвергает высшие моральные ценности человечества — свободу, истину и человечность. Вскоре после этого у него начались сложности в отношениях с издателями в РСФСР, о чем упоминается в одном из писем⁸ А. М. Горького «зарубежного периода» Б. И. Николаевскому:

«Дорогой Борис Иванович.

Я вчера отказался от предложения сотрудничать в журнале «Звезда», который с октября будет выходить в Петербурге под редакцией Ионова, Циперовича, Майского*, от сотрудничества в альманахах «Круг» и «Антей».

Отказался на том основании, что так как «Беседу»** в Россию не пускают, то это ставит меня в дикое положение перед ее иностранными сотрудниками, приглашенными мною для участия в «Беседе». Положение было бы еще нелепей, если б я, допустив без протеста «браковать» Р. Роллана и других, сам продолжал бы сохранять к «браковщикам» мило-душевные отношения. Прибавьте к сему историю с Гржебиным***...»

Как видим, волны от процесса над эсерами шли весьма широкими кругами, захлестывая страстями и советскую, и европейскую, и эмигрантскую общественность. В это время Ю. О. Мартов**** и подал мысль привлечь Горького к компании за спасение эсеров. Мартов считал, что через

* Речь идет об известном советском дипломате И. М. Майском. Участник революционного движения и гражданской войны, бывший меньшевик. В 1921 году вступил в РКП(б). В 1922 году выступал свидетелем обвинения на процессе эсеров в Москве. Позднее был первым редактором ленинградского литературно-политического журнала «Звезда».

** М. Горький упорно добивался от советских властей, чтобы издаваемый им за границей журнал «Беседа» распространялся в России. Однако хлопоты его успехов не увенчались.

*** Выезжая при содействии М. Горького за границу для организации издания русских книг, Гржебин получил обещание, что часть его продукции будет распространяться в России. Обещание это было нарушено, что привело к финансовому краху издательства.

**** Мартов Ю. О. (1873—1923) — социал-демократ, лидер меньшевиков. В 1920 году выехал из России. Основал в Берлине журнал «Социалистический вестник», который существовал до 1965 года, выходя уже в Париже.

Горького можно будет обратиться к кому-либо из крупных фигур западноевропейской интеллигенции. Речь шла в первую очередь об Анатоле Франсе. Симпатии великого французского писателя к России были очевидны, его связи с русской интеллигенцией зародились еще до революции, он близко к сердцу принимал события, происходящие в России, долгое время был близок к французской компартии. Его участие в «русских делах» восходит еще к временам первой русской революции, когда он вел в Европе кампанию за освобождение Горького из тюрьмы. Взаимные симпатии двух великих писателей были налицо. Откликаясь на призыв Горького к интеллигенции о помощи голодающей России, Анатоль Франс пожертвовал присужденную ему в 1921 году Нобелевскую премию в области литературы в пользу голодающих. Мартов учитывал и ряд других обстоятельств: Франс по своим политическим симпатиям был близок к социалистам, и его в шутку называли «социалист в кружевах», имея в виду его мягкость, неприятие резких движений и мер. Он был сторонником ненасильственных действий, террор, кровь приводили его в ужас. Кроме того, Анатоль Франс уже однажды, в марте 1922 года, обращался к советскому правительству с ходатайством о социалистах, призывая «не совершать по отношению к политическому противнику действий, которые могли бы быть истолкованы как проявление мести, ибо вы нанесли бы этим неисцелимый вред великому делу освобождения рабочих всего мира»⁹.

В Москве отношение к процессу над эсерами было неоднозначным. Решение о предании суду Верховного трибунала членов ЦК партии социалистов-революционеров было принято по докладу Ф. Э. Дзержинского на вечернем заседании Пленума ЦК РКП(б) 28 декабря 1921 г. Руководство партии эсеров обвиняли в организации террористических актов, в том числе в соучастии в покушении на В. И. Ленина, в убийстве М. С. Урицкого и В. Володарского в 1918 году. Тем не менее приезжавшие весной 1922 года в Западную Европу на совещание трех социалистических Интернационалов Н. И. Бухарин* и К. Б. Радек (они возглавляли делегацию Коминтерна) дали письменное заверение, что к эсерам, проходившим по про-

* В зарубежных эмигрантских изданиях имеются многочисленные свидетельства, указывающие на сопротивление Н. И. Бухарина беспощадности приговоров эсерам, например в статье «Бухарин об оппозиции Сталину» (Социалистический вестник. — 1965. — № 4); в книге Б. Николаевского (Power and the Soviet Elite. — Ann Arbor, 1975).

цессу, не будет применена высшая мера наказания. Вслед за этим следует критика со стороны Ленина в адрес Бухарина и Радека, допустивших, по его мнению, вмешательство иностранцев в суверенные дела России. В. И. Ленин счел необходимым выступить в разъяснениями, и 11 апреля в московских газетах «Правда» и «Известия» появилась его статья «Мы заплатили слишком дорого».

Суд не был отменен, несмотря на ширившиеся в Западной Европе протесты; меньшевики и эсеры, оказавшиеся в эмиграции, не прекращали действий по дискредитации большевиков среди интеллигенции и рабочего класса Западной Европы. В апреле 1922 года, то есть за два месяца до начала суда, Мартов писал в «Социалистическом вестнике» в Берлине: «Цинизм, с каким через десять дней после опубликования брошюры предателя в Берлине было сострепано «дело» против социал-революционеров в Москве, со всей ясностью поставил перед социалистами и рабочими вопрос о методах расправы большевиков со своими политическими противниками вообще. То, что обычно творилось под спудом, впервые открыто выявилось во всем своем безобразии. Террор на основе гнусного предательства и грязной полицейской провокации — вот против чего поднял свой протестующий голос пролетариат»¹⁶.

Сами меньшевики и даже пользовавшийся достаточно большим уважением среди европейских социалистов Ю. О. Мартов напрямую обращаться к Анатолю Франсу, несмотря на его социалистические симпатии, не решались. Они были уже эмигрантами, а к эмигрантам левая западноевропейская интеллигенция не питала больших симпатий. Есть интересные свидетельства, что во Франции среди рабочих и вообще населения бытовало мнение: эмигранты — все сплошь правые.

Поэтому меньшевики и решают действовать через Горького. Приведенное ниже письмо Ю. О. Мартова к Б. И. Николаевскому свидетельствует о том, что Горького буквально «брали на абордаж», стремясь добиться его участия в протестах против московского процесса 1922 года.

«Дорогой Борис Иванович.

По-моему, теперь нельзя терять ни минуты и необходимо добиться, чтобы Горький выступил по поводу эсеров. Ведь совершенно ясно, что дело идет — и быстро — к кровавой развязке. При невозможности сделать что-нибудь в Германии надо пускать в ход последние ресурсы: Горького и Анатоля Франса. В прилагаемом письме я прямо

предлагаю Горькому обратиться к Франсу с просьбой о вмешательстве и опубликовать свое отношение и ответ. Последнее, конечно, вернее всего. Не зная адреса ни Горького, ни Вашего, посылаю Вам письмо через Ф. И.* с просьбой непременно поехать лично к Горькому и отнести мое письмо, дабы он не мог ни уклониться от ответа, ни задержать с ним и чтобы Вы могли, в случае надобности, «надавить» на его хрупкую волю. Последнее, очевидно, крайне необходимо. Для него, может быть, этот шаг приведет к разрыву материальной связи с большевиками, но... настал момент, когда его приходится прижать к стене. Всего лучше, если он Вам даст текст телеграммы к Франсу (или другого обращения, если он предпочтет придумать что-нибудь другое) и уполномочит Вас перевести и разослать. На этот случай советую переслать (перевести сможет Ф. Ильич) Франсу через редакцию «Le populaire»** (Paris, rue Feydeau, 12) с просьбой протелеграфировать. Если необходимо будет, чтобы я перевел, можно послать мне, я уже отсюда перешлю. Словом, действуйте!

Жму руку.

Ю. М.»¹¹.

Таким образом, Горький под напором оказавшихся в эмиграции меньшевиков был вовлечен в дело, деталей которого он не знал и не мог знать, ибо в эмиграцию просачивались лишь крупницы сведений о готовившемся в Москве процессе. Реакция Горького была, в сущности, гуманной реакцией писателя на возможное кровопролитие, а отнюдь не принятием тех или иных политических позиций, что, конечно же, обрадовало бы эмиграцию. Кроме того, на Горького, как, впрочем, и на всю эмиграцию, эмоционально подействовал тот факт, что в Москве судили людей, внесших неоспоримый вклад в подготовку русской революции. Под впечатлением момента Горький пишет два письма, которым эмигрантская пресса дала самую широкую огласку: письмо к Анатолю Франсу в Париж и другое — в Москву.

«Достопочтенный Анатоль Франс!

Суд над социалистами-революционерами принял цинический характер публичного приготовления к убийству людей, искренне служивших делу освобождения русского народа. Убедительно прошу Вас: обратитесь еще раз к Со-

* Федор Ильич Дан, известный меньшевик.

** Газета французских социалистов, выходившая в Париже.

ветской власти с указанием на недопустимость преступления. Может быть, Ваше веское слово сохранит ценные жизни социалистов. Сообщаю Вам письмо, посланное мною одному из представителей Советской власти.

Сердечный привет —

*М. Горький*¹².

Под «одним из представителей Советской власти» Горький имел в виду тогдашнего заместителя Председателя Совнаркома Алексея Ивановича Рыкова. Апелляция к Ленину, вероятно, была бы более эффективным средством, но обратиться к Владимиру Ильичу, как писатель делал многократно, он не мог. Ленин был серьезно болен. Признаки ухудшения здоровья начались еще зимой. В конце января Ленин даже не смог присутствовать на заседании Политбюро ЦК РКП(б) по вопросу об упразднении ВЧК и реорганизации функций карательных органов, чему Владимир Ильич придавал большое значение, особенно в связи с тем, что ему стали известны факты «дефектов и неправильностей ВЧК». 31 января он оповещает заместителя председателя ВЧК И. С. Уншлихта о том, что вопрос о реорганизации ВЧК будет рассматриваться без него. «Никак не могу быть в Политбюро. У меня ухудшение. Думаю, что во мне и нет надобности. Дело теперь в чисто технических мерах, ведущих к тому, чтобы наши суды усилили (и сделали более быстрой) репрессию против меньшевиков...»¹³.

Врачи требовали, чтобы Ленин прекратил работу и уехал отдыхать, но Владимир Ильич все откладывал переезд в Горки. Заканчивалась весна, началось лето. 23 мая Владимир Ильич наконец перебрался в Горки с расчетом прожить здесь все лето. Несмотря на протесты врачей, он собирается работать, дает распоряжения о том, какие газеты и книги ему следует прислать. 25 мая с Лениным случился первый удар. Никто не ожидал столь резкого ухудшения.

В начале июля, когда Горький отсылает свои письма, Ленин чувствует себя уже лучше, стал оправляться от удара, но над ним все еще висело поставленное врачами условие — «никаких разговоров о политике и о делах». Только 19 июля профессор Фостер разрешает ему читать газеты, но пока еще только старые. К работе В. И. Ленин вернулся лишь осенью — 4 октября 1922 г. «Правда» поместила небольшое сообщение: «Тов. Ленин приступил к работе. Вчерашнее заседание Большого Совнаркома про-

ходило под непосредственным председательством Владимира Ильича Ленина. В. И. Ленин фактически вернулся к исполнению обязанностей Председателя Совнаркома».

Таким образом, Горький просто не мог обратиться к Ленину.

Но в обращении к А. И. Рыкову была и еще одна, не всем понятная подоплека. Горький, в 1917 году кинувшийся в водоворот политических страстей и издававший газету «Новая жизнь», хорошо помнил, что в ноябре 1917 года, когда после захвата власти встал вопрос, как и с кем править, А. И. Рыков был сторонником создания коалиционного правительства с участием меньшевиков и эсеров и, когда это предложение было отвергнуто, вышел в знак протеста из ЦК и из правительства.

Горький, вероятно, рассчитывал, что Рыков сочувственно отнесется к его просьбе о помиловании эсеров. Он писал:

«Алексей Иванович!

Если процесс социалистов-революционеров будет закончен убийством — это будет убийство с заранее обдуманым намерением, гнусное убийство.

Я прошу Вас сообщить Л. Д. Троцкому и другим это мое мнение. Надеюсь, оно не удивит Вас, ибо за время революции я тысячекратно указывал Советской власти на бессмыслие и преступность истребления интеллигенции в нашей безграмотной и некультурной стране.

Ныне я убежден, что если эсеры будут убиты, — это преступление вызовет со стороны социалистической Европы моральную блокаду России.

1. VII. 1922

М. Горький»¹⁴.

В этом письме большой интерес вызывает просьба Алексея Максимовича «сообщить Троцкому» его мнение, что, как можно предположить, свидетельствует о причастности Л. Д. Троцкого к организации процесса. На нетерпимое отношение Троцкого к «представителям буржуазной интеллигенции» указывает в своих мемуарах и М. Осоргин, высланный из России осенью того же года.

Оба письма Горького были напечатаны в газете французских социалистов «Le populaire» и тотчас же подхвачены другой прессой, в том числе эмигрантской. Все с нетерпением ждали реакции Анатоля Франса. Ждали слева и справа. Ждали и в Москве. Социалисты в Западной Европе были в то время влиятельной политической силой,

и их обостренная реакция на процесс могла повредить политическим усилиям молодой советской дипломатии. Слова Горького о возможности «моральной блокады России» звучали вполне реальным предостережением.

Предостережения исходили не только от Горького, социалистов, но и от таких политических «единокровцев», как Клара Цеткин, — от коммунистов. Клара Цеткин с 1920 года была депутатом германского рейхстага, крупной политической фигурой левого фронта. О ее заступничестве за эсеров пишет в своих мемуарах Л. Троцкий. Страницы воспоминаний Троцкого, посвященные процессу над эсерами, привносят дополнительное и на этот раз прямое свидетельство, что он был сторонником террора против эсеров и высшей меры наказания против проходящих по процессу социалистов-революционеров. Полемицируя с теми «из наших гуманных друзей» за границей, которые призывали к милосердию с учетом, в частности, того факта, что эсеры и так находились во власти большевиков, Троцкий развивает мысль о том, что террор при революции неизбежен и что при обсуждении вопроса о революционном терроре следует отбросить гуманитарные соображения.

«Клара Цеткин и другие европейские коммунисты, которые в то время еще имели смелость — против Ленина и против меня — говорить то, что они думают, настаивали на том, чтобы жизнь обвиняемых была сохранена. Они предлагали нам ограничиться приговорами к тюремному заключению. Это представляется самым простым. Однако вопрос о подавлении личности в революционную эпоху приобретает совершенно особый характер, при котором гуманитарные банальности отвергаются как нечто беспомощное. Битва ведется непосредственно за обладание властью, в этой борьбе вопрос идет о жизни и смерти — именно в этом состоит революция...»¹⁵.

А. Франс откликнулся 10 июля 1922 г., когда суд над эсерами уже начался. Однако французский писатель, понимая, вероятно, что процесс над эсерами является результатом сложнейших политических противоречий между участвовавшими в революции силами, уклонился от прямого обращения к советскому правительству. Он предпочел более мягкую и осторожную форму гуманитарной защиты: «присоединился» к ходатайству Горького. Нельзя исключить и того, что умудренный опытом и знавший, насколько сильны в буржуазной Европе антибольшевистские настроения, Анатолий Франс не желал давать слишком сильные

kozyри правой буржуазной прессе и эмиграции. Он писал Горькому:

«Дорогой гражданин Горький.

К сожалению, я недостаточно хорошо знаком с тем важным делом, по которому Вы ко мне обращаетесь, я не мог следить по документам за ходом процесса против с.-р.-ов, имеющего место в настоящее время в Москве.

Тем не менее, как и Вы, я считаю, что люди, о которых идет речь, в свое время искренне служили делу освобождения русского народа.

Как и Вы, я считаю, что их осуждение тяжело отразится на судьбах Советской республики.

От всего сердца присоединяюсь, дорогой Горький, к призыву Вашему по адресу Советского правительства, один из членов которого*, говорят, фигурирует в процессе в качестве прокурора.

С братским приветом

*Анатоль Франс*¹⁶.

Москва, естественно, была в курсе событий: реакция Европы на процесс была ей далеко не безразлична. Советское правительство в условиях разветывания и углубления нэпа стремилось к завязыванию коммерческих контактов с капиталистическим миром, велись переговоры о концессиях. При выезде Горького за границу Ленин просил его содействовать по мере возможности мобилизации международной поддержки советской республики. Скандал, который по вполне понятным политическим причинам эмигранты хотели бы раздуть вокруг процесса над эсерами, мог повредить налаживанию связей с внешним миром.

Не очень приятно было Москве сознавать и то, что такой могучий в глазах населения — и не только интеллигенции, но и рабочих — авторитет, как Горький, осудил процесс с моральной точки зрения. Сколько было возможно, советская пресса помалкивала о позиции Горького, не писалось в газетах и о заступничестве за эсеров западноевропейских социал-демократов и коммунистки Клары Цеткин. Однако после опубликования в парижских и берлинских газетах письма Анатоля Франса отмалчиваться было уже невозможно, тем более что при тогдашних достаточно активных связях между советской Россией и эмиграцией (почта в тот период не

* Одним из общественных обвинителей на процессе был нарком просвещения А. В. Луначарский.

была еще поставлена под такой жесткий контроль, как в 30-е годы) по Москве стали распространяться самые невероятные слухи в связи с позицией Горького. Говорили, что писатель окончательно перешел в стан эмигрантов, что Горький порвал с большевиками и т. д., забывая, в частности, о том, что в таком принципиальном вопросе, как отношение к крестьянству, Горький был значительно ближе к большевикам, чем к социалистам-революционерам.

Словом, необходимо было «расставить акценты». О позиции Горького заговорила советская печать. 16 июля 1922 г. «Известия» помещают статью Карла Радека «Максим Горький и русская революция», где, обойдя молчанием ответ Анатоля Франса, автор упрекает Горького в сотрудничестве с эмиграцией, в частности в том, что ряд его высказываний и статей перепечатывался эмигрантской монархической прессой (Горький, разумеется, согласия на такие публикации не давал). Горькому ставится в упрек, что, не разбираясь в политике, он позволил эмиграции вовлечь себя в игры против советской власти. Критика Радека была достаточно мягкой и щадящей: Горькому в сдержанной форме указывалось на то, что он оказался во власти интеллигентского филистерства.

Более резкой была оценка в «Правде», которая отчитала Горького, а заодно осудила и К. Радека за слишком щадящую критику писателя. С. Зорин в статье «Почти на дне. О последних выступлениях М. Горького» писал, что «своими политическими заграничными выступлениями Максим Горький вредит нашей революции. И сильно вредит»¹⁷.

Едко, а, учитывая болезнь Горького, попросту неприлично выступил Демьян Бедный:

О... Он, конечно, нездоров:
насквозь отравлен тучей разных
остервенело-буржуазных,
белогвардейских комаров.
Что до меня, давно мне ясно,
что на него, увы, напрасно
мы снисходительно ворчим:
он вообще неизлечим¹⁸.

Достаточно вульгарный по форме призыв к расправе над великим писателем.

Надо сказать, что выпад Демьяна Бедного не был премьерой. Это было развитием нездоровой нравствен-

ной тенденции. Творчески обделенные, не обладающие твердыми нравственными устоями, «революционеры на время» без колебаний готовы были растоптать любой художественный и моральный авторитет. Сознывая свое моральное ничтожество, они старались приписать свою ниспровергательную страстишку революции, спрятаться за ее могучей волной.

Прячась за имя революции, на Горького еще в 1917 году впервые обрушивает свой гнев — в это время, впрочем, еще неопасный — будущий «отец народов» Иосиф Сталин. В газете «Рабочий путь» он писал: «Русская революция низвергла немало авторитетов. Ее мощь выражается, между прочим, в том, что она не склонилась перед «громкими именами», она брала их на службу либо отбрасывала их в небытие, если они не хотели учиться у нее. Из этих «громких имен», отвергнутых потом революцией, — целая вереница: Плеханов, Кропоткин, Брешковская, Засулич и вообще все те старые революционеры, которые только тем и замечательны, что они «старые». Мы боимся, что лавры этих «столпов» не дают спать Горькому. Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив. Что ж, вольному воля!.. Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих мертвецов»¹⁹.

Между «Правдой» и «Известиями» в связи с позицией Горького возникла полемика, ибо Карл Радек на резкие выпады С. Зорина выступил в «Известиях» с ответом под заголовком «С. Зорин. Здесь пломбируют и вырывают больные зубы»²⁰.

Эмигрантская пресса внимательно следила за схваткой вокруг имени Горького. А в конце июля, как бы подводя итоги, берлинская газета «Руль» сделала обзор советской прессы по этому вопросу. О том, насколько нравственная позиция, занятая Горьким по вопросу о суде над эсерами, взволновала советскую общественность, свидетельствует то, что семь лет спустя, в январе 1929 года, к этому спору вновь возвращаются. А. Серафимович в своей речи «С нами ли Горький», напечатанной в московской «Нашей газете», пишет: «Помните процесс социалистов-революционеров в Москве? Горький, будучи тогда за границей, дал такое интервью, которое вызвало крайнее недоумение в широких кругах рабочих. В этом интервью Горький причитал о гибели интеллигенции, о «соли земли и т. д...»²¹.

Это выступление А. Серафимовича интересно, поми-

мо прочего, и тем, что в нем видна уже достаточно устойчивая привычка к социальной демагогии, когда собственное суждение выдается за мнение «широких кругов рабочих», которые на самом деле даже не были посвящены в суть спора Горького с устроителями процесса и черпали «классово-заостренную» информацию из фельетонов Демьяна Бедного.

Процесс над социалистами-революционерами закончился 7 августа. Двенадцати членам ЦК партии эсеров были вынесены смертные приговоры, исполнение которых, однако, поставлено было в зависимость от того, откажется ли партия эсеров от методов вооруженной борьбы против советской власти или нет. Позднее, в январе 1924 года, решением Президиума ВЦИК расстрел был заменен пятилетним тюремным заключением и ссылкой.

Горький, находясь за границей, продолжал интересоваться судьбой осужденных. О положении находившихся в тюрьме эсеров его информируют многие из старых знакомых — и меньшевики, и эсеры. Вот одно из писем, хранящихся в архиве Б. И. Николаевского. Автор письма — Лидия Цедербаум, жена Ю. О. Мартова.

«21. II. 1923

Многоуважаемый Алексей Максимович, посылаю Вам полученное мною письмо жены Тимофеева*, показывающее, что полученная нами информация была правильной. Теперь, по более поздним сведениям, можно считать, что Тимофеев на каких-то условиях голодовку прекратил. Сегодня мне сообщил один из наших друзей, связанных с коммунистами, что он вчера имел письмо из Москвы, где ему сообщают, что добиться высылки Тимофеева за границу не удалось, но удалось добиться, что Тимофеев посажен вместе с Гоцем, чего оба хотели, что удалось добиться, чтобы Крыленко заявил ЧК, что он тоже имеет право влиять на условия заключения, и после некоторого отпора со стороны ЧК Крыленко вместе с Уншлихтом посетили всех заключенных, имели будто бы «искреннюю» беседу, после которой «прижим» сменил нормальным режимом и на понедельник (вероятно, 19-го) было назначено медицинское освидетельствование всех заключенных целой комиссией, по заключению которой с узниками будет поступлено соответствующим образом. Сообщаю, что среди коммунистов были

* Тимофеев Е. Н. — один из 12 эсеров, приговоренных к расстрелу.

разговоры о содержании социалистов-революционеров и, по некоторым данным, большое значение имело Ваше письмо... А что режим, действительно, был настоящим «прижимом», Вы можете видеть по письму А. П. Тимофеевой.

Ну, вот и все, что могла Вам сообщить. Привет Вам от Юлия Осиповича. У него все то же. Ухудшения нет, но нет и улучшения!

Жму руку.

*Лидия Цедербаум-Дан*²².

Участие М. Горького, находившегося за границей фактически на положении эмигранта, в защите эсеров по-разному воспринималось в Москве. Известна, например, реакция В. И. Ленина на обращение писателя. Однако, хотя В. И. Ленин и назвал письмо Горького Рыкову, напечатанное в Берлине в эмигрантском «Социалистическом вестнике», «поганым», от каких-либо резких оценок Владимир Ильич воздержался. Можно предположить, что предупреждение Горького о возможности «моральной блокады» со стороны «социалистической Европы» он воспринял достаточно всерьез. Он пишет Бухарину, который находился в Берлине: «...Надо посоветоваться. Может быть, Вы его выдаете и беседуете с ним? Напишите, пожалуйста, Ваше мнение. Я мало видел газет (заграничных почти не видал). Значит, и «обстановку» мало знаю»²³.

Мнение Горького, таким образом, по-прежнему представляет для Ленина большой интерес, несмотря на то что в прессе писателя подвергают ostrакизму. Не исключено, что активная гуманная позиция писателя сыграла роль и в смягчении участи эсеров, в частности условий их содержания в тюрьме. 23 ноября Политбюро ЦК РКП (б) поручает Уншлихту и Калинину посетить эсеров в тюрьме и доложить об условиях их содержания.

Эпизод с заступничеством Горького за эсеров, по оценке Е. Замятина, был «кульминационным пунктом» разлада Горького с большевиками. Есть свидетельства того, что резкость реакции Москвы на его выступления в эмиграции была для Горького неприятным сюрпризом и что он жалел о том, что позволил себя вовлечь в сложные взаимоотношения между большевиками и эсерами. В архиве Николаевского имеется отрывок из воспоминаний А. Серафимовича о встрече с А. М. Горь-

ким и Н. И. Бухариным, где, в частности, приводится следующий диалог:

«— Что вы, батенька, наделали? — упрекнул его Николай Иванович. — Вы теряете все ваше чудесное прошлое. Рабочие возмущены вами...

Горький искренне огорчен, он в отчаянии:

— Я черт знает что наделал. Как же мне теперь быть, как мне исправить ошибку?»²⁴.

Однако это единственное свидетельство «раскаяния» Горького, к тому же пересказанное А. Серафимовичем в 1929 году, когда Горький в силу многих обстоятельств уже не мог или не хотел давать опровержения.

Единственным реальным свидетельством того, что А. М. Горький принял к сведению адресованные ему упреки Москвы, является его постепенный отход от активного сотрудничества в берлинском журнале «Летопись революции», который начинался как советский еще в 1919 году в Петрограде, а потом стал выходить в Германии уже в качестве эмигрантского. В первом выпуске «Летописи революции», кстати, были опубликованы мемуары А. В. Луначарского «Великий переворот», посвященные Октябрьскому вооруженному восстанию. Эти воспоминания наркома просвещения были признаны «Правдой» еретическими. «Летопись революции» оказалась вместе со своим издателем З. И. Гржебиным в эмиграции, так что выпуск «Летописи» с мемуарами Луначарского — единственный, осуществленный в СССР. Журнал носил явно «меньшевистский оттенок». Главную скрипку в редакции играл Ю. О. Мартов. Однако с осени 1922 года он оказался прикованным к постели смертельной болезнью и находился в санатории в Шварцвальде, и тогда было решено вести редакционную политику на «расширенной платформе».

«Преследуя исторические задачи прежде всего, мы намерены дать в нашей серии место авторам различных политических взглядов — от крайне левых до правых включительно, — объявила редакция. — Только такое полное сочетание материалов даст возможность охватить все жизненное богатство великого исторического переворота»²⁵.

Идея такого журнала, который бы «не связывал себя в выборе сотрудников никакими партийно-политическими рамками» и где «всякий очерк, всякое сообщение, носящие характер достоверности, найдут место... как показания очевидца событий или как работа исследова-

теля», привлекала Горького, тем более что он уже имел возможность убедиться, насколько тенденциозной могла быть оценка одних и тех же явлений как со стороны России, так и из эмигрантского окна и какую опасность таит в себе такая тенденциозность. Свидетельства участников революции, помещаемые в журнале, делают «Летопись» одним из ценнейших источников для изучения истории революции. Горький с энтузиазмом взялся за сотрудничество с журналом и дал для первого берлинского выпуска воспоминания о В. Г. Короленко. И в дальнейшем он принимал активное участие в отборе рукописей.

Однако, когда Горькому предложили официально войти в состав редколлегии, он отказался. Причины несколько. Нет сомнения в том, что Горький, несмотря на многие несогласия с большевиками, в частности в вопросе о роли интеллигенции, не желал и не искал разрыва с партией, с которой оказалась связанной вся его судьба. О том, что такой разрыв был возможен, свидетельствует резкая и нелюбезная реакция Москвы на публикацию горьковских писем А. Франсу и А. И. Рыкову. Не менее острой оказалась отзыв из России на попытку «нефракционного объективизма» журнала «Летопись революции». Рецензируя первую книгу «Летописи», партийный историк В. И. Невский иронизирует: «В чем же выражается этот объективизм «Летописи революции»? Да в том, что редакция журнала с большим удовольствием печатает все, что, по ее мнению, может опорожить, оплевать зловерный, ненавистный ей большевизм»²⁶.

Автор другой, но стилистика та же, что и в нападках Д. Бедного. Разумеется, Горький мог ответить и Д. Бедному, и В. Невскому. Но это значило бы оправдывать свое «поведение» за границей. Оправдывать перед теми, чье мнение для него — хотя оно часто подавалось в фальшивой упаковке мнения народа или рабочих — не имело большого веса. Он понимал, что его, автора «Буревестника» и «Матери», будут судить не демьяны бедные, а русская история. От него ждали возражений, а он размышлял.

В опубликованной в Берлине в 1922 году книге «О русском крестьянстве» он пытался понять — и прежде всего для себя, никого не осуждая, а лишь размышляя над фактами, — причины отклонения русской революции от той светлой мечты, которую лелеяли поколении русских демократов. Он пытался постичь, почему революция, с необходимостью которой были согласны,

в сущности, все мыслящие силы России, привела после победы к такому размежеванию сил, к такому братоубийству и насилию. Он хотел, чтобы вместе с ним над этим задумалась и эмиграция. Не осуждала, не рубила сплеча, а думала.

В предисловии к книге он писал: «Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России? Мне очень тяжело все, что я думаю о моей стране, точнее говоря, о русском народе, о крестьянстве, о большинстве его. Для меня было бы легче не отвечать на вопрос; но я слишком много пережил и знаю для того, чтобы иметь право на молчание. Однако прошу понять, что я никого не осуждаю, не оправдываю, — я просто рассказываю, в какие формы сложилась масса моих впечатлений. Мнение не есть осуждение, и если мои мнения окажутся ошибочными, это меня не огорчит»²⁷.

Книга «О русском крестьянстве», написанная Горьким в эмиграции, не понравилась ни эмиграции, ни в России. С обеих сторон слышались горькие упреки и обвинения. В Москве ее объявили клеветой на Октябрьскую революцию, а Горького — обывателем, испугавшимся выпущенной на волю неистовой энергии долго сдерживаемых народных сил. Эмигрантская печать, напротив, усмотрела в новой работе Горького апологию большевистских лидеров, обвиняя писателя в том, что он перекладывает вину за ужас и террор времен гражданской войны с большевиков на крестьянские массы, в которых Горький видел темную и эгоистическую силу.

Оказавшихся в эмиграции эсеров, считавших себя выразителями интересов и надежд русского крестьянства, кооператоров, работавших в российской глубинке, не могли не шокировать слова Горького: «...Вымрут полудикие, глупые, тяжелые люди русских сел и деревень — все те почти страшные люди, о которых говорилось выше, и место их займет новое племя — грамотных, разумных, бодрых людей»²⁸.

В Москве книгу Горького попытался опубликовать А. К. Воронский* — редактор журнала «Красная новь»,

* Воронский А. К. (1884—1943) — сын священника, 19-летним юношей вступил в РСДРП(б), исключен из Тамбовской духовной семинарии. Неоднократно арестовывался и ссылался при царском режиме. В 1917 году — председатель Одесского Совета рабочих и крестьянских депутатов. С 1920 года работал в Москве. В 1921 году создал первый советский «толстый» журнал «Красная новь», работал в Госиздате, в издательстве «Круг», член литобъединения «Перевал». В 1935 году арестован органами НКВД. Умер в больнице Бутырской тюрьмы.

но и ему, несмотря на большие связи в среде большевиков, сделать это не удалось. Борьба страстей, развернувшаяся вокруг книги «О русском крестьянстве», была крайне неприятна Горькому. Он хотел высказаться, осмыслить в привычной для него форме литературной публицистики один из самых сложных вопросов русской революции — вопрос о крестьянстве, а книгу расценили как политическую позицию, причем в обоих лагерях по-своему. Писатель ехал за границу с совсем иными намерениями: подлечиться, начать наконец работать над давно задуманным романом*, а эмиграция пыталась втянуть его в полемику и с собой, и с Москвой.

Отголоском этой полемики является письмо Горького издателю З. И. Гржебину, которому незадолго до этого он помог выехать из России (Горький писал по этому поводу Ленину). В Берлине З. И. Гржебин сразу же занялся привычным делом, и вскоре его издательство стало играть важную роль в культурной жизни русского зарубежья. Помещаемое ниже письмо находится в архиве уже не раз упоминавшегося здесь Б. И. Николаевского:

«Зиновий Исаевич.

Я получил от Кочаровского** письмо, в котором он извещает о своем отказе сотрудничать в редактируемой мною «Летописи». Письмо длинное, отказ подробно мотивирован ссылками на мое «народозлобие», на незнание мною русского крестьянства и «объективный великий вред», наносимый мною народу. В заключение говорится, что я действую как враг русского народа.

Уже не первое письмо такого содержания получаю я и надеюсь получить еще немало — после опубликования моей книги.

Я думаю — я уверен, — что отношение ко мне, вызванное моими взглядами на крестьянство, будет усиливаться и, несомненно, повредит делу «Летописи» — делу очень ценному.

* Этот замысел Горького был в конце концов осуществлен, и в 1925 году, еще будучи за границей, он завершит и опубликует роман «Дело Артамоновых».

** Кочаровский Карл-Август Романович (1870—?) — народовец, экономист, знаток аграрного положения России, регулярно помещал статьи в изданиях социалистов-революционеров. Автор книги «Русская община». После революции — эмигрант. Издавал в Риме газету. В 20-х годах, к которым относится письмо, жил в Праге, работал в Институте изучения России.

Поэтому я еще раз настоятельно предлагаю членам редакции «Летописи» вычеркнуть мое имя из состава редакционной коллегии.

Надо согласиться, что делу это не повредит, а только поможет его росту, — и я прошу удовлетворить просьбу мою.

1.XI.1922

*А. Пешков*²⁹.

Полемика, вызванная появлением книги, охватила всю европейскую эмиграцию. Острые споры велись в парижских, берлинских, пражских эмигрантских газетах. Парадокс состоял в том, что многие оппоненты Горького, упрекая его в «народозлобии» и «крестьяноедстве», в азарте спора выдвигали как аргумент новый политический курс Москвы с начала нэпа по отношению к крестьянству.

Так, журнал «Воля России», выходящий в Праге, писал в 1922 году: «Теперь народная самостоятельность вырывается на простор в область экономическую и культурную, теперь слагается демократия не только формальная, представительная, но подлинная, прямая, и не только политическая, но и демократия экономическая и культурная»³⁰.

Накал эмигрантских страстей вокруг книги о крестьянстве огорчал Горького. Его имя постоянно фигурировало в эмигрантской прессе, точно он был уже частью русского зарубежья. Это было не совсем так. Его пронизательности, жизненного опыта доставало для того, чтобы, окунувшись в эмигрантскую жизнь Берлина, понять, где творится истинная история, а где мерцают ее отблески. Уже в начале июня 1922 года Горький переезжает из Берлина в местечко Герингсдорф на Балтийском побережье, что резко сокращает его встречи с эмиграцией. Последующий его переезд в Чехословакию, а потом в Италию сводит его связи с эмиграцией к минимуму.

К этому времени, к 1923 году, следует, судя по всему, отнести и политическое размежевание Горького со многими своими друзьями по эмиграции, в том числе с Б. И. Николаевским. Об этом в одном из своих писем вспоминает сам Борис Иванович. Горький написал весьма лестный отзыв о его рукописи о Евно Азефе — «История одного предателя»³¹, а затем и предисловие к книге. Когда дело дошло до издания, Николаевский, будучи человеком в высшей степени принципиальным, воспользоваться добрым отзывом писателя не захотел, «так как политически разошелся с Горьким».

Коль скоро настоящей работой автор по мере сил пытается восполнить некоторые пробелы, образовавшиеся в силу известных причин в нашей истории, то, думается, уместно будет несколько подробнее рассказать о человеке, благодаря подвижническому труду которого по собирательству документов русской эмиграции оказалось возможным привести многие из писем А. М. Горького, публикуемых в нашей стране впервые. Речь пойдет о Борисе Ивановиче Николаевском. Он был меньшевиком, сидел после революции в Бутырках, был выслан из России. Активной политической деятельностью за границей не занимался, вероятно, поняв бесперспективность попыток «поправить» Россию из-за границы. Пробовал он заниматься литературной деятельностью, писал литературные обзоры, в частности обзоры литературной жизни в России, для журнала «Новая русская книга». Здесь и обнаружилось его истинное призвание архивариуса, точнее сказать, архивариуса революции и социалистического движения. Надо сказать, что этому способствовали два обстоятельства: первое — то, что Б. И. Николаевский был историком, и второе — более «техническое», но не менее важное — его знакомство с издателем «Новой русской книги» Александром Семеновичем Яценко.

В момент приезда Николаевского в Берлин ему было 34 года. Был он высок, а после отсидки в Бутырской тюрьме и худ. По свидетельству хорошо знавшего его Романа Гуля, он был похож на тип русского интеллигента, изображенного И. Репиным на картине «Не ждали». Иными словами, это был внешне типичный представитель русской разночинной интеллигенции. Да и происхождение его было весьма характерно для этого типа революционера: родом он был из семьи священника. В Берлине на вольных харчах он превратился в крупного, высокого роста мужчину, на которого заглядывались на улице молоденькие немки. Не обошлось и без бородки — типично русской, интеллигентской.

В этот период русскому социалисту в Берлине было найти работу не столь уж сложно. Социал-демократическая партия Германии в это время была правящей, в Берлине издавалось множество социал-демократических газет, газеток, журнальчиков. Не было особых трудностей и в создании русского эмигрантского журнала. И меньшевики, оглядевшись, начали издавать «Социалистический вестник», ставший, по сути дела, центром политической жизни изгнанных из России меньшевиков. В этом журнале и стал

сотрудничать Б. И. Николаевский. Кстати, меньшевики, оказавшиеся в Берлине, оформились в «заграничную делегацию» партии социал-демократов, этим названием подчеркивая, что основные силы меньшевиков, их массовая опора остались в России.

Русские социал-демократы довольно мирно существовали в Берлине до прихода к власти фашистов. 1 февраля 1933 г. Гитлер распустил рейхстаг, а «чрезвычайный комиссар» прусского министерства иностранных дел Герман Геринг стал активно теснить германские демократические партии — вначале коммунистов, потом социалистов. 3 марта молодчики Гитлера арестовали вождя немецких коммунистов Эрнста Тельмана, а через три дня запретили «Рейхсбаннер», военизированную организацию социал-демократов. К концу марта 1933 года в Германии были запрещены практически все левые организации. «Очистительные» эти меры были приняты гитлеровцами на основании вытянутого из одряхлевшего президента республики Гинденбурга чрезвычайного закона «Об охране народа и государства»³².

С «очистительными мерами» русские социал-демократы хорошо познакомились еще в России и быстро поняли, что несет с собой фашистская «чрезвычайка». Не желая еще раз испытывать судьбу, они стали растекаться из Германии по другим странам — главным образом во Францию и США.

Русские эмигранты вообще бежали от фашистов, как от чумы. Один за другим закрывались русские журналы, газеты, рестораны, библиотеки, кафе. В начале 20-х годов в Германии жили 600 тыс. русских эмигрантов — больше, чем в «столице эмиграции» Париже. После прихода фашистов их осталось менее 50 тыс.

...Однако сотрудничество в «Социалистическом вестнике» не могло удовлетворить Б. И. Николаевского. К тому же там было слишком много живой политики, а его влекла история. Он точно бы уже понял, что все, что он успеет собрать сегодня, через несколько десятков лет превратится в историю и история эта поможет лучше понять то, что произошло с русской социал-демократией. И он пришел к А. С. Яценко проситься в журнал. Но Б. И. Николаевского интересовало не сотрудничество — обзоры художественной литературы, которые ему поручил делать А. С. Яценко, у него не ладились. В «Новой русской книге» Никола-

евского привлекала не публицистика, а совсем другое. Дело в том, что в журнал со всего русского рассеяния из всех уголков мира стекались русские газеты и журналы, которые были заинтересованы «мелькнуть» в библиографическом издании Яценко. В первый период эмиграции, когда она была особенно активной, выходило несколько сотен изданий³³.

Редакция «Новой русской книги» была буквально завалена журналами, книгами, газетами, рукописями. Время от времени, когда сотрудникам было уже негде сидеть и связки газет лежали горами даже в коридорах, их выбрасывали. У редакции просто не хватало рук для того, чтобы просмотреть, а тем более обработать всю эту массу русских публикаций. И все были несказанно рады, когда обнаружили, что новый сотрудник, вначале стесняясь, а потом при всеобщем ироническом поощрении стал уносить всю эту макулатуру к себе в берлогу. Никто не мог понять, для чего нужны ему все эти вороха газет и журналов, на что их можно еще употребить, как не на растопку печки. Только с годами стало ясно, что в результате кропотливого, подвижнического труда Борис Иванович «из ничего» создал один из лучших архивов русской эмиграции. Там было все: люди, события, большие и мелкие страсти, скандалы. Там была история. Уезжая в Париж, Б. И. Николаевский увозил с собой настоящие сокровища русской памяти. К сожалению, об архиве Николаевского знали и широко пользовались им не только друзья — политики, историки, писатели. Когда фашисты вошли в Париж, они наряду с арестами русских эмигрантов арестовали и архив Николаевского, вероятно, рассчитывая воспользоваться им в своих целях. Продвижение немцев к Парижу и вступление во французскую столицу были столь стремительными, французы так упорно и чуть ли не до последних дней питали иллюзию, что «Париж не будет сдан», что Николаевский не успел ни вывезти, ни спрятать архив. Да было бы и невозможно вывезти огромное количество бумаг, когда уже не было ни транспорта, ни бензина, когда население охватила паника и по дорогам на десятки километров выстраивались обозы беженцев в «свободную зону».

Николаевскому удалось увезти лишь небольшую часть документов, которую он зарыл в безопасном месте. Эта часть архива сохранилась и находится теперь в библиотеке Гуверовского института в Калифорнии. После войны, как только стало возможным гражданское сообщение, Борис Иванович ринулся в Германию в надежде разыскать свои

сокровища. Но, увы, так ничего и не нашел. По некоторым свидетельствам, большая часть архива Николаевского погибла при бомбежках Германии союзниками. На основе оставшегося архива уже написана масса книг, в частности надежно документированные книги Р. Гуля об Азефе, Бакунине, Дзержинском, Тухачевском.

Разумеется, это лишь предположение, но, зная страсть Б. Николаевского к собиранию, можно высказать догадку, что и посредником в переговорах между Мартовым и Горьким, а потом в сношениях с Анатолом Франсом Борис Иванович согласился стать в надежде заполучить ценные материалы для своего архива. И ведь заполучил!

В архиве Николаевского письмо Горького Анатолю Франсу сохранилось в автографе писателя, поскольку русский текст А. Франсу не отправляли, а послали перевод на французский. А письмо М. Горького А. И. Рыкову было тщательно скопировано Б. Николаевским и таким образом тоже стало его добычей и попало в архив.

Но вернемся к событиям тех дней. Письмо А. М. Горького к давней своей, еще по Нижнему Новгороду, знакомой Е. Д. Кусковой, вместе с которой он работал во Всероссийском комитете, является одной из последних вех в разрыве писателя с эмиграцией. Письмо датировано 22 января 1929 г.

Эмиграция уже упрекает его в отходе от прежних идей, в нежелании протестовать, как он не раз делал прежде, против того, что происходит в России. Горький отвечает:

«Вы, уважаемая Екатерина Дмитриевна, упрекаете меня в грубости отношения моего к эмиграции и односторонности освещения мною русской действительности. Искренно говорю, кроме вас, я никому на эти упреки отвечать не стал бы, да и вам отвечаю не потому, что хочу «оправдаться», а потому, что у меня к вам есть определенное отношение, началом которого служит моя первая встреча с вами летом 1893 года, в Нижнем, когда вы, больная, жили в Вознесенском переулке.

О грубости говорить не стану: это, очевидно, свойство моей натуры... Мне кажется, что людям вашего типа следовало бы обращать внимание не на мою грубость, а на совершенно изумительную циническую грубость эмигрантской прессы. На ее поражающую лживость. И вообще на понимание ею моральной грамотности.

Односторонность? Но ведь вы, в письме вашем, тоже односторонни — и как еще! Между нами тут есть, разумеется, существенное различие: у вас есть привычка не молчать о

явлениях, которые вас возмущают, я же не только считаю себя вправе и могу молчать о них, но даже отношу это умение к числу моих достоинств. Это — аморально? Пусть будет так. Но не считайте это парадоксом или вообще какой-то словесной уловкой...»³⁴.

«Существенное различие», о котором говорит Горький Кусковой, состояло в том, что эмиграция со своей моралью и нормами, вынесенными из пореволюционной России, не могла понять и не хотела принять ту реальность, которую Горький увидел, побывав в стране в 1928 году, уже при Сталине. Было бы наивным предполагать, что Горький ничего не увидел и не понял в сталинской России, что он дал Сталину ослепить себя достижениями социализма. Приехав после долгого перерыва в Россию, Горький видел не только новые домны и каналы, он виделся с людьми, в том числе со старыми товарищами, которые, разумеется, не замедлили раскрыть ему глаза на то, о чем умалчивала официальная пресса.

Но его отличие от эмигрантов было в том, что он больше не хотел и не мог жить без России, тогда как эмиграция, по мере того как из страны поступало все больше сведений о судебных процессах и преследованиях, все решительнее отрезала себя от родины. Это была не вина. Это была беда. Горький вернулся из эмиграции не потому, что признал «правду Сталина» и отверг нравственную шкалу лучших людей эмиграции, а потому, что не мыслил себя без России. Он готов был принять ее такой, какой привела ее к 1928 году история.

Возвращение Горького в советскую Россию вызвало в эмиграции острую полемику. Не было ни одной эмигрантской газеты, которая не писала бы об этом.

Но, пожалуй, лучше других о возвращении писателя сказал другой великий человек, возвышавшийся, как и сам Горький, монбланом над эмигрантским безвременьем, — старинный его друг Федор Иванович Шалапин.

О смерти Горького он узнал на борту парохода «Нормандия», следовавшего из Нью-Йорка в Гавр. Когда унялись первые эмоции и высохли слезы, он продиктовал по радио в Париж в адрес возглавляемой Милюковым газеты «Последние новости» прощальную телеграмму, которая на следующий день появилась в печати. По сути дела, это был некролог, написанный одним великим художником о другом.

«Что бы мне ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения

знаю, что все его мысли, чувства, дела, заслуги, ошибки. — все это имело один-единственный корень — Волгу, великую русскую реку и ее стоны...

Если Горький шел вперед порывисто и уверенно, то это шел он к лучшему будущему для народа; а если он заблуждался, сбивался, может быть, с того пути, который другие считали правильным, это опять-таки шел он к той же цели... Когда я слышу о корысти Горького, о его роскошной жизни на виллах Капри и Сорренто, о его богатствах, — мне становится совестно. Я могу сказать, ибо очень хорошо это знаю, что Горький был один из тех людей, которые всегда без денег, сколько бы они ни зарабатывали и ни приобретали. Не на себя тратил он деньги, не любил денег и ими не интересовался. Нет, не корысть руководила Алексеем Максимовичем. Я говорил о его вечной боли за народ. Скажу о другой его страсти — о любви к России. Вот как этот вопрос встал между нами. Было это много, много лет позже. Российская буря разметала нас в разные стороны... Должен теперь сказать, что во время моего отъезда из России Горький мне сочувствовал: сам сказал — «тут, брат, тебе не место». Когда же мы, на этот раз в 1928 году, встретились в Риме, когда, по мнению моего друга, в России многое изменилось и оказалась возможность для меня (опять-таки по его мнению) работать³⁵, он мне говорил сурово: «А теперь тебе, Федор, надо ехать в Россию»... Честно скажу, что до сих пор не знаю, кто из нас был прав, но я знаю твердо, что это был голос любви и ко мне, и к России. В Горьком говорило глубокое сознание, что мы все принадлежим своей стране, своему народу и что мы должны быть с ним не только морально — как я иногда себя утешаю, — но и физически, всеми шрамами, всеми затвердениями и всеми горбами»³⁶.

После окончательного возвращения Горького в Россию эмиграция обрушила на него лавину упреков. Его обвиняли в слиянии с режимом, говорили, что Буревестник революции, поселившись в Москве в бывшем особняке Рябушинского, оказался в золоченой сталинской клетке, что он позорно молчал во время начавшихся в Москве судебных процессов, что прославил рабский труд на строительстве Беломорско-Балтийского канала.

Горького на протяжении всей его жизни пытались залучить, а в случае неудачи — кляли политики: большевики, эсеры, меньшевики. Его с одинаковой страстью ругали и в Москве, и в Берлине, и в Париже. Ругали потому, что А. М. Горький не укладывался ни в одну из политических

схем. Он принадлежал не политикам, а народу. Именно это осознание, осознание принадлежности народу, а следовательно, и истории, вернуло его в переживающее глубокий нравственный кризис отечество.

Глава 7

COGITO, ERGO SUM*

Весной 1922 года в Берлине произошла одна из самых загадочных историй в жизни русской эмиграции. Выводить ее из событий этой же весны в Москве едва ли правомочно; во всяком случае, достаточных фактов у нас для этого нет. Но некое соотнесение, особенно в исторической перспективе, которая мне, пишущему эти очерки в 1988 году, доступна, напрашивается. Вспомним, во-первых, что весной 1922 года Сталин становится Генеральным секретарем, что 25 мая у Ленина случается первый удар и он на несколько месяцев, фактически до осени, становится неработоспособным. Вспомним, наконец, что в стране продолжал активно разворачиваться нэп, вызвавший наряду с быстрым возрождением экономической жизни и существенное смятение в умах большевиков, интеллигенции, рабочих. Одни видели в нем восстановление прежних, утраченных в эпоху «военного коммунизма» свобод, возвращение привычных форм демократии, другие — отступление от завоеваний революции, уступку буржуазии. В стране быстро возрождается интеллектуальная жизнь, приглушенная годами «военного коммунизма», потом страшным голодом 1921—1922 годов. Один за другим возникают новые журналы, альманахи, в которых авторами выступают люди, после революции оказавшиеся как бы на периферии политической жизни, — те, кого долгое время (а отчасти и до сих пор) было принято называть «представителями буржуазной интеллигенции». В стране, сталкиваясь и часто смешиваясь, дуют порожденные нэпом ветры надежд, иллюзий, разочарований.

Однако многим реверс нэпа был непонятен. Отталкивающие политику гражданского мира отказывались принять реалии «рыжего времени». Газеты той поры нередко сообщают о случаях самоубийств идейных коммунистов,

* Я мыслю, следовательно, существую (лат.).

воспринявших «отступление» как личную трагедию, как отказ от принципов революции. 20 мая 1922 г. «Правда» помещает некролог по случаю самоубийства 17-летнего комсомольца, не понявшего нового времени. Автор некролога пишет о юноше: «Часто приходилось от него слышать, что прежде всего надо быть коммунистом, а потом уже человеком».

Настороженное, часто острокритическое отношение к нэпу, во всяком случае, к внешним его проявлениям было свойственно не только большевикам и комсомольцам, но и части беспартийной интеллигенции. Свидетельством таких настроений может служить письмо К. И. Чуковского, опубликованное в берлинской газете «Руль» летом 1922 года: «...Нищих теперь множество. Но еще больше жирных, наглых и вульгарных богачей. Игорных притонов тысячи. Все кутят, все пьянствуют, живут вовсю. Стоило устраивать такую войну и такую революцию, чтобы вот этикие гниды пили, ели, плодились и чванились! Наряды у них ослепительные. Автомобили, лихачи. А книг никто не покупает. Самые лучшие книги гниют в магазинах. Этим новобогачам не до книг!»¹.

Весьма своеобразна в этот период идейная обстановка в стране. С одной стороны, «демократия», жесткую характеристику которой дал Г. Зиновьев на XI съезде партии: «...Мы имеем монополию легальности, мы отказали в политической свободе нашим противникам. Мы не даем легально существовать тем, кто претендует на соперничество с нами... Диктатура пролетариата, как говорит товарищ Ленин, есть очень жестокая вещь. Для того, чтобы обеспечить победу диктатуры пролетариата, нельзя обойтись без того, чтобы не переломать хребет всем противникам диктатуры»².

С другой — всплеск самодеятельной, неформальной культурной деятельности: философские диспуты и кружки, политические и идейные споры, взлет авангардистского искусства, широкие возможности для собраний интеллигенции, еще достаточно высокая степень университетских свобод. Разумеется, все это было лишь имитацией демократической жизни, поскольку к этому времени демократическая оппозиция — меньшевики и социалисты-революционеры — была полностью разгромлена, а ее лидеры оказались либо в тюрьме, либо за границей. Но даже и эти остаточные формы демократии и свобод, ожившие с началом нэпа, казались опасными: дорвавшийся до неограниченной власти административный аппарат усмотрел

в них угрозу единовластия. Именно на этот противоречивый период приходится «странная мера, которая потом уже не повторилась»³, — так охарактеризовал ее Н. Бердяев.

Речь идет о последовавшей в конце лета 1922 года высылке из советской России большой группы интеллигенции. Высылка эта имела двоякое воздействие: она существенно, если не сказать — решительно, обедняла философскую мысль, была началом развития того «единомыслия», которое, по всеобщему признанию, впоследствии привело к деградации не только общественных наук, но и, как производное, всей общественной жизни в стране. С другой стороны, высылка большой группы интеллигенции, занимавшей в дореволюционной России весьма видное место в науке и культуре, обогатила «русскую мысль» в эмиграции. Что касается изгнанных философов, о которых главным образом пойдет речь в этой главе, то их невольный переезд на Запад оказал существенное воздействие на эволюцию философских идей, в особенности экзистенциализма, в Западной Европе и через нее — в Америке. Вклад русских ученых в современную западную философию общепризнан и никем не оспаривается. О нем, этом вкладе, на Западе написаны тома. И можно только радоваться тому, что настало время, когда русские мыслители получают право вернуться в свое отечество если не физически — не «всеми шрамами и горбами», как это смог сделать А. М. Горький, — то своими мыслями, думами, своей «тяжкой о России», если воспользоваться выражением Г. Федотова⁴.

Но грустная эта «философская тяжба» началась, как ни странно, не в Москве, а в Берлине. Была ли она как-то связана с событиями в России или предвосхитила их «по наитию» — судить трудно. Да и не в этом дело. Суть в том, что удары по философии и в Москве, и в Берлине удивительно совпали по времени да и, пожалуй, по направлению.

Страсти разгорелись по поводу странного и труднообъяснимого поступка одного из обитателей русского Берлина — Евгения Германовича Лундберга.

Человек он был, что называется, на виду — известный в литературных кругах эмиграции переводчик, критик, отчасти даже с ореолом мыслителя, ибо еще с 900-х годов был связан с философским кружком «Христианское братство борьбы». Литературный Берлин знал Евгения Германовича еще и потому, что осенью 1920 года он основал в германской столице издательство «Скифы», а следователь-

но, мог давать некоторый гонорарный прикорм бедствующей эмигрантской литературной и околотитулярной братии. Я уже писал о том, что «братия» эта в Берлине 20-х годов была весьма многочисленной. Политически «Скифы» ориентировались на социалистов-революционеров, создавших в Берлине свою партийную «делегацию». Можно предположить, что Е. Г. Лундберг обладал весьма острым политическим чутьем, ибо по мере того, как в Москве все более обострялись отношения между эсерами и большевиками (берлинская печать была полна сообщений о готовившемся к лету 1922 г. процессе над эсерами), его отношения с проэсеровским издательством портились и наконец полностью разорвались. О симпатиях к Москве Е. Г. Лундберга свидетельствовали и его активное сотрудничество со «сменовеховской» газетой «Накануне», и тот немаловажный факт, что позднее он возглавил первое советское издательство в Берлине, носившее, правда, весьма странное название «Бюро иностранной науки и техники».

К моменту описываемой нами истории Е. Г. Лундбергу было 35 лет. Это был высокий, худой, хмурый человек, производивший на окружающих весьма странное впечатление — то ли алхимика, то ли изможденного поэта, то ли философа, так и не сумевшего найти философский камень и потому разочаровавшегося во всех и вся. И вместе с тем, где бы он ни появлялся, его личность вызывала интерес — не потому, что эмиграция ценила его литературно-критические труды, а потому, что на него падала тень его знаменитых попутчиков по «Христианскому братству борьбы» — А. Белого, П. Флоренского, С. Булгакова. Но более всего — Льва Шестова, известного философа-экзистенциалиста и писателя, в чье окружение он имел честь входить в 1906—1907 годах. «Хмурый юноша Лундберг, производивший над собой злые эксперименты: проникнув в лепрозорий, ел из одной посуды с прокаженными, потом в течение месяцев симулировал немоту, терпя все вытекающие отсюда последствия и унижения...»⁵ — так описывал Е. Г. Лундберга той поры в своих «Воспоминаниях» один из мемуаристов эмиграции Е. К. Герцык.

И вот неожиданно для всех по Берлину разнесся странный, показавшийся поначалу диким слух: Евгений Германович сжег изданную им самим брошюру Льва Шестова «Что такое русский большевизм». Сжег весь тираж. Это казалось тем более необъяснимым, что издателя и автора связывала многолетняя дружба.

Скандал выплеснулся на страницы эмигрантской печат-

ти. Лундберга обвиняли во всех смертных грехах, вплоть до того, что он был «агентом Москвы» и сжег брошюру, в которой философ говорил о бездуховности, а следовательно, и бесперспективности коммунизма, по приказу из большевистской столицы. Кое-кто из старых знакомых отказал Лундбергу от дома.

Экстравагантный поступок «хмурого юноши» трактовался в связи с другими событиями, потрясавшими берлинскую эмиграцию в этот беспокойный для «русского» Берлина 1922 год, — присоединением А. Н. Толстого к «сменовеховской», державшей нос по московскому ветру газете «Накануне», приездом и «агитацией» в пользу московских оттепелей Бориса Пильняка. В феврале на квартире у редактора берлинской русской газеты «Руль», бывшего кадета, члена Государственной думы, человека весьма заметного в Берлине — Иосифа Владимировича Гессена состоялся совместный творческий вечер (более, впрочем, похожий на дружескую литературную вечеринку) Б. Пильняка и А. Толстого. Еще несколько месяцев назад такая встреча — человека, приехавшего из Москвы, одного из лидеров молодой советской литературы, и эмигранта графа Толстого, совсем недавно клявшего большевиков, — казалась невероятной. Однако начало нэпа способствовало «сменовеховским» настроениям, литературная и духовная обстановка в Берлине быстро менялась. Рассказы Пильняка о новом поколении русских писателей, о «мужицкой волне» в литературе, о московских литературных битвах, всплеске идейных страстей вокруг вопросов культурной политики подтверждали мысли многих чутких эмигрантов о том, что главное и истинное движение жизни и культуры происходит в России.

Откликаясь на эти настроения эмиграции, журнал «Новая русская книга» писал: «Дума и тоска по «новой» России — у всех нас непрестанна. Или России не будет, или она пойдет новыми путями. Это стало почти всем ясно. Старая Россия рухнула не от напора новой молодой жизни, а от банкротства старого строя, от изгнивших основ и связей его; поэтому и революция наша не была здоровым и естественным переворотом растущего общества. Со дна, из самой глубины народной, поднялись грязь, муть и нечисть: в зверстве, во лжи, в нелепице и в невежестве свершилась наша печальная революция. Она не указала народу новых путей, как не искала этих путей и в старой России. Спасенья нет ни здесь, ни там. Какие-то иные дороги должны быть найдены для нашей политической,

общественной, экономической, религиозной и художественной жизни.

Мы жаждем обновления жизни. Отрекаемся от старого мира и взываем к жизни юной, здоровой и чистой. Выражением этой жизни должно быть новое искусство...»⁶.

Нэп всколыхнул не только советскую Россию, но и эмиграцию; она увидела в нем начало и тех не построенных еще мостов, по которым надеялась вернуться на родину.

В этом контексте в сожжении Е. Г. Лундбергом брошюры Л. Шестова «Что такое русский большевизм» можно углядеть стремление стряхнуть с себя чары духовного отвержения коммунизма. Это было экстравагантной формой «отречения» от мира эмигрантских догм.

В эмиграции каждый по-своему искал ту тропу, которая могла бы привести его в перспективе на родину. И если иногда эти поиски приводили к необъяснимым поступкам, это еще раз свидетельствует о трагическом, эмоционально гипертрофированном восприятии бытия, столь характерном для русской эмиграции.

Я уже упоминал о том, что эмиграции, жившей в узком мирке групповых интересов и конфликтов, свойственно было раздувать до невероятных размеров всякий скандал, особенно если он был связан с Россией. И в этом отношении всплеск страстей вокруг имени Лундберга был весьма типичным.

В течение нескольких месяцев эмигрантская пресса смаковала «скандальное аутодафе», печатая подчас самые невероятные сведения. Вот, к примеру, одна из телеграмм от собственного корреспондента берлинской газеты «Руль» в Ревеле: «Здесь получены сведения из Москвы, что сожжение г. Лундбергом книги Шестова заставило советскую власть обратить особое внимание на деятельность его. Берлинскому представительству предложено поставить г. Лундберга во главе наблюдения за поведением писателей и ученых, приезжающих из России и вообще находящихся за границей»⁷.

Возмущенный обвинением фактически в сотрудничестве с ОГПУ, Евгений Лундберг вынужден был дать через другую эмигрантскую газету — «Новый мир» — опровержение и даже хлопотать об устройстве «третьей суда». Отголоски этого запутанного дела долетели и до России, и петроградские «Литературные записки» поместили в июне 1922 года следующую короткую заметку — свидетельство того, что Е. Лундберг пытался привлечь в качестве защитников советскую литературную общественность:

«Редакцией «Литературных записок» получена от Евг. Лундберга копия переписки между проф. А. С. Яценко и редактором газеты «Руль» И. В. Гессеном по вопросу о привлечении Евг. Лундбергом И. Гессена к суду чести за помещение в газете «Руль» ряда заметок, порочащих имя Евг. Лундберга. Эта переписка по поводу не состоявшегося в конце концов суда чести была воспроизведена в берлинской газете «Накануне», имеющей значительное распространение в России»⁸.

Вопрос о суде отпал сам по себе в связи с тем, что Е. Г. Лундберг неожиданно выехал в Россию. Поспешность его отъезда вызвала в эмигрантских кругах Берлина новые толки, догадки и подозрения.

Газетная эта перебранка, впрочем, вскоре была забыта, ибо ее заслонило событие, всколыхнувшее всю русскую эмиграцию. В Берлин прибыла большая группа философов, ученых и профессоров Московского и Петроградского университетов, высланных в августе 1922 года из России.

История их высылки из большевистской России мало исследована не только у нас, но и за границей. Эмигрантская мемуаристика дает об их отъезде и прибытии в Берлин лишь самые скудные сведения. Сами изгнанники по причинам малообъяснимым (вероятнее всего, нравственного свойства), по сути дела, не оставили подробных свидетельств ни о своем изгнании, ни о перипетиях переезда в эмиграцию. И этим они резко отличались от многих других деятелей русской эмиграции, оставивших детальные воспоминания о своем исходе. Дело тут, видимо, в масштабе человека. Чем крупнее, значительнее личность, тем меньше она придает значения эпизодам собственной биографии, тем больше отдается общественному. В отличие от большинства эмигрантов, годами искавших свое маленькое место, переехавшие на Запад ученые сразу же включились в интеллектуальную жизнь. В культурном наследии эмиграции их труды занимают одно из самых заметных мест. Характерно и то, что, в отличие от писателей, известность которых фактически не выходила за круг эмиграции, работы русских философов получили в Западной Европе широкое распространение. Их знали не только в русских кварталах Берлина или Парижа — они сделались величинами мирового масштаба, а русская философская мысль благодаря их трудам стала частью философской культуры человечества.

Но летом 1922 года, когда «кандидаты» на изгнание только готовились к высылке, они еще не могли предви-

деть, как примет их Европа. Большинство из высланных не хотели покидать Россию, уезжали подневольно, под угрозой расстрела и на будущее свое смотрели как на тяжкое испытание, как на расплату за несогласие мыслить, как все...

Решение о высылке было неожиданным и продиктовано не совсем ясным зигзагом большевистской идеологической политики. Оно было тем более неожиданным, что условия нэпа позволяли надеяться на более активное сотрудничество советской власти с интеллигенцией. Казалось бы, для мирного сожительства создались более благоприятные условия. Активная оппозиция в лице меньшевиков и эсеров была окончательно разгромлена. Суд над лидерами социалистов-революционеров в июне—июле 1922 года и высылка лидеров эсеров и меньшевиков за границу ликвидировали оппозицию. С точки зрения политической целесообразности высылка группы интеллигентов представляется необъяснимой. За высылаемыми профессорами и философами не стояло никакой политической партии. Не были они и лидерами какого-либо движения. Они не были связаны ни с профсоюзными, ни с партийными, ни с молодежными организациями. В их деятельности не было никакой схемы, никакой стратегии. Лекции, беседы, диспуты на фоне удивительно активной культурной жизни той поры представлялись разрозненными, частными явлениями. Не существовало и сколько-нибудь осязаемого массового движения вокруг философов. Лекции их в Московском университете, проходившие, как правило, в Большой богословской (ныне Коммунистическая) аудитории, привлекали лишь несколько сотен студентов и «зрителей» из горожан. Отсутствие суда над изгоняемыми свидетельствовало о том, что за ними не было никакого состава преступления, который можно было бы вменить им в открытом процессе. Высылались без суда, в административном порядке, решением ГПУ.

Представляет интерес разъяснение, которое Лев Троцкий дал 30 августа 1922 г. американской журналистке Луизе Брайант: «Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых военных осложнений — а они, несмотря на наше миролюбие, не исключены — все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы вынуждены будем расстреливать их по законам войны. Вот почему мы

предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно»⁹.

В этом заявлении Троцкого имеются по крайней мере две передержки. Трудно себе представить, что советская Россия, вышедшая победительницей из гражданской войны, республика, которую не смогли сломить ни армии Врангеля, Деникина, Колчака, ни вмешательство Антанты, серьезно могла видеть в нескольких десятках интеллигентов «потенциальное оружие» в руках возможных интервентов. Да и сама интервенция в этот период, когда на Западе начинался процесс признания советской России, могла представляться реальностью разве что воспаленному воображению озлобленного эмигранта. Нужно немалое воображение и для того, чтобы представить группу русских философов-идеалистов в виде «политических агентов врага». Едва ли стоит сомневаться в том, что разъяснение Троцкого было предназначено скорее для внутреннего пользования. Это была попытка объяснить неординарный шаг правительства населению страны. Этим же, очевидно, продиктовано и стремление преуменьшить значение высылки, снизить ее уровень. Помещая 31 августа 1922 г. сообщение о высылке «наиболее активных контрреволюционных элементов из среды профессоров, врачей, агрономов, литераторов», газета «Правда» особо подчеркнула, что «среди высылаемых почти нет крупных имен».

Кто же был выслан? Среди изгнанных — ректор Московского университета профессор Новиков (зоолог); ректор Петроградского университета профессор Карсавин (философ); группа математиков во главе с деканом математического факультета МГУ профессором Стратоновым; экономисты — профессора Зворыкин, Бруцкус, Лодыженский, Прокопович; известные в стране кооператоры — Изюмов, Кудрявцев, Булатов; историки — Кизеветтер, Флоровский, Мякотин, Боголепов; социолог Питирим Сорокин; известные философы идеалистического направления — Бердяев, Франк, Вышеславцев, Ильин, Трубецкой, С. Булгаков.

В эмигрантской среде высылка вызвала двойную реакцию. С одной стороны — восторг, ибо эмиграция подкреплялась авторитетом ряда ученых с мировым именем; кроме того, эта мера подтверждала тезис об иррационализме большевиков, способствовала дискредитации советской власти. С другой стороны — крайнее удивление, ибо изгнание большей группы ученых никак не согласовывалось с политикой нэпа и контрастировало с ощутимыми послаб-

лениями в контроле над идеологической жизнью страны в сравнении с периодом «военного коммунизма». Достаточно сказать, что в 1922 году в стране действовало свыше 140 частных издательств. Причем их деятельность протекала вполне легально на основании соответствующего декрета от 12 декабря 1921 г.

Острое любопытство вызывал вопрос о том, какие силы стояли за высылкой. Часть высланных считала, что инициатором их изгнания являлся Лев Троцкий. Об этом писали в своих воспоминаниях и Михаил Осоргин, и Федор Степун. Такого же мнения придерживался и находившийся среди высланных известный публицист Ю. Айхенвальд.

Высылку группы русских интеллигентов следует рассматривать и в контексте острейшей идейной борьбы вокруг нэпа — борьбы, в которой В. И. Ленину нередко приходилось вести бой со сторонниками жесткой линии на продолжение политики методами «военного коммунизма».

Вина высылаемых была, естественно, не в том, что они представляли угрозу для советской власти, а в том, что они открыто заявляли о своем неприятии нравственных принципов коммунизма. Острие удара, таким образом, было направлено не столько против конкретных личностей, сколько против самого права на независимое мышление, на несогласие с навязываемой стране идеологией.

Эмиграция по понятным мотивам стремилась преувеличить ущерб, нанесенный этой мерой русской науке и культуре. Разумеется, ущерб нанесен был. Реальные его масштабы оценить, вероятно, невозможно. Смысл высылки состоял не столько в наказании несогласных, сколько в том, чтобы «предостеречь», а точнее сказать, запугать интеллигенцию. Статья в «Правде», появившаяся 31 августа 1922 г. и посвященная высылке, так и называлась: «Первое предостережение». Цели удалось достичь: интеллигенция была обречена на молчание, а затем, когда борьба за ленинское наследие закончилась победой Сталина, — и на постепенное вытеснение из общественной жизни страны. Высылка из России группы ученых явилась как бы рубежом между двумя политиками в отношении интеллигенции: стремлением Ленина собрать силы левой русской интеллигенции вокруг идеалов большевистской революции и политикой Сталина на отталкивание интеллигенции.

* * *

Интересны некоторые обстоятельства отъезда группы интеллигенции из России. Отношение к высылаемым было

достаточно терпимым и резко контрастирует с жестким подавлением «инакомыслия» в более поздние времена. Любопытные воспоминания об этом оставил Н. А. Бердяев в одной из своих книг, написанных в эмиграции, — «Самопознание. Опыт философской автобиографии».

Приводимый отрывок интересен тем, что он не является интерпретацией обстоятельств высылки, которые во множестве появились в 1922 году в эмигрантской прессе, а представляет собой свидетельство участника, человека, к тому же не склонного приукрашивать собственную роль или рядиться в тогу страдальца. Характерно, в частности, признание, что высылаемые уезжали хотя и не добровольно, но и не без видимого облегчения и даже хлопотали «об ускорении высылки».

«Не могу сказать, — вспоминает Н. Бердяев, — чтобы я подвергался особенным гонениям со стороны советской власти. Но я все-таки был арестован, сидел в Чека и Гепеу, хотя и недолго... Первый раз я был арестован в 20 г., в связи с делом так называемого «Тактического центра», к которому никакого прямого отношения я не имел. Но было арестовано много моих хороших знакомых. В результате был большой процесс, но я к нему привлечен не был. Однажды, когда я сидел во внутренней тюрьме Чека, в двенадцатом часу ночи меня пригласили на допрос. Меня вели через бесконечное число мрачных коридоров и лестниц. Наконец мы попали в коридор более чистый и светлый, с ковром, и вошли в большой кабинет, ярко освещенный, со шкурой белого медведя на полу. С левой стороны, около письменного стола, стоял неизвестный мне человек в военной форме, с красной звездой. Это был блондин с жидкой заостренной бородкой, с серыми мутными и меланхолическими глазами; в его внешности и манере было что-то мягкое, чувствовалась благовоспитанность и вежливость. Он попросил меня сесть и сказал: «Меня зовут Дзержинский». Это имя человека, создавшего Чека, считалось кровавым и приводило в ужас всю Россию. Я был единственным человеком среди многочисленных арестованных, которого допрашивал сам Дзержинский. Мой допрос носил торжественный характер; приехал Каменев присутствовать на допросе, был и заместитель председателя Чека — Менжинский, которого я немного знал в прошлом (я встречал его в Петербурге, он был тогда писателем, неудавшимся романистом). Очень выраженной чертой моего характера является то, что в катастрофические и опасные минуты жизни я никогда не чувствую

подавленности, не испытываю ни малейшего испуга, наоборот, испытываю подъем и склонен переходить в наступление. Тут, вероятно, сказывается моя военная кровь. Я решил на допросе не столько защищаться, сколько нападать, переведа весь разговор в идеологическую область. Я сказал Дзержинскому: «Имейте в виду, что я считаю соответствующим моему достоинству мыслителя прямо высказать то, что я думаю». Дзержинский мне ответил: «Мы этого и ждем от вас». Тогда я решил говорить ранее, чем мне будут задавать вопросы. Я говорил минут сорок пять, прочел целую лекцию. То, что я говорил, носило идеологический характер. Я старался объяснить, по каким религиозным, философским, моральным основаниям я являюсь противником коммунизма, вместе с тем я настаивал на том, что я человек не политический. Дзержинский слушал меня очень внимательно и лишь изредка вставлял свои замечания. Так, например, он сказал: «Можно быть материалистом в теории и идеалистом в жизни и, наоборот, идеалистом в теории и материалистом в жизни». После моей длинной речи, которая, как мне впоследствии сказали, понравилась Дзержинскому своей прямоотой, он все-таки задал мне несколько вопросов, связанных с людьми. Я твердо решил ничего не говорить о людях. Я имел уже опыт допросов в старом режиме...

По окончании допроса Дзержинский сказал мне: «Я вас сейчас освобожу, но вам нельзя будет уезжать из Москвы без разрешения». Потом он обратился к Менжинскому: «Сейчас поздно, а у нас процветает бандитизм, нельзя ли отвезти т. Бердяева домой на автомобиле?» Автомобиля не нашлось, но меня отвез с моими вещами солдат на мотоциклете...

Дзержинский произвел на меня впечатление человека вполне убежденного и искреннего. Думаю, что он не был плохим человеком и даже по природе не был человеком жестоким. Это был фанатик...»¹⁰.

Летом 1922 года Бердяева арестовывают повторно. Его продержали в тюрьме около недели, после чего следователь заявил ему, что он высылается из советской России за границу. Философа, как, впрочем, и других высылаемых, предупредили, что в случае несанкционированного возвращения они могут быть расстреляны.

«Высылалась за границу целая группа писателей, ученых, общественных деятелей, которых признали безнадежными в смысле обращения в коммунистическую веру, — вспоминает Н. А. Бердяев. — Это была странная мера,

которая потом уже не повторялась. Я был выслан из своей родины не по политическим, а по идеологическим причинам. Когда мне сказали, что меня высылают, у меня выдалась тоска. Я не хотел эмигрировать, у меня было отталкивание от эмиграции, с которой я не хотел слиться. Но вместе с тем было чувство, что я попаду в более свободный мир и смогу дышать более свободным воздухом... В отъезде было для меня много мучительного, приходилось расставаться со многими и многими, и впереди была неизвестность. Но мне предстоял еще длинный и интересный путь на Западе и очень творческая для меня эпоха. В моей высылке я почувствовал что-то providенциальное. То было свершение моей судьбы»¹¹.

Путь русских писателей, ученых, высланных в 1922 году из советской России, не был усыпан розами, хотя они и не претерпели тех бедствий и лишений, той драмы полунического существования, которую испытывали на себе десятки тысяч эмигрантов, не имевших громких имен. Их драма была в другом. Россия конца XIX — начала XX века была одним из крупнейших центров мировой культуры и мысли. Престиж русской культуры был необыкновенно высок отчасти благодаря всемирному признанию русской литературы. Большинство выехавших из России в той или иной степени были духовными детьми и преемниками Толстого, Достоевского, Гоголя, Чехова, Короленко. Русские университеты являлись мощными генераторами идей, и профессора Московского и Петербургского университетов были хорошо известны в Западной Европе. Оказавшись за границей, они смогли найти применение своим знаниям. Большинство профессоров продолжили преподавательскую работу либо в учебных заведениях славянских стран, где влияние русской культуры было особенно сильно, либо в созданных в эмиграции многочисленных «университетах» и школах. Многие были приглашены преподавать в известные европейские университеты.

Для «изгнанников идеи» вопрос, таким образом, стоял не о куске хлеба, не о зарплате, хотя материальный статус профессуры в дореволюционной России был очень высок и, оказавшись за границей, русские профессора жили весьма и весьма скромно. Но не это тяготило высланных, тем более что за годы с начала революции они прошли самую суровую школу лишений и многие ученые погибли, не вынеся испытаний голодом и холодом.

Один из исследователей истории Академии наук

И. Вознесенский¹², выделяя три трагических периода в жизни академии — 1918—1923, 1929—1931 и 1936—1938 годы, — отмечает, что особенность первого периода состояла в том, что ученые умирали от голода. Автор ссылается на некрологи, публиковавшиеся в то время в «Известиях Российской Академии наук». Так, сообщая о смерти историка А. С. Лаппо-Данилевского в феврале 1919 года, «Известия» отмечают, что «с конца мая 1918 года это уже седьмая жертва, вырванная смертью из среды действительных членов Академии»*. Умерли основатель гидро- и аэродинамики В. А. Жуковский, известный востоковед Б. А. Тураев, крупнейший математик А. М. Ляпунов, известнейший языковед А. А. Шахматов и многие другие. В. И. Ленину приходилось лично хлопотать о том, чтобы спасти и создать условия для работы единственному русскому лауреату Нобелевской премии тех лет академику И. П. Павлову.

Лишения для русских ученых, отнесенных после революции к третьей категории довольствия, были, таким образом, делом привычным. И условия быта на Западе в сравнении с российскими были неизмеримо привлекательнее. Тем не менее большинство уехавших остро переживали расставание с отечеством. Причина была не только в естественном чувстве тоски по родине. Это была тоска по масштабу интеллектуальной жизни России, по сравнению с которой Западная Европа той поры вполне могла показаться провинцией. В этом отношении интересно письмо профессора-правоведа Н. Н. Алексеева, оказавшегося после эвакуации из Крыма в Константинополе, а затем в Праге. Он преподавал государственное право в Московском университете и в Московском коммерческом институте. В эмиграции он читал лекции в основанном П. И. Новгородцевым ** Русском юридическом факультете в Праге.

В ноябре 1921 года, спрашивая о возможности перебраться в Берлин, Алексей пишет своему знакомому: «...Не могу сказать, чтобы первые чешские впечатления были вполне отрадны. Я не говорю уже о том, что все здешнее предприятие не представляется сколько-нибудь прочным, — с этим можно было бы мириться, теперь все в мире непрочно. Меня пугает чрезвычайная скука и ску-

* В то время в Академии наук насчитывалось немногим более 40 академиков.

** Новгородцев П. И. (1866—1924) — выдающийся русский ученый-юрист.

доть здешней жизни, ее невероятная провинциальность и патриархальность...»¹³.

* * *

Высланные из России философы встретили в эмиграции весьма противоречивый прием. Демократическая, левая часть эмиграции приняла их с распростертыми объятиями, как своих, надеясь, что их приезд будет способствовать общему развитию культурной жизни русского зарубежья. Правая, контрреволюционная часть эмиграции ничего, кроме враждебности, к гонимым философам не испытывала. Они не нужны были правым в дореволюционной России, не было в них нужды и в эмиграции. Тем более что фактически сразу же стало ясно, что философы крайне отрицательно относятся ко всякого рода попыткам «поправить» Россию и «наказать» большевиков посредством интервенции или какой-либо другой формы вооруженного вмешательства.

Правда, была предпринята одна-единственная попытка помирить русских философов с белым движением эмиграции. Произошло это в Берлине на квартире у Бердяева. «Депутацию» эмигрантов, пришедших выяснить отношения, возглавлял Петр Струве. Встреча закончилась скандалом и полным разрывом Н. Бердяева с П. Струве, с которым у него было давнее знакомство.

«Я был в ярости, — вспоминает Н. А. Бердяев, — и так кричал, что хозяйка квартиры заявила, что вызовет полицию. Я относился совершенно отрицательно к свержению большевизма путем интервенции. В белое движение я не верил и не имел к нему симпатии. Это движение представлялось мне безвозвратно ушедшим в прошлое, лишенным всякого значения и даже вредным. Я уповал лишь на внутреннее преодоление большевизма»¹⁴.

Столкновение с эмиграцией довольно быстро убедило русских философов, что правое крыло зарубежья не терпит свободы и если и ненавидит большевиков, то вовсе не за то, что те ограничили в России личные права.

Бердяева отталкивала и маниакальная склонность правой части эмиграции видеть в каждом, кто не согласен с их мнением, чуть ли не агента большевиков. Правоэмигрантские газеты, кстати, не постеснялись на своих страницах писать даже о том, что высланные ученые подосланы большевиками для разложения эмиграции. Вскоре после приезда в Берлин Н. А. Бердяев начал проповедовать мысль о том, что западным правительствам следует

формально признать советскую власть, прекратить политический карантин России. Включение большевистской России в мировую жизнь и мировую политику, считал он, будет содействовать смягчению «дурных сторон большевизма». Такого рода заявления мыслителя вызвали злобные нападки со стороны правой прессы. Впрочем, этими заявлениями шокированы были и представители левой эмиграции.

Таким образом, группа вновь прибывших в Германию оказалась в довольно изолированном положении. Они жили как бы в стороне от основной массы эмигрантов. С большим интересом и благожелательностью отнеслись к приехавшим германское правительство и немецкая общественность. Благожелательность властей помогла группе высланных профессоров основать в Берлине вначале Русский научный институт, где читались лекции по истории русской мысли, а затем и Русскую религиозно-философскую академию, которой суждено было сыграть заметную роль в интеллектуальной и нравственной жизни русской эмиграции. Позднее она была переведена в Париж.

Русская религиозно-философская академия, созданная по инициативе Н. А. Бердяева, стала как бы преемницей российской Вольной академии духовной культуры и религиозно-философских обществ, которые были весьма активны в Москве и Петрограде в 1921—1922 годах. Правда, вскоре после высылки русских философов они захирели и прекратили свое существование.

Разумеется, название «академия» для условий эмиграции было чересчур помпезным, но приехавшим из России профессорам хотелось этим именем обозначить преемственность своей духовной работы, и название в конце концов привилось. По сути дела, это были курсы лекций, без какой-либо жесткой организационной структуры и программ. Материальную помощь академии оказывал Христианский союз молодых людей (ИМКА).

Помимо лекций академия раз в месяц устраивала публичные доклады с прениями, которые сплошь и рядом заканчивались яростными спорами. Одним из мучительных наблюдений, вынесенных Н. Бердяевым из этих встреч и дискуссий, было «страшное понижение умственных интересов, уровня культуры, элементарность, отсутствие всякой проблематики у большей части молодежи»¹⁵. Это наблюдение стало одним из стимулов в деятельности академии, ставившей перед собой — чем дальше, тем больше — просветительские цели.

Интерес представляет встреча в Берлине Н. А. Бердя-

ева с О. Шпенглером, известным немецким философом, автором «Заката Европы» — книги, имевшей в России сенсационный успех и ставшей в известной мере философским водоразделом между большевиками и сторонниками других идеологий. В 1922 году в Москве в издательстве «Берег» вышел сборник статей «Оскар Шпенглер и закат Европы», в котором приняли участие Н. Бердяев, Я. Букшпан, Ф. Степун, С. Франк. Прочитав сборник, В. И. Ленин пишет: «О прилагаемой книге я хотел поговорить с Уншлихтом. По-моему, это похоже на "литературное прикрытие белогвардейской организации"»¹⁶.

Интересно, что встреча в Берлине с философом, который в России казался чуть ли не пророком, совершенно не произвела впечатления на Бердяева. То, что в России казалось важным и глубоким, при ближайшем рассмотрении обернулось малозначимым. В последующие годы Бердяев больше не встречался со Шпенглером и не поддерживал с ним никаких отношений. Их философские пути полностью разошлись: Бердяев шел сложным путем — от полного отрицания коммунизма к пониманию его политических истоков, тогда как Шпенглер в 20-х годах начал широко выступать с консервативных и даже националистических позиций, близких к фашизму*.

В Берлине, чередуя лекторскую и литературную работу, Н. А. Бердяев написал свою первую эмигрантскую книгу «Новое средневековье». Переведенная на 14 языков, она принесла ему широкую европейскую известность.

Столкнувшись с философской мыслью Западной Европы, Бердяев смог по-новому оценить и масштаб тех исторических процессов, которые проходили в России. Опыт двух русских революций помог ему яснее увидеть кризис европейского сознания и европейской морали. Отвечая на вопрос, с какими мыслями он приехал на Запад, Бердяев составил целый перечень исторических и философских концепций, которые, в сущности, и стали предметом его исследований в последующие годы.

«Я принес с собой мысли, рожденные в катастрофе русской революции, о конечности и запредельности русского коммунизма, поставившего проблему, не решенную христианством. Принес с собой сознание кризиса исторического христианства. Принес сознание конфликта личности и мировой гармонии, индивидуального и общего,

* В 1933 году О. Шпенглер тем не менее не принял предложения нацистов о сотрудничестве и в фашистской Германии подвергался гонениям.

неразрешимого в пределах истории. Принес также русскую критику рационализма, изначальную русскую экзистенциальность мышления. Наряду с горьким и довольно пессимистическим чувством истории во мне осталось упование на наступление новой творческой эпохи в христианстве... Я принес с собой также своеобразный русский анархизм на религиозной почве, отрицание религиозного смысла принципа власти и верховной ценности государства...»¹⁷.

Приезд большой группы русских философов вначале в Берлин, а затем в Париж имел важное значение для духовной жизни русской эмиграции. Если старшее поколение в моральном отношении могло довольствоваться русской церковью, которая после первых лет смятения и неустойчивости начала постепенно организовывать духовную жизнь эмигрантской паствы, то наиболее активная и молодая часть эмиграции, разумеется, не хотела довольствоваться традиционной церковной службой. Между тем потребность отвлечься от мелкой, засасывающей в обывательскую трясиину жизни, потребность в духовном и культурном общении была очень большой. Общение эмиграции с русскими философами, посещение их лекций, диспутов и бесед вскоре сделались составной частью общей культурной жизни. Эмигрантов притягивал особый мир русской философии, которая, в отличие от западной, стояла ближе к реальной жизни, была, если можно так сказать, более бытовой и, с другой стороны, более политизированной. Вспоминая о встречах с Бердяевым, эмигрантский писатель младшего поколения, сформировавшегося уже в эмиграции, Василий Семенович Яновский писал: «От Бердяева я унаследовал только одну ценную мысль социального порядка. От него я впервые услышал, что нельзя прийти к голодающему и рассказывать ему о Святом Духе: это было бы преступлением против Святого Духа. Такая простая истина указала мне путь к внутренней реформе. Я понял, что можно участвовать в литургии и тут же активно стремиться к улучшению всеобщего страхования от болезней... За это скромное наследство я прощаю Бердяеву его «новое средневековье», мессианизм, особенности «национальной души» и прочий опасный бред»¹⁸.

Бердяев оказался одним из самых плодovitых писателей русской эмиграции. За годы изгнания он издал десятки книг и написал сотни полемических статей. Большинство его книг переведено на иностранные языки. Среди наиболее известных трудов — «Мирозерцание Достоев-

ского», «Смысл истории», «Философия неравенства», «Новое средневековье», «Христианство и классовая борьба», «Философия свободного духа», «О назначении человека», «Судьба человека в современном мире», «Самопознание», «О рабстве и свободе», «Смысл творчества», «Типы религиозной мысли в России» и др.

Привлекательность книг Бердяева, причина их большой популярности — в тесной связи философских размышлений писателя с историей России, русской культурой, русской нравственностью и русской мыслью. Почти в каждой из его книг находят отражение силы, страсти, духи и бесы русских революций. Вот почему выход каждой новой книги философа сопровождался в эмиграции бурными спорами. Положение Бердяева в эмигрантской среде было неоднозначным, спорным, зыбким. В лагере правых его считали чуть ли не большевиком, пропагандистом коммунизма. Среди левых, сторонников классической буржуазной демократии, раздражение вызывали резкая критика философом «формальной демократии», отрицание парламентаризма, обличение лживости буржуазных свобод и морали.

Метания Бердяева между Россией и Западом, между отталкиванием и притяжением большевизма вызывали гневливые окрики со стороны не только правых, но и собратьев по перу, философов. «Ослепший орел, облепленный советским патриотизмом», — заметил однажды о Бердяеве Г. П. Федотов.

В ценной работе справочного характера П. Е. Ковалевского «Зарубежная Россия» среди философов, активно работавших в эмиграции и внесших крупный вклад в развитие философских идей XX века, названы наряду с Николаем Александровичем Бердяевым Николай Онуфриевич Лосский (1870—1965), Семен Людвигович Франк (1877—1938), Василий Васильевич Зенковский (1881—1962), Лев Платонович Карсавин (1882—1952), Иван Александрович Ильин (1882—1954), Иван Иванович Лапшин (1870—1952), Лев Исаакович Шестов (1866—1938), Федор Августович Степун (1884—1965), Борис Петрович Вышеславцев (1877—1954).

Среди названных философов, большинство которых со временем обосновались в Париже, наиболее заметным был, безусловно, Н. А. Бердяев. И причина тут не только в публицистической притягательности его лекций (современники считали, что Лев Шестов обладал еще большим умением заечь аудиторию), а скорее в социальной активности философа. Бердяев, разумеется, не мог быть инициатором

всех культурных и просветительских начинаний эмиграции, но он принимал самое активное участие в большинстве из них. Можно только удивляться темпераменту этого человека. Просматривая интереснейший справочный труд «Культурная жизнь русской эмиграции во Франции. Хроника 1920—1930 гг.»¹⁹, на имя Бердяева наталкиваешься чуть ли не на каждой странице. Едва перебравшись в Париж, Бердяев с головой уходит в лекционную работу. Через несколько дней после своего приезда он уже участвует в собрании по вопросу об устройстве духовной академии в Париже. 9 ноября 1924 г. на открытии парижского отделения Русской религиозно-философской академии читает доклад на тему «Религиозный смысл мирового кризиса». 18 ноября открывает систематический курс лекций из истории русского религиозного и национального сознания. 1 декабря читает лекцию «История духовных течений в России». 13 декабря участвует в публичном диспуте о кризисе культуры. 22, 23, 28 декабря выступает с лекциями и докладами в Религиозно-философской академии. И так продолжается годами, по сути дела, до оккупации Парижа немцами, когда гонения фашистов на русскую эмиграцию сводят русскую культурную жизнь в Париже на нет.

Особенно большую аудиторию собирали лекции Бердяева о русской литературе и культуре. Он погружал слушателей в особенный, возвышенный и глубокий мир русских литературных героев с их извечным поиском истины, с их состраданием, поиском смысла жизни. Все эти темы были чрезвычайно близки особенно молодому поколению эмиграции, оказавшемуся при крутом выраже русской истории на обочине жизни. Молодой эмигрантский писатель В. С. Яновский писал:

«При внешнем взгляде на эмигрантскую массу поражала общая неосновательность, лживость, даже бесчестность, какая-то особая непрочность всего существования с нелепыми затеями и грандиозными проектами без достаточных фондов. Страх перед полицейским, неуверенность в собственных правах, просроченные документы, хлопоты о праве на жительство, о праве на труд...

Рядовые беженцы были затасканы, задержаны обстоятельствами до чрезвычайности. Процесс напоминал метаморфозу еврейского племени в изгнании. Предержащие власть, модные депутаты французские, патристические газетки сплошь и рядом обвиняли бывших штабс-капитанов, адвокатов, шоферов, академиков и их жен

в семи смертных грехах! Какой тут может быть спор: во всем виноваты sales métèques...»²⁰.

Русские философы говорили этим загнанным, униженным, растерянным людям о величии русской культуры, о русской истории, о силе русского духа. Это возвышало, придавало сил, воспитывало достоинство и веру. На лекции русских философов, писателей, мыслителей тянулась прежде всего эмигрантская интеллигентская молодежь, не желавшая, с одной стороны, растворяться в общей массе «грязных инородцев» и, с другой стороны, стать легкой добычей эмигрантских политических зазывал, каждый из которых тянул молодое поколение в свой угол.

В условиях резкого снижения культурного и нравственного уровня эмиграции русские философы были теми вершинами, которые своим сиянием давали возможность не потерять путь, не заблудиться в узких переулках «эмигрантщины». В отличие от опустившихся, растерянных эмигрантов, русские философы умели сохранять даже внешнее достоинство.

Чрезвычайно важным было общение с русскими философами для молодой писательской поросли. Специфика эмиграции состояла в том, что она при всем своем масштабе была все-таки ограничена количественно и известнейшие представители русской культуры, оказавшиеся вместе с другими в роли изгнанников, были здесь много доступнее, чем в России. Их можно было увидеть и услышать на лекциях, в русских клубах, прийти на квартиру, запросто встретить на улице в районах жительства русских. Они не были отгорожены от общей эмигрантской массы огромностью аудитории. В эмиграции все жили теснее, интимнее, ближе. В этом была своя грустная польза.

Молодые русские писатели бегали на философские лекции и диспуты не только потому, что это отвечало их культурным и нравственным потребностям, но и потому, что здесь они могли встретиться со своим редким читателем. Ведь, за исключением известнейших русских литераторов, сформировавшихся и получивших известность еще в России, основная масса эмигрантской литературной поросли была совершенно безвестна, почти анонимна. Первые книжки издавались ущербными тиражами — 200—300 экземпляров, чаще всего на сэкономленные на хлебе собственные эмигрантские гроши. Многолюдные собрания вокруг известных философов

* Грязные инородцы (франц.).

и писателей давали возможность увидеть эту потенциальную читательскую аудиторию.

Философ и темпераментный популяризатор, Н. А. Бердяев был необходим прежде всего для «среднего интеллигента» эмиграции, который ощущал себя наиболее потерянным на чужбине. Никому не нужный, он не мог вместе с тем довольствоваться чисто материальными, бытовыми интересами. Собственное творчество ему было недоступно да и практически немислимо в условиях «интеллектуального перенаселения» русского зарубежья, а жить вне культуры он не мог. И его ум и душа черпали силы в том светящемся поле русской мысли, которое создавали вокруг себя эмигрантские писатели и философы.

Глава 8

ПРОЩАНИЕ С БЕРЛИНОМ

Еще полны были русские пансионы в Берлине; еще собирал публику берлинский Дом искусств, созданный по образу и подобию петербургского; еще многолюдно бывало по вечерам у подъездов русских театров; еще приезжали из советской России гости — Пильняк, Есенин, Маяковский, Пастернак; Берлин еще помнил гастроли Александра Вертинского и бурю оваций после «И российскую горькую землю узнаю я на том берегу»; еще гремел знаменитый хор донских казаков под управлением Сергея Жарова, во время выступлений которого в маленьких немецких городках торговцы, как пишет в своих воспоминаниях Владимир Гессен¹, закрывали лавки из панического страха перед русскими казаками, чьи клинки немцы хорошо помнили по первой мировой войне; еще шумели до глубокой ночи русские рестораны: «Стрельня» с цыганским хором князя Голицына, «Тихий омут», «Медведь», где под перезвон семиструнных гитар можно было поесть борща с гречневой кашей, а в «Алаверды» бывшие юнкера наяривали на балалайках и шли под бубен вприсядку; еще в дешевых русских обжорках, где не было ни бубнов, ни гитар, ни красных сафьяновых сапожек, а запросто, как в каком-нибудь московском извозчиьем трактире, подавали жареный рубец с луком и случались под вечер пьяные драки с крепкой бранью и вызовом полиции; еще собиралась в кафе «Ландграф» русская культурная элита, куда любил заглянуть приезжавший в Берлин на лечение Алексей Иванович Рыков и очень обижался,

когда его никто не узнавал в лицо; еще вечером, когда слезящиеся берлинские фонари отбрасывали на брусчатку улиц желтоватые блики, можно было увидеть, как в свете матовых шаров выходил из подкатившего к концертному залу авто похожий на призрак Андрей Белый в черном жабо с желтой розой в петлице; еще ходили по одним и тем же «русским улицам» меньшевики, эсеры, монархисты, большевики, нахлынувшие в Берлин после установления дипломатических отношений с Германией; еще собирались по праздникам сотни людей в Свято-Владимирской церкви; еще в русском пансионе фрау Бец можно было встретить за обеденным столом личности редкостные, таинственные — ну, например, Александра Васильевича Герасимова², бывшего начальника вначале харьковского, а затем петербургского охранного отделения, человека, близкого к Столыпину, имевшего к тому же самое прямое отношение к знаменитому «делу Азефа»; еще вели бойкую торговлю русские книжные магазины...

Но конец «русского» Берлина был уже близок.

Осенью 1922 года разнесся слух, что митрополит Евлогий, управляющий Русской зарубежной церковью в Западной Европе, собирает чемоданы с намерением перебраться во Францию. Знатоки и памятливые люди тотчас вспомнили, что в октябре Евлогий действительно ездил в Париж, встретился там с бывшим русским послом во Франции В. А. Маклаковым и тот якобы уговаривал владыку перебраться в Париж. Вскоре слухи подтвердились. В конце декабря Евлогий сдал дела архимандриту Тихону и на одной из последних в 1922 году литургий слезно попрощался с русской паствой в Берлине. Новый, 1923 год митрополит Евлогий встречал уже в Париже.

Отъезд владыки из Берлина, прошедший для большинства рядовых обитателей русской колонии малозамеченным, был тем не менее символическим и полон смысла. Русская церковь, внимательно следившая за духовной жизнью эмиграции, чутко и раньше многих политиков уловила тенденцию — наметившееся в конце 1922 и обретшее к концу 1923 года характер повального переселения движение русской эмиграции из Берлина в Париж.

Внешне переселение обуславливалось чаще всего материальными соображениями — катастрофическим и неоднократным падением курса марки по сравнению с другими европейскими валютами, сложностями с устройством на работу, общей настороженностью отношения германского населения к огромной массе русских беженцев,

которые еще совсем недавно были противниками по мировой войне. Да и сам жизненный уклад немцев — с их пунктуальностью, аккуратностью, обывательской скукой, прусской дисциплинированностью — не был близок русским. Характерно, что браки между немцами и русскими были крайне редкими (в отличие от Франции), и это тоже подспудно свидетельствовало: нет, не приняла Германия близко к сердцу русского несчастья. Да и русские чувствовали себя чужими в Германии. Немцы и русские на протяжении нескольких лет терпимо жили рядом, практически не смешиваясь, и, когда пробил час, расстались без больших сожалений и взаимных упреков.

На самом же деле переселение русских из Берлина в Париж имело серьезную политическую подоплеку. Оно означало конец одного, в некотором роде «романтического», периода в жизни русской эмиграции и начало другого, длинного и тягостного периода, когда место надежд все чаще заступало отчаяние.

Берлинский период многие (если не большинство) эмигранты воспринимали как пересидку, как временное изгнание. Одни уповали на политический крах большевизма, другие — на экономическую катастрофу, третьи — на вмешательство иностранных держав, четвертые — на внутреннюю эволюцию «русского коммунизма». Все эти иллюзии питались сведениями и слухами, ежедневно поступающими из советской России. Голод 1921—1922 годов, крестьянские восстания в Сибири и на Тамбовщине, волнения и забастовки рабочих, «кронштадтский мятеж», упразднение Чрезвычайной комиссии и переход от чрезвычайных мер к судебному производству, отмена продразверстки, начало нэпа, высылка меньшевиков, суд над эсерами, болезнь Ленина, слухи о разладе среди коммунистов по вопросу о торговле и концессиях, аресты, расстрелы, освобождения, высылка видных деятелей культуры, возвращение в Россию ряда эмигрантов... — все это, выплескиваемое на распаленные головы беженцев, порождало то надежды, то разочарования.

Но к концу 1922 — началу 1923 года настроения разочарованности стали брать верх. Тягостное впечатление на берлинскую эмиграцию произвели разгон Всероссийского комитета помощи голодающим и арест многих из его участников. Вслед за этим разразился суд над эсерами, закончившийся тяжелым приговором. Об идеологическом ужесточении свидетельствовали и гонения на меньшевиков и внепартийную интеллигенцию.

С началом болезни, постепенным отходом от дел, а затем и со смертью Ленина завершился период гибкости и поиска новых путей, возможности компромиссов. Из России все чаще веяло холодом непререкаемых суждений. В советской прессе в отношении эмиграции все прочнее укореняется терминология неприятия, размежевания. Наступает эпоха разрушения и без того шатких мостов. Одни за другими закрываются в Берлине газеты и журналы, делавшие ставку на «сменовеховство», примирение, «возвращенчество». Позиции ужесточаются с обеих сторон. В этом отношении характерна и эволюция журнала «Новая русская книга», издаваемого А. С. Яценко. В период «наведения мостов» он старался избегать острой критики советской России, умело балансируя между «красным» и «белым» и предоставляя свои страницы авторам как из эмиграции, так и из России. Начиная с 1923 года в журнале заметно сокращается участие советских литераторов. Крах берлинского издательства Гржебина, делавшего ставку на советский рынок, прозвучал как предупредительный выстрел. Вслед за ним одно за другим стали закрываться более мелкие издательства. Осенью 1923 года закончил свои дни журнал «Новая русская книга», считавшийся своеобразным флюгером русской эмиграции. Формальная причина гибели журнала, бывшего в течение нескольких лет центром единения литературных сил эмиграции, — финансовая. И все же закрытие «Новой русской книги» было обусловлено не столько крахом издательского дела в Берлине³, сколько крушением идеологических иллюзий Яценко и его единомышленников, лелеявших идею «строительства мостов» между русским материком и эмигрантским архипелагом.

Ликвидации журнала предшествовал один случай, произведший на «русский» Берлин глубокое и тягостное впечатление и как бы ускоривший уже неминуемый, в сущности, разрыв между эмиграцией и советской Россией. Дело было связано с публикацией в журнале стихов М. Волошина о терроре.

...Шел январь 1923 года. День клонился к вечеру. Большинство сотрудников редакции «Новой русской книги» уже разошлись. Оставались А. С. Яценко и Р. Гуль. Их свидетельства и дают возможность восстановить этот эпизод.

В дверь робко позвонили. Потом послышались легкие шаги. На пороге стояла женщина — красивая, еще моло-

дая, по виду явно из интеллигентов. Ее манера держаться, одежда свидетельствовали о том, что она не здешняя, не эмигрантка, что приехала ОТТУДА.

— Простите, что я к вам без предупреждения, — проговорила посетительница. — Но я не знала вашего телефона. Кроме того, мне не хотелось откладывать...

«Нет, это не просительница, не поэтесса, пришедшая показать стихи», — соображал Яценко.

Лицо у женщины было спокойным, глаза смотрели строго и прямо.

— Вы сказали, что не хотели откладывать... Но вы, похоже, только приехали? Чем могу быть полезен?

Женщина едва заметно улыбнулась, точно желая показать, что понимает любезность, но что дело, по которому она пришла, требует совсем другого — очень строгого разговора.

— Я приехала из Крыма, — сказала она серьезно. Потом, чуть помедлив, добавила: — От Максимилиана Александровича...

— От Волошина? — воскликнул редактор⁴.

Стихи Максимилиана Волошина печатались во многих эмигрантских изданиях той поры — в левых, правых, социалистических, монархических. Сила волошинского таланта привлекала людей разных политических направлений, ибо поэт писал о вечности, любви, жизни и смерти, то есть о том, что одинаково для всех — белых и красных, победителей и побежденных. Неоднократно писал о Волошине в своем журнале и А. С. Яценко. Короткие заметки и сведения о нем часто появлялись в «Новой русской книге» в 1922 году. Как правило, это было всего несколько строк, дающих читателям знать, что известный поэт жив: «Максимилиан Александрович Волошин, по последним известиям, находится в чрезвычайно бедственном материальном положении в Крыму» (1922, № 1); «Максимилиан Александрович Волошин живет по-прежнему в Коктебеле, пишет большую поэму “Каинов цвет”» (1922, № 4); или уже совсем интимное: «Максимилиан Александрович Волошин полтора года болен ревматизмом и подагрой, не позволяющей покидать Феодосию» (1922, № 5).

В одном из номеров журнала в статье «Русская поэзия за последние три года» цитируются стихи Волошина «Китеж», «Заклятие о Русской земле», «Святая Русь». О самом поэте Яценко пишет: «Наиболее свободным

по духу поэтом оказался Максимилиан Волошин. Он один из немногих, еще во время войны, сумел остаться «au-dessus de la mêlée»*, что и доказал своим сборником «Anno mundi ardentis». Он не дал себя увлечь и революционным страстям и посмотрел на нашу революцию в перспективе всей нашей истории, знавшей не раз и не одно дикое поле, усеянное мертвыми костями. Не раз уже Русь блуждала в смутной мгле. И Волошин сумел сказать о нашей революции много мудрого словами стародавними, почти былинными. Самый стих его приобрел необыкновенную силу и часто словно вычеканен древнерусским мастером из дорогого металла⁵.

У нас нет точных сведений о том, были ли они дружны, поэт и издатель. Но вероятность их близкого знакомства, может быть, даже дружбы достаточно велика. Ее, помимо прочего, подтверждает и тот факт, что «гонец» от поэта пришел именно к редактору «Новой русской книги», хотя в Берлине той поры были и более солидные издания. В архиве Николаевского в Гуверовском институте сохранилось письмо Волошина к А. С. Яценко, тональность которого и само обращение на ты свидетельствуют о достаточно коротких отношениях.

«Пишем я получаю мало. Книг и журналов не вижу. Часто чувствую себя на дне забытого колодца. Но пишу стихи и ничего не знаю об их судьбе: я столько раз посылал их для печати. Но о судьбе их не знаю. Иногда я их вижу напечатанными в неожиданных для меня изданиях и не знаю, как они туда попали. Мне передавали, что будто они печатаются часто в заграничных изданиях. Если это правда, то нельзя ли как-нибудь попросить эти издания, чтобы они мне посылали иногда питательные посылки и, кроме того, не помещали бы меня в списках постоянных сотрудников, а то против меня поднимают время от времени обвинение, что я сотрудничаю то в «Новом времени», то у эсеров, то у кадетов. Верно ли это — не знаю, т. к. меня об этом уведомляет только местная военная цензура. Я ничего не имею против печатания моих стихов где угодно (чем больше, тем лучше), но вовсе не хочу, чтобы на меня налепляли марки, ибо партийность ненавистна мне более, чем когда-либо, и чувствую я себя сильным только в полном одиночестве...

Некогда дописывать это письмо. Крепко тебя обнимаю. Привет твоей жене.

*Максимилиан Волошин*⁶.

* «Над схваткой» (франц.).

В архиве Николаевского имеется написанная Волошиным и заверенная заведующим Домом имени Л. Н. Толстого П. Сергеенко* доверенность на имя А. С. Яценко на ведение всех литературных дел поэта за границей. Доверенность эта представляет особенный интерес в связи с тем, что некоторые советские исследователи утверждают, будто стихи Волошина публиковались в берлинских изданиях вопреки воле поэта⁷.

М. Волошин и А. Яценко одновременно — с 1897 по 1899 год — учились на юридическом факультете Московского университета. Весьма вероятно, что они сошлись ближе, будучи в Париже в 1906 году. Показательно, что о Волошине Яценко предпочитает писать сам, не передавая дело литературным сотрудникам журнала. В Волошине помимо поэтического дара Яценко привлекает и политическая позиция поэта «над схваткой», которой в этот период придерживался и сам издатель «Новой русской книги». О позиции поэта свидетельствует его письмо одному из своих друзей в октябре 1919 года:

«...Мои стихи одинаково нравятся и большевикам, и добровольцам. Моя первая книга «Демоны глухонемые» вышла в январе 1919 года в Харькове и была немедленно распространена большевистским Центагом. А второе ее издание готовится издавать Добровольческий Осваг. Из этого ты можешь видеть, что я стою действительно над партиями... Между тем как развертывающаяся историческая трагедия меня глубоко захватывает, и благодарю судьбу, которая удостоила меня чести жить в такую эпоху»⁸.

— Вы видели Макса?! — спросил Яценко.

— Да, я была у него в Коктебеле... — ответила женщина.

— И у вас есть новые стихи? — спросил редактор, с вождением поглядывая на портфель, который женщина, сев в кресло, положила на колени.

— Стихи есть... Но не только стихи...

Женщина расстегнула портфель и вытащила из него тетрадку и перевязанную бечевкой кипу листов.

* Сергеенко П. А. (1854—1930) — писатель, биограф Л. Н. Толстого. Летом 1922 года, уже будучи в преклонном возрасте, приехал в Константинополь для сбора среди эмигрантов пожертвований в пользу голодающих в Крыму писателей. Об этом, в частности, писала берлинская газета «Руль» 15 августа 1922 г.

— ...В тетрадке личное письмо к вам. Там многое объясняется, а стихи на листах.

Яценко был настолько ошеломлен, что утратил свою собственную ему любезность. Он не мог оторваться от переданной ему тетради.

— Вы, надеюсь, к нам насовсем? — спросил он рассеянно.

— Нет, нет, я не остаюсь. Я должна скоро уехать...

Гостья поднялась и все с той же понимающей и как бы прощающей улыбкой протянула Яценко руку. — Я, может быть, зайду к вам перед отъездом, — промолвила она.

— Конечно, конечно, я буду рад, — бубнил редактор.

Едва посетительница⁹ ушла, как Яценко, уже ничем не стесняемый, буквально впился в переданную ему тетрадь. Некоторое время он читал молча, яростно и в большом возбуждении перелистывая страницы, заглядывая вперед и снова возвращаясь к первым листкам. Письмо было длинным, страниц 40—50. Время от времени Яценко взрывался возгласами: «Нет, это невероятно! Это какой-то ужас! Черт знает что!»

Он не мог сдерживать бушевавших в нем чувств.

— Вы только послушайте, о чем он пишет. Это целая исповедь, целый роман! — воскликнул он, обращаясь к Р. Гулю.

И он принялся читать вслух.

В письме подробно описывались жизнь поэта в Коктебеле во время гражданской войны, проход белой армии, занятие Крыма красными и потом страшные события, связанные с «чисткой» Крыма от белых. Во главе Крымского ревкома в это время стоял Бела Кун, чья героическая судьба (он участвовал в обороне Петрограда во время наступления Юденича) оказалась трагически сплетенной с кровавыми событиями крымского террора.

Как известно, в эмиграцию с Врангелем ушли далеко не все офицеры, участвовавшие в белом движении, значительная часть их осталась в Крыму¹⁰, не желая покидать отечество. Многие остались, уповая на обещанную большевиками амнистию. Однако обещание не было выполнено. В эмиграции широкое распространение получило мнение, что истинным виновником крымской трагедии, ее идейным вдохновителем был Троцкий. Воззрения Троцкого на террор, изложенные им, в частности, в автобиографической книге «Моя жизнь», служат серьезным подтверждением подобного взгляда. Все бывшие военно-

служащие должны были зарегистрироваться на основании положения о всеобщей трудовой повинности. Полагаясь на амнистию, значительная часть бывших офицеров прошла регистрацию. Эти списки оказались для них роковыми.

«Максимилиан Волошин в письме к Яценко необычайно сильно описывал эти кровавые крымские дни, — пишет в своих воспоминаниях Роман Гуль, читавший это письмо. — Волошин пишет, что он и день и ночь молился за убиваемых и убивающих. Он писал о том, что много и долго разговаривал с Бела Куном и у них установились какие-то «дружеские» отношения*. Чем Волошин покори́л Бела Куна? Вероятно, душевной чистотой. Судя по письму, Бела Кун сошелся с ним настолько, что разрешал Волошину из «проскрипционных списков» вычеркивать одного из десяти. Волошин описывал, каким мучением было для него это вычеркивание «десятого», ибо он знал, что девять будут убиты. Волошин писал, что в этих кровавых «проскрипционных списках» он нашел и свое имя, хотя ему и не надо было регистрироваться как человеку штатскому и не белому. Но его имя вычеркнул сам Бела Кун»¹¹.

Письмо Волошина из Крыма А. С. Яценко в последующие дни читал и пересказывал многим сотрудникам и друзьям «Новой русской книги», в частности А. Толстому, Соколову-Микитову, Эренбургу, Николаевскому. Судьба этого письма неизвестна. В архиве Б. Николаевского его нет. Из воспоминаний Романа Гуля следует, что письмо исчезло из дома Яценко. Больше всего пропажу письма переживал Б. Николаевский, повторяя: «Ведь это же совершенно уникальный исторический документ! И как мог Александр Семенович так легкомысленно его потерять!» Потерять письмо, содержащее более 40 страниц, было действительно мудрено. Сам Яценко считал, что письмо похищено, и страшно винил себя за то, что «раззвонил» о нем по всему Берлину.

Имеются ли достоверные сведения о том, что Бела Кун действительно жил некоторое время в «Доме поэта»? Не исключено, что какие-то данные содержатся в еще закрытых архивах. Косвенную аллюзию на этот факт можно усмотреть в поэме Волошина «Дом поэта», написанной несколькими годами позже.

* Имеются свидетельства, что Бела Кун поселился в «Доме поэта» у М. Волошина.

И красный вождь и белый офицер,
Фанатики непримиримых вер,
Искали здесь, под кровлею поэта,
Убежища, защиты и совета.
Я ж делал все, чтоб братьям помешать
Себя губить, друг друга истреблять.
И сам читал в одном столбце с другими
В кровавых списках собственное имя¹².

Напуганный исчезновением письма Волошина, Яценко поспешил опубликовать переданные ему вместе с письмом стихи. Они появились в февральском номере «Новой русской книги» за 1923 год. В этом же году эти стихи вышли отдельной книгой в берлинском русском Книгоиздательстве писателей под названием «Стихи о терроре»¹³.

Терминология

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,
«Списывали в расход» —
Так изменялись из года в год
Быта и речи оттенки.
«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлепку»,
«К Духонину в штаб», «разменять» —
Проще и хлеще нельзя передать
Нашу кровавую трепку.
Правду выпытывали из-под ногтей,
В шею вставляли фугасы,
«Шили погоны», «кромли лампасы»,
«Делали однорогих чертей» —
Сколько понадобилось лжи
В эти проклятые годы,
Чтоб разорить и поднять на ножи
Армии, царства, народы.
Всем нам стоять на последней черте,
Всем нам валяться на вшивой подстилке,
Всем быть распластанными с пулей в затылке
И со штыком в животе.

1921, 29 апреля, Симферополь

Террор

Собирались на работу ночью. Читали
Донесения, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали, пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Вызывали по спискам мужчин, женщин,
Сгоняли на темный двор,
Снимали с них обувь, белье, платье,
Связывали в тюки.
Грузили на подводу. Увозили.
Делили кольца, часы.

Ночью гнали разутых, голодных
По оледенелой земле,
Под северо-восточным ветром
За город, в пустыри.
Загоняли прикладами на край обрыва,
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Приканчивали штыком.
Еще не добытых валили в яму.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город, домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю, грызлись за кости,
Целовали милую плоть¹⁴.

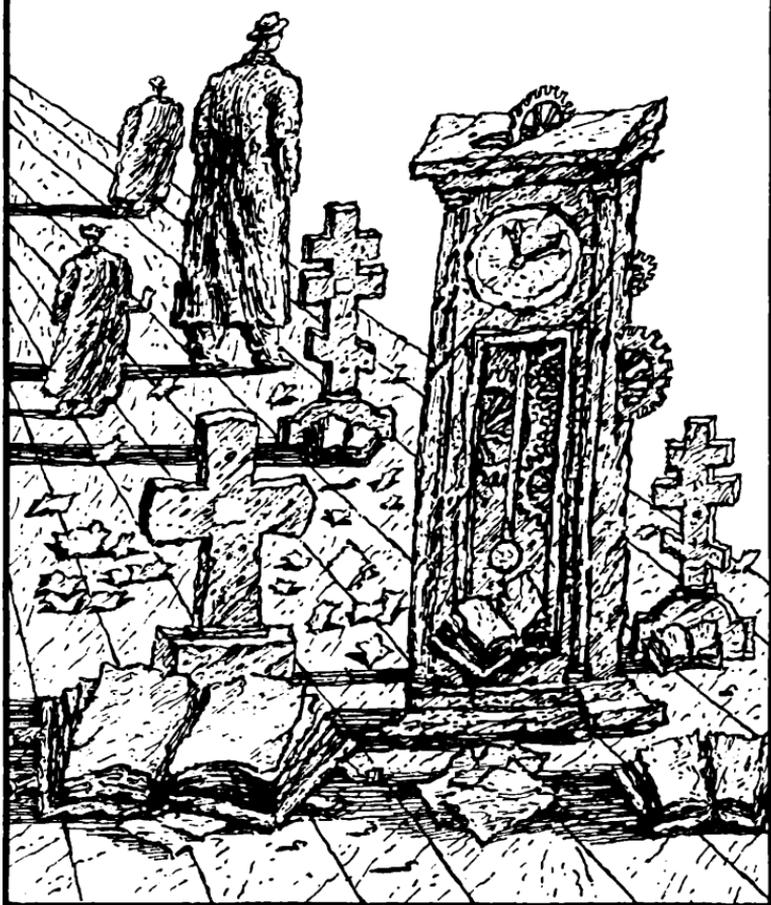
Стихи Волошина, опубликованные в «Новой русской книге», произвели на эмиграцию страшное впечатление. Нет, не то чтобы эмиграция ходила в «белых одеждах». О терроре знали. В берлинской русской колонии в офицерской среде было немало «непримиримых», тех, кто в штабе Духонина, в контрразведке Кутепова сам творил в Крыму такие же бесчинства и беззакония, о которых писал теперь Волошин. Только вместо «кройки лампасов» вырезали звезды. Символика террора была разной, но суть одна и та же. Затемняющая разум ненависть, настоящая на идеологии, — самое страшное зло XX века.

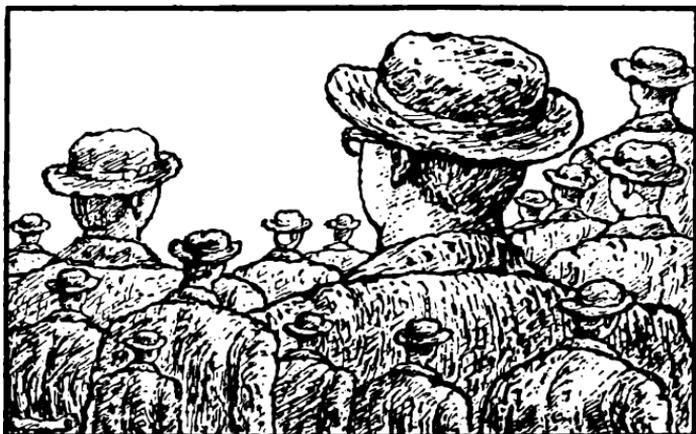
Но только теперь всё или почти всё, о чем догадывались, или знали, или во что боялись поверить, было высказано с эпической силой волошинского слова. И казалось, что жить, как жили, уже нельзя. И все повторяли последние строчки из другого волошинского стихотворения — «Бойня»:

«Не реви: собакам собачья смерть».
А она не уходит, и все плачет и плачет,
И отвечает, солдату глядя в глаза:
«Разве я плачу о тех, кто умер? —
Плачу о тех, кому долго жить»¹⁵.

Публикация стихов М. Волошина о терроре в Крыму как бы проложила границу между иллюзией и реальностью. И сделалось яснее, что прошлого уже не вернуть, оно никогда уже не будет таким, каким его видели мечтавшие вернуться в Россию. На Востоке, там, где осталась отчизна, были невысыхающие реки крови, впереди — пустота теперь уже очевидного изгнания. Начиналась новая полоса эмиграции — без надежд на возвращение. Долгое странствие по пустыне под чужим, искусственным небом.

ЧАСТЬ II





Глава 1

ПАРИЖСКОЕ ПРИСТАНИЩЕ

У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало.

Альфред де Мюссе

Русскому, гонимому ветрами скитальчества и приехавшему после долгих мытарств в Париж, могло показаться, что он попал в некую эмигрантскую Мекку, где души странников, утративших отечество, могут наконец обрести покой. Кишащий соотечественниками Париж вселял успокоение: здесь было с кем посудачить о пережитом, было кому поплакаться об утратах, было куда обратиться за советом, было, наконец, где при крайности получить кусок хлеба и миску благотворительной похлебки. Было где поставить свечу...

Вот как описывает прибытие в Париж одного из скитальцев Иван Шмелев в рассказе, который так и называется «Въезд в Париж». Рассказ был написан в декабре 1925 года, что называется, по свежим следам и впечатлениям.

«После долгих хлопот и переписки, — сколько ушло на марки, а каждая копейка выбивалась сердцем, — после адской, до дурноты, работы, когда каждая обруха угля подгоняла: «ну же, еще немного!» — Бич-Бураев, — впро-

чем, «Бич» он давно откинул, как усмешку, — славного когда-то рода, бывший студент, бывший офицер, забойщик, теперь бродяга, добрался до Парижа.

Он вступил в Париж без узелка, походно, во всем, что на себе осталось: в черкеске, порванной боями, в рыжей кубанке с золотистым верхом, в побитых крагах. Что было под черкеской — никто не видел. А было там: германская тужурка, из бумажной ткани, грубая английская фуфайка на голом теле, — истлевшую рубаху он бросил в шахте, — пробитая ключица, замученное сердце. Дорогое, что вывез из боев, — американский чемоданчик с несессером, память убитого на Перекопе друга, — пришлось оставить инженеру в шахтах, болгарину, как выкуп: а то не пускали до конца контракта.

И вот, с сорока франками в кармане, он вышел с Gage de l'Est на boulevard de Strasbourg*.

Час был ранний. Париж сиял роскошным утром, апрельским, теплым; рокотал невнятно, плескался, умылся. Серный запах угля от вокзала заливала ласковая свежесть весны зеленой, нежной: тонкими духами пахло от распускавшихся деревьев.

Ошеломленный светом и движеньем, великолепием проспекта, широкого, далекого на версты, Бураев задержался на подъезде. В глазах струилось.

— Вот какой, Париж!

Так все было светло, так упоительно ласкало после черной шахты, после годов метанья. В глазах мелькало, звало.

Бураев натыкался на прохожих.

— А... pardon...

То и дело слышалось:

— Tiens, un cosaque!..

— Ça doit être un numéro celui-là!

— Ah, quel beau gaillard!**

Бураев знал язык не хуже этих, понимал все шутки, все усмешки...

Бураев был конфузлив. Общее внимание его смущало, возбуждало, злило. Сжав губы, он шагал и думал: «Да, мы теперь другие, смешные, досадные... бродяги, граним панели! А когда-то были нужны, желанны...»

В узких зеркальцах-простенках он видел мельком

* С Восточного вокзала на Страсбургский бульвар (франц.).

** — Смотри-ка, казак!

— Должно быть, тот еще экземплярчик!

— Ах, какой красавец! (франц.).

свою фигуру, с газырями, с тонкой талией, странную такую здесь кубанку над бледным лбом, размашистые полы черкески вольной, серое лицо с поджатыми губами, в резких складках, круглые глаза, степные, усталые, с накальцем от ночей бессонных, — удивился, какие они стали, запавшие, совсем другие! — острый нос, с горбинкой, ставший еще длиннее, проваленные щеки, с резкими чертами от ноздрей к губам, горькими чертами бездорожья, серые от угля, небритые, — вид не по месту дикий. Бросилось в глаза, как смотрит полицейский, поднявший под крылаткой плечи, руки в бедра, румяный, сытый.

— На, гляди... со-юзник! — бросил он сквозь зубы, смотря в упор. — Документик спросишь... союзник?..

Полицейский отвел глаза, зевнул. Бураев усмехнулся. В нем забились гордость, сознание несдавшей силы...

Теперь он слышал, как оглушительно гремели по асфальту «броненосцы», подбитые шипами английские его штиблеты. Мерили грязи Приднепровья, солончаки Сиваша, Перекоп, стучали по плитам Константинополя, по галлиполийским камням, по горам болгарским. Отдохнули в шахтах, сменились постололами, под нарамами дремали, в земляной казарме. Теперь гуляют — *chic parisien**. Видел их порыжевшие носы, загнутые кверху. Чувствовал, как жмет рубец заплатки, жжет тряпками мозоли, зашибы в шахтах. Представил свою «изнанку»: кальсоны в дырках, ползут, левая оторвалась дорогой, крутилась в коленке, идти неловко. Что за подлость! Куда-нибудь зайти поправить?

Но шел он твердо. Черно-оранжевая ленточка затерлась, угасла, но укрепляла оправданьем: было! Сорок франков на «весь Париж»! Идет к такому же, как он, полковнику... сторожем гаража где-то на *Monterouge* у черта на куличках, через весь Париж...»¹.

И тем не менее... Несмотря на все унижения, материальные трудности первых лет, после мытарств и неприкаянности чужих городов Париж казался пристанищем.

Обилие русских, некий — при всех материальных и политических различиях — дух единения, проистекавший от общей беды утраты отечества и родных, создавали впечатление целостности и полноценности жизни. Культурная часть эмиграции жила тесно, слитно, переливаясь с одних русских посиделок на другие, много спорила,

* Парижский шик (франц.).

строила планы (особенно в довоенные годы), думала, работала, старалась как можно дольше продлить то состояние интеллигентности, которое она унесла с собой в сердцах, уже меченных неприкаянностью. И часто, очень часто, как отголосок того времени до сих пор всплывают в эмигрантских воспоминаниях слова «блистательный, славный, незабываемый... Париж».

Докатившись до западной оконечности Европы, попав в Париж, русские как бы поняли, что дальше пути нет, что их европеизм нашел пусть трагическое, но все же не лишенное исторической логики осуществление, что здесь их дом. В Америку двинулись отчаянные, смельчаки, искатели приключений или коммерческие ловкачи. Основная масса русских осела во Франции и жила здесь достаточно оседло и устойчиво до самого кануна второй мировой войны, которая, точно ураган, разметала казавшееся уже почти прочным парижское гнездовье.

Огромное впечатление, особенно на впервые приехавших во Францию, производил сам Париж с его редкостной и гармоничной красотой, его удивительной интимностью, его чисто французской приспособленностью к человеку, к его меркам, к его дыханию. Это был тот город, где, казалось, могли кормить «святым духом» стены старых домов, мосты через Сену, бульвары, узенькие улочки старых кварталов. Но это была иллюзия, сладкая, хрупкая иллюзия, которой одним хватало на несколько дней, другим — на месяцы и даже годы и лишь редким счастливым — навсегда.

После неустроенности первых лет жизни на чужбине, после скитальчества по городам Европы (дешевые пансионаты, убогие гостиницы, тягостное милосердие братьев-славян или снисходительное презрение немецких бюргеров) Париж поражал прежде всего каким-то здоровым, не отягощенным смертельными схватками идей ходом жизни. И у людей, переживших Великую войну, восторги Февральской революции, страсти и неистовства Октябрьской, кровь и нетерпимость гражданской, голод, холод, разруху, — при взгляде на это спокойное течение жизни, на открытые веранды кафе, на спящих за окнами ресторанчиков официантов в белых фартуках, на продавцов цветов, на притулившиеся на уголках булочные, источавшие сладостный дух свежего хлеба, на дешевенькие винные лавочки «Nicolas», на толпу фланирующих бульвардьеров, на консьержек, сидящих с вязаньем возле чистеньких парадных, — возникало щемящее и недоумен-

ное ощущение того, что они в страшном каком-то затмении утратили главное понимание смысла жизни и только теперь точно бы проснулись и увидели самое простое и самое ценное: человек рождается, чтобы жить, работает, чтобы жить, отходит ко сну, чтобы утром проснуться к жизни. И ощущение этого открытия, которое, вероятно, можно сделать только во Франции, было той ключевой нотой, которая во многом определяла тональность эмигрантской жизни. Бóльшая часть оказавшейся в Париже эмиграции жила бедно, но на редкость шумно и даже весело. Может быть, из-за убогости жилья — большинство ютилось в дешевых наемных квартирках — по вечерам мало кто оставался дома, разве что обремененные детьми. Но многодетных семей в эмиграции было мало, многие вообще жили по-холостяцки; и по вечерам весь этот холостой и нехолостой люд выплескивался на улицы, растекался по русским дешевым ресторанчикам, клубам, «салонам», церквям, обществам, кружкам, квартиркам, где хозяевам было что поставить на стол, по бесчисленным русским «собраниям» и «академиям».

Самая большая трудность состояла в том, чтобы выправить «вид на жительство» и найти работу. Сложностей была масса: созданная Наполеоном французская бюрократия общепризнанно считается одной из самых изощренных в мире, и русским стоило немалых трудов пробиться сквозь чиновничьи барьеры. Днями, иногда неделями простаивали в очередях за пустячной справкой, годами доказывали свою профессиональную компетентность. Труднопреодолимым препятствием для устройства на работу, особенно если речь шла о месте достойном, было нежелание французских властей признавать заграничные, в частности русские, дипломы. Приходилось претерпевать унижительную процедуру проверок, экзаменов, защит. Не упрощало жизни и опасливое отношение к эмигрантам многочисленного во Франции класса мелких буржуа — булочников, мясников, мелких торговцев, ремесленников. Дрожащие за копейку, за собственное место под солнцем, они с большим подозрением относились к высококультурным в массе своей русским эмигрантам, опасаясь, как бы те не посягнули на их хлеб.

Спасительным было то, что верхние слои французского общества по культурному уровню, а часто и по политическим симпатиям во многом смыкались с русской эмигрантской интеллигенцией. В случае трудностей русский эмигрант так или иначе находил тропу к заступнику,

к ходатаю, и дело в конце концов устраивалось. Помогали и демократические традиции Французской республики. Слова «свобода, равенство и братство», начертанные на фронтонах правительственных учреждений Парижа, были не только девизом, но и юридической, хотя и с отступлениями, переборами, живой и действующей формулой. Право на эмиграцию, свободный выбор места жительства, на прием политических беженцев и изгнанников было в традициях Французской республики, и это право на равенство перед законом спасло не одну эмигрантскую душу.

Вместе с тем быт и образ жизни французов, особенно парижан, весьма отличались от того, к чему привыкли русские. К тому же европейская политическая стихия, политические страсти, занимавшие в жизни французов весьма видное место, русских изгнанников мало волновали. Все взоры их были обращены к России. Русского эмигранта мало интересовало, кого изберут очередным президентом или какая партия получит большинство в Национальном собрании. За политикой следили лишь в той мере, в какой она затрагивала интересы России и эмиграции.

По-настоящему спокойно, уверенно русские чувствовали себя лишь в собственной среде.

К середине 20-х годов, когда центр культурной жизни переместился из Берлина в Париж, французская столица по интенсивности русской культурной и политической жизни едва ли уступала Москве и Петрограду.

Выходили две крупные ежедневные газеты — «Последние новости» (придерживавшаяся левого направления) и «Возрождение» (правая), издавались «толстые» журналы — «Современные записки», «Иллюстрированная Россия», «Числа». Существовали русские лицеи, гимназии, школы. Действовали Коммерческий и Богословский институты, русская консерватория, женские богословские курсы, Торгово-промышленный союз, Галлиполийское собрание, Морское собрание, Военная академия, Союз послов, Красный Крест, Союз шоферов, Академический союз, Союз писателей и параллельно с ним Союз писателей и журналистов, Народный университет, Земско-городской союз, Религиозно-философская академия и т. д. Крупные общества и союзы вовлекали в свою орбиту бесчисленное множество кружков, литературных и художественных объединений. Все слои эмиграции со временем обзавелись своими клубами, обстроились рестораниками.

Сформировалось множество молодежных союзов и объединений: «скауты», «соколы», «витязи», «орлы». Действовали десятки полковых и кадетских объединений. Открылись балетные школы, музыкальные училища, русские клиники, русские парикмахерские, русские похоронные бюро; были русские акушеры, сиделки, сводницы, русские «веселые дома». Одним словом, русский мог жить в Париже вполне русской жизнью и в русской среде. Здесь возник и просуществовал до самого начала второй мировой войны целостный русский мир, сохранивший русский быт, характер и культуру.

Здесь, в Париже, лучше ли, хуже ли, но обустроившись к долгой оседлой жизни, создав газеты и журналы, которые служили «выходом» для чаще всего горьких размышлений, эмиграция принялась осмысливать свое существование, суть и цели бытия, отношения с отечеством.

Вспоминается запавший в душу разговор с одним стариком. Дело было на Пасху.

Обыкновенно в будние дни русские старички ходят помолиться и поставить к иконе свечу в одну из близлежащих церквушек. Небольшие русские церкви имеются во многих районах Парижа. Правда, церквями в полном смысле слова их назвать трудно — как правило, это всего-навсего молельные дома. Внешней архитектурой они не блещут, и снаружи не сразу поймешь, что за дверью находится русский православный храм. Но внутри, в тесном помещении, все знакомо. Маленькая перегородка, отделяющая часть комнаты или зальца, служит иконостасом. Но иконы, утварь встречаются превосходные, иногда редчайшие. Приносят их чаще всего в дар старики и старушки, чувствующие приближение последнего часа. Много здесь и русской храмовой утвари: лампы, плащаницы, канделябры, паникадила, вышивки на религиозные сюжеты, древние хоругви, вынесенные из России полковыми священниками. Народу в будние дни здесь немного, а иногда и вовсе никого нет. Зайдешь в такую церквушку и стоишь в одиночестве. Выйдет из-за перегородки старый священник или матушка в черном платке, посмотрит на тебя и уйдет к себе. В дни праздников здесь поет крохотный хор старушек, пахнет свечами, ладаном. Завсегда и без особых стеснений ведут разговор: для многих церковь уже давно превратилась не столько в дом молитвы, сколько в место встречи со старыми знакомыми. После службы, как правило, весьма

и весьма укороченной, прихожане побогаче идут в ближайшее кафе — продолжить беседу за чашкой чая или кофе. Другие разбредаются по домам...

Но в дни больших праздников — на Рождество, на Пасху, на Вознесение — русские стремятся попасть в главный православный собор — церковь Александра Невского на улице Дарю. И в такие дни, особенно на Пасху, здесь не протолкнешься. Весь прилегающий к церкви квартал запружен толпой, толпа стоит во дворе за церковной оградой. Чтобы попасть вовнутрь, нужно прийти много раньше.

Старики говорят по-русски с тем удивительным произношением, которое было свойственно старым петербуржцам или москвичам и которое теперь в советской России не услышишь даже и в театре, где дается пьеса «из старого». Люди помоложе, эмигранты во втором и третьем поколениях, ловко скачут с русского на французский да и по-русски говорят с грассированием, уснащая русскую речь французскими словечками и фразами.

В праздничные дни на улице возле церкви Александра Невского русские торговцы выставляют застеленные клеенкой столы с нехитрой закусочной снедью: соленые огурчики, пироги, бутерброды с селедкой. Прямо на улице можно выпить и стопку-другую «Смирновской» или «Московской» водки. Цены по случаю праздника обычно несколько снижаются. Для торговцев, русских рестораторов, владельцев продуктовых магазинчиков это в некотором роде «благотворительность», жест, отчасти и реклама, желание показать себя, вспомнить свою «русскость». Впрочем, и тут чувствуется некоторое расслоение. «Русаки» из состоятельных, «хлопнув» демократически стопку водки и заев огурчиком, потом пойдут в соседний ресторан «Санкт-Петербург» — заведение, в котором цены «кусаются», с русскими, из советской России поставляемыми балычками, розовой (в Москве такой и не встретишь) семгой, икоркой в морозных хрустальных лоханках, с хрустящими салфетками, обходительной службой.

Здесь, возле церкви, на Пасху и случился у меня один любопытный разговорец. Внимание мое привлек старик в мешковатом двубортном костюме, лет 70 на вид, с мясистым морщинистым лицом. Я видел, как его вывели из церкви, поддерживая под руки. Похоже, старику в церковной духоте стало худо. Его усадили на раскладном стульчике возле ограды и оставили отдыхать.

Я обратил на него внимание оттого, что на лацкане

пиджака у него была прикреплена советская боевая медаль. Эмигранты, даже и благосклонно относящиеся к советской России, не очень-то афишируют свои симпатии. Не оттого, что их кто-то осудит, — скорее из скромности или, может быть, из заимствованного у французов такта: за границей, в частности во Франции, считается несколько даже «неприличным» носить на груди наградной «иконостас» — человеку, как правило, достаточно внутреннего сознания, что он герой и что об этом знают близкие. О высшем знаке национального отличия — ордене Почетного легиона — можно догадаться лишь по крошечной, в размер булавочной головки, бордовой розетке на лацкане пиджака. Впрочем, надо признать, что во Франции никогда и не было таких «эпидемий» награждения, как у нас; награды здесь — большая редкость, даются они действительно за большие заслуги перед страной, но уж зато и ценятся, и почитаются в полную меру.

Старик, замеченный мною, имел обыкновенную, из желтого дешевого сплава советскую солдатскую медаль с засаленной ленточкой. Я подсел к нему, примостившись на выступе ограды, и при первой же возможности заговорил. Не помню теперь, какие слова я выбирал, стараясь сказать так, чтобы не обидеть старика, но смысл моего «главного» вопроса состоял вот в чем: каким образом получилось так, что вы, воевавший за советскую Россию и награжденный за участие в боях, оказались в эмиграции, на чужбине? Посмотрев на меня не очень-то приязненно и, вероятно, догадавшись, что я из советских, старик вздохнул и после некоторого раздумья проговорил: «Мало вы, похоже, задумывались над жизнью, раз выставляете такие вопросы. Об отечестве нам говорить не приходится: родину-то у нас давно украли». Старик отвернулся, и я понял, что продолжать с ним разговор не следует. Я посидел рядом несколько минут и тихо ушел.

Надо сказать, что короткий этот разговор, вернее, даже не разговор, а оброненная стариком фраза произвела на меня тягостное впечатление. Было в ней — так мне казалось — что-то обидное и даже оскорбительное. Но чем больше я размышлял над словами оказавшегося на чужбине солдата, тем сложнее казалась мне его мысль. Нарочито или случайно соединил он в одной короткой фразе понятия «родина» и «отечество»?

Несколько воскресений подряд приходил я к церкви на улице Дарю, надеясь встретить старика, все думал:

а вдруг при новой беседе он окажется более разговорчивым и посвятит меня в смысл своих слов? Но старика я больше не встретил. Пришлось полагаться на собственные размышления. И размышления эти были нелегкими. Нашу жизнь до последнего времени во многом облегчало невежество в отношении собственной истории. Невежество зачастую невольное, вынужденное насильственным обетом молчания и безгласности. Первым моим прозрением я обязан русским эмигрантским журналам. Сколько же в них горестных размышлений о судьбах родины и отечества! Одно из интересных принадлежит Федору Степуну.

Федор Августович Степун, родившийся в 1884 году, человек несомненно талантливый, литературно и сердечно одаренный, в дореволюционной России громкой известности не приобрел. На фоне блистательнейшей плеяды русской интеллигенции конца XIX и начала XX века он был достаточно типичным представителем. Прошел через университет, увлечение социализмом, богоискательством, мечтал о величии свободной России. Как и большинство интеллигентов той поры, был очень активен, «на печке» не сидел. Участвовал в демократических кружках, группах, увлекался журналистикой, объездил многие города России с лекциями, нес, как было принято говорить тогда, «свет и мысль народу». Собственно, свою репутацию, достаточно весомую в Москве и Петербурге, он и приобрел как лектор, популяризатор идей русской либеральной интеллигенции. Увлекался философией, поиском путей сближения в рамках «русской идеи» идеалов революции и христианства. Прошел через свойственное русской левой интеллигенции увлечение идеями Шпенглера. Читал лекции о «закате Европы» и судьбах русской революции. Был близок к кругу русских религиозных философов.

Ф. А. Степун ценил превыше всего духовную свободу. И когда вскоре после революции «шагреневая кожа» демократии и духовной свободы стала постепенно сжиматься, испытал все разочарования в революции, характерные для русской интеллигенции. Попытки приспособиться к новой власти и новому образу мышления, предполагавшие мучительные нравственные компромиссы, были безуспешными. В начале нэпа появились надежды. Новая экономическая политика сулила перемены и в сфере «надстройки». Нормализуются, увы, на короткий срок, отношения власти с интеллигенцией. Тугие обручи, натянутые на интеллектуальную жизнь страны в период

«военного коммунизма», были несколько ослаблены. Разрешены частные издательства, сняты ограничения с собраний, позволены «мнения».

В 1922 году Федор Степун задумывает выпуск «Шиповника» — сборника литературы и искусства, в котором могли бы находить отражение если не оппозиционные, то по крайней мере альтернативные мнения относительно путей развития России. К участию в сборнике привлекаются представители как старшего, так и молодого поколения русской интеллигенции. В первом номере публикуются Ф. Сологуб, М. Кузмин, А. Ахматова, В. Ходасевич, Б. Зайцев, Н. Никитин, Л. Леонов, Б. Пастернак, Н. Бердяев, П. Муратов, А. Эфрос, С. Вольский, Г. Чулков, Б. Выше-славцев, Л. Гроссман, М. Шагинян. Сам составитель выступил со статьей «Трагедия и современность». Его размышления о России, влетевшей на бешеной тройке судьбы в невиданную по размаху революцию, полны романтизма ожиданий. В 1922 году интеллигенция, несмотря на все «хождения по мукам», несмотря даже на то, что в значительной мере она оказалась вытесненной со столбовой дороги русской жизни на ее обочину, еще не исчерпала запасов веры в революцию. В оценках Ф. Степуна уже, впрочем, отчетливо звучат апокалипсические ноты. Сталинизм еще не вошел в русскую дверь, но шаги «кровавого командора» уже были слышны в коридорах власти.

«Жизнь, изживаемая нами изо дня в день, — не жизнь вовсе. Она — стремление к жизни, ожидание жизни, она — вечно возобновляемая, но и вечно неудачная попытка перестать топтаться у подножия жизни и подниматься на ее вершину... Вхождение этой нашей несовершенной жизни в катастрофическую полосу войны и революции — совершенно исключительная возможность удовлетворения этой тоски. Эпохи великих исторических катастроф — эпохи возвращения жизни к себе на родину, на свои метафизические вершины. Страшные костры, на которых пылает последние годы вся Европа, — священные огни очагов на вершинах подлинной жизни.

Только в эпохи, подобные той, что дарована нам благосклонной судьбой, возможна настоящая чеканка жизнью и душ, возможна установка всех чувств и мыслей на незыблемых метафизических основаниях; возможно преодоление тленного прагматизма всех «слишком человеческих» модусов восприятия жизни и отношения к ней. В катастрофические эпохи нельзя жить отраженными чувствами, заимствованными мыслями, мертвым грузом

унаследованных убеждений... Чем жили все эти последние годы те, что сейчас действительно живы, а не только прикидываются живыми? Своим самым последним и самым заветным. Той подлинной сердцевиной своих мыслей и чувств, утверждаясь в которых человек неизбежно подымает свою жизнь на ее вершины»², — писал Ф. А. Степун.

Однако мечте подняться на вершину человеческого духа сбыться было не суждено. По мере того как консолидировались силы, отрицающие и отвергающие нэп, по мере того как насаждалось единомыслие, подобные размышления Федора Степуна становились ненужными. Они не укладывались в начавшие застывать догматические формы и звучали как вызов.

Причисленный к категории «непримиримых», Федор Степун в ноябре 1922 года был выслан за границу. Вся последующая его жизнь проходит в эмиграции, из которой ему так и не удалось вырваться. Он был одним из тех, кто, осознав трагический тупик эмиграции, внимательно прислушивался к жизни советской России, пытаясь уяснить ее смысл, ее настоящее и будущее. Умер он в 1965 году, оставив двухтомник прекрасных воспоминаний «Бывшее и несбывшееся». Написаны они без гнева, обиды, злорадства, а с чувством глубокого сострадания и надежды. Об этих надеждах свидетельствуют и последние страницы его воспоминаний, завершенных в декабре 1948 года.

«22 ноября заканчивается 26-й год пребывания за границей высланных из России ученых и общественных деятелей. Несколько человек из нас уже умерло на чужбине. В лице отца Сергея Булгакова и Николая Александровича Бердяева «первопризывная» эмиграция понесла тяжелую утрату.

Вернется ли кто-либо из нас, младших собратьев и соратников, на родину — сказать трудно. Еще труднее сказать, какую вернувшиеся увидят ее. Хотя мы только и делали, что трудились над изучением России, над разгадкой большевистской революции, мы этой загадки все еще не разгадали. Бесспорно, старые эмигранты лучше знают историю революции и настоящее положение России, чем иностранцы. Но, зная прекрасно политическую систему большевизма и ее хозяйственное устройство, ее громадные технические достижения и ее непереносимые нравственные ужасы, ее литературу и науку, ее церковь, мы всего этого по-настоящему все же не чув-

ствуем; зная факты и статистику, мы живой теперешней России перед глазами все же не видим. В голове у нас все ясно, а перед глазами мрак.

За последние годы из этого мрака вышли нам навстречу новые, возвращенные уже советской Россией люди. Будем надеяться, что они, если только не оттолкнем их от себя и поможем им преодолеть свою «окопную» психологию, помогут нам разгадать страшный облик породившей и воспитавшей их России.

Каюсь, иногда от постоянного всматривания в тайну России, от постоянного занятия большевизмом в душе подымается непреодолимая тоска и возникает соблазн ухода в искусство, философию, науку. Но соблазн быстро отступает. Уйти нам нельзя и некуда...»³.

...О встрече со стариком возле ограды русской церкви в Париже я вспомнил несколько лет спустя, читая в одном из русских эмигрантских журналов статью Федора Степуна «Родина, отечество и чужбина»⁴.

Здесь Степун размышляет о необходимости различать понятия «родина» и «отечество». Он видит в них как бы два если не противоположных начала — женское и мужское, то по крайней мере два нравственных вектора: один — берущий свои истоки в материальном мире, другой — в мире идей.

Родина, по мысли Степуна, — это прежде всего образ матери-земли, в данном случае земли русской. Родина — это наши равнины, холмы, леса, ручьи, родники с целебной водой, это земля, возделанная предками и окропленная их потом и кровью. Родина — это наша историческая память, овеянная легендами, сказками, преданиями. Родина — это наша культура, созданная лучшими людьми России. Родина в понимании Степуна существует независимо от того, какая в ее пределах в настоящий момент господствует власть. Для русских Россия была родиной и при боярах, и при князьях, и под татарским игмом, и при царях. Родиной Россия осталась и после революции. И для эмигрантов, бежавших или изгнанных из пределов страны, Россия осталась родиной, даже если у них было отнято право вернуться в свой дом.

Во взгляде на отечество в рассуждениях Федора Степуна преобладает мужское начало. Отец — глава семьи, ее опора и защитник. В отечестве доминирует

государственное начало. Отечество — это жизнь народа, повинующаяся законам и нормам государства. И если в понятии родины много мистического, таинственного, много красоты и поэзии, то в отечестве заключено сильное организующее начало — управление, власть, армия, суд. Отечество, говорит Степун, — это меч и щит родины.

История эмиграции — история полудобровольного, полупринудительного прощания с отечеством, в котором переменялась власть. Эмиграция отвергала новый строй и в этом смысле в какой-то степени отвергала отечество, но эмиграция никогда не отворачивалась от родины, никогда не отвергала и не проклинала ее. Уйти от родины нельзя, считает Степун, ее нельзя перестать любить, даже увидев ее в самых греховных обличьях.

В мирное, благополучное время, считает Степун, понятия родины и отечества сливаются, они нераздельны. В период бурь и национальных драм эти понятия расходятся. Родина, мать-земля остается прежней, а отечество разверзается под ногами: одни падают в бездну, другие возносятся к высотам власти, одни принимают новый облик отечества, другие отвергают его. Федор Степун определяет революцию как трагическое расхождение между родиной и отечеством.

Разумеется, рассуждения Ф. Степуна носят достаточно абстрактный характер, сложны и не всегда последовательны. Рядовой эмигрант, живший за границей, как правило, без собственности, без дома, часто без постоянной работы, попавший в зависимость от превратностей судьбы, от изменчивых обстоятельств, чаще всего и не предавался столь сложным и отвлеченным рассуждениям. Его волновали более насущные заботы: как найти работу, снять подешевле жилье, устроить детей в школу, обрести хоть какую-то устойчивость существования. Однако, по мере того как жизнь входила в свои берега, мысли о родине приходили все чаще и чаще. Характерно, что в русских эмигрантских газетах и журналах 20-х годов почти не ощущается стремления осмыслить свое отношение к новой России. Связано это в значительной мере с тем, что в первые годы многие эмигранты вообще полагали свое пребывание за границей временным, уповая на то, что большевизм либо исчерпает себя в несколько лет, либо будет сметен народным движением. Воинствующая часть эмиграции, группировавшаяся главным образом вокруг «Русского

общевоеинского союза», верила и в возможность военного решения. Имелись в эмиграции люди, не исключавшие решения вопроса о возвращении с помощью иностранной силы. Как правило, этим грешили монархисты и крайне правые из военного лагеря эмиграции. Интеллигенция, составлявшая бóльшую часть эмиграции, отвергала этот путь.

«Сложнее вопрос о праве политического эмигранта защищать свою родину вооруженной рукой чужого государства или, что по существу одно и то же, сочувствовать успешному наступлению чужой армии на государственную территорию своей родины, — писал Ф. Степун в статье «Родина, отечество и чужбина». — Вопрос этот отвлеченно — неразрешим. С занятой мною точки зрения освобождение родины хотя бы и вооруженной рукой дружественного государства надо считать лишь в принципе допустимым, фактически же всегда и очень опасным, и мало желательным. Не революционное минирование своей родины и не подготовка интервенции являются поэтому главной задачей эмиграции, а защита России перед лицом Европы и сохранение образа русской культуры»⁵.

Эти рассуждения Ф. Степуна относятся уже к зрелому «возрасту» эмиграции: статья «Родина, отечество и чужбина» была написана им в 1955 году. К этому времени проблема изменения власти в России, а тем более интервенции давно истлела. Но остался главный вопрос — об отношении к России, а в сущности — о формах служения родине.

И в этой связи одной из наиболее сложных задач было сохранение «русскости», национального духа среди подрастающей молодежи. Эмигранты, разумеется, понимали, что их дети, выросшие в Европе, волей-неволей становятся европейцами. Да было бы и бессмысленным, нереальным пытаться уберечь их от влияния чужой страны: она окружала их со всех сторон. В первые годы эмиграцией было потрачено немало сил, чтобы создать русские школы. Но это школьное строительство имело смысл до тех пор, пока теплилась надежда на возвращение в Россию. Русское образование могло пригодиться там, на родине. В становлении школьного дела за границей играло роль и то, что в изгнании оказалось много русских преподавателей и профессоров. Оказавшись без кафедр, без аудитории, они, естественно, искали приложения своим силам. Русская школа во Франции была,

вероятно, единственным и уникальным явлением в истории мирового школьного опыта. В качестве учителей даже в младших классах выступали преподаватели университетов, лучшие учителя известнейших московских и петербургских гимназий. Уровень преподавания был чрезвычайно высок, и это впоследствии весьма благотворно сказалось на судьбе эмигрантских детей.

Однако по мере того, как перспектива возвращения в Россию размывалась, все заметнее усиливался отток учеников из русских школ. Родители, осознавшие, что будущее детей связано с Францией, стали отдавать их во французские школы, лицеи, коллежи. Обстоятельства французской жизни отчасти способствовали этому.

В результате первой мировой войны во Франции резко падает рождаемость. Демографический фактор вынуждает французское правительство достаточно благосклонно смотреть на детей русских эмигрантов. Для записи эмигрантских детей во французские школы, гимназии и лицеи фактически не чинится никаких препятствий. Франция рассматривает русских мальчиков и девочек как часть своего национального богатства. Играть роль и республиканские традиции. В этих обстоятельствах русские школы становятся явлением факультативным, перерождаются в некое подобие молодежных клубов, культурных центров — с самодеятельностью, кружками русской литературы, с вечерами на русский лад. Французская школа, среда, улица, кино, театры и, разумеется, французский язык, который «преследовал» эмигрантских детей с утра до ночи, — все это были мощные силы, противостоять им было трудно.

Старшему поколению эмиграции требовались большая изобретательность, такт, чтобы найти ту форму воспитания и образования для своих детей, которая, не противодействуя естественному процессу ассимиляции, вместе с тем позволяла бы сохранить духовную привязанность к России. Создав огромную просветительскую сеть, целую инфраструктуру общения на базе русского языка и русской культуры, эмиграция эту миссию выполнила. Да, новое поколение эмигрантов, выросшее во Франции, уже имело французские паспорта, числилось французами, имело французские дипломы и аттестаты. Но в их альянсе со второй родиной всегда присутствовал «русский вектор». Русский ученик французской гимназии выбирал темой своего сочинения «Бориса Годунова»

Пушкина; студент Сорбонны писал работу о роли Герцена в развитии европейской демократической мысли; внук старого эмигранта, закончив берлинскую консерваторию, непременно включал в свою концертную программу произведения русских композиторов; русский православный священник, ходивший на богословские лекции в Русскую религиозно-философскую академию в Париже, общаясь с католиками, рассказывал им о красоте русской церковной службы и русских церковных песнопений. Совсем маленький и частный пример: во Франции медленно, но стабильно сокращается число верующих, однако количество французов, принявших православие и ходящих в русские православные храмы, растет. Под Парижем, в окрестностях городка Ментон, имеется русский православный скит, где живут монахи-французы. Они не говорят по-русски, однако служба в небольшом каменном храме идет по-старославянски. Еще до войны русский священник обучил православной службе нескольких французских монахов, и традиция, как тоненькая ниточка, тянется до сих пор, не прерываясь.

Лекциями, диспутами, концертами старшая часть эмиграции стремилась поддерживать среди эмигрантской молодежи интерес и к советской России. Не было в СССР ни одного крупного радостного или горького события, на которое в той или иной форме не откликнулась бы эмиграция.

Тягостное впечатление на эмиграцию произвела насильственная коллективизация крестьянства. Об этом писали все эмигрантские газеты и журналы. Но и для молодежи, которая еще мало разбиралась в политике и, в отличие от отцов, чуралась ее, были организованы лекции о судьбе русских крестьян «при большевиках». В книге очерков о русских нравах в эмиграции Геннадий Озерецковский описывает один из таких молодежных вечеров с участием Милюкова, Керенского, Деникина, Струве, митрополита Евлогия.

«Вошел в залу крупный и импозантный митрополит Евлогий с лицом китайского мудреца. С ним маленький архимандрит Савва. Некоторые встали, и митрополит их благословил. Он сел в первом ряду, снял свой белый клобук и положил на колени. Зала волновалась. Многие курили, и сизый дымок поднимался там и сям. Люди пришли и хотели знать, понять, что такое происходит в России, которую они продолжали любить и где Сталин начал насильственную коллективизацию. Стон, который

шел от крестьянской русской земли, далекой теперь по расстоянию, доходил до душ русских эмигрантов и касался их непосредственно. Они как бы стонали вместе... Самым интересным и самым ценным в этом собрании было то ощущение горестного волнения слушателей всех направлений, общей их пульсации с несчастной и страдающей Россией»⁶.

Но в целом отношения между эмигрантскими стариками и молодежью были сложными. Старая эмиграция жила исключительно прошлым, и, даже если думала о будущем России, это будущее представлялось ей в ореоле и образах прошлого. Молодежь Россию помнила плохо, знала о ней больше понаслышке, вздохов стариков не разделяла, но вместе с тем, не без старания старшего поколения, настолько была «повязана Россией», ее культурой и языком, что стать чисто французской так и не смогла. Вероятно, в этой двойственности и кроется трагедия молодого поколения эмиграции — «незамеченного поколения», как назвал его Владимир Варшавский.

Глава 2

«НЕЗАМЕЧЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ»

Эпизоды жизни Владимира Сергеевича Варшавского не случайно избраны нами в качестве «иллюстрации» судьбы молодого человека за границей, русского интеллигента, которого в России при нормальном стечении обстоятельств, вероятно, ожидало служение отечеству по достаточно традиционной схеме жизни русского разночинного интеллигента. Возможно, он пошел бы по стопам своего отца — присяжного поверенного и, работая в судебной системе, по мере сил и традиций русской служилой интеллигенции способствовал бы торжеству истины... Но в его жизнь решительно вторглась революция. Прежний суд был уничтожен. В новой системе правосудия, созданной большевистской властью, не оставалось места ни старым принципам, ни старым кадрам.

Собственно, новой системы правосудия долгие годы и вообще не существовало — вместо традиционного правосудия, созданного судебной реформой Александра II, воцарилось то, что стали называть «революционной законностью», где торжествовал не закон, а ре-

волюционное сознание, «революционная справедливость», питавшаяся классовым чутьем и классовой ненавистью. Судейские чиновники оказались не просто не у дел. Будучи отнесенными новой властью к самой низшей категории населения, к «нетрудовым элементам», они, по сути дела, были обречены на нищенское существование. Из терновых венцов, розданных победившей революцией тем, кто на протяжении веков возвращал идеалы русской демократии, на долю судебных деятелей выпала весьма значительная часть. Многие из них оказались в эмиграции и испили здесь едва ли не самую горькую чашу. Несмотря на то что судебная система царской России была весьма схожей с французской, русские судебные деятели не могли найти себе места в системе французского правосудия, отличавшегося особенной кастовостью.

Путь родителей Владимира Варшавского достаточно характерен для большинства эмигрантов. Вскоре после октябрьского переворота родители уехали в Крым. Когда исход гражданской войны стал ясен, а взаимное ожесточение красных и белых достигло апогея, семья уехала в Чехословакию, увозя с собой сына-гимназиста. Так что гимназию будущий писатель заканчивал в Праге.

Чехословацкое правительство доброжелательно относилось к русским беженцам. Помимо чисто человеческого сочувствия и солидарности славянской интеллигенции в гостеприимстве была и немалая доля практической заинтересованности. Среди изгоев нового режима было немало научной и технической интеллигенции. Русские университеты и высшие технические учебные заведения считались до революции одними из лучших в мире, и приток университетских преподавателей, ученых, инженеров сыграл заметную роль в повышении уровня чехословацкой науки. В целом культурная жизнь славянских стран, принявших беженцев, заметно оживилась.

Чехословацкое правительство щедро давало стипендии русским детям, установило режим «наибольшего благоприятствования» и для русских студентов. Мы теперь много говорим о «европейском строительстве», об «общем европейском доме». В ту пору этих понятий еще не существовало. Да и сама европейская культура не нуждалась в объединении. Она попросту еще не была разделена. В интеллектуальной среде Чехословакии существовало не научное, а скорее естественное,

интуитивное, врожденное чувство единства культуры. Русских принимали не из милости (хотя для многих эмигрантов, оказавшихся без всяких средств, милосердие было необходимо), а из высокого понимания единства культурной Европы, по которой к тому времени еще не успели провести разделительные борозды классового отторжения, превратившиеся со временем в отвратительные рубцы «холодной войны», в «железные занавесы».

Владимир Варшавский окончил юридический факультет Пражского университета. В семье еще жила надежда на возвращение в Россию, на восстановление разрушенных революцией тканей правового государства. Но если развитие экономики и культурной жизни покинутого отечества в годы нэпа еще оставляло шансы на естественную демократизацию большевистского режима, сумевшего отказать от кандалов «военного коммунизма», то реванш «левых» после смерти Ленина и начавшаяся быстрая ревизия ленинского экономического завещания все больше настораживали. Прага, находившаяся всего в двух днях пути от Москвы, внимательно следила за противоборством двух экономических и политических тенденций в руководстве партии. Н. И. Бухарин и другие сторонники продолжения ленинской политики нэпа были принуждены к обороне, а затем и к полной сдаче позиций. Когда осенью 1926 года руководство партии приняло решение в относительно минимальный исторический срок нагнать, а затем и превзойти уровень индустриального развития передовых капиталистических стран¹, для трезвых эмигрантских политиков, уже понявших по периоду «военного коммунизма», чем питаются революционные утопии, стало ясно, что большой скачок потребует и больших жертв. Чем громче со стороны Москвы раздавались призывы к «сверхиндустриализации», тем меньше оставалось надежд на возвращение домой.

В 1926 году Владимир Варшавский осознает окончательно, что его судьба — это судьба эмигранта. Нужно было искать постоянного пристанища. Как и многих других, его влечет эмигрантская Мекка — Париж. Несмотря на богатство музеев и почти парижский шик, ему, родившемуся и выросшему в Москве, в горячей атмосфере предреволюционных интеллектуальных баталий, Прага кажется, как и большинству русских, провинциальной. Политический и культурный центр эмиграции после 1924 года

окончательно перемещается в Париж. Переезжает туда и Владимир Варшавский, уже мечтающий о месте на литературном Парнасе. Ему удается поступить в Сорбонну, и в течение нескольких лет он изучает здесь литературу.

У начинающего эмигрантского литератора в Париже помимо неизбежных материальных трудностей возникала и трудноразрешимая проблема, где печататься. Французские издательства пишущих по-русски эмигрантских авторов не принимали, не делая исключения и для «маститых». Даже русские писатели старшего поколения, пользовавшиеся в России самой громкой славой, в эмиграции практически не публиковались в иностранных издательствах. Исключение представлял разве что Максим Горький, которого усиленно переводили, да Мережковский со своими историческими романами. Кумиры русской публики — Куприн, Бунин, А. Толстой, все без исключения поэты у западноевропейской читающей публики восторгов не вызывали. Русская тоска, русские терзания их мало трогали; красоты русского языка в значительной мере терялись в переводе. Особенно страдали в переводах такие писатели, как И. Шмелев, Б. Зайцев, Н. Тэффи. Оставались русские зарубежные журналы и издательства. Но там из-за огромной конкуренции даже между известными мастерами молодому прозаику найти место было нелегко.

Свой первый рассказ «Шум шагов Франсуа Вийона» Владимир Варшавский смог опубликовать в Праге, где у него остались кое-какие литературные знакомства. Рассказ появился на страницах «толстого» журнала «Воля России». Напечататься там было легче, чем, скажем, в «Современных записках» или «Грядущей России». Знаменитости эмигрантского Парнаса «Воли России» чурались, находя журнал слишком левым.

Заметным отличием «Воли России» был подчеркнута благожелательный интерес к советской культуре, и особенно к новой литературе*. Там регулярно печатались обзоры советских литературных новинок, рецензии и да-

* В 1927 году «Воля России» напечатала большие отрывки из романа Замятина «Мы», после чего у писателя начались серьезные неприятности с властями, закончившиеся отъездом (по сути дела, вынужденным) из СССР. Интересно, что в момент публикации отрывки из романа не вызвали большого интереса в эмигрантской среде. Пророческий и трагический пафос романа был понят много позже.

же отклики на советскую внутрилитературную полемику. Журнал по мере сил пытался рассеять пренебрежительное отношение к советской литературе, достаточно распространенное в литературных кругах эмиграции. Наиболее остро это неприятие выражалось в суждениях Зинаиды Гиппиус. В силу такой позиции у журнала были весьма натянутые отношения с русскими литературными «старцами». В «Воле России» совсем не печатались ни Бунин, ни Куприн, ни Шмелев, ни Алданов, ни Мережковский. Из литераторов старшего поколения там более или менее регулярно появлялся Бальмонт. Зато журнал имел возможность уделить больше внимания молодым прозаикам и поэтам. Так что появление в журнале первого рассказа никому не известного Владимира Варшавского было скорее закономерностью, нежели случайностью.

Рассказ «Шум шагов Франсуа Вийона» был, по сути, прологом ко всему последующему творчеству этого интересного и умного писателя. Так же как Эрнеста Хемингуэя называют писателем «потерянного поколения», Владимира Варшавского можно назвать выразителем дум, страхов и сомнений «незамеченного поколения», поколения русских эмигрантских детей. Их судьба (еще совершенно неизвестная в советской России), наверное, даже более трагична, чем судьба отцов. Отцы уносили с собой «свою Россию», у детей этой своей России не было; она была для них скорее отзвуком жизни родителей. Кроме того, у отцов при всей трагичности выбора он все-таки был. Эмигрантская судьба для многих была тягостной, горькой, но добровольной. Дети же были лишены этого выбора. Они выросли со страшной меткой предрешенности изгнания. Их изломанность, нервозность, неприспособленность и неприкаянность были следствием этой жизни без выбора — тягостным парением в пространстве, которое, с одной стороны, не было родиной, а с другой — не могло ею стать в силу уже упомянутого нами воспитания, «отравленного Россией».

В рассказе Варшавского все пронизано страхом предстоящего одиночества — тема, свойственная для многих молодых поэтов и прозаиков. Но в творчестве Варшавского эта грустная мелодия нашла свое, пожалуй, наиболее полное и философски осмысленное воплощение. Своим творчеством он как бы «собирает» рассеянные по изгнанию души русских юношей и девушек. Результаты



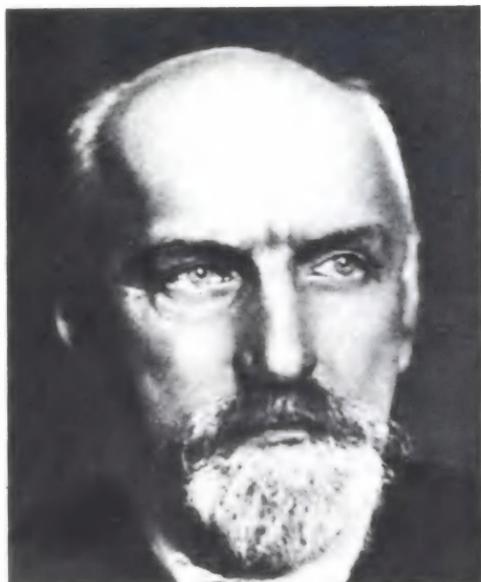
Н. В. Скоблин, К. П. Гордеенко, о. Леонид Розанов, Челядинов.
Галлиполи, 1921



Генерал Е. К. Миллер



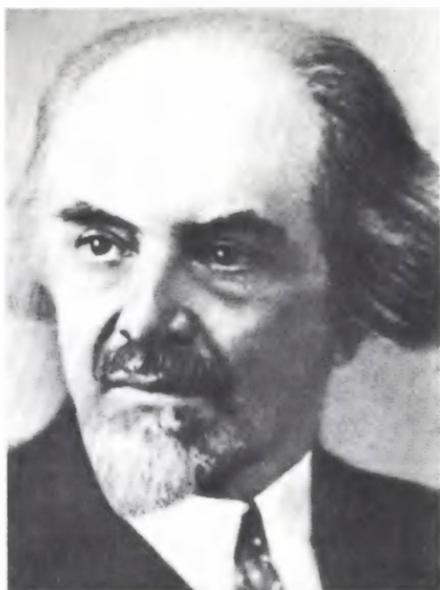
Генерал А. П. Кутепов



В. А. Оболенский



И. А. Бунин



Н. А. Бердяев



С. Н. Булгаков



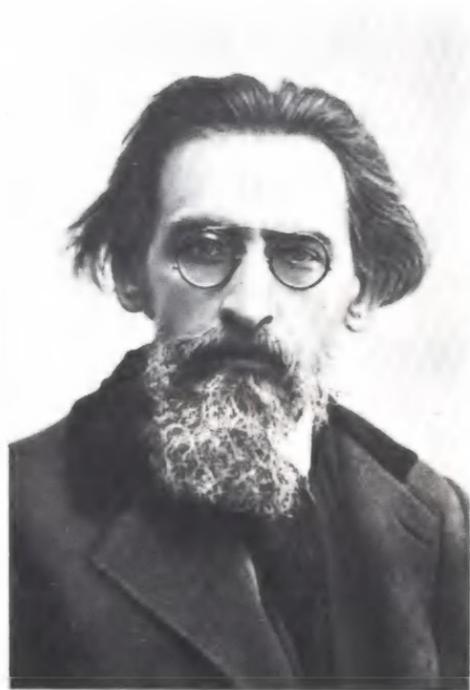
А. М. Ремизов



А. А. Кизеветтер



Д. С. Мережковский



Л. П. Карсавин



Б. К. Зайцев



З. Н. Гиппиус



Роман Гуль



З. И. Гржебин



П. Б. Струве



А. С. Яценко



А. В. Кривоженн



Н. В. Устрялов



П. Н. Савицкий, Н. С. Трубецкой, П. П. Сувчинский



Н. В. Плевцкая



Надпись на одной из неизвестных могил на русском кладбище
в Сент-Женевьев-де-Буа

этих поисков и осмыслений отразились в его книге «Семь лет», вышедшей в Париже в 1950 году.

Личная судьба Владимира Варшавского — как бы слепок с судьбы многих эмигрантских детей. Как и многие русские юноши, он вступает в ряды французской армии (другие активно участвовали в Сопротивлении). Награжден орденом за храбрость, попадает в плен, был освобожден войсками союзников.

Комплекс неполноценности — характерная черта младшего поколения эмигрантов. Они живут и взрослеют как бы в тени своих отцов. В отличие от эмигрантов старшего поколения, занимавших в дореволюционной России достойное место, это люди «без биографии». Жизнь многих из них укладывается в простую и грустную схему: учились, жили, состарились. У отцов было прошлое и не было будущего, у детей не было прошлого, а в будущее они шли как слепцы: с незрячими глазами.

«Мы жили без всякой ответственности, как бы сбоку мира и истории. Нам уже веял в лицо ветерок несуществования. Даже для отцов мы были чужие. „Поколение выкидышей“» — так с горечью пишет о судьбе своего поколения В. Варшавский в книге «Семь лет». В Европе и в Америке было свое поколение «потерянных людей», хорошо знакомых нам по книгам Ремарка и Хемингуэя. Но из всех этих потерянных и разрушенных судеб русские эмигрантские дети были самыми лишними и самыми потерянными. О них никто на Западе не говорил, никто не думал, никто не писал книг. У «потерянных» героев Ремарка и Хемингуэя было отечество; их мятущиеся сердца были разбиты у себя дома, и в самые трудные моменты они могли найти утешение хотя бы в шелесте родных деревьев и трав. «Русские мальчики», оказавшиеся в эмиграции, были лишены даже этой тихой радости. В довершение всего эмигрантские дети в нравственном отношении даже и при наличии отцов жили, в сущности, в условиях «нравственной безотцовщины». Отцы имелись, разумеется, как нечто физическое, как шаткая материальная опора, но нигде разрыв между отцами и детьми не был так глубок, как в эмиграции. Семья в эмиграции часто оставалась последним прибежищем для души, но и в этом прибежище царил глубокий раскол.

Радикальная русская интеллигенция, оказавшаяся в эмиграции и уведшая с собой детей, не пользовалась у

них ни почтением, ни влиянием. Нет, не без оснований эмигрантская молодежь упрекала своих отцов, левую эмигрантскую интеллигенцию в том, что они-то и подготовили это изгнание. Отход молодежи от левой интеллигенции начался, в сущности, еще в ходе гражданской войны. В свете пламени революционного пожара, возгоревшегося от «спички» левых радикалов, так называемые правые консерваторы уже не казались воплощением зла. В какой-то степени, особенно на фоне революционных краснобаев типа Керенского, они представлялись уже как основа стабильности России, символ преемственности, экономического и интеллектуального порядка и дисциплины. Напротив, в отблесках революционного террора, свидетельства о котором регулярно помещались в эмигрантской прессе, «левые» все очевиднее представляли в окровавленных одеждах, были как бы провозвестниками разрушений, гибели культуры.

Не удивительно, что в движении эмигрантских сыновей, начавшем обретать организационные формы в начале 30-х годов, отчетливо прослеживается стремление отмежеваться от отцов. В этом же и истоки кратковременного увлечения незначительной, правда, части русской эмигрантской молодежи идеями фашизма.

Вторая мировая война раскрыла глаза молодежи на суть фашизма, и в подавляющем большинстве своем эмигрантские сыновья пошли под знамена сражающейся Франции. Там русские молодые люди в значительной степени избавились от тяготевших над ними комплексов. В Сопротивлении или в рядах французской армии сражалась эмигрантская молодежь самых разных, часто враждовавших до войны группировок — от «Нового града», тяготевшего к идеям «христианского социализма», до молодых монархистов-демократов, объединявшихся вокруг «Русского временника». Труден был путь эмигрантских сыновей — от бунта против духовного наследия левой русской интеллигенции, от отрицания отечества к осознанию понятия родины в боях второй мировой войны, к пониманию нетленной ценности и единства русской культуры.

Кто они, эти люди, о которых мы не знаем почти ничего? Их отцам «повезло» больше: в течение десятилетий их не утаивали проклинать на страницах советских газет, журналов и книг. Быть может, эти проклятия сыграли хотя бы ту «позитивную» роль, что будоражили сонную память, не давали забыть тех, кто в большей

или меньшей степени был причастен к революции. Детей даже и не проклинали, поскольку не знали, кто они, чем живут, на что надеются. И только теперь, когда и отцы, а в сущности, и дети ушли в мир иной, мы пытаемся по крохам воссоздать их общую судьбу, чтобы сравнить с собой и лучше понять себя и их.

Большинство сыновей эмигрантских родились в первое десятилетие века. Подобно Владимиру Варшавскому, они успели получить в России только начатки образования. Они попали в эмиграцию подростками, еще не прикоснувшимися к настоящей культуре. Лишь самые старшие из них, как, например, Гайто Газданов — один из наиболее одаренных писателей молодой зарубежной России, автор уже известного у нас романа «Вечер у Клер», — успели подержать в руках винтовку и ушли на Запад, опаленные пожаром гражданской войны. Большинство же покинуло Россию, еще не повзрослев. Опыт детства не подкрепился прикосновением к России «серебряного века». Они были русскими по рождению, по интуиции, но великий учитель — русская культура коснулась их лишь кончиками пальцев, и они ушли в изгнание, не став до конца русскими, но уже и обреченные не быть иностранцами. Они помнили родину, но не знали ее. Вернее сказать, не знали достаточно глубоко, чтобы она стала питать их творчество. Оторванные с детства от материнской груди России, они были фатально обречены на творческое бесплодие. Лишь самые сильные, оригинальные характеры и таланты сумели вырваться из эмигрантского плена.

Среди них первое место безусловно занимает Владимир Набоков (Сирин), затем идут Гайто Газданов, Нина Берберова, Владимир Варшавский, Василий Яновский, Роман Гуль. Потом длинная череда литераторов, каждый из которых в какой-то момент кипения эмигрантской жизни был обласкан «мэтрами» или критикой, но потом канул в безвестность. Причина творческой гибели молодых эмигрантских писателей и поэтов была, за редким исключением, одна и та же. Их воспоминаний о России недоставало, чтобы ими можно было жить, а писать на «французскую» или «английскую» тему они не могли: не хватало традиции, знания местной жизни (мы уже говорили о том, что большинство русских жили как бы в своеобразном культурном гетто), мешало отсутствие связей в сложном литературном мире Парижа, велика была и конкуренция «своих».

Да и старшее поколение писателей, поэтов, критиков, оказавшееся в эмиграции, было слишком занято оплакиванием собственной судьбы, собиранием осколков разбитых и выброшенных святынь, чтобы уделить незаметно выросшим детям достаточно внимания.

В «Исповеди сына века» Альфреда де Мюссе есть строки, касающиеся судьбы детей его собственного времени. И приходится только удивляться, как одна и та же трагедия повторяется из века в век, порождая все тех же героев.

«...Но война кончилась; Кесарь умер на далеком острове. Тогда на развалинах старого мира села тревожная юность. Все эти дети были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битв. В голове у них был целый мир; они глядели на землю, на небо, на улицы и на дороги, — все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении. Три стихии делили между собой жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто подобное океану... настоящий век, наш век, одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то, ни другое и походит на то и другое вместе, где на каждом шагу недоумеваешь, идешь ли по семенам или по праху...

О, народы будущих веков! Когда в жаркий летний день склонитесь вы над плугом на зеленом лугу отчизны; когда под лучами яркого, чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу; когда, отирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, — скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало»².

У эмигрантских детей России, и в самом деле, не было того, что утешало в изгнании отцов: не было настоящего дела, которое могло бы стать если не смыслом жизни, то хотя бы имитацией этого смысла. Оказавшись в Париже и обустроившись на постоянное жительство, отцы воссоздали вокруг себя декорации того

мира, который был знаком им по России. Они жили в этих декорациях, с большим или меньшим талантом разыгрывая сцены из жизни общества дореволюционной и революционной России. Собравшиеся на тесном парижском «пяточке», эти бывшие видные люди Российской империи — писатели, философы, художники, богословы, артисты, чиновники, офицеры, земцы, врачи, знать, адвокаты, судьи, политики — воссоздали в миниатюре маленький театральный мир, в котором, увы, не осталось свободных ролей для собственных детей. Отцы издавали книги, газеты, журналы. Они заполняли собственными произведениями — значительными и малозначительными — все свободные полосы и страницы, и это давало им иллюзию былой влиятельности. Вокруг них кипела стихия настоящей французской жизни, с которой они почти не соприкасались. И на самой периферии их бытия копошились их собственные дети.

Огромная часть трудовой, жившей материальными и житейскими заботами эмиграции относилась к «высшему эмигрантскому обществу», к бывшим деятелям России с недоверием. И эти чувства разделяла эмигрантская молодежь, которая не могла не прийти к пониманию того, что оказавшиеся не у дел отцы отечества, русская либеральная интеллигенция, подготовившая революцию, несут в значительной мере ответственность и за ее ужасы и разрушения. Нередко в спорах об отцах всплывало имя прекраснодушного и либеральнейшего Степана Трофимовича Верховенского, воспитателя и наставника «бесов». Далеко не случайно, что отчаявшаяся молодежь проклинала, а время от времени и стреляла не в военных вождей «белого движения», а именно в тех, кого в эмиграции считали «левыми» и «прогрессивными», например в Павла Николаевича Милюкова. Доставалось и Петру Бернгардовичу Струве. Среди русской учащейся молодежи в Праге, а затем в первые годы парижской жизни, когда еще не истлели надежды на возвращение, достаточно распространенным мнением было, что первого, кого следует «повесить» по возвращении в Россию, — это Петра Струве.

Характерно, что левую интеллигенцию обвиняли не только правые, «военный контингент» эмиграции и немногочисленные, но весьма активные «черносотенцы», но и те, кого в дореволюционной России принято было именовать «либеральными кругами русского образованного общества».

Собственно, кризис радикализма в России, по мнению ряда исследователей, начался за несколько лет до первой мировой войны. Об этом, в частности, свидетельствуют данные о численном составе партии большевиков накануне Февральской революции. Свидетельством этого было и русское религиозно-философское возрождение начала века, охватившее значительную часть русской интеллигенции и оттянувшее от марксизма целый ряд видных представителей левой интеллигенции. Вспомним судьбу Николая Бердяева, начинавшего как марксист и ставшего с годами одним из виднейших представителей русской философско-религиозной мысли. Русское религиозно-философское возрождение не потеряло своего импульса и в эмиграции и было, пожалуй, единственным центром, который объединял отцов и детей и где царило не отчуждение, а единение душ.

Было бы неправомерным обвинять русскую интеллигенцию в той драме, которая разыгралась на просторах России (хотя такие обвинения слышатся и по сей день, в том числе и в Советском Союзе): интеллигенция стала первой жертвой революции и последовавшего за ней террора. Однако эмигрантская молодежь, не желавшая в большинстве своем заниматься политикой, тем не менее вменяла разрушение России в вину именно интеллигенции. Причина такого несправедливого переноса вины отчасти объясняется тем, что левая интеллигенция в эмиграции была наиболее активной частью. Царская семья, которая в момент революции являлась символом разложения власти, была уже расстреляна большевиками. Винить ее в эмигрантских кругах считалось делом малодостойным: казнь Романовых в Екатеринбургe (ныне Свердловск) в ночь с 29 на 30 июля 1918 г. придавала этим незадачливым правителям России ореол мученичества.

Винить военных тоже было не очень правомерно: большинство из них подчинялось приказам. К тому же эмиграция хорошо помнила, какие тяжелые потери русское офицерство понесло в первой мировой войне: в ходе боев погибло более 60 тыс. офицеров. Памятен был и «красный террор», обрушившийся на тех офицеров разбитой армии Врангеля, которые не пожелали спастись бегством и остались в Крыму, сдавшись «на милость победителей». Кровавая «чистка» Крыма унесла, по ряду подсчетов, примерно 40 тыс. жизней³.

При оценке отношения эмигрантской молодежи да и

вообще эмиграции к офицерству, оказавшемуся за границей, не следует забывать и тот факт, в силу многих причин долгие годы находившийся «в тени» советской истории, что к концу первой мировой войны русская армия претерпела радикальные перемены. Русское офицерство на 80 процентов составляли выходцы из мелкой и средней буржуазии, интеллигенции. Были среди офицеров и дети рабочих и крестьян.

По подсчетам советских исследователей, из солдат в прапорщики во время первой мировой войны было произведено более 22 тыс. человек. К тому же во время гражданской войны сами понятия «белые» и «красные» нередко были смешаны, размыты из-за насильственных мобилизаций и теми и другими. Касалось это прежде всего рядового состава, но в сети насильственных мобилизаций нередко попадали и младшие офицеры из вчерашних студентов. На это явление обращает внимание в своих воспоминаниях В. А. Оболенский, хорошо знавший, будучи председателем губернской земской управы Крыма, состояние войск генерала Врангеля. Он пишет, говоря о последних днях «белого» Крыма: «...И чем больше всматривался я в окружающих меня солдат, тем яснее понимал их настроение. В нем не было ни отчаяния от понесенного поражения, ни злобы и негодования на вождей за безрезультатно пролитую кровь. Они просто радовались тому, что миновала страдная пора, что больше им не нужно мерзнуть на ночлегах, прикрываясь рваными шинелями, делать утомительные переходы, обматывая тряпьем сбитые и стертые ноги, и вечно рисковать жизнью, сражаясь то в рядах красных против белых, то обратно, идя в атаку против своих вчерашних товарищей. Ведь мобилизованные с обеих сторон крестьяне, не понимая смысла братоубийственной войны, легко сдавались в плен. А пленных сейчас же мобилизовывали во враждебной армии и снова посылали на фронт. В последнее время армия Врангеля наполовину состояла из пленных красноармейцев»⁴.

Многие из этих «прапорщиков», откатываясь с волнами белой армии, в конце концов оказались в эмиграции — невольные заложники дисциплины, воинской чести, насильственных мобилизаций. Винить их за последствия революции и в особенности гражданской войны эмиграция, естественно, не могла. Но найти виновника трагедии изгнания хотелось. И чаще всего негодующий палец указывал в сторону левой интеллигенции, оказавшейся в изгнании в роли «мальчика для битья».

Надо отметить, что в сознании эмигрантской молодежи под влиянием вначале гражданской войны, а затем политических и нравственных катаклизмов «военного коммунизма» с его откровенным насилием над трудящимися массами, прежде всего над крестьянством, многие прежде устойчивые политические понятия сместились и даже поменялись местами. Правые, которые в дореволюционной России вызывали презрение и отвращение всей демократической молодежи, здесь, в изгнании, утратили свое мрачное обличье. Русский консерватизм и экономический эволюционный реформизм столыпинского толка перестали быть символами реакции. Даже те ограниченные демократические институты — Государственная дума, суд, земство, легальные партии, умеренная гласность, — которые сложились в лоне монархии к началу первой мировой войны, казались в сравнении с новыми «левыми» порядками в России неким нереальным сном из времен «серебряного века». Само понятие левизны ассоциировалось теперь с неспособностью интеллигенции удержать начавшуюся в России революцию в берегах демократии и законности. Эмиграция обвиняла демократическую интеллигенцию в том, что она не смогла удержать свои позиции под натиском экстремистов, олицетворением которых был Троцкий. Нравственные симпатии эмигрантской молодежи сместились в сторону участников разгромленного «белого движения», которые, в отличие от прекраснородушного революционера Керенского, не словоблудствовали, а проливали кровь за «белую» идею.

В этом смещении понятий одна из загадок того, почему уже в ходе гражданской войны дети русских интеллигентов, испытавшие горькое разочарование в революции, массами шли не в Красную Армию, а к белым. С тем же самоотвержением, с каким «русские мальчишки» шли до революции в тюрьмы, на каторгу, на баррикады за идеалы демократии и свободы, они уходили в «ледяной поход» или под знамена Врангеля, заведшие их в конце концов в эмиграцию.

Драматическая судьба «русских студентов» времен революции с документальной точностью описана одним из участников «ледяного похода» Романом Гулем в его книге «Конь Рыжий». Автобиографический герой романа, молодой офицер из недавних студентов, демократ по убеждениям, сочувствовавший прежде идеям революции, пробирается на Дон, чтобы принять участие в борьбе за Россию на стороне Добровольческой армии.

Судьба «русских мальчиков» в революции волновала многих эмигрантских писателей из молодых. Это одна из «сквозных» тем русской эмигрантской литературы. Споры велись, однако, не столько на страницах журналов, газет и книг, поскольку, как мы уже упоминали, молодых прозаиков печатали неохотно, сколько в многочисленных литературных студиях, клубах, объединениях. Исключение составляли, пожалуй, только «Числа» — сборник, выходящий в Париже с 1930 по 1934 год. Появлялся он крайне нерегулярно, и всего вышло в свет десять номеров. Тем не менее сборник является одним из ценнейших источников сведений о жизни русской эмиграции, особенно ее молодежи.

Сейчас «Числа» являются библиографической редкостью, литературным антиквариатом. И не только потому, что вышло всего десять номеров, но прежде всего потому, что, в отличие от большинства других эмигрантских изданий, «Числа» печатались на превосходной бумаге, отличались изысканностью шрифтов, богатством иллюстраций, в том числе и цветными вкладками — редкостью в те времена. Внешне «Числа» чем-то напоминали дореволюционный петербургский «Аполлон».

Редактором сборника был Николай Авдеевич Оцуп (1894—1958), пользовавшийся хорошей репутацией эмигрантский поэт и критик. Его причисляли к акмеистам. Обычно его поэтическое имя фигурировало рядом с Георгием Ивановым, Георгием Адамовичем, Ириной Одоевцевой. Николай Оцуп считал себя учеником Гумилева, и до того, как их развела судьба, они находились в дружеских отношениях. Собственно, литературная жизнь Н. Оцупа в эмиграции сложилась не очень удачно. Хотя он и был признанным поэтом, начавшим печататься еще в России (свою первую книгу стихов «Град» он выпустил в 1921 г., еще до отъезда за границу), его литературное наследие периода эмиграции незначительно. Стихи Н. Оцупа, печатавшиеся и в «Современных записках», и в «Числах», так и не были собраны в сборник и ныне почти забыты.

Для исследователя русской эмиграции наибольший интерес представляет его «Дневник в стихах» — обширный, если не сказать монументальный, поэтический труд, вышедший в 1950 году. Это в некотором роде роман в стихах, содержащий множество сведений и размышлений в форме лирических отступлений. «Дневник» написан от первого лица и читается как роман об эмиграции.

По объему он превышает «Евгения Онегина», но весьма далек от пушкинского слога. Впрочем, как и «Евгений Онегин», поэтический роман Николая Оцуца можно было бы назвать «энциклопедией» русской эмигрантской жизни. Современники Оцуца иронизировали по поводу этого объемного труда, что это — гражданский подвиг, имея в виду между тем, что подвигом является чтение этого романа. Действие «Дневника в стихах» охватывает огромный период — от детских воспоминаний в Царском Селе, первых литературных шагов в Петербурге, революционных лет в России, встреч с Горьким до конца второй мировой войны.

Эмигрантские критики не без оснований считали «Дневник в стихах» крупнейшей неудачей поэта. Но сейчас, с ходом лет, эта «неудача» приобретает особый смысл: за нагромождением трудночитаемых стрóf, перемежающихся прозаическими вкраплениями, встает реальная жизнь литературной эмиграции с ее страстями, нервами, с ее надрывом и бесконечными поисками своего места в калейдоскопическом русско-парижском мире.

Одна из причин не очень удачной поэтической судьбы Н. Оцуца кроется, вероятно, в том, что он в какой-то степени пожертвовал собственной поэзией, чтобы помочь своим более молодым поэтическим собратьям. И в самом деле «Числа» для многих начинающих поэтов и прозаиков были той последней соломинкой, за которую мог ухватиться безымянный эмигрантский литератор.

Появление «Чисел» на эмигрантском литературном небосклоне в 1930 году вызвало целую бурю эмоций. Отклики на первые номера можно отыскать в эмигрантской прессе, в сущности, всех стран, где была хоть незначительная колония русских. Анализ эмигрантской прессы 30-х годов свидетельствует, что каждая новая книжка «Чисел» вызывала бурные споры. «Старшее» литературное поколение обрушивалось на журнал с обвинениями в снобизме, аполитичности и даже в распущенности. Но все без исключения критики признавали, что «Числа» стали приютом молодых. Отсюда и полемичность тона редакционных статей, и задиристость критики, и модернизм стихотворного стиля.

Тон «Чисел» и в самом деле страдал некоторой нервозностью, что, впрочем, отражает общий психологический настрой эмигрантской молодежи. С самого начала журнал заявил о своей аполитичной направленности, чем сразу же отрезал себя от старшего поколения, грешив-

шего и в эмиграции игрой в политику. В этой связи возникли и финансовые затруднения. У журнала, по сути дела, не было постоянного финансового источника, и он существовал на нерегулярные пожертвования. Отсюда — нерегулярность его выхода. Настрою журнала свойственна апокалипсичная претенциозность мироощущения, проистекавшая от восприятия эмигрантской молодежью жизни как катастрофы, а своей личной судьбы — как «потери».

«Война и революция, в сущности, только dokonчили разрушение того, что кое-как еще прикрывало людей в XIX веке, — говорится в редакционном анонсе первого номера «Чисел». — Мировоззрения, верования — все, что между человеком и звездным небом составляло какой-то успокаивающий и спасительный потолок, — сметены и расшатаны — «и бездна нам обнажена». У бездомных, у лишенных веры отцов или поколебленных в этой вере, у всех, кто не хочет принять современной жизни такой, как она дается извне, обостряется желание знать самое простое и главное: цель жизни, смысл смерти. «Числам» хотелось бы говорить главным образом об этом...»⁵.

Глеб Струве, один из знатоков русской эмигрантской литературы, автор книги «Русская литература в изгнании», не без иронии писал по поводу этого редакционного манифеста, что «о смерти говорилось в «Числах» больше, чем о цели жизни».

«Числа» интересны, однако, не только тем, что они являют собой как бы молодежный срез эмигрантской жизни, но и тем, что в течение всего периода своего существования они были, в сущности, центром притяжения для творческой молодежи, своеобразным клубом, вокруг которого организовывалась достаточно активная литературная жизнь молодой эмиграции.

Авторы «Чисел» — молодые прозаики, поэты, критики — принимали участие практически во всех диспутах и литературных вечерах, весьма характерных для культурной жизни Парижа 30-х годов. «Числа» устраивали и собственные литературные вечера. Обыкновенно молодежь собиралась в зале «Дебюсси», дом 8 по улице Дарю, той самой, где размещалась и главная церковь русского зарубежья. В 30-е годы, когда война еще не рассеяла «русский блистательный Париж», зал набивался битком. И дело не только в том, что вечера «Чисел» нередко носили скандальный, эпатажный характер и часто завершались потасовками. Интерес к этим вечерам

поддерживался и тем, что старые эмигрантские политики — то ли из чувства вины перед уведенным в эмиграцию поколением, то ли из понимания необходимости связи «с будущим эмиграции» — полагали своим долгом появляться на этих вечерах. Чаще всего присутствовал П. Н. Милюков, считавшийся в эмиграции чуть ли не «красным». Монархистствующее крыло «русского» Парижа от посещения вечеров воздерживалось.

На первом открытом вечере «Чисел», устроенном 12 декабря 1930 г.⁶, со вступительным словом выступил Н. Оцуп. В диспуте приняли участие Г. Адамович, З. Гиппиус, П. Гронский, Г. Иванов, Д. Мережковский, П. Милюков, Б. Поплавский, В. Талин, Г. Федотов, М. Цетлин.

Практически через все споры и диспуты, проходившие под крышей «Чисел», сквозила тема трагедии молодого поколения. На вечере «Чисел» в Париже в 1933 году молодой эмигрантский писатель А. Алферов говорил: «Наше поколение, пройдя наравне с другими через всю грязь и весь героизм гражданской войны, через падения и унижения последних лет, не может утешить себя даже прошлым: у нас нет прошлого. Наши детские годы, годы отрочества протекали в смятении, недоумении, ожидании; воспоминания о них смутны на фоне войны и революции. Мы не знали радости независимого положения, к нам не успели пристать никакие ярлыки — ни общественные, ни политические, ни моральные... После российской катастрофы иностранные пароходы разбросали нас, как ненужный хлам, по чужим берегам голодными, внешне обезличенными военной формой, опустошенными духовно. Отчаяние или почти отчаяние — вот основа нашего тогдашнего состояния. Наши взоры были обращены не вперед, а назад, и только с Россией связаны были у нас еще кое-какие надежды. Мы видели сны о войне, о пытках, о наших женах, детях и матерях, расстреливаемых в застенках, о родном доме — и просыпались в животной радости освобождения. Мы мечтали о том, как рыцарями «без страха и упрека», освободителями, просвещенными европейским опытом, мы предстанем перед своим народом»⁷.

Но этим снам вчерашних полустудентов, полуофицеров не суждено было сбыться. Надежды на возвращение к середине 20-х годов растаяли, и идея возвращения жила лишь как некий миф, питающий эмигрантско-трактирный фольклор. Некоторые из прежних нигилистов и «неиспра-

вимых социалистов» метнулись от отчаяния в крайний монархизм и, сделавшись таксистами или чернорабочими, люто возненавидели всякий социализм и даже в «Последних новостях», издаваемых в Париже П. Милюковым, видели «красную заразу». Эти «монархисты» от отчаяния с нервным восторгом читали крайне правую газетенку «Часовой», питая свою ненависть страшными вестями из России, которые, в сущности, и не нужно было преувеличивать, чтобы от них мутилось сознание. По вечерам эти непримиримые отправлялись в один из русских кабачков, где спускали заработанное за день, напиваясь под треньканье балалайки до полубеспамятства. Культивирование ненависти, осознание несостоявшейся жизни вели, как правило, к полному обеднению чувств, к мрачному отупению. Время от времени французская полиция находила где-нибудь на пустыре человека с простреленной головой, в кармане обтрепанного пиджака которого обнаруживалась смятая, написанная химическим карандашом записка к какому-нибудь старому другу с просьбой похоронить по-русски. Судьба такого бывшего студента, романтика, почти революционера, а затем шофера-пролетария и человеконенавистника с глубоким трагизмом описана в повести Анатолия Алферова «Дурачье». В центре повести — несчастная судьба одного из бывших «русских мальчиков» Ивана Хлыстова.

«До самого конца Иван Осипович Хлыстов жил своей обычной жизнью — «как все». Только в последний день за ужином он вдруг встал из-за стола и сказал, обращаясь почему-то не к хозяину-французу, а к русскому соседу: «Эх вы! Супа — и того не умеете приготовить!» Слова были произнесены по-французски, громко и дерзко, в присутствии завсегдатаев. Ивана Осиповича с бранью выпроводили... Затем его видели танцующим в дансинге часов до одиннадцати вечера; половина двенадцатого — он разговаривал на улице с Сычевым (Сычев был пьян и помнит только, что Иван Осипович казался бурновеселым, беспрестанно хлопал его по плечу; за что-то хвалил, рассказывал о своем уходе с завода — его в этот день сократили, а на прощанье дал пять франков на водку), а в двенадцать он повесился. Когда наутро прислуга вошла в комнату, то колени его почти касались пола, малейшее, даже бессознательное усилие могло спасти его от смерти... Вот и косяк оконной рамы, через который он перекинул веревку. Хозяйка разрежала ее потом на двадцать три части и распродавала по десяти

франков за обрезок. Последний — самый маленький и оборванный — достался мне, как подарок за небольшую услугу. Он и сейчас лежит у меня на полке в трюме, на нем еще уцелела сероватая пыльца от высохшего мыла. Хлыстов не оставил после себя ничего: все богатство заключалось в засаленном костюме с заложенной в боковой карман предсмертной запиской. Она содержала одно только слово: „Дурачье”⁸.

Многих из таких вот иванов осиповичей от последнего отчаяния спасла, как это ни парадоксально звучит, разразившаяся в Европе новая мировая война. Нависшая над проклинаемым отечеством опасность многих отрезвила от страшного сна ненависти. С новой силой разгорелись надежды. Был и еще один спасительный нюанс: единственное, чему научились в своей исковерканной жизни бывшие «русские мальчики», — это владеть оружием. Теперь это ремесло могло пригодиться вновь. Во время войны во французской армии сражалось более 3 тыс. русских эмигрантов.

Глава 3

СТУДЕНТЫ

Число студентов-эмигрантов подсчитать трудно. Данные, которыми мы располагаем, позволяют сделать это весьма приблизительно. Так, Анатолий Афанасьев, автор хорошо документированной книги об эмиграции «Польнь в чужих краях», пишет, что на 1924 год общее число учащихся в русских школах и интернатах за границей превышало 13 тыс. Учитывая, что значительную часть эмиграции составляли интеллигенты (больше половины), естественно предположить, что многие дети из интеллигентских семей после окончания школы продолжали образование и стали студентами. Материальные возможности для этого были, особенно в первые годы после исхода, когда у эмиграции еще имелись средства. Кроме того, были созданы разного рода фонды и стипендии, облегчавшие материальное положение студенчества. Мы уже упоминали о том, что правительства Чехословакии, Болгарии, Югославии предоставили для русских учащихся режим благоприятствования. Эмиграция создала и собственную систему высшего образования.

Много полезных и ценных данных о русском студен-

честве и об организации высшего образования в эмигрантской среде содержится в справочном труде П. Е. Ковалевского «Зарубежная Россия», упомянутом в первой части книги.

Русская академическая и учебная жизнь за границей, можно сказать, была «обречена» на активное существование в силу хотя бы того прискорбного факта, что советская Россия с вызывающей самые горестные чувства неосмотрительностью выпроваживала в эмиграцию свои академические силы, не желая признать естественное право русской интеллигенции на независимую от утвердившейся идеологии мысль. О жизни русских ученых и профессоров в эмиграции писал в своей брошюре «Русская научная организация за границей» бывший ректор Московского университета, известный зоолог профессор М. М. Новиков, высланный с большой группой интеллигенции в 1922 году. Брошюра вышла в 1935 году в Праге в издании Русского свободного университета.

«Русские ученые, приставши к гостеприимным берегам других государств, в которых они нашли приют, тотчас же начали изыскивать новые возможности для продолжения научной работы, — пишет М. М. Новиков. — Конечно, лишь в исключительных случаях им удалось восстановить приблизительно такую же обстановку работы, какой они располагали дома. Большинство русских эмигрантских ученых было принуждено или довольствоваться скромным положением в иностранных научных учреждениях, или организовывать свои русские учреждения, которые естественно располагали для работы лишь минимальными материальными средствами... Однако ни катастрофа, сломавшая весь жизненный и научный обиход ученых, ни тяжелые условия зарубежного существования не угасили духа научного искания, и в настоящее время на пространстве всего почти земного шара русские ученые успешно шествуют по путям исследовательской работы, дружно и в ногу со своими заграничными коллегами»².

Горько сознавать, что эти ученые были лишены возможности работать на благо собственной родины и что сама родина вскоре уже не могла идти «в ногу со своими заграничными коллегами», а вынуждена была трудиться в узком пространстве, оставленном для официальной науки, в жестких условиях идейного догматизма и надзора.

Точное число русских профессоров и научных работников, рассеянных в эмигрантском мире, как и число

студентов, назвать трудно. Некоторое представление об этом дает опрос, проведенный Русским научным институтом в Белграде в 1931 году. На разосланную анкету отозвались многие русские ученые. В результате удалось установить, что за рубежом работает около 500 русских ученых. Среди них были 5 академиков и около 140 профессоров российских университетов и институтов. Общее число всех научных работников старшего и среднего поколений в зарубежье составляло около тысячи человек, считает П. Е. Ковалевский. Вместе с молодым поколением, получившим образование уже за границей, эта цифра должна быть удвоена.

Вскоре после начала эмиграции русские ученые начали «самоорганизовываться». Профессор М. М. Новиков писал по этому поводу: «Часто приходится слышать, что русские плохие организаторы... Однако русские ученые представляют в этом отношении счастливое исключение. Как только они осели в эмиграции, среди них началась деятельная работа по созданию общественных организаций. В результате очень скоро возникли Общество русских ученых в Югославии и русские академические группы в Берлине, Болгарии, Великобритании, Италии, Константинополе, Париже, Польше, Риге, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии и Чехословакии»³.

В 1921 году в Праге проходил первый съезд русских ученых, на котором председателем Союза академических организаций был избран профессор А. С. Ломшаков. В принятом уставе среди главнейших задач русских ученых значились забота о русских студентах за границей, помощь студентам и ученым, оставшимся в России, забота о воспитании детей русских беженцев. Уже в 1924 году в Праге был проведен третий съезд, который, в отличие от первых двух — главным образом организационных, был всецело посвящен развитию науки. В какой-то мере это был «смотр» выброшенной за границу русской науки. На съезде было прочитано 160 научных докладов, свидетельствовавших, по воспоминаниям участников, что русская наука за рубежом продолжала развиваться и в целом не уступала уровню мировой науки.

В первые годы эмиграции центром русской науки считалась Прага, но позднее он переместился в Париж. Научный уровень «парижской секции» русской науки был настолько высок, что в ней с самого начала участвовали французские ученые. Правительство Франции, заинтере-

сованное в «русских идеях» и русском уме для развития своей национальной науки, предоставило академической группе ученых постоянное помещение для собраний. Высокий статус русской академической группы в Париже давал ей возможность успешно ходатайствовать перед французским правительством о помощи русским учащимся и русскому студенчеству. Благодаря этому при ряде французских лицеев возникли русские отделения, была создана русская гимназия. При академической группе был учрежден и отдел средней школы, во главе которого встал известный деятель российского просвещения Евграф Петрович Ковалевский. Он оставался на этом посту до второй мировой войны и входил в состав французской министерской комиссии по организации русского среднего образования во Франции.

Русские школы со временем были организованы практически во всех странах, где осела хоть скольконибудь значительная группа эмигрантов. Но высшие учебные заведения существовали лишь в трех городах: в Париже, Праге и Харбине. Со временем большая их часть сосредоточилась в Париже.

В «столице» русской эмиграции было основано восемь высших учебных заведений, которые принимали не только «русских французов», но и студентов из всей русской диаспоры. По официальному статусу и уровню преподавания на первом месте стояли русские отделения при Сорбонне. Французское министерство образования привлекло к преподаванию более 40 известных русских профессоров. Причем часть этого профессорского состава читала лекции как на русских отделениях, так и для французских студентов. Из других высших учебных заведений эмиграции можно назвать Коммерческий институт, Русский политехнический институт, Высший технический институт. Православный богословский институт. Имелась в Париже и Русская консерватория имени С. Рахманинова.

С 1925 года начал работать Франко-русский институт — высшая школа социальных, политических и юридических наук. Особенность этого учебного заведения состояла в том, что оно ориентировало своих слушателей на работу в России. В основе его деятельности лежала концепция «возвращения».

Разумеется, к 1925 году, когда открылся этот институт, идея «военного решения» существовала лишь теоретически. Никто из крупных деятелей русской эмиграции

не воспринимал всерьез возможности искоренения большевизма вооруженным путем. Исключение составляли некоторые деятели «Русского общевойскового союза». Но и для них идея спасения России при помощи штыка была скорее пропагандистской, идеей, позволявшей поддерживать боевой дух среди членов РОВС.

Новая экономическая политика, начатая в 1921 году и приведшая к 1925 году к заметным экономическим сдвигам, способствовала распространению идеи о возможности внутренней эволюции большевизма — так называемого «внутреннего преодоления». Политические деятели эмиграции, поддерживавшие Франко-русский институт, полагали, что возвращение России после нескольких лет «военного коммунизма» на рельсы естественного экономического регулирования средствами рынка и свободной торговли постепенно приведет к возрождению в стране нормальной для демократии западного типа политической жизни. В сущности, для этой будущей гипотетической жизни и готовил кадры Франко-русский институт.

В институте занимались 153 студента. Дипломы были приравнены к дипломам окончивших французский университет, что давало выпускникам право по окончании работать по специальности во французских фирмах или в университетах. Председателем правления института был известный французский социолог Гастон Жэз, а председателем совета профессоров — П. Н. Милюков.

Несколько особняком стоял Народный университет, который формально считался высшим учебным заведением — прежде всего благодаря высокому качеству читавшихся в нем лекций. Но фактически Народный университет объединял под своей крышей многочисленные курсы профессиональной подготовки и повышения квалификации. При Народном университете имелся и общеобразовательный факультет. Но дипломы этого университета реальной силы не имели.

Народный университет начал работать в Париже с 1921 года. Помимо общеобразовательных дисциплин там читались курсы по электротехнике, автомобильному делу, радиотехнике. Для девушек имелись курсы вышивки, кройки и шитья, чертежные. Учеба была частично платной. До 75 процентов расходов покрывалось слушателями, остальное предоставляли Земгор* и Академический союз. За первые десять лет работы, с 1921 по 1931 год, Народ-

* Объединение российских земских и городских деятелей за границей.

ный университет дал образование более 4 тыс. русских молодых людей.

Коммерческий институт полностью содержался на средства Земгора. Руководство института иллюзий «возвращенчества» не разделяло и ориентировало своих слушателей главным образом на работу во французской промышленности и торговле. В силу такого прагматического подхода и преподавание там велось на французском языке и лишь часть курса читалась по-русски. Институт был двухгодичным.

Особое место среди высших учебных заведений эмиграции в Париже занимала Русская консерватория. Она была не только местом учебы, но и одним из центров русской культурной жизни. Выросла она из небольшой музыкальной школы, которая в первые же годы жизни эмиграции была создана при Народном университете. Школа, где имелись классы фортепьяно, скрипки, пения, духовых инструментов, принимала не только детей и молодежь, но вообще всех желающих приобщиться к музыкальной культуре. Директором музыкальной школы был Ю. Н. Померанцев. Но по мере того, как русская эмиграция в Париже разрасталась, а отток крупных музыкантов из советской России увеличивался, в столице Франции собрались столь серьезные творческие силы, что вопрос о создании консерватории встал как бы сам собой.

В 1921 году в Париже обосновался выехавший из советской России известный композитор, дирижер и деятель русской музыкальной культуры Николай Николаевич Черепнин. Во Франции его имя было хорошо известно, ибо он являлся одним из активных участников «русских сезонов» за границей. Он и стал создателем Русской консерватории в Париже. Организована она была по образцу Московской и Петербургской консерваторий. А поскольку русская музыкальная культура отчасти благодаря дягилевским «русским сезонам» за границей имела огромный авторитет, то успех вновь созданного учебного заведения был как бы предопределен.

Преподавали в консерватории виднейшие педагоги-музыканты. Среди профессоров были: по классу фортепьяно — О. Конюс, П. Львовская, Р. Оцуп, Е. Степанова, С. Мелик-Беглярова, Ю. Френкель, Б. Зак, А. Рахманова; по классу пения — С. Гладкая-Кедрова, М. Славина, Е. Тер-Карганова, А. Ян-Рубан, В. Страхова, А. Александрович, В. Бернарди, И. Кедрова; по классу скрипки — В. Вальтер, Б. Каменский, Ю. Конюс.

Директорами консерватории после Н. Н. Черепнина (умер в 1945 г., похоронен под Парижем на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа) были князь С. Волконский, П. Ковалев, А. Требинский, В. Поль, А. Андреев.

Студентами в консерваторию принимались не только русские, но и иностранцы. Особенно много иностранных студентов было в балетной студии, которой руководил Сергей Лифарь. Окончившие Русскую консерваторию в Париже до сих пор работают во многих странах мира, ее деятельность способствовала распространению русской музыкальной культуры за рубежом.

И поныне Русская консерватория в Париже размещается все в том же особняке на набережной Нью-Йорк неподалеку от Эйфелевой башни, но только по другую сторону Сены. Былой славы, правда, у нее уже нет. Почти нет и студентов. Так что название консерватории сохраняется скорее по традиции. В сущности же, это один из «русских клубов» в Париже, но с музыкальным оттенком. Занятия, идущие в консерватории, носят скорее любительский, нежели профессиональный характер. Дают там и концерты. Но собирают они в основном русских престарелых эмигрантов. В этих концертах много трогательного, старомодного, ностальгического: и исполнители, и слушатели несут печать прошлого, ушедшего.

В наше время Русская консерватория действует как общественный центр русского музыкального просветительства, и там читаются неплохие лекции о русской музыке, о русской культуре.

Огромную роль в судьбе русского студенчества во Франции сыграл основанный в 1922 году в Париже Центральный комитет по обеспечению образования русскому юношеству за границей. Комитет был создан по инициативе М. М. Федорова — видного государственного деятеля дореволюционной России. Перед революцией он был министром торговли и промышленности в правительстве С. Ю. Витте, а с начала первой мировой войны возглавил Земско-городской комитет по снабжению армии. Оказавшись за границей, он все силы отдал заботе о русском студенчестве. Его по справедливости называли «отцом русского студенчества за рубежом».

Судьба студентов в эмиграции складывалась нелегко. Требовались большая воля и физическая выносливость, чтобы получить образование. Ведь, как правило, студентам приходилось и работать, и учиться. Стипендии были

невелики и обеспечивали лишь весьма скромный прожиточный минимум. Большинство студентов летом нанимались на самые тяжелые физические работы, чтобы скопить денег на покупку учебников и пережить трудную зиму. Помощь им была крайне необходима, и М. М. Федоров внимательно следил за тем, чтобы ни один франк из субсидий и пожертвований на нужды студентов не пропал. Политический опыт и старые связи во французских правительственных кругах давали Федорову возможность добиваться и правительственной помощи русским студентам. При поддержке президента Франции Раймона Пуанкаре многие русские студенты получали правительственные стипендии и часто бывали освобождены от платы за обучение.

Стипендии были, разумеется, невелики. Помимо этого «Федоровский комитет» организовал для студентов ряд пансионатов и общежитий, где учащиеся жили на полном содержании. Одно из общежитий располагалось на улице Лекурб, там жили 70 студентов; другое — на бульваре Монпарнас — было рассчитано на 12 человек.

Улица Лекурб была, кстати сказать, одной из «русских» улиц Парижа. Узкая и длинная, она протянулась от бульвара Пастера до кольцевого шоссе на окраине города. Это одна из оживленнейших торговых улиц Парижа, доживших до наших времен почти без изменений. И до сих пор на этой улице имеются маленькая «домовая» русская церковь и продуктовая лавка, торгующая русскими деликатесами. Иногда, особенно на Рождество и Пасху, можно услышать и русскую речь.

«Федоровский комитет» оказывал выпускникам помощь и в трудоустройстве, что было очень непростой задачей, особенно в условиях предвоенного экономического кризиса. Когда на крупных заводах Франции начались увольнения, они, по вполне понятным причинам, затронули прежде всего эмигрантов. Но даже в худшие годы кризиса можно было приискать работу во французских колониях (в то время еще многочисленных), чем и пользовался комитет. Специфика французского характера и психологии состоит в том, что французы не любили и не любят до сих пор уезжать за границу на работу, предпочитая худшее место в метрополии лучшему за рубежом. Поэтому работу в колониях для русских было найти сравнительно нетрудно. При «Федоров-

ском комитете» одно время существовал даже специальный отдел по трудоустройству русских в колониях, так что многие русские специалисты прошли «колониальную практику». Правда, большинство, скопив некоторые средства, возвращалось во Францию: в колониях не хватало русской среды, русской культуры — всего того, чем так дорожила эмиграция.

В период наибольшего размаха деятельности в начале 30-х годов комитет давал по 300—400 стипендий в год. Но по мере того, как «студенческий бум» среди эмигрантов во Франции шел на убыль, сокращалась и деятельность комитета. К 1936 году его работа фактически прекратилась. Архив комитета передан на хранение в Государственный архив Франции, где пребывает и поныне.

В Париже существовало пять студенческих объединений: Русский студенческий союз, Национальный студенческий союз, Союз студентов-эмигрантов, Союз студентов для изучения и упрочения славянской культуры и Казачий студенческий союз. Политики эти молодежные союзы сторонились. Занимались главным образом взаимопомощью, устраивали лекции, собрания, вечеринки. Все эти союзы в 1929 году объединились в Федерацию студенческих организаций, председателем которой стал П. Е. Ковалевский.

Глава 4

«УНИВЕРСИТЕТЫ ДУХА»

Для нравственного воспитания «русских мальчиков» в эмиграции, как не раз говорилось выше, много сделали оказавшиеся в изгнании религиозные деятели и философы. Сближению молодежи, и в частности студентов, с русскими философами способствовал целый ряд обстоятельств. Прежде всего чрезвычайно высокоразвитое чувство долга у оказавшихся за границей философов — чувство долга вообще и долга перед оказавшейся без родины молодежью.

С другой стороны, сами условия эмигрантской жизни (материальные тяготы, чувство потерянности, одиночество, неприкаянность) способствовали пробуждению религиозных чувств. Обращению к православию благоприятствовало и обострившееся на чужбине

чувство родины и попорченного национального достоинства. Для бесправного, потерявшего веру в политиков, в идеи, в справедливость эмигранта русская церковь часто оставалась последним прибежищем, где он мог найти успокоение для мятущейся души. Кроме того, русская церковь с привычным убранством, уютностью, интимностью была для них частичкой утерянного дома. Русская молодежь, тяготевшая до революции к нигилизму и атеизму, в эмиграции переживала настоящее религиозное возрождение.

Имелось и еще одно обстоятельство, способствовавшее тяге молодежи к религии. Русская церковь за рубежом перестала быть официальной церковью. Она тоже пребывала как бы в изгнании. В эмиграции русская церковь не оказывала такого давления на духовную жизнь, как это было в России до революции. Для тысяч эмигрантов она стала не церковью, а домом. И если старшее поколение беженцев продолжало ходить к обедне по давней привычке, по традиции, то для молодых эмигрантов православный ритуал был не традицией, а приобщением к духовности.

Один из активных деятелей Русского студенческого христианского движения (РСХД) Н. Езерский, размышляя о феномене религиозного возрождения в эмиграции, писал в 1927 году:

«Нужен был весь ужас величайшей войны и самой кровавой из революций, чтобы религиозное переживание оказалось фактом, а не теорией, чтобы божественное начало жизни было воспринято как реальность, а не как интересная гипотеза. Понятно, что молодежь живее стариков восприняла его, ибо ей не мешали трафареты, предрассудки, вся та кора, которой обрастает человек в течение жизни. И здесь молодежь осталась верна себе, отдаваясь новому течению с той же горячностью, с какой пятьдесят лет назад их деды, такие же молодые люди, «шли в народ» и готовили революцию»¹.

Старая народническая идея «хождения в народ» ради его спасения и просвещения продолжала жить и в эмиграции, естественно сообразуясь с новыми, специфическими условиями. Различие состояло в том, что здесь в роли спасаемого народа выступала уже повергнутая в отчаяние интеллигенция, прежде всего интеллигентская молодежь. Мы уже упоминали о том, что русская зарубежная молодежь в большинстве своем чуралась поли-

тики. Политические организации были весьма далеки от идей спасения. У них были иные цели. Миссию спасения взяли на себя культурные силы эмиграции и в немалой степени — объединения и кружки религиозной ориентации.

Одним из вдохновителей спасительной миссии в эмиграции был Илья Исидорович Фондаминский (псевдоним — Бунаков). До революции социалист-революционер, член боевой организации, он приехал в Париж в 1919 году. Одно время был близок с Борисом Савинковым: тот до своего отъезда в советскую Россию некоторое время жил в его квартире в Париже. Длительное время И. И. Фондаминский возглавлял редакцию одного из известнейших эмигрантских журналов «Современные записки», был близок со многими политическими деятелями эмиграции. Но затем разочаровался в эмигрантской политике и всецело посвятил себя работе с молодежью. Во время войны занимал патристическую позицию, был арестован гестапо и погиб в немецком лагере. По поводу «хождения в народ» в эмиграции он писал: «Эмигрантские политические организации безжизненны и худосочны, ибо не связаны с народными массами. А эмигрантские массы расплынены и беспризорны. Надо идти в эмигрантский народ, чтобы организовать его экономически и культурно. И надо поднять его на большую духовную высоту, которая обязательна для него, если он хочет быть передовым отрядом в борьбе за освобождение России. Тогда духовное влияние обязательно передастся из эмиграции на родину»².

Нужно отметить, однако, что это движение молодежи было не столько церковным, религиозным в прежнем, дореволюционном понимании, сколько духовным. Внешняя обрядность в эмиграции практически отсутствовала, а хождение в церковь заменялось духовным общением в рамках большого числа кружков, носивших одновременно и просветительский, и религиозный характер. Понятие «верующая молодежь» в эмиграции было достаточно расплывчатым. Для многих молодых людей обретенная вера была формой осмысления судьбы, отечества, отечественной истории, жертвой которой они себя ощущали.

Слова профессора Василия Васильевича Зеньковского, известного историка русской философии, жившего в эмиграции с 1919 года, о том, что общее тогда для многих русских людей сознание, что трагическая судьба России призывает всех нас к покаянию и углублению

духовной жизни, что русская трагедия не была случайной и внешней, но была следствием давних и глубоких отступлений от правды Христовой, в какой-то степени поясняют повышенный интерес русской эмигрантской молодежи к религиозной философии.

Русское студенческое христианское движение за границей зародилось в Югославии в 1921 году, но организационные формы обрело два года спустя, когда в городе Прешове, в Чехословакии, состоялся его первый съезд. К этому времени за рубежом оказались, по сути дела, все известные русские мыслители. На съезде в сентябре 1923 года присутствовали С. Булгаков, Н. Бердяев, А. Карташев, Н. Новгородцев, В. Зеньковский, Б. Вышеславцев, И. Ильин, С. Франк, Г. Федотов — цвет и слава русской религиозно-философской мысли. Председателем движения был избран Василий Зеньковский.

РСХД с самого начала ставило перед собой двойную, но в двойственности своей неразрывную цель — цель, можно сказать, «двуединую». С одной стороны — миссию, проистекавшую из христианских постулатов, — спасение и успокоение мятущихся и не находящихся пристанища молодых душ и с другой — задачу спасения русской нации, оказавшейся в окружении сильной и активной европейской, а точнее говоря, французской культуры и цивилизации. Причем вторая задача объективно становилась более существенной, ибо, по мере того как разворачивалась организационная структура РСХД, создавались курсы, клубы, кружки, становилось все более очевидным, что молодежь привлекает не столько религиозное спасение, не обрядность православия, а именно духовное, философское и культурное общение между собой и с теми представителями старшего поколения, которые не утратили уважения и веса в молодежной среде. Да и само «взрослое» ядро руководства РСХД, состоявшее из виднейших представителей русской интеллигенции, понимало, что в религиозных чувствах главное — отнюдь не внешняя форма, а духовная культура в том ее понимании, что она является составной частью национальной культуры, а следовательно, и национального сознания. Защита национального сознания от размывания и составляла, в сущности, главное в деятельности РСХД.

С учетом опасности денационализации «русских мальчиков», собственно, и составлялись программы занятий

в кружках, которые подпадали под духовное и организационное влияние Религиозно-философской академии. Вскоре после изгнания философов из советской России эта академия воссоздалась вначале в Берлине, а потом переместилась в Париж.

Как это ни кажется на первый взгляд парадоксальным, но создание РСХД и Религиозно-философской академии встретило наибольшее сочувствие в левом крыле эмиграции. Напротив, консервативная и монархическая ее части с самого начала отнеслись к русскому молодежному христианскому движению с подозрением. Одной из причин такого отношения являлось, вероятно, то обстоятельство, что ряд профессоров академии, в том числе Н. А. Бердяев, в свое время прошли через увлечение марксизмом. Несмотря на свой духовный и интеллектуальный бунт против тех форм, которые обрел вскоре после революции в России большевизм, в консервативной эмигрантской среде Н. А. Бердяев «ходил в красных». Кроме того, всякий консерватизм, в особенности же консерватизм, обретший форму власти, с подозрительностью относился к интеллигенции, и в этом смысле характерно совпадение взглядов на интеллигенцию правых сил эмиграции, группировавшихся вокруг «Русского общевоинского союза», с тем, который возобладал в советском обществе с середины 20-х годов.

Культурно-просветительская и философская направленность РСХД, носившая общегуманистический, а не узконационалистический характер, навлекала на организаторов русского христианского движения ярые атаки со стороны монархических кругов. Философов обвиняли в отступничестве от догматов православия и даже в предательстве национальных интересов. Такие крайне правые, черносотенные издания зарубежья, как «Двуглавый орел», постоянно обвиняли РСХД в связях с европейским и французским масонством и всячески старались отвлечь молодежь от участия в кружках Религиозно-философской академии.

Нужно сказать, что русское «черносотенство», получавшее в дореволюционной России поддержку официальной русской церкви, в условиях эмиграции находило некоторую базу в наиболее обездоленных кругах русской эмиграции. Черносотенные настроения подпитывались и бытовой неустроенностью, и завистью к «зажравшимся французам», и ущемленным за границей чувством национальной гордости, и проповедью русского мессианства

и верховенства русской православной идеи, посредством которого монархические круги стремились удержать под своим влиянием эмигрантов. Все это были реальные, хотя и не очень заметные на поверхности эмигрантской жизни факторы. В. В. Зеньковский считал, что пребывание в эмиграции естественно заострило в русских сознание религиозности и национальной чуждости Западной Европе, связало религиозную и национальную сферы души³.

У Русского студенческого христианского движения имелись трения и с Русской зарубежной церковью. Ряд ортодоксальных священников обвиняли движение в отходе от догматов веры, в ереси, в «марксизме». Приобщение «раскаившихся марксистов» к религии вызывало подозрение. Были нарекания и за то, что в самом названии Русского студенческого христианского движения отсутствовало слово «православное». Намекали на то, что РСХД в скрытой форме «продалось» католицизму. Философов обвиняли в богословском модернизме. В одном из выпусков «Двуглавого орла» об известном русском религиозном философе Сергее Николаевиче Булгакове писалось так: «Этот профессор догматического богословия определенно проповедует ересь человекобожия и столь же еретически искажает догмат Святой Троицы... Не только отсебятина протоиерея Булгакова неприемлема для православного сознания, недопустим и способ его выражений...»⁴.

Несмотря на высокий личный авторитет главы РСХД В. В. Зеньковского, движению неоднократно приходилось переживать серьезные расколы. В 1927 году из РСХД вышло Братство имени преподобного Серафима Саровского, существовавшее в Югославии. Поводом для конфликта послужил ряд высказываний Н. А. Бердяева по вопросам религии. Братство потребовало исключения из РСХД Н. А. Бердяева, но получило отказ. Критикуя религиозный модернизм Бердяева, эмигрантский еженедельник «Голос верноподданного», выходивший в Белграде, писал: «...Наше заграничное модернистское уклонение от верного пути тем особенно страшно, что внешне оно кажется близким Церкви. Как всякий раскол, источники и корни этого раскола в глубоких тайниках души, в том внутреннем устройении, которое хочет наново построить г. Бердяев... Модернистское, или софианское, или интеллигентское обновленческое направление (как его ни назвать), завладевшее Движением, есть еще более

тонкий соблазн своей активностью, кажущимся творчеством и близостью к Церкви...»⁵.

«Голос верноподданного» обвинял Русское студенческое христианское движение в том, что оно находится под преимущественным влиянием интеллигенции, а не духовенства. В сущности, «Голос верноподданного» в своей критике Н. А. Бердяева и РСХД исходил из той же посылки, что и критики из монархистского и черносотенного крыла эмиграции в Париже, обвинявшие русскую интеллигенцию во всех смертных грехах: вначале — в свержении монархии, потом — в Октябрьской революции и, наконец, уже в эмиграции — в стремлении разложить русскую церковь, в антипатриотизме, утверждая, что интеллигенция идет в церковь не с желанием спасти и спастись, а с намерением «исправить» церковь. Равно как русскую интеллигенцию отлучали в лице ее наиболее прогрессивных представителей от церкви в царской России, так ее отлучали от церкви и в эмиграции.

Идея «оцерковливания» жизни в эмиграции, выдвинутая на учредительном съезде Русского студенческого христианского движения, была в основе своей утопической, нереальной. Эта идея не могла реализоваться не только в силу противодействия со стороны правых (да и основная масса верующих эмигрантов придерживалась канонического православия и была весьма далека от религиозно-философских споров между интеллигентами — обновленцами и консерваторами), но и в силу практических условий эмигрантской жизни.

Эмигрантская молодежь в любом движении, в которое она шла, искала активности для себя, общенности для себя, успокоения или культурного возрождения для себя и вовсе не желала быть «полигоном» для отвлеченно-религиозных идей, перенесенных с русской почвы на заграничную. Молодежь в РСХД привлекала прежде всего практическая и культурная сторона его деятельности. «Русских мальчиков», прошедших тяжкую школу изгнания и борьбы за существование, мало интересовали нюансы и тонкости теософии. Отражая эти настроения эмигрантской молодежи, один из активистов РСХД Н. Езерский писал:

«Есть одна черта, в которой молодежь имеет безусловное преимущество перед стариками, но это тяжелая, роковая черта. Старшие могли читать, философствовать, «предаваться мечтам и страстям»; молодежи нынешнего поколения сразу пришлось начать суровую жизнен-

ную борьбу; оно училось не по книгам, черпает свои убеждения не из логических посылок и не из цитат временных авторитетов, а из непосредственного опыта жизни. Мировоззрение современной молодежи может быть ошибочным, односторонним, но оно никогда не будет отвлеченным. Этот опыт настолько тяжел, что многих давит, иных способен раздавить совершенно. Зато те, кто его выдержал, получают закал, с которым не сравнится никакое школьное учение, и зрелость наступает раньше и полнее»⁶.

Имелись объективные причины и того, что русские философы в изгнании тянулись к молодежи, в особенности к студенчеству. Дело в том, что русские мыслители, философы-идеалисты, как их стали называть в советских изданиях, оказались за границей как бы в двойном изгнании — их выслали из советской России, но и эмиграция приняла их крайне отчужденно, почти враждебно. Вот почему с первых же своих шагов за границей они стремились нащупать связь с той средой, которая могла бы стать их аудиторией. Такую потенциальную аудиторию они видели в студенчестве. Большинство изгнанных философов и до, и в первые годы после революции имели опыт общения со студентами. Многие были частыми гостями в аудиториях Московского университета. Для них общение со студенчеством было естественной стихией. И нет ничего удивительного в том, что философы-изгнанники обратили свои взоры на русское эмигрантское студенчество.

Студенчество, со своей стороны, тоже нуждалось в лидерах, в идеологах. И вполне понятно, что оно искало их не в консервативной и не в военной среде. Взоры естественно обращались к демократическому крылу интеллигенции. Изгнанные из России философы имели до революции громкую славу, считались отчасти властителями дум. Свидание не могло не состояться.

В мае 1923 года на съезде русских студентов высланный из советской России известный философ С. Л. Франк выступил с речью, которая стала, в сущности, программной для взаимоотношений религиозных мыслителей с эмигрантской студенческой молодежью. Упоминания об этой речи содержатся в мемуарах многих бывших студентов, и, судя по ним, речь профессора произвела на молодежь глубокое впечатление.

Основные идеи этого выступления были впоследствии развиты философом в его работе «Крушение кумиров». И речь, и книга носили исповедальный характер.

Но это была не только исповедь философа перед молодежью, но и как бы исповедь русской души вообще. Это была редкая в русской истории попытка осмыслить совместный, общий опыт «отцов и детей», прошедших через увлечение, а затем крушение кумиров русского интеллигента XIX века. С. Л. Франк говорил о том, что русский человек, переживший войну и революцию, смотрит на духовные ценности европейской цивилизации глазами скептика. И это тоже было следствием крушения всех кумиров — революции, политики, культуры, идей, — которым поклонялся русский интеллигент конца прошлого и начала нового века.

По оценкам прошлого и настоящего речь С. Л. Франка во многом перекликалась с идеями, высказанными Н. А. Бердяевым в «Новом средневековье», где история предстает как бессмысленный и безысходный круговорот человеческих бедствий и страданий, в котором ничего невозможно ни улучшить, ни поправить; спасение — лишь в отрешении от всех земных привязанностей. Спасение, по мысли С. Франка, в условиях «нового средневековья» — не в идеалах, не в деятельности, не в служении, а в спасении, прежде всего в личном спасении и спасении ближних.

В среде эмигрантов, и в особенности молодежи, настроения пессимизма, почти физическое ощущение крушения кумиров и мифов были чрезвычайно распространены, так что речь философа нашла глубокий отклик у участников студенческого съезда. Однако призывы религиозных философов искать спасения в Боге большого успеха не имели. К счастью, и организаторы, и старшие участники Русского студенческого христианского движения быстро уловили это настроение. И в своей практической деятельности РСХД склонялось к просветительству и культуре. Именно в этом и состоит главная заслуга РСХД.

«Внедрение христианства» в русское студенческое движение среди самих студентов вызывало чаще всего снисходительную иронию: «отцы» балуются, дети посмеиваются. На практике «оцерковливание» молодежи носило чисто формальный характер: молодежные собрания, проходившие под эгидой РСХД, начинались совместным пением «Отче наш», а затем уже шла обычная «светская» культурная программа — доклад о «Двенадцати» А. Блока, диспут о творчестве Маяковского или спор о судьбах современной советской литературы. Эти настроения эмиг-

рантской молодежи красочно и иронично описаны в книге Г. Озерецковского «Русский блистательный Париж до войны». Сложная мистика православия с трудом уживалась с тяготами повседневной жизни молодых людей в эмиграции. Зато молодежь с удовольствием слушала интереснейшие лекции русских философов о культуре, творчестве, о русской истории.

Секретариат РСХД размещался в центре Парижа, в доме 10 по бульвару Монпарнас, и сюда в свободные от работы или учебы дни — по субботам и воскресеньям — стекалось много молодежи. Трехэтажный особняк делило между собой несколько эмигрантских организаций: здесь «квартировали» Религиозно-философская академия, кружок по изучению России, секретариат РСХД. Тут же было и студенческое общежитие. Во дворе особнячка в сарае была устроена церковь с резным иконостасом. Служил здесь «батюшка-академик» отец Сергей Четвериков, один из духовных руководителей РСХД. Но приходивших по этому адресу молодых людей интересовала не столько проповедь, сколько возможность познакомиться.

«В субботу после обеда и в воскресенье на бульваре Монпарнас, 10 появлялись девочки и мальчики, — пишет в своей книге Г. Озерецковский. — И набиралось их превеликое множество. В верхнем этаже полно. В среднем этаже полно. В подвале полно. Во дворе полно. Раскинули они свои сети и сеточки и поджидают спутников жизни. Мамаши смело пускали сюда своих дочек... Девочки были объединены в «дружину» и разбивались на кружки: исторический, литературный, евангельский, самодельности. Во главе их стояла А. Ф. Шумкина. Магистр философии. Дама лет тридцати пяти, энергичная белобрысая женщина не без комплекции, которая тем не менее прыгала, как козлица, играя с ними в волейбол. И чулки у нее спадали. Но дама очень достойная...

Во главе мальчиков стоял Н. В. Федоров. Они назывались «витязями» и тоже разбивались на кружки⁷.

Для религиозных бесед (их называли помпезно «евангелистские собрания»), по свидетельству Г. Озерецковского, собиралось человек по семь-восемь. Для докладов и лекций в среде студенчества и молодежи выбирали темы на стыке философии и культуры, истории и религии и русской истории, стараясь увязать их с идейными течениями XX века. Вот темы нескольких лекций, прочитанных в Религиозно-философской академии на бульваре Монпарнас Н. А. Бердяевым в 1930 году:

«Русский марксизм и возникновение идеализма. Кризис миросозерцания интеллигенции», «Достоевский. Русский мессианиззм», «Лев Толстой и религиозный кризис», «Религиозный характер русской литературы: Гоголь, Тютчев». Подобный выбор тем для бесед с молодежью был характерен и для других философов, участвовавших в РСХД.

Среди бывших слушателей Религиозно-философской академии и активистов РСХД не оказалось ни одного сколько-нибудь заметного философа или историка русской религиозной мысли. Деятельность Религиозно-философской академии и РСХД после смерти ее вдохновителей, русских философов-идеалистов, практически сошла на нет. Творческое и духовное наследие РСХД — не в оставленных трудах, а в том, что этот студенческий союз позволил приобщить к русской культуре тысячи детей эмигрантов.

Глава 5

ДОМОЙ С НЕБЕС...

Едва ли стоит тратить усилия на доказательство того, что культурная, и в частности литературная, жизнь эмиграции была чрезвычайно богатой. Достаточно перечислить имена писателей и поэтов, оказавшихся за границей, чтобы понять, что эта жизнь и не могла быть иной. Большинство литераторов — одни сразу, другие некоторое время спустя — оказались в Париже. Из известных писателей, начавших свою вторую жизнь на берегах Сены, вспомним Бунина, Шмелева, Мережковского, Куприна, Зайцева, Ремизова, А. Толстого, Алданова, Тэффи, Осоргина, Степуна. Парижский «цех» поэтов тоже мог похвастать весьма громкими именами: Бальмонт, Гиппиус, Г. Иванов, Ходасевич, Цветаева.

Об этих писателях и поэтах сказано достаточно много, и всякое «новое слово» было бы лишь повторением уже сказанного. Кроме того, несмотря на укрепившееся убеждение в том, что без «воздуха отечества» талант чахнет (представление это не лишено, разумеется, доли правды), оказавшиеся в эмиграции уже известные писатели оставили столь значительное литературное наследие, что, в сущности, каждый из них заслуживает монографии, посвященной «парижскому периоду».

Анализ творчества эмигрантских знаменитостей не входит в задачи этой книги. Нам хотелось бы воздать здесь должное и тем почти неизвестным литераторам, которые выросли в тени «больших деревьев», став писателями и поэтами за границей. Их судьба, по большей части трагическая, вовсе у нас не известна. А между тем они были активными участниками бурной культурной жизни русской эмиграции, составляли тот вибрирующий культурный и эмоциональный фон, вне которого представление о русской эмиграции было бы неполным, однобоким. Ибо это была наиболее живая, ищущая часть эмиграции.

Но прежде чем приступить к рассказу о молодом литературном «русском» Париже, хотелось бы дать читателям общее представление об особенностях русской литературной эмиграции и литературной жизни за рубежом. В наиболее полном виде судьба русской литературы в эмиграции отражена в книгах Г. Струве «Русская литература в изгнании», В. Яновского «Поля Елисейские», в двухтомном труде Р. Гуля «Я унес Россию», В. Варшавского «Незамеченное поколение», З. Шаховской «Отражения». Многие сведения, которые читатели найдут в этой главе, почерпнуты из этих и ряда других книг. Но помимо этого в эмигрантской прессе 30-х годов, главным образом в «толстых» журналах, содержится огромное количество литературных обзоров, рецензий, аналитических статей, которые служили автору подспорьем для сбора материала. Пользуясь случаем, хотелось бы принести глубокую благодарность сотрудницам русской библиотеки в Париже, «Тургеневской», как ее называют, которые вначале не без скептицизма (я хаживал туда и в конце 70-х, и в середине 80-х годов, и вольно или невольно они переносили на меня свое отношение к тем тягостным для достоинства русского человека годам), а потом с искренним доброжелательством помогали мне отыскивать в журналах нужные статьи.

Именно знакомство с журналами эмиграции дает возможность увидеть, какой огромный и практически еще неизвестный нам слой русской литературы, а в более широком плане — русской культуры сложился за границей.

В силу прежде всего материальных условий и узости русскоязычного литературного рынка лишь очень немногие из писателей имели возможность издавать за границей книги, еще меньше русских авторов переводилось. Большая часть романов, повестей, рассказов, стихов так и не смогла выйти за пределы журнальных страниц и ждет того часа, когда до нее доберутся советская история, крити-

ка и литературоведение. Большой интерес представляет и публицистика эмиграции, ибо она в еще большей степени отразила сложности и противоречия эмигрантского бытия, нежели беллетристика. По дореволюционной еще традиции много внимания литературной и художественной жизни уделяли и газеты; рассеянные там короткие рассказы и литературные фельетоны могут составить не одну книгу.

Первый «толстый» эмигрантский журнал был основан в Париже в 1920 году, и его редакторами были совместно А. Толстой, М. Алданов, Н. Чайковский, В. Анри. Назывался он «Грядущая Россия». Расцвет зарубежной литературы падает на период конца 20-х — начала 30-х годов. Литературная жизнь русского зарубежья была достаточно активной вплоть до самого начала второй мировой войны.

Война оказалась тем рубиконом, через который удалось перейти лишь немногим. Старшее поколение сошло с литературного небосвода в силу возраста. Что касается литературной молодежи, то военные и первые послевоенные годы принесли эмигрантам столько материальных тягот и испытаний, что стало, как говорится, не до *belles lettres*. Большинство «подававших надежды» и уже печатавшихся литераторов вынуждены были искать более надежные источники существования, обрели «настоящие» профессии, и в послевоенной литературе осталось лишь несколько имен из наиболее стойких и действительно талантливых. О них мы расскажем позднее.

На 30-е годы приходится и самая острая полемика в эмигрантской печати о судьбах русской зарубежной литературы. Главный спор касался вопроса о том, способна ли эмиграция в оторванности от родных источников создать что-либо значительное. Другая важная тема полемики — о проблематике литературы за рубежом. О чем писать? О России прошлой, которую литераторы старшего поколения знали очень хорошо, но которая ушла в небытие, или о России новой, которой никто из эмигрантов толком не знал, разве что по газетам и журналам (далеко не всегда объективным), но которая в эмиграции вызывала жгучий и ревнивый интерес? На многие из этих вопросов попытался ответить М. Алданов в статье «О положении эмигрантской литературы», напечатанной в журнале «Современные записки» в 1936 году.

На первый вопрос ответ найти было не столь уж сложно. Достаточно было вспомнить хотя бы И. С. Тургенева или А. И. Герцена, успешно работавших за границей, или, например, Н. В. Гоголя, писавшего «Мертвые души», од-

но из самых «русских» литературных произведений, в Италии (М. Алданов в своей статье в качестве иллюстрации берет А. Мицкевича). По мнению М. Алданова, у эмигрантской прозы, в отличие от новой, советской, было даже то преимущество, что она была свободна от всякого рода политических и социальных «заказов».

«Если бы какой-либо французский или английский писатель на очень долгое время покинул родину, потеряв с ней связь, — пишет М. Алданов, — то это, без сомнения, тяжело отразилось бы на его творчестве: он очень многое потерял бы и не выиграл решительно ничего. Мы в ином положении. Для нас кроме огромного минуса есть еще более огромный плюс: мы выиграли свободу. Самые восторженные поклонники советской литературы не станут все-таки серьезно утверждать, что она свободна. Мы же пишем, что хотим, как хотим и о чем хотим... Я не отрицаю значения морального давления среды, — оно есть в эмиграции, как есть везде, в любой обстановке, во всем мире. Но только несерьезный или недобросовестный человек может сравнивать этот вид давления с тем, какой существует в советской России... Социальный заказ для эмигрантской литературы существует лишь в весьма фигуральном смысле слова, в степени незначительной и нестрашной. Социального же гнета нет никакого, как нет цензуры и санкций. Люди, очень много говорящие о нашей «оторванности от родной почвы», должны были бы подумать и о том, что эту оторванность все-таки до известной степени компенсирует. Во всяком случае многие из нас, несмотря на всю тяжесть, все моральные и материальные невзгоды эмиграции, не сожалеют и, вероятно, так до конца и не будут сожалеть, что уехали из большевистской России. Эмиграция — большое зло, но рабство — зло еще гораздо худшее»¹.

Большинство писавших о судьбах литературы и русских писателей в эмиграции при всех различиях точек зрения неизменно сходились в том, что главная беда — не оторванность от родных очагов, а обычная бедность, отнюдь не в духовном, а в самом грубом, физическом, материальном смысле слова. Бедность, доходящая до того, что многим, особенно молодым, литераторам не на что было купить писчей бумаги, нечем заплатить за аренду пишущей машинки, а тем более отдать рукопись машинистке. Многие молодые эмигрантские писатели и поэты погибли, в том числе и покончив жизнь самоубийством, не от духовной скудости, не от отсутствия идей и тем (сложная, ни-

щая, противоречивая, политически и эмоционально бурная эмигрантская жизнь предоставляла массу сюжетов), а от истощения, бездомничества, материальной безысходности.

Много сетований в эмигрантской литературной среде, особенно молодежной, было на русского зарубежного читателя. Эмигрантские писатели, не имевшие возможности найти издателя или поместить свой рассказ в газету, склонны были обвинять русского эмигранта в невежестве, в эмигрантском обывательстве, в отсутствии интереса к литературе. Упреки эти имели некоторые основания. Эмиграция даже с каким-то болезненным самобичеванием обвиняла себя в «эмигрантщине», в обывательстве. Винить эмиграцию за это вряд ли правомерно.

У многих русских семейств борьба за существование отнимала так много душевных и физических сил, что было не до высоких материй, и можно лишь удивляться и воздавать эмиграции должное за то, что при всех тяготах и неустойчивости она в целом сохраняла высокий уровень интеллектуальной и культурной жизни. Одно из «формальных» свидетельств тому — огромное (если учесть размеры самой эмиграции) количество всякого рода изданий. Если бы эмиграция не сохраняла повышенного интереса к культурной жизни, то никакая материальная сила не могла бы держать на плаву сотни русских газет и журналов. В 1925 году за границей существовало 364 периодических издания на русском языке. Далеко не равнозначные по своему уровню, они тем не менее имели своего читателя. Большинство интеллигентов, вынужденных в силу материальных условий заниматься физическим трудом, тем не менее оставались интеллигентами. Высоким оставался и интерес к литературе, о чем свидетельствует то, что до войны да и в первые послевоенные годы литературные вечера в Париже собирали множество народа. Именно благодаря высокому интересу эмиграции к литературе большинство литераторов имели возможность продолжать писать. Без этого интереса творчество было бы невозможным. В эмиграции писал даже 90-летний В. И. Немирович-Данченко*.

О чем писали эмигрантские литераторы? Прежде всего о дореволюционной России и о первых годах революции, свидетелями которых они были. Романы, повести и рассказы о революционной России представляют для советского читателя наибольший интерес, ибо они написаны пером свободным. Литературные произведения, создававшие-

* Брат известного режиссера МХАТ, детский писатель.

ся в самой России, особенно с конца 20-х годов, когда интеллектуальная жизнь уже была поставлена под жесткий контроль, «грешили» искусственным романтизмом, однозначностью, предвзятостью, умолчаниями.

С начала 30-х годов цензурный режим уже не позволял советским писателям создавать объективную картину советской жизни. Те писатели, которые имели мужество писать так, как думали и чувствовали, не имели возможности издаваться. Так что творчество эмигрантских литераторов является интереснейшим источником знаний о нас самих и о нашей революционной истории.

Работу писателей в эмиграции в какой-то степени можно назвать гражданским подвигом. Ведь, кроме хлопот, забот, часто унижений, литературный труд почти ничего не давал. Гонорары были мизерными, часто гонораров и вовсе не платили. Писательство было нередко вторым ремеслом, ночным занятием, отнимавшим силы и здоровье. Нужно отдавать себе отчет в том, что «второе ремесло» для эмигрантского литератора было отнюдь не конторой, где можно было скрипеть пером по казенной бумаге, сохраняя главные силы на вечер. Эмигрантский писатель, за исключением очень узкого круга, — это чаще всего рабочий завода «Рено» или «Ситроен», шофер или маляр, в лучшем случае пригородный садовод или огородник. Ждать материальной помощи писателям-эмигрантам было неоткуда. Если у эмиграции и были какие-то деньги, то они шли на другое, в глазах эмиграции главное, — на организацию школ, стипендии студентам, минимальную помощь тем, кому действительно не на что было купить кусок хлеба, негде переночевать.

«Выходом из положения, — с горькой иронией писал М. Алданов, — могло бы быть создание большого меценатского, заведомо убыточного издательского дела за границей. Но это, разумеется, нереально. Эмигрантские «deux cents familles»* — сомнительные регенты и пайщики сомнительных эмигрантских дел — давно исчерпали свой скромный запас интереса к искусству и вдобавок очень утомлены: они уже на прошлой неделе пожертвовали сто франков на что-то касающееся литературы»².

Несмотря на все трудности эмигрантского существования, плоды писательских трудов весьма значительны. Наиболее плодотворным был период между 1925 и 1935 годами. Это настоящее «золотое десятилетие» эмигрантской

* Двести семейств (франц.).

прозы. Глеб Струве в «Русской литературе в изгнании» приводит внушительный, хотя и не полный перечень написанного: И. Бунин — «Митина любовь», «Солнечный удар», «Дело корнета Елагина», «Божье дерево», «Жизнь Арсеньева»; Борис Зайцев — «Преподобный Сергей Радонежский», «Странное путешествие», «Афон», «Анна», «Дом в Пасси», «Жизнь Тургенева»; И. Шмелев — «Солнце мертвых», «Про одну старуху», «Свет разума», «История любовная», «Няня из Москвы», «Богомолье», «Лето Господне» (настоящий шедевр описания русской дореволюционной жизни как по языку, так и по национальной памяти); А. Ремизов — «Оля», «Звезда Надзвездная», «По карнизам», «Три серпа», «Образ Николая Чудотворца»; Д. Мережковский — «Мессия», «Тайна Запада», «Наполеон», «Иисус Неизвестный»; Н. Тэффи — «Городок», «Воспоминания», «Авантюрный роман», «Книга Июнь»; М. Алданов — «Чертов мост», «Ключ», «Бегство», «Десятая симфония», «Земли и люди», «Портреты»; А. Куприн — «Колесо времени», «Юнкера»; М. Цетлин — «Декабристы»; В. Ходасевич — «Собрание стихов» и «Державин»; М. Осоргин — «Сивцев Вражек», «Свидетель истории», «Книга о концах». В этот период много пишет и широко публикуется В. Набоков (Сирин). Известный художник, создатель галереи портретов крупнейших деятелей русской революции, в том числе Ленина, Луначарского, Троцкого, Ю. Анненков публикует в эмиграции под псевдонимом Б. Тимирязев «Повесть о пустяках».

В середине 20-х начинают пробовать силы молодые прозаики и поэты, расцвет творчества которых падает уже на предвоенные и послевоенные годы.

Появление этой новой, молодой группы писателей было чрезвычайно важным и даже живительным для культурной жизни «русского» Парижа. Они внесли в интеллектуальный быт новые, свежие струи. Большинство из молодых эмигрантских писателей по своему таланту не поднималось вровень с известными светилами русской литературы, жившими за границей, — Буниным, Куприным, Шмелевым, Мережковским, Алдановым, но с их приходом в русской зарубежной литературе повеяло новыми ветрами, появились новые темы, новый угол зрения. С их постепенным водворением на страницах литературных журналов в эмиграции возродилась литературная полемика, они дали новое дыхание критике. И это вполне объяснимо.

Старая эмиграция в качестве главной своей задачи ставила сохранение традиции, в том числе традиции литера-

турной, сложившейся еще в России. Место выехавших за рубеж писателей в отечественной литературе было, по сути дела, уже давно определено. Авторитет их был непререкаем, споры об их достоинствах и недостатках, в сущности, излишни: они мало что добавили бы к тому, что было сказано о них десять и даже двадцать лет назад. Писатели старшего поколения при выезде из России принадлежали к определенным художественным школам, уже обретшим свои формы и даже закосневшим. В силу этого в зарубежной литературной среде не возникало новых художественных или идейных течений, не наблюдалось и заметной эволюции в творчестве самих писателей. За первые десять — пятнадцать лет весьма интенсивной культурной жизни в эмиграции тем не менее почти не произошло событий, которые послужили бы поводом для полемики или даже для литературного «скандала». К началу 30-х годов и писатели, и критики старшего поколения занимают те же литературные и эстетические позиции, которые они завоевали в Москве или Петербурге. Один из наиболее «представительных» эмигрантских журналов, носивший, как нетрудно догадаться, традиционный, «академический» характер, — «Современные записки» — и в 1929, и в 1930 годах являет нам практически те же самые имена, что и в году 1920-м.

Литературная жизнь старшего поколения, по меткому выражению Марка Слонима*, носила характер «доживания». У ряда писателей это «доживание», академизм и даже консерватизм литературных вкусов проявлялись в форме безусловного отрицания всего, что происходило в литературной жизни советской России. Известны пренебрежительные отзывы Бунина о Сергее Есенине, Александре Блоке. Известны иронические характеристики Тэффи в адрес Пастернака. Неприятием новшеств старшими эмигрантскими писателями отчасти объясняется и изолированное положение в эмиграции Ремизова, Цветаевой.

Непререкаемость в эмигрантской среде авторитета писателей старшего поколения, опиравшихся на художественные вкусы, вывезенные из России, крайне негативно сказывалась на судьбе писателей и поэтов нового поколе-

* Слоним М. Л. (1894—1976) — социалист-революционер. В эмиграции — известный литературный критик, издатель. В Праге издавал журнал «Воля России». В Париже стал редактором «Новой газеты» (1931 г.) и председателем литературного объединения «Кочевье». Автор многих работ о русской литературе. В последний период жизни был профессором русской литературы в США.

ния. Молодежь росла и воспитывалась в обстановке боготворения русской традиции, а старшее поколение писателей, живших в эмиграции, было как бы живым воплощением этой традиции. Молодежи десятилетиями внушали глубочайшее почтение к стихам и прозе, опиравшимся на дореволюционную традицию культуры. Не имея возможности приобщиться к французской литературной жизни и в ней черпать новые формы и методы, эмигрантская литературная молодежь в большинстве своем была, в сущности, обречена на эпигонство. Молодые поэты и прозаики в Париже, когда им удавалось пробиться на страницы литературных журналов или газет, выходили к публике с рассказами или стихами, которые мало чем отличались от литературных образцов конца 90-х годов прошлого века.

В конце 20-х годов журнал «Воля России» провел литературный «международный» конкурс молодых авторов эмиграции. Редакция получила около сотни рассказов, присланных из всех уголков мира, где только писали по-русски. Марк Слоним, делавший по поручению редакции обзор присланных произведений, был поражен их литературной отсталостью. От большинства рассказов пахло литературным нафталином прошлого века. И было такое ощущение, что все эти рассказы или главы из повестей написаны 25—30 лет назад. «Находясь вне большой дороги русского литературного развития, — писал М. Слоним в обзорной статье о русской литературе в «Воле России» в 1929 году, — значительная часть молодежи занята повторением пройденного или открывает давно открытые и прочно заселенные Америки. В поэзии это бальмонтовщина или северянинщина, в худшем случае песенки Вертинского, в лучшем — подражание любовной лирике Ахматовой. В прозе — литература «воспоминаний», русского пейзажа, холодная описательность бунинского типа, водянистые рассказы того пресного реалистического стиля, который в 90-х годах в изобилии встречался в приложениях к «Ниве». Достаточно раскрыть эмигрантские газеты или журналы вроде «Иллюстрированной России», этого зарубежного соперника «Огонька», чтобы увидеть великое множество этих никому не нужных произведений...»³

К счастью, наиболее талантливые и сильные представители младшего поколения зарубежной литературной России все-таки умели освобождаться от этих драгоценных пут великой литературной традиции, искать свои литературные тропы. И тогда на «искусственном небе эмигрантщины» появлялись новые звезды.

Именно с появлением ряда молодых эмигрантских прозаиков и поэтов — таких как Сирин, Газданов, Шаршун, Берберова, Варшавский, Одоевцева, Ладинский, Поплавский, Оцуп, Кнут и др. — связано оживление литературной жизни Парижа с начала 30-х годов. Вокруг имен молодых литераторов разгорается острая полемика, которая втягивает в свой водоворот и старшее поколение писателей.

В очерке «Молодые писатели за рубежом» Марк Слоним уже в 1929 году сделал попытку выявить главные черты нового литературного поколения, сравнивая его с «отцами». С горечью пишет он о том, что парижская литературная молодежь, унаследовав все грехи литературной жизни «эмигрантских отцов» — самомнение, повышенную чувствительность, кружковую нетерпимость, не обладала высочайшей культурой литераторов старшего поколения.

«Литературная молодежь в эмиграции, — пишет М. Слоним, — подобно своим русским собратьям, слишком часто поражает своей некультурностью и даже невежественностью. Она мало читала, мало знает, мало работает над собой, но отличается безапелляционностью суждений и принимает свой ранний жизненный опыт за мудрость и художественную значительность»⁴.

Не следует абсолютизировать это мнение. При всей доброжелательности к литературной молодежи в нем проглядывает оценочный снобизм эмигрантских «академиков». Несмотря на всю «невежественность», именно молодая литература будоражила культурную жизнь эмиграции, не давая ей превратиться в застойное болото. Но предвзятость преодолевалась медленно и трудно, прежде всего потому, что на молодых продолжали смотреть со ступенек старых алтарей.

Далеко не сразу эмигрантская критика разглядела Владимира Набокова (Сирин). Для М. Слонима в 1929 году он еще «несколько однообразный поэт, но очень неплохой прозаик»⁵. Критик как бы силится найти, в кого же выдался В. Набоков, и словно бы даже удивлен, что набоковский роман «Король, дама, валет» «нельзя назвать подражательным»; на нем лежит, по мнению М. Слонима, «лишь некоторый налет германского экспрессионизма».

Среди «многообещающих» прозаиков М. Слоним называет помимо В. Набокова также Г. Газданова, Б. Сосинского, С. Шаршуна, Ю. Фельзена. От огромной массы «начинающих» их отличало прежде всего то, что они в

силу самобытности своих талантов сумели быстро избавиться от влияния эмигрантских «академиков».

«Я не знаю, какова будет в дальнейшем судьба этих молодых сил, с трудом вырастающих под хмурыми эмигрантскими небесами, вдали от родной почвы, в ненормальной и противоестественной атмосфере рассеяния и беженства, — пишет М. Слоним. — Но я твердо убежден, что этой молодежи удастся во всяком случае выйти на волю из эмигрантского литературного музея и неподвижной академии»⁶.

Надо сказать, что сами молодые писатели русской эмиграции относились к себе едва ли не с большей строгостью, чем критики старшего поколения. Одно из свидетельств тому — резкая и во многом несправедливая статья Гайто Газданова «О молодой эмигрантской литературе», появившаяся в «Современных записках» в 1936 году, то есть семь лет спустя после строгой, но достаточно оптимистической оценки М. Слонима. Статья, в сущности, была оскорбительной для большинства молодых писателей и вызвала резкую полемику в журналах. Газданов, за которым к этому времени уже закрепилось мнение как об одной из надежд эмигрантской литературы, отрицает само существование новой литературы эмиграции. Вот как он пишет:

«Если отбросить изложение литературных возможностей и достижений в сослагательном наклонении; если считаться только с фактически существующим материалом; если отказаться заранее от всех априорных положений и суждений о столь же претенциозной, сколь необоснованной «миссии эмигрантской литературы», — то придется констатировать, что за шестнадцать лет пребывания за границей не появилось ни одного сколько-нибудь крупного молодого писателя. Есть только одно исключение — Сирин, но и о его случае следует поговорить особо. Вся остальная «продукция» молодых эмигрантских литераторов может быть названа литературной только в том условном смысле, в каком говорят о «литературе по вопросу о свекле» или «литературе по вопросу о двигателях внутреннего сгорания», — то есть о совокупности выпущенных книг, в данном случае имеющих некоторый, их объединяющий, беллетристический признак»⁷.

Г. Газданов говорит о «предполагаемой» литературе молодых, которую выдумали критики старшего поколения из снисходительности и из жалости к собственному литературному потомству. Полемизируя с критиками старше-

го поколения, прежде всего с Ф. Степуном, Г. Газданов отрицает даже само существование эмигрантского читателя, что, конечно, неверно. Читательская аудитория действительно была невелика, но это была преданная и активная аудитория. Кроме того, Газданов исходил из представления о том, что русские писатели работали исключительно на эмиграцию, что едва ли верно. В силу известных политических причин эмигрантские писатели действительно не имели доступа в советскую Россию, но это не означает, что эмигрантские писатели абстрагировались от той огромной массы читателей, которая росла на их бывшей родине. В сущности, Газданов отрицает саму возможность появления крупного писателя в условиях эмиграции.

«Если предположить, что за границей были бы люди, способные стать гениальными писателями, то следовало бы, продолжая эту мысль, прийти к выводу, что им нечего было бы сказать; им помешала бы писать «честность с самим собой»... Не берусь судить, есть ли среди молодых эмигрантских писателей потенциальные гении; мне это представляется тем менее вероятным, что за все время издательской деятельности за границей не появилось ни одной значительной книги, на которую можно было бы указать как на доказательство существования молодой эмигрантской литературы»⁸.

Для точки зрения Г. Газданова характерно то, что он не относит В. Набокова (Сирину) к эмигрантской литературе, а считает его явлением совершенно самостоятельным и к эмиграции никакого отношения не имеющим. Все остальное поколение молодой эмигрантской литературы он относит к «труженикам» и «труженицам» литературы. «Но только какое это имеет отношение к искусству?» — спрашивает он.

Обосновывая резкость своей оценки, Газданов пишет о том, что культура и искусство — понятия динамичные, развивающиеся, но что именно это развитие было невозможно в условиях эмиграции. Таким образом, считает Газданов, весь разговор о молодой эмигрантской литературе совершенно беспредметен.

«Только чудо могло спасти это молодое литературное поколение; и чуда — еще раз — не произошло. Живя в одичавшей Европе, в отчаянных материальных условиях, не имея возможности участвовать в культурной жизни и учиться, потеряв после долголетних испытаний всякую свежесть и непосредственность восприятия, не будучи

способно ни поверить в какую-то новую историю, ни отрицать со всей силой тот мир, в котором оно существует, — оно было обречено. Возможно, в этом есть некоторая историческая справедливость; возможно, что его жестокий опыт послужит для кого-то уроком. Но с этим трудно примириться; и естественнее было бы полагать, что оно заслужило лучшую участь, нежели та, которая выпала на его долю в Берлине, Париже, Лондоне, Риге, в центрах той европейской культуры, при вырождении которой мы присутствуем в качестве равнодушных зрителей»⁹.

В суждениях Гайто Газданова очевидно присутствует и максимализм молодости, и нигилизм русской культурной традиции, но прежде всего, вероятно, горечь осознания себя как «незамеченного поколения».

В 1936 году, когда молодой писатель писал эти горькие строки, действительно было трудно предположить, что наступят времена, когда советская Россия будет с глубоким вниманием и интересом перелистывать страницы эмигрантской литературы, отыскивая те имена, идеи и чувства, которые, казалось, навеки канули в Лету.

Ошибся Газданов и в оценках культуры «одичавшей Европы». Культура оказалась сильнее и плодотворнее, чем это виделось перед началом второй мировой войны.

Одной из сложнейших проблем молодой эмигрантской литературы было бестемье. Жизни своей второй родины они не знали в достаточной мере для того, чтобы писать романы «из французской жизни» (исключение составляли В. Набоков и Г. Газданов), да и российская жизнь едва коснулась их опаленным крылом революции и гражданской войны. Приходилось фантазировать, описывать внутренний мир воображаемых героев в воображаемых обстоятельствах. На всей молодой эмигрантской литературе лежит этот налет ирреальности, сна, сюрреализма. «Незамеченное поколение» писателей писало о незамеченном, случайном, мимолетном. Отсюда постоянные, отчасти справедливые, упреки со стороны старших критиков в отрыве от реальности, от жизни.

Выступая в 1930 году на литературном вечере, устроенном журналом «Числа», П. Н. Милюков говорил: «Русская литература периода классического, до Толстого включительно, была периодом реализма. Его сменил романтический, или период «символизма». Сейчас, когда в России литература возвращается к здоровому реализму, здесь, в эмиграции, часть литераторов, в частности те, которые

сотрудничают в «Числах», продолжают оставаться на позициях отрыва от жизни»¹⁰.

Мнение, высказанное Милуковым, было характерным для его поколения эмиграции. Старшее поколение эмигрантских общественных деятелей, писателей, критиков, сумевших создать себе сравнительно сносные материальные условия существования, реальной жизни не видело и не понимало. Не могло оно понять и того, что эта «литература теней» не случайна, что она идет не от изыска, не от «монпарнасской испорченности» и не от влияния Запада, а в значительной мере от нищенских условий существования большинства молодых литераторов и поэтов.

Сюрреалистические мотивы в творчестве эмигрантской молодежи — прямой результат деформации их материальной и духовной жизни под «искусственным небом эмиграции». То, что молодые люди в столь тягостных условиях жизни еще находили силы для творчества, было настоящим подвигом. В 1935 году в статье, посвященной памяти трагически ушедшего из жизни Бориса Поплавского, одного из известнейших в свое время молодых поэтов зарубежья, Владислав Ходасевич писал, говоря о положении молодой литературы эмиграции в целом:

«Далеко не миновала пора, когда молодых не хотели печатать вовсе либо печатали в аптекарских дозах, порою требуя, чтобы на рукописи имелась апробация кого-нибудь «многоуважаемого». Как бы то ни было, если сейчас и намечается в этом деле некоторое облегчение — все же молодежь еще слишком хорошо помнит те унижения, которые ей приходилось (и повторяю — отчасти все еще приходится) переживать при соприкосновении с редакциями...

Недоброежелательный нейтралитет старших литераторов не только язвит обидою младших — он губительно отражается на их материальном положении. Отчаяние, владевшее душами Монпарнаса, в очень большой степени питается и поддерживается оскорблением и нищетой. Я говорю не о материальных затруднениях, знакомых почти всей литературной среде; я имею в виду подлинную, настоящую нищету, о которой понятия не имеет старшее поколение. За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить себе чашку кофе. На Монпарнасе порой сидят до утра потому, что ночевать нигде.

Вздор, пошлый вздор, выдуманный слишком сытыми людьми, — будто бедность способствует творчеству, чуть

ли не «стимулирует» его. Человек невыспавшийся, потому что у него нет пристанища, человек, которого мутит от голода, человек, у которого нет угла, чтобы уединиться, — писать не может, будь он хоть сто раз гением. Надо быть полным невеждой либо не иметь совести, чтобы сравнивать нужду Монпарнаса с нуждой прежних писателей. Дневной бюджет Поплавского равнялся семи франкам, из которых три отдавал он приятелю. Достоевский рядом с Поплавским был то, что Рокфеллер рядом со мной. Настолько же богаче Монпарнаса писатели старшего поколения»¹¹.

Владислав Ходасевич, относившийся как бы к среднему поколению поэтов, в силу своей известности, с одной стороны, и молодости, с другой, был вхож и в салоны эмигрантских литературных дам, и в мансарды русской молодежи. Он был одним из немногих узких мостков между старшим и молодым поколениями эмиграции.

К писателям старшего поколения, не отворачивавшимся от молодежи, относились Мережковский и Гиппиус. Эта чета держала один из известнейших в эмигрантском Париже литературный воскресный «салон», который был открыт и для молодежи. В 1926 году «салон» разросся в некое подобие интимного литературно-философского общества или клуба — «Зеленая лампа». Из старшей эмиграции завсегдатаями у Мережковских были Керенский, Бунин, Алданов, Цетлин. В отличие от большинства эмигрантских дам, державшихся в Париже скромно и незаметно, Зинаида Гиппиус всем своим видом как бы хотела эпатировать публику. Она носила высокие, сложные прически, ярко красилась, вид имела высокомерный и надменный и откровенно разглядывала посетителей в лорнет. Вспоминая о встречах с З. Гиппиус в ее «салоне» незадолго до начала второй мировой войны, один из молодых литераторов В. Яновский писал: «В мое время она уже была сухой, сгорбленной, вылинявшей, полуслепой, полуглухой ведьмой из немецкой сказки, на стеклянных негнущихся ножках.

Страшно было вспомнить ее стишок:

И я такая добрая,
Влюблюсь — так присосусь.
Как ласковая кобра я,
Ласкаясь обовьюсь...

Она любила молодежь и поощряла некоторых поэтов; думаю, что многие ей должны быть благодарны»¹².

В 1938 году уже в почтенном возрасте (ей исполнилось 69 лет) она пишет стихотворение «Трепещущая вечность», посвятив его одному из молодых завсегдатаев своих литературных вечеров Владимиру Варшавскому.

Моя любовь одна, одна,
Но все же плачу, негодуя:
Одна, — и тем разделена,
Что разделенное люблю я.

О Время! Я люблю твой ход,
Порывистость и разномерность.
Люблю игры твоей полет,
Твою изменчивую верность.

Но как не полюбить я мог
Другое радостное чудо:
Безвременья живой цветок,
Огонь, дыхание «оттуда»?

Увы, разделены они —
Безвременность и Человечность.
Но будет день: совьются дни
В одну Трепещущую Вечность¹³.

Зинаида Гиппиус — одна из немногих в среде старшего поколения, кто не только «подкармливал» молодую литературную поросль, составлял ей посильную протекцию, но и выступал в ее защиту в эмигрантских изданиях.

В 1939 году в сборнике «Литературный смотр» она рисует весьма безрадостную картину жизни молодого поколения эмигрантских литераторов:

«К половине 30-х годов у нас оказалась одна-единственная газета (с ее собственным журналом) и один уцелевший толстый журнал, выходящий раз в 3—4 месяца. Таким образом, возможность печататься (да еще свободно) для большинства молодых отпала...

Когда бывший военный, офицер делается шофером такси, это не так уж плохо: воевать и служить ему все равно негде, нет ни войны, ни русского полка. Но если молодой интеллигент со склонностью к умственному труду и со способностями или талантом писателя убивает себя то на малярной работе, то делается коммивояжером по продаже рыбьего жира для свиней (не спасаясь этим от «saisie»* и последовательных выселений из прислужных чердачных комнат), — это дело как будто иное. Между

* Арест имущества (франц.).

тем, за редким исключением, вся эта интеллигентная молодежь живет именно в таких условиях, с разными рыбьими жирами для свиней.

Мне возразят, что и в старой России начинающий писатель не мог жить литературой и что некоторые из наших больших писателей терпели в юности жестокую нужду — Некрасов, например. Это возражение легко отвести уже потому, что русские в России — одно, а русские в чужой стране — совсем другое. Тогда, там, отдельные начинающие писатели могли гибнуть (и гибли, вероятно), но чтобы гибло целое литературное поколение — об этом и мысли быть не могло. А сейчас ввиду одних материальных условий можно опасаться и этого»¹⁴.

Эта защита и «подкормка», впрочем, не избавили чету Мережковских от полного почти одиночества в последние годы жизни: эмигрантская молодежь не могла простить им «дружбы» с Муссолини (они состояли с ним в переписке) и реверансов в адрес Гитлера. Пустота начала разливаться вокруг них еще до начала войны, а с оккупацией Франции сделалась фактически абсолютной: подавляющее большинство эмигрантской молодежи выбрало свое место в рядах сражающейся, а не сгибающейся Франции.

«К тому времени большинство из нас перестало бывать у Мережковских, — пишет в своих воспоминаниях В. С. Яновский. — Кровь невинных уже просачивалась даже под их ковер, в квартирке, украшенной образками св. Терезы, любимицы Зинаиды Николаевны. Там, на улице Колонель Боннэ, вскоре начали появляться, как потом выразился Фельзен, «совсем другие люди».

Перед войной возле некогда ярко горевшего интеллектуального очага Мережковских вполне уютно чувствовал себя только В. Злобин* — петербургский недоучившийся мальчик, друг Иванова, левша с мистическими склонностями»¹⁵.

В «Полях Елисейских» В. Яновский пишет о последних годах жизни этой странной супружеской пары — Гиппиус и Мережковского:

«Как бы то ни было, но Злобин постепенно приобрел подавляющее влияние на эту дряхлеющую и выживающую из ума чету. Вероятно, он ее пугал грядущей зимой:

* Злобин В. А. (1894—1968) — секретарь Мережковских с 1916 по 1945 год. Поэт. Автор статей о З. Н. Гиппиус. Умер от тяжелой формы душевной болезни.

холодом, голодом, болезнями... А с другой стороны, борьба с дьяволом-коммунизмом, пайки, специальный поезд Берлин — Москва, эпоха третьего Завета, новая вселенская церковь и, конечно, полное собрание сочинений Мережковского в роскошном переплете. Влияние, любовь, ученики. Догадки, догадки, догадки... Но как же иначе объяснить глупость этого профессионального мудреца, слепо пошедшего за немецким чурбаном? Где хваленая интуиция Мережковского, его знание тайных путей и подводных царств, Атлантиды и горного Иерусалима? Старичок этот мне всегда казался иллюстрацией к «Страшной мести» Гоголя. Недаром в большом сводном собрании, где выступал Мережковский вместе с Андре Жидом, французская молодежь весело кричала: „Cadavre! Cadavre! Cadavre!“*».

Дмитрий Мережковский скончался в Париже 9 декабря 1941 г. Зинаида Гиппиус умерла также в Париже 9 сентября 1945 г. Похоронены они на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в одной могиле, в старой части кладбища, налево от церкви, за загородкой. Это неподалеку от могилы князя Феликса Юсупова, одного из убийц Г. Распутина. Одно время (впервые я посетил их могилу в 1972 г.) каменная плита, под которой покоится эта знаменитая чета — знавшие их рассказывают, что за всю жизнь они не расставались ни на один день, — совершенно заросла мхом и лишайником, так что уже невозможно было прочесть и надписи. Но в последний приезд на кладбище в 1988 году я нашел могилу Мережковских в хорошем состоянии, могильный камень отскоблен, и на вертикальной плите, увенчанной небольшим крестиком, хорошо видно в маленькой нише изображение рублевской «Троицы».

В эмиграции они были одними из самых непримиримых в борьбе с большевизмом, однако непримиримость их не шла далее лингвистической остроты и злой иронии в статьях литературных журналов. Теперь, когда мы во многом по-иному смотрим на собственную историю, признаем многие ошибки и драмы пореволюционного периода, их ирония и сарказм видятся в ином свете: многие из их самих острых оценок, увы, оказались верны. Серьезной ошибкой этой экстравагантной четы была ставка на иностранную интервенцию — единственный путь избавления от большевизма, который им представлялся реальным.

* Трун! Трун! Трун! (франц.).

В этом отношении они шли, можно сказать, «против ветра» даже и в эмиграции, которая отвергала такой путь. Позиция Мережковских, кстати, стоила им почти полной политической изоляции в эмигрантском «левом» Париже. Не ладили супруги и с «правыми», которые не могли простить З. Гиппиус ее симпатий к Февральской революции и скептических оценок белого движения.

Оценивать вклад Д. Мережковского и З. Гиппиус в русскую культуру, конечно же, следует не в связи с их политическими симпатиями, в которых было больше «инфантилизма», нежели здравого смысла, а по тому литературно-критическому наследию, которое они оставили после себя. К эмигрантскому периоду З. Гиппиус относится большое число критических литературных статей, большинство из которых носит острый отпечаток личных пристрастий.

Поэтическое наследие З. Гиппиус эмигрантского периода невелико. В 1938 году в Париже вышла книжка ее стихов «Сияния», главная тема которой — вечное: человек, любовь, смерть, время. Наибольший интерес для будущих историков русской эмиграции представляют два тома ее воспоминаний, крайне субъективных, но блестящих по форме, содержащих массу фактов и наблюдений, интересных прежде всего потому, что в течение двух десятилетий З. Гиппиус находилась в самом центре литературной жизни эмиграции.

Ею также написаны воспоминания в форме очерков о современниках — «Живые лица». Вышли они в Праге в 1925 году. В книге, в частности, есть очерки о Блоке, Брюсове, Сологубе, Полонском и многих других. На высокую ценность этих мемуаров указывал Владислав Ходасевич в интересной критической статье, опубликованной в XXV номере «Современных записок» в 1925 году. Говоря о том, что воспоминания читаются как увлекательный роман, В. Ходасевич подчеркивает, что «свою полную цену эти очерки обретут лишь впоследствии, когда перейдут в руки историка и сделаются одним из первоисточников по изучению минувшей литературной эпохи».

Для историка русской революции большой интерес представляют и опубликованные в Софии в 1921 году в журнале «Русская мысль» (с 1922 г. журнал стал выходить в Праге и просуществовал до начала 1924 г., прекратившись из-за нехватки средств) «Черная книжка» и «Серый блокнот». В сущности, это дневники З. Гиппиус, относившиеся к 1919 году, когда она еще жила в Петер-

бурге. Эмоционально они перекликаются с «Окаянными днями» И. Бунина, которые он писал в это же время по своим крымским впечатлениям о революции. Дневники З. Гиппиус содержали столь резкие мнения в отношении большевистской России, что, помещая их в журнале, редакция сочла необходимым оговорить свое несогласие с оценками автора. Тем не менее, при всей предвзятости и субъективности оценок, петербургские дневники З. Гиппиус наравне с «Окаянными днями» представляют собой ценный источник для изучения революционной эпохи.

Дмитрий Мережковский в эмиграции продолжал писать философские романы, которые можно отнести к беллетристике лишь условно. Скорее это облеченные в литературную форму трактаты на историко-философские и религиозно-философские темы. После переезда в Париж в журнале «Современные записки» он опубликовал в 1924—1925 годах два романа: «Рождение богов» и «Мессия». Оба романа представляют собой размышления о путях и судьбах христианства. В эмиграции же созданы книги «Тайна Трех», «Наполеон», «Атлантида-Европа», «Иисус Неизвестный», книги о Данте, Франциске Ассизском, Жанне д'Арк и др. Публицистические произведения Д. Мережковского отчасти собраны в вышедшей в 1922 году в Мюнхене книге «Царство Антихриста». В центральной статье книги — «Большевизм, Европа и Россия» писатель пытается дать глобальное осмысление происшедших событий. «Должно учесть как следует безмерность того, что сейчас происходит в России. В судьбах ее поставлена на карту судьба всего культурного человечества. Во всяком случае безумно надеяться, что зазявшую под Россией бездну можно окружить загородкою и что бездна эта не втянет в себя и другие народы. Мы — первые, но не последние. Большевизм, дитя мировой войны, так же как эта война, — следствие глубочайшего духовного кризиса всей европейской культуры, — пишет он. — Наша русская беда — только часть беды всемирной...»¹⁶.

Несмотря на то что философские романы и эссе Д. Мережковского довольно широко печатались в эмигрантских журналах (большую роль играла его дореволюционная слава исторического романиста), большого резонанса в эмигрантской среде они не имели. Эмиграция была слишком поглощена решением житейских, во всяком случае, более актуальных проблем, чтобы в полной мере оценить возвышенные и абстрактно-гуманистические построения писателя, относящиеся к далеким эпохам.

Но эмигрантская литературная молодежь ценила Мережковских: и за то, что в них, несмотря на затхлость эмигрантской жизни, не умирала интеллектуальная сила, не прекращался, пусть и противоречивый (вспомним их увлечение Муссолини), поиск «идеала»; даже в их внешней экстравагантности эмигрантской литературной поросли виделся вызов эмигрантскому болоту с характерным для него поиском житейской стабильности и духовного конформизма. С благодарностью воспринималось и то, что, в отличие от большинства литературных мэтров, считавших молодое поколение эмиграции творчески бесплодным, Д. Мережковский, вероятно, исходя из своей концепции исхода русской культуры из большевистской России, верил в молодое поколение эмигрантских писателей. «Из всех крупных писателей эмиграции, — пишет о нем Г. Струве в уже упоминавшемся обзоре русской зарубежной литературы, — Мережковский, вообще склонный к мессианству, всех упорней верил в миссию русской эмиграции. Для эмигрантской литературы он мечтал о появлении Байронов и Мицкевичей»¹⁷.

Однако эта вера и та мизерная материальная поддержка, которую могла оказать чета Мережковских молодым литераторам, естественно, не могли хоть сколько-нибудь заметно облегчить в целом трагическую судьбу молодого поколения русского зарубежья. В своей книге «Незамеченное поколение» Владимир Варшавский приводит имена многих молодых литераторов, ставших жертвой и эмигрантской судьбы, и эмигрантского безразличия. Большинство из них едва успели заявить о себе как писатели и поэты. И лишь немногие смогли опубликовать книги. Трагически погибли (чаще всего в результате самоубийства), умерли от истощения, от болезней, от безысходного пьянства или наркотиков Н. Гронский, В. Диксон, Б. Новосадов, Б. Поплавский, С. Шарнипольский, Вера Булич, К. Гершельман, И. Кнорринг, И. Савин, А. Штейгер, П. Ставров, Д. Кнут. В гитлеровских лагерях погибли Раиса Блох, М. Горлин, Е. Гессен, Ю. Мандельштам, Л. Райсфельд, Н. Фельзен. Я привожу эти фамилии, исходя из того понимания, что у многих из этих несчастных в России остались родственники, близкие, друзья. Может быть, помещенные здесь сведения или упоминания дадут кому-то возможность помянуть добрым словом и доброй памятью этих людей, большинство из которых умерли и были преданы земле в одиночестве.

Многие наперекор судьбе боролись, когда уже казалось, что бороться нет сил, как, например, молодой прозаик В. Емельянов. После ранения в гражданской войне у него отсохла рука. Чтобы не умереть с голоду, он был вынужден устроиться на завод чернорабочим. Домой приходил смертельно уставшим и все же не бросал литературного труда. Его перу принадлежит книга «Свидание Джима». Гайто Газданов, один из немногих уцелевших, писал: «Мы ведем неравную войну, которой мы не можем не проиграть, и вопрос только в том, кто раньше из нас погибнет; это не будет непременно физическая смерть, это может быть менее трагично, но ведь и то, что человек, посвятивший лучшее время своей жизни литературе, вынужден заниматься физическим трудом, — это тоже смерть, разве что без гроба и панихиды»¹⁸.

Несколько лучше складывалась судьба эмигрантских поэтов. Объясняется это прежде всего «техническими» причинами: стихи, в отличие от прозы, требовали меньше места, поэту было легче напечататься, чем прозаику. Может быть, это обстоятельство и предопределило то, что среди эмигрантских литераторов поэтов значительно больше, чем прозаиков. Их имена чаще мелькали в эмигрантской прессе. Это хоть в какой-то степени помогало самоутвердиться, не впасть в отчаяние. Сравнительное благополучие эмигрантских поэтов дало возможность Г. Федотову в статье, посвященной зарубежной русской поэзии, опубликованной в альманахе «Ковчег» в 1942 году, говорить о «парижской школе» молодых эмигрантских поэтов. В этой же статье содержится интересное наблюдение об учителях «парижской школы». Г. Федотов отмечает, что наибольшее влияние на формирование «школы» оказали Г. Адамович и В. Ходасевич — поэты среднего поколения. Из молодых к «парижской школе» принадлежали прежде всего Б. Поплавский, В. Смоленский, Л. Червинский, А. Штейгер, Д. Кнут, Ю. Софиева.

Г. Струве в своем обзоре эмигрантской литературы пишет, что «с конца 20-х по 1939 год можно насчитать не меньше двадцати поэтов, которые заслуживали бы упоминания в истории зарубежной литературы».

Литературной вражды, отмечает Г. Струве, между поэтами не было, но внимательный взгляд обнаружил бы несколько «полей притяжения»: Г. Адамович, В. Ходасевич, М. Цветаева. Из поэтов, живших в советской

России, наибольшее влияние на эмигрантскую поэзию оказал Б. Пастернак.

Интересно отношение эмигрантских поэтов к Владимиру Маяковскому. Его высочайшая одаренность, новаторство признавались, в сущности, всеми, за самым малым исключением. Зинаида Гиппиус, например, отрицала его поэзию. Впрочем, тут, вероятно, больше было свойственной ей позы, чрезмерного самомнения, нежели реальной оценки. Приезды Маяковского в Париж всегда будоражили эмигрантскую молодежь, а его выступления проходили при полных залах. Велико было влияние поэта на левую французскую интеллигенцию. Французские сюрреалисты считали его своим.

На этом фоне кажется странным, что влияние Маяковского на молодую эмигрантскую поэзию было незначительным. Причина тут, как представляется, двойственная.

Едва ли следует отметить фактор политический. Маяковский был поэт «ангажированный», если использовать французское выражение, тесно связавший свою судьбу с революцией, а начиная с середины 20-х годов — с коммунистической партией. Он был крупнейшим политическим трибуном советской России, поэт-политик, поэт-пропагандист. Это не могло не сказаться на отношении к нему эмиграции. Эмигрантская литература, в особенности поэзия, была намеренно далека от политики, и агитационный пафос творчества Маяковского мало импонировал русским завсегдатаям монпарнасских кафе.

Были причины и другого свойства. Эмигрантская поэзия в большинстве своем — бескровна и бескостна. Она отражала тот ирреальный, отстраненный от всего гражданского мир, в котором обитало «незамеченное поколение». Условия существования, быт, идеи (вернее сказать, отсутствие плодотворных идей), отрешенность от судеб покинутого отечества и приемной родины диктовали особую стилистику, формировали замкнутый поэтический мир. Это был мир снов, недоговоренностей, мир полустраданий, получувств, столь свойственный эмигрантской среде. В эмигрантской поэзии больше вздоха, нежели нерва. И даже ненависть эмигрантской поэзии несла на себе отпечаток отвлеченности, аморфности. Крик — редкое явление в молодой эмигрантской поэзии. Чаще всего это беспомощный вздох, стон. Чувства в ней уступают место чувствительности.

Разумеется, в оценке молодой эмигрантской поэзии главное слово будет принадлежать литературоведам, когда

они возьмутся за изучение этого немаловажного пласта русской зарубежной культуры. Но мне хотелось бы здесь высказать одно предположение, которое я вынес из знакомства с поэтическими сборниками молодых эмигрантских поэтов (большинство из них сумели выпустить лишь одну-две тоненькие книжки стихов). Впечатление это состоит в том, что поэтическая эмиграция не смогла создать свою стилистику. В лучшем случае это повторение образцов дореволюционной поэзии, стилистическое эпигонство, в худшем — обременительное графоманство. Слово, которое, пожалуй, более всего подходит к эмигрантской поэзии, — «трогательность». Но для большой поэзии этого мало.

Маяковский писал для страны, для огромных масс. Его можно любить и можно не любить. Когда же читаешь стихи, написанные эмигрантскими поэтами, трудно избавиться от ощущения, что милые, грустные, нередко трагические эти строки тем не менее написаны «для альбома». И это верно: у эмигрантской поэзии не было аудитории, кроме узкого круга друзей. Не в этом ли одна из главных причин ее малокровия?

Мы верим книгам, музыке, стихам,
Мы верим снам, которые нам снятся,
Мы верим слову... (Даже тем словам,
Что говорятся в утешенье нам,
Что из окна вагона говорятся)...¹⁹

Эти строки принадлежат Анатолию Штейгеру, одному из тех эмигрантских поэтов, чья жизнь — словно иллюстрация к словам В. Варшавского о «незамеченном поколении». Не имея постоянного дома, он много скитался по Европе, переезжая из города в город, из страны в страну, точно бы в поисках приюта. В его поэзии настойчиво звучит нота обреченности, столь свойственная эмигрантским поэтам, всему молодому поколению русского зарубежья. А. Штейгер умер во время войны в Швейцарии от туберкулеза.

Часто стихи эмигрантских поэтов — словно короткая выписка из интимного дневника, которому поверяют по вечерам маленькие впечатления, размышления или обиды дня.

Над узкой улицей серая,
Встает, в который раз, рассвет.
Живем — как будто не старея.
Умрем — узнают из газет...²⁰

(Лидия Червинская)

Эмигрантская муза часто впадает в откровенно «романсовый» тон, что вызывало иронию даже у эмигрантской, весьма снисходительной, критики.

Весь мир, как огромный цветок.
Ты плачешь от счастья, без сил,
При мысли, что хоть на часок
И ты этот мир посетил²¹.

(Анатолий Ладинский)

О поэзии «парижской школы» судить трудно по той причине, что в силу материальных и житейских обстоятельств профессиональная поэзия в эмиграции, по существу, отсутствовала. Большинство поэтов так и не смогли выпустить свои сборники, и их поэзия рассеяна по журналам, альманахам, газетным полосам.

Среди удачливых можно назвать лишь несколько имен: Екатерину Бакунину («Стихи», 1931 г.), Антонину Горскую («Раздумья», 1938 г.), Лазаря Кельберина («Идол», 1930 г.), Евгения Шаха («Семя на камне», 1927 г., «Городская весна», 1930 г.), Алексея Холчева («Смертный плен», 1930 г.).

В 1936 году в Париже посмертно вышел сборник «Стихи и поэмы» Николая Гронского, поэзию которого высоко оценивала Марина Цветаева. Его поэму «Белладонна» она называла лучшей вещью во всей поэзии эмиграции. При жизни Н. Гронскому удалось напечатать лишь несколько отдельных стихотворений.

По всеобщему признанию, наиболее значительным талантом молодой эмиграции был поэт и прозаик Борис Юлианович Поплавский (1903—1935), автор нашумевшего в эмиграции романа «Аполлон Безобразов». О Поплавском спорили, ему посвящали стихи, он был одним из центров «русского» Монпарнаса. О нем благожелательно отзывались Г. Адамович, Д. Мережковский, В. Ходасевич, Ю. Терапиано. Его сравнивали с Блоком, Белым. В отзыве на посмертно изданную книгу стихов Б. Поплавского «В венке из воска» Ходасевич писал, что как лирический поэт Поплавский, несомненно, был одним из самых талантливых в эмиграции, пожалуй, даже самый талантливый.

Однако признание таланта и личности мало помогло ему при жизни. Он смог выпустить лишь одну книгу «Флаги», в которой собрано около 90 стихотворений, написанных до 1930 года. После гибели поэта в Париже вышло еще два сборника — «Снежный час» и «В венке

из воска». Ряд эмигрантских критиков причисляют Б. Поплавского к поэтам-сюрреалистам, отмечая, что на его поэзию большое влияние оказала живопись, в частности полотна Марка Шагала. Его творчество страдало от тех же бед, которые были свойственны почти всей молодой эмигрантской поэзии и прозе, — отсутствия глубокой культуры, существования вне времени и пространства, сознания своей потерянности.

Спать. Уснуть. Как страшно одиноким.
Я не в силах. Отхожу во сны.
Оставляю этот мир жестоким,
Ярким, жадным, грубым, остальным.

Между тем в реальной жизни, по свидетельству современников, молодых поэтов и писателей, Борис Поплавский был, что называется, «крепким жильцом». Физически сильный, выносливый (его любимым времяпрепровождением были многочасовые прогулки по Парижу), с крепкой шеей и сильными руками, подобно Хемингуэю в Париже он занимался боксом и умел радоваться жизни. Цикл его стихов «Над солнечной музыкой воды» пронизан ожиданием радости. Но радость не приходила или приходила на короткий миг.

Читали мы под снегом и дождем
Свои стихи озлобленным прохожим.
Усталый друг, смиряйся, подождем,
Нам спать пора, мы ждать уже не можем.
Как холодно. Душа пощады просит.
Смирись, усни. Пощады слабым нет²².

Жизнь всякий раз загоняла этого прирожденного оптимиста в угол. И все его путешествия, кроме путешествий по Парижу, были фантазией, плодом неудовлетворенной жажды простора, движений, поступков.

Гайто Газданов в очерке на смерть Б. Поплавского писал: «Он всегда был — точно возвращающимся из фантастического путешествия, точно входящим в комнату или кафе из ненаписанного романа Эдгара По. Так же странна была его неизменная манера носить костюм, представляющий собой смесь матросского и дорожного. И было неудивительно, что именно этот человек особенным, ни на чей другой не похожим, голосом читал стихи, такие же необыкновенные, как он сам»²³.

Бориса Поплавского с полным основанием можно отнести к типу литературного неудачника, безусловно талантливому, но не настолько, чтобы, подобно Владимиру

Набокову, преодолеть ограниченность эмигрантского мира и эмигрантской психологии. В. Набоков спас тот багаж культуры, который уже нес в себе, уезжая с родителями из России. Он был всего четырьмя годами старше Бориса Поплавского, но эти «лишние» четыре года, проведенные Набоковым в высококультурной среде русской интеллигенции, имели огромное значение для всего его последующего творчества.

Б. Поплавский был, подобно многим сверстникам его эмигрантского поколения, лишен возможности впитать в себя ту культуру, которая, собственно, и отличает настоящего поэта или писателя от талантливого, подающего надежды самородка. Его стихи и проза пестрят ошибками. Критики неоднократно отмечали у него недостаток образования, выделяя массу неудачных, неправильных выражений в его стихах. И все-таки его поэтический дар постоянно пробивался к солнцу через коросту малокультуры.

Георгий Иванов*, известный еще до революции поэтакмеист, пользовавшийся в эмиграции, где он жил с 1923 года, большим авторитетом и как литературный критик, писал: «По совести отвечаю. Да — в грязном, хаотическом, загроможденном, отравленном всяческими декадентствами, бесконечно путанном, аморфном состоянии стихи Поплавского есть проявление именно того, что единственно достойно называться поэзией в неунизительном для человека смысле»²⁴.

В таком же размашистом, черновом стиле Б. Поплавский пробовал писать и прозу. Так написан роман «Аполлон Безобразов». Редакторы приходили от него в ужас. О судьбе второго, неопубликованного романа практически ничего не известно. Краткое упоминание о нем имеется в книге В. Яновского «Поля Елисейские». Он был дружен с Б. Поплавским.

Роман назывался «Домой с небес». Роман был большой, неровный, написанный, по отзыву В. Яновского, «бурной, размашистой лирической прозой большого поэта, со всеми преимуществами и недостатками такой манеры от Андрея Белого до Пастернака включительно». Издать роман полностью так и не удалось, и его судьба, местонахождение рукописи неизвестны. Несколько отрывков из романа было опубликовано посмертно в альманахе «Круг». Не исключено, что рукопись и поныне лежит среди бумаг и писем в архиве какого-нибудь эмигрантско-

* Умер в 1958 году в доме для престарелых в Иере, на юге Франции.

го старичка, некогда принадлежавшего к кругу парижских «русских мальчиков».

В. Яновский упоминает, что литературным наследием Бориса Поплавского занимался Николай Татищев, один из малоизвестных эмигрантских литераторов, едва упоминаемых в обширной эмигрантской мемуаристике. Как знать, может быть, со временем рукопись переберется в Россию с общим потоком возвращающейся «домой с небес» эмигрантской культуры.

* * *

В 1934 году в Париже вышла десятая книжка литературного сборника «Числа», того самого, который, в отличие от большинства «толстых», солидных изданий, старался печатать эмигрантскую молодежь. Предполагали, готовя этот номер к печати, редактировавший журнал Н. Оцуп, что номер окажется последним, или в нем заговорила интуиция, но главный редактор вдруг решил поместить коллективную фотографию постоянных сотрудников и участников «Чисел». Получилась большая многочелюстная фотография в несколько ярусов — вполне в стиле тех лет. В первом ряду разместились Д. Мережковский, З. Гиппиус, Г. Адамович (среди постоянных авторов журнала были также А. Ремизов и Б. Зайцев) — те, кого шуточно и иронически называли «литературными бонзами», за ними — литературная молодежь. Среди них и Борис Поплавский. Вспоминая об этом сеансе коллективного фотографирования, В. Яновский заметил в своих мемуарах о молодежном ряде: «Все обречены, каждый по-своему».

По-своему оказался обреченным и Борис Вильде, запечатленный на этом фото вместе с женой. Только его обреченность, в отличие от судьбы большинства молодых эмигрантских литераторов, была иной — героической. Это ему и его другу Анатолию Левицкому посвящены именные мраморные доски на стене в вестибюле Музея человека на площади Трокадеро в Париже: «Борис Вильде (1908—1942), русский, принявший французское гражданство. Окончил историко-филологический факультет и Этнографический институт, работал при европейском отделе Музея человека. Мобилизован в 1939—1941 гг. Во время оккупации был судим по делу «Резистанс» и расстрелян на Мон-Валерьян 23 февраля 1942 г. Генерал де Голль наградил его медалью Сопrotивления, сог-

ласно следующему приказу: "Вильде. Оставлен при университете, выдающийся пионер науки, целиком посвятил себя делу подпольного Сопротивления с 1940 г. Будучи арестован гестапо и приговорен к смертной казни, явил своим поведением во время суда и под пулями палачей пример храбрости и самоотречения. Алжир, 3 ноября 1943 г."».

Б. Вильде, как и Б. Поплавский, принадлежал к так называемому кругу «русских монпарнасцев», но, в отличие от большинства бедствующих молодых литераторов, со временем материально устроился неплохо. Получил прекрасное образование и занимал хорошо оплачиваемую должность в Музее человека. С Поплавским его связывала странная полудружба-полувражда. И внешним видом, и манерами, и привычками, и стихами они являли собой полную противоположность. Благоустроенность, связи во французских кругах, безупречность одежды и манер Б. Вильде вызывали отчасти зависть, отчасти раздражение Поплавского. Когда встал вопрос о том, чтобы принять его в литературное объединение «Круг» при одноименном альманахе*, многие из молодых поэтов возражали: скрытный, чересчур удачливый, сдержанный. Никто не предполагал тогда, что эта сдержанность — от внутренней силы, что он станет одним из ярких героев не только русского, но и французского Сопротивления.

Альманах «Круг», несмотря на все попытки Г. Федотова и И. И. Фондаминского, стремившихся придать ему религиозно-литературный характер, дышал декадентским духом полуночного литературного и художественного Монпарнаса.

Литературная молодежь чаще всего собиралась в кафе «Селект», устроенном на американский манер (в том самом, куда любил захаживать Э. Хемингуэй), или типично парижской «Ротонде». Зинаида Шаховская в своих воспоминаниях «Отражения», вышедших в Париже в 1975 году, пишет, что над русским литературным Монпарнасом незримо витала тень петербургской «Бродячей собаки» с ее декадентской эстетикой предреволюционных лет.

Для большинства эмигрантских поэтов монпарнасские

* Альманах «Круг» был основан в 1935 году И. И. Фондаминским-Бунаковым с целью сближения молодого литературного поколения с религиозными мыслителями, сотрудничавшими с журналом «Новый град». Идеей И. Фондаминского было «обратить души» заблудших монпарнасских литераторов. Однако «обращение» не удалось, и «Круг» сохранил чисто литературный характер.

кафе были спасением от одиночества, тоски, местом, где в дни безденежья можно за счет приятеля выпить чашечку горячего кофе. Но многие пришедшие сюда за спасением от самих себя впадали в соблазн для слабых: дешевое вино, наркотики, бессонные ночи, истеричное ожидание прихода славы и — петля или сверхдоза наркотиков, когда слава не приходила.

Впрочем, этот особенный, «монпарнасский» образ жизни был свойствен не только русской литературной молодежи, но в еще большей степени французской. Разница, пагубная разница, состояла в том, что французы были у себя дома, материально крепко стояли на ногах, у них были дом, семья, тогда как у русских почти ничего из этого спасительного набора не было. «Мы же были пролетариями самого низшего разбора, без страны и без прав», — вспоминает свои монпарнасские дни З. Шаховская. Из старшего поколения завсегдатаями «Селекта» и «Ротонды» были Георгий Иванов и Георгий Адамович, чье мнение в среде молодых поэтов было равнозначно окончательному приговору. Они, конечно, видели, как буквально у них на глазах гибли многие молодые дарования, но сделать ничего не могли. Здесь выживали только сильные духом. Одним из таких был Борис Вильде.

На русском Монпарнасе его звали «Дикой». Он приехал в Париж из Прибалтики без имени, без денег, как, в сущности, и большинство эмигрантов. Но, в отличие от многих из «потерянного поколения», он имел крепкую волю, она-то и спасла его от падения в монпарнасский колодец. Хорошо знавший его Владимир Варшавский вспоминает, как после бессонной ночи в «Ротонде» или дружеской вечеринки у кого-нибудь из поэтов он шел на лекции в университет. Ему были чужды настроения безысходности, выбивавшие из жизни одного за другим завсегдатаев русских столиков на Монпарнасе.

В монпарнасских вечерних сидениях, в спорах о России, о гибели культуры, о собственной обреченности не было никакого намека на героику: повторяемые ежедневно, они стали частью будничной жизни, как ритуальная чашка кофе. И казалось, что все приходившие сюда повязаны нитью единой судьбы, в которой было больше места для трагедии, нежели для подвига.

И все же, судя по воспоминаниям о героически погибшем поэте, в нем уже тогда жило предчувствие необычности судьбы. Владимир Варшавский вспоминает об одной как бы случайно оброненной Борисом Вильде фразе:

«Я всегда живу так, как если бы завтра должен умереть». Тогда на нее никто не обратил внимания: позы, вычурности мнений и слов среди молодых поэтов «парижской школы» хватало — они были как бы частью «декадентского» ритуала общения.

В серой опустошенности парижских буден была потребность выделиться если не мыслью, так словом или внешним видом. Борис Поплавский, обладавший нормальным зрением, «щеголял» в темных очках, иные бравировали нарочитой грубостью, из-за которой за столиком время от времени закипали драки, кончавшиеся, впрочем, без долгих обид.

Вильде была чужда поза. Может быть, оттого, что он был красив, обаятелен, «ухожен». Многие из его приятелей по «Кругу» в силу тягот жизни, недоедания, чрезмерности курения и вина в тридцать лет казались сорокалетними; другие, напротив, до седых волос сохранили некую интеллектуальную и физическую инфантильность.

Отдавая должное «увлечениям молодости», Борис Вильде настойчиво искал опору, которая дала бы ему возможность жить реальной, полновесной интеллектуальной и научной жизнью. В отличие от многих монпарнасских поэтов, он создал хорошую семью. Его жена Ирен Лот была дочерью известного французского историка Ф. Лота и М. Бородининой, довольно известной в кругах эмиграции журналистки с философско-религиозным уклоном: она сотрудничала во многих богословских журналах русского зарубежья.

Вероятно, не у одного русского был соблазн подозревать Б. Вильде в «выгодном браке». Но это была любовь в самом высоком и поэтическом смысле слова. Письма и дневники Вильде — тому бесспорное свидетельство. В жизни многие считали Вильде суховатым, сдержанным, и только после смерти, когда его эпистолярное наследие стало известно эмигрантской общественности, прежние завистники и недоброжелатели смогли убедиться в том, какая это была чувствительная и эмоциональная натура. Просто он не расплескивал своего сердца прилюдно, как это было принято «среди своих» в эмиграции. В отличие от шумной монпарнасской братии, стремившейся привлечь к себе внимание если не талантом, то по крайней мере скандалом, Б. Вильде был почти незаметен. Об этой его внешней незаметности писал после войны Г. Адамович в «Русском сборнике»: «Если бы я знал, как Вильде умрет, я, конечно, помнил бы о нем больше, чем помню теперь.

Несомненно, это был замечательный человек. Немецкий офицер, сказавший на суде, к смущению своих коллег, что если бы он не был врагом Вильде, то хотел бы быть его другом, не ошибся в оценке. Но все мы поражены слепотой; Вильде был для меня очень милым, очень приятным молодым человеком, только и всего. Чувствовался в нем искатель приключений гумилевского, романтического склада: мечты о походе в Индию или об охоте на белого носорога. Но слишком часто такие мечты кончаются успешной, долголетней службой в нотариальной конторе...»²⁵.

Борису Вильде была уготована другая судьба. Вернее, не уготована, а избрана им самим.

С первых же дней второй мировой войны Вильде, как и многие русские эмигранты, был мобилизован во французскую армию. Во французских окопах по «линии Мажино» находилось немало русских эмигрантов.

Нужно сказать, что русская эмиграция начало второй мировой войны встретила со смешанными чувствами. Для многих она была трагедией, разрушением того хрупкого быта и душевного равновесия, которого удалось добиться ценой многих усилий и лишений: они оказались без работы, без средств к существованию. Пережившие все страсти русской катастрофы, изгнанничество, чужбину, неустроенность, эмигранты особенно дорожили тем миром, который создали вокруг себя.

С началом войны начались и тяжкие материальные лишения. Французам, естественно, было легче: в своем доме и стены греют. В те годы у большинства горожан еще имелись родственники в деревне, связи, сбережения. В городах жизнь сделалась нелегкой, но в сельской местности в бытовом отношении не так уж многое изменилось. Лишения французов во время войны невозможно сравнить с условиями существования в оккупированных районах СССР. Сама оккупация носила, если так можно сказать, более «мягкий» характер. Для немцев французы были «европейцами», хотя они и относились к ним с презрением и высокомерием победителей. Париж испытывал нехватку угля, бензина, продовольствия, чувствовались немецкие реквизиции. Но оккупация не была столь жестокой, как в России (вспомним, что в Белоруссии, например, погиб каждый четвертый житель), — она лишь внесла «неудобства». Продолжали работать заводы и фабрики, были открыты театры, кабаре, рестораны. Меню, разумеется, было не тем, что в довоенные годы. На окнах париж-

ских кафе часто можно было прочесть написанное мелом объявление «Вина нет». Редкостью стал кофе. Но открыто процветала спекуляция, а меры немецкой комендатуры против спекулянтов носили скорее символический характер. Многие состоятельные французские семьи, бежавшие из Парижа перед приходом немцев, через некоторое время вернулись, поняв, что «если не требовать невозможного» и «не делать глупостей», то можно жить и при оккупации.

Для русских эмигрантов война означала совсем иное. Они жили в чужом доме и первыми страдали от условий военного времени. Русские семьи много натерпелись во время экономического кризиса, охватившего Францию в конце 20-х — начале 30-х годов: в условиях безработицы они первыми оказывались на улице, как правило, без всякого пособия и надежды найти дело. Многие так и не смогли устроиться до самого начала войны, перебиваясь случайным заработком или подкармливаясь при русских благотворительных организациях. Для них война была продолжением и усугублением личной катастрофы.

Но у войны был и другой аспект. Как всякая катастрофа, она носила всеобщий характер, затрагивала интересы и судьбы миллионов людей, и на фоне этого всеобщего разлома собственная житейская драма и судьба уже не казалась такой страшной и потерянной. Люди в условиях трагедии естественно потянулись друг к другу, и для многих эмигрантских душ, стоявших на краю гибели, война оказалась спасением.

Стало яснее, что делать, как поступать. Снова потребовались характер, решимость, поступки. Война всколыхнула застоявшуюся ряску эмигрантской жизни и была тем горьким, но все же лекарством от одуряющего отчаяния чужбины. На авансцену эмигрантской жизни выдвинулись не хнычущие и сетующие, а люди с характером. Одним из них был Борис Вильде.

Психологически вполне понятно, почему с начала войны так много русских эмигрантов пошло во французскую армию добровольцами. Для многих эмигрантов, прошедших через белое движение, гражданскую войну, война была делом знакомым. Когда же 22 июня 1941 г. разнеслась весть о нападении Германии на Советский Союз, ко всему этому добавился еще и патриотизм.

В разразившейся над Европой войне многие русские, мечтавшие вернуться на родину, видели возможность «искупления», ту тропинку, которая, как им думалось и мечталось, приведет их в конце концов к родному дому.

В свое время, когда наше сознание и наше отношение к эмиграции были затемнены примитивными предрассудками, незнанием, неумеренной пропагандой против «эмигранщины», и в советской публицистике, и в научных трудах нередко выпячивались и даже смаковались редкие случаи сотрудничества эмигрантов с оккупационными властями во Франции. Такие случаи были. Но русский «коллорабонационизм» был редким исключением. Можно буквально по пальцам пересчитать людей, согласившихся работать с немцами. Сотрудничество это носило весьма ограниченный характер и, по сути дела, никогда не доходило до предательства.

Немецкие власти, кстати, не строили себе иллюзий в отношении русских эмигрантов и возможности их привлечения к активному сотрудничеству. Для них русский — красный или белый — был врагом. И совершенно не случайно, что немцы, войдя в Париж, арестовали большинство русских эмигрантов-мужчин, поместив их в Компьенский лагерь. Дальнейшее широкое участие эмигрантов в движении Сопротивления только подтвердило «подозрения» немцев. В Сопротивление ушли не только те, кто по опыту белого движения умел владеть оружием, например Гайто Газданов, но и многие из тех, кого никак нельзя было отнести к воинству. Добровольцем во французскую армию записался Г. Адамович, скрыв при этом болезнь сердца. Участие в Сопротивлении приняли и многие из молодых писателей и поэтов, еще недавно влачивших голодные и тягостные дни за чашкой кофе в «Селекте»: В. Андреев, Д. Кнут и его жена, В. Гессен (сын известного русского политического деятеля И. В. Гессена), В. Корвин-Пиотровский, Б. Вильде, И. Фондаминский-Бунаков, М. Горлин, Р. Блох, И. Британ...

Мировой пожар дал русской эмиграции новое дыхание; в трагическом разломе истории она вдруг увидела надежду, шанс на спасение достоинства, и этот шанс не был упущен. Война разбросала многие эмигрантские семьи и судьбы: одни ушли в Сопротивление, другие бежали от немцев в «свободную зону», на юг Франции, третьи еще дальше — за океан. Но при всем рассеянии все вдруг снова ощутили — и это ясно видится в эмигрантской мемуаристике — общность своей судьбы с отечеством.

Интересные свидетельства о жизни русских эмигрантов во Франции содержатся в письмах Михаила Осоргина, которые он писал близким и друзьям в годы оккупации.

Я уже упоминал имя этого известного и в дореволюционной России, и в эмиграции литератора в связи с высылкой из РСФСР большой группы деятелей культуры, профессоров и религиозных мыслителей в 1922 году. М. Осоргин был выслан в их числе. До революции он был известным публицистом, сотрудником «Русских ведомостей». В течение почти десяти лет работал корреспондентом этой газеты в Италии. Престиж газеты «Русские ведомости» в Европе был столь велик, вспоминал впоследствии М. Осоргин, что он мог переезжать из одной страны в другую без визы, пользуясь лишь визитной карточкой корреспондента этой газеты.

М. Осоргин был знаком со многими знаменитостями того времени: П. Боборыкиным, А. Амфитеатовым, М. Горьким. Последняя встреча с Алексеем Максимовичем произошла в 1926 году, когда Осоргин приехал к нему в Сорренто. Одним из самых ярких впечатлений жизни этого литератора была Февральская революция, которую он, как и большинство русских интеллигентов, принял с восторгом, с надеждами. Уже будучи в эмиграции, в книге воспоминаний «Времена» он описал лихорадочную, пьянящую атмосферу февраля 1917 года.

После революции Осоргин принимает активное участие в интеллектуальной жизни Москвы, сотрудничает в кооперативной газете «Власть народа», редактируя, в частности, ее литературное приложение «Понедельник». Избирается товарищем председателя Московского отделения Союза писателей, председательствует на Всероссийском съезде журналистов. Старшее поколение москвичей помнит, что Михаил Осоргин был вместе с Н. Бердяевым организатором и активным сотрудником московской «Лавки писателей» — одного из пристанищ свободной мысли и свободного слова в годы нэпа. Одна из заслуг «Лавки писателей» — сбор и сохранение книг из многочисленных разоренных или реквизированных личных библиотек. Благодаря усилиям небольшой группы писателей через «Лавку писателей» были подобраны хорошие коллекции книг для нескольких русских провинциальных университетов.

Для советских театралов, особенно поклонников театра Вахтангова, вероятно, небезынтересно будет напомнить, что в 1921 году М. Осоргин по просьбе Евгения Вахтангова перевел в стихах знаменитую пьесу Карло Гоцци «Принцесса Турандот», которая с успехом идет на вахтанговской сцене до сих пор. В 1919 году М. Осоргина арестовывает ЧК, и он несколько дней просидел в печально

знаменитом «корабле смерти»*, который описан им в эмиграции в романе «Сивцев Вражек». Арест был ошибочный, никакой контрреволюционной деятельностью писатель не занимался, и он был освобожден по ходатайству Союза писателей. В 1921 году М. Осоргин принимал активное участие в деятельности Всероссийского комитета помощи голодающим.

В Париж М. Осоргин приехал в конце 1923 года. Он оказался одним из наиболее плодовитых русских литераторов за границей. За 1928—1938 годы он издал девять книг — романы, рассказы, очерки. Наибольшим успехом у русской читающей публики в эмиграции пользовался роман «Сивцев Вражек», переведенный на ряд европейских языков. В 1930 году в США он был отмечен как один из лучших зарубежных романов.

Основные события романа происходят в Москве, которую автор хорошо знал и любил, хотя родился и вырос в Перми. В центре романа — жизнь скромной семьи московских интеллигентов, неумолимо вовлекаемой в трагический водоворот русской революции. Москва является героем и последующих двух романов писателя — «Свидетель истории» и «Книга о концах». Сюжетной основой этих двух связанных между собой романов служат реальные события, в частности некогда нашумевшая в Москве история побега из московской тюрьмы двенадцати девушек — политических заключенных.

М. Осоргин был в эмиграции одним из немногих литераторов старшего поколения, кто охотно помогал начинающим писателям. Его статьи о русской культуре печатались не только в эмигрантской прессе (он был постоянным сотрудником милюковских «Последних новостей»), но и в ряде европейских газет и журналов. Последний роман М. Осоргина «Вольный каменщик» посвящен эмигрантской жизни.

Подобно многим русским эмигрантам, Михаил Осоргин, проявлявший в революционной России кипучую

* Пережившие красный террор в своих воспоминаниях «кораблем смерти» называют подвальные помещения внутренней тюрьмы ВЧК на Лубянке, где содержались «смертники» — приговоренные к высшей мере наказания. Подвальная тюрьма размещалась под одноэтажным флигелем, где в прежние времена хранился архив страхового общества «Россия». Она действительно чем-то напоминала трюм огромного парохода. Воспоминания одного из уцелевших узников «корабля смерти» содержатся в сб.: Че-Ка. Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. Издание Центрального бюро партии социалистов-революционеров. — Берлин, изд-во «Орфей», 1922. — С. 19—46.

общественную и политическую активность, в эмиграции полностью отрешился от политики, считая ее занятием бессмысленным и вредным. Он не принадлежал ни к левым, ни к правым, но своим трудом старался поддерживать по возможности высокий интеллектуальный уровень эмигрантской жизни. В сущности, он себя и не считал эмигрантом. Высланный из советской России в числе «нравственно непримиримых», он до конца дней своих остался верен идеалам Февральской революции. Трагические события, происходившие в России после Октября, переживал остро и болезненно, пытался осмыслить, но без злобы, в контексте общего развития человеческой истории.

В оккупированном немцами Париже М. Осоргин жить не захотел и, несмотря на возраст (62 года) и болезнь, уехал в «свободную зону». Поселился он в маленькой городке Шабри, где и умер 27 ноября 1942 г. Работал писатель до последних дней. И многочисленные его статьи печатались в годы войны в журнале «Новое русское слово», выходившем в Нью-Йорке. Последняя статья «Ответ старому джентльмену» написана за месяц до смерти.

М. Осоргин всегда старался быть полезным тем, кто бедствовал в эмиграции. Находясь в Шабри в крайне стесненных материальных обстоятельствах, он тем не менее наладил отправку продуктовых посылок своим друзьям и знакомым, голодавшим в Париже. Письма М. Осоргина из французской провинции друзьям интересны тем, что дают возможность представить по множеству рассыпанных в них мелких деталей и более существенные особенности жизни и взаимоотношений в среде русской эмиграции во время войны. Впервые эти письма были опубликованы лишь в 1984 году в Париже в журнале «Cahier du monde russe et soviétique». Читатель найдет их в приложении к данной книге. Там же мы помещаем и три письма более раннего периода. Относятся они к 1936 году и адресованы старому другу в Москве. Адресат неизвестен. Можно предположить, что, не желая подвергать своего московского корреспондента опасностям «знакомства» с НКВД (год-то был какой на дворе!), Михаил Осоргин отправлял их с редкой, но надежной оказией, с оказией же получал и ответы. Письма эти интересны тем, что проливают свет на то, каким образом эмиграция, во всяком случае ее левая интеллигентская часть, относилась к фашизму и какие при этом делала выводы.

Письма эти, помимо прочего, позволяют лучше понять, почему русская эмиграция дала Франции столько участников Сопротивления. По лесам и полям Франции разбросано примерно 3 тыс. русских могил. Многие русские пали смертью настоящих героев, и их имена овеяны легендой. Генерал де Голль очень ценил участие русских в Сопротивлении. Он хорошо помнил, что десятым в списке добровольцев, записавшихся в Лондоне в ответ на его призыв спасти честь Франции, был русский Н. В. Вырубов, прошедший затем весь путь войск «Свободной Франции». Он был ранен, награжден Крестом освобождения и Военным крестом. В вышедшем после войны во Франции сборнике материалов «De Montmartre à Tripoli» («От Монмартра до Триполи») имеется волнующий рассказ о героической судьбе эмигрантского полковника Амилахвари. Ему посвящена целая глава.

В послевоенные годы Содружество резервистов французской армии, в котором состояло и много русских эмигрантов, прошедших войну и Сопротивление, предприняло попытку составить список русских, погибших в борьбе за Францию. Много сил для розыска русских героев-эмигрантов положил молодой эмигрантский поэт Н. Н. Оболенский, сам прошедший войну в одном из полков иностранных добровольцев. Ему принадлежит знаменитое, известное всей эмиграции четверостишие:

И вот несут, глаза в тумане
И в липкой глине сапоги,
А в левом боковом кармане
Страница Тютчева в крови²⁶.

Тютчев здесь далеко не случаен. Борясь на территории Франции за свободу и честь своей второй родины, эмигранты отчетливо сознавали, что они — русские и служат во имя русской чести и русского достоинства.

Содружество резервистов французской армии предпослало к списку погибших русских такие слова: «Свидетельствуя о подвигах геройски погибших братьев, Содружество не преследует иной цели, как и в мирное время служить и только служить Чести Русского Имени. Оно просит русскую эмиграцию серьезно задуматься над тем нравственным сокровищем, которое она приобрела подвигом и жертвой лучших своих детей. Это нравственное сокровище надлежит всячески охранять и оберегать. Содружество просит вспоминать, что мы стоим у свежих

еще могил, память павших в боях еще не изгладилась из сердец их знавших»²⁷.

В списках, опубликованных после войны Содружеством резервистов, содержатся лишь самые краткие сведения о погибших: имя, год рождения, награды, при каких обстоятельствах погиб. Вот одна из типичных записей в списке содружества:

«Анатолий Болгов. Вступил в ряды Сопротивления в возрасте 17 лет. Участвовал в штурме «Отель де виль»* в Париже. После освобождения Парижа в рядах 2-й танковой дивизии генерала Леклерка участвовал в германском походе. Пал смертью храбрых, попав в засаду эс-эс во время штурма Берхтесгадена. Награжден Военным крестом с пальмой и Военной медалью».

Осенью 1945 года русские участники Сопротивления учредили Содружество русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления с целью сбора сведений о русских патриотах, погибших в боях или замученных в концентрационных лагерях. Председателем содружества был избран Игорь Александрович Кривошеин**, активный участник антифашистского подполья во Франции, узник Бухенвальда. В июне 1946 года и затем в феврале 1947 года стараниями содружества было выпущено два номера «Вестника», содержащих ценные сведения об участниках Сопротивления.

Имена Бориса Вильде и Анатолия Левицкого широко известны в среде русских эмигрантов не оттого, что они были доблестнее других участников Сопротивления, а оттого, что их борьба и мужественная смерть получили во Франции широкую огласку в связи с судебным процессом над ними, который устроили немцы, намереваясь придать своей расправе над участниками антифашистской борьбы видимость законности. Было и еще одно важное обстоятельство, которое связало имена Б. Вильде и А. Левицкого с Сопротивлением.

Дело в том, что в ноябре 1940 года, когда подпольное антифашистское движение во Франции, и в частности в Париже, только набирало силу, Борис Вильде и Анатолий Левицкий организовали выпуск первой подпольной газеты. Первые два номера были напечатаны ими собственноручно в типографии Музея человека, где они работали. Подпольную газету они назвали «Résistance» («Сопротивление»).

* Городская ратуша (франц.).

** И. А. Кривошеин скончался в Париже в августе 1987 года.

Это название вскоре распространилось на все подпольное Сопротивление во Франции.

К сожалению, группа Вильде и Левицкого была быстро раскрыта. 14 февраля 1941 г. гестаповцы арестовывают А. Левицкого и его невесту Ивонн Оддон, работавшую в Музее человека библиотекарем. Несмотря на избиения и пытки, А. Левицкий на допросах держится мужественно и никого не выдает. Бориса Вильде во время ареста друга не было в Париже: по делам группы он ездил в «свободную зону». Благоразумие требовало не возвращаться в Париж. Однако это было не в характере Вильде. Он считает своим долгом вернуться и во что бы то ни стало продолжить выпуск газеты, чтобы отвести подозрения от арестованного товарища.

Интересные воспоминания о «деле Музея человека» написала оставшаяся в живых участница группы Вильде — Левицкого француженка Аньес Гюмбер. Она помогала распространять газету. Была арестована, приговорена немецким судом к депортации в Германию, но, по счастью, осталась в живых. После освобождения она выпустила книгу «Наша война» — одно из самых подробных свидетельств о подвиге Б. Вильде и А. Левицкого. По ее словам, Б. Вильде был уверен в том, что рано или поздно его арестуют, и тем не менее отказывался уехать из Парижа. Арестовывают Б. Вильде в марте 1941 года.

«Дело Музея человека» получает большую огласку, о нем пишут газеты, мужественное поведение Вильде и Левицкого на допросах и на суде становится известным благодаря подпольной печати. По Парижу ползут слухи о подпольной группе газеты «Резистанс», в которой двое русских. Из «свободной зоны» в адрес суда и немецких властей в Париж идут письма, телеграммы, петиции. Среди просьб о помиловании телеграммы, подписанные Франсуа Мориакон, Полем Валери, Жоржем Дюамелем. Однако ходатайства не помогли. 23 февраля 1942 г. Борис Вильде, Анатолий Левицкий и пять французских участников группы были расстреляны в предместье Парижа на Мон-Валерьен.

Сохранились последние письма Б. Вильде и А. Левицкого к родным, написанные перед казнью. Они были опубликованы после войны в «Вестнике русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции».

Анатолий Левицкий:

«Дорогие мои.

Пишу вам всем вместе, так как мне трудно написать

каждому отдельно, да и, в сущности, это было бы ни к чему. Знайте, что я люблю вас всей душой и жалею, что недостаточно вам это доказал, пока было еще не поздно. Не могу себе простить горя, которое я вам причиняю, и умоляю вас простить меня всем сердцем, без всяких задних мыслей. Я не ожидал столь быстрой развязки, но, быть может, лучше, что это так. Я готов уже давно и совершенно спокоен. Мне кажется, что душа моя в мире с Богом. Да исполнится Его воля. Пусть возьмет Он и вас под свое высокое покровительство! В последний раз от всей души обнимаю вас. *Анатолий.*

Фрэн*, 22 февраля 1942 г.»

Письмо Бориса Вильде к жене Ирэн Лот было написано утром в день казни.

«Простите, что я обманул Вас**: когда я спустился, чтобы еще раз поцеловать Вас, я знал уже, что это будет сегодня***. Сказать правду, я горжусь своей ложью: Вы могли убедиться, что я не дрожал, а улыбался, как всегда. Да, я с улыбкой встречаю смерть, как некое новое приключение, с известным сожалением, но без раскаяния и страха. Я так уже утвердился на этом пути смерти, что возвращение к жизни мне представляется очень трудным, пожалуй, даже невозможным. Моя дорогая, думайте обо мне, как о живом, а не как о мертвом. Я не боюсь за Вас. Наступит день, когда Вы более не будете нуждаться во мне: ни в моих письмах, ни в воспоминаниях обо мне. В этот день Вы соединитесь со мной в вечности, в подлинной любви. До этого дня мое духовное присутствие, единственно подлинно реальное, будет всегда с Вами неразлучно...

Моя дорогая, я уношу с собой воспоминания о Вашей улыбке. Постарайтесь улыбаться, когда Вы получите это письмо, как улыбаюсь я в то время, как пишу его (я только что взглянул в зеркало и увидел в нем свое обычное лицо). Мне припоминается четверостишие, которое я сочинил несколько недель тому назад:

Невозмутимый, как всегда,
С отвагой никому не нужной,
Так послужу мишенью я
Для дюжины немецких ружей.

* Название парижской тюрьмы, где содержались арестованные и где их судили.

** В оригинале письмо написано по-французски.

*** Речь идет о последнем свидании перед казнью.

Да, по правде сказать, в моем мужестве нет большой заслуги. Смерть для меня лишь осуществление великой любви, вступление в подлинную реальность. На земле возможностью такой реализации были для меня Вы. Гордитесь этим. Сохраните, как последнее воспоминание, мое обручальное кольцо.

Умереть совершенно здоровым, с ясным рассудком, с полным обладанием всеми своими духовными способностями, — бесспорно, такой конец более по мне, разве это не лучше, чем пасть на поле сражения или же медленно угаснуть от мучительной болезни. Я думаю, это — все, что я хочу сказать. К тому же скоро пора. Я видел некоторых моих товарищей: они бодры, это меня радует.

Бесконечная нежность поднимается к Вам из глубины моей души. Не будем жалеть о нашем бедном счастье, это так ничтожно в сравнении с нашей радостью. Как все ясно! Вечное солнце любви восходит из бездны смерти... Я готов, я иду. Я покидаю Вас, чтобы встретить Вас снова в вечности. Я благословляю жизнь за дары, которыми она меня осыпала...»

Это последнее письмо Бориса Вильде к жене в большой мере способствовало созданию легенды о его мужестве, легенды, которая еще не нашла своего летописца.

Георгий Адамович был, без сомнения, знаком с последним письмом Б. Вильде к Ирэн Лот, когда писал о нем в своих позднейших воспоминаниях: «...Смерть Вильде, уже окруженная легендой, по-своему есть творческий акт, возвеличивающий и очищающий душу. За урок, за пример, за сохранение чести, за напоминание о том, что такое достоинство, — чем теперь отблагодарить его?»

Русская эмиграция, поредевшая и постаревшая после войны, многим обязана своим героям, павшим за русскую и французскую честь. После войны в благодарность за пролитую кровь французское правительство немало сделало, чтобы облегчить жизнь русских эмигрантов. Им был открыт доступ к профессиональной деятельности, многие получили пенсии, перестали чиниться препятствия для получения французского гражданства. Облегчению судьбы эмигрантов много содействовал генерал де Голль. Помнят о русском подвиге и рядовые французы. В поездках по Франции мне много раз встречались русские могилы, скромные памятники. Содержат их в добром порядке и не скупятся на цветы, особенно в провинции.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

22 июня 1946 г. издававшаяся в Париже газета «Русские новости» опубликовала текст указа Верховного Совета СССР, согласно которому подданные бывшей Российской империи, а также утратившие советское гражданство получали право на его восстановление. Указ был подписан в Москве несколько ранее — 14 июня. Публикация эта внесла настоящую сумятицу в умы русских эмигрантов. По случаю публикации указа целый ряд видных эмигрантов сделали патриотические заявления, в том числе Н. А. Бердяев¹.

Великая Отечественная война, страдания народа, горечь утрат, а потом радость победы оказали глубокое воздействие на русских, живших в зарубежье. Николай Павлович Остелецкий, участвовавший в боях против фашизма в рядах британского военно-воздушного флота (он летал на тяжелых бомбардировщиках), рассказывал* автору этих строк о том, какое огромное эмоциональное впечатление произвела на русских эмигрантов Сталинградская битва. По его словам, это и было началом русско-советского патриотизма в эмигрантской среде. Особенно было велико уважение к Советской Армии, принявшей на себя основной удар в ходе второй мировой войны. По мере того как приближалась победа советского оружия, эти патриотические чувства крепили и расширялись. Целый ряд виднейших деятелей эмиграции пересматривали свое отношение к советской России. Враждебность к советской власти уступала место искреннему преклонению перед ратным подвигом народа и жертвами, понесенными страной. Старые эмигранты помнят, какой восторженный прием эмиграция устроила Константину Симонову, приехавшему в Париж вскоре после войны и выступавшему там со своими военными стихами. В середине февраля 1945 года эмиграцию буквально потрясла весть о визите В. А. Маклакова в советское посольство и о его беседе с советским послом А. Е. Богомоловым.

Василий Алексеевич Маклаков, один из лидеров партии кадетов, член Государственной думы, в 1917 году был

* Н. П. Остелецкий, председатель Морского офицерского собрания в Париже, скончался 8 октября 1988 г. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

послом России во Франции. В его руках оставались крупные денежные суммы, и он много сделал для налаживания жизни эмиграции и организации помощи нуждающимся. Его авторитет в эмигрантских кругах Франции был чрезвычайно высок. Визит бывшего посла в советское посольство вызвал многочисленные комментарии во французской и эмигрантской прессе. Вместе с В. А. Маклаковым на прием к А. Е. Богомолу ходили адмирал А. Е. Кедров, игравший заметную роль в «Русском общевойском союзе», известный общественный деятель эмиграции А. С. Альперин и др.

О настроениях эмиграции в эти месяцы хорошее представление дает выступление А. Е. Кедрова на том памятном приеме в посольстве.

«Буду говорить, г. посол, как офицер, во главе других ведший борьбу с Вами. Да, мы были врагами, — так начал свою речь адмирал. И продолжал: — Но годы шли, и наши ряды редели — одни умирали, другие уходили, разочаровавшись в борьбе. Мы же, ведшие борьбу, остались одними ярлыками без содержания. Уже в 1936—1937 годах и другие начали сознавать, что в России народилось новое поколение, которое не с нами, а с Вами, создается новая государственность, крепнет новая армия — процесс из разрушительного стал созидательным. Наступила великая война. Советский Союз вначале пошел на соглашение с Германией. Мы, русские за границей, приветствовали это, рассчитывая, что вне процесса войны Россия останется нетронутой и еще более окрепнет. Но в гордыне своей Германия пошла против Советского Союза. Кровавыми слезами мы плакали, когда слышали о первых поражениях, но в глубине души мы продолжали верить, что Советский Союз победит, так как для нас он представлял русский народ...»².

Вместе с тем в визите этом не было ничего неожиданного. Он был лишь логическим завершением процесса примирения эмиграции с советской Россией, начало которому было положено, судя по многочисленным воспоминаниям эмигрантов, во время Сталинградской битвы. С заявлениями о принятии новой России (дело, естественно, не обходилось без оговорок) выступили в это время многие видные люди эмиграции, в том числе и Н. А. Бердяев.

О том, насколько эмигрантские круги интересовал вопрос о взаимоотношениях с советской властью, свидетельствует тот факт, что издававшийся в Нью-Йорке,

куда с началом второй мировой войны переехало большое число эмигрантов, «Новый журнал» провел своего рода исследование о настроениях эмиграции. Среди видных деятелей эмиграции была распространена анкета с просьбой ответить на вопросы, касающиеся отношения к советской России. В журнале шла острая дискуссия на тему советской власти и эмиграции, поводом для которой, как нетрудно догадаться, послужил «поход» В. А. Маклакова в советское посольство.

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют ответы на анкету двух видных деятелей эмиграции: А. И. Коновалова*, председателя правления крупнейшей эмигрантской газеты в Париже «Последние новости», считавшейся в эмигрантских кругах левой, и С. П. Мельгунова**, занимавшего позицию «непримиримого» по отношению к советской власти и, в частности, резко отрицательно относившегося к Сталину, которого после победы СССР во второй мировой войне часть эмиграции склонна была идеализировать.

После второй мировой войны, когда во французское правительство входили коммунисты и их влияние на политическую жизнь страны было очень велико, русская эмиграция испытывала определенные трудности с изданием своих газет и журналов. В этой обстановке С. П. Мельгунов продолжал издавать непериодические сборники и брошюры, в которых подвергал резкой критике Сталина и созданный им режим. Выходили «Свободное слово», «Свободный голос» и др. Названия приходилось постоянно менять, так как сборники издавались без официального разрешения французских властей. Положение изменилось в 1947 году, когда отношение французских властей к «русским патриотам» претерпело изменение. В этом году в Париже начала выходить газета «Русская мысль».

Сравнение этих двух ответов представляет большой интерес не только потому, что они отражают точку зрения двух видных эмигрантов, но еще в большей степени оттого, что С. П. Мельгунов и А. И. Коновалов принадлежа-

* Коновалов А. И. (1875—1948) — крупный текстильный фабрикант, лидер партии прогрессистов в IV Государственной думе. Министр торговли и промышленности во Временном правительстве.

** Мельгунов С. П. (1879—1956) — видный русский историк и публицист. До революции — редактор популярного журнала «Голос минувшего». В эмиграции после войны одно время редактировал журнал «Возрождение» (до войны — газета), считавшийся изданием правого крыла эмиграции.

ли к разным лагерям эмиграции, а газеты «Последние новости» и «Возрождение», с которыми они поддерживали тесную связь, считались политически противостоящими изданиями, соответственно левого и правого толка.

Вот эти две анкеты³.

А. И. Коновалов

Вскоре по освобождении Франции, лишь только почтовые сношения с Америкой стали возможными, как мною, так и моими друзьями были получены из Парижа сообщения, обрисовывающие настроения, переживавшиеся в разнообразных кругах парижской русской общественности. Судя по этим сообщениям, в эмиграции в тот момент определились три политических течения и направления, отмечалось образование трех основных ее групп: 1) группа лиц, павших ниц перед существующей властью, во всем и всегда восхваляющих власть и существующий в СССР режим; 2) группа лиц, остающаяся на непримиримой к советской власти позиции; и 3) группа лиц, склонных занимать выжидательную позицию в зависимости от дальнейших актов и действий власти.

Из полученных сообщений видно было, что участники третьей группы исходили из следующих соображений:

а) непреклонная вражда к советской власти была целиком оправдана тогда, когда эта власть, действуя в интересах мировой революции, жертвовала интересами России и разрушала основные ценности общества — право, свободу и человеческое достоинство;

б) русская революция, которая была не местным явлением, а началом мирового социального движения, вступила в России в период восстановления государства на основах нового права;

в) Россия, как показала война, национально здорова и сохранила свои внутренние силы;

г) власть, которая оказалась способной организовать материальные силы страны и воспользоваться духовными силами русского народа для победы, — такая власть не может рассматриваться иначе, как «национальная власть России»;

д) ослабление государственного авторитета опасно не только во время войны, но было бы против интересов России и в тот период, когда будет выработываться условия мира;

е) в нынешних условиях перед русской эмиграцией неизбежно встает вопрос о возвращении на родину;

ж) отношение власти к правам и нуждам населения и, наоборот, отношение населения к власти станет ясным только после войны, когда минует внешняя опасность; долг русского эмигранта по отношению к его стране в мирное время станет ему так же ясен, как ясен эмигранту его долг во время войны;

з) во время войны власть сделала ряд уступок народу, — между властью и народом установлено перемирие;

и) если власть будет продолжать политику постепенного раскрепощения народа, то перемирие станет миром, если же — нет, то внутренняя борьба возобновится.

Почти одновременно с этим сообщением была получена печатная листовка с восемью тезисами, исходившая от «Groupe d'action des émigrés russes»*, образовавшейся в 1944 году группировки, идейно

* «Группа действия русских эмигрантов» (франц.).

руководимой В. А. Маклаковым. В основном эти тезисы более пространно развивали и закрепляли те соображения третьей группы, которые были приведены мною выше. Ясно также было, что в тот момент сам В. А. Маклаков и его сторонники занимали указанную мною «выжидательную позицию». Для многих друзей Маклакова, в Америке проживающих, представлялось, что занятая позиция «выжидания» является наиболее желательной и оправдываемой и что в путях дальнейшей переписки и дискуссии могло бы произойти дальнейшее соглашение взаимных точек зрения.

К сожалению, по причинам, до сих пор не выясненным, предположения наши не оправдались. Сообщения из Парижа не поступали; вся переписка замолкла — ожидавшийся обмен мнений и взглядов не получил осуществления. Отсюда станет понятным общее изумление, когда в половине марта в газете «Новое русское слово» появилось сообщение парижского корреспондента газеты Кобецкого о визите 12 февраля*.

Что поведали нам полученные из Парижа разъясняющие письма, полученные лишь в июне, через три с половиной месяца после состоявшегося посещения? Чем вызван был переход «маклаковской группы» с позиции выжидательной на тактическое действие 12 февраля? Каковы были идейные побуждения и мотивы, группой руководившие?

Ознакомляясь и перечитывая все то, что представилось нам возможным получить в Нью-Йорке, я лично пришел к нижеследующим заключениям и выводам.

Главнейшее объяснение кроется в причинах «эмоционального характера», в той атмосфере, которая создалась в Париже за время немецкой оккупации, вызвавшей несомненное разложение во многих кругах русской эмиграции. Гнусное, постыдное поведение и сотрудничество части эмигрантов с оккупантами (добавлю, к счастью и к чести эмиграции, — части сравнительно незначительной), поставившей ставку на Гитлера, вопреки жизненным интересам родины и русского народа, «жеребковская**» эпопея и хозяйничание не могли не оставить глубочайшего следа.

«Вы, в Америке (гласит одна выдержка из письма), может быть, не верили в победу Германии, а мы, во-первых, ее пережили, ибо Францию они победили, и мы знаем, что такое эта победа. И когда мы думали, что спасти нас от этого может только советская Россия, мы все ей прощали, и в прошлом и в будущем. Во-вторых, вы не видели воочию подлинных русских германофилов, которые проповедовали и оказывали поддержку Германии против России во имя свержения советской власти. Достаточно было их видеть, чтобы ощутить, что мы ближе к Сталину, чем к ним, и что он России менее вреден. Так эмоционально складывалась готовность к какому-то примирению».

Постараюсь изложить свою точку зрения по вопросу о посещении посольства, столь всех взволновавшему.

На протяжении более чем двух десятков лет со времени революции в России произошли и происходят сдвиги, кризисы огромного исторического значения в жизни страны и народа, затрагивающие все их будущее. Они произошли как в областях политической и социальной, так равно и в области общей экономики страны. Затронуты

* Имеется в виду визит В. А. Маклакова в советское посольство.

** Жеребков — один из эмигрантов, активно сотрудничавших с оккупационными властями, возглавлял «русское бюро», ведавшее набором рабочих для заводов в Германии.

самая структура государства, народный быт, мировоззрение народов, Россию населяющих. Русская революция пересоздала страну и народ и круг ее дальнейшего воздействия еще далеко не сомкнулся.

По справедливости надо признать, что мы, в эмиграции прожившие и не имевшие возможность вдыхать в себя воздух родной страны и не будучи субъектами всех переживаний и потрясений, многое не доглядели и многое недооценили. Столкновение народа и власти не могло быть вечным; длительности его положены известные пределы. Процессы изживания первоначальной острой борьбы и произошедшая во время войны смычка между народом и властью не могут не быть отмеченными. Взрыв патриотизма, огромный подъем национального самосознания в пору последней войны — войны отечественной — привели к победе и к величайшему торжеству, равных которому не много в военной истории. Заслугой власти было вовремя и умело уловить проявления народной воли по защите страны, предусмотрительно и вовремя создать мощную военную машину, обеспечить образование квалифицированного командного состава и всего аппарата, приводящего в действие эту мощную машину. Необычайно высоко поднявшийся ореол России опьянил национальной гордостью народные массы, оказал влияние на отношение этих масс к данному правительству — правительству блестящей победы. В известной степени власть искупила многие свои злодеяния и прегрешения в прошлом в отношении проводимой ею внутренней политики, исторгла тяжкие воспоминания о «похабном» мире, заключенном в Брест-Литовске, о разбазаривании русских окраин.

Страшно задуматься над теми роковыми и ужасающими последствиями, которые создались бы для России, для народов, ее населяющих, если бы в результате неблагоприятного исхода и завершения этой войны страна на целый ряд поколений оказалась в рабском состоянии, став жертвой хищнических вождедений победоносного ее угнетателя!

Характеризуя настоящий период времени как период огромного национального подъема в России, глубочайшей горячей в народе веры, что он — русский народ — искупил свою кровью освобождение не только России, но и всей Европы, я не могу попутно не осудить и не отозваться на те крайне близорукие взгляды, которые порою выявляются в печатаемой в Америке русской публицистике. Свободно критикуя действующую власть и ныне существующий советский режим, некоторые выступления зачастую не учитывают пробудившиеся в русском народе национальное сознание, гордость народа и его любовь к отечеству. Направляя вполне оправдываемую «стрельбу» по режиму и по Сталину, авторы такого рода статей, к сожалению, одновременно бьют по самому чувствительному нерву ярко проявленной народной гордости. Результат получается обратный и, несомненно, крайне вредный. Благотворное воздействие свободного слова и здоровой критики теряет свою силу, смысл и значение. Русские люди не приемлют статей, отличающихся такой близорукостью взглядов; они отворачиваются от них с чувством недоброжелательства, недружелюбия, а подчас и с чувством возмущения и ненависти. Но это — попутные замечания, направленные в другую сторону. Возвращаюсь к столь удивившему нас изменению позиции В. А. Маклакова и его группы.

Теперь более шести месяцев прошло со дня состоявшегося в Париже свидания-беседы. Что же эта беседа выяснила? Каковы положительные ее результаты? Несомненно, состоялась она в результате предварительного сговора обеих сторон — выявлена была двусторонняя воля. И если для нас в известной мере стали ясны побуждения и политические устремления одной стороны — тех кругов политической эми-

грации, которые представлены были при свидании В. А. Маклаковым, то основные цели и мотивы другой стороны так и остались по сие время для нас, по крайней мере, нераскрытыми. По-видимому, тайна их осталась нераскрытой и для самого В. А. Маклакова и лиц, его сопровождавших.

Ведь едва ли указание посла, выразившееся в словах «мы должны к вам присмотреться, вас изучить, убедиться в вашей искренности», и далее: «на всеобщую амнистию нельзя рассчитывать», — могло в какой-либо мере удовлетворить представителей эмиграции, посольство посетивших. Так не осталась ли протянутой рука Маклакова повисшей в воздухе?

Но возникает и другой вопрос: парализовало ли это действие группы Маклакова то разложение эмиграции, которое было отмечено в начале сего обзора? Полученные разъяснения этого не констатируют. Наоборот, факты свидетельствуют, что выступление маклаковской группы содействовало расколу среди русских людей в эмиграции и что даже в самом создавшемся в Париже объединении, о котором упоминалось выше, ныне нет единогласия. Уже обнаружилось в нем самом два фланга, и выходящая в Париже газета «Русские новости», должествовавшая представлять основное течение объединения, ввиду явно определившегося уклона газеты в сторону «Советского патриота» уже более не отражает взгляды основной инициативной его группы. Между объединением и газетой получился полный разрыв. Если таковой раскол появился в первоначальной группе, то можно представить себе те разномыслия и разногласия, которые замечаются в различных кругах и слоях русской колонии Парижа.

Возникает опасение, не затруднятся ли усилия по защите тех неоспоримых принципов и ценностей, напоминание и отстаивание коих составляют прямой долг политической эмиграции и определяют весь смысл и значение ее существования? Нужно ли повторять, что этими ценностями являются: человеческая личность, ее достоинство, уважение к правам человека и гражданина, свободное волеизъявление народных масс, определяемое понятием народоправства, и все те гражданские и политические свободы, на которых только и может строиться человеческое общежитие.

Лозунгом эмиграции, постоянным призывом ее должна быть защита прав народа на свободу, неустанное напоминание о необходимости проведения в жизнь законов, эти права обеспечивающих и ограждающих. Сталинская конституция 1936 года в известной степени есть шаг вперед, но элементарных прав народа эта конституция не ограждает.

Русский народ затаенно молчит. Значит ли это, что в своих устремлениях к лучшей жизни он своих прав не домогается и не ждет? Значит ли это, что у русских людей на родине искажено или атрофировано самое понятие о свободе? Признать и утверждать это значило бы проявлять полное неуважение к народу русскому, игнорировать исторические факты и примеры прошлого, извращенно понимать самую природу и натуру русских людей. Состояние настоящей их «примиренности» вытекает из страстного желания народа для блага страны избежать пережитых в прошлом революционных потрясений, повторение коих могло бы пагубно отразиться на судьбах русского государства; и надо отметить, что к ним не призывает и не должна призывать также и политическая русская эмиграция. Но этот уклад народной мысли и воли, эта «примиренность» нынешняя могут привести и к «примирению» народа с властью в путях последующего тесного взаимного сотрудничества.

Победа над врагом завершилась именно в этих путях. Восстановление гражданских и политических свобод, мирное социальное строительство на русской земле, защита личности в условиях подчиненности государственной власти закону, долженствующему стать высшим арбитром, могут осуществляться лишь при наличии доверия народа к власти и вышеуказанного сотрудничества. Эти именно мысли хотел защищать В. А. Маклаков; красной нитью проводятся они в статье его «Советская власть и эмиграция»; они же, но лишь в некоторой степени, нашли свое отражение и в речах его, обращенных к Богомолу во время свидания. Вопрос о том, нужны ли были и правильны ли были те методы действий, которые избраны были Маклаковым, — остается более чем спорным.

Но надо признать, что, не убоившись ответственности за предпринятый тактический шаг, В. А. Маклаков поставил определенную веху в истории эмиграции, и с ней нельзя не считаться. От действующей власти, всецело от нее, зависит ныне, став выше партии, презрев ее мандаты, всепоглощающие ее интересы, направить свою волю к осуществлению исконных пожеланий и устремлений народа к свободе, отменить диктаторские методы властвования над душами и мыслями миллионов русских людей. И только тогда могут рассеяться тяжелые воспоминания прошлого, все сомнения, и только тогда может появиться доверие к власти и наступят дни действительного примирения с нею.

Этот процесс необходимого взаимного сотрудничества в мирное время, если таковой совершится, поведет к еще большему возвеличению облика России и всех народов, ее населяющих, величайшая жертвенность которых вместе с богатырскими подвигами славной русской народной армии заслужили всеобщее восхищение, всеобщее мировое признание. Руководится ли власть этими устремлениями, готова ли она идти по пути, отвечающему исконным народным вождениям? Заслужит ли она тем самым всеобщее признание как власть «национальная», народ представляющая, от народа неотделимая? В. А. Маклаков, его политические друзья и единомышленники склонны верить в происходящую эволюцию власти и признавать эту власть «властью национальной» — уже в данный момент. Проявленный ими в Париже тактический шаг — есть следствие этой их веры.

Думаю, что не поспешный, а основанный на действительных фактах правдивый ответ на поставленные выше вопросы могут дать лишь история дальнейших событий во внутренней жизни России, последующие деяния власти.

С ними тесно связаны будущие судьбы нашей родины. Этими деяниями определяется и та громадная ответственность, которая на власть падает.

Сияющий в торжестве облик России должен остаться неизменно вечным.

С. П. Мельгунов

В Каноссу нас зовут идти, к советской власти. Нас призывают забыть о сотнях тысяч русских жизней, загубленных не на поле брани с внешним врагом, а в подвалах ГПУ и концентрационных лагерях, куда попадают все несогласные с политикой властвующего деспота. Только люди с чрезмерно короткой памятью могут так легко покрыть пеленой забвения столь недавние жертвы насильственной коллективизации деревень, произведенной во имя партийной догмы, а не национальных интересов страны. Только те, у кого заглохли веления политической

совести, могут отыскивать фиктивные оправдания для совершенных коммунистической диктатурой преступлений перед народом и звать нас к «искреннему примирению» с ней. Мертвые неумолчно взывают к нашей совести и к нашей чести. Нет и никогда не будет прощения в л а с т и насилья над человеком.

Сторонники примирения с советской властью констатируют, что после 25 лет диктатуры Россия оказалась жива и здорова — война опровергла опасения, что «советский режим убьет в народе патриотизм и гражданственность и этим подготовит его к добровольному подчинению иностранцам». Это сказано о народе, который на протяжении своего векового государственного строительства сумел проявить изумительную крепость и настойчивость в выполнении трудной павеи на него национальной колонизационной миссии. Те, кто обращается к нам с призывом идти в Каноссу, сделали изумительное открытие: «русский народ ныне заслужил (?) право сам собой управляться (!), так как он поднялся на защиту родины и отстоял ее против внешних врагов»...

Гипноз перед всеокрушающей силой немецкого бронированного кулака, страх, навеянный отчасти старым, неизжитым еще предрассудком о столкновении германизма со славянством, заставили многих русских патриотов забыть о той реальности нашего исторического бытия, которая экономически и географически ставила Россию в иные условия, чем Западную Европу, и заранее обрекала на крах всякое предприятие наполеоновского масштаба. Жизнь разбила прогнозы пессимистов. То, что произошло, явилось для них, по собственному признанию, «откровением», и теперь они впали в противоположную крайность, поспешив оправдать существующий в России политический строй. Поистине, это самогипноз.

Большевики давно, начиная с «передышки» Брестского мира, готовились к «священной войне» с международным империализмом. Почти все экономические и духовные интересы страны, все потребности живой человеческой личности были принесены в жертву выполнению этой задачи. Приходится ли удивляться явлению, столь поразившему воображение некоторых эмигрантов, что «тоталитарный» государственный режим в СССР, не останавливающийся ни перед каким организованным насилием, оказался и экономически достаточно подготовленным к войне? Чрезмерно элементарными представлялись всегда априорные утверждения о неспособности большевиков, проявивших достаточно организационного таланта, к каким-либо творческим заданиям. Ведь об этой неспособности нам перед войной говорили и относительно фашистского режима в Германии. «Злые духи» в истории тем и страшны, что при их беспредельном аморализме средства достижения поставленной цели становятся почти неограниченными... «Мыльный пузырь» большевиков сам по себе не лопнул за 25 лет, и нечего скрывать, что установившийся в России «тоталитарный» режим сумел использовать завоевания мировой техники и смог, при непосредственном активном содействии некапиталистической Европы и Америки, занести в свой баланс немалые достижения в области государственного хозяйства (они не соответствовали, конечно, планетарному масштабу коммунистических прожектеров, охваченных своего рода манией грандиозности). Вопрос иной: какими жертвами это было достигнуто и каким тяжелым бременем легла тактика воинствующего коммунизма на плечи голодающего русского народа. Традиционный дуализм — государство пухло, народ хирел — в эти годы предстал во всей своей наготы: гекатомбы людских жертв голода останутся навеки памятником советской экономики.

Немец дошел до Волги, и в этот момент все зло от советской власти должно было временно отойти на задний план, ибо это зло —

свое зло — все-таки было преходяще и в пределах сравнительно короткого времени, в смене, возможно, одного поколения, изживалось. В сложившейся обстановке у русского населения не было иного выхода, как идти с властью, фактически управляющей страной; отстоять родину против внешнего врага по-другому нельзя было, ибо в своей героической борьбе оно никакой помощи извне получить не могло. Означало ли это внутреннее примирение с властью и признание ее властью подлинно национальной?

Положение русских, находящихся в эмиграции, было особенно трагично. Зовущие нас на примирение с советской властью упрощенно изображают наше тяжелое в моральном отношении положение. Для них эмиграция раскололась на две непримиримые части. Одна пошла с Германией против России и, имея возможность открыто себя проявлять, открыто создавала «оптический обман своей многочисленности»; другая — «патриотически настроенная, оставалась с Россией и тем самым оказалась на одной стороне баррикад с советской властью» (не с Россией, а именно с советской властью!). В этой характеристике мы слышим как бы загробный голос Милюкова, присоединившегося в своей предсмертной статье к более чем странной формулировке: «Кто не со Сталиным в данный момент, тот с Гитлером» (?). Нет, огромное большинство рядовой эмиграции психологически во время войны не могло идти с Германией, а тем паче поверить в освободительную миссию вождя «избранной нации», но не могло оно оказаться и «по одну сторону баррикад» с советской властью. Мы, находившиеся под немецкой оккупацией, всегда были с Россией и русским народом, но были бессильны принять какое-либо непосредственное активное участие в борьбе. Мы не могли признать советскую власть «национальной», ибо в своих действиях, по нашему глубокому убеждению, она никогда не творила национального дела, никогда не защищала подлинных интересов России и по-прежнему оставалась террористической диктатурой, преследующей свои партийные «коммунистические» цели. Мы не могли и морально не хотели принимать изданные ответственности за все то, что творила советская власть во вновь оккупированных ею областях, — она появилась здесь в облике прежних «революционных» методов: «самоопределяющиеся» народы попали в тиски разнузданного большевистского насилия. Стиснув зубы, мы обречены были на молчание, ибо дискредитировать в глазах союзников «советскую власть», когда на поле брани лилась русская кровь, мы не могли, — это была единственная организованная сила, через посредство которой могла быть оказана России техническая и материальная помощь. Теперь война фактически кончилась. На территории нашей родины давно уже нет внешнего врага, и каждый из нас не только получает нравственное право открыто сказать то, что думает, но и обязан говорить.

До бесконечности ошибочно утверждение, что советская власть, «неразрывно связав свою судьбу с Россией, пошла вместе с народом, показала себя «достойной народа» и не предала страну „ради своего самосохранения“». Власть пошла вместе с народом именно в целях самосохранения. При победе Гитлера Сталину и иже с ним пришлось бы не только расстаться с мечтой о всемирной гегемонии, но и перейти в политическое небытие — в лучшем случае в подполье. Сталинская власть, надевая тогу «русской власти», лишь боролась за свое существование. При таких реальных условиях интересы партийной власти на один момент (на время войны) могли совпадать с национальным интересом страны. Поэтому то, что делала советская власть в деле организации техники войны, объективно может быть отнесено к кате-

гории «заслуг» перед страной, но субъективно здесь никакой заслуги нет.

Современные примиренцы пытаются внушить эмигрантам мысль, что советская власть наших дней уже не та, чем «была раньше, когда принесла Россию в жертву мировой революции». Это — легенда, сотворенная оппозиционными троцкистами и подхваченная в некоторых политических кругах эмиграции. Кремлевский властелин, направляющий «национальную» политику страны, никогда и не думал отказаться от идеи мировой революции.

Трудно предположить, что засевшие в Кремле реформаторы при своем самоуверенном «марксистском анализе динамики истории» могут отказаться от тех шансов, которые открываются перед ними на новом международном «плацдарме». К мировой катастрофе эти «творцы истории» готовились издавна и готовились до последнего момента.

Перед войной (на мартовском съезде компартии в 1939 г.) Сталин открыто заявил, что в Западной Европе империалистические правительства, провоцируя войну, стремятся втянуть в нее СССР и натравливают на Германию, муссируя всякие вздорные слухи о готовящемся нападении на Украину и проч. Но выполнить этого коварного плана не удалось: скрепленная кровью дружба советского союза с Германией (Гитлера) будет нерушима — говорил он позже в официальном ответе на телеграмму Риббентропа. Верные московским директивам коммунисты всего мира поэтому и оказались в начале войны дезертирами на национальных фронтах. Что реальное скрывалось за временной дружбой двух кандидатов на мировую гегемонию, мы точно не знаем, так как сравнительно еще мало осведомлены о тех таинственных переговорах, которые секретно вели между собою вожди двух соперничающих тоталитарных режимов.

Бесспорно, «скрепленная кровью» дружба для обоих диктаторов являлась тактической отсрочкой. Но во имя чего? Для Гитлера это ясно. Экспансия на восток все же была уравнением со многими неизвестными, даже если Красная Армия представляла собой «абсолютный ноль», как это, по-видимому, казалось немецкому фюреру. Для Сталина противоестественная дружба также должна была явиться передышкой, но лишь для того, чтобы ввязаться в войну Германии с англо-французским блоком возможно позже, — уже тогда, когда капиталистические противники («демократы и фашисты») взаимно истощатся. «Таскать каштаны из огня для демократии» Сталин не намеревался. И не докажет ли еще в будущем история советской секретной дипломатии, что гигантские военные приготовления, которые в значительной степени скрывались (в предвоенные годы на «оборону», т. е. на вооружение, официально затрачивалось около четверти государственного бюджета), своим острием были направлены, в сущности, в сторону «капиталистического окружения» Англии?

Был момент, когда агрессия Гитлера действительно испугала советских фашистов. Предусмотрительность изобретательного в закулисных ходах партийного стратега и тактика должна была обезопасить Москву от агрессии. Но война Германии с Антантой всегда признавалась желательной с точки зрения интересов СССР, на чем так определенно по всем данным настаивал «вождь» в решающем заседании политбюро 19 августа 1939 г. По общему представлению национал-социалистическая Германия в случае военного поражения неизбежно вступила бы на путь коммунистического преобразования и стала бы действовать по указке СССР.

Игру Сталина раскрыл превентивной войной Гитлер, в самоуверенности своей решивший, что настал момент ликвидировать опасный

для него союз с коммунистической Москвой. Сталин выиграл в том, что его мировая агрессия превратилась в оборончество.

В описанных условиях, изображенных весьма кратко и схематично, как-то трудно признать сталинцев защитниками «русских национальных интересов». Нам говорят: «Не поддаваясь предвзятости, надо пережить жизнь России за последние 25 лет и отдать себе ясный отчет в том, что она сейчас из себя представляет».

Россия 1945 года, конечно, не Россия первых лет властвования большевиков, а тем более не Россия дореволюционная. 25 лет — большой срок для жизни страны. Время сменило поколения. Россия, независимо даже от своего политического строя, должна была неизбежно прогрессировать во внутренней, по крайней мере, культуре. Эти реальные достижения создавались тем новым поколением интеллигенции, которая все силы своего ума и творческого гения вынуждена была прилагать в области прикладных знаний, так как сфера гуманитарная, где сурово нивелируется всякое инакомыслие официальным «марксизмом», ему недоступна. Будем надеяться, что технический (в широком смысле слова) прогресс даст в будущем свои плоды и на фронте духовной культуры, но сам по себе он не служит еще доказательством одухотворенной жизни народа. Только в виде грубой насмешки можно сказать, что в советской России, как «ни в одной стране», людям предоставлена «широкая» возможность «насыщаться духовной пищей» («Советский патриот»). Здесь нечего пока поставить в актив советской власти.

Те, кто призывает нас к познанию современной России, сами, впрочем, и не пытаются изобразить эволюцию, которую переживает страна, и отметить происходящие в ней социальные сдвиги. Они упрощенно подменяют понятие эволюции страны понятием эволюции власти, изжившей свой революционный пафос. «Есть идейная пропасть, — пишут они, — между революционной программой 1918 года с ее призывом к истреблению классов и конституцией 1936 года» — добавим, неосуществляемой, по крайней мере в отделе «основных прав и обязанностей граждан», но имеющей теоретически в виду, что «классов» вообще уже нет в СССР. Эта «самая современная» и «самая демократическая» конституция в мире на деле должна привести к закреплению как бы уже законодательным путем безграничного господства коммунистической партии. Нам не конкретизируют, а именно вещают о тех «очень реальных» уступках, которые сделала сталинская власть и которые имеют «еще большее значение символа». Блаженны, кто верует и тактические «фасады и вывески» (в стране обмана и фикций, именуемой «домом свободных народов») принимает за действительность. Коммунистические Савлы превратились не только в демократических Павлов, но уже в источник пробуждения веры Христовой. Мы читаем в «Русском патриоте», как в безбожном еще недавно СССР вдруг засияли святые идеалы православные. Только нам забывают сообщить, уничтожены ли Соловки. Внешние обманчивые декорации нас не увлекают. Может быть, мы с большим доверием могли бы отнестись к официальной фразеологии — к тем новым «символам», которые свидетельствуют будто бы о «психологическом сдвиге» в политическом курсе диктаторской власти, если бы, например, в дни национального подъема раскрылась дверь массовых советских тюрем и были ликвидированы концентрационные лагеря и если бы в СССР во время войны появился, наконец, хоть какой-нибудь орган независимого слова без официального штампа... На деле, конечно, все осталось по-старому.

Будущее отделено от взора самого прозорливого современника почти непроницаемой завесой. По каким извилистым тропам проложен судьбою исторический путь того отрезка времени, в котором суждено

нам жить и действовать? Избежит ли Западная Европа и, может быть, все человечество нависшей над ним опасности попасть в «ловушку троянского коня» и оказаться в условиях разбушевавшейся стихии в рабских цепях большевистского коммунизма? Мир грезит социализмом, но социалистические опыты, производимые в годы безвременья — общественной и экономической разрухи, легко соскользают на путь большевизма. Не потонут ли в бездне творимого миража, самообольщения, самогипноза и тайной, но не предусмотрительной дипломатии те предостерегающие голоса, которые иногда раздавались в рядах не русской социалистической демократии: свержение Гитлера ни к чему не приведет, если после исчезновения режима наци останется неприкосновенным режим Сталина.

Мировые события во многом зависят от того, как повернется колесо истории в СССР. Здравый патриотизм, перерождающийся в боевой национализм, может сделаться источником великих преступлений перед миром и нести в себе зародыши неисчислимых бедствий для страны. Мы воочию видели это на примере Германии и поэтому боимся предуказанных миссий для «избранных» народов. Российский или «евразийский» шовинизм не менее опасен будет и в том случае, если его, действительно, удастся использовать в качестве своего рода трамплина для мировой революции в специфической форме сталинского фашизма.

Конечно, наша осведомленность о настроениях внутри России в данный момент чрезвычайно недостаточна. Только случайные отклики их могли пробиться в условиях войны из-под гнета московского прессы. Разноцветные отпечатки фотографических как бы снимков с русской действительности, которые доходят до нас в информации гражданских и военных пленных, не могут изобразить ни подлинной жизни, ни современных чаяний русского народа. Они все преломляются в призме полной еще неуверенности за день грядущий для тех, кто лишь временно — и только лично для себя — освободился от бдительного чекистского ока и мог соприкоснуться с другим политическим миром, который советская пропаганда представляла всегда лишь миром капиталистической эксплуатации.

Особенно рискованно делать политические выводы на основании показаний свидетелей с упрощенной психологией, людей «без языка», для которых своей родной быт, как бы он ни был плох, обявляющий духом отчизны, в чужой стране становится органически близким. Во всяком случае далеко не однотипные голоса современных живых свидетелей не дают еще права мираж благоденствия «советских подданных» превратить в положительный фактор построения будущего. Это уже одно должно побуждать эмиграцию не складывать слишком рано своих старых знамен.

Но нас желают убедить, что борьба против советской власти, введенной в ранг истинно национальной, вредна России, что потребность нашей страны не в «новом кризисе», а в развитии «здорового процесса» перерождения существующей власти. Нас призывают «подчиниться истории» и признать существующий строй, который якобы обнаружил всю свою политическую и социальную пригодность в дни войны, то есть признать за сталинской властью право говорить от имени русского народа. Если бы Германия вышла из европейского военного конфликта победительницей, неужели это служило бы доказательством целесообразности и пригодности насильствующего немецкого фашизма?

Новые сменеховцы, затянув старую избитую песнь об эволюции власти, с некоторой наивностью дают ей благожелательные советы: власть не должна идти наперекор общим желаниям, если не хочет

потерять положение, которое ею завоевано во время войны. Надежда на мирную эволюцию власти, на мирное сожительство с красным самодержавием — утопия. Узурпаторская диктатура никогда не перерождается и никогда сама добровольно не сходит с подмостков истории.

Возможно, что военному триумфу России и суждено в атмосфере массового националистического угара в данный момент спасти сталинскую автократию, но это вовсе не будет предначертанием истории — сталинская «ложь» не сделается «правдой». История требует борьбы — за право человека свободно жить, мыслить, верить и говорить, за все то, чего лишена современная Россия. И боевая «песнь о свободе», лозунг всеобщего раскрепощения страны, должна остаться властным призывом наших дней. Нас путают «анархией», которая последует за «новым кризисом» и ослабит страну, но государственный переворот вовсе не синоним всеобщего потрясения и коренного изменения создавшейся социальной структуры.

В СССР нет теперь общественного и социального класса, который мог бы служить базой для партийной диктатуры и который не за страх, а за совесть стал бы поддерживать существующую карикатуру на коммунистический строй. Зарождающийся, но не сложившийся еще новый командный класс в виде «советской бюрократии», на которую пытаются отчасти делать запоздалую ставку власть имущие, также не может быть заинтересован в безоговорочном сохранении режима — в столь резко противоречив стоит он своим всеобщим тюремным бытом с естественным стремлением в этой, далеко не однородной, среде к более культурной в духовном смысле и независимой жизни...

После всех пережитых испытаний трудно, конечно, уже недооценивать пагубной роли, которую играет в жизни страны систематически проводимое, ничем не ограниченное и лишенное моральной основы государственное принуждение. Террор действительно мощное орудие властвования, и лишь во времени идея торжествует над силой. И тем не менее столь же несомненно, что технический аппарат диктаторского насилия со всеми его приспешниками действителен всегда лишь в отношении изолированного и невооруженного народа; фактически он не страшен тому народу, который не мог теперь не почувствовать себя скрепленным и организованным в национальной борьбе за спасение страны. Народ безмолвствовать не должен. И со страстной верой ждем мы его слова.

* * *

Мы уже говорили о том, что публикация анкет «Эмиграция и советская власть» была вызвана визитом группы видных эмигрантов во главе с В. А. Маклаковым в советское посольство и их беседой с послом А. Е. Богомолковым. В самом деле визит вызвал разброд и идейные шатания в эмигрантской среде: ведь в посольство ходили не какие-то «самозванцы», а люди почтенные, в эмиграции пользовавшиеся высочайшим авторитетом.

Встреча в посольстве, получившая большой резонанс в западной печати, несомненно повлияла на рост возвращенческих настроений. Обмен французских паспортов на советские получил массовый характер. Были случаи, за-

печатленные в эмигрантской мемуаристике, когда эмигранты, особенно из тех, которые считали себя обиженными французскими властями и натерпелись в свое время в ожидании, пока им выдадут вид на жительство, получив советские паспорта, демонстративно сжигали французские свидетельства.

Мы не располагаем точными данными о том, сколько эмигрантов получили советские паспорта. Н. А. Кривошеина* в своих интереснейших мемуарах, в которых, в частности, затрагивается и драматическая страница «реэмиграции», называет цифру 10 тыс. Но число действительно уехавших в СССР было значительно меньшим. Сказались сомнения, страхи, питаемые рассказами о жизни в СССР советских военнопленных, освобожденных из нацистских концентрационных лагерей войсками союзников и в не малом числе оказавшихся во Франции. Нужно хотя бы очень кратко сказать (драматическая эта страница советской истории еще ждет своих исследователей) о том, что настойчивость, поспешность и неразборчивость в средствах, с которыми сталинские «органы» стремились добиться возвращения на родину многочисленных советских граждан, оказавшихся во время войны за рубежом, в значительной мере были продиктованы стремлением прекратить распространение правды о жизни в СССР в странах Западной Европы.

В начале апреля 1945 года, когда на полях Германии еще шли военные действия, Берия провел секретное совещание по организации репатриации (речь шла как о добровольном, так и о насильственном возвращении советских солдат и мирных жителей, угнанных в Германию или оказавшихся в плену). С самого начала было указано, что эти перемещенные лица представляют собой опасность для СССР. Трагична судьба этих людей: измученные войной, пленом, нацистскими лагерями, они, вернувшись на родину, снова оказались в лагерях, на принудительных работах. Организацией репатриации занимались специальные подразделения СМЕРШ, находившиеся в ведении Берии⁴. Тягостное впечатление на эмиграцию произвели слухи об арестах и насильственном вывозе в СССР

* Кривошеина Н. А. (1895—1981), урожденная Мещерская, — одна из тех, кто на волне «советского патриотизма» возвратился в Россию в 1948 году. После многих и трудных испытаний (арест мужа, жизнь в Ульяновске, арест сына) вернулась вместе с семьей во Францию, став в 1974 году эмигрантом «по второму кругу». Скончалась в Париже 29 сентября 1981 г. Похоронена на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа в могиле своего отца А. П. Мещерского.

эмигрантов из Праги после ее освобождения советскими войсками. Среди арестованных называли князя П. Д. Долгорукова, лидера «евразийцев» П. Н. Савицкого, директора Русского исторического архива в Праге С. П. Постникова.

Настораживали получивших советские паспорта и странные сведения, поступавшие из СССР от тех немногочисленных русских семейств, которые по тем или иным обстоятельствам выехали на родину раньше основного потока возвращенцев. Одно из эмигрантских семейств получило весточку от брата, уехавшего в Россию и поселившегося в маленьком провинциальном городке. Брат уехал «выяснить обстоятельства» перед тем, как в путь двинуться всему семейству. Через некоторое время он писал своей сестре в Париж: «Ждем тебя обязательно. Как только выдашь Машу замуж, приезжай к нам...»⁵. Маше, племяннице уехавшего, было в это время всего два годика. «Намек» был, естественно, понят.

Но многие верили в посулы советского консульства, верили восторженным статьям «о советском образе жизни», которые в изобилии появлялись в этот период в эмигрантских газетах «патриотического направления». Большую активность по пропаганде возвращенчества развил Союз русских патриотов, члены которого, в большинстве недавние участники Сопrotивления, искренне верили сталинской пропаганде. Союз русских патриотов сразу же после освобождения Парижа занял особняк на улице Гальер, где во время оккупации находилось «Управление делами русской эмиграции» — одно из ответвлений гестапо, занимавшееся русской эмиграцией. Патриотические настроения были столь сильны, что отделения Союза русских патриотов возникли почти во всех районах Парижа. В особняке на улице Гальер были открыты дешевая столовая, библиотека. На короткое время он стал одним из центров эмигрантской жизни. Здесь же устраивали вечера встреч с советскими знаменитостями, приезжавшими в Париж, организовывали проводы отъезжающих. При союзе была открыта и школа, директором которой стал Н. Н. Кнорринг.

В этих условиях «отцы» эмиграции решили провести операцию «Истина» — своего рода разъяснительную работу, рассказать «рядовой» эмиграции, что, собственно, представляет собой сталинский режим и как эмиграции следует относиться к отечеству в новых, «победных» условиях. Лидеры эмиграции хотели «сбить» некоторую

эйфорию в отношении к советской власти, которая произрастала из чувства естественной гордости за великую победу, предостеречь эмигрантские семьи от опасности попасть в ловушку тех, кто искренне или «по долгу службы» зазывал эмигрантов вернуться в лоно отечества. Целью предпринятой кампании было показать, что никакой новой эры в жизни ни советских людей, ни русской эмиграции, собственно, и не открылось, что те политические, нравственные и идейные различия, которые с самого начала существовали между советской властью и эмиграцией, не преодолены.

Указывалось на странное противоречие в «возвращенческой политике» Москвы: с одной стороны, предпринимались попытки склонить или даже заставить вернуться в Россию тех, кто этого не хотел (имелись случаи облав на эмигрантов в Праге, Софии, Белграде), и, с другой стороны, зачастую чинились препятствия тем, кто искренне и горячо желал уехать на родину. Ответа на это странное противоречие эмиграция не доискала. Можно высказать предположение, что разгадка кроется в стремлении Берии использовать качнувшуюся в сторону советской власти часть эмиграции в своих корыстных планах, в частности для расправы с неугодными ему, бежавшими от сталинского террора за границу, — советскими дипломатами, разведчиками.

Нужно сказать, что «разъяснительная миссия» оказалась делом не простым. Эмиграция была буквально опьянена успехами советского оружия в Европе. Под «очарование» личности Сталина подпали не только многие рядовые эмигранты, в особенности участники Сопrotивления, но и часть видных эмигрантских деятелей. Тенденция приписывать «генералиссимусу» все успехи индустриализации и победу в войне проявилась не только в СССР, но и за границей. Блеск победы затмевал многие мрачные страницы «сталинской истории». Эмиграция на какое-то время точно забыла о предупреждениях, которые еще до войны прозвучали из уст Ф. Раскольников в «Открытом письме Сталину».

Ф. Раскольников не был единственным человеком, бившим в Европе в колокола. Еще в 1935 году в Париже на французском языке вышел обстоятельный, прекрасно документированный труд о Сталине⁶, принадлежавший перу известного социалиста, одного из бывших секретарей III Интернационала, сотрудника горьковской «Новой жизни» Бориса Суварина и не оставлявший сомнений в

тоталитарной и террористической природе сталинизма. Интересно, что работа Б. Суварина была переведена на русский язык и напечатана в единственном экземпляре специально для Сталина.

До войны эта книга вышла очень небольшим тиражом, поэтому широкому эмигрантскому читателю она была практически неизвестна. Характерно, что книга, содержащая глубокий исторический анализ истоков и этапов становления тоталитарного режима, пришлось не по вкусу не только Сталину, но и Гитлеру, и, по свидетельству самого автора, гестапо во время оккупации Франции захватило личную библиотеку, архивы и документы Бориса Суварина. В предисловии к изданию книги 1977 года автор подчеркивает, что к похищению его архива был причастен и НКВД, который, по словам Суварина, во Франции в ряде случаев действовал совместно с гестапо.

Все эти сведения находили отражение и в парижской эмигрантской прессе, в частности в милюковских «Последних новостях». Однако после войны, по крайней мере до 1947 года, антисталинская тема была крайне непопулярна во Франции. По свидетельству Бориса Суварина, в Западной Европе в первые годы после войны существовал даже своеобразный «культ Сталина» — конечно, не в таких формах и не в таком масштабе, как в СССР, но как явление, особенно в среде «левых интеллектуалов», весьма заметное. Под «обаяние» личности Сталина попали многие видные французские писатели, поэты, художники. В музее П. Пикассо в Париже в одной из витрин экспонируются его рисунок с изображением Сталина и восторженные стихи Л. Арагона в адрес «генералиссимуса». Андре Жид был одним из немногих левых французских интеллигентов, который еще до войны сумел разглядеть за дымовой завесой «великих успехов» великие изъяны предлагаемой Сталиным «формулы счастья». О своем разочаровании опытом сталинского социализма он поведал в книге «Возвращение из СССР».

Новые гонения на советскую интеллигенцию, начатые вскоре же после войны, — «дело М. Зощенко и А. Ахматовой» 1946 года, разгром советской авангардной музыки в 1948 году, борьба с «космополитизмом», не прекращавшаяся, по сути дела, до самой смерти Сталина, — пагубно сказались на отношении западноевропейской интеллигенции к советской России и явились одной из причин ее относительной пассивности в период «холодной войны». В среде европейской интеллигенции отрезвление от

«культы личности» пришло довольно быстро. Однако у рабочих вера в Сталина держалась многие годы. Когда Франции достигла весть о его смерти, на многих крупных заводах и фабриках прошли спонтанные траурные митинги, на которых рабочие выражали искреннюю скорбь о «великой утрате».

Нужно сказать, что в рабочей среде Франции, в отличие от интеллигенции, русские эмигранты никогда не пользовались поддержкой, отношение к ним было скорее настороженным. Западная Европа до начала второй мировой войны находилась в затяжном экономическом кризисе, классовые отношения были сложными. В обстановке социальной и классовой напряженности рабочие Франции склонны были однозначно рассматривать эмигрантов, бежавших из революционной России, как пособников буржуазии. Выступления эмигрантской печати с критикой советской власти, с разоблачениями преступлений сталинизма воспринимались рабочей Францией как ложь, наветы на социализм, как стремление дискредитировать демократическое движение в их собственной стране. «Разъяснительная миссия» затруднялась и тем, что эмигрантские газеты, многочисленные и влиятельные до войны (в частности, «Последние новости», издаваемые П. Милюковым в Париже, были одним из важных источников информации о советской России для французского министерства иностранных дел), после войны возобновились не сразу. Не хватало средств, бывшие сотрудники рассеялись, многие уехали в Америку. Кроме того, французское правительство, в которое входили коммунисты, не спешило возобновить разрешение на их издание.

«Ответ Маклакову» прозвучал из-за океана. В 1945 году на помощь французской эмиграции приходит «Новый журнал», основанный в Нью-Йорке в 1942 году переехавшим из Франции в США М. О. Цетлиным*. После войны «Новый журнал» стал главным органом русского зарубежья, своим положением в эмиграции и направленностью как бы унаследовал дух и стиль парижских «Современных записок». Преемственность была подчеркнута, помимо прочего, тем, что «Новый журнал» продолжил публикацию романа М. А. Алданова «Начало конца», который начали печатать в довоенном Париже «Современные записки». «Новый журнал» помещал и публицистические статьи другого «парижанина» —

* Цетлин Марк Осипович, псевдоним Амари (1882—1946), — известный в эмиграции литературный критик, редактор, поэт.

Г. П. Федорова, рассказы И. А. Бунина из будущего сборника «Темные аллеи», статьи М. В. Вишняка, отрывки из книги «Времена» М. А. Осоргина.

«Ответ Маклакову», побывавшему в советском посольстве и заверившему советского посла в лояльности эмиграции, был преподнесен в виде развернутого редакционного комментария к приведенным нами анкетам об отношении видных деятелей эмиграции к советской власти. Суть ответа сводилась к тому, что ни война, ни пролитая народом кровь, ни политическая эволюция Западной Европы не изменили природу советской власти. Вывод, который делал из своих рассуждений журнал, — возвращаться в СССР опасно, по крайней мере нужно подождать и «осмотреться».

«Если не считать некоторых взаимных любезностей и некоторых жестов со стороны советского представительства, мало что ему стоящих и ни к чему не обязывающих, и в этой области все осталось на прежнем месте, — писал журнал. — Поскольку одной из основных эмоций примиренческого настроения в эмиграции является вполне понятная и законная тяга на родину, приходится сказать, что шансов на ее сколько-нибудь широкое удовлетворение не много... Дай Бог, чтобы мы ошиблись, но мы боимся, что огромное большинство рвущихся на родину эмигрантов ожидает горькое разочарование»⁸.

Большую часть своего «ответа Маклакову» «Новый журнал» посвятил анализу того, насколько война сделала советскую власть властью национальной, в какой степени действия правительства отражают национальные интересы России, а насколько продиктованы партийной идеологией. Иными словами, журнал как бы продолжил столь популярную в довоенной эмигрантской публицистике тему «эволюции» большевизма.

Публикация в «Новом журнале» представляет большой интерес для изучения настроений эмиграции в послевоенный период и заслуживает того, чтобы читатель познакомился с ней в оригинале, а не в изложении*.

Нам писали из Парижа, и нам говорили некоторые из здешних наших друзей, что мы не можем оценить значение происшедших в европейской эмиграции сдвигов в силу нашей территориальной и, что еще важнее, психологической отдаленности от Европы и России...

Было бы странно, если бы мы стали отрицать огромную разницу

* Я позволил себе сделать лишь самые небольшие сокращения, никак не влияющие на смысл помещаемой статьи. (Авт.)

между теми условиями, в которых во время войны жила эмиграция в Европе, и теми, в которых мы жили здесь. Было бы еще более странным, если бы мы не отдавали себе отчета во всем психологическом значении того трагического опыта, который выпал на долю оказавшихся под немецкой оккупацией и от которого нас здесь избавила судьба. Но, признавая наличие и значение этой разницы, мы все-таки не можем считать, что она лишала нас права иметь суждение по вопросам общеэмигрантского значения или ставила нас в менее выгодное при обсуждении этих вопросов положение. По-своему мы тоже переживали и трагедию России, и трагедию Европы, и права считать их своими мы никому уступить не можем, как не можем и отдать своего права на радость по поводу русской победы и европейского освобождения. Не видим мы также, почему это различие в личном опыте должно наперед опорочивать наше понимание событий. Решаемся даже утверждать, что в некоторых отношениях нам были даны преимущества — просто в силу подаренных нам судьбой более благоприятных условий. Не думаем, чтобы для «парижан» было что-нибудь обидное в утверждении, что во время войны из свободной Америки многое было видно лучше и яснее, чем из находившейся в немецком плену Франции. Так, для огромного большинства из нас, воочию видевших непрерывно растущую военную и индустриальную мощь американской демократии, немецкая победа не представлялась такой неизбежной, какой она могла казаться в критические моменты войны многим из наших европейских собратьев. Яснее, думается, видели мы и взаимозависимость всех главных участвовавших в войне сил, и потому, полностью признавая огромную роль России в конечной победе, мы не были повинны в умалении других факторов победы. Для нас было бы невозможно забыть — хотя бы на минуту — то, что фактически и Франция, и добрая часть Европы были освобождены не русскими, а англосаксонскими войсками. Мы твердо знали и знаем, что если Россия спасла мир, то и мир спас Россия: без русских жертв и русского героизма Америка и Англия, вероятно, не могли бы выиграть войну, но столь же вероятно, что и Россия не могла бы устоять против Германии и Японии, если бы в войне не стояли на ее стороне Америка и Англия.

Но не будем спорить об этом. Важно одно: несмотря на все различия в личном опыте и вытекающие из них различия в «эмоциях», эмиграция по обе стороны Атлантического океана едина — едина в общности своей исторической судьбы, едина в одинаковой повелительности стоящих перед ней одних и тех же коренных проблем ее существования. И только на почве признания этой общности можно вести плодотворное обсуждение всех нас сейчас занимающих вопросов.

Один из главных доводов сторонников пересмотра отношения к советской власти заключается в том, что власть эта, ранее таковой не бывшая, сделалась теперь «национальной»... Хотим ли мы того или не хотим, признаем ли мы это или не признаем, советское правительство вот уже в течение более четверти века является правительством России, давно уже официально признано в качестве такового другими правительствами мира и в этом смысле является правительством национальным.

Утверждение о национальности того или другого правительства может иметь и другой смысл: национальным является то правительство, которое покоится на национальном признании. Здесь «национальное» становится синонимом «народного». Строго говоря, в этом смысле национальным может быть только то правительство, которое опирается на свободное народное волеизъявление, то есть правительство демократическое...

О наличии в сегодняшней России свободного народного волеизъявления, надо полагать, не решатся говорить даже самые крайние из «ревизионистов». Но и для того, чтобы категорически утверждать факт «молчаливого» признания русским народом советского правительства, надо иметь достаточно определенные и достаточно бесспорные основания. Мы знаем, что для тех, кто так думает, решающим и неотразимым аргументом является аргумент от войны. Законно ли, однако, толковать патриотический подвиг русского народа как своего рода плебисцит в пользу власти, волею судеб оказавшейся во главе русского государства во время одного из самых трагических моментов его истории? Народ может защищать свою землю от вражеского нашествия и независимо от того, считает ли он или не считает свое правительство национальным.

...Советская власть, говорят нам, национальна потому, что она защищает «национальные интересы». Вот еще одно выражение, которое, без дальнейших определений, тоже в сущности мало что значит. Прежде всего, в применении ко всякой власти это может означать, что она субъективно национальна, то есть патриотична, что она печется не об интересах режима, а об интересах страны и всегда готова подчинить первые последним. Признаемся, что мы не видим оснований для того, чтобы утверждать наличие подобного перерождения коммунистической диктатуры в России. Но допустим даже, что оно налицо, — этим проблема далеко еще не исчерпывается...

Бывают, конечно, редкие случаи, когда национальные интересы настолько очевидны, что ни для какой дискуссии не остается места. Это бывает в моменты кризисов, угрожающих самому существованию нации, когда линия поведения диктуется инстинктом национального самосохранения. Такой именно кризис Россия только что пережила, и, за ничтожными исключениями, ни у кого, ни внутри России, ни среди эмиграции, никаких сомнений насчет того, в чем заключались русские национальные интересы, не было. Но вот война кончилась, мир оказался перед невероятно трудными и сложными вопросами послевоенного переустройства, и мы уже слышим голоса, говорящие о том, что и в течение этого послевоенного периода долг эмиграции — оказать всемерную поддержку советской власти в ее защите национальных интересов России. Да, конечно, — в тех случаях, когда она эти интересы, по нашему разумению, действительно защищает. Но не тогда, когда мы убеждены в том, что ее политика идет им во вред. Свобода критики становится здесь не только нашим правом, но и нашим долгом. И совершенно ясно, что при решении этих вопросов в нашей эмигрантской среде полного единства быть не может. Следует наперед признать это разнообразие взглядов законным и отказаться от дурной привычки обвинять инакомыслящих в «антинациональной» точке зрения, если не в прямой «национальной измене». Ведь только с точки зрения слепого нерассуждающего национализма, вся опасность которого была только что так наглядно показана миру, можно было бы утверждать, что всякое расширение границ России, всякое продвижение русской сферы влияния и всякий «триумф» советской дипломатии означают торжество подлинных национальных интересов России. И только тот же слепой нерассуждающий национализм мог бы наперед обещать советскому правительству безоговорочную поддержку в любом из его внешнеполитических действий. Никакое правительство в мире выдачи ему такой *carte blanche* не заслуживает и, может быть, меньше всего правительство советское.

Есть еще один довод, играющий большую роль в аргументации сторонников примирения с советской властью: это ссыла на ее эволю-

цию. Наше отношение к советской власти, утверждают сторонники этой точки зрения, должно измениться уже потому, что изменилась сама эта власть. Здесь опять, как и в случае с «национальными интересами», утверждающие склонны считать, что они уже решают вопрос, когда они его в сущности только ставят. Нет сомнений, что советская Россия, а с нею вместе и советская власть сейчас не те, какими они были четверть века тому назад. Но признание этого несомненного факта должно сопровождаться постановкой целого ряда вопросов. Что в этой эволюции надо отнести за счет страны, а что за счет власти? И всегда ли эволюция власти совпадает с эволюцией страны, и если совпадает, то до каких пределов? В каких случаях видимая эволюция власти вынуждена или добровольна, искренна или неискренна, представляет из себя действительное изменение политики «всерьез и надолго» или является простым тактическим маневром краткосрочного характера? И насколько происшедшие изменения касаются существа власти и основ ее господства над страной? Отказаться от обсуждения этих вопросов, в порыве патриотического доверия, значило бы лишить себя возможности правильно понять и оценить значение происходящих внутри России сложных и во многом еще «подземных» процессов.

...Здоровое патриотическое чувство, пробужденное в народе трагическим опытом последних десятилетий, искажается официальной пропагандой в духе агрессивного шовинизма и милитаризма. Разумная политика предоставления культурной автономии национальным меньшинствам в значительной степени сводится за счет властным вмешательством централизованной на всем протяжении советского союза коммунистической партии. Культурный подъем страны, преодолевающей безграмотность и рвущейся к знанию, втискивается в узкие рамки мертвящей обязательной идеологии. Закрывать глаза на теневые стороны значило бы утратить верное представление о подлинном характере, пределах и возможностях советской «эволюции».

В вопросе о нашем праве на свободную критику советской власти у нас ни с «парижанами», ни с кем-либо из местных участников дискуссии расхождений как будто нет. Критиковать можно и национальное правительство, как можно быть к нему и в оппозиции. Что в случае советской власти есть место и для критики и для оппозиции, кажется, не отрицают даже те, кто верует в подлинность и радикальность проделанной ею «эволюции».

Этим, казалось бы, должен был решаться вопрос о законности существования политической эмиграции. И однако даже и этот вывод, по-видимому, некоторыми ставится под сомнение. Что касается нас, то мы не понимаем даже постановки этого вопроса. Эмиграция (мы говорим, конечно, об эмиграции политической) стала эмиграцией не по своей доброй воле. Кажется, никто никогда не избирал не такую уж заманчивую судьбу политического эмигранта без той или другой доли принуждения. И если эмигрант становится эмигрантом не по вполне свободному своему выбору, то еще больше ограничена для него возможность перестать им быть. Эмиграция существует потому, что в стране, откуда она вышла, нет возможности ни для какой свободной критики власти, ни для какой — хотя бы даже лояльной — оппозиции. Массовой политической эмиграции нет ни из Англии, ни из Америки, как не было ее до недавнего времени из большинства континентальных европейских стран. Самый факт существования русской политической эмиграции, как и ее размеры, есть лучшее мерило степени деспотизма, господствующего сейчас в России. Эта эмиграция кончится тогда, когда кончится вызвавший ее к жизни деспотизм. До тех пор — если только она доживет до того времени — эмиграция не может перестать быть

эмиграцией иначе, как путем отказа от своих верований и убеждений, то есть путем духовного самоубийства.

В руках политической эмиграции нет другого оружия, кроме свободного слова. Сдать его она не может, не утратив смысла своего существования. В пользовании этим оружием — ее единственное, но и вполне достаточное, оправдание⁹.

* * *

Публикация в «Новом журнале» результатов дискуссии об отношении эмиграции к советской власти безусловно способствовала прояснению позиции лидеров русского зарубежья в новой, изменившейся после войны обстановке. Но широкого резонанса эти расстановки точек над «i» во Франции не получили. Эмиграция в этот период пребывала в состоянии эйфории и смятения одновременно. Политическая и культурная жизнь «русского» Парижа восстанавливалась с трудом. Люди были озабочены больше приведением в порядок разбитого быта, нежели политическими оценками. «Новый журнал» пока еще мало кто знал, подписчиков на него во Франции тогда почти не было. Разумеется, его получали русские библиотеки в Париже, но через библиотеку широкого резонанса не достигнешь. Публикация в «Новом журнале», которая, с точки зрения историка эмиграции, представляется значительной и важной, реального воздействия на эмоции русских парижан не имела. Более сильными оказались другие факторы, создаваемые не искусственно, а отражавшие естественный ход жизни и событий. Главнейшим из этих факторов были «вести из Москвы».

По мере того как жизнь в Европе стабилизировалась и из советской России начала регулярно поступать пусть процеженная цензурой, но все же достаточно обильная информация, в сердца эмигрантов стало заползать сомнение в обоснованности надежд на патриотическое и демократическое преобразование отечества.

Идеологический погром, учиненный в августе 1946 года над журналами «Звезда» и «Ленинград», а фактически над всей советской литературой, произвел на эмиграцию гнетущее впечатление. Эмиграция внимательно и заинтересованно следила за развитием советской культуры, особенно литературы, видя, вернее, желая видеть в лучших ее образцах свидетельства роста интеллигентности советского общества. Имена Михаила Зощенко и Анны Ахматовой были почитаемы среди эмигрантов. Вульгарная брань в адрес честных писателей, прозвучавшая из уст

А. Жданова, одного из ближайших «соратников» Сталина, возмутила и озадачила эмигрантскую интеллигенцию. Настораживали и более частные обстоятельства, например порядки, которые советские репатриационные власти установили в лагере для перемещенных лиц «Борегар». По Парижу ползли слухи о том, что людей там содержат насильно и будут, не спрашивая согласия, вывозить в СССР. В ноябре 1947 года французские власти, в целом благосклонно относившиеся к представителям советских репатриационных органов, вынуждены были ввести на территорию лагеря отряды полиции. Однако патриотический подъем был столь велик, что слухам, даже если они имели основания, не верили, а все настораживающие сведения о жизни в СССР отвергались как недоброжелательная пропаганда правых.

В этой обстановке заметным событием в жизни эмигрантского Парижа был прием в советском посольстве, организованный по случаю приезда в Париж В. М. Молотова. Молотов имел беседы с эмигрантами и пообещал им от себя лично всяческое содействие. На волне восторгов по поводу этого «рандеву» 15 августа 1947 г. в Париже и состоялся учредительный съезд «Союза советских граждан». Председательствовал на съезде И. А. Кривошеин, уже получивший к этому времени советский паспорт. На почетном месте в президиуме съезда сидел советский посол во Франции А. Е. Богомолов. Председателем вновь созданного патриотического союза был избран С. Н. Сирин, генеральным секретарем — Н. С. Качва.

Однако против ожиданий и расчетов деятельность «Союза советских граждан» широкого развития не получила. Причин было несколько. Дурное впечатление производила бесцеремонность, с которой во Франции действовали представители советской репатриационной комиссии и которая в конце концов начала раздражать французские власти. Скандал вокруг лагеря перемещенных лиц «Борегар» получил большую огласку в прессе. Сказывалось и общее осложнение взаимоотношений между Францией и СССР: на горизонте брезжили первые отблески «холодной войны».

Нужно отметить и еще одно обстоятельство. В послевоенной Франции было очень сильно влияние коммунистов. Летом 1945 года численность Французской компартии превышала 900 тыс.¹⁰ Коммунисты входили и в первое послевоенное французское правительство. В правительстве

генерала де Голля коммунисты занимали ряд важнейших постов: министров вооружения, труда, национальной экономики и промышленного производства. Генеральный секретарь ФКП Морис Торез получил портфель государственного министра и фактически стал заместителем премьера.

Рост коммунистического влияния пугал буржуазные круги. На фоне этих внутривластных явлений бурная деятельность «Союза советских граждан», носившая явно политический и пропагандистский характер, стала раздражать министерство внутренних дел Франции. У активистов союза были произведены обыски. А вскоре после исключения французских коммунистов из состава правительства были арестованы некоторые видные новые «советские граждане»: И. Кривошеин, А. Прокотилев, А. Угримов, Н. Качва, А. Палеолог, С. Сириш, В. Ковалев, А. Марченко, А. Геник, М. Рыгалов, Н. Беляев, В. Толли, И. Церебежи, В. Поставский, Л. Любимов, Т. Розенкофф, В. Плихта, А. Гушин, Д. Белоусов и ряд других. В тот же день (25 ноября 1947 г.) всех арестованных перевезли автобусом в небольшой немецкий городок Кэль, находившийся во французской зоне неподалеку от Страсбурга, и уже оттуда переправили в советскую зону в пересыльный лагерь около Бранденбурга. В феврале 1948 года они уехали в СССР и расселились по назначенным им местам. И. А. Кривошеину, одному из организаторов и активных членов «Союза советских граждан», местом проживания был назначен Ульяновск.

В воспоминаниях вернувшихся в СССР удивляет одна деталь: в советском консульстве в Париже отъезжающим настоятельно советовали не брать с собой много вещей — дескать, в советской России все есть, зачем же отягощать приятное путешествие? Многие из эмигрантов так и поступили: взяли с собой лишь то немногое, что могло потребоваться в дороге и на первых порах. Перед отъездом из Франции совсем задешево продавали мебель, вещи, ценные книги.

Действительность, увы, оказалась иной. В воспоминаниях, оставленных Ниной Алексеевной Кривошеиной, «Четыре трети нашей жизни» дается подробное описание ее переезда из Марселя в Одессу на теплоходе «Россия», пересыльного лагеря «Люстдорф» под Одессой, Ульяновска, ареста мужа, потом сына по вздорному обвинению в «антисоветской пропаганде» и в связях с иностранцами. Трудная, полная драматических поворотов жизнь!

История семейства русских эмигрантов Кривошеиных, настоящих русских патриотов и интеллигентов, вернувшихся на родину в 1948 году, весьма типична для судеб русских реэмигрантов. Жизнь большинства из них сложилась драматически, у многих — трагически. Почти все они в большей или меньшей степени столкнулись с бесчинствами и беззакониями, характерными для периода сталинизма. Облегчение (для некоторых, однако, временное) пришло лишь после смерти Сталина, когда с вернувшихся на родину русских эмигрантов были сняты облыжные, надуманные обвинения.

Последние страницы воспоминаний Н. А. Кривошеиной датированы 20 января 1954 г. — днем, когда она в Ульяновске получила из Москвы телеграмму, извещавшую ее о предстоящем пересмотре «дела» ее арестованного мужа И. А. Кривошеина.

«Двадцатого января вечером, — вспоминает Нина Алексеевна, — я мотаюсь из угла в угол и курю. На улице вьюга, ветер в трубе подвывает, вдруг в сени стучат, а уж почти одиннадцать часов...

— Кто там? — спрашиваю.

— Откройте, откройте. — Голос женский.

— А что вам?

Голос отвечает: «Вам телеграмма».

Ну нет, эти штучки мы все знаем; откроешь, а там два-три молотка и ножик в руке...

Говорю: «Если есть телеграмма, подсуньте ее под дверь, а то кто его знает, может, это и не так».

Женский голос наконец кричит: «Нина Алексеевна, да это я, Маруся, ваш почтальон, ужели и голос мой не узнаете?»

Я открываю, и впрямь это Маруся... Она подает мне телеграмму, я расписываюсь и хочу скорей отпустить домой, она ужасно милая, Маруся, вот из-за какой-то несчастной телеграммы принуждена в такой мороз ночью ко мне бегать. Но она не уходит:

— Да вы телеграмму-то чего не читаете?

— Да не к спеху, Маруся, я ее прочту, а вы идите домой, ведь, верно, замерзли совсем?

Маруся вдруг каким-то особым голосом говорит:

— Ну, хотите, я вам прочту?

Как это не похоже на Марусю — она всегда со мной вежлива и деликатна... Однако беру у нее телеграмму и читаю вслух:

— «Папа сегодня прибыл Лубянку. Пересмотр дела

начинается немедленно. Завтра свидание. Письмо следует. Никита*».

Маруся кидается меня обнимать и даже плачет: «Я и завтра утром могла вам принести, да нет, решила, уж пусть Нина Алексеевна сразу узнает. Ведь я таких телеграмм не первую сегодня пишу!»

Да, это все правда, вот так точно и было — случилось непостижимое...»¹¹.

Н. А. Кривошеина вместе с мужем вернулась в Париж весной 1974 года. Остаток жизни во Франции Нина Алексеевна посвятила написанию воспоминаний.

В послесловии к книге своей жены И. А. Кривошеин писал в 1983 году: «Наша жизнь в Париже устроилась хорошо. Этому помогли многие как старые, так и новые друзья. Мы не жалели о пройденном пути. Милость Божия позволила нам пройти через все испытания, а их было немало, и не погибнуть. Мне с Никитой посчастливилось съездить в Иерусалим поклониться Гробу Господню. Работа над воспоминаниями увлекла Нину Алексеевну и скрасила последние годы ее жизни»¹².

Мне довелось встречаться с И. А. Кривошеиным во время работы в Париже. Жил он в небольшой, скромно обставленной квартирке на окраине города, на улице Гондон, неподалеку от окружного автомобильного кольца. Познакомил меня с И. А. Кривошеиным Евгений Михайлович Богат, поддерживавший с ним добрые отношения. И. А. Кривошеин умер в Париже в 1987 году. Мне бы хотелось привести несколько слов из некролога, посвященного памяти Игоря Александровича Кривошеина и подписанного группой его друзей: «Мы бесконечно благодарны судьбе, подарившей нам пример и дружбу этого удивительного человека. Его святая душа останется с нами»¹³.

* Кривошеин Н. И. — сын Игоря Александровича и Нины Алексеевны Кривошеиных. Родился в Париже.

Глава 7

В ПОИСКАХ ГРАДА

...Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.

Библия, Посл. к Евреям 13, 14

Я не мог знать этого человека. Он умер 8 августа 1946 г. Но когда много лет спустя я сошел в тесноватую темноту усыпальницы храма Успения Божией Матери на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, мне было известно о судьбе этого удивительного человека и о том пути, который он прошел вместе с русской эмиграцией. Ему было суждено разделить с ней и духовные сомнения, и горести, и упования. Вместе с изгнанниками отечества предавался он обольщениям и мечтам о встрече с Россией. Вместе с ними он упокоился в чужой земле, так и не изведав радости встречи с родиной.

В отличие от многих других крупных деятелей русской эмиграции, занимавшихся политической, просветительской, культурной деятельностью, этот человек принял к устроению не внешний мир и даже не разум русских скитальцев — он устраивал их души и сердца. Он молился за них в темных алтарях эмигрантских храмов и звал к общей молитве других. Он жил среди людей, которые потеряли не только отечество, но и любимых, близких, родных, потеряли имущество, дом, родину. Многие из них — в силу тягот и испытаний — утратили либо были близки к тому, чтобы утратить, и то последнее, что держит человека на грешной и вместе с тем соблазнительной земле, — веру. И он старался вдохнуть в людей это спасительное причастие жизни. Он беспрестанно думал о судьбах русской эмиграции, ибо, занимаясь многие годы организацией милосердия, как никто другой знал, в какой материальной и духовной скудости жила его паства. И он мучительно искал дорогу к тому храму, свет которого указывал бы путь к надежде, к полносердечной жизни человека. Будучи исконно русским человеком, патриотом своего отечества, он знал, что истинный храм веры и надежды может быть только на родине. Он мечтал вернуться домой. Но он мечтал о том, чтобы вернуться не одному, а со всей эмигрантской паствой, хотел возглавить исход на родину. Мечте этой не суждено было сбыться в силу многих причин, в том числе и тех, о которых мы рассказали в предыдущей главе.

Имя этого человека — Василий Семенович Георгиевский. Так его нарекли при крещении, так звали в миру до принятия монашеского сана. Родился он в 1868 году на Пасху в захолустном сельце Сомове Одоевского уезда Тульской губернии между двух больших дорог, называемых в тех местах большаками. Одна вела на город Белев, другая — на город Одоев. Его отец был сельским священником. В историю эмиграции (а в ней он занимает высокое место) он вошел под именем митрополита Евлогия.

Митрополит Евлогий прошел путь, характерный для многих русских эмигрантов. География его следования почти «канонична»: выезд из Новороссийска на переполненном беженцами грузовом пароходе «Иртыш», карантин в Константинополе, сравнительно благополучное пребывание в Сербии, где к русским беженцам относились с симпатией, потом Берлин, где жизнь походила на затянувшееся ожидание поезда, и, наконец, переезд во Францию, в политический центр русской эмиграции, куда к концу 1923 года стянулась и большая часть русского европейского рассеяния.

Митрополит Евлогий, к этому времени уже назначенный патриархом Тихоном управляющим русскими православными церквами за границей, переехал в Париж осенью 1922 года. Положение его среди заграничной православной паствы было сложным, требующим большого политического такта и мудрости.

Ко времени назначения митрополита Евлогия управляющим русскими, в том числе и западноевропейскими, церквами за границей в эмиграции уже сложилась религиозно-политическая группировка, ставшая называть себя «Русская зарубежная церковь». Она объединила значительную часть высшего духовенства, оказавшегося за границей. Общее число лиц духовного звания, ушедших в эмиграцию, было невелико — около 0,5 процента русского духовенства. Но вместе с врангелевской армией из России выехало значительное число высших иерархов. Осенью 1921 года они созвали в Сремских Карловцах (Сербия) учредительный съезд (собор) Русской зарубежной церкви, положивший начало ее отделению от Московской патриархии (Карловацкий раскол)¹.

На съезде в Сремских Карловцах главенствовало монархическое большинство. Особую роль в нем играло духовенство, близкое к армейским кругам русского зарубежья. Съезд был крайне политизирован. О политических настрое-

ниях съезда, который в ходе работы стал именовать себя «Русский Всезаграничный Собор», свидетельствует такой частный, казалось бы, факт: делегаты съезда устроили бурную обструкцию приехавшему на съезд из Парижа бывшему председателю Государственной думы М. В. Родзянко. Съезду он представлялся слишком «красным». Фактически М. Родзянко* изгнали со съезда. Монархисты, очевидно, не могли простить М. В. Родзянко, что именно он настаивал на отречении Николая II от престола и склонил его к этому шагу. Император писал в своем дневнике: «2 марта. Четверг. Утром пришел Рузский** и прочел мне длинейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что министерство из членов Государственной думы будет бессильно что-либо сделать, ибо с ним борется эс-дековская партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение... Для спасения России и удержания Армии на фронте я решил на этот шаг...»

Карловацкий собор был не столько духовным, сколько политическим собранием. Из 155 участников съезда к духовенству принадлежало менее трети, остальные были представителями крайне правого крыла русской эмиграции².

Главная цель съезда, по замыслу его устроителей, состояла в том, чтобы обеспечить духовное благословение идее восстановления монархии в России³. Крайне правая направленность съезда обеспокоила умеренные и левые слои русского зарубежья, в том числе П. Н. Милюкова. Но повлиять на решения Карловацкого собора эмигрантская интеллигенция в то время не могла: монархические настроения в среде эмигрантов в этот период были еще достаточно сильны. Напомним, что весной 1922 года монархисты устроили в Берлине покушение на лидера «левой эмиграции» П. Н. Милюкова (в сумятице вместо Милюкова убили одного из лидеров партии кадетов В. Д. Набокова).

В центре внимания съезда было обсуждение путей восстановления на русском престоле династии Романовых. В этом ключе были сформулированы «Послание Всезаграничного Собора чадам Русской Православной Церкви, в

* Родзянко М. В. (1859—1924) — один из крупнейших государственных деятелей дореволюционной России, помещик, убежденный сторонник сохранения монархии в стране, лидер партии октябристов, председатель III и IV Государственных дум. В 1917 году возглавлял Временный комитет Государственной думы. Один из идеологов белого движения. Умер в эмиграции. Автор воспоминаний «Крушение империи», впервые опубликованных в 1924 году в Белграде.

** Генерал Рузский — один из крупнейших военачальников в первой мировой войне, находился в Ставке при императоре Николае II.

рассеянии и изгнании сущим» и «Обращение» к участникам Генеузской конференции. В сущности, это был призыв к вооруженной интервенции против РСФСР. Собор, взяв на себя право говорить от имени всего русского зарубежья, заверял «народы Европы», что эмигранты «в лице доброй своей половины офицеров, генералов и солдат готовы взяться за оружие и идти походом в Россию»⁴. Это заявление представляло собой огромную натяжку. «Добрая половина» эмиграции, переживавшая в этот период самые суровые тяготы и лишения, была больше озабочена поисками пристанища, крыши над головой, куска хлеба, школы для своих детей, нежели политическими проектами. Не удивительно, что призывы Карловацкого собора оказались не услышанными и лишь привели к смятению умов и размежеванию в среде русских верующих за рубежом.

С точки зрения церковных дел собор повел себя еще более некорректно, присвоив право говорить от имени всех верующих России, позабыв о том, что церковь в эмиграции была лишь небольшим осколком русского православного мира. Карловацкий собор от имени всего русского народа объявил, что «дом Романовых продолжает царствовать». Выступивший на съезде с докладом Н. Е. Марков (Марков-второй), один из лидеров монархистов, говорил: «Если мы здесь не вся Церковь, то мы та часть ее, которая может сказать то, чего сказать не может оставшаяся в России Церковь. Монархическое движение в России растет. Это подтверждается теми многочисленными письмами, которые получают из России... Письма эти — голая правда, и скоро заплачет тот, кто им не поверит. Народ русский ждет царя и ждет указания этого царя от церковного собрания...»⁵.

Речь Маркова даже на слух эмиграции прозвучала явной политической подтасовкой. Русский народ, только что переживший тяжкие испытания гражданской войны и политики «военного коммунизма», действительно жаждал перемен. Жаждал новой политики, которая пришла с нэпом. Жаждал движения к нормальной, а не военной экономике, но отнюдь не возвращения России к монархии, повергнутой Февралем 1917 года.

«Умеренные» делегаты Карловацкого собора (в их числе был и митрополит Евлогий) предупреждали об опасности призывов к реставрации, указывая, в частности, на осложнения, к которым такое обращение могло привести в жизни церковной общины России, для патриарха Тихона, для всей Русской православной церкви. Однако голос разума не

был услышан. Слишком пропитан был Карловацкий собор политическими страстями монархистов. При голосовании две трети съезда высказались за принятие «Обращения» к участникам Генуэзской конференции. Тридцать четыре участника собора выступили против и высказали «особое мнение», заявив, что постановка вопроса о монархии с упоминанием династии носит политический характер и, как таковая, обсуждению церковного собрания не подлежит.

К сожалению, худшие опасения митрополита Евлогия оправдались. Решения собора, носившие открыто антисоветский, монархический характер, самым трагическим образом сказались на отношениях Русской православной церкви и советского правительства. Они явились одной из тех пружин, которые спровоцировали «церковный террор» в России 1921—1922 годов. Пагубно отразились решения Карловацкого собора и на участии патриарха Тихона и петроградского митрополита Вениамина.

Тихон оказался под следствием по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. В ночь на 19 мая 1922 г. патриарха перевезли в Донской монастырь и держали под домашним арестом в келье над монастырскими воротами. Его общение с внешним миром было ограничено. Лишь раз в сутки ему позволялось выходить на балкон подышать свежим воздухом и благословить собиравшуюся у монастыря паству. В ожидании суда Тихон провел почти целый год. Процесс начался 25 марта 1923 г. Патриарха судили по семи статьям недавно введенного Уголовного кодекса РСФСР, инкриминируя ему, в частности, полторы тысячи кровавых столкновений, происшедших между верующими и представителями властей в ходе кампании по изъятию церковных ценностей⁶. В течение месяца после суда патриарха Тихона продержали в ГПУ на Лубянке, где с ним регулярно беседовали, пытаясь убедить его изменить позицию по отношению к советской власти.

Сложная и противоречивая обстановка в самой церкви, возникновение «обновленческих» группировок («Живая церковь», «Союз церковного возрождения»), выступавших за пересмотр отношения Русской православной церкви к политике советского правительства, содействовали эволюции взглядов патриарха в сторону лояльности к новой власти⁷. Кроме того, становилось все более очевидным, что в условиях разрастающейся религиозной нетерпимости и агрессивного безбожия необходимо идти на компромиссы ради сохранения главного — самой церкви. Понимал патриарх и то, что он косвенно ответствен и за решения Кар-

ловацкого собора. Возможно, он не предвидел степени агрессивности монархизма, выплеснувшегося на съезде в Сремских Карловцах, но благословение, которое он направил съезду, безусловно отразилось на его взаимоотношениях с правительством.

Нужно принять во внимание, что в этот период сношения русской церкви с Западной Европой пришли в расстройство, фактически прекратились. Православная община переживала тягостные времена гонений. Официальный воинствующий атеизм, стимулируемое сверху безбожие ставили церковь, по сути дела, вне общества. В этих условиях главные усилия клира направлялись на то, чтобы найти приемлемые формы сосуществования с властью, громко заявлявшей, что «религия есть опиум для народа». Сношения с православными общинами за границей отодвинулись на второй план. Патриархия почти не получала сведений о жизни русской эмиграции. Монархические настроения эмиграции явно недооценивались в патриарших кругах. Благословение, посланное патриархом съезду, было обусловлено именно этой неверной оценкой реальностей политической жизни эмиграции. И только «Обращение» Карловацкого собора к участникам Генуэзской конференции, пропитанное духом агрессивного монархизма, заставило патриарха более трезво оценить ситуацию. В решениях съезда он разглядел и опасность для позиции церкви в советской России. В первых числах июня 1922 года митрополит Евлогий, находившийся в то время еще в Берлине, получает письменный указ патриарха Тихона:

«По благословиению Святейшего Патриарха, Священный Синод и Высший Церковный Совет в соединенном присутствии слушали: предложение Святейшего Патриарха от 28 марта (10 апреля) сего года следующего содержания: «Прилагаю при сем номера «Нового Времени» от 3 и 4 декабря 1921 года и 1 марта 1922 года. В них напечатаны послания Карловацкого Собора и обращение к мировой Конференции. Акты эти носят характер ПОЛИТИЧЕСКИЙ, и, как таковые, они противозаконны моему посланию от 25 сентября 1919 года. Поэтому:

1) я признаю Карловацкий Собор заграничного русского духовенства и мирян не имеющих канонического значения и послание его о восстановлении династии Романовых и обращение к Генуэзской Конференции не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви;

2) ввиду того, что Заграничное Русское Церковное Управление увлекается в область политических выступлений,

а с другой стороны — заграничные русские приходы уже поручены попечению Вашего Преосвященства, Высшее Церковное Управление за границей упразднить;

3) Священному Синоду иметь суждение о церковной ответственности некоторых духовных лиц за границей за их политические от имени Церкви выступления».

По обсуждении изложенного предложения Патриарха постановлено: признать «Послание Всезаграничного Собора чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сушим» о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых за подписью Председателя Российского Заграничного Синода и Высшего Церковного Управления за границей Митрополита Киевского Антония, — актами, не выражающими официального голоса Русской Православной Церкви и, ввиду их чисто политического характера, не имеющими церковно-канонического характера...»⁸.

Монархические круги указ патриарха приняли в штыки. Однако среди самих иерархов Русской зарубежной церкви мнения разделились. Одни считали, что указ из Москвы следует признать безусловно, другие высказывали предположение о том, что указ вынужденный, принят против воли патриарха (о длительном пребывании Тихона в ГПУ на Лубянке эмиграция была, естественно, осведомлена) и, следовательно, выполнять его не следует. Высшее церковное управление после бурных споров большинством голосов постановило отсрочить выполнение указа впредь до выяснения обстоятельств, при которых он был издан.

Митрополит Евлогий оказался в крайне затруднительном положении. С одной стороны, указ патриарха, который ему надлежало выполнять, с другой — мнение заграничных иерархов, с большинством из которых у него были давние и дружеские отношения. В этой обстановке Евлогий не решается ни встать во главе зарубежного Синода, ни сместить его главу — митрополита Антония. В церкви за рубежом, в сущности, устанавливается двоевластие, пагубные последствия которого сказываются и поныне. До конца дней своих митрополит Евлогий корил себя за проявленную тогда слабость. Признавая свою ошибку, он писал на склоне лет: «...В этом была моя великая ошибка, мой большой грех перед Богом, перед Матерью Русской Церковью и перед Святейшим Патриархом Тихоном, и в этом заключается главная причина не только моих личных бед, но и источник всех дальнейших нестроений в жизни зарубежной церкви...»⁹.

Трудности митрополита Евлогия в организации управления эмигрантскими приходами усугублялись и тем, что монархические круги оказывали на него давление с целью добиться от него благословения на царствование великого князя Кирилла Владимировича, оказавшегося в эмиграции. Евлогий отказался, чем снискал себе немало недругов среди правого эмигрантского крыла. Переезд митрополита Евлогия из Берлина в Париж в значительной степени был продиктован тем, что Берлин в этот период являлся главным центром промонархической активности, тогда как политический барометр Парижа точнее отражал настроения эмиграции. Среди политических деятелей русской эмиграции призыв Карловацкого собора о восстановлении в России монархии вызвал резкую критику. Стремление митрополита Евлогия держать Русскую зарубежную церковь вне политики нашло в Париже понимание и поддержку.

* * *

Неустроенность, бедность, оторванность от родных, нарушение привычного быта и образа жизни увеличивали у эмигрантов потребность в слове успокоения. Приехав в Париж, Евлогий это ощутил с первых же дней. Позднее, когда культурная и бытовая жизнь стала входить в нормальную колею, потребность в душевном успокоении, в молитве, в милосердии ослабла, но в начале 20-х годов церковь была одним из тех мест, где эмигрант мог отвести душу.

Задача, вставшая перед Евлогием, осложнялась тем, что приходских священников в эмиграции оказалось крайне мало. Рядовые священники в большинстве своем остались в советской России. За рубеж выехали главным образом архиереи южнорусских епархий. Откатываясь с отступающей Добровольческой армией, они и эвакуировались вместе с частями Врангеля. До приезда митрополита Евлогия, начавшего активно заниматься устройством духовной жизни эмиграции во Франции, инициаторами создания приходов и церквей были чаще всего сами верующие. В первые годы эмиграции помимо кафедрального собора Александра Невского в Париже и большого каменного храма в Ницце, построенных задолго до революции, православных церквей во Франции было не много — всего пять. Так что одной из первых проблем, вставших перед митрополитом, была организация новых храмов, в которых ощущалась большая потребность.

Однако новому пастырю пришлось столкнуться с немалыми трудностями. Одной из них было засилье крайне правых, консервативных элементов в церковно-приходском совете главного храма русского зарубежья, который в силу своего центрального положения оказывал большое влияние на жизнь других общин. Главенствовали там бывшие сановники, генералы, крупные чиновники царской России. Интеллигенции в совете в ту пору почти не было. О косности атмосферы в совете можно судить по одному весьма характерному и почти анекдотическому эпизоду. Один из немногих представителей интеллигенции в совете И. П. Демидов, бывший член Государственной думы от партии конституционных демократов (кадетов), занимавший в Париже должность помощника редактора «Последних новостей», был исключен из совета как «левый» за то, что не воспрепятствовал публикации в газете рассказа Сергея Минцлова «Тайна», в котором члены церковного совета разглядели неканонические нюансы.

Несмотря на достаточно устойчивое материальное положение церкви в первые годы эмиграции, когда среди верующих еще имелось немало состоятельных жертвователей, церковная служба была расстроена. Богослужения велись по укороченному чину, характерному для домовых церквей. Священники ориентировались на вкусы и привычки аристократической части прихожан, видевших в церковной службе не столько духовную потребность, сколько внешнюю привычку. В воспоминаниях митрополит Евлогий рассказывает о своей «стычке» с великой княгиней Еленой Владимировной.

— Я хожу в нижнюю церковь, там служба короче, — сказала как-то княгиня митрополиту.

— Вы что же, хотите, чтобы обедня длилась не больше часу? — спросил тот. — Это дурная придворная привычка...

— Да вы... большевик! — с неудовольствием заметила княгиня¹⁰.

В первые годы, пока эмиграция еще не успела организовать систему сбора средств для взаимопомощи, большую роль играло «сестричество». Руководила им В. В. Неклюдова, имевшая большой опыт благотворительной работы в России: во время войны она работала в русском отделении Красного Креста, опекавшего русских военнопленных в Германии и Австрии. Старая дева, выпускница Смольного института благородных девиц, фрейлина, она полностью посвятила себя новому делу. Хлопотами В. В. Неклюдовой в Париже была открыта «четверговая» церковно-приход-

ская школа при русской гимназии. По ее же инициативе стали создаваться летние лагеря для эмигрантской детворы. В первые, самые неустроенные годы многие русские семьи ютились в подвалах, в холодных и темных мансардах, и среди детишек свирепствовали легочные заболевания. Летние лагеря в пригородах Парижа, а впоследствии и на море спасли от туберкулеза многих детей.

Занимались «сестры» и сбором пожертвований. При чем принимали не только деньги, но и поношенное платье, белье, обувь — все это раздавалось остро нуждающимся, а их в начале 20-х годов в Париже были тысячи. «Сестры» посещали одиноких русских в больницах, носили передачи. Через «сестер» за год проходило до 50—60 тыс. франков — сумма по тем временам значительная. Все это шло на нужды бедных, на себя «сестры» не тратили ни копейки общественных денег.

Поскольку среди эмигрантов, особенно старшего поколения, было немало больных, ослабших от несчастий и плохого питания, в эмигрантской среде большим авторитетом и почтением пользовались так называемые «разъездные священники». Здесь требовались люди, склонные к подвижничеству, самоотверженные, люди чуткого, отзывчивого сердца. Одним из таких священников был отец Георгий Спасский. До революции он был священником Черноморского флота и после поражения белого движения ушел вместе с русским флотом в Бизерту. Позднее он переехал в Париж. Еще во время службы на флоте, а потом в изгнании в Бизерте он приобрел популярность как прекрасный оратор, образованный и литературно одаренный человек. Он был священником нового склада, ищущим глубокого общения с народом, знавшим его нужды и горести. Парижское духовенство встретило его в штыки. И даже митрополиту Евлогию не удалось включить его в штат Епархиального управления. В эти годы эмигрантского невзгодья отца Георгия можно было видеть в бедных каморках, в подвалах, среди больных и убогих. За день он успевал посетить двадцать — тридцать домов. Умер он скоропостижно от разрыва сердца 16 января 1934 г. во время лекции «О догмате».

Наибольший приток русских эмигрантов в Париж приходится на 1923—1924 годы. Число верующих возрастало так быстро, что кафедрального собора на улице Дарю стало не хватать. Русские колонии, возникавшие отдельными очагами в разных районах города, стремились обзавестись собственной церквушкой и своим приходским священником. Начинали с устройства обрядовых помещений в частных

квартирах, где не было даже иконостаса. Потом по мере сбора средств строили временные бараки, которые постепенно обстраивались, украшались, превращаясь в подобие небольших храмов. Таких небольших церквушек по разным районам в период «русского блистательного Парижа» насчитывалось несколько десятков (по свидетельству Р. Гуля, более тридцати).

Строили и настоящие церкви по проектам оказавшихся в эмиграции архитекторов и художников. Чаще всего они были деревянными, изредка каменными. По проекту А. А. Бенуа были выстроены церкви на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа и на военном кладбище в Мурмелоне около Реймса. В Париже новые церкви ставить было практически невозможно из-за дороговизны земли. Так что из крупных новых церквей можно упомянуть лишь храм Сергиевского подворья. Много новых церквушек было построено в окрестностях Парижа, где из материальных соображений селились многочисленные русские семьи. В те годы земля в окрестностях французской столицы, даже в ближайших пригородах, была сравнительно недорога.

Одной из первых пригородных церквей была церковь в Клямаре, в 10—15 километрах от Парижа. Клямар был в то время тихим, сонным городком, примыкавшим к большому лесопарку. Ныне это один из престижных пригородов Парижа, и покупка земли там по карману разве что очень состоятельным людям. В начале же 20-х годов человек со средствами мог здесь купить целую усадьбу. Так, например, и сделал граф К. А. Бутенев-Хребтович. По соседству поселились Трубецкие, Лопухины. В Клямаре жил и Н. А. Бердяев. Удобство состояло в том, что здесь была железнодорожная станция и до центра Парижа, до вокзала Монпарнас, езды было минут пятнадцать — двадцать. В хорошую погоду ходили и пешком — по живописным холмам, через Сену и прилежавшие к самому городу яблоневые и грушевые сады и ягодники. Деревянную церковь К. А. Бутенев-Хребтович заказал на одной из столярных фабрик, в то время многочисленных в Париже и пригородах. Так что церковь фабричного изготовления поставили всего за месяц.

Первое время службу в новой церкви правил отец Александр Калашников, ставший впоследствии священником «Русского дома» (богадельни) в Сент-Женевьев-де-Буа. Однако наибольшую любовь прихожан снискал второй священник — старец Михаил (Осоргин).

Удивительна биография этого человека (не следует путать его с писателем Михаилом Осоргиным). Блестящий

кавалергард, потом губернатор, он вынужден был уйти в отставку из-за того, что отказался по нравственным соображениям подписывать в 1905 году приговоры к смертной казни. Человек глубоко верующий, благочестивый, при патриархе Тихоне он стал «благовестником» и ходил с проповедями по церквам. Но в священники его рукоположил митрополит Евлогий уже в эмиграции. В Клямаре он был священником-старцем до самой смерти.

Одной из самых популярных и посещаемых в Париже русских церквей некоторое время была церковь на улице Лекурб. Существует она и поныне. Здесь в округе осела значительная колония русских. Район этот считался непрестижным, хотя и находился неподалеку от центра столицы, и квартиры тут были недороги. Дома в три-четыре этажа в 20-е годы не имели газа, на верхние этажи не подавалась и вода. В сущности, район этот и до сих пор сохраняет свой былой облик, и на стенах старых домов можно и поныне увидеть голубенькие эмалевые таблички «Вода на всех этажах»: в то время это считалось признаком хорошего, добротного дома.

Новый храм возник при студенческом русском общежитии, помещавшемся в старом особняке в глубине двора. Тут же во дворе стояло несколько барачков. Один из них и решили приспособить под церковь. Особенность барака состояла в том, что при его строительстве плотники сохранили старые деревья, пронзавшие крышу. Так что при переоборудовании барака в церковь одно дерево оказалось в алтаре, а другое — в центре храма.

Священником в новой церкви, посвященной памяти преподобного Серафима Саровского, Евлогий поставил отца Дмитрия Троицкого. Во время гражданской войны отец Дмитрий служил священником среди казаков. Старые «казацкие связи» помогли ему и здесь, в изгнании, привлечь в приходский совет кое-кого из видных деятелей казачества, в том числе атамана Богаевского. Новой церкви повезло и в том, что среди активистов приходского совета оказался бывший директор Московского художественного (Строгановского) училища Н. В. Глоба — он и расписал весь барак иконами и орнаментом, придав неказистому сооружению вид старинного русского храма. Консультировал его другой прихожанин — Калитинский, один из известных русских специалистов по древнерусскому искусству. Со временем при храме на улице Лекурб открылась церковно-приходская школа, организовалась касса помощи семьям неимущих прихожан, собрался прекрасный хор. Популярность церкви.

еще больше возросла, когда один из прихожан подарил храму хранившуюся у него частицу мощей Серафима Саровского. В храме стало тесновато. Стали собирать деньги на расширение и через год соорудили пристройку.

Священник отец Дмитрий Троицкий принадлежал к типу так называемых священников-бытвиков, которых было немало в эмиграции. Он знал почти всех прихожан, бывал у них дома, знал все семейные тайны и трудности. Такие священники, простые и непритязательные русские люди, сделали очень много для спасения эмигрантов. Жили они чаще всего скудно, не требуя воздаяний. Во Франции, особенно в отдалении от столицы, существовали приходы, где священники буквально бедствовали, но всячески скрывали свою нищету, не желая быть обременительными для прихожан. Небогато жили и «заводские» приходы, ведь русские работали на заводах чаще всего на низкооплачиваемых местах — чернорабочими, подсобниками, и им едва хватало на содержание семьи. В железнодорожном поселке Сен-Пьер-де-Кор, неподалеку от города Тура, имелась небольшая церковная община русских, во главе которой стоял бывший афонский инок иеромонах Варнава. Месячный доход церкви составлял всего 150 франков при прожиточном минимуме 300 франков. Варнава, однако, никогда не жаловался на нищенское свое положение, оно обнаружилось случайно во время утверждения смет расходов центральной церковной управой в Париже.

С ходом времени большинство периферийных церковных общин, в том числе и «заводских», прекратили свое существование. Русских все-таки тянуло в Париж — к центру «русской» жизни, и, скопив тяжким трудом необходимую для обустройства «парижской» жизни сумму, люди покидали временные пристанища. С их уходом хирели и церквушки. Чаще всего при них оставалось несколько стариков и старушек, которые по возрасту или ограниченности средств уже не могли сдвинуться с места. Такие крохотные общины обслуживались разъездными священниками. В иных случаях обязанности пастыря брал на себя кто-нибудь из оставшихся на месте русских интеллигентов — доктор или инженер, работавший на заводе.

Роль русских церквей в эмиграции не ограничивалась организацией духовной жизни прихожан и церковной службой. Во многих приходах, особенно на периферии, где не имелось больших культурных сил, русских университетов, клубов, собраний, они были единственным центром общения. При таких храмах возникали школы, библиотеки,

кружки самодеятельности, курсы шитья. Новые скромные храмы возникали, как правило, там, где селилась эмигрантская беднота, чаще всего в рабочих поселках. Роль священника здесь была особенно велика. Ведь ему нередко приходилось быть не только проповедником, носителем успокоительного слова, но и судьей в спорах, советчиком или ходатаем по делам, казначеем скудных благотворительных сумм. При некоторых «рабочих» храмах создавались детские ясли и сады, курсы по изучению профессий, курсы сестер милосердия. В церковных помещениях не только вели службу, но и устраивали лекции, вечера, собеседования.

Всего в епархии, возглавляемой митрополитом Евлогием, имелось свыше ста приходов.

Центром церковной жизни русского зарубежья был кафедральный храм Александра Невского на улице Дарю, неподалеку от Триумфальной арки. Внешне храм представляет собой типичную русскую церковь, каких много разбросано по русским городам и селам. Но в его истории имеется нечто, что делает его особенно дорогим для памяти русских, и не только верующих.

Дело в том, что, подобно взорванному храму Христа Спасителя в Москве, парижский собор Александра Невского построен на народные деньги, на собранные в России пожертвования. Сбор средств проходил в 1859—1861 годах. Построен он был в царствование императора Александра II и освящен в год освобождения крестьян. Стоит церковь в дорогом, престижном районе возле аристократического парка Монсо. Земля в этом квартале уже в те годы ценилась очень дорого, да и район сложился давно. Разрешения же на снос старых зданий во французской столице получить практически невозможно: к сохранности архитектурного фонда там относятся очень ревностно. Церковь со всех сторон зажата типичными для Парижа пяти-шестизэтажными домами, и увидеть ее можно, лишь подойдя совсем близко.

Получилась церковь тесноватой. Но для жившей в Париже до революции небольшой колонии русских ее вполне хватало. Сложности начались с 1923—1924 годов, когда русское европейское рассеяние потянулось в Париж. В церкви на улице Дарю стало совсем тесно, желающих помолиться не вмещал даже церковный дворик. Нужда в новых храмах стала очевидной.

Начало новому церковному строительству было положено созданием Сергиевского подворья. Оно и поныне считается вторым по значению храмом «русского» Парижа.

Нужно сказать, что на устройство храмов, и в частности Сергиевского подворья, наложило отпечаток широко бытовавшее в эмигрантской среде убеждение в скором возвращении на родину. Жизнь на чужбине казалась временной, никто не хотел обосновываться окончательно. Это сказывалось и на обустройстве храма: полагали, что он будет временным, для удовлетворения нужд резко возросшей русской колонии. Исходя из этого настроения паствы, которое разделяли и духовные лидеры, митрополит Евлогий обратился к французскому правительству с просьбой предоставить русской общине во временное пользование одно из бывших немецких зданий, реквизированных после войны. В ходатайственном письме митрополит Евлогий напоминал о жертвах русского воинства, понесенных на фронтах первой мировой войны, в частности во время операции по оказанию помощи Франции. Однако просьба эта результатов не дала. Пришлось уповать на собственные силы и средства. Нужны были пожертвования. Трудно оказалось и подыскать подходящее место. В центре столицы строить было невозможно — к этому времени цена на землю резко возросла. Стали искать подходящее место ближе к предместьям. Сейчас, когда Париж разросся, Сергиевское подворье, разместившееся на рю Крима (Крымская улица), уже не кажется таким отдаленным от центра. Но в те времена купленная усадьба представлялась дальним углом Парижа. Однако выбора не было. Можно сказать, что и с этим местом повезло.

Присмотренный участок находился на небольшом холме, неподалеку раскинулся парк. До войны 1914 года здесь было немецкое благотворительное евангелистское общество. В двухэтажном здании прежде размещались немецкая школа и кирха. Место оказалось тихим. Привлекали и старые деревья. Усадьба понравилась. Сложность покупки состояла в том, что точной цены не было. Правительство, продававшее реквизированную у немцев усадьбу, намерилось устроить аукцион, назначив начальную цену 300 тыс. франков. В епархиальном фонде имелось лишь 15 тыс. — сумма, которой едва хватало для внесения залога при участии в торгах. Дело было опасным, чреватым потерями. Возникли разногласия. Товарищ председателя церковного совета граф В. Н. Коковцев, лицо в эмигрантских кругах влиятельное, был против покупки, полагая, что нужных денег собрать не удастся. Трудность усугублялась тем, что сроки платежей назначались короткие. Вызванный для консультации из Берлина архимандрит Иоанн Леончуков,

имевший обширный опыт ведения хозяйственных дел за границей (до революции он состоял председателем правления свечных заводов и часто бывал за границей с деловыми миссиями), тоже призывал к осторожности. Скептически отнеслись к покупке и финансовые круги эмиграции. Против был влиятельный Торгово-промышленный комитет. Но потребность в новом храме была столь велика, что митрополит решил рискнуть.

Торги состоялись на Сергиев день, и усадьба вместе с постройками была куплена за 321 тыс. франков. Начался сбор пожертвований. Крупную сумму дал Эммануэль Людвигович Нобель, бывший управляющий предприятиями братьев Нобелей в России. После революции он внес немалый вклад в облегчение участи русских эмигрантов за границей. Но большая часть средств поступала незначительными суммами от эмигрантской массы: давали рабочие, казаки, интеллигенция. Много жертвователей было среди женщин — как правило, они приносили свои украшения. Существенную помощь оказал состоятельный эмигрант М. А. Гинзбург. Он дал церкви бессрочную и беспроцентную ссуду в 100 тыс. франков.

Ремонт и переоборудование деревянного дома в церковь длились всю зиму. В работах приняли участие многие неизвестные русские мастера из эмигрантов — плотники, столяры, кровельщики, маляры, резчики по дереву, живописцы. Художественную роспись храма безвозмездно сделал художник Дмитрий Семенович Стреллецкий. Были расписаны стены, своды, потолок. За образец взяли росписи древнерусских монастырей и церквей XVI века, главным образом Ферапонтова монастыря. Новый храм приобрел нарядный, торжественный вид.

Украшению вновь создаваемых храмов способствовало то, что за границей оказалось немало талантливых иконописцев, а со временем были созданы и русские иконописные мастерские. Они расписывали не только православные, но и католические церкви во Франции. В 1925 году любители иконописного творчества создали в Париже общество «Икона», которое внесло большой вклад в пропаганду древнерусского искусства за рубежом. Во главе общества стоял Владимир Павлович Рябушинский, затем Николай Иванович Исцеленов. Общество устраивало выставки русских икон. Написанные членами общества иконы расходились по всему миру.

Другой известный и дорогой для русской эмиграции храм при кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, построенный

архитектором А. А. Бенуа, расписан самим архитектором и его женой М. Н. Бенуа. Церковь Серафима Саровского в Париже украшена иконами Ф. А. Федорова. Среди знатоков современной иконописи ценятся иконописные работы монаха Григория Круга. Он был учеником известных в эмиграции иконописцев Ю. Рейтингера и Ф. Федорова. Григорий Круг расписал церковь в Ванве, Трехсвятительское подворье в Париже, церковь при «Русском доме» в Монжероне, а также скит Святого Духа в лесу Коньер, где он длительное время проживал. Среди парижских антикваров иконы Г. Круга пользуются чрезвычайно высокой репутацией.

Нужно заметить попутно, что русские церкви, устроенные эмигрантами, вообще отличались хорошим убранством, что в значительной мере компенсировало неказистость самих построек, как правило, не носивших изначально храмового характера. Русские церкви обязаны этим прежде всего бескорыстию прихожан. Многие дарители, жившие в самых скромных материальных условиях, отдавали церквям ценные старинные иконы, утварь. Все это можно было бы выгодно продать парижским антикварам. Но верующие предпочитали отдать свое достояние на общую нужду и потребу.

Церковь Сергиевского подворья получила особенно богатые дары. Балерина А. М. Балашева пожертвовала большую древнюю икону Тихвинской Божией Матери. За счет средств, данных на украшение церкви великой княгиней Марией Павловной*, у парижского антиквара были куплены русские царские врата XIV века. За счет даров торжественным получился многоярусный иконостас.

Освещение храма выпало на Прощеное воскресенье. Перед началом Божественной литургии митрополит Евлогий произнес благодарственное слово всем, кто помог в устройении этого подворья:

«Низкий поклон мой в этом святом месте всем, кто принес сюда свои трудовые жертвы, и особенно трогательны лепты бедняков, рабочих, бедных женщин, которые жертвовали свои последние серьги, кольца, желая остаться неизвестными. Да воздаст Господь всем добрым жертвователям сторицею. Не перестанет возноситься о них горячая молитва под освященную сенью этого храма. И не о них только, а обо всех русских людях, труждающихся и обремененных, в отечестве и в рассеянии и в скорбях сущих,

* Великая княгиня Мария Павловна пожертвовала на Сергиевское подворье 100 тыс. франков в память о своей тетке, великой княгине Елизавете Федоровне, «принявшей мученическую смерть в советской России».

и, наконец, о мире всего мира, о благосостоянии святых Божиих Церквей и о соединении всех здесь Господу помолимся. Аминь»¹¹.

Сергиевское подворье стало одним из центров русской эмиграции и прежде всего центром русской благотворительности. Здесь работали благотворительная столовая, амбулатория для бедняков. Большая часть средств собиралась «сестрами», но благотворительному делу подсоблял и небольшой свечной заводик, устроенный радением церковного старосты П. А. Вахрушева. Заводик снабжал восковыми свечами все церкви епархии.

Здесь же, при Сергиевском подворье, вскоре была создана единственная русская богословская школа за границей — Богословский институт¹². Большую роль в создании этого учебного заведения сыграли русские богословы А. В. Карташев, В. В. Зеньковский, С. С. Безобразов. В качестве преподавателей были приглашены жившие в то время в Праге известные русские религиозные мыслители отец Сергей Булгаков и Г. В. Флоровский.

Со временем Богословский институт в Париже собрал цвет русских религиозных мыслителей, историков русской церкви и русской христианской философии. На Сергиевском подворье в разное время работали авторы известнейших богословских трудов: А. В. Карташев («Очерк по истории русской церкви», «Воссоздание Святой Руси», «Вселенские соборы»), отец Сергей Булгаков («Православие», «Карл Маркс как религиозный тип», «Икона и иконопочитание»), В. В. Зеньковский («Русские мыслители и Европа», «История русской философии», «Основы христианской философии»), Г. В. Флоровский («Пути русского богословия»), С. Л. Франк («Духовные основы общества», «Непостижимое», «Свет во тьме», «С нами Бог»), архиепископ Киприан («Евхаристия», «Патрология IV века»), С. С. Безобразов («Христос и первое христианское поколение», «Царство Кесаря перед судом Нового завета»), В. Н. Ильин («Мистицизм и мистерия», «Шесть дней творения»), Г. П. Федотов («Святые Древней Руси», «Св. Филипп, митрополит Московский»), Н. С. Арсеньев («Безбрежное сияние»).

В первый же год в институт были приняты десять студентов. Все в этом необычном учебном заведении было скромно, почти бедно: аудитории, трапезная, дортуар. Главное внимание уделялось не внешнему, а учебе, воспитанию внутреннего мира. Распорядок был строгим, с обязательным ежедневным посещением церковных служб.

Да и сами богослужения в Сергиевском подворье отличались строгостью церковного стиля, скрупулезностью соблюдения чина русской православной службы. Даже во время трапезы воспитанникам читались жития святых. Жизнь Богословского института напоминала монашескую. Инспектором института на первых порах стал епископ Вениамин, приглашенный митрополитом Евлогием из Сербии.

Отец Сергей Булгаков занял в институте кафедру догматического богословия. В начале своей научной карьеры С. Булгаков интересовался марксизмом и преподавал политическую экономию в Киевском политехническом институте. Сан священника принял не без влияния своего близкого друга отца Павла Флоренского. Известен замечательный двойной портрет этих двух религиозных философов кисти великого русского художника М. Нестерова. Характерно, что двойной портрет («Философы») написан в 1917 году, в роковую годину русской истории.

Курс патристики читал Г. В. Флоровский. Первые годы эмиграции он провел в Праге и в Париж приехал по рекомендации С. Булгакова. Священничество принял лишь в 1931 году.

Философию в Богословском институте читал профессор В. В. Зеньковский. В эмиграции его широко знали как председателя Русского христианского студенческого движения. Историю западных исповеданий вел Г. П. Федотов, Б. П. Вышеславцев — нравственное богословие, В. Н. Ильин — литургику и философию, П. Е. Ковалевский — древние языки.

Состав студентов был весьма пестрым и резко отличался от подобных учебных заведений в дореволюционной России, куда слушателей принимали уже после окончания духовных семинарий. Учитывая сложность условий, от поступавших не требовали даже дипломов об окончании средней школы. Главными критериями отбора были глубина веры, желание служить духовному спасению русской эмиграции. Большинство принятых прошли трудный путь, испытали и лишения, и удары судьбы. Вероятно, в силу этого аскетический, монашеский чин жизни в Богословском институте воспринимался ими безропотно.

За 11 лет существования институт окончили 133 человека. Пятьдесят два из них были рукоположены в сан священника. Многие из выпускников вели подвижнический образ жизни в маленьких, отдаленных от столицы приходах. Священничество в эмиграции не давало достаточных средств для существования, и многие из приходских свя-

щенников работали на фабриках и заводах и только по субботам и воскресеньям исполняли свои пастырские обязанности.

Материальное положение института, и без того не блестящее, еще более осложнилось с 1931 года. Жалованье профессорам пришлось сократить. Фактически в последние годы существования института они работали безвозмездно. Студенты института вынуждены были давать платные концерты духовной музыки, которые, к счастью, пользовались успехом не только во Франции, но и в соседних странах.

Хотелось бы сказать несколько слов о русских церковных хорах в эмиграции. Они играли в культурной да и бытовой жизни значительную роль. После первого бурного десятилетия эмигрантского существования «средний» эмигрант утратил к политике всякий интерес. Политические собрания, на которые в начале 20-х годов ходили сотни и тысячи людей, к началу 30-х заметно потускнели. Бывали случаи, когда они едва могли собрать несколько десятков человек. Политическая жизнь «русского» Парижа свертывалась и по мере старения эмиграции: старшее поколение уже не имело прежнего темперамента; что касается молодежи, то она была весьма деполитизирована.

В этой обстановке хоры несли важную миссию общения и объединения. Хор не только был певческим собранием, но и представлял собой как бы маленький интимный клуб. Хоры существовали почти при всех мало-мальски крупных профессиональных и земляческих объединениях: имелись солдатские хоры, хор при морском собрании, заслуженной славой пользовался хор донских казаков, хороший хор был у русских студентов. Чаще всего это были хоровые любительские кружки, не выступавшие на профессиональной сцене. Но хоры были неизменными участниками всех праздников, благотворительных концертов, вечеров отдыха. Развитию хорового движения среди русских эмигрантов способствовали не только древняя песенная традиция, давняя культура хорового пения в России, но и тот факт, что в эмиграции оказался целый ряд замечательных русских хоровых дирижеров. Русское хоровое пение было одним из важных средств сохранения национальной самобытности и культуры в эмиграции.

Среди хоровых дирижеров за рубежом оказались Ф. И. Потаржинский, Д. И. Аристов, П. Ф. Волошин. Они сумели передать свое мастерство и идущему вслед за ними

поколению дирижеров и любителей хорового пения. Немалую роль хоры сыграли и в распространении русской культуры в Западной Европе. Русское хоровое пение пользовалось большой популярностью у западноевропейской публики, и многие хоры совершали успешные концертные поездки как по Франции, так и за границу. Выступления хоров сопровождались лекциями и докладами о русской культуре.

Заслуженной славой пользовался хор при кафедральном соборе Александра Невского. До 1925 года им руководил Василий Федорович Кибальчич. Его преемником стал Николай Петрович Афонский. Об уровне хора свидетельствует тот факт, что вместе с ним выступал ряд известных в эмиграции русских певцов: А. Мозжухин, Д. Смирнов, Н. Кайданов, Г. Дубровский и др. С хором под управлением Н. Афонского напел две пластинки Ф. И. Шалапин. Выросшие в хоре при кафедральном соборе талантливые регенты в последующие годы создавали собственные хоры и успешно гастролировали в европейских странах и в США.

...Эмиграция старела. Все больше становилось немощных старушек и стариков, за которыми некому было ухаживать. Ведь многие эмигранты за границей оказались в отрыве от семей, от родственников. Уезжали ненадолго, а оказалось — на всю оставшуюся жизнь. Церковь взяла на себя главные заботы по уходу за больными и немощными. Я уже упоминал о том, что монахини и «сестры» при русских храмах и подворьях ездили по больницам, богадельням, создавали при церквях небольшие приюты. Но по мере старения эмиграции этих крохотных богаделен стало не хватать. Нужен был основательный, большой старческий дом.

Такой дом, получивший со временем название «Русского дома», и был создан по инициативе княгини Веры Кирилловны Мещерской. Как это нередко бывает при благом замысле, делу помог и счастливый случай. Некоторое время назад княгиня В. Мещерская держала в Париже пансион для богатых американок. Такого рода пансионатов в предвоенные годы в Париже возникло немало. Создавали их бывшие фрейлины императорского двора, воспитанницы Смольного института, просто русские дворянки, знавшие ритуалы и стиль светской жизни. Пансионы пользовались успехом у молодых богатых американок, приезжавших в Европу. Внешний доск и светские манеры стали входить в моду в быстро богатевшей Америке.

Одна из таких американских девиц Доротея Педжет и

оказалась в пансионе княгини Мещерской. Она была искренней, эмоциональной, отзывчивой девушкой. За время обучения успела полюбить и русскую культуру, и своих наставниц Веру Мещерскую и ее сестру Елену Кирилловну Орлову. Однако время «выпуска» неумолимо приближалось. Девушке хотелось чем-то отблагодарить своих воспитательниц. Незадолго перед отъездом богатой воспитанницы и возникла мысль попытаться при ее содействии помочь русским нуждающимся старикам. Доротея Педжет снеслась с родителями, и те одобрили благотворительную идею.

На деньги семьи Педжет под Парижем, километрах в тридцати от города, в местечке Сент-Женевьев-де-Буа, и была куплена старинная усадьба, принадлежавшая некогда одному из наполеоновских маршалов, — большой участок земли с парком и садом, красивый особняк с флигелями и службами. В первые годы жизнь в доме для престарелых шла «на широкую ногу». Благодаря щедрости семьи Педжет русские старики жили здесь на полном пансионе. Дом был обставлен хорошей мебелью, была прекрасная кухня. Доротея Педжет, наезжая время от времени в Париж, неизменно навещала русских стариков, делала богатые дары.

Даже и сейчас, хотя с тех пор прошло более 50 лет, в доме сохраняется достойная обстановка: прекрасный рояль в гостиной, мягкая мебель, накрываемая по давней традиции полотняными чехлами, картины. В неприкосновенности осталась и маленькая уютная часовенка, организованная при «Русском доме». Поскольку первыми пансионерами дома были состарившиеся представители аристократии, в доме имеется несколько ценных, уникальных икон. Сейчас пансионеров в доме совсем немного, а некогда их бывало до 250 и более человек.

Первым директором «Русского дома» стал генерал Вильчковский, врачом — Е. Н. Бакунина, жена известного русского хирурга Бакунина, имевшего в Москве лечебницу. В ней провел последние дни своей жизни и там скончался патриарх Тихон. Сейчас в «Русском доме» (в последний раз мне довелось побывать там летом 1987 г.) осталось всего несколько русских стариков, и после их смерти дом, вероятнее всего, будет закрыт. Будущее его неизвестно. А ведь в доме немало предметов русской старины, хорошая библиотека, он хранит память о нескольких поколениях русской эмиграции.

Правда, сколько-нибудь выдающиеся с точки зрения русской культуры личности здесь не жили. До последних лет

«Русский дом» сохранял налет русской обветшалой аристократичности. Жизнь этой привилегированной богадельни текла как бы в стороне от основного русла эмиграции. В своих воспоминаниях митрополит Евлогий пишет, что первый настоятель часовенки при «Русском доме» — протоиерей Дмитрий Троицкий так и не смог ужиться с пансионерами из-за вечных споров относительно родовитости. Митрополит приводит характерный спор русских старушек из знати, выбиравших место на кладбище поближе к церкви.

— Мой муж был губернатором...

— А у меня — генерал-губернатором...

— А мой муж был... — начала третья старушка и замаялась. — Кто же был мой? Ах, запомнявала...

— Да вы же незамужняя! — воскликнули ее спутницы.

— Да ведь и в самом деле...

По мере того как обитатели «Русского дома» постепенно умирали, русских могил на местном кладбище становилось все больше и больше. К началу войны их здесь насчитывалось уже 400. Местечко Сент-Женевьев-де-Буа становилось все более известным в русской эмиграции, а кладбище — как бы пантеоном русского рассеяния. Многие из умиравших просили захоронить их именно здесь, среди других русских могил. Было немало случаев, когда прах для окончательного захоронения привозили из Америки, куда многие эмигранты перебрались после войны.

Поначалу кладбище имело весьма унылый вид. На старой фотографии в моем архиве за кладбищенской оградой проглядывает лишь несколько тощих березок. Теперь же здесь целая березовая и еловая роща. И в летний жаркий день дышится здесь совсем как в русском подмосковном лесу. Бродить тут можно часами от одной могилы к другой: ведь каждая из них — страница жизни русской эмиграции. Перечислить всех похороненных здесь русских знаменитостей — писателей, художников, деятелей науки, ученых — просто невозможно. По сути дела, вся русская эмиграция покоится здесь. И бродя среди этих русских могил, с грустью думаешь о тех невозполнимых утратах, которые понесла русская культура.

Русские захоронения есть и на других парижских кладбищах: почти на каждом из них сыщутся две-три могилы с русскими крестами. Но большая часть эмиграции нашла свой вечный покой здесь, в Сент-Женевьев-де-Буа. По мере того как кладбище разрасталось, все нужнее становилась кладбищенская церковь. Во Франции этот обычай

не принят, и, вероятно, поэтому русским долго не удалось получить согласие местных властей. В конце концов удалось прикупить небольшой участок земли возле кладбища, и церковь строилась как бы вне его. Но со временем могилы подступили совсем близко к стенам храма. Тем не менее формальность соблюдена, и церковь от кладбища отделяет невысокая ограда, увитая плющом.

Строительный комитет возглавлял митрополит Евлогий, членами состояли княгиня Вера Кирилловна Мещерская и Михаил Михайлович Федоров. Строительство вел художник-архитектор А. А. Бенуа, уже имевший опыт возведения церквей. В частности, им был построен храм-памятник русским воинам на кладбище Сент-Илер-ле-Гранд, неподалеку от городка Мурмелон. А. А. Бенуа работал совершенно безвозмездно вместе с женой. Храм построен в новгородском стиле XV — начала XVI века. Цель была — подчеркнуть духовную близость к истокам русской культуры и духовности. Деньги на строительство собирала вся русская эмиграция. В течение года было собрано около 150 тыс. франков. Сумма немалая, если учесть, что ко времени начала строительства русская эмиграция уже научилась считать копейку и не имела тех средств, что в первые годы.

Церковь заложили 9 апреля 1938 г. Строительство шло споро, от рабочих не было отбоя, и многие мастеровые готовы были работать бесплатно. Русские каменщики, плотники, кровельщики обладали удивительными навыками быстрого и вместе с тем тщательного труда, и к ноябрю 1938 года на новый храм уже поднимали крест. Следующим летом достроили и колоколенку в новгородском стиле с шестью небольшими колоколами, и домик для священника и церковного сторожа. Оставалось внутреннее убранство. Расписывался храм, названный во имя Успения Божией Матери, четой Бенуа с помощью графа Г. А. Шереметева и нескольких помощниц. Граф Шереметев, известный каллиграф и знаток славянского письма, сделал все необходимые надписи. Иконостас расписывали художники из общества «Икона». Столярные работы по иконостасу и перегородкам сделал инженер И. М. Греков. Освящен храм Успения Божией Матери был в день Покрова Пресвятой Богородицы 1 (14) октября 1939 г.

Церковь на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа была последней, которую освятил митрополит Евлогий. К этому времени он совсем ослаб, вскоре заболел и умер. Похоронили его в этом же храме, в нижнем склепе.

Мечта его подвижнической жизни в эмиграции не сбылась. Так и не удалось ему вернуться на родину. Но благодаря его труду, бескорыстию, отзывчивости многие мятущиеся души эмигрантов обрели покой. Много усилий, увы, не всегда успешных, потратил он на объединение русских церквей за границей. Мечтой его жизни было привести свою паству на родину, в Россию. Мечте этой не суждено было осуществиться. Но сейчас свершается другое — возвращаются домой русская культура, русская история, русская память, которые эмиграция унесла с собой.

Глава 8

ТАЙНА «КУРСКОГО СОЛОВЬЯ»

Сентябрь — один из самых благодатных месяцев во Франции. Уже спала августовская жара. Но дни, вечера и даже ночи еще теплы и без той изнуряющей духоты, которая обрушивается на город к закату лета. До октябрьских дождей еще далеко, но воздух уже дышит ночными туманами, запахами поздних трав и первых пожухших в предчувствии близкой осени листьев.

В один из тихих позднесентябрьских дней из ворот каторжной тюрьмы города Ренна, построенной еще во времена Наполеона III, двое служащих, одетых в серые просторные рубахи, так что их с большим трудом можно было отличить от заключенных этого почтенного, более похожего на крепость, нежели на тюрьму, заведения, выкатили двухколесную повозку, на которой веревками крест-накрест был укреплен простой, из некрашенных досок гроб. Повернув направо, вдоль высокой стены из почерневшего ракушечника, повозка неспеша, вздрагивая на булыжной мостовой, двинулась по направлению к городскому кладбищу. Помимо служащих, кативших повозку, за печальной процессией шла лишь надзирательница — таков был обычай недавней старины: в случае смерти заключенного надзирателю надлежало провожать его до последнего земного порога — до могилы.

Теперь город разросся, и старая городская тюрьма и расположенное неподалеку кладбище находятся чуть ли не в центре Ренна. Но до и в первые годы после войны Ренн, хотя и числился среди крупных городов Франции,

представлял собой довольно тихий провинциальный городок. Тюрьма и кладбище тяготели к окраине.

Кладбищенский служащий, выглянувший от нечего делать, пошел было вслед за печальной процессией, но потом раздумал и, сказав, где хоронить, поплелся назад к своей сторожке у кладбищенских ворот. На своем веку он повидал столько похорон — и пышных, по высшему разряду, с дубовыми гробами, с десятками венков, с толпой почетных провожающих, и скорбно-убогих, нищенских.

В нынешней похоронной процессии, если так можно было назвать это унылое шествие из трех человек, его удивило разве что отсутствие священника. Впрочем, наступили такие времена, что стало не до обычаев, а тем более не до ритуалов. Конечно, новую войну никак не возможно было сравнить с Великой войной 1914 года, недаром же ее называли в газетах «странной». Теперь военные действия и вовсе прекратились. Жизнь медленно и сонно влачила свои дни под оккупацией. Шел сентябрь 1940 года.

В этот день, 24 сентября, у северной стены кладбища, выходящей, по иронической воле случая, на улицу Свободы, в общей могиле была захоронена умершая тремя днями ранее заключенная под номером 9202. Никто из хоронивших не ведал ни ее имени, ни тем более ее судьбы. Лишь провожавшая арестантский гроб надзирательница слышала, что умершая женщина — русская и что некогда она была артисткой. Звали ее Надежда Винникова.

Среди эмигрантских судеб есть такие, которые, казалось, испытали на себе все тяготы жизни на чужбине, все взлеты и падения эмиграции, все ее надежды и разочарования, все ее преданности и предательства. Одной из таких жизней, оказавшейся волей судьбы (но и волей истории тоже) как бы на перекрестке эмигрантских дорог, является жизнь Надежды Васильевны Винниковой, больше известной, впрочем, под фамилией Плевицкая.

Когда-то ее имя упоминалось рядом с именами великих русских певцов Шаляпина и Собинова. Ее слава, по крайней мере в России, была почти безгранична. Ее голосом восторгались и великие князья, и простые рабочие, она приводила в восторг русских интеллигентов и «господ офицеров». Ее слушал Николай II, и, как гласит легенда, уже при жизни окружавшая эту знаменитую исполнительницу русских песен и романсов, именно он, бесе-

дую с ней после концерта в Царском Селе, назвал ее «курским соловьем». С тех пор это прозвище летело за ней повсюду, куда бы ни забрасывала ее судьба. Увязалось оно за ней и в эмиграцию, где она продолжала петь для русских изгнанников, и слезы на глазах публики во время ее концертов были не только проявлением восторга, но, может быть, в большей степени слезами тоски по утраченному отечеству.

Надежда Васильевна Винникова родилась 17 сентября 1884 г. в деревне Винниково Курской губернии. У родителей уже были три дочери, названные хорошими русскими именами Дуня, Настя, Маша. В день рождения младшей по церковному православному календарю на Руси отмечали святых Софью, Веру, Надежду и Любовь. Жизнь была трудной. В деревне обычаем было работать, особенно летом, с утра до заката. Родители и старшие дети — в поле, младшие пасли коров, стерегли гусей, драли крапиву под заборами для запаривания свиньям, бегали в лес по ягоды. Веры было много — об этом прилежно заботился сельский дьячок, а вот была ли надежда на лучшую жизнь? Новорожденную окрестили Надеждой.

Впрочем, так девчущку никто и не звал. В деревнях приняты были короткие имена, а более того — прозвища. Надежду все кликали Дёжкой. И никто не предполагал, что жизнь отмерит этой простой, с грубоватым крестьянским лицом девушке такую судьбу, в которой достанет места не только любви, вере, надежде, но и страданию, терпению, отчаянию — в сущности, всему, чем наделил человека наш изломанный, трудный век.

Жизнь Дёжки складывалась обыкновенно, как у тысяч ее сверстниц, родившихся в крестьянских семьях. Много работы, простой крестьянский быт и столь же простые сельские радости: народные песни по вечерам, хороводы, и гулянья под гармошку в дни редких праздников. И, конечно, церковь — первое приобщение к таинству духа и через нее же — к красоте. Подпевая церковному хору, она впервые, даже и без удивления — настолько это казалось ей естественным, — поняла, как просто входят в нее звуки, как легко ей следовать за мелодией, услышанной хотя бы раз.

Много лет спустя, когда жизнь знаменитой русской певицы будет занимать и волновать тысячи ее почитателей, Надежда Васильевна, обладавшая, судя по всему, велико-

лепной памятью, с красочными деталями и подробностями опишет свою детскую пору, первые радости и первые смятения перед жизнью в двух книгах воспоминаний¹.

Пока же ей нужно было научиться хотя бы начекам грамоты. Два с половиной класса церковно-приходской школы — вот все ее университеты. В этом отношении ее судьба схожа с судьбой и Максима Горького, и Федора Шаляпина, и многих других русских самородков, для которых настоящей школой стали жизнь, встречи с людьми.

Школьные годы Дёжки прерваны ранней смертью отца. Он страдал болезнью глаз — следствие давнего ранения на войне, и девочка больше помнила его тяжкие вздохи с печки, нежели отеческие ласки. Семья лишается хоть и слабых, но все-таки мужских рук. Работать приходится все больше и больше, тем паче что старшие сестры разлетелись из семейного гнезда одна за другой: Анастасия выходит замуж и уезжает в Киев, Дуняша, чтобы помочь семье деньгами, устраивается в красильную мастерскую в Курске. Оставшаяся вдовой Акулина по вечерам долго отбивает поклоны перед иконой Николая Угодника, крестьянского заступника, молясь о милости, об облегчении судьбы.

Может быть, он услышал вдовью молитву и по-своему понял ее? Но только в возрасте пятнадцати лет Дёжка заявляет матери о желании «уйти в монастырь». Вероятно, во время поездки к сестре Анастасии в Киев воображение впечатлительной девочки поразили богатое убранство киевских церквей, наряды городских прихожан, толпы верующих, великолепие церковной службы. Акулина была бы и не против: монастырская жизнь хоть и не из веселых, а все легче, чем крестьянская доля. Уж если гнуть спину, так лучше Богу и святым, чем сорнякам в поле... Но где же взять денег на вступительный взнос? Впрочем, до пострижения в монахини нужно пройти трехлетний срок послушания. За это время можно и скопить требуемую сумму. К тому же, как выяснилось, Троицкий девичий монастырь в Курске — не из самых богатых обителей, готов принять плату и натурой. И Акулина возит в Курск то мешок пшеницы, то гусей, а то, если случится добрый опорос, и поросенка.

Изнутри монастырская жизнь предстает, однако, совсем не в том великолепии и благодати, как видится непосвященным прихожанам. Молодая послушница с удивлением обнаруживает, что и здесь гнездятся все те же

людские слабости и пороки, что и в миру: жадность, гневливость, лень. Девушку, наделенную живым воображением, наблюдательным глазом, все больше привлекает настоящая жизнь, которая начинается за стенами монастыря.

Собственно, в Курске Дёжка впервые сталкивается с городским бытом и нравами. Особенно нравятся ей городские ярмарки и базары, где монашенки продают писанки собственного изготовления и вербные метелочки. А ярмарочные торговцы, комедианты, балаганщики! От их словечек розовеют щеки. Соблазн бежать от постных монастырских щей и молитв велик. Но как сказать об этом матери, не жалевшей ради послушничества дочери трудовых копеек? Да и куда идти? Что она умеет? В монастыре по крайней мере ее ценят и прощают маленькие прегрешения за пение. Голос молоденькой послушницы обращает на себя внимание. Когда хорош хор, щедрее и прихотливей. Мать-настойтельница ждет, когда минет третий год послушничества и девушку можно будет постричь в монахини. А пока не грех и закрыть глаза на своевольный нрав голосистой девушки. Пусть покапризничает, а вот отстригут косу... тогда можно и на хвост наступить.

Жизнь внутри монастырских стен текла неспешно. Скуку дней разнообразили разве что праздники, когда монашенкам и послушницам позволялось отлучиться на несколько дней навестить родных.

Ждала праздников и Надя: сестра Дуняша, жившая с семейством в Курске, обещала взять ее погостить. Все-таки развлечение. Кончился казавшийся бесконечно долгим пост, наступили светлые пасхальные дни. На Пасху на Георгиевской площади в Курске по обыкновению разбивал свой огромный шатер цирк, в те годы одно из любимых и, главное, доступных народных развлечений. Пошли туда в праздничный день и Дуняша с Дёжкой.

Кто же знал, что цирк настолько поразит воображение монастырской послушницы, что она, преодолев страх и стыд, скрывши свои намерения от Дуняши, побежит на следующий день... наниматься в акробаты. И происходит невообразимое: ее принимают!

Причиной были крайне затруднительные обстоятельства, в которых оказался директор бродячего цирка: незадолго перед этим из труппы ушло сразу несколько человек. Стройную девушку, скрывающую, как нетрудно догадаться, свое послушничество, принимают после проственной пробы. Легка, подвижна, прекрасный голос,

живые глаза... В затруднительный момент можно ли требовать большего. Без лишних вопросов и уж, разумеется, без всяких формальностей ее принимают ученицей. Так будущая знаменитая певица едва не стала цирковым акробатом.

Помешало вмешательство матери. Узнав от старшей дочери о «безобразиях» Дёжки, Акулина примчалась в Курск — благо цирк еще стоял на площади — и со скандалом увела дочь. О возвращении в монастырь, понятно, не было и речи. Бесовское искушение послушницы сделалось известным в городе. Да и сама Дёжка теперь с ужасом вспоминала, как чуть не загубила молодость в монастыре. Цирк, хотя она и провела в нем всего несколько дней, приоткрыл ей занавес над совсем иным миром. Акулина, увозя дочь в деревню, в родную избу, в сущности, понимала, что Дёжку в деревне не удержать: отведавший меду не позарится на постный деревенский кисель. Осенью, после окончания полевых работ, Акулина, поплакав и, как всегда, испросив благословения Николая Чудотворца, отпустила дочь в Киев. Акулинина сестра Аксинья давно собиралась туда на богомолье, поклониться святым мощам в подземельях Киево-Печерской лавры. С ней и пошла Дёжка.

В ту пору в Киеве большой славой пользовался женский хор под управлением Александры Липкиной. Имелась при хоре и танцевальная группа. Той осенью концерты давались в городском саду на открытой эстраде. Репертуар был самым благонамеренным: военные марши в исполнении оркестра, русские хороводы и пляски, украинский гопак и, конечно, русские и украинские песни в исполнении хора. Нужно ли говорить, что после первого же концерта Наде захотелось повторить свою курскую попытку. Тем более что теперь она не одна и ей не так страшно, как при разговоре с директором цирка. Теперь заговорщиц двое: Надя и ее новая подруга, соседская городская девушка. У обеих превосходные голоса. Кого избрать? У одной из пришедших, с виду совсем деревенской девушки, поистине великолепный голос. Но она не знает даже нот, не говоря уж о чтении партитуры. Да и в грамоте, судя по всему, не много преуспела. Но голос — настоящее сокровище. Разве что рискнуть? Тем более что музыкальная память и слух у девушки выше всяких похвал: наигранную на пианино мелодию она повторила без единой ошибки.

В сущности, с этого дня и началась жизнь профессио-

нальной певицы Надежды Плевицкой. Да и ее новое концертное имя — Плевицкая, вскоре загремевшее по всей России, — было уже за ближайшим поворотом судьбы. После скорой смерти Александры Липкиной, руководительницы хора, труппа распалась, и Надя, уже познавшая соблазны разъездной концертной жизни, с поклонниками, мимолетными влюбленностями, прибивается к балетной труппе Штейна, выступавшей в киевском концертном зале «Шато-де-флёр». Здесь она и познакомилась со своим первым мужем Эдмондом Плевицким.

Концертная жизнь дореволюционной России, находившаяся по большей части в руках частных антрепренеров, описана в многочисленных мемуарах. В сущности, это была жизнь бродячая, с частой сменой мест, с неустроенностью провинциальных гостиниц, с неизбежными «покровителями», со столь же восторженной, сколь и малокультурной провинциальной публикой. Для многих актеров, актрис, певцов она кончалась трагически: в пьянстве, болезнях, нищете. Труппы постоянно распадались, заработки были непостоянными, нервы на пределе — дадут или не дадут ангажемент, получишь или не получишь хорошую роль. Многое зависело от отношений с антрепренером, а они складывались не без издержек. Плевицкая, оказавшаяся в водовороте концертной жизни начала века, многое повидала за те несколько лет, пока вначале с хором, потом с балетной труппой колесила по бескрайним дорогам юга России.

Всегда и при всех, часто самых невероятных, обстоятельствах ее спасал огромный певческий талант. Он открывал для нее сердца и души совсем незнакомых людей, становившихся ее почитателями и заступниками. Мы уже упоминали о том, что Дёжка не была красивой. У нее было широкое крестьянское лицо, тяжеловатое и широкоскулое; вероятно, в жилах ее предков текла немалая доля татарской крови. Хороши были глаза — по воспоминаниям знавших певицу, на редкость живые и выразительные. Но все сходилось в одном: как только Надежда Васильевна начинала петь, она точно бы преображалась, непригожесть пропадала, уступая место одухотворенности большого, дарованного Богом таланта. А талант Плевицкой открывался сразу, при первом же прослушивании, при первом концерте. И это притом, что она нигде и никогда не училась пению, если не считать уроков регентши монастырского хора.

Самородный талант привел Плевицкую в Петербург.

На первых порах она выступала в труппе Минкевича. Ничем особенным труппа не блистала и выступала главным образом по загородным ресторанам. Надежда Васильевна ходит в театры, слушает знаменитых певцов, старательно учится. У нее появляется соблазн стать оперной певицей. Голос для этого есть. И все-таки ее природный дар с особенной силой проявлялся в русских народных и цыганских песнях и романсах.

Руководитель труппы Минкевич, сам бывший оперный певец, хорошо понимал это. Понимал он и то, что для оперы нужен не только голосовой дар, но и певческая культура. И он настоятельно советует Плевицкой сохранить амплу исполнительницы народных песен. Надежда Васильевна следует этому мудрому совету. Слава молодой певицы ширится. Но успех пока не выходит за границы небольших концертных залов и известных ресторанов. Она поет в знаменитом московском «Яре», в Ялте, куда на лето съезжалась московская и петербургская знать, в Нижнем Новгороде — в известном ресторане Наумова. Осенью 1909 года Плевицкая подписывает с Наумовым контракт на концерты во время Нижегородской ярмарки. Здесь ее впервые услышал знаменитый русский тенор Леонид Собинов, певший в тот сезон в Нижегородской опере. Он впервые и вывел ее на большую сцену, пригласив участвовать в благотворительном концерте наряду с известнейшими русскими артистами.

Этой же осенью, приехав из Нижнего Новгорода в Москву, Надежда Плевицкая поет уже не в «Яре» у купца Судакова, а в Большом зале Московской консерватории, где ей аплодировали не подгулявшие купцы, а московская интеллигенция.

Особенность дарования Надежды Плевицкой состояла в том, что она умела пленять и простые сердца, и души людей, приобщенных к самой высокой культуре. Успех сопутствовал ей повсюду и вскоре привел ее в Царское Село.

Император слушал Плевицкую с глубоким вниманием, у него на глазах блестели слезы. Как и большинство русских той поры, Николай II любил и знал русскую песню. После концерта он подошел к певице.

— Спасибо вам, Надежда Васильевна, — сказал он. — Слушал вас с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Много я слышал ученых соловьев, но они пели для уха. Вы же, наш курский соловей, вы поете для сердца.

Встреча с царем и сказанные в ее адрес лестные слова впоследствии, в годы эмиграции, сослужили Плевицкой хорошую службу: об отзыве Николая II знал едва ли не каждый русский офицер, и «военная» эмиграция воспринимала певицу как символ великой, овеянной легендами, уходящей в прошлое императорской России. Тем более спасительным императорское благоволение оказалось для певицы, когда в стане белых армий юга России ей пришлось замаливать «грехи» короткого увлечения «красными»: концерты летом 1918 года в Курске перед бойцами Красной Армии, хвалебные рецензии в «Известиях Курского Совета», гастроль в занятой большевиками Одессе, недолгую любовь к «товарищу Шульге», погубившему, как свидетельствуют эмигрантские летописцы, не одну сотню белогвардейских душ.

Надежда Васильевна, похоже, была человеком влюбчивым, и после песни любовь занимала в ее жизни главное место. Вероятно, здесь сказывались и некий, не самого благого свойства, опыт, и привычки, обретенные в начальный период артистической карьеры.

Со временем, когда пришла слава, Плевицкая уже не могла обходиться без блестящего общества, преимущественно офицерского, к которому, похоже, чувствовала особую склонность.

Первая мировая война застаёт певицу в Швейцарии, где она отдыхала с В. А. Шангиным, поручиком Кирасирского Его Величества полка. Чтобы не разлучаться с возлюбленным, Плевицкая едет вслед за ним на фронт, добившись разрешения работать сиделкой в дивизионном лазарете. В январе 1915 года в тяжелых боях за Восточную Пруссию Шангин пал смертью храбрых.

Ее третьим мужем стал Юрий Левицкий, сын командира 73-й пехотной дивизии, в которой служил некогда и Шангин. А в июне 1921 года, уже в изгнании, в пыльном Галлиполи, где стояли временным лагерем выбитые из Крыма части армии Врангеля, состоялось еще одно — на этот раз тайное — обручение Плевицкой с 27-летним генерал-майором Николаем Владимировичем Скоблиным, командиром одной из известнейших в белой армии Корниловской дивизии. К этому времени самой Надежде Васильевне шел уже 37-й год. Эта встреча оказалась роковой в судьбе «курского соловья». Любовь к Скоблину в конце концов и привела ее на скамью подсудимых в парижском Дворце правосудия, а затем — к безымянной могиле в городе Ренне.

Жизнь на чужбине с самого начала обернулась непредвиденными осложнениями. Французское правительство отнюдь не спешило с бескорыстной помощью недавним союзникам. Французские уполномоченные по связи с остатками армии Врангеля всеми силами стремились к тому, чтобы распылить русские части по отдельным изолированным лагерям: слитые в единый кулак остатки белой армии представляли собой внушительную политическую силу. Французы же желали вести переговоры с представителями белого командования без всяких условий, как с армией, потерпевшей поражение.

Намерения Врангеля были иными: он понимал, что для сохранения политического веса в переговорах необходимы единство, дисциплина, моральная спайка. Но ни политических, ни материальных аргументов для противодействия плану французов у Врангеля не доставало. Выведенные им из России русские части были разбросаны по нескольким военным лагерям: в Чаталджи, Галлиполи, на Лемносе. Боевые корабли с экипажами были уведены под Андреевским флагом в Бизерту, французскую военноморскую базу в Тунисе. Самым крупным лагерем оказался Галлиполийский. Несмотря на то что в залог под материальное обеспечение русских частей были взяты корабли черноморской эскадры, представлявшие большую ценность*, питание в лагерях было более чем скудным. По причине постоянного недоедания в лагере свирепствовали болезни. Кроме того, никто не предполагал, что здесь, на юге Черного моря, на полуострове Галлиполи, зима окажется столь суровой. Жить же приходилось в неотапливаемых военных палатках, мало приспособленных для длительного квартирования. Обезоруженная и униженная армия жила памятью недавних боевых походов, боевого товарищества, надеждами на скорое падение большевиков и возвращение в Россию.

В Галлиполийском лагере жизнь текла медленно, уныло. После военных занятий единственным развлечением была полковая самодеятельность. Многие офицеры баловались стишками.

* Флагман Черноморской эскадры линкор «Император Александр III», позднее переименованный в «Генерала Алексева», считался вершиной мирового судостроения, был символом экономического и технического развития России.

Вот один из образчиков непритязательной «полковой поэзии»:

Наш полк, наш полк — заветное, чарующее слово
Для тех, кто смолоду и всей душой в строю.
Другим оно старо, для нас все так же ново
И знаменует нам и братство, и семью.

О Знамя ветхое, краса полка родного,
Ты бранной славой венчано в бою.
Чье сердце за твои лоскутья не готово
Все блага позабыть и жизнь отдать свою?..*

Странный, как показалось многим офицерам, брак между популярной певицей и бывшим на десять лет ее моложе боевым командиром приняли как один из капризов неприкаянного лагерного быта. Однако к Плевицкой относились благожелательно, с дворянской снисходительностью, тем более что певица не скупилась на концерты. Многие из галлиполийцев здесь и услышали ее впервые.

К лету 1921 года «галлиполийскому сиденику», пагубно влиявшему на моральное состояние белой армии, приходит конец. Переговоры Врангеля с правительствами Сербии и Болгарии увенчались успехом. Русских согласились принять.

Стояла осень. По ночам выпадал снег. Дувшие из Турции ветры рвали палатки. Продовольствия почти не оставалось. Последней из опустылевшего лагеря уходила Корниловская дивизия. 27 ноября тяжелый, неповоротливый турецкий пароход «Ак-Дениз» принял на борт остатки недавно грозной военной силы.

Хотя в Болгарии корниловцы были расквартированы в казармах болгарской гвардии в селе Горно-Паничерово, жизнь постепенно входила в гражданскую колею. Довольствие по-прежнему было скудным, и, чтобы прокормить себя (многие офицеры к тому же имели семьи), приходилось подыскивать заработок. Соглашались на любую работу. Военной дисциплины, собственно, уже не было. Летние болгарские казармы тоже были временным пристанищем, последним армейским общежитием. Это понимали все. Отсюда дороги уводили кого куда. Бывшие офицеры и солдаты превращались в рабочих. Многие уехали на шахты в Перник.

Чтобы сохранить хотя бы формальную связь с раз-

* Стихотворение «Наш полк» было написано великим князем Константином Константиновичем, инспектором военных училищ, и использовалось в качестве походного марша Виленским военным училищем.

бредавшимися по всей Европе русскими офицерами, генерал Врангель 1 сентября 1924 г. объявил о преобразовании армии в «Русский общевоинский союз». Членство в РОВС было добровольным. Но вошедшие в союз брали на себя обязательство подчиняться воинской дисциплине. Впрочем, понятие дисциплины было условным, тем более что никакого материального довольствия членство в РОВС не гарантировало: в гражданской жизни каждый был предоставлен самому себе, устраивались кто как мог.

Вскоре после этого генерал Скоблин из материальных соображений, не порывая с РОВС, с согласия начальства начинает сопровождать свою жену в зарубежные гастроли. В сущности, он становится ее антрепренером. На карте их гастролей — Берлин, Брюссель, Париж, потом турне по Америке. Помимо русских народных песен в репертуаре Плевицкой теперь известная всей эмиграции песня «Занесло тебя снегом, Россия». После того как ее спела Плевицкая, она стала как бы народной песней эмиграции. Ее пели с неизменной слезой чуть ли не на каждой эмигрантской вечеринке, в каждом русском кабаке.

Занесло тебя снегом, Россия,
Запуржило седую пургой,
И холодные ветры степные
Панихиды поют над тобой.

В 1926 году Сергей Рахманинов, ценивший пение Плевицкой и хорошо знавший ее, переложил для оркестра и хора несколько народных песен из ее репертуара. А годом раньше, в 1925 году, в Берлине вышла автобиографическая книжка Плевицкой «Дёжкин карагод», которую по ее устным рассказам литературно обработал эмигрантский писатель Иван Лукаш. Предисловие к книге написал Алексей Ремизов. Все расходы по изданию взял на себя Марк Яковлевич Эйтингон, известный в эмиграции богач, меценат и покровитель Плевицкой.

* * *

Среди белого офицерства, ушедшего вместе с армией Врангеля в изгнание, далеко не все были единодушны в оценке событий, происходивших в советской России, — по крайней мере на начальном этапе, когда демократические идеалы революции еще не были извращены сталинизмом. Бывшие генералы и офицеры, для которых интересы армии и русской воинской славы были превыше

всего, с интересом следили за возрождением и быстрым ростом новой армии. Собственно, они на себе почувствовали боеспособность красных штыков. Знали они и о том, что многие бывшие царские офицеры перешли на службу к новой власти и участвуют в военном строительстве. Из 1400 генералов и офицеров царского Генерального штаба 13 полных генералов, 30 генерал-лейтенантов, 113 генерал-майоров и 127 штаб- и обер-офицеров пошли на службу в Красную Армию². Сведения о красном терроре в первые годы революции военных трогали значительно меньше, чем эмигрантскую интеллигенцию. Генералы и офицеры бывшей Добровольческой армии были прекрасно осведомлены о том, что террор не был исключительной чертой большевистской власти, белый террор был того же происхождения. Масштабы того и другого может уточнить лишь серьезный исторический анализ. Кроме того, начавшийся в 1921 году нэп вселил как в гражданскую, так и в военную эмиграцию надежды на мирную и экономически здоровую эволюцию большевизма. Движение «сменовеховства» и признания новой власти затрагивает не только эмигрантскую интеллигенцию, но и военные круги. В 1922 году группа офицеров бывшего Генерального штаба основывает журнал «Война и мир», придерживавшийся «сменовеховской» ориентации. Редактором журнала стал генерал-лейтенант М. И. Тимонов. Затем его редактировал бывший профессор Николаевской академии генерал-лейтенант А. К. Кельчевский.

В 1924 году, в разгар нэпа, многие старшие офицеры и генералы выехали в советскую Россию. Отъезд этот произвел большое впечатление на белую эмиграцию. Уехавшие генералы были широко известны в военных кругах. А. К. Кельчевский в 1919—1920 годах служил начальником штаба Донской армии, Е. И. Достовалов был начальником штаба 1-го корпуса генерала Кутепова. Оставшимся в эмиграции руководителям РОВС пришлось немало потрудиться, чтобы по возможности дискредитировать в глазах эмигрантского офицерства этих боевых командиров и ослабить впечатление от их отъезда. Усиленно распространялись слухи о том, что движение «сменовеховства» дирижруется рукой ОГПУ. Раздавались предостережения, что советская разведка ведет активную работу среди эмиграции, вербуя своих агентов справа и слева.

Нужно сказать, что распространяемые высшими чинами РОВС такого рода слухи воспринимались в эмигрант-

ской среде с немалой долей доверия. Одной из причин того было бедственное материальное положение большинства эмигрантских семей. Многие из бывших офицеров годами не могли найти работу, перебиваясь на скудные благотворительные пожертвования. В таких стесненных материальных условиях, потеряв веру в своих вождей, заведших их на чужбину, нетрудно было склониться на любое предложение, откуда бы оно ни исходило.

Сам бывший главнокомандующий белыми армиями Юга России генерал Врангель, удостоверившись в беспочвенности надежд на реванш в борьбе с Красной Армией, все больше отходил от политической деятельности в РОВС. В сентябре 1924 года он издает свой знаменитый приказ № 82, запрещающий членам РОВС участие в политических организациях. В сущности, это была завуалированная форма призыва к бывшим сподвижникам перейти к нормальной гражданской жизни и расстаться с иллюзиями нового похода в Россию. Практически делами РОВС стал заниматься генерал Александр Павлович Кутепов, а после его похищения сотрудниками ОГПУ в 1930 году — генерал Е. К. Миллер.

С судьбой генерала Евгения Карловича Миллера, точнее сказать, с историей его внезапного исчезновения и связан трагический конец знаменитой русской певицы Надежды Плевицкой. Роковую роль в этой запутанной истории сыграл ее муж генерал Н. В. Скоблин.

* * *

Ко времени исчезновения из Парижа в 1937 году Евгению Карловичу Миллеру исполнилось 70 лет. Однако в этом почтенном возрасте он сохранял облик крепкого, кряжистого мужчины, не обремененного сколько-нибудь серьезными недугами. Одна из его последних фотографий являет нам человека, наделенного несомненными чертами мужественной красоты. Несмотря на фамилию и отчество, свидетельствующие о немецких предках, у генерала вполне русское лицо, я бы даже сказал, лицо русского интеллигента. Разве что в густых бровях и во взгляде видна некоторая суровость, говорящая о причастности к воинской службе. У него высокий лоб, мясистый крупный нос, довольно густая для его возраста шевелюра. Усы и борода с заметными, но не чрезмерными следами седины делают его несколько похожим на императора Николая II. Одевался он просто, скорее во вкусе штатских, нежели

военных: темный двубортный пиджак, скромный галстук. У генерала лицо умного и несколько усталого человека.

В начале века он в течение нескольких лет занимал пост русского военного атташе в Бельгии и Голландии, затем служил на том же поприще в Италии. Эти военно-дипломатические обязанности, вероятно, сказались на его манерах и облике. Он скорее походил на дипломата, нежели на военного службиста. Впрочем, выправки и стати даже и в 70 лет Евгению Карловичу было не занимать. Сказывалась школа. Помимо кадетского корпуса он окончил Николаевское кавалерийское училище и службу начинал в лейб-гвардии гусарском Его Величества полку. Позднее он прошел и через Николаевскую академию Генерального штаба. Первую мировую войну Е. К. Миллер начал начальником штаба 5-й армии под командованием генерала Плеве. Армия покрыла себя славой в Галиции, где нанесла австрийцам тяжелое поражение. Стратегический дар Миллера проявился и в Лодзинском сражении против немцев. Произведенный в чин генерал-лейтенанта, Миллер встретил 1917 год в должности командира 26-го армейского корпуса в 9-й армии генерала Лечицкого. Осенью 1917 года Е. К. Миллера, опытного военного дипломата, назначают представителем Ставки Верховного главнокомандующего при Итальянской главной квартире. Весть об октябрьском перевороте застала его в Италии.

Советской власти генерал Миллер не принял и при первой же возможности включился в активную борьбу против нее. В годы интервенции он занимал должность военного губернатора Северных областей при «правительстве Чайковского», а с января 1919 года стал «министром иностранных дел» при том же правительстве. В феврале и «северное правительство», и остатки белой армии были выбиты из Архангельска частями Красной Армии при помощи восставших рабочих и матросов.

В эмиграции генерал Миллер постоянно находится в поле зрения вождей изгнанных из советской России белых армий и политического руководства эмиграции. В апреле 1922 года генерал Врангель назначает его начальником своего штаба, а с середины следующего года Миллер фактически ведает всеми денежными средствами, переданными Врангелем в распоряжение великого князя Николая Николаевича.

В апреле 1926 года неожиданно, без видимых признаков заболевания, умирает генерал Врангель. В ряде эмигрантских источников муссировались слухи, что автори-

тетный, популярный в эмигрантских кругах вождь белого движения умер от искусственно привитой скоротечной чахотки. Проверить эти сведения едва ли возможно. Во всяком случае, и по свидетельствам близко знавших генерала, и по последним сохранившимся фотографиям Врангель незадолго до смерти выглядел вполне крепким человеком и не жаловался на здоровье.

Кончина Врангеля стала важным этапом в жизни военной эмиграции. Его личный авторитет, честность, воинские достоинства признавались всей эмиграцией. После его смерти начался длительный, затянувшийся до самого начала второй мировой войны кризис преемственности в «Русском общевоинском союзе» — период внутренних распрей и борьбы за влияние между его ближайшими сподвижниками.

В последние годы жизни Врангель смотрел на свое положение одного из эмигрантских вождей с присущими ему иронией и скепсисом. Перспектив у белого движения в свете растущих сил и организованности Красной Армии, о формировании которой он был прекрасно осведомлен, Врангель не видел и в 1926 году расформировал свой штаб, находившийся в Сербии, в Сремских Карловцах. Оставаясь официально вождем белого движения, он, по сути дела, сложил с себя эти бессмысленные, с его точки зрения, обязанности. Переехав из Югославии в Бельгию, бывший правитель Юга России поступил на службу горным инженером и, в сущности, стал гражданским, лишь изредка наезжая в Париж по делам созданного им «Русского общевоинского союза».

Деятельности боевых организаций РОВС, возглавляемых генералом Кутеповым, и засылке террористов в Россию он не сочувствовал, полагая эти действия малоэффективными, бесполезными и даже вредными. На почве этих разногласий отношения Врангеля со своим будущим преемником были натянутыми и даже неприязненными.

По поводу террористической и подрывной деятельности в России, направляемой генералом Кутеповым, Врангель писал своему другу генералу И. Г. Барбовичу: «Разгром ряда организаций в России и появившиеся на страницах зарубежной русской печати разоблачения известного провокатора Опперпута — Стауница — Касаткина вскрывают в полной мере весь крах трехлетней работы А. П. Кутепова»³.

В другом письме тому же адресату барон Врангель высказывается еще резче: «...С А. П. Кутеповым я гово-

рил совершенно откровенно, высказав ему свое мнение, что он преувеличил свои силы, взялся за дело, к которому не подготовлен, и указал, что нравственный долг его, после обнаружившегося краха* его трехлетней работы, от этого дела отойти. Однако едва ли он это сделает. Ведь это было бы открытое признание своей несостоятельности. Для того, чтобы на это решиться, надо быть человеком исключительной честности и гражданского мужества»⁴.

К сожалению, генерал Кутепов не внял умному совету Врангеля, и его скрытая деятельность в рамках РОВС приобрела еще более опасный и провокационный характер. Террористические склонности Кутепова привели к ненужным и неоправданным жертвам со стороны эмигрантских офицеров, питавших иллюзорные надежды. Все это в конечном счете оказалось на руку Сталину, который использовал террористическую деятельность правого крыла РОВС для нагнетания в стране атмосферы шпиономании, для оправдания собственного террора против советских людей.

Реальные «подвиги» засылаемых в Россию боевиков были скорее мифом. В июне 1927 года тройка Ларионова, Мономахова и Соловьева бросила гранату в лекционном зале Центрального партклуба на Мойке в Ленинграде. В клубе в это время шло собрание философской секции на тему «Американский неореализм». Присутствовали преподаватели Зиновьевского университета, слушатели Института красной профессуры, было много беспартийных. Никого из видных деятелей партии и государства в зале не было. Тем не менее террористы решили действовать. В результате взрыва ручной гранаты было ранено 26 ни в чем не повинных людей, из них 14 тяжело. Террористам удалось скрыться и уйти через финляндскую границу.

Неудачной оказалась и попытка устроить в 1928 году покушение на Бухарина или Крыленко. Строго говоря, и попытки не было, ибо, убедившись, что все видные деятели государства и партии тщательно охраняются, боевики от своих намерений отказались. Не удалось им проникнуть и на Белорусский вокзал во время приезда Максима Горького в Москву, где они надеялись подстеречь Бухарина (Бухарин действительно находился среди встречающих). Охрана вокзала была серьезной, и на перрон пу-
скали только по пропускам.

* Речь в письме идет о катастрофических последствиях для боевых организаций Кутепова в советской России успешно проведенной чекистами операции «Трест».

Большинство боевых групп, проникавших на территорию СССР («тройки» и «пятерки»), обезвреживались ОГПУ. В сентябре 1927 года над взятыми в плен боевиками генерала Кутепова был устроен показательный суд. Один из участников боевой «тройки» мичман императорского флота Николай Строевой, не раз ходивший с секретными миссиями в СССР, на суде сам говорил о бесцельности террора: «Считаю эти акты, направленные против отдельных лиц, не достигающими цели и даже, наоборот, вредящими, потому что каждое террористическое действие вызывает известные репрессии властей и эти репрессии плохо влияют на население. Следовательно, террористические акты терроризируют не власть, а население, то есть результат получается обратный тому, какого мы хотим...»⁵.

Ликвидация одной за другой нескольких засланных Кутеповым боевых групп, фактически смертников, со всей очевидностью свидетельствовала о провале попыток достичь целей белого движения средствами террора. То, что не удалось армиям, едва ли было под силу нескольким экзальтированным, попавшим под влияние монархических зарубежных организаций молодым людям.

Трудно поверить, чтобы такой опытный в делах контрразведки человек, как генерал Кутепов, не понимал тщетности попыток изменить средствами террора ход событий в СССР. Тем более что и здравомыслящие деятели РОВС, и политические лидеры эмиграции предупреждали, в том числе и в эмигрантской прессе, об опасности и вредности террора. Говорил об этом Кутепову и генерал Врангель. Думаю, есть достаточно оснований утверждать, что и сам Кутепов понимал бессмысленность террора против окрестной власти. Террор поддерживался в целях, весьма далеких от чаяний подавляющего числа эмигрантов. Для Кутепова и генералов из правого крыла РОВС организация террористических акций на территории СССР была, в сущности, единственной возможностью поддерживать иллюзию своей необходимости. Для того чтобы держать в подчинении членов РОВС, была нужна видимость активной деятельности, видимость результатов. Террор был, в сущности, одним из способов борьбы за власть в РОВС. Вся идеология РОВС зиждилась на прославлении «смельчаков», уходивших «на подвиг в Россию». Это была идеология отчаяния.

Кутепов понимал, что взрыв гранаты на Мойке, раздутый до размеров подвига правой эмигрантской прессой,

как бы придавал «юридическую силу» его роли одного из лидеров русского зарубежья. Без этого офицерского «фольклора» Кутепов превратился бы в рядового эмигрантского обывателя, каких были тысячи. Выбор был: остаться на посту руководителя РОВС со всеми вытекающими из этого положения материальными и престижными последствиями либо сделаться, как сотни полковников и генералов, шофером такси, брадобреем, рабочим или даже священником.

В 1927 году, после провала сразу нескольких посланных в Россию боевых групп, Кутепов и в самом деле помышлял о том, чтобы поступить рабочим в столярную мастерскую (для работы инженером, как Врангель, у него не было необходимого образования). Кутепов выбрал другой путь, всячески поддерживая идею террора. Идея эта, то затухая, то возгораясь под влиянием происходящих в России событий (насильственная коллективизация крестьян вызвала новую вспышку антибольшевистских настроений), просуществовала до середины 30-х годов.

Весь 1930 год прошел в эмиграции в толках и пересудах об исчезновении Кутепова. Эмигрантские газеты с возмущением писали о «разбое ОГПУ», пытались привлечь французское общественное мнение к этому делу. И действительно по поводу слухов о похищении генерала делались запросы в парламенте. Обе крупнейшие ежедневные газеты русской эмиграции в Париже — «Последние новости» и «Возрождение» ежедневно помещали репортажи о ходе расследования, печатали свидетельства очевидцев. «Возрождение», отражавшее мнения правого крыла эмиграции, требовало, чтобы французские власти произвели обыски в советском посольстве на улице Гренель. В первые недели скандала эмоции достигли такого накала, что на собраниях РОВС сторонники решительных действий звали идти громить советские официальные учреждения во Франции. В Национальном собрании депутаты правых партий требовали разрыва дипломатических отношений с СССР. Газета «Эко де Пари», обращаясь к тогдашнему премьеру, писала, что интересы и честь страны требуют от Тардье, чтобы он порвал с советской властью.

Власти проявляли сдержанность. Проведенное следствие прямых улик против советских сотрудников во Франции не собрало. Полиция оказалась в тупике. Умеренные французские комментаторы ставили под сомнение саму

идею причастности советской разведки к похищению Кутепова. Советская Россия, полагали они, настолько заинтересована в сохранении дипломатических отношений с Францией, что едва ли пойдет на столь рискованный шаг, как похищение человека с территории суверенного государства. Исчезновение Кутепова обрастало невероятными слухами, выдвигались самые дикие версии. Один из «следов» вел в Берлин, другие — в Южную Америку.

Русские газетчики осаждали Фо-Па-Биде, комиссара по особым делам префектуры полиции, с требованиями дополнительных сведений. Комиссар предпочитал отмалчиваться. Двадцать пять лет спустя после событий 1930 года эмигрантский писатель и журналист Андрей Седых, бывший в период исчезновения Кутепова репортером в парижских «Последних новостях», писал в нью-йоркском «Новом русском слове»: «Я убежден, что Фо-Па-Биде знал с самого начала все имена похитителей и тех, кто несет ответственность за это преступление. Один из них, принимавший участие в похищении, сейчас мирно живет в Соединенных Штатах под чужим именем».

Пытался вести собственное следствие и В. Л. Бурцев*, считавший себя крупнейшим знатоком в делах советской разведки и ее борьбы против эмиграции. Обретший громкую славу разоблачением Азефа, оказавшегося агентом царской охранки в среде социалистов-революционеров, он пользовался в эмиграции большим авторитетом. Будучи убежденным противником большевизма, Бурцев верил в существование «московского следа». Однако чутье прирожденного следователя не помогло ему раскрыть правду. Версии, высказываемые Бурцевым, отвергались самой же эмигрантской прессой.

В чем сходились все — и левые, и правые — это в понимании, что подобная акция не могла быть проведена без помощи «изнутри». Кто бы ни был похитителем или «заказчиком» похищения, к непосредственному исполнению были причастны люди из «Русского общевоинского союза». Взаимным обвинениям и подозрениям не было числа. Газета «Возрождение» называла среди соучастников полковника Дьяконова и генерала Карганова. Возмущенные чины РОВС подали на газету в суд и выиграли процесс. На поверку оказалось, что у газеты нет никаких

* Бурцев В. Л. — один из известнейших российских, а затем эмигрантских журналистов. До революции был сотрудником газеты «Русские ведомости».

документов, а лишь «свидетельства», не поддающиеся проверке.

Все эти дни, пока длилось следствие, Лидию Давыдовну Кутепову, жену исчезнувшего генерала, посещала Надежда Плевацкая. Сочувствовала, успокаивала, расспрашивала о ходе расследования. Эмиграция восхищалась отзывчивостью прославленной певицы к чужому горю. Вспоминали и о том, что исчезнувший генерал был посажёным отцом на свадьбе Плевацкой и генерала Скоблина. Никто не мог предположить, что у чуткости Надежды Васильевны могли быть и иные мотивы.

В обстановке тревог и подозрений, вызванных исчезновением генерала Кутепова, вступал в должность руководителя РОВС генерал Миллер. Не блестящим оказалось и финансовое положение союза, особенно после финансового краха шведского «спичечного короля» Ивара Крегера, на счетах которого находились деньги «Русского общевойскового союза». Шведский «спичечный магнат» оказался ловким международным аферистом. После раскрытия огромного мошенничества 12 марта 1932 г. он застрелился в своей роскошной парижской квартире. Многие русские эмигранты, доверившиеся Крегеру, были разорены. Но большее всего крах «спичечного короля» ударил по РОВС: организация русских военных потеряла 7 млн. франков — в сущности все свои средства. Этот удар был посильнее исчезновения генерала Кутепова.

Серия скандалов отрицательно сказалась и на отношении к РОВС со стороны французских властей и иностранных генеральных штабов. Не было денег, не было энтузиазма, не было поддержки. В этих условиях генерал Миллер вынужден был думать не столько о боевой деятельности, сколько о предотвращении полного развала организации. Активисты РОВС между тем по-прежнему требовали бессмысленных, по мнению Миллера, новых «подвигов». Вся энергия генерала уходила теперь на то, чтобы лавировать между теми, кто звал в бой, и теми, кто склонялся к роспуску РОВС. Решительности Миллеру не прибавило и то, что, в отличие от прежних вождей белого движения — Врангеля и Кутепова, он был мало известен офицерским массам южных армий, которые в эмиграции составляли большинство. Напомним, что борьбу с красными генерал Миллер вел на Северном фронте, в районе Архангельска.

Тем не менее после исчезновения генерала Кутепова активная антисоветская политика РОВС фактически была сведена на нет. Прежде всего прекратилась засылка боевиков в Россию. Деятельность союза все больше сводилась к сбору разведывательных данных, к поддержанию видимости существования. Внутри РОВС пыльным цветом расцвели интриги, борьба за влияние.

Внешне жизнь членов РОВС шла так же, как и жизнь большинства русских эмигрантов. Львиную долю времени занимали заботы о хлебе насущном, тем более что экономическая обстановка во Франции в начале 30-х годов складывалась крайне неблагоприятно. Безработица была велика даже среди французов. Русские соглашались на любую работу. Многие из военных помоложе вынуждены были завербоваться во французские колониальные войска. Оставшиеся во Франции по мере возможности старались сохранить подобие общественной жизни. Устраивались «полковые» собрания с буфетом, совместные праздники, юбилеи «великих дат» белого движения, поминовения погибших или умерших вождей. Подобно гражданской эмиграции, члены РОВС организовывали вечера отдыха, лекции с преобладанием «военно-патриотической» тематики. Но на фоне культурной жизни эмигрантской интеллигенции все выглядело уныло: эмигрантская молодежь сторонилась РОВС, и собрания союза все больше напоминали встречи «ветеранов».

В то время как эмигрантская интеллигенция, уже давно понявшая тщетность надежд на «военное решение», занялась культурной работой, проблемами преемственности культуры, осуществляла важную воспитательную миссию, военные, в сущности, оставались не у дел. Вырванные из привычной среды, в эмиграции они оказались совершенно дезориентированными. У большинства офицеров не было ни навыков гражданской службы, ни вкуса к просветительской работе. Привыкшие к строгой военной дисциплине, к регламенту, они труднее всего приживались в эмиграции. Эмигрантские свободы и вольности им были не нужны. Не случайно именно в среде военных шире всего были распространены пьянство, драки, сведение мелких счетов. Их военные знания были неприменимы ни во французской, ни в русской среде. В отличие от эмигрантской интеллигенции, которая оставила после себя заметный след, деятели РОВС, кроме нескольких кровавых дел, серии скандалов и интриг, ничем себя не прославили. И в этом была трагедия русской военной эмиграции.

Весть об исчезновении генерала Миллера 22 сентября 1937 г. была воспринята эмиграцией с недоумением. За чем, кому понадобился этот переступивший порог семидесятилетия и фактически бездействовавший глава РОВС?

Если в версии о причастности советской контрразведки к исчезновению генерала Кутепова была определенная логика: пусть и в ограниченном числе, но боевики РОВС все-таки запускались в советскую Россию и борьба с ними была частью борьбы за обеспечение безопасности, — то при генерале Миллере военная работа в РОВС была фактически свернута. Кому помешал престарелый русский генерал, к тому же сторонник умеренности и осмотрительности?

Чем больше вчитываешься и вдумываешься в обстоятельства похищения генерала, тем больше осознаешь, что понять истинные причины этой политической загадки невозможно без того, чтобы не расположить это событие в цепи других событий той поры.

Хочу оговориться: документы, факты, свидетельства, которыми я обладаю, не дают полного основания для безапелляционных выводов. Многие из архивов, которые могли бы пролить свет на факты, до сих пор закрыты. Кроме того, история, особенно секретная, нередко становилась объектом столь тонкой фальсификации, что бывает трудно отличить подлинный документ от подделки, действительное событие от преднамеренной дезинформации. История русской эмиграции, особенно когда она входила в соприкосновение с историей советской России, полна страниц, где неправда соседствует с правдой и ложь нередко выглядит реальнее истины.

Исходя из такого понимания, я не имею намерения вынести окончательный «вердикт». Моя задача много скромнее: рассказать читателям о том, как запутанный клубок противоречий, кульминацией которого в 1937 году было исчезновение генерала Миллера, воспринимался, судился и интерпретировался русской эмиграцией. Тем более что она отчасти вольно, а отчасти в силу манипуляций секретных служб была тесно вовлечена в эти бесовские игры.

Одним из «белых пятен» «советско-эмигрантской» истории является поездка маршала Тухачевского в Западную Европу, ставшая как бы преддверием к расправе над ним Сталина. Имеются свидетельства того, что активным участником заманивания советского маршала в расстав-

ленную для него ловушку был генерал Николай Владимирович Скоблин, один из главарей РОВС, муж «курского соловья» — Надежды Васильевны Плевицкой.

Согласно одной из версий «дела Тухачевского», операция была задумана контрразведкой Гитлера с целью нанести удар по руководящему ядру Красной Армии и подозрительность Сталина умело использовалась контрразведкой Гитлера.

Некоторые «технические детали» этой операции уже сделались достоянием гласности. В апреле 1937 года в подвальном помещении на Принц-Альбрехтштрассе в Берлине под руководством генерала СС Германа Беренса гестапо оборудовало секретную лабораторию для подготовки и изготовления фальшивой переписки Тухачевского с немецкими военными якобы с целью заговора против Сталина. Были сфабрикованы письма, документы, расписки в получении денег от немецкой разведки за предоставленные ей разведданные. Фальшивые документы несли на себе все необходимые в таких случаях «стигматы веры»: печати, пометки, росписи, грифы и штампы. Подделали даже пометки на полях немецких генералов фон Зекта, Гаммерштейна и руководителя абвера (германской разведки) адмирала Канариса.

О существовании папки с компрометирующими Тухачевского документами через президента Чехословакии Бенеша, оказавшегося невольным соучастником этой сложной игры, было доведено до сведения Сталина.

Между тем в обширной эмигрантской литературе, среди которой имеется ряд исследований по «делу Тухачевского», есть свидетельства, что инициатива компрометации вождей Красной Армии, и прежде всего маршала Тухачевского, исходила не от германской контрразведки, а от самого Сталина и что Гитлер лишь с готовностью воспользовался подброшенной ему идеей. Таким образом, на самом вершине тайной политики интересы Гитлера и Сталина, во всяком случае, в деле маршала Тухачевского сомкнулись. Сталину важно было избавиться от сильного и популярного соперника, Гитлеру — от блестящей плеяды молодых советских полководцев. Интересы двух диктаторов переплелись. В проигрыше оказалась советская Россия, лишившаяся накануне войны своих лучших военачальников.

В исследованиях эмигрантских историков прямо указывается на посредничество в этом сговоре Николая Владимировича Скоблина, бывшего, по ряду свидетельств, двой-

ным агентом, работавшим одновременно и на гестапо, и на НКВД. Именно через него до Гитлера была доведена первичная информация НКВД о якобы готовящемся заговоре генералов против Сталина. Гитлер «понял намек» и после недолгих колебаний дал распоряжение вступить в игру.

Оценивая эти свидетельства, вместе с тем нужно помнить, что во время суда над Надеждой Плевицкой, обвиненной в соучастии в похищении генерала Миллера (подробнее об этом рассказывается ниже), так и не было предоставлено ни одного документального свидетельства, которое подтверждало бы сотрудничество генерала Скоблина с советской разведкой. Обвинения носили исключительно косвенный характер. При отсутствии доступа к советским и германским архивам секретных служб нет возможности с полной уверенностью сказать, кто был чьим объектом манипуляции, кто на кого работал. Моя задача состоит не в отыскании истины, а в том, чтобы рассказать об одной из драматических страниц жизни русской эмиграции.

Как только в эмигрантской прессе замелькало имя Тухачевского, здесь сразу же вспомнили, что герой гражданской войны, усмиритель восстания в Кронштадте и «антоновщины» начинал свою военную карьеру подпоручиком лейб-гвардии Семеновского полка. Многие семеновцы, оказавшиеся в изгнании, склонны были видеть в красном маршале человека своей среды и приписывали ему свои собственные помыслы.

Фактом является то, что Тухачевский действительно останавливался на несколько дней в Париже по пути на похороны Георга V и при возвращении из Англии. Поль Пайоль, работавший в то время в германском отделе французской контрразведки при Генеральном штабе французской армии, пишет в своих воспоминаниях⁶ о том, что приглашения на прием в советское посольство в честь Тухачевского получили несколько французских «друзей» маршала, бывших вместе с ним в германском плену в 1915—1916 годах. Среди присутствовавших на приеме на улице Гренель был и полковник Робьен, один из ответственных сотрудников германского отдела французской контрразведки, брат бывшего посла Франции в России. Полковник Робьен имел беседу с Тухачевским, в ходе которой маршал интересовался делами русской эмиграции,

в частности ее связями с германскими спецслужбами. По свидетельству полковника Робьена, в разговоре было упомянуто и имя генерала Скоблина в связи с его контактами с германской разведкой.

Однако воспоминания Поля Пайоля были опубликованы лишь после второй мировой войны и никак не могли служить источником слухов по поводу возможных контактов Тухачевского с эмиграцией. Можно ли верить брату Николая Скоблина Сергею, который в подтверждение слухов рассказывал о слышанном им разговоре между Скоблиным и Плевичкой? В разговоре упоминалось о тайной встрече, якобы имевшей место между Тухачевским и генералом Скоблиным на частной квартире на авеню Сегюр. Реальность этой встречи труднопроверяема. Едва ли она могла состояться. Ведь Тухачевский не мог не знать, что эмигрантские круги были наводнены всякого рода агентами, в том числе советской разведки. И вряд ли опытный военачальник, знакомый с методами контрразведки, стал бы рисковать нарваться на провокатора.

Напротив, если принять за версию, что Скоблин работал на сталинский НКВД, то все становится более понятным: распространение слухов о мифической встрече было способом компрометации маршала, подготовкой к будущему обвинению его в связях с иностранными шпионами. Такой версии придерживается, в частности, и Вальтер Кривицкий. В своих воспоминаниях⁷ он пишет: «...Таким образом, Скоблин был центральной фигурой в заговоре ГПУ против Тухачевского и других генералов Красной Армии. В этой трагической макиавеллиевской манипуляции он играл тройную роль: в качестве приближенного к кругу Гучкова он был германским агентом; в лице советника генерала Миллера он контролировал монархическое крыло эмиграции; и все это в полном согласии со своим третьим и главным работодателем — ГПУ»⁸.

Понимание причин похищения генерала Миллера, какой бы из заинтересованных сторон эта акция ни была осуществлена, затрудняется необыкновенной сложностью политической обстановки в Западной Европе в тот период. Запутаннейший клубок интересов, интриг, тайной деятельности разведок сплелся вокруг гражданской войны в Испании.

Советские читатели, как правило, знают лишь о героических страницах этой эпопеи. Наше восприятие граж-

данской войны в Испании формировалось под влиянием репортажей Михаила Кольцова, книг Ильи Эренбурга, романов Эрнеста Хемингуэя. В них ярко передана романтическая атмосфера тех дней. Огромное эмоциональное воздействие на советского человека оказал прием испанских беженцев и особенно детей испанских антифранкистов в Советском Союзе.

Менее известны дальнейшие судьбы этих детей и самих испанских патриотов, выехавших в СССР. Многие из этих судеб сложились неоднозначно. Сталинский репрессивный режим простер свои черные крылья и над «испанской колонией» в Советском Союзе. Мало известны и тайные страницы испанской войны. Европейские правительства, безусловно, понимали, что война между франкистами и республиканцами является не просто гражданской войной. Эта война в значительной мере была пробой сил европейского фашизма и в этом качестве — преддверием и «репетицией» второй мировой войны. Иностранные разведки всех европейских стран пристально следили за развитием событий в Испании. Среди как франкистов, так и республиканцев были и «добровольцы» от спецслужб. Поля и небеса Испании стали испытательным полигоном для новейших образцов оружия. Вспомним, что город Гернику, трагедию которого запечатлел в своем всемирно известном полотне Пабло Пикассо, бомбили немецкие «хейнкели» новейшего образца.

История гражданской войны в Испании помимо свидетельств мужества, героизма, интернационального братства содержит и черные строки, вписанные подручными Сталина. Многие из советских добровольцев, возвращаясь в Москву, попадали в застенки и гибли не от пуль фалангистов, а от выстрела в затылок в подвалах НКВД. Такова судьба Михаила Кольцова.

Известный советский писатель Валентин Петрович Катаев рассказывал мне, что такая же судьба грозила и Илье Эренбургу. В то время как Эренбург находился в Испании, ведя репортажи из лагеря республиканцев, у него неожиданно отобрали дачу в Переделкине. Когда у Александра Фадеева поинтересовались, чем это вызвано, глава Союза писателей цинично прокомментировал: по возвращении из Испании она ему больше не понадобится.

Удивляться, впрочем, нечему. События в Испании шли бок о бок с трагическими событиями в Москве. Гражданская война между республиканцами и фалангистами вспыхнула в июне 1936 года. А в августе этого же

года в Москве Сталин добывает последних из «славной когорты»: начинается суд над Зиновьевым и Каменевым. В качестве вины им вменяется, в частности, намерение ликвидировать «величайшего гения всех времен и народов» Иосифа Виссарионовича Сталина. Уже по заведенному ритуалу «врагов народа» обвиняют в связях с империалистами, иностранными шпионами и вредителями. В стране нагнетается атмосфера заговоров и шпиономании. Для оправдания террора нужно время от времени «предъявлять» врагов, и их ищут повсюду, в том числе и в Испании, и в среде русской эмиграции.

Есть и еще одна малоисследованная причина пристального внимания Сталина и НКВД к «испанцам». Дело в том, что интернационалистские чувства были не единственным побуждением советских людей, просившихся в Испанию. Имеются свидетельства и того, что многие ехали под пули франкистов, фактически спасаясь от удавки НКВД. Бежали под пули от душной атмосферы всеобщей подозрительности, шельмования, от опасности быть увезенным в одну из ночей в «воронке» и не вернуться. Геройская смерть в рядах республиканцев была предпочтительнее анонимной смерти в сталинском ГУЛАГе. Но и в Испании их настигала рука ежовских исполнителей⁹.

Подозрительность Сталина в отношении республиканцев имела свои политические основания. Дело в том, что в рядах бойцов интернациональных бригад собралось много революционеров-интернационалистов. В Испанию стекались оказавшиеся за рубежом троцкисты, анархисты.

Озабоченный исключительно своей властью и уничтожением политических оппонентов, Сталин думает не столько о помощи республиканцам, сколько о выявлении троцкистов в рядах испанских добровольцев. Деятельность НКВД в Испании в значительной мере ориентировалась на эту «сверхзадачу». Террор, развязанный Сталиным против своих противников в Москве, продолжался и в Испании.

Одной из баз, с которой действовали сталинские опричники в Испании, становится Париж, где наличие большой и разномастной русской эмиграции служило прекрасной почвой для создания сети секретных агентов. Немало их оказалось и в верхушке РОВС, который, по мнению ряда исследователей, фактически контролировался НКВД¹⁰.

В советской печати уже появляются свидетельства

о деятельности НКВД в среде русской эмиграции¹¹. В частности, упоминалось имя Сергея Эфрона, мужа русского поэта Марины Цветаевой. Активный деятель «возвращенческого движения», Сергей Эфрон в период испанской войны был причастен к переправке секретных сотрудников НКВД в Испанию. Дело в том, что патриотически настроенный «Союз возвращения на родину» рекрутировал бойцов и для интернациональных бригад республиканцев. Многие эмигранты, мечтавшие вернуться в Россию, смотрели на участие в испанской войне на стороне республиканцев, поддерживаемых советским правительством, как на своего рода «выкуп», дающий право получить билет в Москву. Советские официальные органы в Париже, не давая официальных заверений, тем не менее стимулировали подобные настроения.

Имелись среди эмигрантов и такие, которые предпочитали занять в испанской войне правый фланг. Испанская война стала для эмиграции как бы еще одним рубежом размежевания.

Участие русских белых офицеров (надо подчеркнуть — очень ограниченное) на стороне фалангистов, на наш взгляд, имело скорее психологические, нежели политические мотивировки. В отличие от идей Гитлера, получивших достаточную известность посредством книги «Майн кампф», идеология франкизма, по сути дела, не была широко известна в Европе. И уж менее всего о ней знали в среде русской эмиграции. Офицерская эмиграция, в значительной части своей настроенная промонархистски, не питала больших симпатий к диктаторским наклонностям Франко. На поля воюющей Испании влекло другое.

Стремившиеся попасть в Испанию являлись боевыми офицерами, прошедшими фронты первой мировой и гражданской войн в России. Война была их «специальностью», в сущности, образом жизни. Большинство добровольцев белой армии Врангеля, за исключением узкого круга артиллерийских и морских офицеров, не имели специальности, которую можно было бы в эмиграции приспособить к гражданскому быту. Они труднее всех проходили адаптацию на чужбине, больше других мыкались без работы. Офицерство было психологически наиболее дестабилизированной частью эмиграции. Оно же более всего страдало, в силу понятий о чести, достоинстве, из-за своего, в сущности, положения отверженных в гражданском европейском обществе.

Сводки с фронтов гражданской войны в Испании,

которыми с лета 1936 года запестрела французская пресса, заставляли быстрее биться многие эмигрантские сердца. Слишком много было в душе воспоминаний о гражданской войне в России, чтобы воспринимать вести из Испании с холодной отстраненностью. Часть офицеров углядела в испанской войне возможность вновь обрести привычный жизненный уклад, войти в привычную среду, где они были бы не статистами в генеральских играх «Русского общевойскового союза», а активными участниками.

Разумеется, в среде эмигрантов и руководителей РОВС были и такие, которые увидели в фашизме новую форму борьбы с ненавистным им большевизмом. Число их, впрочем, было незначительным, даже и в генеральских кругах РОВС. Правое крыло эмиграции, несмотря на неприятие большевизма, довольно быстро разобралось в политических намерениях германского фашизма. Гитлера менее всего интересовало искоренение идеологии сталинизма, в которой он не мог не увидеть целого ряда коренных, родственных свойств. Гитлер мечтал о «жизненном пространстве» для «великой Германии» и дешевой рабочей силе. Отношение эмиграции, даже ее крайне правого крыла, к Гитлеру было более чем сдержанным. Большая часть эмиграции, особенно после нападения гитлеровской Германии на СССР, сердцем и душой встала на сторону России.

Однако в 1936 году, за три года до начала второй мировой войны, обстановка в Европе для русских эмигрантов еще не представлялась столь очевидной, как в 1941-м. Но уже и в это время генерал Миллер, учитывая ряд факторов — и то, что Франция была союзницей России в первой мировой войне, и то, что французское правительство предоставило эмигрантам убежище, — был настроен скорее профранцузски.

Обстановка гражданской войны в Испании, предчувствие общеевропейских военных катаклизмов обострили борьбу за влияние в эмиграции, и прежде всего в РОВС. Но профранцузские, прогерманские или профранкистские симпатии чаще всего служили лишь идеологическим прикрытием для борьбы личных интересов и амбиций.

В 1935 году на этой почве в РОВС обозначились серьезные трещины, грозившие полным развалом. 23 февраля в Париже произошло событие, получившее на стра-

ницах эмигрантской прессы название «бунта генералов». Причиной бунта послужила пассивность генерала Миллера. Во главе бескровного путча стояли 13 старших чинов РОВС, в том числе генералы Туркул, Фок и известный уже нам Скоблин — муж Надежды Плевацкой. В предъявленном Миллеру ультиматуме генералы, возмущенные бездеятельностью РОВС и его главы, требовали превращения «Русского общевоинского союза» в политический центр зарубежья. Как выяснилось из источников, ставших известными эмиграции уже после войны, генерал Скоблин играл в этом заговоре двойную роль: он был и составителем ультиматума; и он же докладывал Миллеру о всех шагах заговорщиков. Теперь, когда все более проясняется связь генерала Скоблина с НКВД, можно сказать, что роль его была тройной.

Миллер, находившийся, как упоминалось выше, в определенной изоляции, оценил «лояльность» генерала Скоблина достаточно высоко. «Бунт генералов», фактически спровоцированный Скоблиным, еще более повысил доверие к нему престарелого главы РОВС.

Таким образом, русская военная эмиграция накануне второй мировой войны представляла собой запутанный клубок противоречий, разобраться в которых трудно до сих пор. Но бесспорен факт, что те или иные подразделения РОВС использовались разведками всех европейских стран, начиная с советской и кончая бельгийской. Миллеру, начинавшему карьеру на военно-дипломатическом поприще, приходилось использовать все свое политическое мастерство и опыт, чтобы удерживать союз от распада. Начавшаяся в 1936 году испанская война, давшая выход энергии «активистов», несколько приглушила внутренние противоречия. Престарелый генерал и дипломат остался у руля тонущего корабля. Но, как оказалось, ненадолго.

Миллер не являлся сторонником отправки русских добровольцев в Испанию, придерживаясь мнения, что в роковые моменты эмиграции, как гражданской, так и военной, следует держаться в стороне от «большой драки». Но открыто сопротивляться давлению «активистов» он не мог. Приходилось лавировать, хитрить, тянуть время. Тем не менее его вынудили провести консультации с высшими чинами РОВС по этому вопросу. Была установлена и связь с франкистскими представителями. В штабе Франко предложение о посылке добровольцев-эмигрантов

восприняли без энтузиазма. Тем более что представители РОВС не могли назвать даже примерное число возможных волонтеров. Имелись и политические сложности.

Общественное мнение Франции оказалось на стороне республиканцев. В Париже собирали деньги на покупку снаряжения для них. В рядах интернациональных бригад сражалось много французов. В Париже, Марселе, Лионе проходили массовые митинги в поддержку республиканцев. Активную антифранкистскую позицию заняла французская интеллигенция.

Правительство Леона Блюма, морально поддерживая республиканцев, от непосредственной помощи уклонялось, объявив о политике невмешательства. Тем не менее благодаря активной гражданской позиции виднейших представителей французской интеллигенции — Р. Роллана, Ф. Жوليو-Кюри, А. Мальро и многих других — во Франции для республиканцев было собрано более 100 млн. франков. В Испании уехали 8,5 тыс. французских добровольцев, вставших в ряды интернациональных бригад. Три тысячи из них погибли в боях¹². В такой моральной обстановке руководству РОВС было бы немислимо открыто объявить о посылке русских офицеров к Франко. Это значило бы окончательно погубить себя в глазах французского общественного мнения, которое и без того скептически относилось к деятельности правой эмиграции. Таким образом, действовать приходилось тайно.

И вновь активную роль в этом деле играет генерал Скоблин. На правах бывшего командующего одним из корниловских полков он контролировал своих бывших подчиненных, офицеров-корниловцев. Как только стала проявляться возможность посылки добровольцев в армию Франко, Скоблин тотчас же предложил свои услуги — «дать своих корниловцев». В сущности, Скоблин координирует всю работу по отправке добровольцев из РОВС в Испанию. Генерал Миллер, вынужденный согласиться на эту акцию, от ее реализации самоустраивается. Его беспокоят не только возможные политические осложнения с французскими властями, но и материальные издержки. Эмиссары генерала Франко, дав в конце концов принципиальное согласие принять добровольцев, субсидировать это предприятие отказались.

Разочаровывало добровольцев из РОВС и то обстоятельство, что офицеры принимались на службу к Франко с понижением в чинах. Только в конце декабря 1936 года Миллер наконец получил официальное извещение о том,

что Франко дал принципиальное согласие принять белых офицеров. 25 декабря Миллер издает циркуляр № 845 о порядке приема добровольцев в Испанский иностранный легион. Каждый отъезжающий в Испанию должен был иметь подписанный Миллером «сертификат благонадежности».

Отправкой первой группы ведал капитан Петр Савин, человек, близкий к генералу Скоблину.

Однако с первых же шагов добровольцы столкнулись с непредвиденными осложнениями. В обычное время переход франко-испанской границы никаких трудностей не представлял. В приграничных городках и поселках за умеренную мзду легко можно было найти проводника, который указывал верную тропу. Однако в связи с тем, что из Франции к Франко устремились члены секретной, хорошо законспирированной профашистской организации «Кагуль», французская пограничная служба усилила наблюдение. Русские об этом и не подозревали. Неприятный сюрприз ждал добровольцев в Биаррице. Испанский консул сообщил здесь Савину, приехавшему несколькими часами раньше добровольцев, что переход границы в районе Биаррица может привести к скандалу. Пришлось на ходу менять планы. Офицеры, не сходя с поезда, проехали до местечка Сен-Жан-де-Люз. Здесь жил директор консервной фабрики, сочувствовавший франкизму. С ним через испанского консула русские и вступили в сговор. Получив от Савина телеграмму «Восемь ящиков консервов получены», что свидетельствовало о количестве прибывших, он зарезервировал для добровольцев места в местной гостинице. Директор консервной фабрики, местный житель и знаток окрестностей, сам же и переводил офицеров через пограничную речушку Бидосс, на другой стороне которой располагался испанский городок Ирун. Здесь добровольцы попадали в руки франкистского полковника Тронкозо, который, проверив «верительные грамоты», переправлял их дальше в глубь страны. На фронт добровольцы следовали через Памплону.

Проработка маршрута и подготовка переправки свидетельствовали о том, что испанская сторона рассчитывала на прием значительного контингента русских добровольцев. Однако широко задуманная затея обернулась конфузом. Активисты РОВС переоценили желание русских сражаться на стороне генерала Франко. В среде русской эмиграции преобладали другие настроения. Сторонников республиканцев среди эмигрантов оказалось несравнимо

больше. Они и создавали соответствующий психологический климат. Кроме того, делам РОВС основательно навредила сама эмигрантская пресса.

Нужно сказать, что эмиграция приняла войну между республиканцами и франкистами очень близко к сердцу. И эмиграция, и ее политические лидеры понимали, что эта война, как и всякая катастрофа, несет в себе элементы судьбы. Никто не знал, чем окончится эта война, но все понимали, что она является преддверием еще более крупной катастрофы. И, как всегда в обстановке неизвестности, тревог, опасностей, в эмиграции всколыхнулись неясные надежды. Русская пресса широко освещала гражданскую войну в Испании, видя в ней как бы продолжение собственной национальной трагедии. Две крупнейшие ежедневные газеты — «Последние новости» и «Возрождение» имели в Испании собственных корреспондентов. Более мелкие газетки всеми правдами и неправдами исхитрялись получать из Испании собственную информацию.

Шум поднялся, когда в журнале «Часовой» стали появляться сообщения об участии русских добровольцев в боях на стороне Франко. Патетические корреспонденции, прославлявшие «подвиги» белых героев, привлекли в конце концов внимание французских властей. Проведенное расследование подтвердило, что речь идет о нелегальном переходе эмигрантами государственной границы. Генерал Миллер принужден был оправдываться. Пограничные отряды жандармерии тем временем усилили наблюдение за границей. И первая же после разразившегося скандала группа была задержана в Сен-Жан-де-Люзе. После этого инцидента отправка добровольцев РОВС в Испанию была прекращена. Всего успело уйти к Франко пять групп общим числом 28 человек.

Об участии белых офицеров в испанской войне писали в 1936 году и советские газеты, используя попавшие в руки чекистов в Испании бумаги белого генерала Фока, одного из соперников Миллера по РОВС. Генерал Фок уехал к Франко без ведома Миллера и, будучи опытным артиллеристом, получил в командование артбатарею. В одном из боев франкисты были разбиты. В руки республиканцев попал чемодан с личными вещами генерала Фока, который был доставлен в Москву. Советская пропаганда широко использовала попавшие в ее руки документы для разоблачения эмиграции и нагнетания ненависти к белогвардейским «шпионам» и «предателям». Что касается судьбы

генерала Фока, то он погиб в одном из боев буквально несколько недель спустя.

Неудачная эпопея с переправой добровольцев в Испанию еще более ослабила авторитет генерала Миллера в эмигрантских кругах. Совершая летом 1937 года поездку по местным отделениям РОВС, Миллер лично имел возможность убедиться в том, что созданный Врангелем союз фактически перестал существовать как целостная военная организация.

Тем более удивительным было неожиданное и загадочное исчезновение генерала 22 сентября 1937 г. Страсти закипели еще сильнее, когда стало известно, что вслед за исчезновением Миллера пропал и генерал Скоблин. А 27 сентября 1937 г. полицейский комиссар Рош арестовал Надежду Плевицкую. Изумлению эмиграции не было границ. Имя певицы было известно каждой эмигрантской семье. Скандал разрастался.

Дело о похищении генерала Миллера, следствие и суд над Плевицкой в мельчайших подробностях освещались французской и эмигрантской прессой. Это был один из знаменитейших процессов если не века, то десятилетия. Интерес безусловно подогревался причастностью к делу знаменитой певицы, которую в свое время слушал сам российский император Николай II. О похищении генерала Миллера и в 1937-м, и в последующие годы были написаны сотни статей. Так что восстановить ход следствия и суда не представляет особых трудов. «Дело Плевицкой» занимает несколько десятков томов, и вдаваться во все его детали 50 с лишним лет спустя едва ли целесообразно. В 1980 году известная эмигрантская журналистка Марина Грей, дочь генерала Деникина, имеющая значительные связи в эмигрантской среде, провела дополнительный опрос многих свидетелей и участников процесса. На основе собственного расследования и ранее известных данных она опубликовала своего рода роман-исследование¹³, который является дополнительным документальным источником для понимания этого запутанного дела.

Судьба Надежды Плевицкой и дело о похищении генерала Миллера могли бы, вероятно, послужить канвой для занимательнейшего фильма о русской эмиграции. Но в этой книге мы ограничимся лишь теми сведениями, которые касаются не столько «детективной» стороны дела, сколько тех его аспектов, которые дают возможность лучше понять жизнь эмиграции.

Жизнь Надежды Васильевны Плевицкой в изгнании, казавшаяся на фоне скудного эмигрантского быта усыпанной розами, на самом деле не была столь блистательной и безоблачной, как могло представиться завистливому глазу. Все, разумеется, воспринимается в сравнении, и оно для самой Надежды Васильевны не было утешительным.

В России до революции она была одной из самых высокооплачиваемых певиц. В 1910 году ей платили за концерт гонорар 300 золотых рублей, что по тем временам было огромной суммой. Кроме того, Надежда Васильевна не принадлежала к тому типу беспечных актрис, которые по пустякам проматывают огромные деньги и умирают в нищете. В ней чувствовалась прижимистая крестьянская жилка. Не рискуя вкладывать деньги в акции и ценные бумаги, подверженные превратностям конъюнктуры, она предпочитала более надежные средства — вкладывать деньги в «недвижимость». У нее несколько прекрасных квартир, в том числе в престижном районе Петербурга, она покупает большой клочок земли в благодатнейшем районе русского черноземья под Курском, в тех местах, где родилась и выросла.

Революция лишает ее и поместья, и квартир, и счетов в банке. Начинается новая полоса жизни. Певице, привыкшей к роскошным залам Петербурга, Москвы, Парижа и Нью-Йорка, приходится довольствоваться, по крайней мере в течение первых двух лет эмиграции, наспех сколоченной из досок эстрадой в палаточных городках эмигрантских военных поселений или скромными зальцами европейских провинциальных городков. С 1922 года положение несколько улучшается, но концерты, которые певица дает в Варшаве, Белграде, Брюсселе, Берлине, уже не те, что в былые времена. Причин неожиданного упадка славы несколько. Ее аудитория, представлявшая до революции «всю Россию», теперь ограничена эмигрантской средой. Беженцам, особенно в первые годы территориальной разбросанности и неустроенности, было не до концертов. К тому же для эмигрантского скудного кошелька билеты на концерты были малодоступны. Тем не менее другой, кроме эмигрантской, публики у Плевицкой, по сути дела, нет. Ее репертуар — русские песни — был хорош для организации нескольких «экзотических» концертов, но широкой концертной аудитории не собирал. То, что уда-

лось Шаляпину — преодолеть комплекс эмигрантского артиста и сделаться мировой величиной с мировым репертуаром, — Плевацкой не удалось.

Доходов едва хватает на то, чтобы вести подобие светской жизни. Она по-прежнему появляется в мехах, в бриллиантах, в ее распоряжении автомобиль. Однако финансовые трудности все больше дают о себе знать. Плевацкая вынуждена избавиться от излишней прислуги. Возникают трудности и с уплатой взносов за купленный в рассрочку дом в Озуаре. Во время суда над Плевацкой в качестве одного из документов фигурировала экспертиза финансового ревизора А. Фурнье, где говорилось о том, что в 1935 году супруги уплатили лишь за три месяца, в 1936-м — за пять и в 1937-м — за четыре.

Несмотря на эти обстоятельства, в кругах эмиграции начиная с середины 30-х годов ходят упорные слухи, что Скоблины живут не по средствам и что якобы источником их дополнительных доходов являются «деньги Москвы». Во время суда, отвечая на вопрос адвоката гражданских истцов (ими были жена и сын похищенного генерала) мэтра Рибе об источниках своих дополнительных доходов, Плевацкая ссылаясь на бескорыстную помощь своего давнего друга Марка Эйтингона, богатого врача-психиатра, жившего в Палестине.

Сомнения в «праведности» доходов Скоблина и Плевацкой были достаточно широко распространены и в офицерской среде эмиграции, в том числе среди корниловцев. Здесь на супружескую пару с некоторых пор поглядывали с любопытствующей подозрительностью. Разумеется, прямых улик против Скоблина не было, суд офицерской чести полностью обелил его от подозрений, но душок оставался. Тем более что о скандальной истории писали эмигрантские газеты, следовательно, о подозрениях знали все.

* * *

Надежду Васильевну мучили головные боли. Два года назад, в феврале 1935-го, она попала в автомобильную аварию: в Венсенском лесу, в сущности, в черте Парижа, на выезде из города на них наскочил грузовик. К счастью, ни певица, ни генерал серьезно не пострадали. Плевацкая получила сотрясение мозга и незначительные ушибы. У генерала обнаружили трещины в правой лопатке и ключице. Лечились супруги в русской клинике Б. Жир-

мудского под наблюдением профессора И. П. Алексинского.

В эмиграции, переживавшей один из годов «тощих коров», стоимость лечения вызвала малоприятный шумок. Двухнедельный курс обошелся в 8 тыс. франков. Обратило на себя внимание и то, что, едва выписавшись из больницы, супруги приобрели новый автомобиль — роскошь, которую в эмиграции могли себе позволить лишь единицы. Заметим, что даже оба руководителя РОВС — генералы Кутепов и Миллер — не имели собственной машины, при необходимости их обслуживали на добровольных началах русские шоферы такси из офицеров.

Садины и синяки от столкновения с грузовиком давно исчезли, а вот головные боли остались. В последнее время певичку мучили еще и малоприятные сновидения. Елена Фурнье, дальняя родственница Плевицкой, гостившая у нее в доме в Озуаре в 1937 году, вспоминала много позднее о странных «провидческих» снах Надежды Васильевны: ей снились тюрьма и могила под тюремной стеной. Ее ночи были беспокойны.

Дурно спала она и в ту роковую ночь с 22 на 23 сентября 1937 г.

Ей вообще плохо спалось в Париже. Ночи казались душными, хотя стояли последние, совсем уже не жаркие дни сентября. На улицах пахло прелой листвой. Все тротуары на авеню Гюго были усыпаны опавшими листьями платанов. Листва охапками лежала по обочинам брусчатой мостовой. На углах улиц появились жаровни, и горьковатый запах жареных каштанов заползал через ставни, навевал горькие предчувствия. Генерал Скоблин в последние дни был малоразговорчив, замкнут и почти не реагировал на участившиеся в последние годы вспышки раздражительности жены.

Надежда Васильевна завидовала ему — его молодости (сравнительной, разумеется), его здоровью, крепкому «солдатскому», как он шутил иногда, сну.

Вот и теперь она первой услышала стук в дверь, позвала мужа. Тот нехотя поднялся, подошел к двери, спросил. Голос зовущего показался знакомым. Это был полковник Мальцев, один из сослуживцев Скоблина по РОВС. Она услышала его взволнованный шепот.

— Хорошо... Я сейчас спущусь. Подождите меня внизу, — отозвался муж. — Я быстро. Только переоденусь.

— Что случилось, Николай? — обеспокоенно спросила Плевицкая.

Оказалось, что мужа срочно просят приехать в штаб-квартиру РОВС, внизу ждет такси.

Скоблин между тем не спешил. Долго выбирал в платяном шкафу костюм, не торопясь повязывал галстук, точно бы оставляя себе время подумать. Ее удивило, что муж, уходя, захватил пальто. Ночи еще стояли теплые. К тому же он сам сказал, что за ним пришло такси.

Он ушел, не попрощавшись, его шаги неспешно проскрипели по деревянной лестнице отеля «Пакс». Надежда Васильевна в этот момент еще не знала, что муж уходит из ее жизни навсегда.

Тягостное волнение овладевает ею. О сне не может быть и речи. Зажегши ночник, она надевает халат, садится на постель. За закрытыми ставнями отеля притаилась беспокойная ночь. Прожив в Париже почти 15 лет, она так и не привыкла к этому городу, он не стал ей родным. Голоса на улице по-прежнему звучали чуждо, незнакомо. Не выучилась Плевницкая и французскому языку: знала лишь несколько необходимых фраз. Все ее маршруты проходили по запутанному лабиринту «русского» Парижа. Модистки, у которых она шила платья, дамские мастера, кондитерские, куда она любила зайти выпить чашку кофе, маникюрщицы, церковь, прачечная, ювелир, реставратор-меховщик, банкир — все были русские. Да и сама Надежда Васильевна, когда через несколько дней французские и эмигрантские газеты запестрели ее фотографиями, являла собой немолодую, старомодно-прилично одетую даму, к которой Париж так и не прилип: ее вполне можно было принять за русскую провинциалку.

Ее мечтой было вернуться домой, в Россию. Несколько раз она принималась хлопотать через друзей, через высокопоставленных советских, с которыми время от времени в Париже скрещивались пути. Однажды ее просьба дошла до самого Дзержинского — просителем выступал один из ее прежних импресарио, сумевший приновиться к новой власти, — но разрешения не было дано. Она догадывалась, отчего. Оттого, что ее судьба оказалась связанной с генералом Скоблиным, с его особой ролью в русской эмиграции. Пришлось примириться...

Надежда Васильевна не помнила, сколько времени просидела, опустив голову, наедине с этими невеселыми думами. Все еще стояла ночь. Она взглянула на часы. Прошел всего час, а казалось — вечность.

Она почти не удивилась, когда в дверь снова постучали. Лучше любая весть, чем неизвестность.

Вернулся полковник Мальцев.

— Генерал Скоблин? Но ведь он ушел вместе с вами... Нет, он не возвращался... Что-нибудь случилось? Где мой муж?

Мальцев сомневался. Стоит ли говорить? Но в глазах Плевицкой было столько страха, столько мольбы, что он сжалился.

— Дело в том, Надежда Васильевна, что исчез генерал Миллер. Извините, меня ждут...

На следующий день об этой новости знал и кричал весь эмигрантский Париж. Еще через день о ней заговорили французские газеты. Начало разворачиваться одно из самых запутанных дел предвоенной истории — «дело о похищении генерала Миллера и исчезновении генерала Скоблина».

Через два дня, 25 сентября 1937 г., после длительного допроса Плевицкую арестовывают. Ей предъявлено обвинение в соучастии в насильственном похищении генерала Миллера. Все последующие дни и ночи до начала суда Надежда Васильевна провела в камере небольшой парижской тюрьмы Птит-Рокет, неподалеку от кладбища Пер-Лашез.

Следствие, а затем суд выявили мельчайшие подробности этого запутанного дела. О деталях рокового дня 22 сентября 1937 г. и последующих неделях с нервным упоением писала вся эмигрантская пресса. Известны по часам и даже минутам все передвижения Плевицкой до и после исчезновения генералов Миллера и Скоблина. К материалам следствия приобщены многочисленные свидетельства очевидцев. Но целый ряд существенных обстоятельств, связанных с похищением Миллера, стал известным много позднее. И хотя они не могут сколько-нибудь решительно изменить главную версию французского следствия, тем не менее вносят в него немаловажные нюансы.

Одним из таких «нюансов» был таинственный визит в Париж заместителя начальника Иностранного отдела НКВД Шпигельгласа. О нем рассказывает в своих воспоминаниях бывший резидент советской контрразведки в Западной Европе Вальтер Кривицкий.

Приезд в Париж одного из шефов НКВД имел свою маленькую предысторию, начавшуюся в 1936 году, когда Кривицкий, выдавая себя за состоятельного австрийского

антиквара, временно проживал в Гааге. Зимой 1936 года его посетил связной, передавший приказ из Москвы. В приказе говорилось: «Отберите из наших людей двух человек, способных сыграть роль немецких офицеров. Они должны обладать достаточно представительной наружностью, чтобы сойти за военных атташе, должны изъясняться как военные и быть исключительно надежными и смелыми. Отправьте их ко мне в срочном порядке. Это чрезвычайно важно. Через несколько дней надеюсь увидеться с вами в Париже»¹⁴. Послание было подписано начальником Иностранного отдела НКВД Слуцким.

Вскоре и сам Слуцкий приехал в Париж и обедал с Вальтером Кривицким в ресторане около оперного театра. Как военный разведчик Кривицкий вовсе не был в восторге от просьбы передать двух агентов, работавших в Германии, в распоряжение другого отдела НКВД. Однако Слуцкий дал понять, что приказ исходит от самого Ежова.

В. Кривицкий вспоминал впоследствии, что оба агента «немца» были вызваны в Париж. Однако по какой-то причине их услуги не понадобились. Дело, в котором предполагалось их использовать, было перенесено на более поздний срок. «Немцы» снова всплыли в связи с делом о похищении генерала Миллера.

Когда заместитель начальника Иностранного отдела НКВД Шпигельглас прибыл в Париж в начале июля 1937 года, то есть за три месяца до исчезновения генерала Миллера, первое, что он потребовал, — чтобы В. Кривицкий передал ему двух уже известных нам «немцев». Затем, вспоминает Кривицкий, Шпигельглас стал делиться беспокойными московскими новостями, и прежде всего о «деле Тухачевского», говорил о многочисленных арестах среди высшего командного состава Красной Армии. Кривицкий слушал и наматывал на ус. Он знал многое из того, о чем не пожелал сказать ему Шпигельглас. О том, например, что после расправы с Тухачевским Сталин начал расправляться и с советской агентурой за границей.

* * *

В злополучный для себя день Евгений Карлович Миллер появился на улице Колизе, где размещалась штаб-квартира РОВС, около одиннадцати. Вид у него был крайне озабоченный, что мало согласовывалось с обычно спокойным, сдержанным характером генерала. Штаб-квар-

тира, конечно, звучит слишком громко. Улица, где она располагалась, отнюдь не слыла фешенебельной — прокопченные от угольной сажи дома, узкие тротуарчики, крохотные магазинчики и лавки мелких торговцев. Да и само управление РОВС, занимавшее комнаты на третьем этаже унылого здания над гаражом Кригера, выглядело более чем скромным. После финансового краха «спичечного короля», в акции которого были вложены почти все средства «Русского общевойскового союза», он так и не оправился.

В начале первого Миллер попросил к себе в кабинет генерала Кусонского.

— Мне сейчас нужно будет уйти, — обратился он к своему сотруднику. — Но я рассчитываю вернуться в управление...

Миллер помедлил, точно не зная еще, следует ли говорить с подчиненным о волнующем его все утро вопросе.

— В сущности, я иду на свидание... на завтрак... Не сочтите меня за сумасшедшего, Павел Алексеевич, но я хотел бы оставить записку... маленькая, так сказать, предосторожность. Записку прошу не вскрывать... То есть вскрыть нужно, но только в случае непредвиденного.

С этими словами генерал Миллер протянул Кусонскому конверт. Слова начальника, судя по всему, не слишком обеспокоили генерала. Он кивнул в знак согласия и занялся делами. Часа через три он отправился домой и до самого вечера так и не удосужился полюбопытствовать, вернулся ли Миллер в канцелярию.

Тем временем близился вечер. На собрание офицеров, участвовавших вместе с Миллером в войне в районе Архангельска, генерал не явился. Учитывая обычную пунктуальность Миллера, это показалось странным. Офицеры позвонили генералу домой. Но и дома его не оказалось. Обычно обедавший и ужинавший в кругу семьи, Миллер в этот день домой не заходил и, главное, никак не известил жену о задержке. Только когда адмирал Кедров, один из ближайших сотрудников Миллера, заби тревогу, Кусонский, вызванный в РОВС, вспомнил о записке.

Записка гласила:

«У меня сегодня в 12.30 дня randevu с генералом Скоблиным на углу рю Жасмен и рю Раффе, и он должен вести меня на свидание с немецким офицером, военным агентом в Прибалтийских странах — полковником Штро-

маном, и с г-ном Вернером, состоящим здесь при посольстве. Оба хорошо говорят по-русски. Свидание устроено по инициативе Скоблина. Может быть, это ловушка, на всякий случай оставляю эту записку. Генерал Е. Миллер. 22 сентября 1937 года».

В этой истории много неясного и даже нелепого. Исчезновение семь лет назад Кутепова могло бы, казалось, кое-чему научить генералов. Однако в эти роковые часы они делают ошибку за ошибкой. Вместо того чтобы немедленно оповестить французскую полицию, тратят драгоценное время на поиск Скоблина. Находят его в гостинице «Пакс», привозят в штаб-квартиру РОВС и здесь уличают во лжи: Скоблин, не знавший о записке Миллера, отрицает свидание с ним. Потом крайне нерасчетливо генералы предъявляют ему записку и предлагают вместе ехать в полицию. Скоблин, внешне спокойный, соглашается. Однако, воспользовавшись минутным замешательством генералов, сбегает по лестнице вниз и исчезает. Как оказывается, навсегда.

Последним в Париже его видела жена корниловского капитана Мария Кривошеева, державшая вместе с мужем крошечный книжный магазинчик «Кама» в предместье Парижа Нейи. Скоблин занял у нее 200 франков, поцеловал на прощание руку и исчез.

Последующие поиски, предпринятые французской полицией и обескураженными сотрудниками РОВС, никаких результатов не дали. Не увенчались успехом и попытки найти след «немецких офицеров» Штрмана и Вернера, о которых упоминалось в записке Миллера. В это время их уже не было во Франции.

* * *

На следующий день ранним утром два полицейских инспектора приехали в гостиницу «Пакс». Испуганная исчезновением мужа, растерянная Плевицкая едва могла говорить. По-французски, как мы уже упоминали, она изъяснялась с величайшим трудом, а от волнения и вовсе лишилась речи. Французам пришлось прибегнуть к услугам переводчика.

Из слов певицы сплетался причудливый и не лишенный странностей рисунок передвижений супружеской пары в тот роковой для генерала Миллера день. Позднее, когда

Плевицкая будет влачить свои последние дни в тюрьме, ей захочется «исповедаться», и при посредничестве русского священника ей будет устроено последнее свидетельство с инспектором полиции. Но история, которую позднее расскажет ему Плевицкая в тюрьме, во многом будет отличаться от материалов первых допросов — свидетельство того, что Плевицкая была совсем не так «проста» и «убита», как об этом писали газетные репортеры.

Путь Плевицкой и Скоблина в тот день пролегал так, чтобы обеспечить мужу максимально надежное алиби. Знала ли «курский соловей», что в их передвижениях в тот день была эта заданность? Или «визиты» и ей самой казались естественными и случайными? Они были в гараже, где стояла их автомашина, потом завтракали в русском ресторане «У Сердечного». Причем все служащие ресторана — от швейцара до посудомойки, — хорошо знавшие своих постоянных клиентов, отметили, что генерал и его жена очевидно торопились, ибо сели не за столик, как обыкновенно, а закусывали у стойки бара.

Затем Плевицкая посетила модный магазин «Каролина», хозяин которого часто отпускал ей товары в кредит. Проведя в магазине более полутора часов, она заказала модного товара почти на 3 тыс., оставив в задаток 900 франков. Тут, в магазине у Эпштейна, собственно, и обозначилась первая странность, первая трещина в алиби, которое строил своими передвижениями Скоблин. Надежда Васильевна сказала обслуживавшему ее хозяину, что муж, генерал Скоблин, ожидает ее на улице в автомобиле. Обычно он заходил вместе с ней и хорошо знал как хозяина, так и модисток. Однако, когда Эпштейн хотел пригласить Скоблина, Плевицкая запротестовала, сказав, что «заскочила лишь на минутку». Пробыла же, как мы отметили, более полутора часов. Просил ли ее муж совершить ради него эту маленькую хитрость? Что касается Скоблина, то он действительно появился в магазине в 13.35 с видом «заждавшегося мужа». Однако жены он уже не застал: Надежда Васильевна ушла пятью минутами раньше. Супруги странным образом «разминулись». Таким образом, в распорядке дня генерала Скоблина появился пробел в 1 час 40 минут. Супруги встретились на Северном вокзале, откуда должны были провожать в Брюссель приезжавшую на юбилей Корниловского полка дочь генерала Корнилова Наталью Лавровну. Поезд отходил в 14.15.

В день исчезновения мужа Надежда Васильевна

мечется по городу, заходит то к одним, то к другим знакомым. Она говорила на суде, что ее передвижения были продиктованы стремлением отыскать мужа. Это всем кажется естественным. И лишь много лет спустя обнаружится, что далеко не все свидания и этого, и следующего дня были столь невинны, как могло показаться сочувствующим.

В 1976 году, то есть почти 40 лет спустя после тех трагических событий, известный эмигрантский писатель и публицист Андрей Седых, автор многочисленных воспоминаний, поведает на страницах «Нового русского слова» историю, рассказанную ему Леонидом Райгородским, близко знавшим Плевицкую и Скоблина. Л. Райгородский был женат на сестре того самого миллионера М. Я. Эйтингона, который оказывал Плевицкой покровительство и покрывал часть расходов супружеской четы. Во время «дела Миллера» Андрей Седых, будучи молодым репортером, работал в газете «Последние новости». Именно в те дни Райгородский, сопровождавший Плевицкую в ее метаниях по городу, поведал ему странную историю о встрече Надежды Васильевны с двумя неизвестными возле церкви Отей в Париже. Это было 24 сентября 1937 г., на следующий день после того, как стало известно об исчезновении Миллера. Беседа велась по-русски. Всего разговора Райгородский, сидевший в машине, не расслышал, но в конце уловил сказанные одним из мужчин несколько фраз: «Не волнуйтесь, Надежда Васильевна. Все будет хорошо. А Россия вам этого не забудет».

Это свидание, услышанные слова так испугали Райгородского, что он поостерегся сообщить о случившемся французской полиции, боясь быть втянутым в какую-нибудь неприятную историю. Рассказав о ней своему приятелю Андрею Седых, он взял с него честное слово сохранить это в тайне. О тайной встрече Плевицкой с двумя русскими (А. Седых предполагает, что это были советские агенты) стало известно лишь в 1976 году.

Позднее выявились и другие факты, свидетельствовавшие о том, что похищение генерала Миллера было, вероятно, задумано как часть более широкой операции НКВД.

Есть основания предполагать, что генерал Скоблин пытался заманить в ловушку Антона Ивановича Деникина, фигуру куда более знаменитую, чем генерал Миллер. Похоже, что НКВД была нужна шумная история с целью

продемонстрировать наличие широкого белогвардейского заговора против Сталина. Вспомним, что именно в это время в СССР велось избиеение руководства Красной Армии. Имеются показания полковника Трошина и штабс-капитана Григуля на суде (доверенных лиц Скоблина в РОВС) о поездке Скоблина в день исчезновения Миллера к генералу Деникину¹⁵.

Деникин жил в Севре, ближайшем предместье Парижа. Формальным поводом для визита к Деникину, который в эмиграции сторонился политики и вел довольно замкнутый образ жизни, было желание Скоблина выразить ему благодарность за участие в банкете в связи с юбилеем Корниловского полка. Однако это был лишь повод. Скоблин мог поблагодарить Деникина и письмом, что неоднократно делал в отношении других известных людей эмиграции.

Штабс-капитан Григуль вспоминает, что Скоблин принялся уговаривать Антона Ивановича Деникина поехать с ним на автомашине в Брюссель якобы для встречи с жившими там корниловцами. Деникин уклонился от приглашения и вообще был крайне удивлен этой идеей: в Бельгии проживало очень мало русских эмигрантов. Большинство из них работали на шахтах, никакого участия в политической жизни эмиграции не принимали. Настораживали поспешность и настойчивость, с которыми Скоблин обхаживал генерала. Не исключено, что Деникина собирались вывезти из Франции в рамках той же самой операции, жертвой которой стал Миллер.

Во время суда над Плевицкой выявились и дополнительные факты. Оказалось, что Скоблин и ранее предлагал бывшему вождю белого движения на юге России поездки в Брюссель.

— Почему вы отказались? — спросил Деникина председатель суда Дельрог.

— Я подозревал Скоблина в сочувствии большевизму с 1927 года, — отвечал генерал.

— Вы опасались Скоблина или Плевицкой?

— Не доверял обоим.

Слова белого генерала были лишь слабым отражением его подозрений. Более убедительно прозвучали в ходе судебного разбирательства показания Г. З. Беседовского, советника советского посольства, оставшегося на Западе в 1929 году. Он заявил, что советскому посольству известно о деятельности белой эмиграции во Франции через «генерала, женатого на певице».

14 октября 1937 г. Надежда Васильевна Плевицкая в последний раз посетила свой дом в Озуар-ла-Ферьере, где провела столько лет вместе со Скоблиным. Поездка, в сущности, была подневольной. Судебный следователь хотел получить более точные данные о том, насколько расходы супругов превышали их доходы. По словам Плевицкой, в доме имелась расходная книга. За ней и поехали.

За три недели пребывания в тюрьме Надежда Васильевна заметно похудела и казалась совершенно безучастной. После исчезновения мужа, которого она страстно любила, мир и жизнь утратили для нее всякий смысл. «Милый Коля» не возвращался, и надежды увидеть его вновь таяли день ото дня.

Пройдя через засыпанный осенними листьями сад, Плевицкая села в кресло и молча наблюдала за действиями следователей, ведших обыск. О ее ноги терлись оставшиеся без призора кошки, прежние ее любимицы.

Анализ расходной книги показал, что Скоблин и Плевицкая жили не по средствам начиная с 1931 года.

Однако расходная книга оказалась не единственной добычей следователя. В доме в Озуаре изъяли значительное число писем и документов, свидетельствовавших о теневой стороне жизни генерала Скоблина. Здесь были и доклады о деятельности русских эмигрантских организаций, и оценки работы агентов НКВД в эмигрантской среде Парижа. Все говорило о том, что Скоблина интересовали данные агентурного характера. Однако каких бы то ни было улик, явно избобличавших его работу именно на НКВД, при обыске не обнаружилось. Все обвинение, таким образом, строилось на косвенных уликах. Придя к неопровержимому выводу о причастности Скоблина к похищению генерала Миллера, следствие оказалось бессильным доказать, что это похищение было «заказано» НКВД. Даже во время суда всплыли другие, самые фантастические варианты похищения Миллера. Например, что генерала похитил не Скоблин, а агенты НКВД в Испании или испанские фашисты, недовольные тем, что Миллер препятствовал вербовке добровольцев в Испанию среди белых офицеров.

Именно эту последнюю версию подхватила и советская пресса. «Правда» со ссылкой на мнение французской левой газеты «Попюлер» писала: «...Похищение генерала Миллера было проведено с целью поставить во главе белой эмиграции более подходящего для Гитлера человека... Миллер не проявлял того рвения и горячности в отношении службы

Гитлеру и генералу Франко, которых хотели бы от него некоторые из главарей РОВС...»¹⁶.

Однако, изучив многочисленные факты, французское следствие отклонило «франкистский след» и сконцентрировало усилия на поисках в другом направлении. В своем конфиденциальном докладе министру внутренних дел секретарь следственной комиссии П. Тастевен писал в декабре 1937 года: «Не подлежит сомнению то, что около генерала Миллера должны были находиться крупные агенты ГПУ. Ничего не доказывает, что Скоблин был единственным и даже самым важным. Миллер находился в сети, расставленной большевиками. Бесспорно, что его похищение является делом рук ГПУ, которое благодаря большому количеству своих агентов, введенных в РОВС и в ближайшее окружение его председателя, не имело особых трудностей для завлечения в ловушку»¹⁷.

В те дни по Парижу благодаря неустанной активности журналистов ходило множество слухов об организации похищения Миллера. Особое любопытство вызывало «путешествие» автофургона, принадлежащего советскому посольству (он был зарегистрирован под номером 235X CD), из Парижа в ближайший к столице морской порт Гавр, где в это время стоял под погрузкой советский пароход «Мария Ульянова». Газеты в мельчайших подробностях описывали, как из фургона выносили огромный деревянный ящик и с большой поспешностью вносили его на пароход. Подозрения вызвало несколько обстоятельств: то, что ящик загружали советские матросы, тогда как обыкновенно погрузку вели французские докеры; груз, внесенный на пароход, значился как дипломатический и вследствие этого таможенными чиновниками не досматривался; ящик тащили на пароход четыре человека, что свидетельствовало о его тяжести.

Обо всем этом французские «компетентные власти» узнали от комиссара Шовино, своего агента, работавшего в порту. Подозрительным казался и поспешный отход «Марии Ульяновой». Французским пограничным властям было известно, с какой тщательностью и дотошностью обычно проверялись документы пассажиров. На этот раз было сделано странное исключение: пассажиров, а их было 130, пригласили на борт без всяких паспортных формальностей. Корабельный посредник Оливье Колен, ведавший с французской стороны погрузкой, давая показания, отмечал необыкновенную поспешность, с которой пароход вдруг стал готовиться к отплытию. В ходе следствия всплыло и такое обстоятельство: пароход доставил в Гавр груз бараньих кож

стоимостью 9 млн. франков. Однако ушел он, не успев разгрузить 600 тюков. Во время суда фигурировала непонятная телеграмма, полученная капитаном «Марии Ульяновой»: «Телеграфируйте причину опоздания. Грузятся ли аэропланы?» Никаких аэропланов на пароход не грузилось и грузиться не могло.

Поток всех этих странных и противоречивых сведений, то подтверждавшихся, то опровергавшихся властями, довел французскую общественность до кипения. Газеты настаивали, чтобы глава правительства потребовал немедленного возвращения «Марии Ульяновой» в Гавр, и даже предлагали послать в погоню миноносцев. Но, похоже, у французского правительства был свой взгляд на это дело. Погоня не состоялась. «Мария Ульянова» спокойно ушла в Ленинград. Увезенные ею неразгруженные тюки с кожей позднее доставили другим советским пароходом.

* * *

Суд над Плевицкой длился больше недели. Бесконечной вереницей шли свидетели, французы и русские, генералы и ночные сторожа, сотрудники французского министерства внутренних дел и бывшие белые штабс-капитаны, надевшие на суд свой единственный приличный костюм. В центре внимания многочисленной публики находились две женщины: несчастная жена генерала Миллера и Надежда Васильевна Плевицкая, некогда знаменитый «курский соловей». Участие Скоблина в похищении главы «Русского общевойскового союза» было доказано без особых сложностей. Оставленная Миллером записка изобличала мужа Плевицкой. Подавляющее большинство свидетелей так или иначе подтвердили причастность Скоблина к похищению своего начальника. Алиби, построенное Скоблиным, рухнуло. Но самого генерала на скамье подсудимых не было. Его судили заочно. За его отсутствием судили Плевицкую. Предстояло ответить на главный вопрос: выгораживала ли Плевицкая своего мужа исключительно из любви к нему или она знала о тайной стороне его жизни и была, таким образом, соучастницей преступления? Большинство свидетелей утверждали: да, знала, да, соучастница.

Генерал Шатилов, один из соперников Миллера по РОВС и, пожалуй, самый осведомленный человек эмиграции, на вопрос председателя суда Дельрога отвечал, что Плевицкая знала все и что оба они — и муж, и жена — были агентами ГПУ.

В ходе следствия выплыли совершенно неизвестные эмиграции факты из жизни знаменитой певицы, в частности то, что она состояла в секретной зашифрованной переписке с рядом крупнейших деятелей РОВС. Изъятые во время обыска на ее вилле в Озуаре документы говорили о ее основательной вовлеченности во внутренние интриги «Русского общевойскового союза».

Речь прокурора была безжалостной по отношению к Плевицкой. Нет, мы не знаем, чьим агентом был генерал Скоблин — советским или немецким. Нет, мы не знаем, кто руководил преступными действиями Скоблина — НКВД, гестапо или он преследовал личные цели борьбы за власть в РОВС. Но генерал Миллер похищен, и причастие Скоблина и Плевицкой к этому преступлению доказано и не вызывает сомнений. В этом деле нет смягчающих обстоятельств. Прокурор потребовал для обвиняемой бессрочной каторги.

Защитники не смогли поколебать собранных следствием доказательств. Не слишком разжалобило присяжных и последнее короткое слово Плевицкой: она говорила о своей любви к мужу и зывала к Богу.

На девятый день в 4 часа 15 минут председатель суда ставит перед присяжными вопрос: была ли Плевицкая жертвой или сообщницей? Заседатели удалились в совещательную комнату. В зале воцарилась тягостная тишина.

Без десяти минут шесть председатель суда Дельрог объявляет вердикт: 20 лет каторжных работ. Плевицкая застывает в ужасе. Из уст «курского соловья» не вылетело ни одного звука. Ее тяжелое, серое лицо казалось неживым.

* * *

Прошло три года. С весны 1939-го Плевицкая отбывала наказание в реннской каторжной тюрьме. Привыкшую к поездкам, визитам и обществу, ее более всего мучило одиночество. Посетителей почти не было. Изредка ее навещал русский священник. Все просьбы перевести ее в парижскую тюрьму Петит-Рокет, где она дожидалась суда, отклонялись. Отвергнуты были и апелляция на решение суда, и просьбы о помиловании. В Париже продолжали хлопоты адвокаты, друзья. Ходили на прием к министру юстиции. Тот пообещал назначить комиссию. Но и комиссия отклонила просьбу о пересмотре дела. Не дало результата и вмешательство Луи Сафрана — генерального секретаря Всемирного союза правозащитников, известнейшего во Франции адвоката.

Нельзя сказать, чтобы жизнь в каторжной тюрьме была

слишком уж тягостной для Надежды Васильевны. Тюремные власти, следившие, как и вся Франция, за громким процессом, испытывали к своей знаменитой узнице некое подобие снисходительности. Казалось забавным, что под их стражей находится знаменитая певица, некогда певшая для великих князей и даже для самого русского царя. Друзья из Парижа привозили сигареты, фрукты, в питании она не знала стеснений. Но все это были крохи по сравнению с той жизнью, к которой она привыкла. Маленькой отрадой было участие в церковном хоре при тюремной часовне. Ее ценили за голос и сетовали, что m-me Plewitskaia не знает по-французски. Надежда Васильевна не переставала надеяться на пересмотр дела. Все ей казалось, что вот-вот выявится какое-то новое обстоятельство и друзьям, оставшимся на воле, удастся вызволить ее.

Обстоятельства меж тем торопили. В тюрьме у нее заметно ухудшилось здоровье. Она очень постарела. Время от времени ей вспоминались слова одного из адвокатов — И. Л. Френкеля: для пересмотра дела, внушал он, нужны дополнительные факты, не фигурировавшие на процессе, нужна, уточнил он, какая-нибудь «сенсация». Тогда всплеском дела заинтересуются газеты, тогда можно будет снова обратиться к министру юстиции. Но что же можно сказать нового?

В мае 1940 года Надежда Васильевна после долгой беседы с приехавшим из Парижа священником упросила его навестить в «Сюрте националь», полицию, ведавшую вопросами национальной безопасности, и передать, что у нее имеется важное сообщение, носящее политический характер.

Духовник исполнил просьбу. 10 мая 1940 г. комиссар Белен, имевший отношение к следствию по делу Скоблина и Плевницкой, в сопровождении переводчика и полицейского инспектора выехал поездом в Ренн.

Разговор длился долго. Томившаяся от одиночества Плевницкая была рада случаю выговориться. В сущности, она заново пересказала комиссару всю свою жизнь. Комиссар томился от скуки: большая часть рассказанного, кроме частных деталей и малозначащих подробностей, была ему известна по материалам следствия и суда. И только под конец он заинтересовался. Плевницкая принялась рассказывать о последней, «роковой» ночи, которую она провела вместе со Скоблиным под одной крышей в отеле «Пакс». Она поведала о том, что «Коленька» в эту ночь пребывал в сильнейшем возбуждении, то засыпал, то просыпался. Вдруг начал пла-

кать и, когда она его успокоила, рассказал ей следующую историю. Он говорил об обстоятельствах похищения Миллера:

«Мы выехали в Сен-Клу, где у нас было назначено свидание. Миллер сидел в машине без явных признаков беспокойства. Когда вошли в условленную виллу, навстречу нам вышли трое. Все хорошо говорили по-немецки и по-русски. Меня попросили остаться в вестибюле, а сами вместе с генералом Миллером удалились в соседнюю комнату и плотно закрыли за собой дверь. Прошло минут десять, прежде чем мне предложили войти. Я огляделся, но Миллера не увидел. «Где генерал?» — спросил я. Мне указали на соседнюю комнату. Я толкнул дверь и оказался в небольшом салоне. Возле стены на диване лежал руководитель «Русского общевойскового союза».

— Мы сделали ему укол, — спокойно по-французски сказал один из вошедших вслед за Скоблиным».

— Вот и все, что я знаю о последних минутах жизни генерала Миллера, — завершила свой рассказ Плевицкая.

Комиссар Белен верил и не верил. Сведения, разумеется, представляли интерес, тем более что в материалах следствия имелись — комиссар это хорошо помнил — данные о странной поездке самой Плевицкой в парижское предместье Сен-Клу на следующий день после исчезновения генерала Миллера. Тогда она объяснила этот вояж поисками пропавшего мужа. Следствие не придало поездке значения. Все это следовало теперь проверить и перепроверить...

Но сделать комиссару Белену ничего не удалось. История распорядилась так, что в тот самый день, когда он в последний раз говорил в Ренне с Плевицкой, части немецкого вермахта начали наступление во Франции. Трагическая судьба Надежды Васильевны Плевицкой затерялась в вихре других трагических судеб, поднятом второй мировой войной.

Осенью этого же года она умерла в центральной каторжной тюрьме города Ренна. Газеты, некогда вздох писавшие о суде над знаменитой певицей, уделили ее смерти несколько скудных строк.

* * *

Тайное рано или поздно становится явным. Когда эта книга готовилась к печати, в советских изданиях появились сведения, позволяющие расставить если еще и не окончательные, то по крайней мере достаточно четкие акценты в

этой запутанной истории. Советский еженедельник¹⁸ со ссылкой на документы, предоставленные Комитетом государственной безопасности, приоткрыл завесу над некоторыми тайнами жизни генерала Н. В. Скоблина и его жены Н. В. Плевацкой. Выше я писал о том, что французское следствие собрало массу свидетельств причастности Скоблина и Плевацкой к похищению руководителя РОВС генерала Миллера. Однако прямых доказательств того, что они работали на советскую разведку, суд предоставить не смог. Надежда Васильевна была осуждена не как агент разведки, а как участница похищения.

В архивах КГБ хранятся три объемистых досье, содержащих документальные свидетельства того, что бывший белый генерал, герой Корниловского полка, а затем один из видных деятелей военного крыла русской эмиграции Н. В. Скоблин и его жена Н. В. Плевацкая были завербованы ОГПУ в 1930 году. Руководителем операции по привлечению знаменитой супружеской пары к сотрудничеству с советскими разведорганами был заместитель начальника Иностранного отдела ОГПУ Сергей Шпигельглас. Непосредственно вербовкой занимался бывший белый офицер, сослуживец Н. В. Скоблина П. Г. Ковальский, значившийся в секретной картотеке ОГПУ под кодовым названием «агент Еж/10».

Штабс-капитан Петр Ковальский познакомился со Скоблиным в 1917 году при формировании Отдельного ударного отряда 8-й армии, затем они вместе служили в Корниловском ударном полку.

Вместе с остатками отступающей Добровольческой армии П. Г. Ковальский оказался на территории Польши и был интернирован. Работал в Лодзи ночным сторожем, потом в строительной конторе техником. На советскую разведку начал работать в 1921 году. В Россию вернулся в 1924 году. В автобиографии он писал: «...От бессознательного монархиста под влиянием исторического хода событий, окупившись во всю грязь белого движения всех оттенков, перешел на платформу Советской власти и отдал себя всецело в распоряжение ее передового авангарда — органов ГПУ».

Этот представитель «передового авангарда» и был направлен в Париж с целью вербовки генерала Н. В. Скоблина. Надо сказать, что, привыкнув вести достаточно широкий по эмигрантским меркам образ жизни и столкнувшись с серьезной проблемой денег, супружеская чета не заставила себя долго упрашивать.

10 сентября 1930 г. генерал Н. В. Скоблин с полного согласия своей супруги Н. В. Плевичкой подписал заявление в адрес ЦИК СССР: «12 лет нахождения в активной борьбе против Советской власти показали мне печальную ошибочность моих убеждений.

Осознав эту крупную ошибку и раскаиваясь в своих проступках против трудящихся СССР, прошу о персональной амнистии и даровании мне прав гражданства СССР.

Одновременно с сим даю обещание не выступать как активно, так и пассивно против Советской власти и ее органов, всецело способствовать строительству Советского Союза и о всех действиях, направленных к подрыву мощи Советского Союза, которые мне будут известны, сообщать соответствующим правительственным органам».

В этом деле не обошлось и без лукавства, ибо Н. В. Скоблин получил от своего бывшего сослуживца П. Г. Ковальского уверения, что он будет числиться по службе в Генштабе, а не в ГПУ, что для боевого офицера имело немаловажное значение.

Через несколько дней на заявлении генерала была поставлена резолюция начальника Иностранного отдела ОГПУ: «Заведите на Скоблина агентурное личное и рабочее дело под псевдонимом «Фермер-Еж/13»».

Надежда Васильевна Плевичкая, согласившаяся вместе с мужем на «сотрудничество», получила агентурную кличку «Фермерша».

За ценные услуги генералу положили ежемесячное вознаграждение в 200 американских долларов — сумма по тем временам немалая. Так что подозрения добровольных следопытов эмиграции и сослуживцев генерала, что тот живет не по средствам, были небезосновательными. «Еж/13» начал действовать, и подробнейшие данные о деятельности РОВС потекли в Москву...

На фотографии, которой «Неделя» проиллюстрировала свой рассказ об успешной операции советских органов, изображена молодая женщина с застенчивой улыбкой — это Надежда Васильевна Плевичкая, сфотографированная за много лет до того, как она стала «Фермершей».

Блистательный успех П. Г. Ковальского по вербовке четы обернулся гибелью для женщины. В трагическую минуту жизни Надежда Васильевна оказалась брошенной на произвол судьбы. «Героическая страница» из жизни ОГПУ завершилась катастрофой для одной из самых замечательных певиц, которых когда-либо рождала русская земля. От «курского соловья» нам осталось несколько записей ее пе-

сен, которые начинают возвращаться в нашу разрушенную память.

Что касается генерала Миллера, то он был тайно вывезен в СССР и расстрелян.

Глава 9

«НЕ БУДЕМ ПРОКЛИНАТЬ ИЗГНАНЬЕ...»

В 1927 году Владимир Набоков (Сирин) еще был далек от будущей славы. Мало что предвещало его мировую известность, в какой-то степени бросившую убийственную тень на литературное творчество русской эмиграции: возвысившись над ней, сделавшись писателем мирового масштаба, он невольно придал творчеству большинства молодых русских писателей, выросших в изгнании, досадный привкус альковно-эмигрантской беллетристики.

Роман «Машенька», изданный год назад, вызвал удивленно-умилительные возгласы в русской эмигрантской периодике. О писателе, прежде почти неизвестном (разве что в связи с покушением в Берлине на его отца), заговорили столпы эмигрантской критики и публицистики Ю. Айхенвальд, М. Осоргин, Г. Струве. Главные произведения В. Набокова еще впереди: «Король, дама, валет» (1928 г.), «Защита Лужина» и «Соглядатай» (1930 г.), «Подвиг» и «Камера obscura» (1932 г.), «Отчаяние» (1934 г.), «Приглашение на казнь» (1935 г.), «Дар» (1937 г.)...

Отстранясь в последующие десятилетия от жизни русской эмиграции, почти не соприкасаясь с ней, в том, 1927 году В. Набоков еще ощущал себя частью русского изгнания. И когда в ноябре эмиграция отмечала тягостный для нее «юбилей» — десятилетие революции, он вместе с другими, пытавшимися осмыслить эту дату, писал:

«Прежде всего мы должны праздновать десять лет свободы. Свободы, которой мы пользуемся, не знает, пожалуй, ни одна страна в мире. В этой особенной России, которая невидимо окружает нас, оживляет и поддерживает, питает наши души, украшает наши сны, нет ни одного закона, кроме закона любви к ней, и никакой силы, кроме нашей совести... Когда-нибудь мы будем благодарны слепой Клио за то, что она позволила нам вкусить эту свободу и в эмиграции понять и развить глубокое чувство к родной стране... Не будем проклинать изгнание. Будем повторять в эти дни слова античного воина, о котором

писал Плутарх: ночью в пустынной земле, вдалеке от Рима, я разбивал палатку, и палатка была моим Римом»¹.

Молодой эмигрантский писатель (Набокову в том году исполнилось 28 лет), в отличие от эмигрантов, проклинавших изгнание, увидел в нем то, что, вероятно, было единственным и главным преимуществом, — свободу. Ту свободу, которая была свойственна именно эмиграции, ибо здесь, в изгнании, она не была ограничена ни традициями, ни привязанностями, ни условностями, ни правилами чужой страны. К эмиграции не могло предъявлять счетов и требовать ответа ни старое, ни новое отечество. Только в условиях такой полной свободы могло родиться и получить размах творчество В. Набокова, действительно не знающее ни временных, ни стилистических, ни исторических, ни художественных границ.

«Не будем проклинать изгнание...» — эти слова В. Набокова являются одним из ключей к пониманию творческого наследия эмиграции. Они в значительной степени объясняют двуединство судьбы русских в зарубежье, для которых изгнание было одновременно и смертью и спасением, и грехом и искуплением греха.

И как удивительно в бытии искусства соседство жизни и смерти! К середине 30-х годов, когда творческий потенциал, унесенный из России, был близок к исчерпанию, на усыхающей ниве эмиграции поднялся и зацвел удивительный дар набоковской прозы, являющей собой как бы прообраз тех явлений, которые могут возникнуть на стыке культур и цивилизаций, если они не разрушают, а обогащают друг друга.

К концу 30-х, когда становилось все более очевидным, что культурная жизнь эмиграции пошла на убыль, Королевский институт международных дел (Великобритания), точно бы вдруг осознав, что настала пора уловить мгновение истины, поручил комиссии под руководством сэра Джона Симпсона провести исследование и подготовить доклад на тему «Русские беженцы»². Книга вышла в 1939 году и содержит богатый материал о жизни эмиграции. Это честный, проникнутый симпатией к русским беженцам труд с попытками социально-политической классификации русского зарубежья. Одна из ценностей книги в том, что обзоры тех или иных сторон жизни эмиграции были заказаны русским специалистам. Так что в книге присутствует столь необходимый для понимания эмиграции «взгляд из-

нутри». Вместе с тем она носит и характер «фотографического снимка», запечатлевшего статичный, хотя и верный в деталях, портрет русского семейства беженцев на фоне Западной Европы.

«Зарубежная Россия уходит на наших глазах: организм ее слишком хрупок, чтобы долго сопротивляться ассимиляции с другими народами. Главы, которые следуют, стремятся запечатлеть ее в ее расцвете, прежде чем исчезнут ее своеобразные нравы и поглотится ее богатая культурная жизнь...»³ — говорится во введении к исследованию.

Вместе с тем и это честное исследование страдает общим для всех зарубежных работ об эмиграции недостатком: оно слишком бесстрастно и отстраненно, чтобы дать представление об истинной трагедии русской эмиграции. Скальпель исследователей холоден и быстр, но, главное, как и в других западных работах, здесь отсутствует понимание апокалиптической глубины связи между трагедией русской истории и трагедией русской изгнаннической души. Есть и еще один существенный, на наш взгляд, изъян зарубежных исследований: русская эмиграция представляется в них «отрезанным ломтем», ее судьба трактуется в отрыве от судьбы русско-советского «материка», а ее история — как отдельная история, тогда как трагедия эмиграции — лишь одна из глав великой книги о русской революции.

Лучшая, наиболее сознательная, культурная часть эмиграции неизменно воспринимала себя как часть и продолжение русской истории. Этому способствовало и то, что при всем универсализме своих нравственных и идейных воззрений, при всей общечеловечности гуманистических интересов русская интеллигенция политически чувствовала себя в Западной Европе не у дел. Русские эмигранты, за редким исключением, не входили ни в какие политические партии да и по статусу эмигрантов были лишены возможности заниматься политикой. Осколки политических партий до-революционной России создавали лишь иллюзию политической жизни.

Если вглядываться в истоки, то любое крупное явление или событие эмигрантской жизни было в большей или меньшей степени продиктовано и обусловлено факторами советской политики. В отличие от зарубежных наблюдателей эмигрантской жизни, сами русские интуитивно, подчас преувеличенно эмоционально воспринимали эту связь. Даже убийство французского президента Поля Думера пси-

хически не уравновешенным русским офицером, принадлежавшим к крайне правому монархическому крылу эмиграции, П. Горгуловым (напомним, что террорист стрелял в Думера с криком «Фиалка победит машину!»), имело эту «тайную» связь. На следующий день после покушения депутация от русских эмигрантов во главе с виднейшими деятелями царской России сделала все, чтобы уверить французского премьера, а через него и возмущенную французскую общественность, что это был поступок фанатичного маньяка, не имевшего ничего общего с русской эмиграцией⁴. Однако многие эмигранты восприняли выстрел Горгулова именно в связи с Россией. В эмигрантском «мемуарном фольклоре» можно даже встретить намеки на то, что руку экзальтированного монархиста подталкивало ГПУ. Ни один серьезный мемуарист или исследователь этой «версии» не разделяет. Вместе с тем выстрел П. Горгулова не был лишь отчаянным шагом помешавшегося на монархической идее маньяка. Он — итог отнюдь не параноических размышлений русского изгнанника о вечных судьбах России. В книге самого П. Горгулова «Тайна жизни скифов» под «фиалкой» разумеется нежная, благоухающая, «чувствующая» Россия, а под «машиной» — сухой и рассудочный Запад. За возгласом П. Горгулова «Фиалка победит машину!» стоит нечто большее, нежели крик потерявшего рассудок офицера.

Единство переживаемой судьбы тех, кто уехал, и тех, кто остался, отчетливо прослеживается в переписке между русскими интеллигентами, оказавшимися по разные стороны границы. Пока еще сталинские «почтмейстеры» и цензоры не перекрыли этой последней нити интеллектуальной связи, письма были для эмиграции одним из важнейших источников информации о России. В первые годы советской власти переписка с эмиграцией велась очень активно. Почтовые отправления практически не перлюстрировались. В архивах Западной Европы и США хранятся значительные подборки писем, являющиеся настоящим кладом сведений о жизни советской России в период 1920—1930 годов, и в частности об обстоятельствах существования и образе мыслей русской интеллигенции. В письмах рассыпаны ценные свидетельства и о жизни тех русских интеллигентов, которые, находясь в момент написания писем в Москве или Петрограде, затем оказались в эмиграции. Эти письма — важный документальный материал для изучения промежуточного периода между «внутренней эмиграцией» и эмиграцией реальной.

Несомненный интерес представляет переписка между находившимся в эмиграции русским религиозным философом Львом Шестовым (выехал из России в январе 1920 г., в Париже — с начала 1921 г.) и оставшимся в Москве ближайшим его другом, писателем и литературоведом Михаилом Осиповичем Гершензоном (1869—1925). В библиотеке Сорбонны в архиве Льва Шестова хранится 30 писем М. Гершензона*, относящихся к периоду 1920—1925 годов, то есть к тому времени, когда продолжался процесс активного пополнения эмиграции прежде всего за счет изгоняемой или добровольно выезжающей интеллигенции. В письмах содержится обильный материал для понимания причин духовной и нравственной несовместимости высшего культурного слоя России с новой властью.

В этих письмах проглядывает и еще одна, фактически не исследованная трагедия тех русских интеллигентов, которые остались в России после оттока огромных культурных сил на Запад, — трагедия «духовного вакуума».

«Ты спрашиваешь о друзьях; старых друзей нет — «иных уж нет, а те далече»; из знакомых старые и больше новые, но именно знакомства, которые не греют, так сказать, «души ничуть не шевелят»; а в общем, одиноко. Не скажу, чтобы молодое поколение было плохо, напротив, в старом, в наших сверстниках, обнаружилось за эти годы много непривлекательного; молодые чище, менее практичны, менее корыстны. Зато в молодых преобладают формальные интересы, не идейные или нравственные; на первом плане — т. наз. «научность», затем эрудиция; если теория литературы, то работает над изучением ассонансов или рифмы, или ритма прозы у Тургенева, и т. п., и дела нет ему до поэзии самой. Это мне скучно; все головастики» (письмо от 29 марта 1924 г.)⁵.

Письма к Льву Шестову и обратные письма философа к московскому другу пронизаны общностью страдания за судьбы отечества и русской культуры. Читая их, начинаешь понимать, что русская эмиграция, в сущности, носила скорее физический, нежели духовный характер. Власти вытеснили из России внешнюю оболочку русских интеллигентов, но душа их осталась в России и продолжала питаться ее

* Эпистолярное наследие М. О. Гершензона представляет огромный интерес не только для исследования интеллектуальной связи советской России и эмиграции, но и для понимания духовной жизни советского общества периода до 1925 года. В ЦГАЛИ находится несколько тысяч писем М. Гершензона, в том числе более 4 тыс. писем к матери и брату. Большая часть этого эпистолярного наследия почти неизвестна читателю.

нравственными и культурными корнями. Отрицание личности в новой России — вот один из главных источников эмиграции.

Это обстоятельство, кстати, интуитивно почувствовал и Федор Иванович Шаляпин, великий сын русской земли. Он никогда не был политиком и неоднократно заявлял об этом. Его оценки перемен носили не политический или социальный характер, а были вызваны оскорбленным нравственным чувством. И это чувство оскорбленной нравственности стало одной из главных причин его отъезда.

«Говорю совершенно искренне, я бы, вероятно, вообще остался в России, не уехал бы, может быть, и позже, если бы некоторые привходящие обстоятельства день ото дня не стали вспухать перед моими глазами, — писал он в книге своих воспоминаний «*Душа и маска*». — Материально страдая, я все-таки кое-как перебивался и жил. Если я о чем-нибудь беспокоился, так это о моих малолетних детях, которым зачастую не хватало того-другого, а то даже просто молока. Какие-то бывшие парикмахеры, ставшие впоследствии революционерами и заведовавшие продовольственными организациями, стали довольно неприлично кричать на нашу милую старую служанку и друга нашего дома Пелагею, называя меня буржуем, капиталистом и вообще теми прилагательными, которые полагались людям в галстуках. Конечно, это была частность, выходка невежественного партийца. Но таких грубых и невежественных партийцев оказывалось, к несчастью, очень много и на каждом шагу. И не только среди мелкой сошки, но и среди настоящих правителей...»⁶.

И в другом месте воспоминаний:

«Не будучи политиком, чуждый всякой конспиративности, не имея в душе никаких грехов против власти, кроме затаенного отвращения к укладу жизни, созданному новым режимом, я как будто не имел оснований бояться каких-нибудь репрессий и особенных, лично против меня направленных, неприятностей. Тем не менее, по человечеству, по слабости характера, я стал в последнее время чувствовать какой-то неодолимый страх. Меня пугало отсутствие той сердечности и тех простых человеческих чувств в бытовых отношениях, к которым я привык с юности... Жизнь с каждым днем становилась все официальнее, суше, бездушнее. Даже собственный дом превращался каким-то неведомым образом в „департамент“».

Так уже в самом начале становления новой власти великий художник тончайшим артистическим чутьем уловил

едва ли не главную опасность, которая со всей жестокостью и неумолимостью проявилась позднее, когда Ф. И. Шалапин уже жил за границей, — всеподавляющее огосударствление, тотальный контроль над малейшим движением жизни в стране, примат государства над личностью, коллективного над индивидуальным и в конечном счете зла над добром.

И уехавшие за границу, и те, кто остался, испытывали на себе разлагающее воздействие этого нового закона отрицания личности. Только переживали они это по-разному.

«Я страдал лично, страдал за бесчисленные чужие страдания, которые были кругом, — писал М. Гершензон Льву Шестову. — Весь физический ужас нашей революции я чувствую, наверное, не меньше тебя, уже потому, что я его видел в большем количестве, — я разумею кровь, всяческую насилие... Власть всякая делает свое дело всегда с кровью, но раньше (и в Европе) она работала за ширмами, теперь она у нас вся на виду, — колоссальная разница! Жизнь почти невыносима, когда изо дня в день видишь, как она стряпает свою стряпню. А нынешняя русская власть к тому же — из властей власть: сущность власти как закона беспощадного, отрицающего личность, и неизменный во все века спутник — вырождение закона в произвол отдельных персонажей власти — в ней выражены ярче, чем где-либо. И все это у тебя постоянно на глазах; вот что очень страшно» (письмо от 27 декабря 1922 г.).

Когда читаешь письма М. О. Гершензона другу в Париж, утверждаешься в мысли о справедливости постановки вопроса о двух эмиграциях: заграничной и «внутренней». В течение многих лет понятие «внутренняя эмиграция» у нас насыщалось резко отрицательным смыслом, весьма близким к понятию «внутренний враг». Становящиеся доступными документы, в частности переписка между деятелями культуры, оставшимися в России и уехавшими за границу, позволяют скорректировать это предвзятое представление. Духовно не покорившаяся, не принявшая насильственных методов идеологической «перековки» часть русской интеллигенции (так называемые «попутчики»), разумеется, не была врагом. В сущности, они были такими же изгнанниками, как и «полные эмигранты», но только изгнанниками, жившими под постоянной угрозой физического уничтожения, унижений, без возможности свободно творить и высказываться.

С этой точки зрения трагедия «старой» русской интеллигенции, оставшейся в России, была еще глубже, чем трагедия эмиграции. Нэп лишь временно улучшил духовную атмосферу. Появились возможности для ограниченного выражения свободных, альтернативных, как сказали бы сейчас, мнений. Говоря об этом периоде, А. В. Луначарский писал в статье «Очерк русской литературы революционного времени», что «в Петрограде имеется почти сотня частных издательств, в Москве — уже более трехсот. Выходит в свет очень много книг, издаются альманахи и журналы. Запретов для художественной литературы нет»⁷.

Для русской интеллигенции это был, конечно, вздох облегчения, но вздох кратковременный. В этот же период многие профессора университетов, известные писатели и поэты получают возможность вести независимую преподавательскую работу, печататься. Однако свободное изъяснение мысли было дозволено лишь в узкой сфере истории и литературы. Несколько бóльшие возможности имелись на периферии, куда рука крепнувшей цензуры еще не успела дотянуться.

В этом отношении характерны доэмигрантские страницы биографии поэта Вячеслава Иванова. С внешней эмиграцией он слился довольно поздно — лишь в 1924 году. С 1920 по 1924 год поэт жил с дочерью и сыном в Баку. Он вел преподавательскую работу, участвовал в создании университета. Периферия меньше обеих столиц пострадала от насилия над культурой. В крупных городах российской глубинки сохранились значительные культурные силы. Сталинская антикультурная борона прошла по ним позднее.

В первые годы советской власти провинция стала прибежищем для многих столичных светил. Среди местных комиссаров, ведавших культурой и идеологией, имелось немало светлых людей, еще не исковерканных ни страхом, ни чумой единомыслия. В письме М. О. Гершензону из Баку в декабре 1921 года Вячеслав Иванов пишет: «Жизнь моя занята кроме повседневных хлопот, им же числа нет, курсами (греч. литература, нем. романтизм) и семинариями (буколики Вергилия, Ницше как гуманист, Достоевский и Пушкин)... Наш факультет часто мечтает о Вас, как профессоре в нашей среде, и побуждает меня приманить Вас, но я знаю, что бесполезны попытки. Однако здесь жить легче, чем в Москве, и тепло, и не голодно»⁸.

Переписка Вячеслава Иванова и Михаила Гершензона была опубликована в 1921 году, когда поэт еще не уехал из России. Оформленная в книгу «Переписка из двух углов»⁹, она стала заметным явлением интеллектуальной жизни советской России и получила большой резонанс в среде русской эмиграции. Книга является важным источником для изучения психологии «внутренней эмиграции» и причин «культурной гемофилии», жертвой которой стала русская и советская культура. О ее ценности свидетельствует, в частности, тот факт, что она переведена практически на все европейские языки.

Эмиграция далеко не полностью понимала трудности интеллигенции в советской России. Несмотря на просачивающуюся информацию о гонениях и притеснениях, оценки давались с точки зрения старых, дореволюционных понятий, по старой шкале ценностей. В силу этого недопонимания эмиграция нередко бросала своим недавним единомышленникам упреки в приспособленчестве, в слабости духа, чуть ли не в большевизме. Потребовались время и тягостные откровения о судьбе интеллектуальной России конца 20-х — середины 30-х годов, чтобы признать эти ошибки. Даже Н. А. Бердяев, на своем собственном опыте познавший «прелести» новой власти, включая встречи с «Лубянкой», не избежал этой ошибки. В своей работе «Самопознание. Опыт философской автобиографии» он писал: «Я порвал отношения с моими старыми друзьями В. Ивановым и М. Гершензоном, так как видел в их поведении приспособленчество и соглашательство. Думаю сейчас, что я был не вполне справедлив, особенно относительно М. Гершензона»¹⁰.

В сущности же, разодранные в клочья русская культура и русская мысль продолжали жить единым духом. И на том и на другом берегу русской культуры, в Москве и в Париже, интеллект и нравственность несли свой крест, исполняли свою миссию сохранения для потомства священного огня русской культуры. Разница состояла в том, что эмигрантская культура жила на правах приживалки в чужом, холодном доме, а культура «внутренней эмиграции» влачила существование в подполье своего, но разграбленного и все больше приходящего в упадок.

Судьба русской интеллигенции чем-то напоминает судьбу дома, в котором после революции начались следовавшие одно за другим «уплотнения». Вначале его превратили в общежитие с неизбежным понижением общего уровня культуры, а затем и вовсе выселили хозяев,

и все свободное пространство заняли «лимитчики культуры».

С октября 1914 года Лев Шестов жил с семейством в просторной квартире на Плющихе (Новоконюшенный переулок, д. 14, кв. 3). «Квартира состояла из пяти комнат и была расположена на первом этаже деревянного дома. Она отапливалась двумя русскими печами. Во дворе дома был сарайчик, где складывались дрова. Окна передних комнат выходили на просторный двор, а из задних комнат открывался вид на церковь и церковный двор, необычайно красивые зимой, когда все было покрыто снегом»¹¹, — пишет в своих воспоминаниях дочь философа.

Оказавшись за границей, Лев Шестов, подобно большинству русских эмигрантов, мечтавших о возвращении, продолжает интересоваться своим излюбленным жилищем, спрашивает своего московского корреспондента о нем. 31 июля 1920 г. М. Гершензон отписывает ему: «...И прежде всего о вашей бывшей квартире, в которой мы как раз вчера были: ходили к С. Я. Игнатовой заказывать себе на зиму ковровые ботинки, которые они шьют... Живут Игнатовы, вся семья, и А. Е. Березовский с женой (в твоей комнате). Забор к улице сломан зимой на топливо, неуютный вид...»

Квартире Л. Шестова, можно сказать, повезло: там на первых порах поселились люди культурные, да еще и знакомые: И. И. Игнатов, бывший публицист «Русских ведомостей», друг Шестова (умер в 1921 г.), и семейство Березовских, родственников философа.

Однако не стесненность обстоятельств выталкивала русских интеллигентов за границу. Выталкивала общая атмосфера интеллектуальной инквизиции, невозможность независимо мыслить. Главные нарекания вызывали не скудость питания, не житейские неудобства, хотя, разумеется, и они играли роль, а исчезновение «тайной свободы», о которой говорил А. Блок. Не глад, не холод, не гражданская война раскололи русскую культуру — ее губителем было интеллектуальное, идеологическое насилие.

* * *

Отдавая дань уважения Западной Европе, в особенности Франции, приютившей большую часть изгнанников, эмигранты не раз говорили о «втором доме», о «новом

отечестве». Слова эти, по большей части искренние, отражали истинное положение вещей. Реже вопрошали о том, был ли этот дом счастливым, не стал ли он «домом, где разбиваются сердца». Подобной постановки вопроса русская эмиграция не любила — оттого, вероятно, что ответ на него не нес утешения.

И дело не только в том, что новое жилище, будучи для многих удобным и спокойным — во всяком случае, в сравнении с тем, что происходило в России, — оставалось «наемным», не родным, не наследным. Чужой казалась сама атмосфера «европейского дома».

Характеризуя интеллектуальную обстановку в Западной Европе первой четверти XX века, в период наиболее активной эмиграции, Николай Бердяев писал:

«Когда я оказался в изгнании на Западе, то застал интеллектуальную Европу, в преобладающих ее течениях, в состоянии реакции против романтизма и против XIX века вообще. Классицизм, объективизм, вражда к эмоциональной жизни, организованность и порядок, подчинение человека авторитарным началам вдохновляло интеллектуалов Западной Европы. Боялись более всего анархии в душах и анархии в обществе... Ответственным за всякого рода беспорядок был сделан XIX век, который был проклят. Реакция против романтизма особенно обнаружилась во Франции, и она уже началась давно. Романтизм был признан источником революции...»¹².

Русская либеральная интеллигенция, оказавшаяся в эмиграции, была одновременно и источником, и порождением революции. Она была «романтична» и, даже пострадав от революции, став ее жертвой и изгоем, несла в себе неизгладимые и неизлечимые следы этого революционного романтизма. Столкнувшись с прагматичной Европой, Европой порядка, организованности и закона, она, признавая формальные преимущества упорядоченного существования, тем не менее не принимала его сердцем. Сердцем она оставалась в проклятом и отвергнутом ею хаосе революционной России.

Даже на фоне кровавых катаклизмов России, понимая, что в огне революции гибнет ее религия — интеллектуальная свобода, русские интеллигенты, попав в Западную Европу, точно бы ощутили нехватку кислорода. Они уподобляли себя Герцену, бежавшему от кнута и рабства времен Николая I и не нашедшему желаемой свободы на цивилизованном Западе.

«Мы также ушли или были изгнаны из России, в кото-

рой воцарилось рабство духа и была истреблена свобода. И некоторую свободу мы на Западе вкусили. Но и это царство очень несовершенной свободы кончается, ее нет уже на Западе, мир все более поработается духом Великого Инквизитора»¹³. За этими размышлениями Н. Бердяева кроется характерное для эмиграции, во всяком случае для интеллектуальной ее части, понимание русской революции не как зла, а как трагедии. Оценивая происходящее в России, ужасаясь сталинскому террору, беззаконию, падению нравственности и культуры, эмигрантская интеллигенция в большинстве своем не отрицала революцию.

Характерно, что такое отношение к революции не только было свойственно старшему поколению интеллигенции, но и через нее передалось эмигрантской молодежи, возмужавшей и начавшей играть заметную роль в жизни русского рассеяния перед началом второй мировой войны. Взрыв патриотических чувств в среде русской эмиграции с началом войны и в особенности после нападения фашистской Германии на СССР не случаен — он вырос на революционном нравственном наследии, оставленном старшим поколением интеллигенции. Идеи «возвращенчества», охватившие молодую эмиграцию накануне и сразу после второй мировой войны, взошли на нравственных устоях отцов. Мысль Н. Бердяева о том, что «пореволюционная молодежь, в противоположность старой эмиграции, признала революцию и пыталась утверждать не дореволюционное, а пореволюционное»¹⁴, оказалась весьма плодотворной для идейной жизни эмиграции. Насаждаемые длительное время в нашей популярной литературе представления о врожденной контрреволюционности эмиграции не имеют достаточных оснований.

Даже такие деятели, как М. В. Родзянко, которого едва ли можно причислить к левой интеллигенции (в своих мемуарах он сам причисляет себя к монархистам; портрет императора Николая II до самой смерти бывшего председателя Государственной думы стоял на его столе), понимали, что революция была неизбежна и возврат к прошлому немислим. События, последовавшие после революции, он оценивал исключительно с позиций русского патриота, с точки зрения здравого историзма. В этом отношении показательны заключительные страницы его воспоминаний «Крушение империи», которые он закончил в 1924 году. Отвергая всякую возможность изменения судьбы отечества с помощью иностранной силы, М. В. Родзянко уповал

прежде всего на патриотическое единение русских людей. Звал он к единению и эмиграцию.

«Нам не на кого рассчитывать. А между тем есть ли согласие между нами? Всюду партийность и взаимное непонимание. Партийность может окончательно погубить Россию. Сейчас нам нужно быть ни правыми, ни левыми, ни социалистами, ни буржуями, ни монархистами, ни республиканцами — нам нужно быть прежде всего Русскими людьми, безмерно любящими Отечество свое и верующими в его силы, и, несмотря на все наше временное унижение, мы должны воспрянуть в духе уважения к себе, к своей национальной идее.

На нас, Русских людей, выпало тяжелое испытание обнаружить силу духа не только во внешней борьбе, но и во внутренней с собственным бессилием и равнодушием. Да сумеют русские граждане-патриоты выстоять до конца так же, как выстояли 300 лет Русские люди в ужасную и в то же время славную эпоху смутного времени иноземного нашествия, да найдут Русские люди в себе эту доблесть!..

К прошлому возврата нет и быть не должно, но Россия должна воскреснуть на основании горячего и безграничного чувства патриотизма, чувства любви к своей родной земле, чувства сознания необходимости вновь воссоздать, и в лучшем устройстве, нашу великую родину, памятуя, что в течение тысячи лет наши предки создавали ее путем горя, страдания и потоков крови, в цепях рабства и угнетения, в тяжких лишениях и несправедливости. И если последствия тяжких, грубых ошибок управления неправомерными взаимоотношениями граждан и иные им подобные причины нас довели до национального унижения, до оскорбления национальной гордости, — то пусть переживаемые нами страдания, горе и позор послужат источником очищения нас от этих пороков.

И пусть из этих страданий мы поймем, что только вокруг иных начал народной жизни может создаться мощное и сильное Государство»¹⁵.

Эмиграция отвергала не революцию, а извращение революции и ее демократических идей. Острая критика эмиграцией «советского образа жизни» носила, как правило, объективный характер.

Сейчас, когда мы научились наконец слушать нелюбимую правду о самих себе, когда «кривые зеркала» разбиты, нужно признать и то, что вызывавшая в свое время у нас такие обиды и приступы гнева критика со

стороны эмиграции была в основе своей справедлива. Освоить эту позитивную критику и извлечь из нее полезные уроки — одна из задач исследователей русской эмиграции. Даже самые острые и болезненно воспринимаемые нами книги, содержащие резкие оценки хода и последствий революции в России, такие, например, как «Новое средневековье» Н. Бердяева или «Окаянные дни» И. Бунина, несут в себе зерна истины. Поддаваясь подчас желчным настроениям и чувству обиды, будучи в иных случаях несправедливыми, их авторы в своем восприятии отечества следовали урокам великого русского мыслителя Петра Яковлевича Чаадаева. В свое время, отвечая критикам на обвинения в очернительстве (традиция такого рода упреков у нас идет издалека), он писал: «Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами... Я думаю, что время слепых влюбленностей прошло, что теперь мы прежде всего обязаны родине истиной»¹⁶.

Да, мы слишком слепо любили. Слепая влюбленность времен революционного романтизма потом была усугублена насильственным ослеплением одной части русской интеллигенции и принудительным изгнанием другой. Теперь настает время трезвой и очищающей правды. Время собирать разбросанные в гнев и безумии камни. Возрождающаяся русская история может, наконец, сказать правду о судьбах русской эмиграции.

Париж — Москва, 1972—1989 годы

ОТ АВТОРА

Когда-нибудь — и, вероятно, не в очень отдаленном будущем — о русской эмиграции будет написана большая, обстоятельная книга, та самая «золотая книга» русской эмиграции, о которой мечтал Георгий Адамович. Для этого потребуются труд многих авторов, ибо исчерпать одному этот трагический колодец памяти нет ни возможности, ни сил.

Уповая на этот будущий труд, я прошу всех читателей простить меня, дерзнувшего на первый, робкий шаг. Всеми силами души старался я не погрешить против истины, и огрехи этой книги проистекают не от умысла, а от несовершенства моих собственных суждений и памяти тех людей, с которыми мне пришлось встретиться.

Этим скромным трудом мне хотелось бы почтить память всех тех заметных и незаметных летописцев русской эмиграции, без чьих самоотверженных трудов и усердия была бы невозможна эта книга.

Михаил Осоргин

ПИСЬМА К СТАРОМУ ДРУГУ В МОСКВЕ

Париж, 12.5.1936

Под свежим впечатлением твоего письма отвечаю если не очень толково, то достаточно пространно. В том, что ты пишешь о «гуманизме», новости для меня нет, об этом говорено, переговорено и будет еще говорить без конца. Вообще имей в виду, что здесь, на нашей невольной воле, слышно все, что где-нибудь говорится и думается, — никаких для этого границ и застав не существует, и я, конечно, вполне в курсе и российской действительности (хорошего и дурного), и новой идеологии, которой ты, как живой человек, отдаешь законную дань! Но дело в том, что «нового под луной» вообще мало. Каждая эпоха считает себя и важнейшей, и необыкновенной, уверяя, что такого «не бывало», каждое поколение считает себя правым и самым мудрым! И однако мудрость говорит, что было и это, было и большее, а люди не поумнели и не стали счастливее. Жизнь всегда требовала «жертв искупительных» и всегда требовать будет: можно с этим мириться и можно против этого восставать — результат будет один. Ты под «гуманизмом» понимаешь какую-то слащавость («проливать горькие слезы»). В основе гуманизма настоящего не жалость, а гордость, уважение к человеку, и к себе и к другому, вообще к человеческому достоинству. Человек должен быть целью, но средством быть не должен. «Историческая перспектива», будто бы иногда оправдывающая то, чем гуманизм возмущается, — подобна всякой перспективе, в том числе и зрительной: она уменьшает отдаленное и преувеличивает близкое; и получается, что настоящее может оправдать прошлое. Для обывателя это достаточно — для философа слишком мало; мы обычно останавливаемся посерединке. Но свободный человеческий дух не мирится ни с постоянными, ни с временными узами, ни с вредным, ни с «полезным» насилием. Вот ты пишешь о фашизме. Сейчас фашизм во всех его формах — величайшее зло и огромнейшая сила. Зло — потому что отрицание человеческого достоинства, личной и общественной свободы, давление на совесть, возвеличение кулака и оружия. Сила — потому что он увлек и ародные массы, главным образом молодежь. И Гитлер, и Муссолини опираются на подавляющее большинство населения, и паразитического, и трудового; фашизм воспитал в людях скотское, тупое подчинение, свободу от мысли (думает

Включенные в эту книгу письма М. Осоргина составляют лишь незначительный пласт обширного эпистолярного наследия талантливого писателя и публициста. Часть его писем была издана отдельной книгой в 1952 году в изд-ве им. Чехова в Нью-Йорке. Подборка неизданных писем появилась в парижском журнале «Cahiers du Monde Russe et Soviétique». — Vol. XXV. — 1984. — № 2,3. Объем и задачи настоящей книги, к сожалению, не позволили достаточно широко представить литературное наследие М. Осоргина. Из парижской публикации писем мы позволили себе привести те, которые нам показались наиболее характерными для образа мыслей и нравственной позиции русского интеллигента, оказавшегося в эмиграции.

вождь) и от решений (решает вождь). Все идет к чорту — да здравствует спорт; к чорту наука — да здравствует техника; к чорту гуманизм — да здравствует моя раса, моя нация, моя страна. Фашизм гораздо страшнее и самодержавия, и буржуазного строя (с которым он только внешне соприкасается, но от которого весьма отличен). Недаром и Муссолини, и Гитлер оба называют себя революционерами, причем первый был, а второй и сейчас считается «социалистом». Во Франции фашизма нет, как нет и фашистов, типа итальянского или немецкого; но и французская молодежь такова же, как везде в Европе: желает быть стадом, за которое будет думать и решать пастух; из этих молодых людей выходят сносные юристы, врачи, техники, спортсмены, мужья, избиратели, депутаты, министры, но личностей нет. Новое поколение везде готово воевать, вернее — защищаться, так как нападать в Европе никто ни на кого не хочет, кроме Гитлера, глядящего на Восток, а вовсе не на Францию, и Муссолини, удовлетворившегося Эфиопией. Огромное заблуждение думать, что кто-то, кроме Гитлера, покушался на СССР! Почему о такой чепухе писали! Но немецкий паша на все способен.

Так вот, я и говорю, что против фашизма, положительно захватывающего прямо или косвенно всю Европу, бороться можно только проповедью настоящего гуманизма (если вообще какая-нибудь борьба возможна): чистого, без всяких ограничений и изъятий! Когда к ясному принципу начинают делать поправки и поправочки — идеи больше нет! В идеи святости, т. е. независимости, достоинства, неприкосновенности человеческой личности, никаких оговорок быть не должно. Моя «бесперспективность» принципиальна, я никогда не изменял идее ни по каким расчетам и соображениям. Ты пишешь: «Гуманизм в наше время неизбежно должен выродиться в слезливую слащавость, сентиментальность или в лицемерное ханжество. Время сейчас боевое, а на войне как на войне надо занимать место по ту или иную сторону баррикады». Я отвечаю на это, что пусть он лучше выродится в сентиментализм, чем в свою противоположность — в отрицание человеческой личности (как это и случилось везде). «Время сейчас боевое» — да! Правда, оно всегда боевое, потому что гуманизм всегда под угрозой. Мое место неизменно — по ту сторону баррикады, где личность и свободная общественность борются против насилия над ними, чем бы это насилие ни прикрывалось, какими бы хорошими словами ни оправдывало себя. Муссолини уверяет, что он защищает свободу внутри и вне Италии! В фашистском гимне поется: «Спасение нашей свободы в фашизме». Эфиопию раздавили «во имя борьбы против рабства». Гитлер на своем знамени пишет ту же свободу: «Свобода, равенство, братство» от великой революции докатилось до тюрем и монет: стали надписями. Дальше покатались по всем «культурным» странам, и теперь этими словами (во всяком случае двумя первыми) прикрывается всякое варварство, всякое насилие. Муссолини говорит от имени своего, своей страны и пролетариата (его последняя речь). Гитлер также говорит от имени пролетариата. У обоих с уст не сходит слово «свобода», оба твердят о социальной справедливости, о праве на труд, о принадлежности государства трудящимся, о представительстве профессиональных организаций в деле управления страной, о величии момента, о строительстве, о мире всех народов, об уничтожении рабства во всех видах, в том числе экономического. И все вожди лупят кулаками и подошвами несогласных с их выкриками, называя их насильниками и защищая от них страну, которая им аплодирует. У всех вождей один язык — только произношение различно. И идея одна: строить крепкую государственность, подавляя личность гражданина. Если вы думаете, что в Европе царствует капитализм и буржуазия, — глубоко заблуждаетесь! Это было и про-

шло; над Европой реет знамя так называемого «государственного социализма», который в переводе означает — тоталитарное государство: власть — все, личность — ничто, народ — стадо, которому нужен пастух и погонщик. Слово «социализм» — для красоты и для улады слуха дураков. При таких условиях выбора нет — гуманист знает о своем поражении и остается умирать на баррикаде «свободы без оговорок», «права личности без ограничений», уважения к человеку не в будущем, а в настоящем.

Ограничение гуманистической идеи «условиями времени» есть по существу чистейший либерализм и оппортунизм. В свое время у нас кадеты тоже допускали с ограничением условиями времени и тепленькую свободу, и легонькую конфискацию недвижимости, и постепенное участие народа в управлении. Мы же, революционеры, просто и без ограничений говорили, что человек должен быть свободным, совесть его — не стеснена, личность его — неприкосновенна, жилище его — недоступно наглому вторжению, право на труд — обеспечено, продукт этого труда не должен принадлежать капиталисту, как и продукт обрабатываемой им земли. За это люди боролись и умирали. И это были не сладенькие гуманисты, а истинные гуманисты, пусть наивные. Кое-чего эти люди добились, и теперь удовлетворенный обыватель, ссылаясь на «обстоятельства времени», просит их пообождать с дальнейшим, а несогласных переводит в разряд «искупительных жертв». Как отвратительна фраза Некрасова, никогда жертв не приносившего, а лишь ковавшего денежки на «гражданской скорби»! Как видишь, мой гуманизм не сладенький, а боевой. Но встает вопрос более страшный: стоит ли вообще все будущее, любой обещаемый земной рай одной пролитой капли крови ребенка (или итальянского солдата в Эфиопии, если так говорить проще)? Мой гуманизм не знает и не любит мифического «человечества», но готов драться за человека. С собой я готов пожертвовать, но жертвовать человеком не хочу и не могу. Лучше пускай идет к чорту будущее, в которое я, как мыслящий, верить не могу — не зря же мы учили и учим историю! Но тут мы уж никак не согласимся. Я идеи прогресса не принимаю, ни в природе, ни в человеческом обществе. Может быть, с этого было правильнее начинать — и говорить было бы не о чем. Идея прогресса для меня не обосновывается ни научно, ни логически, ни даже метафизически. И «приносить себя в жертву» можно не во имя будущего, а лишь по невозможности мириться с настоящим. Очень завидую тем, у кого есть в перспективе царство небесное и золотой век Астреи, но я в данном случае реалист. Поэтому и нет и не может быть у меня «исторической перспективы». Если я говорю о проповеди чистого гуманизма, то потому, что не могу не кричать против насилия; если поминаю павших в борьбе за человеческое достоинство и за свободу личности, то в них я уважаю и ценю не пожелавших жить под игом, — хотя могу ценить и мечтателей, даже если и не разделяю их мечтаний. Поскольку мне свойственно творить, я готов строить — пусть даже для будущего, я не о себе забочусь, — но строить Хеопсову пирамиду на человеческих костях не хочу. Мне шелудивый Ванька дороже его благородных потомков.

Твой Мих. Осоргин

Париж, 7.7.1936

Ты хочешь знать, кто я? Я, приблизительно, то, чем был и ты, как я тебя понимал. Я не переменял своих взглядов ни на личность, ни на

коллектив, ни на их взаимоотношение. Личность может быть целью, но никогда — средством. Коллектив имеет смысл лишь как общение свободных личностей. Вопрос о человеке должен ставиться глубоко. Нельзя считать человека только социальным существом, определяемым целиком обществом. Человек самоценен, и его духовные начала возвышают его над окружающим миром. Если, во имя коллектива, лишить его духовной природы, он не может быть активным, он делается ограбленным материальным существом. Я не только верю в соборное творчество, я его ищу. Но для соборного творчества нужна наличность многих условий: первое из них — полная свобода личности; второе — сговор свободных волей, единое духовное устремление. Малейшая стесненность моей личной свободы вызовет во мне отталкивание. Ради коллектива я откажусь от многого, — но откажусь сам, добровольно, а не по принуждению. И не из чувства «долга», а по естественному побуждению. «Чувство долга» — низкое, рабское чувство; Кантов нравственный критерий возбуждает во мне безразличность. Поэтому и соборное сотрудничество для меня возможно только в среде, мною избранной для меня, в которой я не буду ни командиром, ни подвластным. Художник иначе рассуждать не может, а смысл жизни в творчестве. И сама жизнь — посильное наше творчество.

Нельзя, конечно, так разговаривать, без темы и сюжета. Но я хотел кратко изложить тебе основу моего мировоззрения. Выводы ты сам сделаешь.

Мы с тобой говорили о гуманизме. Нельзя стремиться к полноте человечности, игнорируя социальную сторону человека и социальную борьбу. Поэтому мы, как гуманисты, не можем мириться с современными деспотиями, среди которых одна из наглеших — фашизм. Но, с другой стороны, социальный вопрос есть вопрос духовный, вопрос о судьбе человека и полноте человечности; а полнота человечности предполагает духовную жизнь, независимо от социальной среды, потому что человек — ценность, которая выше ценности общества, науки, государства; он — самоценность. В этом нет противоречия, но это значит, что кроме явных цепей есть много цепей скрытых, и часто словом «гуманизм» прикрывается деспотизм пущий.

Ужаснее всего, что гуманизм превратился в пережиток, в религию старцев; современная молодежь (я говорю об Европе) жаждет поведыря, который указывал бы ей пальцем в каждом житейском случае. Она решительно не хочет мыслить и готова предоставить это кому угодно, лишь бы этот человек (или эта партия) за нее думал и решал. Она поклоняется силе, команде, окрику, мускулатуре Муссолини, лакейским усикам Гитлера, девизу «цель оправдывает средства», резиновой палке, пулемету, воздушному флоту. Ей совершенно не нужно ни свободы, ни равенства, ни братства. Было бы просто, если бы Гитлер или Муссолини были деспотами, управляющими страной при помощи кучки негодяев; плохо то, что за ними огромное большинство их страны, в частности молодежь. Рабы приветствуют свое рабство, вот в чем трагедия! Она гораздо глубже, чем многие думают. За Гитлером не «капиталисты и буржуазия», а Германия! За Муссолини — Италия. А против них бесчисленные группочки идеалистов и гуманистов. Мир сошел с ума; предмет его помешательства — вождизм, нация, военная сила. Если вы этого не знаете, то вы ничего не знаете! Только в старой Франции еще жива и не бессильна демократия или, вернее, мелкая буржуазия (включая, конечно, рабочих). Во Франции пролетариата в нашем старом смысле очень мало; у редкого безработного нет сберегательной книжки, не говоря уже о работающих. Быть безработным значит быть вынужденным жить на капитал, прожигать кровные сбережения. Франция — страна

мелких капиталистов. И вот эти-то мелкие буржуа и защищают во Франции принципы демократии (под водительством миллионера Блюма). Франция боится фашизма, который лишит мелких собственников их сбережений, истратит их на военные авантюры. Она боится всякого покушения на собственность. Но если нынешний «социалистический опыт» не удастся, — ей, из двух диктатур, ближе всего грозит фашистская, это все сознают, в том числе и правительство.

Пишу тебе эти общеизвестные вещи потому, что иногда с удивлением убеждаюсь, как мало у нас знают Европу и как превратно, по-детски, толкуют события. Социальная эволюция совершается здесь в формах сложнейших и всюду различно. Потому столь различны и политические движения.

Твой Мих. Осоргин

Париж, 8.8.1936

В отношении к нашей стране между нами не может быть различия. Я люблю Россию не наивной любовью человека русской культуры, созданной поколениями идеалистов и реалистов. Я прожил за границей почти четверть века. Проклинаю и благодарю за это реалистов русской политики, по праву власти калечивших мою судьбу. Я не стал европейцем, просвещенным мещанином, крохоборцем и служителем полицейского культа. Но я знаю Европу, и потому люблю Россию: ты любишь ее, потому что не знаешь Европы, но зато ты, конечно, лучше меня знаешь СССР.

Почти двадцать лет вы живете за китайской стеной, не имея представления о том, что произошло в Европе в пореволюционный период. Я читаю все советские газеты с их процеженными сквозь цензурное сито сведениями, как стыдно, что вы — малолетние! Я живу в стране, где пресса коммунистическая совершенно свободна, как и партия, как и все остальные газеты и партии. Это тем хорошо, что я могу быть беспристрастным в оценках. И потому я радуюсь, когда вижу, что жизнь нашего Союза идет к расцвету, к материальному и духовному богатству. Во всем мире нет другой такой страны, в этом не может быть сомнения. Но, при всем необычном темпе развития, наша страна еще страшно отсталая; ее прекрасный новый человек лепечет складки. Больше всего поражает научная отсталость; за немногими (прекрасными, изумительными) исключениями, русские ученые — типичные гимназисты. Я просматриваю академические издания, отчеты о лекциях, восторги «достижений» и поражаюсь их малости и их наивности. Вот маленький пример из твоего письма — о «новой» системе воспитания коллективом беспризорных и «преступников». О том же мне писал Горький. 28 лет тому назад в Риме я принимал участие в работе знаменитого по тому времени «судьи Майетти», воспитывавшего беспризорных и преступных детей тем же самым методом пробуждения в них гражданского сознания участием в жизни коллектива, — с изумительными результатами. Я писал об этом тогда в «Вестнике воспитания». Но в той системе было все, кроме принудительности: двери приюта были настежь открыты днем и ночью, — уходи, куда хочешь. Вряд ли то же на Беломорском канале.

.....

Я предугадываю и отлично знаю все «оговорки» и «поправки», которые ты держишь в уме, читая эти строки. Сам за тебя их скажу. Ничто сразу не делается, никаких абсолютных свобод не существует и они не возможны; важно не то, что уже достигнуто, а то, в каком направле-

нии идут завоевания; когда создается счастье коллектива, личность не играет большой роли; ход прогресса зигзагообразен и прочее. Решительно то же самое говорится и здесь правителями буржуазного капиталистического государства, и они тоже правы. Я не пользуюсь здесь, как никто из граждан, такой неприкосновенностью личности, какую я проповедую; но за 25 лет никто к моей личности не прикасался, к жилищу также, к переписке также. Я говорю, пишу и печатаю решительно все, что хочу; и я, и любой француз, ругающий на чем свет стоит правительство, капитализм, буржуазию, полицию, религию, собственность. Сейчас, впрочем, правительство ругают именно буржуи и капиталисты, а защищают его коммунисты и социалисты, но это дела не меняет: свобода слова и печати остается. Вероятно, завтра все это полетит вверх тормашками, но пока существует, и уже давно. Не существует этого только в странах диктатуры: фашистских и СССР, в которых больше всего говорится о свободе и гуманизме. Оговорки везде одинаковы, слово в слово! Должны же мы иногда пытаться смотреть со стороны, с возможным бесстрашием! Вот я пытаюсь смотреть и не скрываю от тебя своих впечатлений. Они тяжки. Всякие «режимы» насильничают надо мной уже почти сорок лет — и просвета нет. И ты хочешь, чтобы я радовался и ликовал? Ты, честный труженик, которого я знал свободным мыслителем, социалистом, даже анархистом, — ты своими оговорками если не защищаешь, то извиняешь насилие, поешь в хоре рабов голосом раба, — чего мне еще ждать и на что надеяться! Стерegi свою яблоню, мой старый и дорогой друг, стреляй из ружья в нарушителей твоего права частной собственности, в беспризорных, еще не перевоспитанных по новой системе, в тех, чей «гарантированный» труд не дает возможности жить без кражи. Я предпочитаю стеречь те идеалы, которым всю жизнь служил и не могу изменить просто ввиду своего характера, а не как фетишам. Я не мог бы, как многие совписатели, лицемерными холопскими голосами каяться в «уклонах» и несоответствии генеральной линии. Это так противно, что даже Горький, которого не заподозришь в несочувствии советскому строю, писал мне однажды по этому поводу: «Стыдно за людей, которых я знал и даже уважал». Правда, он писал это пять лет тому назад.

И знаешь в чем дело? Дело в том, что вы нашли истину, ту самую, которую много тысяч лет ищут мыслители и художественные творцы. Вы ее нашли, записали, выучили наизусть, возвели в догму и воспретили кому-либо в ней сомневаться. Она удобная, тепленькая, годная для мещанского благополучия и выхода в новые дворяне. Нечто вроде христианства и православной церкви: оправдывает и человеколюбие и смертную казнь. Рай с оговорочками, выпуск по билетам, на воротах икона чудотворца с усами. С теми счастливыми, которые нашли истину, тщетно говорить языком ищущих, да и опасно, потому что реалист строго охраняет свою яблоню. Но я боюсь (или радуюсь), что идущая за нами молодежь слишком много слышала пышных слов, чтобы не уверовать хотя бы в часть их. И она доищется до подлинного и безоговорочного смысла таких слов, как «свобода», как «гуманизм», как «человек не должен быть средством». Я не меньше тебя верую в советскую молодежь и многого от нее жду, вот только распахнутся двери в иной мир и потянет свежим воздухом. Если Европа сумеет победить фашизм, на что надежды пока не много, она вряд ли удовлетворится вашим православием. Пока же — я охотно соглашусь — СССР — единственная страна великих возможностей. И мне больно и горько, что ты, законодатель и хозяин своей страны, не пускаешь меня туда и затыкаешь мне рот. Нечего делать — умру здесь.

Твой Мих. Осоргин

ПИСЬМА К ДРУЗЬЯМ В ГОДЫ ОККУПАЦИИ

А. В. БАХРАХУ*

25.2.1940

Ничего вы не потеряли, дорогой Александр Васильевич, оттого, что не читаете газет; за последние сто годов ничего не случилось замечательного, если не считать некоторых событий человеческой жизни; но людей на земле не так много, и они первой роли не играют. И вряд ли стоит говорить о таких путаниках. Я, к сожалению, вынужден читать газеты, в которых вынужден писать о «текущих событиях», а не о том, что больше меня интересует, например о прорастающих цветочных луковичках. Живу сейчас в Париже, но в апреле уеду снова в деревню.

Даже если ваше удовлетворение маршировкой уступит место другим неизвестным до сих пор наслаждениям, — сама перемена образов мира должна освежить и проветрить мозговые закоулки. Вы, собственно, на деле испытываете то, о чем должен мечтать всякий. Два выхода: или пересоздать жизнь личную, или коренным образом перекроить свое старое миропонимание, по крайней мере перестроить все методы и восприятия и оценок. Стало совершенно невозможным мерять мир прежним аршином и взвешивать на привычных весах. Так все спуталось и так заросло бурьяном, что успокоительной большой дороги больше не видно, а и было бы видно — она никуда не ведет; нужно протоптывать новые тропинки...

Кончится ваша солдатчина, и вы вернетесь в некий обывательский мир, новый, уже не тот, что был, если даже и похожий. И увидите так называемое будущее. Ради этого стоит продышаться! Вообще изумительная вещь это «ничего не известно». На наших глазах произошли такие перевороты в человеческой психике, что и землетрясение кажется пус-тяком...

У меня немало молодых друзей и призваны, и ушли добровольцами. Уже из «солдат» переименовываются в «капралов» и сержантствуют; некоторые в офицерских школах. Удивительно, что все пишут очень бодро: и не бодрятся, а по-настоящему довольны и сводят итоги протекших месяцев с духовной прибылью. Еще не призванные куда печальнее! Утомлены работой или безработицей, а главное, ответственностью, семейной и прочей. Очевидно, не мешает иногда не зависеть от себя и не быть ни в чем виноватым!

Буду ждать продолжения первой главы нового романа вашей жизни. И еще напишите, в чем нуждаетесь? Без малейшего труда устрою вам хотя бы небольшие посылки от одного из комитетов помощи. Во всяком случае ваш адрес туда передам.

Крепко вас обнимаю, дорогой, желаю здоровья, выдержки и доброй судьбы.

Мих. Осоргин

* Бахрах А. В. — эмигрант с 1920 года. Заметный в эмиграции литературный критик. Во время войны был мобилизован во французскую армию.

В. К. АГАФОНОВУ

Ницца

22.6.1941

Я приветствую всем сердцем ваше намерение учредить общество помощи русским. Меня считайте своим, но не нужно включать меня официально, не стоит по ряду причин серьезных. Все равно я всецело с вами. Все, что скажете, буду делать. Кстати, я в постоянных сношениях с комитетами помощи американским и швейцарским, и вам тоже нужно с ними завязать сношения. Швейцарцы много помогают, суммами покрупнее, а помощь американскую слишком, по-моему, дробят; ею здесь ведает Долгополов в По. Из Швейцарии идет через Кускову, которая была смертельно больна, но спаслась, только пока не владеет глазами. Она делала изумительно много, главный пункт помощи. Я думаю, что мы должны бы ограничить наши заботы кругом самых нам близких, и парижан и здешних. И писателям и журналистам все же приходит помощь довольно регулярная.

Мих. Осоргин

А. В. БАХРАХУ

22.6.1941

Милый Александр Васильевич, у меня не совсем в порядке голова, в связи с сейчас полученными известиями о делах российских. Как раз хотел писать вам о моем сочувствии вашим планам, но вот всякие планы отодвигаются, по-видимому, на немалый срок. Напишу вам в другой раз, когда будет сил больше. Устаю от работы, а теперь еще от внезапно наступившей жары. Рад, что вы обнаружили в Грассе, я думал, что вы уехали куда-нибудь, скажите мне откровенно, как ваши денежные дела? Если очень плохи, то я хоть что-нибудь да придумаю, хоть пустячок. ОТКРОВЕННО! Жду ответа. Простите, дорогой, что не в силах писать, а совсем не откликнуться не мог. Не считайтесь письмами. Ваш сердечно

Мих. Осоргин

А. В. БАХРАХУ

4.10.1941

Дорогой Александр Васильевич.

Итак — близится зима. Прошлую мы пережили сравнительно легко (физически и материально), хотя живем в хибарке с кирпичным полом без фундамента...

Завидую вам в том, что вам есть с кем общаться, притом с людьми крупного масштаба, а главное — есть с кем играть в шахматы. Я изредка играю сам с собой. Второй год я почти ни с кем не встречаюсь и не говорю (кроме *bonjour monsieur, bonsoir madame*), общаюсь только с рыбами, читаю только *Tribune de Genève* и *Petit Larousse*, да пишу книги на продажу в Швеции (две написал). Даже «в городе» не бываю (мы живем на окраине, за полкилометра до центра). Жить томительно скучно... Просвета, говоря откровенно, не вижу. Есть у нас 300 кило картофеля и 1 пакет табаку; было бы, кажется, легче наоборот.

Об «общих делах» и говорить не хочется. Утомительнее всего пла-

ванье в океане лжи; она растлевает мозг и поганит душу. Иногда мировая борьба кажется перебранкой кумушек, чем-то унизительно бездарным. Из «культуры» выживут, в сущности, только шахматы. И лучшее, что может сделать человеческая личность, это — спешно рокироваться. Поручаю вам поцеловать руку Вере Николаевне и пожать Ивану Алексеевичу* (не перепутайте!) и Зурову**. Кто еще там с вами? Я совершенно не знаю, кто и где находится на свете.

Обнимаю вас.

Мих. Осоргин

А. И. БАКУНИНУ

S-te Geneviève-des-Bois

15.10.1941

О большом, о том, что в мире происходит, думается произвольно, сама мысль бежит, а намеренно пытаюсь не думать. Невеселым рисуется мне будущее, да и не для нас оно; смотрю на него со стороны, не как живущая единица, а только как «свидетель истории». Свои представления о грядущем мы всегда строим по образцам прошлого, и выход из положения видим в возврате того, что нам было дорого; а жизнь катится путями новыми, нам чуждыми. Оглянись на далекое прошлое и подумай о том, как многого не было; столь же многого не будет. Не будет и нашей России, только останется земля, на которой она была в период нашей жизни. Уже ничего не остается от прежней культуры, и новое, что народится, нам заранее чуждо. И я не знаю, чего России желать, совершенно не знаю. Обидно и тяжело видеть ее сломанной чужой железной силой, хочется эту силу видеть взорванной и рассыпавшейся, отщепенца хочется, но все это — область личных ощущений, и я не уверен, что нужно этому колоссу оставаться целой глыбой; может быть, лучше ему рассыпаться и стать кусочной страной народов и народовцев, имевших недолгую общую историю. И о всей Европе не знаю, чего ей желать; если возврата к прежним границам, значит — к повторению и того, что теперь происходит. А что придумаешь новое? Куда денешь людскую лавину, все больше заливающую землю, этажи домов, лезущие друг на друга, человеческую нужду, которой не способна прокормить лысеющая и истощенная земля. Может быть, наши ближайшие потомки и перешагнут через этот вопрос, но в дальнейшем все равно станет необходимой какая-то грандиозная катастрофа, которая слизет начисто нашу культуру, как уже много культур слизала в истории, и потомки отдаленные, остатки людей, будут строить на расчищенном месте совсем новое; а впрочем — скорее всего повторять старое, только с временным простором, пока не придет время для повторной тесноты. Я ждал, что эта война окончится катастрофой поголовной и повсеместной, настоящим физическим уничтожением людей; но, по-видимому, техника убийств еще предела не достигла, еще нельзя одним нажмом кнопки или поворотом рычага сжигать тысячи квадратных километров и впахивать в землю камни и трупы; цивилизация еще не покончит с собой самоубийством, котел не взорвется. Тем хуже для тех, кто идет за нами, — их участь будет горше.

Вот так, от маленького личного и сегодняшнего уходишь в путаницу

* Речь идет о Буниных.

** Зуров Л. Ф. (1902—1971) — эмигрантский писатель.

мыслей о будущем. Нет, лучше не думать! Тютчев говорит: «Счастливы, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Покорнейше благодарим! А наш потомок, которому придется неизмеримо солонее нашего, скажет: «Господи, из-за таких пустяков они волновались! Из-за бомб, от которых можно было спрятаться под землю. Из-за сумасшедшего, который испоганил только часть земли и только не десяток лет. А вот пожили бы в мое время, в его роковые минуты».

М.

П. С. ИВАНОВУ

Париж
Янв. 1942

Дорогой Петр Семенович, вы — единственный из ближайших друзей, почтивший меня письмом, и настоящим, обстоятельным письмом, после долгого перерыва. Остальные нас основательно забыли. Не в обиду им говорю, потому что понимаю, как сложна и трудна жизнь и как мало времени остается для романтических чувств. Но мы так одиноки, и живем мы исключительно весточками от родных и друзей, и, конечно, чувствительны ко всякому оттенку отношений. Вот только еще милый Александр Иоакимович* пишет нам не редко то почтой, то оказией.

Татьяна Алексеевна просит — вместе с большим поклоном — передать вам, что при первой возможности вам что-нибудь пошлет. Но дело в том, что сейчас у нас «мертвый сезон», ни живности, ни сыру (kozy еще без молока), ни яиц, и даже овощи померзли. Посылать можно только с овощами, во избежание придинок и контроля, и только по железной дороге, так как почта перестала быть нам доступной; вы знаете, что с этой стороны почтой посылать продукты нельзя, а переправлять предварительно в вашу зону с оказией — дело сложнее, сейчас невозможное. Если удастся, то небольшую посылку, например курочку (когда будет), как-нибудь перекинем. Или могли бы еще посылать железной дорогой сразу вам и Мише**, на его адрес — если это вас устроит. Но все это нужно знать. Нужно знать и то, что посылать Мише, который несколько месяцев не писал. Обидно, что в свое время нам ничего не ответили о картошке, которую мы закупили для всех и многим разослали, всего свыше 700 кило, могли мы и больше достать. Но нам не возвращали мешков, не извещали о получении, а здесь мешок, корзина, веревочка, проволока, гвоздик — драгоценности едва находимые. Горстку гвоздей и моток проволоки я выписал из Лиона, где для этого люди стояли в очереди. Корзины чиню, срезая на берегу ивовые прутья, а «извозом» занимается Таня — катает на тачке корзины через весь городок на вокзал, привозит горы овощей с базара и с ферм. Целое предприятие. Отправлено за полтора года посылок 200 в разные стороны, не шутка. В этом, собственно, да еще в переписке вся наша жизнь и заключается. И только это искупает бессмысленность нашего здешнего пребывания.

В Ницце Старик*** с друзьями устроили маленькое «Общество взаимопомощи», даже хотят сделать его официальным, собирают немножко денег. Послали Мише недавно, да я через вас ему передал, — и нет от Миши даже подтверждения, о котором они просили. Посылают мне, чтобы об-

* А. И. Позняк.

** М. М. Тер-Погосян.

*** В. К. Агафонов.

ращать деньги в продукты и снабжать нуждающихся, что мы посильно выполняем. Пустяк, а молодцы. Ваш привет Старика и другим перешло. Относительно швейцарской помощи детям (для чего и выписывались фотографии) дело стоит слабо, так как Кускову, которая этим занималась (ее работа по помощи нуждающимся русским огромна), выселяют из Швейцарии с мужем; пытаются уехать в Америку. Они там жили без права, как туристы, а там сейчас всякие ограничения. А через нее присылала и распределяла помощь Америка, толстовский комитет, и помощь немалую. А мне присылают тоже из Америки порой очень крупные суммы, десятки тысяч, для рассылки разной бедноте малыми кушами от их родных. Дело сложное, и обычно маленькая наша почта даже неспособна мне выплачивать, прибегаем к разным комбинациям. Сейчас это пресеклось с выступлением Америки, и вряд ли я буду получать даже свои малые гонорары. Вот видите, в чем заключается наша жизнь.

Иногда пишет Сема*. Он много работает, и сверхурочно, и все, что остается от содержания семьи, отдает. Он и Ницца помогают ежемесячно Андрею Ивановичу** в Тулузе. С ним теперь делим расходы и по ежемесячным посылкам Сосинскому в его германский лагерь***, — самое наше большое удовольствие, как ни трудно добывать сладости и всякие консервы, все то, чего сами для себя не видим. Отличные выходят посылки, пятакиловые. Он в лагере переводчиком, раньше был в деревне. Писать нам может лишь раз-два в год, а жене пишет.

Адреса Новоселова и Емельянова получил. Про Емельянова писали нам, что он работает и управляется, а про Новоселова — что женился и нуждается; а выходит словно бы наоборот. В данную минуту средства иссякли, а как прибавятся — что-нибудь измыслим. Я считаю, что посылки лучше денег. Здесь все дешевле, и никакого «черного рынка» нет. Говорю не про города, а про наше местечко.

Мы живем по-прежнему, без нужды, и если порой подголодаваем, то просто по отсутствию сахара и по малости жиров, — когда сезон мертвый. Конечно, живность нам не очень доступна, но рыба есть и овощей изобилие. Есть и свой огородик. Скоро приступаем к «сельскому хозяйству».

Очень за Абрама**** обидно, больно и жутко. Я сейчас написал ему маленькое письмо, пошлю с этим, но не очень надеюсь, что можно ему передать. Хотелось бы, чтобы знал, что любим его и никогда не забываем. Хотелось бы посылать для него что-нибудь, но нужно знать, что и как, кому посылать. Могли бы и постоянно это делать. И денег не нужно для этого, — я довольно ему должен, наскребу. С радостью посылали бы.

Рыболовством сейчас не занимаюсь — река разлилась, кусты и деревья в воде, а лодкой на пограничной реке нельзя пользоваться. Но безрыбной стала наша река, и как-то внезапно, так что никто ничего поймать не может. Объясню тем, что усиленно вылавливали по случаю голодовки. Крючков небольшой запасец есть у меня, но нет (и ни в одной лавке нет) самых ходких, нн. 14 и 15. Лески еще можно достать, только черные («черепаха»), весьма, по-моему, непрочные. Плохо с жилками, а монтированных крючков совсем нет или непомерно дороги. Монтирую сам. Очень жду, когда можно будет опять часами сидеть на берегу, у меня тогда перестанет перебиваться сердце и болеть грудь. Вообще здоровье не важно — стали мы худые оба. Больше от тоски.

* С. А. Луцкий.

** А. И. Каффи.

*** В. Б. Сосинский — доброволец, ранен, оказался в немецком лагере.

**** А. С. Альперин, арестован немцами в Париже.

Ни в карты, ни в шахматы играть не с кем, ни разу не играл. Решаю порой задачки, да раскладываю по вечерам пасьянсы. Французы здесь хороши и милы к нам, но компании водить не с кем, и я почти не выхожу из дому — только на речку, которая тут же за нашим огородом. Вот когда «линия» изменится (что, кажется, возможно) — приезжайте к нам. Тогда и лодку добудем — граница уничтожится.

Ну, мой дорогой, будьте здоровы и спасибо, что написали нам. Может быть, размахнусь на письмо сразу всем — всем друзьям, тогда вам перешлют. Есть что сказать, да не знаю, сумею ли.

Обнимаю вас.

Ваш М. О.

В. К. АГАФОНОВУ

Ницца

27. 6. 1942

Вот что хочу вам всем сказать. Везде живут плохо, но хуже всего в лагерях, откуда я получил уже немало писем от неизвестных людей, главным образом, конечно, от национально обездоленных. Было бы очень важно и нужно официально испросить право на учреждение общества помощи русским интеллигентам во Франции и хоть немного заняться лагерями. У меня даже зародилась мысль лично испросить разрешение посетить лагеря в моем качестве иностранного корреспондента, но боюсь, что не добиться. Я вступаю на днях в Союз иностранных корреспондентов в Виши (отказали было, но там нашлись люди, отстаившие мои права, и я уже включен). Это даст право свободных поездок и, может быть, даст некоторую защиту от провинциальных идиотов, сующих нос, куда не спрашивают. Все же я пишу для Америки, Швеции и Швейцарии. Но не во мне дело. Я так и не знаю, осуществили ли вы намерение поставить дело помощи на официальную ногу? Если да, то теперь я согласен на включение и меня в члены Общества; даже попрошу удостоверения от Общества, чтобы объяснить количество отправляемых посылок нуждающимся, а то нас хотят притеснить. Вообще очень хочется, мой милый Старик, чем-нибудь оправдать существование, не пропадать здесь зря и без пользы. Вот только мои физические силы не соответствуют желаниям, иногда с утра уже чувствую себя усталым до крайности, едва способным шевелиться и писать.

Ладно, пока все в порядке. Делайте доброе дело, мы, как можем, помогаем. Сейчас послали посылочку пленному — пальчики облизнешь! И шоколад, и другие сладости, и табачок. Целый месяц копили и раздобывали. Это уж наше личное дело, и любимое. Жаль бедного Володю Сосинского. Стал присылать этикетки чаще. Не сладко русскому в немецком плену.

Ты обещал пачку зелья; грешный человек — жду. Очень мне тяжело сидеть на мяте, розовых лепестках и прочей зелени — с души воротит. Главное — работать невозможно.

Мих. Ос.

**ИЗ ХРОНИКИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ ВО ФРАНЦИИ.
Год 1930-й***

1 января. Интимный театр Д. Н. Кировой. Спектакль для детей «Сказка о поющем дереве, птице-говорунке и живой воде» князя Касаткина-Ростовского.

Спектакль играется в школе Рудольфа Штайнера.

3 января. Студенческий клуб. Собрание литературного кружка. Ю. К. Терапиано читает доклад «О классицизме, о Пушкине, о поэте».

5 января. Интимный театр Д. Н. Кировой. Повторяется спектакль «Соколы и вороны» князя Сумбатова (Южина).

6 января. Союз молодых поэтов. Прения по докладу Г. А. Раевского «Психологические типы». Участвуют И. Голенищев-Кутузов, Б. Поплавский, Ю. Терапиано, В. Яновский и др.

8 января. Русская консерватория. Лекция Н. А. Шамие «Искусство трубадуров, труверов, миннезингеров и мейстерзингеров. История средневекового театра».

9 января. Сорбонна. А. Я. Левинсон приступает к чтению курса на французском языке «Личность и труды Достоевского» (по четвергам).

Литературное объединение «Кочевье». Очередной вечер. М. Слоним читает доклад «Советская литература в 1929 году». После доклада прения.

Тургеневское общество. Публичная лекция проф. В. Н. Сперанского «Современная преступность».

Собрание членов «Русского очага». Доклад инженера Э. Б. Войновского-Кригера на тему «Роль и значение русской эмиграции». Большой салон Правого берега.

10 января. Студенческий клуб. Собрание литературного кружка. Ю. В. Мандельштам читает доклад «Предвестники символизма (Лермонтов — Тютчев)». В прениях принимает участие поэт Борис Поплавский.

11 января. Союз молодых поэтов. Литературный вечер. В. Яновский читает отрывки из выходящей на днях своей повести «Колесо». Стихи читают: И. Голенищев-Кутузов, Ир. Кнорринг, В. Мамченко, Ю. Мандельштам, Б. Поплавский, В. Смоленский, Ю. Софиев, Т. Штильман.

12 января. Объединение русских адвокатов. Литературно-музыкальный вечер с участием Саши Черного (святочные «солдатские» рассказы). К. Майер прочтет несколько своих рассказов. В помещении Тургеневского общества.

Открытое собрание Русского философского общества. Г. Д. Гуревич

* Хроника культурной жизни русской эмиграции за 1930 год проводится по материалам обширного исследования, проведенного Центром по изучению отношений славянского и западного мира при университете Клермон-Ферран (Франция). Составитель хроники, охватывающей период 1920—1930 годов, — Мишель Бейсак [La vie culturelle de l'émigration russe en France. Chronique (1920—1930) Michèle Beyssac. — Presses universitaires de France. — P., 1971].

читает доклад на тему «Новая ориентация феноменологической философии М. Гейдеггера».

14 января. Интимный вечер для ближайших сотрудников и служебного персонала редакции газеты «Последние новости» и рекламного агентства «Метцель и К⁰». К. О. Скокан читает рассказы М. Зощенко «Актер» и «Русский язык» Тэффи. Ряд пародий.

15 января. Семинар по теории и философии права. Доклад проф. Сперанского на тему «Религиозно-политическое мирозерцание Достоевского и философия права Соловьева». Институт славянских исследований.

16 января. Франко-Русский институт. А. М. Лазарев: «Проблемы новейшей философии» (по четвергам).

Литературное объединение «Кочевье». Вечер, посвященный роману И. Болдырева «Мальчики и девочки». Вступительное слово скажет писатель Гайто Газданов. Географическое общество.

Юношеский клуб. Драматический вечер. Сцены из «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. В помещении Международного общежития студентов.

Спектакль при участии младшего отделения кружка девочек РСХД*. Ставится «Майская ночь» Гоголя.

17 января. Студенческий клуб. Литературный кружок. Вечер устной критики книги Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Вступительный доклад — С. В. Котырло.

Лекция итальянского профессора Э. Ло Гатто на тему «Италия в русской литературе». В помещении Французского коллежа.

18 января. Студенческий клуб. Диспут на тему «Что может сделать для России рабочая молодежь в эмиграции?».

С. Г. Сватиков в связи с чествованием 175-летия Московского университета читает лекцию «Московское студенчество в прошлом (1755—1917 гг.)». В помещении Общества социальной экономики.

19 января. Интимный театр Д. Н. Кировой. В первый раз дается пьеса Шпажинского «В старые годы». Режиссер спектакля К. В. Сафонов.

20 января. Тургеневское общество. Литературный вечер. Ю. К. Терапиано читает доклад на тему «Спор Блока и Гумилева». Во втором отделении М. В. Багрова читает стихи Гумилева.

21 января. К 175-летию Московского университета. Союз русских адвокатов за границей проводит собрание. Доклад читает Е. А. Ефимовский.

22 января. Инициативная комиссия по учреждению Клуба русских евреев в Париже устраивает открытое собрание. М. Ю. Берхин делает доклад о задачах еврейской интеллигенции. В помещении кафе «Вольтер».

24 января. Религиозно-философская академия. Возобновляется чтение курса о русской духовной культуре XIX века. Н. А. Бердяев читает лекцию на тему «Русский анархизм. Бакунин. Народничество. Михайловский. Лавров».

Торжественное собрание в связи с юбилеем Московского университета. Президиум юбилейного комитета: М. М. Федоров, д-р Зернов, проф. Алексинский, В. К. Агафонов, ген. Ельяшевич. Ораторы: В. А. Маклаков, проф. Леера, декан парижского филологического факультета, и П. Н. Милюков.

25 января. Сорбонна. Барон Н. В. Дризен приступает к чтению курса по истории русского театра на рубеже XIX и XX веков (на

* Русское студенческое христианское движение.

французском языке) (по субботам). Первая лекция: европейский театр, театр Антуана, майнингейцы и влияние их на русский театр.

Союз молодых поэтов. И. Н. Голенищев-Кутузов читает доклад на тему «Лирика Вячеслава Иванова». После доклада прения.

РСХД. Доклад д-ра Ф. Миллера на тему «Единство духа и вселенность».

26 января. Второй открытый вечер литературного объединения «Числа», посвященный Розанову. Вечер начинается докладом Б. Ф. Шлецера. В прениях принимают участие Г. В. Адамович, Н. А. Бердяев, гр. Ал. Салтыков, Л. Шестов, а также ряд виднейших французских писателей и мыслителей. Доклад и прения на французском языке.

Концерт-бал Московского землячества. Е. Н. Рощина-Инсарова читает стихотворения Пушкина о Москве.

27 января. Семинар по изучению русской религиозной мысли начала XX века. Доклад Н. А. Бердяева «История религиозной философии начала XX века».

28 января. Литературные русско-французские собеседования. Очередное открытое собрание. Вступительное слово: со стороны русских проф. Н. К. Кульман — о внутренней драме Л. Толстого; со стороны французов Станислав Фиме — о духовной роли Л. Толстого. В последующем обмене мнениями обещали принять участие Александр Арну, Н. А. Бердяев, Жорж Бернанос, Б. П. Вышеславцев, Б. К. Зайцев, К. И. Зайцев, Рене Лалу, Андре Лихтенберже, Жан Максанс, Габриэль Марсель, Анри Массис, Марсель Соваж, Андре Пьер, Ю. Л. Сазонова, М. Л. Слоним, Н. А. Тэффи, М. И. Цветаева, М. О. Цетлин и многие другие представители парижского литературного мира.

29 января. Семинар по теории и философии права. Доклад проф. П. А. Михайлова на тему «Достоевский и преступники». Институт славянских исследований.

30 января. Литературное объединение «Кочевье». Вечер устного журнала «Кочевье». Поэма А. Ладинского, рассказ Г. Газданова, статья М. Слонима, В. Фохта, А. Шеметова, литературная хроника. В помещении Географического общества.

31 января. Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева «Религиозный характер русской литературы. Гоголь, Тютчев».

1 февраля. Союз молодых поэтов. Вечер открытого чтения и разбор стихов.

Беседа по русской культуре, устраиваемая Народным университетом, посвященная А. П. Чехову. В 1-м отделении проф. Н. К. Кульман делает доклад на тему «А. П. Чехов, его жизнь и творчество». Во 2-м отделении артисты Московского художественного театра М. А. Крыжановская и Н. П. Асланов прочтут сцены и отрывки из произведений Чехова.

Студенческий клуб. Доклад Г. С. Серикова на тему «Они».

Группа русских студентов-эмигрантов в Нанси устраивает празднование 175-летия Московского университета. В программе: вступительное слово А. Мироглио, 1-е действие пьесы Л. Андреева «Гаудеамус», лекция проф. Д. Одицца «Москва и Московский университет».

3 февраля. Тургеневское общество. Литературный вечер. Ю. В. Мандельштам читает доклад о Тютчеве. Во 2-м отделении Н. К. Васильчикова прочтет стихи Тютчева.

Организационное собрание Крымского землячества во Франции. Вечеринка с литературно-вокальной программой. В помещении Земгора.

5 февраля. Семинар по теории и философии права.

6 февраля. Литературное объединение «Кочевье». Б. Закович читает доклад о С. Есенине.

7 февраля. Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева «Лев Толстой и религиозный кризис».

8 февраля. Союз молодых поэтов. Литературный вечер. 1-е отделение: Ю. Мандельштам читает рассказ «Неудача», И. Голенищев-Кутузов — отрывки из драмы «Марко Королевич». 2-е отделение: читают стихи А. Дураков, И. Кнорринг, Ю. Роголя-Левицкий, В. Смоленский, Ю. Софиев, И. Станюкович, Е. Таубер, Т. Штильман.

Союз преподавателей древнееврейского языка в Париже устраивает большое траурное заседание по случаю 3-й годовщины смерти еврейского философа Гахада Гаама.

9 февраля. Интимный театр Д. Н. Кировой. Премьера новой пьесы И. Сургучева «Игра». Режиссер К. В. Сафонов.

Публичное собеседование, организованное группой сторонников авангардных театров. Доклады Ж. Питоева и Б. Кремье. Выступление Людмилы Питоевой. В помещении Художественного театра.

13 февраля. Литературное объединение «Кочевье». Вечер советских новинок: отрывок из нового романа Л. Леонова, глава из повести Ал. Толстого «Петр Великий», стихотворения Пастернака и Багрицкого.

14 февраля. Студенческий клуб. Собрание литературного кружка. Георгий Адамович читает доклад «Русский символизм».

Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева «Достоевский. Русский мессианиззм».

15 февраля. Лекция барона Н. В. Дризена «Русская драматическая литература». Вечер в Марселе, посвященный юбилею Московского университета.

16 февраля. Общество «Франко-русский менестрель» (бывшее объединение «За самоваром») устраивает 1-е семейное литературно-музыкальное утро. Исполняется «Хирургия» А. Чехова.

РСХД. Открытое собрание в память покойного князя Г. Н. Трубецкого по случаю сорокового дня его смерти. Со словом и речами выступают митрополит Евлогий, протоиерей С. Булгаков, проф. А. В. Карташев, Н. Н. Львов и др.

17 февраля. Тургеневское общество. Литературный вечер. Рассказы и стихи. Участвуют Г. Раевский (рассказ «Священник из Эрки»), Д. Кнут, Ю. Мандельштам, В. Смоленский, Ю. Терапиано, Е. Шах.

20 февраля. Литературное объединение «Кочевье». Обсуждение недавно вышедшей книги стихотворений Семена Луцкого «Служение». Вступительное слово Вадима Андреева. Автор читает свои стихи. В прениях участвуют А. Ладинский, Б. Поплавский, М. Слоним, Б. Социнский и др.

Тургеневская библиотека. Чтение для детей. Проф. Ф. Сватиков рассказывает о русской деревне и читает Некрасова: «Дедушка Мазай и зайцы», «Генерал Топтыгин».

Первое заседание организационного комитета по устройству Дня русской культуры во Франции в 1930 году. Кроме текущих дел намечено обсудить вопрос о создании Лиги русской культуры.

21 февраля. Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева «Н. Данилевский. К. Леонтьев. Кризис славянофильства».

22 февраля. Сорбонна. Лекция барона Дризена «Императорский театр в конце XIX века. Выдающиеся русские актеры. Роль Дягилева».

Студенческий клуб. Доклад Л. Липеровского и диспут на тему «Мир без Бога».

23 февраля. Объединение русских адвокатов. Музыкально-литературный вечер. К. Л. Дружинин читает «Веселые рассказы».

РСХД. Спектакль отдела девочек. Постановляется пролог и два акта пьесы Беляева «Псиша» под рук. О. В. Барановской.

Семейная вечеринка с докладом о. Езерского и прениями. Чтение русских авторов, музыка.

25 февраля. Литературные франко-русские собеседования. Очередное открытое собрание. Организаторы Робер Себастен и Всеволод Фохт. Вступительное слово о Марселе Прусте и его творчестве скажут Робер Оннерт и проф. Б. П. Вышеславцев. В последующем обмене мнениями согласились принять участие Александр Арну, Н. А. Бердяев, княгиня Бибеско, Андре Моруа, И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Рене Лалу, Бенджамин Кремье, проф. Н. К. Кульман, Леон-Пьер Кэнт, Жан Максанс, Андре Мальро, Габриэль Марсель, Марсель Соваж, д-р Робер Пруст, Андре Пьер, Ю. Л. Сазонова, М. Л. Слоним, Н. А. Тэффи, Станислав Фюме, М. И. Цветаева, М. О. Цетлин и многие другие видные представители парижского литературного мира.

26 февраля. Драматической студией Юношеского клуба ставятся «Мертвые души» Гоголя. Постановка артиста Московского художественного театра Н. П. Асланова. Литературная консультация М. А. Осоргина.

Семинар по философии и теории права. Доклад Г. Д. Гурвича «Социальная философия Х. Краузе».

Клуб русской национальной молодежи. Доклад Н. Н. Русского «Личность и государство».

27 февраля. Литературное объединение «Кочевье». Литературный вечер, посвященный творчеству Алексея Ремизова. Вступительный доклад Бронислава Сосинского. В прениях участвуют Г. Газданов, Ф. Грецищев, И. Голенищев-Кутузов, И. Козлок, Н. Оцуп, М. Слоним, М. И. Цветаева.

Тургеневская библиотека. Чтение для детей. С. А. Брут рассказывает «Детство Никиты» А. Толстого.

28 февраля. Студенческий клуб. Доклад Георгия Раевского «Психоанализ и творчество».

Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева на тему «Философия в духовных академиях. Богословская мысль. Бухарев, Несмелов, Тареев».

1 марта. Студенческий клуб. Очередной религиозно-философский диспут на тему «Учение Л. Н. Толстого ничего общего с христианством не имеет». Вступительное слово проф. В. Н. Ильина.

2 марта. Новый русский театр драмы и комедии. Открытие спектаклей пьесой Рышкова «Змейка».

Объединение русских адвокатов. Литературно-музыкальный вечер. «Воспоминания адвоката» — П. С. Ширский. Концерт.

Спектакль Союза национальной молодежи в Гренобле. Водевиль «Приемный день» Лисенко-Конюча, драматические шутки А. П. Чехова.

5 марта. «Зеленая лампа». Впервые в этом году открытое собрание. Зинаида Гиппиус читает доклад «Отчего нам стало скучно?». В прениях выступают Г. Адамович, В. Злобин, Г. Иванов, Д. Мережковский, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Н. Рейзини, М. Цетлин.

6 марта. «Кочевье». Литературный вечер, посвященный разбору романа Гайто Газданова «Вечер у Клэр». Вступительное слово М. Слонима. В прениях участвуют Н. Рейзини, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Б. Сосинский, В. Фохт.

Юношеский клуб. Лоллий Львов читает доклад «Древнерусские сказания Смутного времени».

Тургеневская библиотека. Рассказы для детей Куприна читает Н. Иорданский.

7 марта. Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева на тему «Владимир Соловьев. Религия Богочеловечества. Апокалипсические настроения».

Студенческий клуб. Мария Левинтова читает доклад о русской эмигрантской печати в Париже.

8 марта. Союз молодых поэтов. Ю. Мандельштам читает доклад на тему «Парнасское начало и лирика». В прениях: Г. Адамович, И. Голенищев-Кутузов, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Г. Раевский, Ю. Терапиано.

Студенческий клуб. Диспут на тему «Был ли Розанов христианином?».

Театр драмы и комедии. Для второго спектакля идет «Ревность Арцыбашева».

9 марта. Религиозно-философская академия. Открытое заседание. В. Н. Ильин читает доклад на тему «О демоническом в искусстве». После доклада прения.

Собрания русских адвокатов. Доклад проф. В. Н. Сперанского «Проблема смертной казни». Краткая программа: религиозно-философская сторона вопроса; апология палача прежде и теперь; смертная казнь и революция; трагедия Временного правительства; самосуд и высшая мера социальной защиты; террор правый и террор левый. Тургеневское общество.

Интимный театр Д. Н. Кировой. Повторяется «Ревность».

Концерт-утренник писательницы княгини О. Бебутовой.

10 марта. Русская секция университетских женщин. Г-жа Левинтова делает доклад «О журнализме и школе журналистики при Высшей школе социальных наук».

13 марта. «Кочевье». Литературный вечер, посвященный книгам о войне. Ант. Ладинский читает доклад о книге Э. М. Ремарка «На Западном фронте без перемен», Н. Рейзини — о книге Л. Ренна «Война», Вс. Фохт — о книге Р. Доржелеса «Деревянные кресты». После докладов прения.

Юношеский клуб. А. Черный читает апокрифы Лескова в ознаменование 35-й годовщины со дня смерти писателя.

Тургеневская библиотека. Рассказы для детей: «Рикки-Тики-Тави» Р. Киплинга.

14 марта. Студенческий клуб. Ю. Терапиано повторяет доклад на тему «Спор Блока и Гумилева».

Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева «Розанов и религия пола. Н. Федоров и религия воскрешения».

15 марта. Сорбонна. Проф. Г. Д. Гуревич приступает к чтению курса на французском языке «Проблемы современной философии».

Студенческий клуб. Доклад проф. Б. П. Вышеславцева на тему «Эпикурейство и его отзвуки в современной жизни».

Театр драмы и комедии. Пьеса Зудермана «Родина».

16 марта. Объединение русских адвокатов. Литературно-музыкальный вечер.

1. Слово проф. В. Н. Сперанского «Мария Башкирцева».

2. Коцертное отделение.

Утренник франко-русского общества «Менестрель». Лекция г-на Рено «Великие утописты. Оуэн и Фурье». На франц. языке.

17 марта. Литературный вечер, посвященный произведениям Чехова, Осоргина, Зошенко. Читают артисты МХТ М. А. Крыжановский и Н. П. Асланов и их ученики по драматической студии Юношеского клуба.

18 марта. Политическая беседа, устраиваемая редакцией журнала

«Воля России». М. Слоним читает доклад на тему «Преодоление эмиграции».

19 марта. Лекция Н. Любимова «Русская культура» на англ. языке. В зале американской церкви.

20 марта. Доклад Всеволода Фохта «Борис Зайцев».

Вечер памяти В. Ф. Комиссаржевской.

Русское философское общество. Открытое собрание. Доклад В. Н. Ильина «Основные проблемы философии природы».

21 марта. Литературное объединение «Зеленая лампа». Открытое собрание. Георгий Иванов прочтет доклад на тему «Шестое чувство» (о символизме и судьбах поэзии). В прениях участвуют Г. Адамович, И. Бунин, В. Злобин, Д. Мережковский, К. Мочульский, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Н. Рейзини, М. Слоним.

Религиозно-философская академия. Доклад Н. А. Бердяева «Течение в русской философии. Течение в искусстве. Возникновение эстетизма в конце века».

22 марта. Сорбонна. Лекция барона Н. В. Дризена «Новаторы в театре. Мейерхольд, Евреинов, Гордон Крэг и его театр марионеток».

Русская академическая группа. Доклад приват-доцента Г. Лозинского «Россия в памятниках средневековой французской литературы».

Первый спектакль Русского артистического союза в Монтаржи. Ставятся «В первый день праздника», инсценировка по Мясницкому, «Любовь испанки», комедия в трех действиях Гри. В театре «Ютчинсон» в Монтаржи.

23 марта. Интимный театр Д. Н. Кировой. Вечер памяти В. Ф. Комиссаржевской. Дается одна из любимейших пьес покойной артистки «Огни Ивановой ночи» Зудермана. Перед началом спектакля торжественное заседание в память великой актрисы. В составе комитета по проведению вечера: С. Яблоновский, Н. Тэффи, поэт князь Ф. Касаткин-Ростовский. Режиссер А. М. Коралли-Торцов.

24 марта. Семинар Н. А. Бердяева на тему «Проблема человека и человеческого творчества в русской религиозной философии XX века».

25 марта. Литературные франко-русские собеседования. Очередное открытое собрание. Вступительное слово на тему «Творчество и влияние Андре Жид» скажут Луи Мартин-Шофие и Георгий Адамович. В обмене мнениями участвуют А. Арну, И. Бунин, Б. Зайцев, Л. П. Кент, Н. Кульман, Р. Лалу, Жан Максанс, А. Мальро, Г. Марсель, А. Моруа, Ю. Сазонова, М. Слоним, Н. Тэффи, А. Тэриу, С. Фюме, М. Цветаева, М. Цетлин.

Собрание «Воли России». Продолжение прений по докладу М. Слонима «Преодоление эмиграции».

27 марта. Литературное объединение «Кочевье». Литературный вечер. Устный журнал «Кочевье» № 2. Содержание: стихи Вадима Андреева и Бориса Поплавского, рассказ Бронислава Сосинского «Трус», статья М. Слонима «Первая книга "Чисел"», дружеские пародии С. Луцкого. Новости французской литературы.

Юношеский клуб. Общее собрание членов. Доклад о путях клуба делает В. В. Зеньковский.

Тургеневская библиотека. Для детей С. Г. Сватинов читает русские народные сказки.

28 марта. Религиозно-философская академия. Н. А. Бердяев читает последнюю лекцию курса этого года «Влияние Ницше. Русский марксизм и возникновение идеализма. Кризис мирозерцания интеллигенции».

Союз молодых поэтов. Доклад Г. Раевского «О конце искусства». В зале Общества ученых.

Студенческий клуб. Доклад М. Каллаша (М. Курдюмова) на тему «Большевизм и православие».

Доклад проф. В. Н. Ильина «Библия и наука». Группа русских студентов в Нанси.

30 марта. Собрание литературного кружка Общества ревнителей военных знаний. Повестка дня: 1) содержание военного журнала кружка № 4; 2) полковник Моразов прочтет свою брошюру «Так было»; 3) сотрудник журнала Н. Моллериус читает главу из своей книги «Путь счастья и силы».

Союз национальной молодежи в Гренобле. «Бедный Федя» — скетч в двух частях; «Да здравствует король» — драматический этюд.

2 апреля. Семинар по теории и философии права. Доклад проф. А. Байкова «Культура и право».

3 апреля. «Кочевье». Литературный вечер «Проза поэтов». Участвуют В. Андреев, А. Ладинский, Б. Поплавский и М. Струве.

Тургеневская библиотека. Чтение для детей: «Приключения мальчика Никиты» по А. Толстому.

4 апреля. Религиозно-философская академия. Начинается чтение лекций В. Н. Ильина на общую тему «Творение и разрушение мира» (по пятницам). Лекция № 1: «Физический и метафизический смысл мифа о творении и разрушении мира. Библейский шестоднев и научная космогония. Время, день, эон. Первые три дня творения».

По инициативе редакции «Современных записок» чествование В. Ф. Ходасевича банкетом по случаю 25-летия литературной деятельности. С приветствием выступают И. Бунин, М. Вишняк, И. Демидов, проф. Н. Кузьман, С. Маковский, Д. Мережковский, М. Цетлин, С. Яблоневский.

5 апреля. Философское общество. Доклад А. Лазарева «Философско-религиозные брожения Уильяма Джемса и современность».

6 апреля. Объединение адвокатов. Литературно-музыкальный вечер. М. Г. Мандельштам — «Воспоминания».

Интимный театр Д. Н. Кировой. Пьеса Л. Урванцева «Вера Мирцева».

8 апреля. Шарль Люлен возобновляет пьесу Н. Евреинова «Комедия счастья». В театре «Ателье».

9 апреля. Русская секция Международной федерации университетских женщин. Публичная лекция турецкой писательницы Хакиде Здиб на тему «Турки сегодняшнего дня».

10 апреля. «Кочевье». Литературный вечер, посвященный творчеству Марины Цветаевой. Доклад читает Марк Слоним.

Тургеневская библиотека. Кружок рассказчиков. Выставка книг к 125-летию со дня рождения Г. Х. Андерсена.

Редакция журнала «Возрождение» чествует своего сотрудника Владислава Ходасевича по поводу 25-летия литературной деятельности.

11 апреля. Театр драмы и комедии. «Лес» Островского.

12 апреля. Союз молодых поэтов. Литературный вечер.

13 апреля. Литературный вечер И. А. Бунина на тему «Мои современники»: Лев Толстой, народники, реалисты, Эртель, Короленко, Златовратский, Станюкович, Мамин-Сибиряк, Чехов, Горький, символисты, декаденты, Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Гиппиус, Мережковский, Блок, театральные воспоминания, Малый театр, Художественный театр, встречи с Шаляпиным, Собиновым, Москва, шмариновские среды и т. д. Литературный быт «толстых» журналов.

Комитет по устройству вечера: Н. Тэффи, М. Алданов, И. Демидов, Н. Кузьман.

15 апреля. «Зеленая лампа». Диспут на тему «Чего они хотят?». В прениях: Н. Бахтин, И. Бунин, А. Блок, З. Гиппиус, И. Голенцев-Кутузов, К. Зайцев, В. Злобин, Георгий Иванов, Д. Мережковский, К. Мочульский, Н. Оцуп и др.

Объединение русских адвокатов. Вечер воспоминаний о С. А. Андреевском и Н. П. Корабчевском. Вступительное слово произнесет председатель совета объединения Н. В. Тесленко.

16 апреля. Семинар теории и философии права. Доклад проф. В. Н. Сперанского «Герцен как политический мыслитель».

20 апреля. Союз русской национальной молодежи в Гренобле. Вечер драматического искусства: «Несчастье помогло» — комедия из эмигрантской жизни Н. Барсукова; «Визитеры» А. Аверченко.

21 апреля. Союз русской национальной молодежи в Гренобле. Драматическая группа дает спектакль на заводе «Котраб» по просьбе администрации завода. Представляются «Бедный Федя» и «Визитеры».

22 апреля. Собрание «Русского очага». А. М. Ренников читает отрывки из своих произведений. В помещении Большого салона.

23 апреля. Кружок «К познанию России». Очередное занятие. Доклад П. Б. Струве «Общий взгляд на культурное и социальное развитие России».

24 апреля. «Кочевье». Беседа о творчестве В. Маяковского. Вступительное слово Вадима Андреева. Читаются стихи Маяковского.

Юношеский клуб. Вечер рассказов Чехова с участием артиста МХТ Н. Асланова.

Народный университет. Начало занятий в группе выразительного чтения.

26 апреля. Вечер романтики. Петербургская школа акмеистов. Участвуют Георгий Иванов, Николай Оцуп, Анна Ахматова и Осип Мандельштам не могут быть на этом вечере. Второе отделение: молодой поэт Б. Поплавский читает свои романтические стихи. Участвует Вадим Андреев. Вечер закончится выступлением Марины Цветаевой.

Театр драмы и комедии дает пьесу Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского».

27 апреля. «Менестрель». Очередной утреник. В программе рассказы Чехова, стихотворения Тургенева.

Редакция газеты «Последние новости» отмечает 10-летие своего существования. Выпускается юбилейный сборник статей и фотографий.

Вечер в Коломбеле. Устраивается местной Объединенной казачьей станицей и Русским драматическим кружком. Ставится «На бойком месте» А. Н. Островского.

29 апреля. Франко-русские литературные собеседования. Дискуссия на тему «Роман после 1918 года». Участвуют видные представители русского и французского литературного мира.

30 апреля. Семинар по философии и теории права. Доклад Я. М. Меншикова «Вещь в праве».

2 мая. Религиозно-философская академия. Последняя лекция В. Н. Ильина из цикла «Творение и разрушение мира».

Вечер А. Ремизова с участием автора. Писатель читает из книги «Взвихренная Русь», рассказы, выдержки из романа «1200» и из книги «Звезда Надзвездная». Вечер проводится в гостинице «Лютеция».

Литературно-художественный вечер с участием артистов МХТ М. Крыжановской, М. Токарской, Н. Асланова, И. Дуван-Торцова, А. Богданова.

Организация «Свободная трибуна» города Лилля устраивает доклад французского журналиста Шарля Ледре о русской эмиграции «Русские и мы. Как работают русские эмигранты во Франции? Есть

ли у них общее с французскими эмигрантами 1789 года? Как русские защищают себя от иностранного влияния? Кем был генерал Кутепов? Что думать о его исчезновении?».

3 мая. Союз молодых поэтов. Вечер чтения и разбора стихов.

4 мая. Доклад Виктора Ховина, посвященный памяти Владимира Маяковского: жизнь и творчество поэта, встречи с Маяковским.

Тезисы: русский футуризм; Маяковский и Северянин; эстрадный террор неистового поэта; революционный пафос Маяковского; в обезьяньих лапах большевизма; неистовая любовь; две смерти (Есенин, Маяковский).

5 мая. Семинар по изучению русской религиозной мысли XX века под руководством Н. А. Бердяева. Доклад Е. Ганчикова на тему «Проблема возможности нового откровения Св. Духа в русской религиозной мысли начала XX века».

Русская академическая группа. Доклад А. М. Петрункевича «К столетнему юбилею Фюстель де Куланж. Историк и человек».

8 мая. «Кочевье». Третий номер устного журнала. Стихи В. Познера и М. Струве. Рассказы И. Болдырева, Б. Сосинского, С. Шаршуна. Тургеневское общество. Лекция К. Мочульского о Розанове.

9 мая. Публичная лекция Г. В. Адамовича «Судьба Маяковского и Есенина».

Религиозно-философская академия. Первая из трех лекций проф. Б. П. Вышеславцева «Подсознание и его тайны»: психоанализ, теория внушения, внутренняя дисциплина личности, художественное творчество, медунизм.

10 мая. Союз молодых поэтов. Доклад И. Голенищева-Кутузова на тему «Проблема современной эстетики и литературная критика»: 1) зависимость литературной критики от философских систем; 2) эстетическое учение Бенедетто Кроче и «оправдание» логики, поэзия и не-поэзия; 3) искусство и критика.

В прениях участвуют В. Андреев, Г. Газданов, Г. Иванов, Ю. Мандельштам, К. Мочульский, Н. Оцуп, Б. Поплавский, Г. Раевский, М. Слоним, Б. Сосинский, Ю. Терапиано, Ю. Фельзен, М. Цетлин и др.

Сорбонна. Торжественное заседание по случаю 40-летия литературной деятельности армянского писателя Ав. Агароняна.

Общество взаимопомощи русских женщин. Очередной музыкально-литературный вечер. Поэт князь Касаткин-Ростовский читает свои стихотворения.

22 мая. Юношеский клуб. О. Четверикова читает рассказ «Детвора» Чехова.

Тургеневская библиотека. Чтение для детей: С. Г. Сватиков читает «Нос» Гоголя.

Гастроли Московского камерного театра. В первый раз драма О'Нейла «Все дети Господни имеют крылья», название в русском переводе «Негр».

23 мая. Религиозно-философская академия. Третья лекция Б. П. Вышеславцева на тему «Подсознание и его тайны».

Гастроли Московского камерного театра. «День и ночь».

24 мая. Союз молодых поэтов. Вечер, посвященный третьему сборнику стихов. В 1-м отделении — суд над сборником самих участников, во 2-м отделении — суд читателей.

Литературно-музыкальный вечер Союза галлиполищев. В программе принимают участие князь Ф. Касаткин-Ростовский и др. Впервые идет историческая пьеса И. С. Лукаша «Суворов на Альпах» в постановке артистов театра Д. Н. Кировой.

Театр драмы и комедии. Пьеса князя В. В. Бярятинского «Комедия

смерти». В спектакле кроме артистов труппы выступают также и литераторы, в том числе сам автор пьесы. Среди них находятся А. И. Куприн, Н. Н. Берберова, Ю. Л. Сазонова, проф. В. Н. Сперанский.

Гастроли Московского камерного театра. Повторяется «Гроза».

25 мая. Москва театральная. Вечер Е. Н. Рошиной-Инсаровой. С. В. Яблоновский скажет слово о Малом театре. Ряд артистических исполнений будет иллюстрировать речь Е. Н. Рошиной-Инсаровой о славном прошлом московских театров. А. А. Санин прочтет свои воспоминания о театре Корша, о карьере Н. И. Рошина-Инсарова. В литературно-музыкальном отделении будет исполнена сценка «Гробовщики» Слепцова.

Вечер закончится стихотворением «Русь» Волошина, которое прочтет Е. Н. Рошина-Инсарова.

Тургеневское общество. Французский артист Раймон Буланже читает сказку Ершова «Конек-Горбунок», переведенную на французский язык соотечественником, пишущим под псевдонимом М. Мишель.

Интимный театр. «Торговый дом» Сургучева.

Гастроли Московского камерного театра. «Жирофле-Жирофля». Семейное собрание в Гренобле. Доклад о Езерского «Строительство России». Декламация, русская музыка.

26 мая. Русское философское общество. Доклад Л. Е. Габриловича на тему «Детерминизм в науке и философии».

Гастроли Московского камерного театра. «День и ночь» Ш. Лекока.

27 мая. Литературные франко-русские собеседования. Очередное открытое собеседование — последнее в текущем сезоне. Вступительное слово на тему «Восток и Запад» скажут Н. А. Бердяев — с русской точки зрения и Анри Массис — с точки зрения французской. В последующем обмене мнениями выразили желание принять участие проф. Б. П. Вышеславцев, И. Голенищев-Кутузов, Л. Жилле, К. И. Зайцев, проф. Н. К. Кульман, Оливье Лакомбж, Рене Лалу, Эмиль Люц, Андре Мальро, Жак Маритен, Жан Максанс, Франсуа Мориак, Марсель Пеги, М. Л. Слоним, Станислав Фюме.

Религиозно-философская академия. Первая лекция Г. В. Флоровского на тему «Религиозный смысл истории».

Гастроли Московского камерного театра. Во второй раз драма О'Нейла «Негр».

28 мая. Литературный вечер Гайто Газданова. Автор читает отрывок «Великий музыкант» из нового романа «Алексей Шувалов», рассказ «Гавайские гитары» и другие вещи.

Гастроли Московского камерного театра. «День и ночь».

29 мая. Общество взаимопомощи русских женщин. Праздник для детей. Сценки в исполнении артистки Малого театра Д. Н. Кировой и артистов труппы Интимного театра.

Спектакль труппы княгини Васильчиковой под режиссерством Г. С. Панютина. «Я так хочу», Сомерсет Моэм, комедия в трех действиях.

Гастроли Московского камерного театра: «Любовь под вязами» О'Нейла; драма Я. Гордина «Древо знаний» с участием М. Фишзона.

30 мая. Тургеневское общество. Диспут на тему «Отцы и дети наших дней». Вступительный доклад В. Н. Сперанского. В прениях приняли участие А. И. Куприн, В. Л. Бурцев, А. Н. Брянчанинов, проф. А. Л. Байков, Д. М. Одинец и др. Краткая программа: душа современной молодежи; дети и внуки революции; эмигрантское юношество и его денационализация; новая культура, ее соблазны и яды; комсомол в его признаниях; «Квадратура круга»; будем ли мы на одном фронте с комсомольцами?

Гастроли Московского камерного театра. «Жирофле-Жирофля».

31 мая. По инициативе Франко-славянского общества Парижского университета под председательством проф. Делакура торжественное чествование друга России и славяниста проф. Эмиля Омана по случаю 45-летия его научно-педагогической деятельности. Речи произнесли Э. Фурноль — вице-председатель Института славяноведения, Н. К. Кульман, А. Арнаутевич (Югославия) и Л. Равье — президент Франко-славянского общества.

Общественный комитет украинских организаций во Франции по случаю 14-й годовщины смерти Ивана Франко устраивает торжественное собрание, приуроченное ко дню его смерти.

Юмористический вечер Сергея Бартенева.

Театр драмы и комедии. Повторяется «Комедия смерти» князя Барятинского.

Гастроли Московского камерного театра. «Негр» О'Нейла.

Третий спектакль Русского артистического союза в Монтаржи. Представляется комедия Лисенко-Конныч «Эликсир молодости» под режиссерством А. А. Фурсенко.

1 июня. День русской культуры в Лионе. Торжественное заседание. Проф. Д. Н. Одинец читает лекцию на тему «Волга — русская река», в которой обрисовывает роль Волги в развитии и распространении русской цивилизации и культуры.

Русское евангельское движение. Доклад П. И. Рогозина на тему «Христианство и дух нашего времени».

Интимный театр. «Таланты и поклонники» Островского.

Гастроли Московского камерного театра. «Негр» О'Нейла.

2 июня. Гастроли Московского камерного театра. «Негр» О'Нейла.

3 июня. Религиозно-философская академия. Вторая лекция Г. В. Флоровского.

5-я годовщина «Возрождения». Обед сотрудников и друзей. С речами выступили редактор Ю. Ф. Семенов, генерал Е. К. Миллер, С. Е. Савич, генерал А. П. Богаевский, генерал И. Г. Акулин, П. П. Муратов, адмирал М. А. Кедров, Н. С. Тимашев, Н. Н. Чебышев, П. Я. Рысс, А. И. Куприн, Н. Н. Изнаров. Заключительное слово А. О. Гукасова.

Вечер Николая Ропина. Писатель читает главу из нового романа.

Литературный вечер. Сотрудник газеты «Эко де Пари» Жан Делаж подписывает свои книги «Россия в изгнании» и «Кутепов».

4 июня. Гастроль Миши Фишзона. Комедия «Горе-миллионер».

Гастроль Юлиуса Адлера. «Сатана» Гордина.

5 июня. Палестинский клуб. Литературный вечер в честь еврейского поэта Саула Черниковского. Кроме поэта приняли участие Шолом Аш, Г. Златопольский, палестинский поэт Шгенский, д-р Айзенштат и др.

6 июня. Религиозно-философская академия (по пятницам). Третья лекция Г. В. Флоровского.

7 июня. Союз молодых поэтов. Вечер чтения и разбора стихов.

Театр драмы и комедии. «Нечистая сила» А. Толстого.

8 июня. День русской культуры. Праздник для молодежи, устраиваемый юношескими организациями. Праздник посвящен памяти генералиссимуса А. В. Суворова. Программа: 1) вступительное слово памяти А. В. Суворова — генерал К. И. Сычев; 2) общий парад; 3) театральные постановки сцен «Коробочка» («Мертвые души») и др.

Военно-морской исторический кружок имени адмирала Колчака. Открытое заседание в ознаменование Дня русской культуры. Программа: 1) капитан 1-го ранга Городынский прочтет доклад; 2) капитан 2-го ранга Лукин — свое произведение; 3) мичман Гефтер — свое произведение.

День русской культуры в Гренобле. Вступительная речь Л. А. Цурикова. Доклад о. Езерского о значении русской культуры вообще и о роли Пушкина как светоча ее. Затем постановка пьесы Островского «Не в свои сани не садись».

9 июня. В связи с Днем русской культуры парижская группа «Крестьянской России» устраивает открытое собрание для заслушивания доклада Н. И. Астрова на тему «Беженство и эмиграция». После доклада — обмен мнениями.

День русской культуры в Ницце. Общество помощи русским учащимся и учащим устраивает большое литературно-музыкальное утро. Первая часть его посвящается произведениям И. С. Тургенева, А. П. Чехова и А. Аверченко. Вступительное слово — проф. Н. П. Мигулин.

13 июня. Русская секция университетских женщин. Доклад А. М. Петрункевича «Фюстель де Куланж, историк и человек».

Пьеса Катаева «Квадратура круга». После пьесы — рассказы Зошенко.

14 июня. «Перекресток». Литературный вечер. С. К. Маковский читает доклад на тему «О молодых поэтах». Во втором отделении читают стихи И. Голенищев-Кутузов, Ю. Мандельштам, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Терапиано, Е. Шах.

День русской культуры. Торжественное собрание, устраиваемое Русской академической группой, Русским академическим союзом и Народным университетом. Тема докладов нынешнего года — «Санкт-Петербург». Речи произнесут председатель Комитета по организации Дня русской культуры во Франции В. А. Маклаков и проф. Н. К. Кульман. Прочтут отрывки из произведений русских писателей артистка Малого театра Е. Н. Рощина-Инсарова и артист Художественного театра Н. П. Асланов.

Театр драмы и комедии. Идут «Дни нашей жизни» Л. Андреева.

15 июня. Интимный театр. Идет комедия В. Рышкова «Прохожие».

17 июня. Гастроли театра Мейерхольда. «Ревизор» Гоголя.

18 июня. Заседание президиума совета Зарубежного союза журналистов и писателей по вопросу о втором съезде русских журналистов и писателей.

Гастроли театра Мейерхольда. «Ревизор» Гоголя.

19 июня. Художественный театр для детей. Второй спектакль.

Гастроли театра Мейерхольда. «Ревизор» Гоголя.

20 июня. «Перекресток». С. К. Маковский читает доклад на тему «О молодых поэтах». Чтение стихов.

Гастроли театра Мейерхольда. «Лес» А. Островского.

21 июня. Казачий клуб устраивает концерт-чай. Выступает И. А. Шереметов (рассказы Чехова).

Театр драмы и комедии. «Реки Вавилонские» И. А. Сургучева. Последний спектакль в сезоне.

Гастроли театра Мейерхольда. «Лес» А. Островского.

22 июня. Приехавший в Париж артист А. А. Мурский предполагает дать здесь два спектакля. Первый спектакль: пойдет не шедшая еще по-русски комедия «Бедна, как церковная мышь».

Интимный театр. Закрытие зимнего сезона. Комедия И. Щеглова «В горах Кавказа».

Гастроли театра Мейерхольда. «Лес» А. Островского (утром и вечером).

День русской культуры в Ницце. Детский спектакль, устраиваемый Обществом помощи русским учащимся. Ставятся инсценировки «Бежин луг», «Как хороши, как свежи были розы» И. С. Тургенева, «Колыбель-

ная» Гречанинова и «Нянька» Аверченко — переделка и постановка Е. А. Блиновой.

24 июня. Спектакль группы любителей. Комедия-шутка из эмигрантской жизни Б. В. Дезобри под названием «Закрутила».

26 июня. Художественный театр для детей.

27 июня. Киевское великого князя Константина Константиновича военное училище. Семейная встреча, с выступлением артистов пражской группы МХТ.

28 июня. Союз молодых поэтов. Литературный вечер. В первом отделении доклад Ю. Мандельштама на тему «Лирика Гумилева». Во втором отделении В. Яновский — рассказ. Читают стихи Л. Ганский, Л. Кельберин, П. Червинская и Т. Штильман.

Публичное собрание Русской академической группы и Русского академического союза. Проф. Краковского университета В. Ледницкий делает доклад на тему «Толстой и Польша».

Спектакль в Монтаржи. Представляется «Перпетуум мобиле» — комедия Н. А. Григорьева; «Юбилей» — шутка А. П. Чехова; «Простушка и воспитанная» — водевиль с пением Д. Ленского. Режиссер С. С. Кошкин.

День русской культуры в Марселе.

Отделение первое: вступительное слово; два доклада на темы «Исторический очерк Крыма — природа и красота» и «Русско-украинский вопрос в историческом освещении».

Отделение второе: литературно-музыкальная программа; выступление детей.

29 июня. День русской культуры. Детский праздник. Обширная программа (пение, танцы, игры, декламация) исполнена детьми.

2 июля. Культурно-просветительное общество. Доклад г-жи Богдановской на тему «Что такое масонство?».

4 июля. Союз молодых поэтов. Вечер чтения и разбора стихов.

6 июля. Вечер Фонда спасения Родины в Гренобле. Литературно-балетно-музыкальная программа. Идут «Приличье» — водевиль в одном действии и «В Долине Розы и Смерти» — сценка из жизни армейского корпуса в Галлиполи.

12 июля. Раздача премий ученикам и ученицам «Французского очага». После церемонии — пение и декламация с участием артистов парижских театров.

17 июля. Очередной «четверг» Литературного кружка в Ницце. Читают: Н. Вольская — главу из своего романа «Дансер»; Е. Блинова — свою миниатюру «Куранты» и юмореску Лоло «Милый мальчик»; Г. Евангулова — свои стихи.

18 июля. Вечер «Перекрестка». В. В. Вейдле читает доклад на тему «О простоте поэзии». После доклада обмен мнениями.

Литературно-художественный вечер артистки МХТ М. А. Токарской. В вечере принимают участие Е. Н. Рощина-Инсарова, М. А. Крыжановская, А. Н. Богданов.

19 июля. Объединенный комитет русских организаций района Монтаржи устраивает праздник Дня русской культуры по следующей программе: 1) отделение детское — сценки и декламации; 2) комедия Островского «На бойком месте».

Вечер в Медоне при участии артистов МХТ М. А. Крыжановской и Н. П. Асланова. В программе художественное чтение произведений Пушкина, Чехова, Зощенко, Н. Берберовой.

24 июля. «Четверг» Литературного кружка в Ницце. Выступают Д. Н. Крачковский с чтением своих рассказов и поэтесса Е. Блинова.

2 августа. Интимный театр Д. Н. Кировой в Медоне. Первый

летний спектакль. Идет веселая комедия Крюковского «Денежные тузы».

7 августа. Очередной «четверг» Литературного кружка в Ницце. Читают: К. Вогак — «Воспоминания» о встречах с Блоком и с Гумилевым; Е. Блинова — свою пьесу-сказку «Милитриса Кирбитьевна»; Н. Беляев — главу из романа.

9 августа. Лионская Общеказачья станица. Доклад заведующего казацким архивом в Лионе Г. Ленинова; цель — объединение и собрание материалов исторических рассказов «Партизанский степной поход» с 12 февраля по 5 мая 1918 г.

14 августа. Последний перед летним перерывом «четверг» Литературного кружка. Е. Блинова, Н. Вольская, Н. Беляев и Г. Евангулов читают свои новые произведения.

15 августа. Спектакль в Бюже. Идут три веселые пьески: «Баронесса Фекла» С. Сабурова, «Наш доктор» Р. Чинарова и «За компанию» Лисенко-Коньча. Режиссер С. С. Кошкин.

30 августа. Русский спектакль в Сансе. Труппа артистов Русской драмы под управлением С. С. Кошкина (в Монтаржи) по приглашению местной колонии дает спектакль в Сансе. Представляются «Живые покойники» («Жизненный эликсир») — комедия в трех действиях Лисенко-Коньча и «Юбилей» — шутка в одном действии А. П. Чехова.

Интимный театр Д. Н. Кировой в Медоне. Второй летний спектакль. Идет веселая комедия-фарс Коньча «Жизненный эликсир».

7 сентября. Драматический кружок при НСРМ в Гренобле дает спектакль «Спичечная миллионерша».

13 сентября. Драматический кружок в Крезе под режиссерством артиста Г. Ф. Славянского дает комедию «Свадьба Кречинского».

16 сентября. Проф. С. И. Карцевский, директор Славянского института в Женеве, читает лекцию в Ницце на тему «Проблема правды и лжи в мировоззрении Л. Н. Толстого».

23 сентября. Второе собрание Литературно-философских бесед в Ницце. Проф. С. И. Карцевский читает лекцию о мировоззрении Ф. М. Достоевского.

24 сентября. Парижское общество друзей Еврейского института устраивает публичное собрание, посвященное 70-летнему юбилею еврейского историка проф. С. Дубнова. С речами выступили Шолом Аш, С. Гинзбург (из Петрограда), И. Ефройкин, С. Познер и др.

27 сентября. Союз молодых поэтов. Вечер чтения и разбора стихов.

Вечер Союза русских инвалидов в Монтаржи при участии местного русского артистического союза. Представляются:

1) «Пегая красавица» — шутка в одном действии С. А. Чуж-Чуженича;

2) «Которая из двух» — комедия в стихах Н. И. Куликова. Режиссер А. А. Фурсенко;

3) «Ночное» — народная картина с пением А. Стаховича. Постановка Ф. С. Стефановича.

28 сентября. Открытие авангардного театра «1931».

Комитет Российского общества Красного Креста в Гренобле устраивает вечер. Драматическим кружком при НСРМ постановляются «Золотая рыба» — комедия в трех действиях Салова и Ге и «Голод не тетка» — комедия в одном действии Лаппо-Данилевской.

1 октября. Театральный деятель И. С. Зон вместе с А. П. Рогнедовым открывают общество РОЗОН, поставившее себе задачей организацию больших артистических турне и финансирование новых театральных предприятий.

2 октября. Тургеневское общество. Диспут на тему «Гибнет ли театр?» по следующей программе: театр сегодняшнего дня, его грехи и его заслуги, его чары и его опасности; наступает ли конец театра, независимо от кинематографа; философское отрицание театра Ю. И. Айхенвальда и др.; учение Н. Н. Евреинова о театральности жизни; советский театр и его банкротство; кризис европейского репертуара — смерть или коренное перерождение; самообман актера и самообман зрителя — есть ли у них спасение. Участвуют князь В. В. Барятинский, акад. К. А. Коровин, С. К. Маковский, проф. В. Н. Сперанский, Н. Н. Чебышев и др.

Еврейский театр. Открывается сезон новой труппы А. Компанеца. Для открытия идет оперетта «Дер идишер шейгец».

4 октября. Вечер общества «Русские соколы» в Медоне. Сцены из произведений А. П. Чехова, декламация.

5 октября. Вечеринка Союза национальной молодежи в Гренобле. Два доклада С. С. де Грасса и Л. А. Цурикова на тему о теософии и христианстве. После диспута устанавливается пьеса «Дамский портной».

7 октября. Третье собрание Литературно-философских бесед в Ницце. К. А. Вогак читает лекцию на тему «Славянофильство, западничество и новая мысль».

9 октября. Вечер артиста Герца Гросбарда. В программе: Перец, Шолом Алейхем, Надир, Элизер Штейнберг, Луцкий и др.

Возобновляются «четверги» Литературного кружка в Ницце. Выступает с чтением своих рассказов Николай Рошин.

11 октября. Вечер «Перекрестка». В первом отделении И. Голенищев-Кутузов читает о «Пафосе и риторике»; Ю. Терапиано — о «Смерти и умирании»; Ю. Мандельштам — о «Ядовитых примесях». Во втором отделении читают стихи И. Голенищев-Кутузов, Д. Кнут, Ю. Мандельштам, Г. Раевский, В. Смоленский, Ю. Терапиано, Е. Шах, Т. Штильман.

12 октября. Собрание «Духовного пробуждения» в Монтаржи на тему «Язычество современной культуры».

Интимный театр. Открытие третьего зимнего сезона пьесой Островского «Бесприданница» под режиссерством А. Н. Коралли-Торцова.

14 октября. Четвертое собрание Литературно-философских бесед в Ницце. Проф. В. Н. Ильин читает лекцию на тему «Мистицизм в литературе и искусстве» (Тургенев и Чайковский).

17 октября. Артистическая чета Лили и Билли Годик дает собственный вечер еврейского фольклора, юмора и инсценированных песен. Программа из 12 сценок, еще в Париже не показанных.

18 октября. Театр драмы и комедии открывает сезон пьесой Л. Андреева «Тот, кто получает пощечины». Режиссер А. А. Павлов.

19 октября. Литературно-юмористический вечер Дон-Аминадо. Программа вечера: пьеса в трех действиях «Суд над русским Парижем». В роли председательствующего — Н. В. Тесленко при членах суда М. А. Алданове и князе В. В. Барятинском, секретаре Н. Берберовой, защитнике Н. Ф. Балиеве, обвинителе Дон-Аминадо и гражданском истце французском адвокате г. Шарле Карабийере.

Артист и режиссер Театра драмы и комедии А. А. Павлов исполнит роль судебного пристава.

Детский праздник, устраиваемый воскресно-четверговой школой: инсценировки из «Мертвых душ».

Интимный театр. Первое представление пьесы (написанной в годы эмиграции) А. Амфитеатрова «Чудо Святого Юлиана» («Мечта»).

20 октября. 10 лет пражской группы МХТ.

21 октября. Четвертое собрание Литературно-философских бесед. Н. В. Цыпкин-Дедушка читает лекцию на тему «Кришнамурти и его

учение с литературной, философской, теософической и христианской точек зрения».

25 октября. Первая в этом сезоне беседа по русской культуре на тему «Русская народная поэзия». В первом отделении доклад о русской народной поэзии — К. В. Мочульский. Во втором отделении: литературная иллюстрация — А. М. Ремизов (чтение отрывков из «Жития протопопа Аввакума»).

Театр драмы и комедии. Идет во второй раз пьеса Леонида Андреева «Тот, кто получает пощечины».

Вновь организованным Литературно-музыкальным кружком устраивается первый спектакль: «Предложение» Чехова, «Барсерьеры» Руссовского — оперетта-мозаика в одном акте, «Русско-французская полька» — скетч.

26 октября. Интимный театр. Идет пьеса «Денежные тузы» Крюковского.

Гренобльское отделение НСРМ устраивает спектакль. Идет веселая комедия в трех действиях И. Лисенко-Конюча «Жена с того света».

28 октября. Союз молодых поэтов. Вечер, посвященный журналу «Числа». Участвуют Л. Кельберин, В. Мамченко, Ю. Софиев, Л. Червинская, В. Янковский и др. В прениях принимают участие Г. Адамович, В. Варшавский, Г. Иванов, И. Одоевцева, Н. Оцуп, Б. Поплавский и др. Вступительное слово — Ю. Софиев.

Большое собрание Литературно-философских бесед. Н. В. Цыпкин-Дедушка читает вторую лекцию.

29 октября. Юношеский клуб. Отрывки из рассказа Л. Толстого «Казачи».

30 октября. Первое после летнего перерыва литературное собрание «Кочевья». Тема вечера — «Итоги литературного года за рубежом»:

- 1) вступительное слово — Ладинский;
- 2) литературная смена — Сосинский;
- 3) «Числа» — Эйсер.

В прениях принимают участие гг. Адамович, Вышеславцев, Варшавский, Газданов, Оцуп, Поплавский, Талин, Федотов, Цветаева и др.

31 октября. Религиозно-философская академия. Первая лекция первого курса Н. А. Бердяева из курса на общую тему «О назначении человека» (по пятницам). Тезисы лекции: проблема познания человека; центральность человека; противоречивость человеческой природы.

Литературно-музыкальный вечер в пользу библиотеки имени Номберга. На вечере выступают с чтением своих произведений еврейские писатели Д. Эйнгорн и З. Шнеур.

Спектакль-концерт в Медоне. Представляются одноактная пьеса труппой Интимного театра Д. Н. Кировой и первое действие оперы «Евгений Онегин».

2 ноября. Интимный театр. Повторяется пьеса А. В. Амфитеатрова «Чудо Святого Юлиана».

Ницкий отряд «Русских скаутов». Скауты исполняют пьесу из скаутской жизни «Сон волчонка», басни Крылова, русские песни и др.

3 ноября. Первое собрание семинара «Христианство и творчество» под руководством Н. А. Бердяева. Вступительный доклад на тему «Христианство и творчество» читает Н. А. Бердяев.

4 ноября. Возобновляются франко-русские литературные собеседования. Собеседование будет посвящено советской литературе. Вступительное слово скажут Ю. Л. Сазонова и Андре Беклер. В последующем обмене мнениями выразили желание принять участие Н. Н. Бербе-

рова, Н. Д. Городецкая, Н. А. Тэффи, Н. К. Кульман, Рене Лалу, Андре Мальро, Жан Максанс, К. О. Зайцев.

Концерт-бал «Русских инвалидов» во Франции, при участии Е. Н. Рошиной-Инсаровой.

5 ноября. Литературное содружество в Ницце. Г. Евангулов читает отрывки из своего нового романа. После чтения — прения.

Вечер «Перекрестка». И. Н. Голенищев-Кутузов читает доклад на тему «Пафос и патетичность в поэзии». Тезисы: пафос и катарсис; патетичность и душевное начало, не имеющее нужды в очищении; лирика и пафос; истинная природа искусства.

Во втором отделении по вопросам доклада выступают граф П. А. Бобринский и Г. А. Раевский. В третьем отделении читают стихи И. Голенищев-Кутузов, Г. Раевский, Ю. Мандельштам, В. Смоленский, Ю. Терапиано, Е. Шах и Т. Штильман.

Клуб молодежи РСХД. Князь Касаткин-Ростовский читает свои стихи о России.

Театр для юношества барона Н. В. Дризена. Открытие сезона.

7 ноября. Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева «Учение о человеке как носителе разума. Просвещение. Учение о человеке как создателе. Реакция Ж.-Ж. Руссо в учении о человеке».

Русская консерватория. Лекция проф. В. Г. Вальтера по курсу «Философия искусства» (по пятницам).

8 ноября. Литературный вечер Московского землячества. М. А. Чехов прочел несколько отрывков из «Гамлета». Во втором отделении он исполнил с артистами своей студии три юморески А. П. Чехова. Затем М. А. Чехов в нескольких словах охарактеризовал свой будущий театр.

Спектакль-концерт Е. Маршевой, М. Муратова и О. Рунич. Идет веселая пьеса в трех действиях «Когда приходит любовь».

Театр драмы и комедии. Постановляется комедия Катаева «Квадратура круга».

9 ноября. Банкет в честь писателя-драматурга Л. Г. Мунштейна-Лоло по случаю сорокалетия его литературной деятельности. Председательница юбилейного комитета — Н. А. Тэффи. Члены комитета: М. Алданов, И. Бунин, Б. Зайцев, А. Куприн, М. Мионов, А. Плещеев, С. Поляков-Литвинцев, Александр Яблонский, Сергей Яблонский. Речи поэта Н. Беляева, поэтессы Т. Смирновой и др.

Интимный театр. Идет первый раз пьеса И. Барышева «Старообрядка» («Старческая любовь») — быт богатых старообрядцев Поволжья.

10 ноября. Сорбонна. Лекция М. Л. Гофмана на тему «История новой русской литературы» (по понедельникам).

11 ноября. Седьмое собрание Литературно-философских бесед. Н. В. Цыпкин-Дедушка читает третью лекцию — о влиянии последних открытий на современное мировоззрение.

12 ноября. Лекция С. Г. Елисеева на тему «История японской литературы» (по средам).

13 ноября. Сорбонна. Лекция Н. К. Кульмана на тему «История русского языка» (по четвергам).

Сорбонна. Лекция К. В. Мочульского на тему «Русская литература XIX века» (по четвергам).

«Кочевье». Собеседование, посвященное творчеству А. Блока, по случаю 50-летия со дня его рождения.

1. Доклад Алексея Эйнера «Блок и Россия».

2. Чтение стихов Блока.

3. «Стихи к Блоку» — М. Цветаева.

4. Чтение отрывков из воспоминаний о Блоке Андрея Белого, М. Горького, Е. Замятина и Алексея Ремизова.

5. Устная газета на тему «Блок в русской культуре», в которой принимают участие Г. В. Адамович, Георгий Иванов, К. Мочульский, Н. А. Оцуп, Б. Поплавский, Б. Сосинский и М. Цветаева.

14 ноября. Сорбонна. Лекция Н. К. Кульмана «Лев Толстой» (по пятницам).

Религиозно-философская академия. Лекция Н. А. Бердяева на тему «Учение о человеке как продукте эволюции. Биологический прогресс и прогресс человека. Учение о человеке как о существе социальном. Маркс. Дюркгейм».

15 ноября. Сорбонна. Лекция М. А. Жирмунского «Португальская поэзия XVI века» (по субботам).

Сорбонна. Лекция Л. И. Шестова «Религиозные идеи Толстого и Достоевского» (по субботам).

Русская колония города Безансона открывает зимний сезон лекцией о Суворове, спектаклем и балом. Постановляется двухактная пьеса «Бедный Федя».

16 ноября. Интимный театр. Идет комедия «Ее превосходительство Настасьюшка».

17 ноября. Семинар на тему «Христианство и творчество» под руководством Н. А. Бердяева. Доклад Е. Ю. Рапп на тему «Творчество и грех».

18 ноября. Сорбонна. Лекция Г. Л. Лозинского «Старофранцузский язык» (по вторникам).

Сорбонна. Лекция С. Г. Елисеева «Драмы Шикаматеу» (по вторникам).

Семинар о С. Булгакова. Первое собрание на тему «Христианская аскетика и культура».

20 ноября. Франко-русский институт. Лекция А. М. Лазарева «История новой философии» (по четвергам).

Возобновляются занятия с детьми при Тургеневской библиотеке.

Тургеневское общество в день 20-летия со дня кончины Л. Н. Толстого устраивает в его память большой литературно-музыкальный вечер. Участвуют князь В. В. Барятинский, А. И. Куприн, Я. М. Меншиков, проф. В. Н. Сперанский и др.

21 ноября. Религиозно-философская академия. Очередная лекция Н. А. Бердяева «Учение о человеке современной психопатологии и психологии. Открытие подсознательного. Фрейд. Адлер. Юнг. Антропология Достоевского и Ницше».

Десятилетие Русской академической группы. Торжественное собрание. Речь председателя группы проф. А. Н. Анциферова. Доклады проф. Н. К. Кульмана, проф. Б. Э. Нольде, проф. С. И. Метальникова и Е. П. Ковалевского.

22 ноября. Вечер Союза галлиполидцев. Князь Касаткин-Ростовский читает свои новые стихи «Галлиполийский памятник».

Театр драмы и комедии. Пьеса О'Нейла «Анна Кристи».

Открытие зимнего сезона в Монтаржи. Русским драматическим союзом постановляется пьеса А. Н. Островского «Лес». Режиссер А. А. Фурсенко.

23 ноября. Религиозно-философская академия. Открытое заседание, на котором о. С. Булгаков читает доклад на тему «Иуда Искариот — апостол-предатель (к вопросу о свободе и предопределении)». После доклада собеседование.

Интимный театр. Комедия Щеглова «В горах Кавказа».

Открытие Русского зарубежного камерного театра. Идет пьеса «Сверчок на печи» (по Диккенсу).

Русская колония в Монтаржи празднует 200-летие со дня рождения А. Суворова по инициативе «Русского общевосточного союза». Председатель здешнего общества А. С. Людоговский читает доклад «Жизнь великого русского воина графа А. В. Суворова». Н. К. Мельникова-Сибиряк цитирует изречения Суворова. В заключение здешний русский старожил В. С. Зубков читает свое стихотворение «Памяти Суворова».

24 ноября. Русская секция Международной ассоциации университетских женщин. Доклад П. Н. Милюкова на тему «Советская литература».

25 ноября. Второе в этом сезоне собрание Франко-русской студии. Тема вечера — творчество Поля Валери, о котором читают доклады: с русской точки зрения — В. Вейдле, с французской — Рене Лалу. В последующих прениях выступили А. Липянский, Жан Максанс, Роберт Себастьян и сам Поль Валери.

Восьмое собрание Литературно-философских бесед в Ницце. В. Н. Цыпкин-Дедушка читает четвертую лекцию на тему «Новое в истории человека. Атлантида и происхождение нашей арийской расы».

27 ноября. «Кочевье», очередное собрание. Программа: устный журнал «Кочевье» № 3. Содержание номера:

1. Вадим Андреев. «Кориолан» (поэма).

2. Гайто Газданов — новые рассказы.

3. Ант. Ладинский — новые стихи.

Статьи и рецензии:

4. Вс. Фохт. «В. Сирин».

5. Б. Сосинский. «Записные книжки Блока».

6. А. Сизов. «Обман» Ю. Фельзена.

7. Н. Городецкая. «Андре Мальро».

Вырезки из газет и журналов. Обмен мнениями.

Клуб молодежи. Обычное собрание. Н. Д. Городецкая читает доклад о «Переписке с друзьями» Гоголя.

Кружок рассказчиков и чтецов при Тургеневской библиотеке открывает свою деятельность рассказом С. А. Брута о Москве.

28 ноября. Религиозно-философская академия. Очередная лекция Н. А. Бердяева на тему «Библейско-христианское учение о человеке как об образе и подобии Божиим и как о существе падшем».

Сорбонна. А. Я. Левинсон возобновляет свой курс (на французском языке) на тему «Жизнь и творчество Достоевского» (по пятницам).

29 ноября. Семейный вечер Русской академической группы (окончание празднования 10-летия своего существования). Музыкально-литературный отдел.

Театр драмы и комедии. Идет пьеса Гордина «За океаном». Постановка Дружинина.

Зарубежный камерный театр. Идет четырехактная пьеса Я. Гордина «Мирра Эфрос».

30 ноября. Парижским обществом Еврейского научного института устраивается публичный доклад еврейского литератора З. Рейзина на тему «Еврейские проблемы и еврейская культура».

Юношеское содружество РСХД. Доклад И. И. Фундаминского на тему «Россия в прошлом и в будущем».

Интимный театр. Идет в первый раз «Цена жизни» В. И. Немировича-Данченко.

Литературное содружество в Ницце устраивает вечер, посвященный памяти А. Блока, по следующей программе:

1) Г. Е. Евангулов — вступительное слово;

2) К. А. Воганк — доклад на тему «О значении Блока в русской литературе». После доклада — чтение избранных произведений Блока в исполнении Е. А. Блиновой.

Кружок чтецов и рассказчиков для детей Ницце-Канского района. «Рассказ о Москве» рассказывает С. А. Брут.

1 декабря. Семинар «Христианство и творчество» под руководством Н. А. Бердяева. Доклад А. Ф. Карпова на тему «Творчество и свобода».

С. А. Брут сделает в Ницце сообщение для интересующихся внешкольной работой на тему «Рассказ как вид самостоятельной внешкольной работы».

2 декабря. Спектакль эвритмического искусства. Школа эвритмии Рудольфа Штейнера.

3 декабря. Доклад проф. В. Н. Сперанского «Князь Сергей Трубецкой как философ и общественный деятель».

Сообщение С. А. Брута в Ницце «Техника рассказа».

4 декабря. Кружок чтецов и рассказчиков для детей в Ницце. Рассказ «О Киеве».

5 декабря. Религиозно-философская академия. Н. А. Бердяев: «Католическое, протестантское и православное учение о человеке».

Рассказы для детей в Тургеневской библиотеке. «Мальчик в тайге» (по Карамзину).

6 декабря. «Украинская громада». П. Бытюк читает историческое произведение «Черничивка» Костомарова.

7 декабря. Спектакль, организуемый Девичьей дружиной. Постановляется «Сверчок на печи» Диккенса, при участии членов дружины и артистов. Постановка В. М. Каге.

Интимный театр. Идет комедия Крюковского «Меблированные комнаты Королева».

9 декабря. Девятое собрание Литературно-философских бесед. Н. В. Цыпкин-Дедушка читает пятую лекцию на тему «Новое представление о человеке и его физической, умственной и душевной природе».

12 декабря. Первый в этом сезоне открытый вечер «Чисел» на тему «Искусство и политика». Вступительное слово — Н. А. Оцуп. В диспуте принимают участие Георгий Адамович, З. Н. Гиппиус, П. П. Гронский, Георгий Иванов, Д. С. Мережковский, П. Н. Милюков, Б. Ю. Поплавский, В. И. Талин, Г. П. Федотов, М. О. Цетлин и др.

Религиозно-философская академия. Очередная лекция на тему «Происхождение добра и зла. Грех».

Русская консерватория. Последняя лекция проф. В. Г. Вальтера по курсу «Философия искусства».

13 декабря. Союз молодых поэтов. Вечер чтения и разбора стихов. Театр драмы и комедии. Идет комедия Скриба «Дамская война».

Литературное содружество в Ницце. Вечер Георгия Евангулова для русских и французских друзей кружка. Г. Евангулов читает по-русски свою поэму и стихи, а по-французски — свой новый рассказ.

14 декабря. Религиозно-философская академия. Открытое заседание с докладом проф. Г. П. Федотова на тему «Религиозная драма А. Блока».

Интимный театр. Идет второй раз драма «Старообрядка» И. Барышева под режиссерством А. М. Коралли-Торцова.

Зарубежный камерный театр свой третий спектакль посвящает памяти А. П. Чехова. Идет «Дядя Ваня».

15 декабря. Религиозно-философская академия. Семинар Н. А. Бердяева. Доклад Н. Д. Городецкой на тему «Спасение и творчество».

Научно-философское общество. Доклад Е. Г. Хогбетлянца на тему «Идеи бесконечности и типы культуры». Прения.

16 декабря. Очередная открытая встреча русских и французских писателей. Вечер будет посвящен собеседованию о символизме. Вступительное слово о символизме в России скажет Н. Н. Берберова и о французском символизме — Андре Фонтенас, поэтический критик «Меркюр де Франс». В последующем обмене мнениями выразили желание принять участие г-жа Рашильд, В. Вейдле, И. Н. Голенищев-Кутузов, Поль Фор, Станислав Фюме, Рене Лалу, барон Эрнест де Сельер, Ж. Шарпантье и многие другие французские и русские видные представители или знатоки символизма.

Собрание «Русского очага». Доклад А. А. Башмакова на тему «Россия и славянство».

17 декабря. Юношеский клуб. Доклад В. П. Рябушинского на тему «Преподобный Иоанн Дамасский и его продолжатели».

18 декабря. «Кочевье». Сотый вечер. Программа: Марк Слоним — «Советская литература в 1930 году». После доклада прения, в которых принимают участие В. Андреев, А. Браславский, В. Варшавский, Г. Газданов, Н. Рейзини, А. Эйслер, В. Фохт, М. Цветаева.

19 декабря. Религиозно-философская академия. Очередная лекция Н. А. Бердяева на тему «Спасение и творчество».

Лекция генерала А. Спиридовича по истории революционного движения.

21 декабря. Интимный театр. В первый раз «Кулисы» («Барышня с фиалками») Т. Щепкиной-Куперник.

Общество изучения Ривьеры и Черноморского Кавказа. Н. И. Воробьев делает доклад на тему «Ново-Афонский монастырь и его роль в культурном развитии Черноморского побережья Кавказа».

22 декабря. Десятилетие заграничного турне театра «Летучая мышь» Н. Ф. Балиева.

23 декабря. 10-е собрание Литературно-философских бесед в Ницце. Н. В. Цыпкин-Дедушка читает шестую лекцию на тему «Душевная и духовная природа человека. Происхождение души и смысл жизни по новому мировоззрению».

26 декабря. Елка «Русских скаутов». Комедия «Недоросль», «Подвиг Сусанина» (переложение в стихах оперы «Жизнь за царя») и др.

Театр драмы и комедии. Вечер памяти Аверченко.

27 декабря. Союз молодых поэтов и писателей. Литературный вечер. В первом отделении М. А. Осоргин читает несколько рассказов. Во втором отделении Ант. Ладинский читает новый рассказ и Ю. Мандельштам — лирическую поэму «Письма». В третьем отделении читают стихи А. Берлин, Л. Ганский, Д. Монашев, Б. Поплавский, В. Смоленский.

Встреча русских и французских писателей. Б. П. Вышеславцев и Жак Маритен говорят о Декарте.

Интимный театр. Вечер-спектакль памяти фельдмаршала А. В. Суворова. Речи о Суворове произносят профессора Гулевич и Головин. Затем артистами Интимного театра дается пьеса Лукаша «Суворов в Альпах». В заключение — литературно-музыкальное отделение.

Театр драмы и комедии. Идет пьеса Файко «Человек с портфелем» о быте интеллигенции в Москве при советской власти.

Школьный совет воскресно-четверговой школы в Монтаржи устраивает вечер при участии Русского артистического союза. Представляются «Теплые ребята» — комедия в трех действиях Рассохина. Режиссер А. А. Фурсенко.

28 декабря. Елка разведчиков. Исполняется новая пьеса-миниатюра А. М. Ренникова «Встреча».

Интимный театр. Идет второй раз пьеса Немировича-Данченко «Цена жизни».

Зарубежный камерный театр. Драма А. Файко «Человек с портфелем».

Ниццкой дружиной «Русских скаутов и волчат» устраивается чествование 200-летнего юбилея со дня рождения генералиссимуса фельдмаршала графа А. В. Суворова.

1. Доклад для детей полковника А. В. Дурасова: «Суворов, его жизнь и походы».

2. Чтение отрывков из русской литературы, посвященных Суворову, бароном А. А. Черкасовым.

29 декабря. Семинар Н. А. Бердяева. Доклад Я. М. Меньшикова «Созерцание и творчество».

31 декабря. Юношеский клуб. А. М. Черный читает различные святочные рассказы.

Кубанским казачьим хутором в Лионе устраивается встреча Нового, 1931 года. Постановляется водевиль (из жизни казаков на Кубани).

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧАСТЬ I

Глава 1

Ожившая память

- ¹ Ключевский В. О. Курс русской истории. — Ч. I. — М., 1987. — С. 62.
- ² Герцен А. И. На смерть К. С. Аксакова // Былое и думы. — М., 1979. — С. 462.
- ³ Печерин В. С. Замогильные записки. — М., изд-во «Мир», 1932.
- ⁴ Русский Берлин 1921—1923. По материалам архива Б. И. Николаевского в Гуверовском институте, США. — Париж, изд-во ИМКА, 1983. — С. 316 (далее: Русский Берлин).
- ⁵ Гуль Р. Я унес Россию. — Т. I. — Россия в Германии. — Нью-Йорк, изд-во «Мост», 1981. — С. 153.
- ⁶ Адамович Г. Вклад русской эмиграции в мировую культуру. — Париж, 1961. — С. 3.
- ⁷ Там же. — С. 5.
- ⁸ Там же. — С. 14.
- ⁹ Степун Ф. Мысли о России // Современные записки (Париж). — 1923. — № 17. — С. 351.
- ¹⁰ Там же. — С. 354.
- ¹¹ Там же. — С. 364.
- ¹² Бердяев Н. Самопознание. Опыт философской автобиографии. — Париж, изд-во ИМКА, 1983. — С. 287—288.
- ¹³ Бердяев Н. Русская идея. — Париж, изд-во ИМКА, 1971. — С. 249, 251.
- ¹⁴ Степун Ф. Указ. соч. — С. 367.
- ¹⁵ Там же. — С. 366.
- ¹⁶ Эта история описана в книге В. Гессена «В борьбе за жизнь. Записки эмигранта» (Нью-Йорк, изд-во «Raussep», 1974. — С. 42—46).
- ¹⁷ Адамович Г. Указ. соч. — С. 7.
- ¹⁸ Там же. — С. 9.

Глава 2

Путь в эмиграцию

- ¹ Материалы для истории Корниловского ударного полка. — Париж, 1974. — С. 548.
- ² Там же. — С. 553—554.
- ³ Там же. — С. 558.
- ⁴ Там же. — С. 565.
- ⁵ См. Рыгченков С. 259 дней Лемноского сидения. — Париж, 1933. (Эту книжку с автографом автора и надписью «В пользу русских инвалидов» я по случаю купил у одного из болгарских эмигрантов в Париже.)
- ⁶ Там же. — С. 12—15.
- ⁷ Эта цифра называется, в частности, в статье Г. Гребенщикова «Как много в этом звуке» в сб.: Памяти Ивана Сергеевича Шмелева. — Мюнхен, 1956. — С. 59.

- ⁸ Оболенский В. А. Моя жизнь, мои современники. — Париж, изд-во ИМКА, 1988. — С. 741.
- ⁹ Там же. — С. 740.
- ¹⁰ Там же. — С. 750.
- ¹¹ Подробности этой встречи Н. Бердяев описал в кн.: Самопознание. — С. 278—280.
- ¹² Цит. по: Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. — Изд. 2. — Париж — Нью-Йорк, изд-во «Третья волна», 1983. — С. 245.
- ¹³ Кривошеина Н. А. Четыре трети нашей жизни. — Париж, изд-во ИМКА, 1984. — С. 95.
- ¹⁴ Цит. по: Известия ЦК КПСС. — 1989. — № 4. — С. 162.
- ¹⁵ Ковалевский П. Е. Зарубежная Россия. — Париж, изд-во «Librairie des Cinq Continents», 1971. — С. 13.
- ¹⁶ Цит. по: Осадчая А. П., Афанасьев А. Л., Баранов Ю. К. Почему мы вернулись на родину. — М., 1983. — С. 5. Все данные о реэмигрантах приводятся по этой книге.
- ¹⁷ Данные о работе русских эмигрантов в Югославии приводятся по кн.: Кривошеина Н. А. Указ. соч. — С. 95—96.
- ¹⁸ Материалы для истории Корниловского ударного полка. — С. 580.
- ¹⁹ Последние новости (Париж). — 1921. — 8 сент.
- ²⁰ Александровский Б. Н. Из пережитого в чужих краях. — М., 1969. — С. 34—35.
- ²¹ Материалы для истории Корниловского ударного полка. — С. 571—572.
- ²² См. Интеллигенция и революция. XX век. — М., 1985. — С. 147.
- ²³ Степун Ф. Указ. соч. — С. 367—368.
- ²⁴ Подробные сведения о русском офицерском корпусе до революции содержатся в сб.: Интеллигенция и революция. XX век. — С. 145—156.
- ²⁵ Степун Ф. Указ. соч. — С. 368.
- ²⁶ Там же. — С. 369—370.
- ²⁷ Здесь и далее письма бывших офицеров цит. по: Степун Ф. Указ. соч. — С. 371—372.
- ²⁸ Там же. — С. 374.
- ²⁹ Федотов Г. Зачем мы здесь?//Современные записки (Париж). — 1935. — № VIII. — С. 438—450.

Глава 3

В центре Европы

- ¹ Горький М. Несвоевременные мысли. — Париж, изд-во «Editions de la Seine», 1971. — С. 166.
- ² Цит. по: Кривошеина К. А. А. В. Кривошеина. Его значение в истории России начала XX века. — Париж, 1973. — С. 314—315.
- ³ Цит. по: Ковалевский П. Е. Указ. соч. — С. 21—22.
- ⁴ Цит. по: Крестинский Ю. А. А. Н. Толстой. Жизнь и творчество. — М., 1960. — С. 206.
- ⁵ Гуль Р. Указ. соч. — С. 43.
- ⁶ Струве Г. Русская литература в изгнании. — Париж, изд-во ИМКА, 1984. — С. 25.
- ⁷ Берберова Н. Курсив мой. — Изд. 2. — Нью-Йорк, изд-во «Russica», 1983. — С. 166.
- ⁸ Там же. — С. 162.
- ⁹ Шиповник. Сборник литературы и искусства (Москва). — 1922. — № 1. — С. 92—93.
- ¹⁰ Правда. — 1922. — 2 июня.

- ¹¹ Правда. — 1922. — 31 авг.
¹² Там же.
¹³ Цит. по: Вестник Русского христианского движения (Париж). — 1978. — № 127. — С. 220.
¹⁴ Ленин В. И. Политический отчет Центрального Комитета РКП(б) 27 марта 1922 г. // Полн. собр. соч. — Т. 45. — С. 87.
¹⁵ В. И. Ленин. Биография. — М., 1960. — С. 536.
¹⁶ ВКП(б) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. — Ч. I. — М., 1936. — С. 477.
¹⁷ В. И. Ленин и ВЧК. — Изд. 2. — М., 1987. — С. 540.
¹⁸ Там же.
¹⁹ Бердяев Н. Самопознание. — С. 282.
²⁰ Цит. по: Правда. — 1922. — 31 авг.
²¹ Осоргин М. Времена. — Париж, 1955. — С. 184.
²² Жизнь (Берлин). — 1920. — № 1.
²³ Станкевич В. Б. История возникновения организации «Мир и труд» // Архив Б. И. Николаевского в Гуверовском институте, Стэнфорд, США, № 143.
²⁴ Жизнь. — 1920. — № 11.
²⁵ Дроздов А. Писатели за рубежом // Жизнь. — 1920. — № 8.
²⁶ Русский Берлин. — С. 352.
²⁷ Гуль Р. Указ. соч. — С. 57.
²⁸ Там же. — С. 65.
²⁹ Чернов В. Кровавые психозы // Материалы по деятельности чрезвычайных комиссий. — Берлин, изд-во «Орфей», 1922. — С. 10—12.
³⁰ См. Веселый Артем. Россия, кровью умытая. — Куйбышев, 1979.

Глава 4

Мосты в Россию

- ¹ Новая русская книга (Берлин). — 1922. — № 1.
² Ященко А. С. Книга и возрождение в России // Русская книга (Берлин). — 1921. — № 4.
³ Устами Буниных. — Т. 2. — Франкфурт-на-Майне, 1981. — С. 34.
⁴ Русская книга. — 1921. — № 1.
⁵ Архив Б. И. Николаевского. — № 72. — Разд. 4. — Папка 195.
⁶ Русская книга. — 1921. — № 1.
⁷ Цит. по: Гуль Р. Указ. соч. — С. 71.
⁸ Интеллигенция и революция. XX век. — С. 141.
⁹ Письма А. В. Чайнова цитируются по сб.: Русский Берлин. — С. 305—306.
¹⁰ Ковалевский П. Е. Указ. соч. — С. 41.
¹¹ Там же. — С. 41—42.
¹² Цит. по: Русский Берлин. — С. 319—320.
¹³ Стихи П. Н. Савицкого цит. по: Гуль Р. Указ. соч. — С. 172.
¹⁴ Цит. по: Русский Берлин. — С. 107.
¹⁵ Цит. по: Гуль Р. Указ. соч. — С. 176—177.
¹⁶ Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков. — М., 1928. — С. 321.
¹⁷ Цит. по: Lampl H. Zinaida Hippus and S. P. Remisova-Dovgello // Wiener Slavistischer Almanach. — 1978. — Nr. 1. — S. 174 (письмо от 28 июня 1922 г.).
¹⁸ Цит. по: Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа. — Л., 1964. — С. 216.

- ¹⁹ Там же. — С. 250, 267.
²⁰ Ленин В. И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом//Полн. собр. соч. — Т. 43. — С. 59.
²¹ Здесь и далее письма и выдержки из статей И. С. Соколова-Микитова цит. по: Русский Берлин. — С. 204—213.
²² Цит. по: Осадчая А. П., Афанасьев А. Л., Баранов Ю. К. — С. 15—20.

Глава 5

Тревоги и испытания

- ¹ Правда. — 1921. — 12 июля.
² Чернов В. М. Перед бурей (воспоминания). — Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1953. — С. 54—55.
³ См. Правда. — 1921. — 21 июля.
⁴ См. Поляков Ю. 1921-й: победа над голодом. — М., 1975.
⁵ Правда. — 1921. — 22 июля.
⁶ Письма В. Г. Короленко вышли в издательстве «Задруга» (Париж, 1922).
⁷ Шесть писем В. Г. Короленко к А. В. Луначарскому, давно известные на Западе, впервые в СССР опубликованы в журнале «Новый мир» в 1988 году (№ 10).
⁸ Калинин М. И. За эти годы. — Книга вторая. — М. — Л., 1926. — С. 106.
⁹ Правда. — 1918. — 28 сент.
¹⁰ Французский текст этой заметки взят из: Chronique du XX siècle. — P., «Lagousse», 1985. — P. 289.
¹¹ Кускова Е. Месяц соглашения//Воля России (Прага). — 1928. — № III—V.
¹² Подробное и хорошо документированное описание истории Всероссийского комитета помощи голодающим содержится в статье М. Геллера «„Первое предостережение“ — удар хлыстом», опубликованной в «Вестнике Русского христианского движения» № 127 за апрель 1978 года (Париж).
¹³ Осоргин М. Указ. соч. — С. 161.
¹⁴ См. Гордиенко Н. С. Современное русское православие. — Л., 1987. — С. 33.
¹⁵ Осоргин М. Указ. соч. — С. 161.
¹⁶ Новый журнал (Нью-Йорк). — 1954. — № XXXVIII. — С. 236.
¹⁷ Там же.
¹⁸ В. И. Ленин и ВЧК. — С. 471.
¹⁹ Некоторые подробности, связанные с организацией и разгромом Всероссийского комитета помощи голодающим, содержатся в кн.: Антисоветская интервенция и ее крах. 1917—1922. — М., 1987. — С. 190—202.
²⁰ Цит. по: В. И. Ленин и ВЧК. — С. 473.
²¹ Там же. — С. 470.
²² Геллер М. Указ. соч. — С. 204.
²³ Впервые на русском языке письмо опубликовано в эмигрантском «Новом журнале» в 1965 году (№ 79. — С. 285—287).
²⁴ Митрополит Евлогий. Путь моей жизни. — Париж, изд-во ИМКА, 1947. — С. 384.

- ¹ Новая жизнь. — 1918. — 6 июня.
- ² Василевский И. М. Что они пишут? Мемуары бывших людей. — Л., 1925. — С. 149.
- ³ Замятин Е. Лица. — Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1955. — С. 93.
- ⁴ Там же. — С. 92.
- ⁵ Анпенков Ю. Дневник моих встреч (цикл трагедий). — Т. I. — Изд-во «Международное литературное содружество», 1966.
- ⁶ Материалы по этому вопросу можно найти в сборнике «В. И. Ленин и ВЧК».
- ⁷ Шкловский В. Сентиментальное путешествие. Воспоминания. 1917—1922. — Берлин — Москва, изд-во «Геликон», 1923. — С. 344.
- ⁸ Русский Берлин. — С. 398.
- ⁹ Цит. по: Социалистический вестник (Берлин). — 1922. — № 6 (28). — С. 15.
- ¹⁰ Мартов Ю. Первое предостережение//Социалистический вестник. — 1922. — № 7 (29). — С. 2.
- ¹¹ Цит. по: Русский Берлин. — С. 344.
- ¹² Там же. — С. 345.
- ¹³ В. И. Ленин и ВЧК. — С. 524.
- ¹⁴ Цит. по: Русский Берлин. — С. 345.
- ¹⁵ Trotsky L. Ma vie. — P., «Gallimard», 1953. — P. 545 (цитата дается в переводе автора с франц. яз.).
- ¹⁶ Цит. по: Русский Берлин. — С. 346.
- ¹⁷ Правда. — 1922. — 18 июля.
- ¹⁸ Правда. — 1922. — 20 июля.
- ¹⁹ Цит. по: Волгогонов Д. Триумф и трагедия//Октябрь. — 1988. — № 10. — С. 27.
- ²⁰ См. Известия. — 1922. — 20 июля.
- ²¹ Цит. по: Русский Берлин. — С. 363.
- ²² Там же. — С. 349.
- ²³ Ленин В. И. Н. И. Бухарину//Полн. собр. соч. — Т. 54. — С. 279.
- ²⁴ Цит. по: Русский Берлин. — С. 363—364.
- ²⁵ Цит. по: Маргулиев М. С. Год интервенции. — Кн. 1. — Берлин, 1923. — С. 6.
- ²⁶ Невский В. Пролетарская революция//Исторический журнал Истпарта. — 1923. — № 3(15). — С. 321.
- ²⁷ Горький М. О русском крестьянстве. — Берлин, изд-во И. П. Ладженикова, 1922. — С. 43—44.
- ²⁸ Там же.
- ²⁹ Русский Берлин. — С. 372.
- ³⁰ Воля России (Прага). — 1922. — № 1(29). — С. 22—35.
- ³¹ См. Николаевский Б. История одного предателя. — Нью-Йорк, изд-во «Russica», 1980.
- ³² Подробнее об этом см. Мельников Д., Чернов Л. Империя смерти. — М., 1988. — С. 27.
- ³³ Более точные сведения о периодических изданиях русской эмиграции можно почерпнуть в 4-томной библиографии М. В. Шатова, изданной в Нью-Йорке в 1972 году.
- ³⁴ Цит. по Кускова Е. Д. Трагедия Максима Горького//Новый журнал (Нью-Йорк). — 1954. — № XXXVIII.
- ³⁵ Федору Ивановичу неоднократно предлагали вернуться в Советскую Россию. Об этом упоминается в воспоминаниях Ф. Шалыпина «Душа и маска» (Париж, изд-во «Современные записки», 1932).
- ³⁶ Цит. по Кускова Е. Д. Указ. соч. — С. 244.

Глава 7
Cogito, ergo sum

- ¹ Рудь. — 1922. — 9 авг. — С. 2.
- ² Цит. по: Геллер М., Некрич А. Утопия у власти. — Лондон, 1982. — С. 138.
- ³ Бердяев Н. Самопознание. — С. 281.
- ⁴ См. Федотов Г. Тяжба о России. — Париж, изд-во ИМКА, 1982.
- ⁵ Герцык Е. Воспоминания. — Париж, 1973. — С. 102—103.
- ⁶ Новая русская книга. — 1922. — № 13.
- ⁷ Подробности, связанные с «историей» Е. Г. Лундберга, почерпнуты из материалов архива Б. И. Николаевского (Русский Берлин. — С. 28—30).
- ⁸ Там же.
- ⁹ Цит. по: Геллер М. Указ. соч. — С. 220.
- ¹⁰ Бердяев Н. Самопознание. — С. 278—280.
- ¹¹ Там же. — С. 281—282.
- ¹² См. Вознесенский И. Имена и судьбы. Над юбилейным списком Академии наук//Память. — Вып. 1. — Москва, 1976 — Нью-Йорк, 1978. — С. 377.
- ¹³ Цит. по: Русский Берлин. — С. 257.
- ¹⁴ Бердяев Н. Самопознание. — С. 287.
- ¹⁵ Там же. — С. 290.
- ¹⁶ В. И. Ленин и ВЧК. — С. 531.
- ¹⁷ Бердяев Н. Самопознание. — С. 293—294.
- ¹⁸ Яновский В. С. Поля Елисейские. — Нью-Йорк, изд-во «Серебряный век», 1983. — С. 161.
- ¹⁹ См. La vie culturelle de l'émigration russe en France. Chronique des années 1920—1930. — P., 1971.
- ²⁰ Яновский В. С. Указ. соч. — С. 158.

Глава 8
Прощание с Берлином

- ¹ См. Гессен В. Указ. соч.
- ² В 1934 году генерал Герасимов выпустил на французском и немецком языках интересную книгу воспоминаний о борьбе царизма с революционерами. В 1985 году в Париже эта книга впервые была опубликована на русском языке под названием «На лезвии с террористами» в серии «Всероссийская мемуарная библиотека, основанной А. И. Солженицыным».
- ³ См. Кризис русского книжного дела в Германии. Временник Общества друзей русской книги. — Т. I. — Париж, 1925.
- ⁴ Этот эпизод рассказан в книге Р. Гуля «Я унес Россию» (Т. 1. — С. 92—93).
- ⁵ Русская книга. — 1921. — № 3. — С. 16.
- ⁶ Цит. по: Русский Берлин. — С. 75.
- ⁷ Полный текст доверенности приводится в сб.: Русский Берлин. — С. 76.
- ⁸ Цит. по: Время и мы (Тель-Авив). — 1978. — № 28. — С. 197.
- ⁹ Одно из писем Волошина к Яценко, сохранившееся в архиве Николаевского, дает возможность уточнить личность женщины, привезшей в Берлин стихи Волошина. «Дорогой Александр Семенович, — пишет поэт, — позволь познакомиться тебя с моей хорошей знакомой Софией Абрамовной Левандовской, которая тебе передаст большой пакет от меня...» Письмо Волошина написано в Севастополе 20 ноября 1922 г. (Русский Берлин. — С. 76).

- ¹⁰ По свидетельству В. А. Оболенского, председателя губернской земской управы, в Крыму после эвакуации войск Врангеля большевиками было расстреляно 40 тыс. человек из числа не пожелавших эмигрировать (см. Оболенский В. А. Указ. соч. — С. 74).
- ¹¹ Помимо воспоминаний Романа Гуля эта история описана также в русском эмигрантском «Новом журнале» (Нью-Йорк). — 1952. — № 31. — С. 106.
- ¹² Цит. по: Гуль Р. Указ. соч. — С. 97.
- ¹³ В 1983 году в серии «Berkeley Slavic Specialities» вышло репринтное издание этой книги.
- ¹⁴ Волошин М. Стихи о терроре. — Берлин, Книгоиздательство писателей, 1923. — С. 12, 17.
- ¹⁵ Там же. — С. 15.

ЧАСТЬ II

Глава 1

Парижское пристанище

- ¹ Шмелев И. Въезд в Париж. — Белград, 1929. Рассказ впервые напечатан в журнале «Современные записки» (Париж) в 1926 году.
- ² Шиповник. Сборник литературы и искусства (Москва). — 1922. — № 1. — С. 83, 90.
- ³ Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. — Т. 2. — Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1956. — С. 429.
- ⁴ См. Степун Ф. Родина, отечество и чужбина // Новый журнал (Нью-Йорк). — 1955. — № XLIII.
- ⁵ Там же. — С. 211.
- ⁶ Озерецковский Г. Русский блистательный Париж до войны. — Т. I (Россия малая). — Париж, 1973. — С. 95.

Глава 2

«Незамеченное поколение»

- ¹ См. Коэн С. Бухарин. Политическая биография. — М., 1988. — С. 306.
- ² Цит. по: Варшавский В. В. Незамеченное поколение. — Нью-Йорк, изд-во им. Чехова, 1956. — С. 313.
- ³ Эту цифру, в частности, называет В. А. Оболенский в своих мемуарах «Моя жизнь, мои современники» (с. 741).
- ⁴ Оболенский В. А. Указ. соч. — С. 744.
- ⁵ Цит. по: Струве Г. Указ. соч. — С. 217.
- ⁶ См. *La vie culturelle de l'émigration russe en France*. — P., Presses Universitaires de France, 1971. — P. 302.
- ⁷ Цит. по: Варшавский В. С. Указ. соч. — С. 25.
- ⁸ Там же. — С. 30.

Глава 3

Студенты

- ¹ См. Афанасьев А. Полюнь в чужих краях. — М., 1984. — С. 88.
- ² Ковалевский П. Е. Указ. соч. — С. 78—79.
- ³ Там же. — С. 79.

Глава 4
«Университеты духа»

- ¹ Вестник РСХД (Париж). — 1927. — № 2.
- ² Цит. по: Варшавский В. С. Указ. соч. — С. 290.
- ³ Там же. — С. 126.
- ⁴ Там же. — С. 127.
- ⁵ Там же. — С. 129.
- ⁶ Вестник РСХД. — 1927. — № 2.
- ⁷ Озерецковский Г. Указ. соч. — С. 15.

Глава 5
Домой с небес...

- ¹ Алданов М. О положении эмигрантской литературы//Современные записки (Париж). — 1936. — № XI. — С. 401—402.
- ² Там же.
- ³ Воля России (Прага). — 1929. — № X—XI. — С. 103.
- ⁴ Там же. — С. 104.
- ⁵ Там же. — С. 115.
- ⁶ Там же. — С. 118.
- ⁷ Современные записки. — 1936. — № X. — С. 404.
- ⁸ Там же. — С. 407.
- ⁹ Там же. — С. 408.
- ¹⁰ Цит. по: Варшавский В. Указ. соч. — С. 195.
- ¹¹ Там же. — С. 166.
- ¹² Яновский В. С. Поля Елисейские. — Нью-Йорк, изд-во «Серебряный век», 1983. — С. 139.
- ¹³ Гиппиус З. Избранная поэзия. — Париж, изд-во ИМКА, 1984. — С. 138.
- ¹⁴ Цит. по: Варшавский В. Указ. соч. — С. 169.
- ¹⁵ Яновский В. Указ. соч. — С. 137.
- ¹⁶ Цит. по: Струве Г. Указ. соч. — С. 91.
- ¹⁷ Там же. — С. 93.
- ¹⁸ Цит. по: Варшавский В. Указ. соч. — С. 171.
- ¹⁹ Цит. по: Струве Г. Указ. соч. — С. 334.
- ²⁰ Там же. — С. 333.
- ²¹ Там же. — С. 340.
- ²² Стихи Б. Поплавского цит. по: Варшавский В. Указ. соч. — С. 195.
- ²³ Там же. — С. 207.
- ²⁴ Там же. — С. 212.
- ²⁵ Там же. — С. 330—331.
- ²⁶ Там же. — С. 313.
- ²⁷ Там же. — С. 314.

Глава 6
Дым отечества

- ¹ См. Кривошеина Н. А. Указ. соч. — С. 159—160.
- ² Материалы о визите видных деятелей русской эмиграции в советское посольство в Париже опубликованы в 1970 году в «Новом журнале» в Нью-Йорке (№ 100). В советских источниках сведения об этой встрече читатель может найти в кн.: Шкаренков Л. К. Агония белой эмиграции. — М., 1986.

- ³ См. Новый журнал (Нью-Йорк). — 1945. — № XI. — С. 350—365.
- ⁴ Некоторые подробности этой операции были опубликованы в выходящем в Нью-Йорке эмигрантском «Новом журнале» (Ершов В. Репатриация // Новый журнал. — 1953. — № XXXII. — С. 203—223). Статья является частью большой работы, проведенной при содействии Research Program on the USSR.
- ⁵ Цит. по: Кривошеина Н. А. Указ. соч. — С. 161.
- ⁶ См. Souvarine V. Staline. Aperçu Historique du Bolchévisme. — P., 1977.
- ⁷ Документальные свидетельства на этот счет содержатся в кн.: Bartoli G. Mort de Staline. — P., 1973. — P. 241—242.
- ⁸ Новый журнал. — 1945. — № XI. — С. 366.
- ⁹ Там же. — С. 367—374.
- ¹⁰ Смирнов В. П. Новейшая история Франции. — М., 1979. — С. 230.
- ¹¹ Кривошеина Н. А. Указ. соч. — С. 272—273.
- ¹² Там же.
- ¹³ Русская мысль. — 1987. — 14 авг.

Глава 7

В поисках Града

- ¹ См. Гордиенко Н. С. Современное русское православие. — Л., 1987. — С. 33.
- ² См. Руль (Берлин). — 1922. — 1 дек.
- ³ Подробнее об этом см. Иоффе Г. З. Крах российской монархической контрреволюции. — М., 1977. — С. 282—283.
- ⁴ Цит. по: Русская православная церковь за границей. 1918—1968/ Под ред. А. А. Соллогуба. — Т. I. — Нью-Йорк, 1968. — С. 33.
- ⁵ Цит. по: Митрополит Евлогий. Указ. соч. — С. 396.
- ⁶ См. Степанов (Русак) В. Свидетельство обвинения. — Ч. I. — Нью-Йорк, 1987. — С. 131—133.
- ⁷ См. Гордиенко Н. С. Указ. соч. — С. 37.
- ⁸ Цит. по: Митрополит Евлогий. Указ. соч. — С. 402—403.
- ⁹ Там же. — С. 404.
- ¹⁰ Там же. — С. 412.
- ¹¹ Там же. — С. 444.
- ¹² Подробности о деятельности Богословского института при Сергиевском подворье содержатся в кн.: Лаури Д. И. Св. Сергий в Париже. — Лондон, 1954.

Глава 8

Тайна «курского соловья»

- ¹ Плевницкая Н. Дёжкин карагод. — Париж — Берлин, изд-во «Таир», 1925; ее же. Мой путь с песней. — Париж, изд-во «Таир», 1930.
- ² Данные приводятся по кн.: Прянишников Б. Незримая паутина. — Нью-Йорк, 1979.
- ³ Там же. — С. 102.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Там же. — С. 121.
- ⁶ См. Paillole P. Services spéciaux 1935—1945. — P., «Robert Laffont».
- ⁷ См. Krivitsky V. G. Agent de Staline. — P., 1940.
- ⁸ Цит. по: Grey M. Le général meurt à minuit. — P., «Plon», 1981. — P. 203.

- ⁹ См. Геллер М., Некрич А. Указ. соч. — С. 331—335.
- ¹⁰ См., например, Бурцев В. Л. Большевистские гангстеры в Париже. — Париж, 1939.
- ¹¹ См. Кудрова Ирма. Последние годы чужбины//Новый мир. — 1989. — № 3. — С. 214—215.
- ¹² Смирнов В. П. Указ. соч. — С. 152—154.
- ¹³ См. Grey M. Op. cit.
- ¹⁴ Цит. по: Прянишников Б. Указ. соч. — С. 261.
- ¹⁵ Свидетельства на этот счет приводятся в кн.: Grey M. Op. cit.
- ¹⁶ Правда. — 1937. — 25 сент.
- ¹⁷ Цит. по: Прянишников Б. Указ. соч. — С. 307.
- ¹⁸ См. Неизвестные страницы истории советской разведки//Неделя. — 1989. — № 48—50.

Глава 9

«Не будем проклинать изгнание...»

- ¹ Набоков В. Годовщина//Руль. — 1927. — 18 нояб.
- ² См. *The Refugee Problem: Report of a Survey*. J. H. Simpson, Royal Institute of International Affairs. — L. — N. Y., 1939.
- ³ Струве Г. Указ. соч. — С. 7.
- ⁴ См. Гуль Р. Я унес Россию. — Т. 2 (Россия во Франции). — Нью-Йорк, изд-во «Мост», 1984. — С. 176—177.
- ⁵ Письма М. О. Гершензона здесь и далее цит. по: *Минувшее. Исторический альманах*. — Вып. 6. — Париж, изд-во «Athénéum», 1988.
- ⁶ Шаялин Ф. И. Душа и маска. — Париж, изд-во «Современные записки», 1932. — С. 247—248.
- ⁷ Луначарский А. В. Новые материалы//Литературное наследство. — Т. 82. — М., 1970. — С. 220.
- ⁸ Письмо находится в Римском архиве В. Иванова. Цит. по: *Минувшее*. — Вып. 6. — С. 260.
- ⁹ См. Иванов Вячеслав, Гершензон М. О. Переписка из двух углов. — Петербург, изд-во «Алконост», 1921.
- ¹⁰ Бердяев Н. Самопознание. — С. 269.
- ¹¹ Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. — Т. I. — Париж, 1983. — С. 128.
- ¹² Бердяев Н. Самопознание. — С. 324.
- ¹³ Там же. — С. 327.
- ¹⁴ Там же. — С. 299.
- ¹⁵ Родзянко М. В. Крушение империи (первое полное издание записок председателя Государственной думы). — Нью-Йорк, 1986. — С. 334.
- ¹⁶ Чаадаев П. Я. Статьи и письма. — М., 1987. — С. 143.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I

Глава 1. Ожившая память	5
Глава 2. Путь в эмиграцию	24
Глава 3. В центре Европы	59
Глава 4. Мосты в Россию	86
Глава 5. Тревоги и испытания	116
Глава 6. «Всеми горбами с Россией»	138
Глава 7. Cogito, ergo sum	169
Глава 8. Прощание с Берлином	190

ЧАСТЬ II

Глава 1. Парижское пристанище	203
Глава 2. «Незамеченное поколение»	220
Глава 3. Студенты	238
Глава 4. «Университеты духа»	246
Глава 5. Домой с небес...	256
Глава 6. Дым отечества	298
Глава 7. В поисках Града	326
Глава 8. Тайна «курского соловья»	350
Глава 9. «Не будем проклинать изгнание...»	404

От автора	418
---------------------	-----

Приложение

Письма Михаила Осоргина (К старому другу в Москве. К друзьям в годы оккупации)	419
Из хроники культурной жизни русской эмиграции во Франции. Год 1930-й	431
Примечания	454



